

литературное
НОВОЕ
обозрение

Содержание № **190** [6'2024]

НОВАЯ ПОЭЗИЯ

7 *Карина Лукьянова. Пропущенный вызов эпохи*

10 *Константин Шавловский. Сердце над горизонтом*

ЭПИСТОЛЯРНЫЕ СВЯЗИ С ПОЛЕМ
И ПРОИЗВОДСТВО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ

15 *Николай Вахтин, Елена Лярская. Письма из поля: принципы ленинградской этнографической школы и советская реальность*

44 *Мария Момзикова. Письма после поля: советские исследователи, нганасанские корреспонденты и (co)производство антропологического знания в реципрокном диалоге*

63 *Светлана Подrezова. «В письмах всего не напишешь». Архив революционной песни в письмах*

РЕЖИМЫ ПАМЯТИ

- 84** *Ольга Лиценбергер, Роза Мусабекова.* «У каждого своя история...»: школа и детство в памяти немцев-спецпоселенцев Казахстана (1950—1960-е годы) по материалам устной истории

НА ПУТИ К «ГОСУДАРСТВЕННОЙ» СЛОВЕСНОСТИ: ИНСТИТУТЫ И ПРАКТИКИ

Составитель блока Дмитрий Цыганов

- 104** *Александр Дмитриев.* Социология переходной литературной культуры, или Снова советское
- 111** *Валерий Отяковский.* Воспоминания Юрия Перцовича о Всеволоде Мейерхольде
- 117** *Мария Лихина.* Петроградский Дом искусств как организационный эксперимент эпохи военного коммунизма
- 131** *Дарья Московская.* От Союза Советских Республик к Союзу советских писателей: институциональные коллизии производства пролетарской литературы 1920—1930-х годов
- 152** *Алла Бурцева.* Писательская бригада в Туркменистане 1930-х годов: от путешествия к производству литературы

КАНОН REVISITED

- 165** *Глеб Морев.* Иосиф Бродский: пути литературной легитимации (1962—1965)

АРХЕОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

- 192** *Лидия Трипиччионе.* Борис Бухштаб как явление теории
- 212** *Илья Виноцкий.* «Идиллическая страшилка». Принстонский текст в «Записях и выписках» М.Л. Гаспарова

ПОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

- 233** *Анатолий Рясков.* Андрей Платонов: истина и конвульсивная сила

ГЕННАДИЙ АЙГИ: НА ГРАНИЦАХ РЕЧИ

- 256** *Антон Азаренков.* «Музыка Молчания» Геннадия Айги
- 272** *Арсен Мирзаев.* Геннадий Айги, Андрей Волконский и поэзия Северного Кавказа

284 *Атнер Хузангай.* Чувашский Айхи: русский Айги

ХРОНИКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

293 *Алексей Порвин.* Свобода неопределимости (Рец. на кн.: Морозова К. Амальгама. СПб., 2023)

297 *Анна Нурждина.* Ледниковый период (Рец. на кн.: Оборин Л. Ледники. СПб., 2023)

БИБЛИОГРАФИЯ

301 *Евгений Савицкий.* Советская «республика словесности», «восточный интернационал» и кемалистская Турция в 1920—1960-е гг. (обзор современных исследований)

314 *Дмитрий Колчигин.* (Не)вымышленные истории перед судом истории (Рец. на кн.: Dangers of Narrative and Fictionality. Berlin, 2024)

325 *Татьяна Венедиктова.* Новости литературной когнитивистики с южного края света (Рец. на кн.: Wentworth I. Catching Time. N.Y.; L., 2024)

330 *Валерий Вьюгин.* Книга о литературе, ворах, жуликах, проходимцах и советской империи (Рец. на кн.: Oliveira Cassio de. Writing Rogues: The Soviet Picaresque and Identity Formation, 1921—1938. Montreal & Kingston; London; Chicago, 2023)

336 *Валерий Золотухин.* Северные звуки и ночные голоса (Рец. на кн.: Safran G. Recording Russia: Trying to Listen in the Nineteenth Century. Ithaca; L., 2022)

345 *Игорь Кобылин.* «Непрерывный поток случаев», или Политэкономия Фрэнсиса Бэкона (Рец. на кн.: Бэкон Ф. Брутальность факта: интервью Дэвиду Сильвестру. М., 2024)

356 *Константин Лаппо-Данилевский.* Архивные дары Эрец-Исраэля русской культуре

363 *Александр Клейтман.* «Значит, все-таки задушили...» Новое расследование убийства царевича Алексея 26 июня 1718 года (Рец. на кн.: Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Гибель царевича Алексея Петровича: 24—30 июня 1718 года: версии, споры, реалии. СПб., 2024)

367 *Чжан Личэн.* Постсоветская драматургия глазами китайских исследователей (Рец. на кн.: Ван Лидань, Ли Жуйлянь. Исследование современной русской драматургии (1991—2012). Пекин, 2016)

373 Новые книги

Х Р О Н И К А Н А У Ч Н О Й Ж И З Н И

- 390** *Алина Полякова.* Всероссийская научная конференция «“Трансильвания беспокоит”: поэтика Елены Фанайловой» (Институт философии РАН, Российский государственный гуманитарный университет, 17 февраля 2024 года)
- 401** *Анна Швец, Полина Левина, Елена Сосина.* Эффект присутствия: проблемы и перспективы изучения. Круглый стол «Эффект присутствия: двадцать лет спустя» (МГУ, 1 марта 2024 года)
- 409** *Виктория Мавринская.* Международная конференция «XXX Большие Банные чтения. “Культурная антропология границ в современных обществах”» (журнал «Новое литературное обозрение», 5–7 апреля 2024 года)
- 430** Errata
- 431** Наши авторы
- 433** Summary
- 438** Table of Contents
- 441** Our Authors

Редакция

- Ирина Прохорова** (основатель и учредитель журнала) *канд. филол. наук*
Татьяна Вайзер (шеф-редактор) *канд. филос. наук; PhD*
Арсений Куманьков (теория) *канд. филос. наук*
Кирилл Зубков (история) *канд. филол. наук*
Александр Скидан (практика)
Абрам Рейтблат (библиография) *канд. пед. наук*
Владислав Третьяков (библиография) *канд. филол. наук*
Надежда Крылова (хроника научной жизни) *магистр культурологии*
Александра Володина (выпускающий редактор) *канд. филос. наук*

Редколлегия

Константин Азадовский
кандидат филологических наук

Хенрик Баран
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

Татьяна Венедиктова
доктор филологических наук. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, профессор

Елена Вишленкова
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Томаш Гланц
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

Ханс Ульрих Гумбрехт
PhD. Стэнфордский университет, профессор

Евгений Добренко
PhD. Университет Венеции Ca' Foscari, профессор

Александр Жолковский
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

Андрей Зорин
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

Борис Колоницкий
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

Александр Лавров
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник

Марк Липовецкий
доктор филологических наук. Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор

Джон Малмстад
PhD. Гарвардский университет, профессор

Александр Осповат
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, профессор-исследователь

Пекка Песонен
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

Олег Проскурин
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

Роман Тименчик
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

Павел Уваров
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Александр Эткинд*
PhD. Европейский университетский институт (Флоренция)

Михаил Ямпольский
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Новая поэзия

Карина Лукьянова

Пропущенный вызов эпохи

* * *

Сеть меланхолии
но и поэт, вырабатывающий
предчувствие

Гаснущая железа:
печёнкой селезёнкой сердцем

Скоро закончатся всполохи света
и память вспыхнет пропущенной главкой

Причитанием по миру
плачем вопрошающего амбассадора

Ищущего селективные ароматы
деконструктивные силуэты
на остатке свёрнутого пространства

Но находящего только насилие
как метод движения жизни

Пропущенный вызов эпохи
и ты — индикатор
мерцающий раньше уведомления

о событии, состоящемся вне
зависимости

* * *

«Не написано — не существует»:

слово накапливает себя,
пока речевые связки
разорваны между тем,
что подорвали.

Не наших рук дело,
наших ли языков?
Сколько бы ни запасала пробоина смысла.

Неловкое отступление,
а во рту Джастин — «The Earth is Evil».
Очередное «после».

После пустят кристаллы прозрачность
на дно глазницы.

Погружённая в липкую воду, кожа сползала,
под свидетельством
захватив зрачок.

Вывернутый желудок.

Опыт рекурсии, в этом окне,
выдающем взгляд.

Никогда больше,
думает между спазмами —

стихотворения, этой дистанции
между тем, что оно есть
и тем, чем оно не является.

* * *

день провернут как механизм
для рубки мяса как бы другим
поворотом вошедшим в дугу
электричества через губу не могу

только оставшихся выкормить
подойти выпросить утереть глаза
намылить зрение: кто бы и был
не оставит без образа

что написал сотри и ещё раз пережди
через согбенные позвонки переросший язык
и какие там жи раз такие там ши
кто не привыкнет привык

* * *

Собранных «искр бытия» не унаследовать
этому миру, они гаснут, как если бы некто
срубал фитиль при первом сближении с.

Заключение в голове у субъекта.
Остывающие в ночи потоки тепла.

Это желание пережить не в себе
фосфорическое горение от заряда;
но земля не готовила для тебя.

Это кража. И где-то ты,
с расшибленным о потолок лбом.

После и это
станет неважным —
данные в ощущениях,
вы никому.

Мысль застывает в жаре.
Её форма — предмет, безразличный
к извлекающему из огня.

* * *

достаточно услышать
andante con melancolia
доносящееся из динамиков
события

чтобы жало сердца
холодный компресс истории
плакательные платочки

можно ли вспомнить
из какого фильма и вечера

кто ты

апроприация
или фальшивка

сросток согласной
в библиотечном отделе
любое пространство
держит предмет
с ней

на том же уровне
что в моём основании
неудобная буква

драмы не будет
не будоражащая умы
история мерцания
сложена в ящик с клише

Константин Шавловский

Сердце над горизонтом

* * *

полина ест оленей на чукотке
главное для нее и для нас
не представлять себе в это время их взгляд
обнимающий бедный лиман

какого кстати цвета глаза у оленей

прости
прости

где-то на том берегу
еще меняют слезы на мясо
и профиль плачущего царя
выступает под языком

но все перевозчики спят

темная мелочь
в кармане закрытого рта
пахнет лопающейся слюной

что
дальше

трупички детских носков на батарее
высохли и замерзли
как наши тела
после купания

скоро обед

родители
что-то варят
в знакомой кастрюле

рентгеновский снимок в семейном альбоме
память об операции
кажется будет дождь

сердце святой варвары
поднимается вместо солнца
горизонт сворачивается в клубок

это уже у нас или еще у них?

(летнее чтение

(сердце над горизонтом

(и в открытую скобку
как в глотку

смотрит
чужая
земля

В сочельник

получая приветы от мертвецов
должны ли мы радоваться или пугаться
ощущать вину или стыд
или жалеть себя
проверяя подвалы и чердаки
в поисках надписей пятен света
расшифровки дыхания
пойманного в печать

встретив
голос за тишиной
нужно ли прятаться отражений

в телефоне как в памяти
нечеткие снимки
статичные интерьеры

сад
или вагон-ресторан

ничего не понятно
не поймано
или темно

так бежать ли к могилам возлюбленным
чтобы на землю оконченешую вылить мед и вино
или пить из хрустящей от холода рюмки
на здоровье чокаясь
с кем-то живым

никаким сачком не поймаешь
это предчувствие
падающего в груди: пора

* * *

зрачки винограда
порванные чужой зимой
висят во дворе как зажимы
на виноватых сосках

корни колючих кустов
печальным тентаклем застыли
в морозилке горной реки

царица этих зверей
снимает кожу с горы
оставляя на каменных снимках
аритмию жабьего пения
беглых личинок
да узловатые семена

вскрой же скорей эту бедную землю
как вены марата
чтобы узнать кто ляжет
в теплой грибнице туда
где от похоти отдыхают
трудолюбимые муравьи

вы или мы
вы или мы

кто с ней ляжет и чей же кулак
медленным жаром облепят
тугие цветы

пока на открытых костях
проступают все наши деднеймы

Река тысячи роз

настоящий флаг моей страны похож на славянское полотенце
моя страна это
сон из тысячи букв
суп из кириллицы
сваренный на опушке
драгоценной сестрой

но как мы будем разговаривать
после всего что с нами произошло

я хотел бы позвать тебя так позвать только тебя
только тебя долго так бесконечно долго

чтобы ненависть стала невинностью снова
и снова
и снова

сон моих сестер похож на красного петуха

в городе плюс тридцать пять
тысяч мертвых мужчин
лето
и неба не видно
за лесом оторванных рук

но как мы будем разговаривать и о чем
после того как вытряхнем наши слабые рюкзаки
распределим запасы
вспомним все имена

назову себя твоим именем

я хотела бы тебя так позвать
позвать только тебя перевязать
рушником как могильный крест
душа моя там только там
нас никто не выдаст
никто не съест

никто никто
выходи на тысячу плато
дора дора
раздвинь драгоценную шкатулку свою
прогони отца ветерана господина карлика вора
проводника

посмотри как сияет
сваренная в тысяче роз в сотканном небе река

Эпистолярные связи с полем и производство антропологического знания

Николай Вахтин, Елена Лярская

Письма из поля:

ПРИНЦИПЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ И СОВЕТСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ¹

Nikolai Vakhtin, Elena Lyarskaya

Letters from the Field: Principles of the Leningrad Ethnographic School and Soviet Realities

Николай Вахтин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор; доктор филологических наук) vakhtin@eu.spb.ru.

Елена Лярская (Европейский университет в Санкт-Петербурге, доцент; кандидат исторических наук) rica@eu.spb.ru.

Ключевые слова: история сибирской этнографии, ленинградская школа этнографии, североведение, Богораз, Штернберг, полевая работа, неопределенность, ранние советские годы

УДК: 39+303.822.3

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_15

С 1918 года бывшие политические ссыльные, этнографы-североведы (вначале Л.Я. Штернберг, затем В.Г. Богораз и другие) начали систематически учить молодое поколение этнографов — до 1925 года в Географическом институте, затем на географическом факультете Ленинградского университета. Учебная программа была нацелена преимущественно на подготовку полевых исследователей и строилась исходя из нескольких принципов: совмещение научно-исследовательской и административной работы на Севере, стационарный

Nikolai Vakhtin (PhD; Professor, European University at Saint Petersburg) vakhtin@eu.spb.ru.

Elena Lyarskaya (PhD; Associate Professor, European University at Saint Petersburg) rica@eu.spb.ru.

Key words: history of Siberian anthropology, Leningrad school of ethnography, Arctic social studies, Bogoraz, Shternberg, fieldwork, uncertainty, early Soviet era

UDC: 39+303.822.3

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_15

Since 1918, former political exiles, ethnographers and experts in Siberian indigenous minorities L.Ya. Sternberg, V.G. Bogoraz and others began to systematically train the younger generation of ethnographers, first at the Geographical Institute, then at the Geographical Faculty of Leningrad State University. The curriculum was aimed primarily at training field researchers and was based on several principles: the combination of research and administrative work in the North, the longitudinal fieldwork, mandatory knowledge of the languages of the peoples being studied, careful and respectful attitude towards

1 Статья написана в рамках проекта РНФ № 22-18-00238 «Земля храбрых: Преодоление неопределенности при взаимодействии с физической и социальной средой в российской Арктике».

метод исследования, обязательное знание языков изучаемых народов, бережное и уважительное отношение к ним и др. Эти принципы уходят корнями в народническую идеологию, однако в условиях неопределенности и постоянно меняющейся идеологии новой власти 1920-х — начала 1930-х годов они неизбежно начали входить в противоречие с реальностью. В статье на материале писем учеников Богораза и Штернберга своим учителям из поля подробно разбирается процесс адаптации «народнических» принципов ленинградской этнографической школы к новой советской реальности, рассматриваются непростые отношения молодых этнографов и центральной и местной власти.

them, etc. These principles were rooted in the *Narodnaya Volya* ideology; however, in the conditions of uncertainty and the constantly changing ideology of the new government in the 1920s — early 1930s, these principles inevitably began to conflict with reality. The article, based on letters from students of Bogoraz and Sternberg to their teachers “from the field”, examines in detail the process of adaptation of the “populist” principles of the Leningrad ethnographic school to the new Soviet reality, and examines the complicated relationship between younger ethnographers and the central and local authorities.

За последние тридцать лет с легкой руки Юрия Слезкина [Слезкин 1993] общим местом стало противопоставление советской этнографии с ее псевдомарксистским моргановско-энгельсовским эволюционизмом, «этнической историей» и «пережитками» — мировым трендам, от которых она все больше и больше отставала на протяжении почти всего XX века. Эволюционизм, пишет Сергей Кан со ссылкой на историка антропологии Дж. Стокинга, «оставался основным течением в российской антропологии начала XX века, тогда как западноевропейские и американские антропологи относились к нему со все большим скептицизмом» [Кан 2023: 275].

Одновременно в ранней истории советской этнографии противопоставлялись «молодые радикалы» и «старые специалисты»; первым удалось в конце 1920-х годов потеснить вторых [Слезкин 1993: 117—118] и занять позиции «истинных марксистов» (правда, ненадолго)². Как формулирует Т.Д. Соловей,

молодые интеллектуалы-марксисты и их неформальный лидер В.Б. Аптекарь инициировали теоретическую дискуссию. Определили ее характер и направление: марксизм как «единственно верный» научный метод был противопоставлен концептуальным построениям «буржуазной» этнологии [Соловей 2018: 167].

Эта ситуация не способствовала популярности этнографии среди молодежи: полевые этнографические исследования ассоциировались «с изучением отсталых народов и экзотических обычаев» — притом что молодежь 1920-х годов жаждала «настоящего дела» [Слезкин 1993: 114], а «настоящее дело», по мнению «молодых радикалов», в полевых этнографических исследованиях возникло только тогда, когда эти исследования планировались так, чтобы приносить конкретную пользу [Там же: 118—119].

Полагаем, что эти в целом верные тезисы можно уточнить и конкретизировать — чему и посвящена данная статья. Кажется, что спектр идей 1920-х годов не сводился к простому противопоставлению «аптекарского марксизма» и «традиционной этнографии»; этот спектр был разнообразнее и ярче. Мы постараемся показать это на примере того, что сегодня называют «ленинград-

2 См. критику этого подхода в: [Альмов, Арзютов 2014].

ской этнографической школой»³; основатели этой школы, Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз, не только формировали программу обучения этнографов на этноотделении Географического института (после 1925 года — географического факультета Ленинградского университета, ЛГУ), но и, что важнее, планировали полевые исследования своих студентов. Сами «отцы-основатели» первоначально учились этнографии именно в поле, и лишь позже углубляли свои знания, читая специальную литературу (в случае Богораза — не без помощи Франца Боаса). Их подходы к этнографическим исследованиям начали формироваться в период ссылки: у Богораза — в результате участия в Сибиряковской экспедиции в 1884—1886 годах (см.: [Сирина 2010]), у Штернберга — в результате работы по переписи населения Сахалина примерно в те же годы [Кан 2023: 72—91], и окончательно сформировались у первого на рубеже веков в ходе Джесуповской экспедиции [Krupnik, Vakhtin 2003; Вахтин 2005]. И если Штернберг «остался до конца верен классическому эволюционизму» [Слезкин 1993: 115], то взгляды Богораза на этнографию менялись довольно сильно, но так и не стали «марксистскими» в советском понимании того времени (см. подробно: [Вахтин 2023]).

Эти знания и подходы, полученные на рубеже XIX—XX веков, учителя передали своим ученикам (см. об этом: [Арзютов, Кан 2013: 54—55]), однако эта передача происходила в совершенно другую эпоху⁴.

Таким образом, вопрос нашей статьи — как практические принципы полевой работы Богораза и Штернберга, выстраданные ими в ссылке в 1890-е годы и в последующих экспедициях и вполне адекватные состоянию науки и общества рубежа XIX—XX веков, трансформировались в новых условиях при столкновении с постоянно меняющейся советской реальностью 1920-х — начала 1930-х годов, когда в условиях резко возросшей неопределенности в поле поехали их ученики.

Основной (хотя и не единственный) материал статьи — письма студентов и выпускников этнографического отделения Географического института / географического факультета ЛГУ своим учителям, прежде всего Владимиру Германовичу Богоразу⁵.

Напомним кратко, о каком учебном заведении идет речь. В 1914 году в Петербурге были учреждены частные вечерние Географические курсы, которые из-за начавшейся войны начали работать только в 1916 году; в следующем году при курсах было открыто отделение этнографии, на котором Л.Я. Штернберг прочитал первый систематический курс этнографии. В 1918 году курсы были преобразованы в Географический институт (с двумя отделениями — геогра-

3 Подчеркнем, что здесь мы сосредоточились только на том, что происходило в Петербурге/Ленинграде, оставляя за рамками статьи развитие этнографии в других регионах.

4 «...Кажущаяся единой концепция поля (Богораза и Штернберга. — Авт.) включала в себя и изменения, которые отчасти были связаны с политическими событиями или решениями властей, а отчасти со скрытой историей рефлексии внутри дисциплины» [Арзютов, Кан 2013: 47].

5 Общий объем известных нам писем — порядка 44 тысяч слов. Большая часть этих писем хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (далее — СПФ АРАН), в фондах Богораза (Ф. 250) и Штернберга (Ф. 282); в первом фонде писем значительно больше, прежде всего потому, что Штернберг скончался в 1927 году, а большинство писем написано между 1927 и 1932 годами.

фическим и этнографическим), который теперь подчинялся Наркомпросу. В 1921 году в Институте начал работать В.Г. Богораз, сумевший благодаря своим старым связям довольно быстро поставить Институт на ноги в финансовом отношении, найти средства для полевой практики студентов. В 1924 году в Москве был создан Комитет Севера, заметную роль в создании и работе которого сыграл все тот же В.Г. Богораз (см. о нем ниже). В 1925 году Географический институт был присоединен к ЛГУ в качестве географического факультета. В июле 1925 года в ЛГУ по инициативе Комитета Севера было организовано северное отделение, на котором начали обучаться молодые представители северных народов, а в 1926 году при университете был создан Северный рабфак. Почти одновременно в Ленинградском институте живых восточных языков (ЛИЖВЯ) было создано северное отделение (североазиатский семинарий) — снова под руководством Богораза; в феврале 1927 года это отделение было объединено с рабфаком и преобразовано в северный факультет ЛИЖВЯ. В декабре 1929 года северное отделение северного факультета ЛИЖВЯ⁶ стало самостоятельным высшим учебным заведением, Институтом народов Севера (ИНС). В том же году был создан Институт по изучению народов СССР и сопредельных стран — и снова при непосредственном участии Богораза. В 1930 году этноотделение геофака ЛГУ прекратило свое существование, его преемником стал Ленинградский государственный историко-лингвистический институт, выделившийся из ЛГУ; в 1933 году он был переименован в Ленинградский историко-филолософско-лингвистический институт (ЛИФЛИ) с четырьмя факультетами; через три года ЛИФЛИ был вновь возвращен в ЛГУ: философский и исторический факультеты ЛИФЛИ объединены с воссозданным историческим факультетом ЛГУ, а два других факультета образовали филологический факультет ЛГУ. И почти одновременно, в 1930 году, возникла Научно-исследовательская ассоциация Института народов севера (НИА ИНС) и началась подготовка будущих учителей на северном отделении Института им. Герцена⁷. В основе всей этой титанической работы лежало убеждение Штернберга и Богораза в необходимости этнографии (а значит, и профессиональных этнографов) как инструмента социального развития многонационального Советского Союза⁸.

Выпускники и молодые сотрудники всех этих связанных между собой либо синхронно, либо диахронически учреждений, вне всякого сомнения, составляют *сообщество*: они постоянно переписываются, общаются, следят за траекториями друг друга и сообщают своим общим учителям, кто куда назначен на работу, кто где оказался, кто кого встретил...⁹ В письмах учителям студенты, уезжавшие в поле, передают приветы *этноотделению*, спрашивают, как дела на *севфаке*, дают советы, как лучше организовать работу *Комитета Севера* на местах. Для них все эти организации объединены прежде всего фигурой главного адресата их писем — В.Г. Богораза. Их *альма-матер* может называться по-разному, но все эти названия для них родные. И Комитет Севера (КомСев, КомСод, Северный Комитет) для них родное место: их там «тепло

6 Переименованного к этому времени в Ленинградский восточный институт.

7 См. подробно об этой очень запутанной истории: [Альмов, Арзютов 2014; Вахтин 2016; 2023; Вдовин 1991; Гаген-Торн 1971; Кан 2023; Кононов, Иориш 1977; Лукашевич 1919; Лярская 2016; Михайлова 2004; Vakhtin In press].

8 [Liarskaya, Dudeck In press].

9 Краткие сведения об авторах писем см. в приложении.

встречают», они постоянно пишут туда письма и отчеты, они болеют за Ком-Сев, если там что-то, по их мнению, идет не так, они, наконец, дают его адрес в качестве своего для переписки.

СФакковский привет шлет Богоразу Нина Богданова¹⁰. Потенциальный студент пишет, что хотел бы поступать на *Этноотделение*¹¹. Про местного молодого человека пишут, что он «был один год у нас на Севфаке»¹². В 1928 году в письмах появляется упоминания *Научно-исследовательского института*¹³, который «в этнокругах Ленинграда... произвел большой бум»¹⁴. Упоминается и *Институт живых восточных языков, ЛИЖВЯ*¹⁵. В 1930 году к этим названиям добавляется *Институт Герцена*, он же — *северное отделение пединститута*¹⁶. Наконец, в 1931 году в письмах начинает мелькать *Научно-исследовательская ассоциация при ИНСе*¹⁷. «Письма из поля» позволяют, таким образом, увидеть эту систему образовательных и исследовательских учреждений именно как единую систему, как «школу».

Принципы школы

Довольно подробное изложение основных принципов, на которые опирался Богораз и в своей работе, и в преподавании, можно найти в его докладе на совещании этнографов 1929 года. К 1929 году эти принципы уже полностью сформировались и были изложены в опубликованном учебном пособии [Макарьев 1928]¹⁸. Эти принципы можно сформулировать следующим образом¹⁹.

Этнография, как и любая наука, требует жертв. Причем не только физических и психологических, но и сугубо материальных. Неоднократно приводилась цитата Богораз (по воспоминаниям Нины Гаген-Торн): «...этнографом может стать только тот, кто не боится скормить фунт крови вшам» [Гаген-Торн 1971: 140]. «В каком-то смысле артикулирование телесности поля отражало не только опыт ссыльного, но и сам дух народничества» [Арзютов, Кан 2013: 55] — и точно так же, в духе народнического бессребреничества,

-
- 10 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 38. Нина Богданова (Серк) — Владимиру Богоразу от 8 февраля 1927 года. Ссылки на оригиналы писем даются в статье единообразно, с указанием названия архива, номеров фонда, описи и дела, имен автора письма и адресата. Название дела может не совпадать с тем, которое значится на обложке; так, в этом конкретном случае название дела в архиве — «Письма Нины Алексеевны Богдановой (Серк) из Владивостока и из с. Каменское».
- 11 Там же. Ед. хр. 132. Владимир Иванчиков — Владимиру Богоразу от 1 мая 1927 года.
- 12 Там же. Ед. хр. 145. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 4 сентября 1928 года.
- 13 Там же. Ед. хр. 208. Степан Макарьев — Владимиру Богоразу от 20 ноября 1928 года.
- 14 Там же. Ед. хр. 382. Нозми Шпринцин — Владимиру Богоразу от 21 ноября 1928 года.
- 15 Там же. Ед. хр. 208. Георгий Прокофьев — Владимиру Богоразу от 14 декабря 1928 года.
- 16 Там же. Ед. хр. 208. Георгий Прокофьев — Владимиру Богоразу от 29 марта 1930 года.
- 17 Там же. Ед. хр. 61. Григорий Вербов — Владимиру Богоразу от 23 октября 1931 года.
- 18 Не случайно Богораз в начале доклада оговаривает, что эти тезисы «являются результатом нашей пятилетней работы, они были проработаны нашим семинаром... я считаю долгом подчеркнуть, что это не мое индивидуальное творчество, а результат работы нашей ленинградской полевой этнографической школы» [Богораз 2014: 257].
- 19 Эти принципы, хотя и были сформулированы более или менее последовательно в указанных источниках, в значительной степени — реконструкция, сделанная на основе анализа различных текстов, в том числе и текстов писем.

Богораз считал, что материальная сторона не должна особенно интересоваться студентов. Из воспоминаний сына Богораз:

Он любил своих учеников, молодых этнографов. Говорил: «Это все энтузиасты, бессребреники. Этнография — наука неденежная, материального благополучия эта специальность не дает, палат каменных не приобретешь, сидя на Колыме или двигаясь на собаках по снежной пустыне. В эту науку идут лишь юноши и девушки, влюбленные в свою профессию²⁰».

Этнографы в поле должны не только заниматься наукой, но и быть «миссионерами новой жизни».

Мы должны посылать на Север не ученых, миссионеров, миссионеров новой культуры и советской государственности. Не старых, а молодых... только что окончивших курс работников, воспитанных новой советской средой и готовых нести на Север весь пыл энтузиазма, рожденного революцией... Эти молодые работники Северного Комитета должны предварительно получить полное и тщательное научное образование, по преимуществу — этнографическое. Но на Севере их основная работа не научная, а практическая [Богораз-Тан 1925: 48].

Эту мысль Богораз повторял неоднократно, ср.:

Целевая установка новой этнографической школы... с самого начала была направлена на полевое изучение различных народов... Это изучение... соединялось с культурной и общественной работой среди указанных народностей в соответствии с новыми советскими заданиями²¹.

Этнографы не должны ограничиваться только поисками старины. Для Богораз предметом этнографии были не только «традиционные культуры»; в начале 1920-х, в относительно бесцензурные времена, он позволял себе высказывать это открыто, ср.:

Творчество культуры никогда не прерывается. И для новой этнографии, например, русская революция, русская коммунистическая партия, будучи актуальными творцами нового быта, являются такими же объектами этнографического исследования, как и другие бытовые факторы [Богораз-Тан 1924: 6].

(Не думаем, что всего через пять лет мысль, что коммунистическая партия может быть объектом этнографии, могла быть опубликована в советской печати.) Нина Гаген-Торн вспоминает фразу Богораз: «Этнографией можно заниматься всюду... За углом, на канале, стоит баржа с горшками — это уже этнография!» [Гаген-Торн 1994: 258]²².

Этнограф должен знать язык изучаемого народа. Об этом Богораз писал многократно по самым разным поводам; один пример:

Собственное знание языка не может быть заменено работой с переводчиком. Хороших переводчиков вообще не существует. Конечно, переводчик-туземец лучше переводчика-русского, но в общем переводчик мешает работать. <...>

20 СПбФ АРАН. Ф. 250. Оп. 3. Ед. хр. 250. Богораз В.В. Воспоминания об отце. Л. 75.

21 Там же. Ед. хр. 174. Докладная записка Этноотделения Геофака ЛГУ. Л. 14.

22 Кажется, что Штернберг не разделял этих взглядов (см. об этом: [Вахтин 2023; Vakh-tin In press]).

Возможен образованный переводчик из местных туземных студентов, но в этом случае переводчик должен явиться этнографом, а приезжий исследователь не нужен [Богораз 2014: 261].

Этнография — наука медленная. Этнографическая работа должна длиться долго, минимум полтора года, чтобы исследователь успел «вжиться» в повседневность изучаемой группы. Богораз называл это «стационарным методом»; этому, собственно, посвящено все выступление Богораз на пресловутом совещании 1929 года²³.

Принципы школы: взгляд из поля

Как виделись эти принципы, выработанные опытом полевой работы 30—40-летней давности в совершенно других социальных и политических условиях, ученикам Богораз? Как эти принципы трансформировались в новой, советской реальности?

Авторам писем, несомненно, были знакомы изложенные выше принципы; многие настаивали на том, что являются учениками Богораз и Штернберга. Так, Николай Шнакенбург писал: «14 тысяч километров позади, осталось еще тысячи две, будем их преодолевать, или буду носить имя Вашего ученика, или уйду с Ваших глаз»²⁴. Ему вторит Владимир Иванчиков: «Постараюсь оправдать имя “учеников Богораз-Тана”»²⁵; «...хотя бы в малой степени продолжать Ваше дело, начатое Вами на Колыме в 1894 году»²⁶.

Своей «жертвенностью» ученики даже слегка бравируют, чтобы не сказать кокетничают. Фразу Богораз о «вшах» вспоминает Константин Бауэрман, добавляя: «пока что воздержусь от описания этих отличных от своих окопных и красноармейских собратий»²⁷, подчеркивая, что для него, побывавшего в окопах, «вши» — никакая не новость. Иванчиков пишет:

Прошел год, как я обитаю в Анадырском районе Камчатки и больше двух лет с тех пор, как я выехал из Ленинграда, с тем чтобы обменять читальный зал Академии Наук на нарту, на полог чукотской яранги и на многое другое. Общий вывод моей двухлетней жизни на севере заключается в отрицании особой принципиальной

23 Известны так называемые «10 заповедей этнографа», написанные Штернбергом в начале 1920-х годов и опубликованные Ниной Гаген-Торн [Гаген-Торн 1971: 142—143]. Конечно, эти «заповеди» отчасти пародийные; из них к реальным принципам школы относятся разве что третья и десятая («3. Не профанируй науки, не оскверняй этнографии карьеризмом: настоящим этнографом может быть только тот, кто питает энтузиазм к науке, любовь к человечеству и к человеку»; «10. Не навязывая насильно исследуемому народу своей культуры: подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на какой бы ступени культуры он ни стоял, и он сам будет стремиться подняться до уровня высших культур»). Речь в данной статье не о них, но упомянуть их здесь полезно.

24 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 380. Николай Шнакенбург — Владимиру Богоразу от 6 октября 1929 года.

25 Там же. Ед. хр. 132. Владимир Иванчиков — Владимиру Богоразу от 27 сентября 1927 года.

26 Там же. Владимир Иванчиков — Владимиру Богоразу от 19 июля 1928 года.

27 Там же. Ед. хр. 25. Константин Бауэрман — Владимиру Богоразу от 3 октября 1925 года.

разницы между читальным залом библиотеки и чукотским пологом. Ничего страшного, ничего особенного на севере нет. Северной экзотики я не нашёл²⁸.

Таким образом, кажется, что те ученики, которые восприняли уроки своих учителей, на первый вопрос ответили однозначно: они были готовы жертвовать собой ради науки, и более того — даже бравировали этим. Однако «материальность» науки повернулась к ним неожиданной стороной.

Экспедиции на Север всегда требовали значительного материального обеспечения. Ученики Богораза — Штернберга не могли рассчитывать только на финансирование Комитета Севера или помощь со стороны научных институций, в том числе и потому, что их экспедиции длились долго. Это и стало одной из причин того, что все ученики Богораза и Штернберга работали в местных администрациях, в органах власти, в школах; им постоянно приходилось бороться за время и возможность заниматься научной работой.

О наших ребятах из Анадыря. Шнак (Шнакенбург. — *Авт.*) на культбазе краеведом. Петров работал год зав[едующим] Усть-Бельской школой. На будущий год едет в кочевую школу в Бельский район. Коровушкин в Апуке. Форштейн на Чауне... Новые работники из Ленинграда — Спиридонов, Соколов. Развертываем сеть кочевых школ. Подготавливаем переход на обучение на туземном языке²⁹.

Совмещать эту практическую работу с наукой трудно: «Несовместимые вещи наука и служба, и я решил, что надо избирать одно, нет сил для обеих вещей»³⁰. Эти два вида деятельности часто оказываются разделены и пространственно: чтобы заниматься наукой, нужно ехать «в глубинку», а местные власти стараются удержать этих образованных, молодых и энергичных людей в местных центрах, поручить им административную, канцелярскую работу: «Я так загружен разной мелочной работой, потому что исполняю 4 должности: секретаря, уполтуза³¹ и т.д. <...> В общем они меня думают использовать и по работе в районах, и у себя в Александровске»³²; и в следующем письме:

Я от работы при Ревком отказался. Отпустили с неохотой... Я поступил на службу в Окроно и не позже числа 10/III — выезжаю на мою основную работу: завхоз Туземной школы на Хандузе около Чайво (подчеркнуто в оригинале. — *Авт.*). Говорить о том, как я рад такому месту, не приходится. Честное слово, легче на Сахалине в Александровске сделаться важной шишкой, чем попасть в такую дыру в дыре. ...я далеко не уверен, что они не пожелают мне оказать великого благодеяния, забрать обратно в Ревком в Александровске. Я себя самым категорическим образом хочу оградить от всяческих вылазок по отношению к моей особе. Я Ревкому нужен, а работа, которую они мне могут предоставить — это 1—2—3 месяца канцелярщины и 2-х—3-х-недельный выезд за это время к гилякам в район. Достаточно я уже их работы повкушал... Сейчас я наконец нашел то, к чему стремился, т.е. работу среди гиляков Восточного берега Сахалина³³.

28 Там же. Ед. хр. 132. Владимир Иванчиков — Владимиру Богоразу от 19 августа 1931 года.

29 Там же.

30 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 20 августа 1927 года.

31 Уполномоченный Комитета Севера по делам туземцев.

32 Там же. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 30 июня 1926 года.

33 Там же. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 3 августа 1926 года.

А. Форштейн писал:

...в июне уезжаю на Чаун. Оставаться в Хабаровске бесцельно. Вести какую-либо научную работу нельзя, перегружен служебной работой. Работа в Далькрайоне и в Комитете Севера (приходится «добровольно» и в нем работать) отнимает весь день, а большей частью и вечер. За 3 месяца ничего не сделал. Эскимосы (то есть рукопись книги об эскимосах. — *Авт.*) без движения, дипломка также и многое, многое другое. Быть только администратором мало желательно. Решил ехать вновь на Север, поработать и вернуться через 3 года... Уехать очень тяжело. Не отпускают. Все как сговорились, требуют моего оставления в Хабаровске. Борюсь³⁴.

О том же — большое письмо Прокофьева, в котором он подробно объясняет Богоразу, почему не хотел бы работать преподавателем в ЛИЖВЯ: он уже три года преподает в школе и ощущает эту работу как бездарно потраченное время³⁵.

Подобных жалоб множество во всех письмах:

Я волею судеб изображаю из себя заведующего окружным отделом Народного образования. Это может быть, и почетно, но слишком тяжело, особенно когда исполняешь эту работу против своего желания. Я приехал сюда на должность инструктора и надеялся, что буду иметь достаточно свободного времени для этнографии. Но мой зав[едующий], ташкентской студент, уговорил меня остаться, уехал в отпуск и из отпуска не вернулся. По сему случаю меня в принудительном порядке оставили в Гарме и в принудительном же порядке заставили заведовать Окроно³⁶.

Работа на Севере, кроме того, оплачивается лучше; иногда поле — единственная возможность свести концы с концами. Так, Г.Н. Прокофьев уехал из Ленинграда на Север второй раз потому, что в Ленинграде ему было не прожить; он писал Богоразу: «К сожалению, работа моя идет урывками, без выдержанной системы. Причиной этому является главным образом моя материальная необеспеченность. Я имею 60 р. в Университете и 40 р. на Севфаке. Этого мне, конечно, мало. Недостает 60—70 руб.»³⁷

Обратим внимание, что в это время все экспедиции всегда имеют финансирование больше чем из одного источника, и тем не менее все письма переполнены жалобами на недостаток денег для работы, для покупки коллекций, рассуждениями о возможностях послать или как-то иначе передать деньги, оплатить проезд и т.п. Г.М. Василевич пишет, что готова продлить пребывание в поле, если будут деньги для того, чтобы обеспечить мать на время ее отсутствия. Обсуждать необходимое финансирование — не стыдно, обсуждать свои денежные дела в переписке с профессором — нормально. Но очевидно, что стыдно хотеть «излишнего» комфорта, бояться трудностей, пытаться за-

34 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 351. Александр Форштейн — Владимиру Богоразу от 8 апреля 1930 года.

35 Там же. Ед. хр. 208. Георгий Прокофьев — Владимиру Богоразу от 14 декабря 1928 года.

36 Там же. Ед. хр. 398. Коля — Владимиру Богоразу от 4 июля 1930 года. О том же см. в письмах Владимира Богоразы к Владимиру Вецкактину от 21 января 1931 года (Там же) и Владимиру Иванчикову от 19 августа 1931 года (Там же. Ед. хр. 132).

37 Там же. Ед. хр. 208. Георгий Прокофьев — Владимиру Богоразу от 20 декабря 1928 года.

работать на науке, стыдно выбирать место, исходя из его финансирования/снабжения, а не научного интереса или твоей нужности в этом месте. Ср. в письме отправляющегося на Сахалин Крейновича Штернбергу о своем спутнике: тот

истербил меня вопросами, а есть ли мука, картошка, мясо и т.п. и решивший [sic!] ехать, к моему несчастью, на Сахалин только из-за того, что там платят 112 р[ублей] 50 коп[еек], а в лучших климатических условиях в Талачах только 80 руб[лей]. Что это за работники? Не думаю, чтобы Вам были приятны этнографы, работающие только из-за денег³⁸.

Закончим эту тему следующей иронической цитатой:

А пока я работаю в Далькрайоне и строю мифическую школьную сеть на фольклорном денежном материале, Шавров проводит интернациональную (в вавилонском смысле) политику, секретарствует в Дальневосточной энциклопедии, а К. Форштейн (†Мыльникова) и Л. Шаврова просвещают туземцев за стенами т[ак] н[азываемого] Тузтехникума, но надеются месяца через полтора всех распустить³⁹.

Отношения с властью

Еще одна тема здесь — отношения молодых этнографов с местным начальством. Молодые «миссионеры новой жизни» ехали на Север не только ради науки, но и чтобы защитить тех, кого тогда называли «туземцами», от некомпетентной и корыстной местной власти, от старых и новых эксплуататоров. Опирались они при этом могли почти исключительно на Комитет Севера при ЦИК СССР и его местные отделения: все остальные, в том числе и советские «госторг» и «охотсоюз», рассматривались ими часто как противники, думающие только о прибыли. Естественно, что эта неприязнь была взаимной.

Вот как Крейнович описывает свой первый приезд в деревню, еще не на Сахалин:

Приехав в Голую Пристань, я в первую очередь начал разговаривать с партийцами и вообще с людьми, знающими район. Знают они, по-видимому, поверхностно район, но то общее, что они мне могли сообщить, было действительно радостно. Новая деревня, новый край. Когда же я познакомился с массовыми растратами, преступлениями председателей сельсоветов, самим крестьянством, таким серым, что серость его отталкивает от более близкого знакомства с ним, тогда изменились и мои мысли и даже отношение к работе⁴⁰.

Нестор Каргер пишет Богоразу, что был очень удивлен и расстроен, когда узнал об отчислении двух студентов Севфака «за неспособность»:

38 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 20 августа 1927 года. Адресата письма уже нет в живых, но Крейнович этого еще не знает.

39 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 351. Александр Форштейн — Владимиру Богоразу от 12 марта 1930 года.

40 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 12 августа 1925 года.

Насколько я знаю, до сих пор таких исключений не было, и я полагаю, что их и не следовало делать. Исключить туземца за неспособность — это значит распяться в собственной беспомощности. Демонстрировать же такую беспомощность перед местными властями и учреждениями, и без того настроенными весьма враждебно к Севфаку, это значит пилить сук, на котором сидишь. Не говоря уж о том, что исключенные чувствуют себя обиженными, и в лице их мы вряд ли будем иметь сторонников туземного образования⁴¹.

Владимир Вецкактин пишет об условиях своей работы, которые,

исходя из образовавшихся здесь взаимоотношений со «всякими начальниками» труднопереносимы... в результате я безусловно наживу крупные неприятности, т[ак] к[ак] попадаю в заколдованный круг: руководителей колхозы не имеют — мне нужно сидеть в колхозах — пока находишься среди колхозников, дело б[ыть] м[ожет] клеится, уедешь — разлаживается. Но без счетной работы нельзя руководить колхозом — садишься за счетоводство — страдает вся оргработа и дело начинает пахнуть оргвыводами, не проверяешь счетной работы (а проверки нужно делать по системе двойного счетоводства) — могут пришить дело за недоучет финансовых возможностей колхоза, а отсюда уже можно говорить и о развале финансового состояния. Ну, что я могу один сделать, имея три колхоза + два, которые мне на днях дали... Помощи в работе никакой, а требования чрезмерные. Политика по отношению к туземцам — ниже всякой критики: вырабатываются иждивенцы, разводятся собесовщина. Результатом такой политики здешняя камарилья и приезжающие гастролеры создают себе дешевый авторитет. Бороться с этим явлением не в силах — железная дорога в 2000 верстах — но очень трудно бездейтельно на все это смотреть. — С здешними гавриками у меня отвратительные отношения, но страдаю, конечно, я⁴².

В аналогичную ситуацию попали и Вербов⁴³ и Шнакенбург, обвиненный чуть ли не в хищениях, когда он открыл брошенную директором факторию на мысе Северном и начал принимать пушнину и в обмен выдавать населению продукты. Он был вынужден обратиться к Богоразу как к представителю Комитета Севера:

Очень благодарен Вам за поддержку. Сейчас все обстоит вполне благополучно... Что ко мне отношение было хамское, то сущая правда. Сейчас многие стараются кое-как это замазать, так как дело повернулось в мою сторону нежданно-негаданно. От Тевлянто⁴⁴ я прямо не ожидал к себе плохого отношения⁴⁵.

41 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 3. Ед. хр. 174. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 9 июня 1929 года.

42 Там же. Оп. 4. Ед. хр. 398. Владимир Вецкактин — Владимиру Богоразу от 21 января 1931 года. Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены.

43 Там же. Ед. хр. 61. Григорий Вербов — Владимиру Богоразу от 7 апреля 1930 года.

44 Тевлянто — один из первых представителей коренных жителей Чукотки, получивший образование в Ленинграде на северном факультете; в 1934 году стал председателем Чукотского исполкома.

45 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 380. Николай Шнакенбург — Владимиру Богоразу от 25 августа 1931 года. Это вообще интересная тема, обсуждать которую здесь не место: отношения между молодыми этнографами, поехавшими на Север, чтобы работать на благо «туземцев» и одновременно их изучать, и самими этими «туземцами», получившими образование на северном факультете в Ленинграде. Приведем цитату из письма первого юкагирского ученого-этнографа, студента ИНСа Николая

Наконец, и сам «народ», те самые «туземцы», работать на благо которых ехали на Север молодые этнографы, не всегда встречали их радостно. Были, конечно, среди «туземцев» люди, благодарные за то, что их учат, им помогают; Валентина Мельникова пишет с Чукотки: «Вначале все очень скептически, недоверчиво относились к чукотской письменности и к букварям... Теперь изменилось... В этом мы уже убедились, ибо чукчи с восторгом принимают вести о их грамоте»⁴⁶. Однако чаще встречаются жалобы на негативное отношение («Народ недоверчивый, очень скрытный и не особенно приветливый»⁴⁷), на пьянство населения⁴⁸ и т.п. Каргер сообщал Богоразу о последствиях введения «сухого закона»,

благодаря которому стоимость бутылки водки здесь колеблется между 5 и 10 рублями, повышаясь иногда в более отдаленных районах до 20—25 рублей и даже «олень за бутылку». Местный кооператив продает некоторые медикаменты, но кажется, кроме касторки там ничего не осталось. Все выпили остяки. Особенно большим спросом пользуется валерианка, которую остяки пьют пузырьками⁴⁹.

В общем, «зрелище бедствий народных», к которому нам при нашей специальности следовало бы привыкнуть, и во всяком случае не стоять перед ним в недоумении, почесывая затылок, и тем не менее в таком именно состоянии нахожусь я»⁵⁰.

Иногда в этих письмах все выглядит так, что администрирование, работа в школах или борьба с косностью и хищениями на местах лишь досадные препятствия на пути к занятиям наукой. Однако в них постоянно встречается слово «только»: корреспонденты не согласны заниматься «только» педагогикой, «только» канцелярщиной и службой. Кажется, что это не случайно.

Если выйти за пределы корпуса писем, то окажется, что ученики бывших народников воспринимают работу в структурах нового государства как одну из своих задач. Так, в ходе дискуссии этнографов Москвы и Ленинграда

Спиридонова Богоразу от 11 июня 1927 года: посвятив несколько страниц своего письма жалобам на то, что ему мало платят и не берут его в совместные проекты, автор продолжает: «Очень недоволен тем, что вы командировали в Хабаровск гр[ажданина] Форштейна, это определенно антиобщественный элемент, авантюрист, карьерист. Не дай бог если он попадет на Колыму, ибо он туземцев расположить к себе не сумеет, ибо его натура такова и вообще его отношение к людям и в особенности кто с ним не в “состоянии” говорить, т.е. такой же “длинноязыкий” как и он сам, ужасное, нестерпимое. У него — одна цель поездки, это заработать деньги за счет туземцев, собрать материал и на всех парах бросив всю “учительскую работу”, — удрать. Таких мы не любим» (Там же. Ед. хр. 313). Но это, повторим, отдельная тема.

46 Там же. Ед. хр. 398; Ед. хр. 219 (продолжение письма). Валентина Мельникова — Владимиру Богоразу от 1932 года.

47 Там же. Ед. хр. 145. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 4 сентября 1928 года.

48 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 3 августа 1926 года.

49 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 145. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 4 сентября 1928 г. Не только в письмах — в полевых дневниках молодых этнографов, которые мы в данной статье не используем, также постоянно встречается мотив пьянства. Один пример из дневника Н.П. Дыренковой, описывающей пьяных хозяев в юрте, см. в статье: [Арзютов, Кан 2013: 60].

50 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 3. Ед. хр. 174. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 13 ноября 1928 года.

в 1929 году тот же самый Прокофьев, который за год до этого жаловался на усталость и невозможность научной деятельности, говорил:

Я... сам три года был на административной работе среди самоедов и в то же время изучал их с точки зрения этнографа. Административная работа сама по себе несколько не препятствует исследовательской работе, правда, на этнографию иногда накладывается бухгалтерская работа, но это хорошо, *поскольку не мешает* (курсив наш. — Авт.). Сама культурная работа среди данной народности не только не мешает, а чрезвычайно способствует исследовательской научной работе... именно путем культурной работы среди туземцев мы добываем то доверие, которое нам необходимо, и только этим путем мы его добьемся (цит. по: [От классиков к марксизму 2014: 323]).

Ему же вторит Крейнович, тот самый, который в 1926 году надеялся избавиться от лишних должностей:

...мы не являемся чиновниками в поле. Мы являемся там культурными работниками, а не чиновниками... Практическая работа... не вредит этнографической. В ней мы сживаемся с туземцами... Мы едем к ним в дома, живем с ними, а не приезжаем как гастролеры и не смотрим сверху вниз» [Там же: 305].

И далее: «...мы, работающие стационарным методом, не белоручки. Мы занимаемся не только научной работой, но и культурной... Мы не были гастролерами, не ходили в белых перчатках» [Там же: 307]. Нетрудно заметить, что себе в заслугу они ставят именно то, на что жаловались в письмах.

Примечательно также, что в этих выступлениях ученики Богораза и Штернберга возражают своим московским коллегам, которые как раз предлагали избавиться ученых в поле от необходимости педагогической или административной работы путем увеличения финансирования этнографических экспедиций.

Конечно, следует учитывать жанровые особенности источников — одно дело выступление в прениях на совещании, и другое — письма к уважаемому и любимому учителю, в которых можно пожаловаться на трудности и попросить помощи. Однако факт остается фактом: молодые ученые со всем пылом защищают культурную работу как основу деятельности своей этнографической школы. Можно предположить, что за время полевой работы ученики убедились в том, что учителя были правы и затраты времени на «культурную работу» окупаются. Вся совокупность данных позволяет утверждать, что для молодых этнографов практическая административная работа или преподавание — не «просто» препятствие к занятию наукой или «только» средство заработать деньги для экспедиции. Эта сторона полевой этнографии осознается как методологический принцип, позволяющий сблизиться с местным населением, завоевать его доверие, и в то же время как часть той жертвы, которую необходимо принести на алтарь науки, а эта жертвенность также осознавалась как часть «миссионерства».

Эти же мотивы — миссионерства, жертвенности и служения — мы можем обнаружить и в других сюжетах, затронутых в письмах. Так, уже упомянутая борьба с некомпетентным и недобросовестным местным начальством или с недружелюбным отношением местного населения — это часть борьбы за правильный мир. Как писал в конце 1920-х годов Крейнович Штернбергу: «Между прочим, Сахалин чистят. Секретарю Окр[ужного] Ком[итета] ВКП предложили из Хабаровска в 24 часа выбраться с Сахалина. Он вылетел, как из пушки.

Следом за ним и другие. Слава всевышнему, поредеет мразь, и быть может придут на их место люди»⁵¹. Те же интонации звучат в письме Вербова Богоразу:

...вполне очевидно, что здесь, на окраинах, работники, к сожалению, не смогут без давления сверху правильно разбираться в этом вопросе. Ведь, в конце концов, Ненецкий округ не на Луне и можно, мне кажется, безобразию положить конец. Надо полагать, что национальная политика имеет поле работы в местах, лежащих за пределами московских и ленинградских пригородов. Думаю, что Н.И.А. может поднять этот вопрос через Комитет Севера в Совете национальностей, т.к. дело идет не о случае, а о явлении, и при том не новом⁵².

Вряд ли народники XIX века могли возлагать подобные надежды на помощь со стороны царской администрации. Ученики Богоразы и Штернберга действуют в иных условиях, и это преобразует для них идеалы их учителей. Хотя Богораз называл экспедиции своих учеников на Север «добровольной ссылкой», ни в одном из писем его учеников мы не встречаем такого сравнения. Пафос борьбы с народными бедами, с несправедливостью, который мы видим в письмах, вполне народнический, однако после революции работа на благо «туземцев» воспринимается этнографами как *общее с властью дело*, и посланные миссионеры надеются на то, что «центр» разъяснит местным кадрам, как правильно работать. В этот период они видят себя не столько «добровольными ссыльными», сколько агентами государственных структур (прежде всего Комитета Севера).

Поэтому и службу в административных структурах они не воспринимают только как досадную помеху. Этим также объясняется и еще одно отличие между положением учителей и учеников: ученики жалуются на то, что из-за занятости «административной работой» у них не хватает времени на науку, а у ссыльных народников, как вспоминал Богораз, времени как раз было в избытке⁵³.

Объект исследования

С одной стороны, очевидно, что у многих молодых этнографов сохраняется устойчивый интерес к «чистым», удаленным, редким, «самобытным» группам. В полном соответствии с заветами «антропологии спасения» (см.: [Кузнецов 2018]) они стремятся увидеть, понять и зафиксировать то, что скоро может исчезнуть, хотя это и не всегда удается. Показательна в этом отношении

51 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 16 мая 1927 года.

52 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 61. Григорий Вербов — Владимиру Богоразу от 23 октября 1931 года.

53 Ср. жалобы из поля на острую нехватку времени с высказыванием Богоразы по поводу жизни политических ссыльных: «Мы имели много досуга в течение 10 или даже более 10 лет, а за 10 лет много можно сделать» (цит. по: [Богораз 2014: 262]). Письма Богоразы из ссылки полны жалоб на отсутствие событий, безделье и скуку; Богораз тяжело переживал, как он выражался, «жизнь на обочине», когда приходилось питаться «духовной жизнью Святого Антония» и смотреть, как жизнь проходит мимо (ср.: СПБФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 34. Богораз — Штернбергу от 4 ноября 1895 года).

фраза из письма Крейновича Штернбергу из деревни Чулаковка Херсонской губернии, где он был «на практике»: «По Вашим заданиям ничего собрать нельзя. Кроме бледных представлений о домовом, тут ничего не осталось»⁵⁴. То есть Штернберг требует от студента «нормальной традиционной этнографии», но ее не обнаруживается. И выше в том же письме:

Думаю привезти следующие материалы: 1) землеустройство; 2) селькорство; 3) голод в селе за 21—22 гг.; 4) жизнь молодежи села в ее же описаниях; 5) автобиографии; 6) заговоры и т.д. Последние очень трудно собирать. Обыкновенно шепчуха тут знает 1—2 заговора, так что мне удалось собрать всего лишь 9 заговоров.

Кроме последнего пункта, эта «этнография» скорее богоразовская, чем штернберговская; впрочем, уже через год Крейнович меняет подход и становится верным (и любимым) учеником и последователем Штернберга и сторонником эволюционизма.

Или еще: «В области духовной культуры (если не считать фольклора) сделано мало, но это не по моему неумению, а в силу моего довольно близкого пребывания в припечорской тундре, где под влиянием русской культуры самоеды очень быстро теряют свою самобытность», — и далее: «В области материальной и социальной культуры я сделал все, что мог, но что можно сказать особенно много о последней, когда сами почти совершенно оставили родовой быт?»⁵⁵

Иными словами, «туземцы» почему-то не желали «сохранять традицию»; культуры меняются, традиционные артефакты заменяются на современные, религиозные представления забываются.

За эти 30 лет произошли большие изменения в жизни гияльков. Не найдете Вы в таком большом количестве деревянную посуду, она имеется только у немногих; гияльки по-новому запрягают собак, ездят на иных, чем при Вашем пребывании, санях... Сейчас наиболее интересные места — это восточный берег. Надо бежать туда и там стараться собрать все наиболее ценное, что могут они этнографии дать. Думаю, Л.Я., восточный берег сделать основным местом своей работы...⁵⁶

Стремление к «самобытности» означало попытки забраться как можно глубже, туда, куда «не ступала нога этнографа»⁵⁷. Вот письмо Владимира Вецкакина, почти целиком посвященное безуспешным поискам «самобытности

54 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 12 августа 1925 года.

55 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 398. Владимир Вецкакин — Владимиру Богоразу от 14 октября 1921 года.

56 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнович — Льву Штернбергу от 3 августа 1926 года.

57 Вот три короткие цитаты: «Группа остяков — подкаменная — самая большая и, пожалуй, наиболее сохранившаяся...» (СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 145. Нестор Каргер — Владимиру Богоразу от 4 сентября 1928 года); «Возможно, что в августе попаду в район Кары, где есть рода, совершенно не выходящие к поселениям. Об их существовании известно только понаслышке» (Там же. Ед. хр. 61. Григорий Вербов — Владимиру Богоразу от 5 мая 1930 года); «Возможно, что я два, три станка проеду дальше Хатанги, главным образом для того, чтобы увидеть загороди для промысла диких оленей. Способ старинный, не сохранившийся в близких районах» (Там же. Ед. хр. 263. Андрей Попов — Владимиру Богоразу от 23 февраля 1931 года).

и этнической чистоты»: я очутился, пишет он, «почти совсем вне юракского населения: те самоеды... у которых я был в начале зимы, по языку и быту отличаются от юраков, представляя собой определенную этническую группу, с которой часть юраков ассимилировалась, но в целом эта группа подвергается процессам обрусения», — и далее: «По характеру работы я больше всего нахожусь среди долган, прекрасно изученных уже Поповым, и русского населения — верховского, потерявшего свою самобытность»⁵⁸.

Ситуация осложняется еще и тем, что молодые этнографы видели себя «миссионерами» новой культуры, но не просто, а особым образом подготовленными. С их точки зрения, их расточительно использовать для работы среди русских Оксина или на культбазе, где нет «настоящих» самоедов. Для того чтобы работать среди русских, или коми, или обрусевших эвенков, их специальная квалификация не нужна, а вот работу среди «настоящих туземцев» за них, по их мнению, никто не сделает. (На одном из проектов программы краеведческой работы на культбазах дописано карандашом: «Культбаза есть постоянно действующая экспедиция!», — и подпись: «Тан-Богораз»⁵⁹. Эта заметка на полях показывает, насколько важно было для Богораза устроить работу культбаз так, чтобы соединить как равноправные исследовательскую и практическую деятельность.)

Есть небольшое число писем, в которых изредка мелькает мысль о ценности любых объектов исследования, даже «смешанных и потерявших самобытность». Андрей Попов пишет о смешанном характере населения Таймыра «от Дудинки до Волочанки и от Волочанки до Хатанги»: «одолганившиеся тунгусы и якуты», «затундренные крестьяне» и другие, и далее: «Все эти народности почти ничем не отличаются от долган, названия имеют только историческое значение для выяснения этнического их происхождения»⁶⁰. Целью его исследований было не только получение классических этнографических сведений: он, кроме того, «изучил детский быт, много произвел фольклорных записей, составил этнографическую карту самоедов и долгано-якутов; более всего собрал сведений по шаманству»⁶¹. Есть одна фраза в письме Бауэрмана, перекликающаяся с уже цитированной мыслью Богораза о том, что «русская революция, русская коммунистическая партия являются такими же объектами этнографического исследования, как и другие бытовые факторы», и хочется сказать: вот настоящий ученик Богораза! «При просмотре дел Губкома и в особенности докладов ревкомов с мест — это целая этнография; только бери и записывай, что я, хоть и не всегда, и делал»⁶². Однако таких высказываний существенно меньше, чем «поисков самобытности и чистых культур».

Смыкаются с этой темой и рассуждения о том, кого можно и нужно учить в туземных школах и кого можно и нужно привозить в Ленинград. Здесь тоже

58 Там же. Ед. хр. 398. Владимир Вецкактин — Владимиру Богоразу от 21 января 1931 года. О том же см. письмо Григория Вербова Владимиру Богоразу от 2 января 1932 года (Там же. Ед. хр. 61).

59 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-3977. Оп. 1. Ед. хр. 588. Л. 105. Цит. по: [Мочалова 2024: 149].

60 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 263. Андрей Попов — Владимиру Богоразу от 23 февраля 1931 года.

61 Там же.

62 Там же. Ед. хр. 25. Константин Бауэрман — Владимиру Богоразу от 3 октября 1925 года.

ищут «настоящих», «чистых»: «Для отправления на Рабфак из Турух[анского] края подыскивают чистых туземцев»⁶³. О том же — Вербов:

...завтра начинаем занятия в ненецком техникуме... По наметкам Наркомпроса нужно было в первый год принять 50 человек ненцев, а в результате их принято около 10-ти человек... Впрочем, местные работники пребывают в приятной уверенности, что 2—3 десятка Хатанзейских и Вылок с Ижмы и (если фамилия Вылка с большой буквы, то и Хатанзейских лучше тоже, наверное с большой). Колвы, благодаря их фамилиям и смуглым физиономиям, — представляют собой отличный контингент националов⁶⁴, —

с чем автор письма категорически не согласен.

Может показаться, что здесь нарушается один из базовых принципов богоразовской школы — стремление к изучению современности. Но речь здесь идет не столько о «нарушении», сколько о поиске нового баланса между разными принципами этой школы.

С одной стороны, этнограф, интересующийся современностью, может и должен изучать, как живут «комифицированные» ненцы или обрусевшие нивхи или эвенки, но он же, как «миссионер новой жизни», как защитник слабых, должен найти «чистых» туземцев, выучить их язык, создать для них письменность, составить буквари и учебники. Этнографу могут быть интересны или неинтересны смешанные типы, но «миссионеры» обязаны искать единственно правильный объект приложения своих усилий — того, на кого должна быть направлена помощь (в современной литературе эта позиция называется позитивным действием (affirmative action) [Martin 2001] или state-sponsored evolutionism⁶⁵ [Хирш 2022]). «Миссионер» обязан работать с теми, кто, с точки зрения этнографической корпорации, без этой помощи не справится, не получит ни защиты, ни школ, ни «культуры». Кроме того, если не «классовое», то социальное расслоение несомненно существовало на Севере, и некоторые группы (например, коми) воспринимались как эксплуататоры, а их соседи ненцы — как эксплуатируемые. Этнографов мало, работы много, и в силу неотложности задач в центре внимания должны оказаться именно «чистые» туземцы.

Это перераспределение «удельного веса» принципов в школе Богораза связано с появлением «народной власти», которая уже что-то делает для народов Севера. Обрусевшие, или те, у которых уже появилась собственная интеллигенция, с помощью Советского государства смогут справиться сами. А вот те, кто остался в «естественном» состоянии, нуждаются в помощи «миссионеров». Более того, с точки зрения этнографов здесь не было никакого противоречия — ведь они, этнографы, и есть носители современности. Их можно, если использовать биологическую метафору, назвать «вирусами модерна», которые призваны «заразить» современностью «чистых» туземцев, а затем изучить эту новую современность, результат собственной деятельности. Они стремились сблизиться с людьми, среди которых жили, чтобы лучше их понять и завоевать доверие, но хотели не раствориться в изучаемом, а вести «культурную работу», которая предполагала просвещение, привитие навыков гигиены

63 Там же. Ед. хр. 56. Глафира Василевич — Владимиру Богоразу от сентября 1927 (?) года.

64 Там же. Ед. хр. 61. Григорий Вербов — Владимиру Богоразу от 23 октября 1931 года.

65 В неточном русском переводе — «поддерживаемое государством развитие» (точнее было бы «эволюция при поддержке государства»).

и санитарии, устройство более справедливых социальных отношений, в том числе и с «центром».

Знание языка

Убеждение своих учителей, что без знания языка этнографу в поле делать нечего, все студенты, кажется, впитали твердо. Все пишут о своих более или менее заметных успехах в освоении языков местного населения, все жалуются на свое недостаточное знание местных языков, многие — на то, что местное население не говорит по-русски: «Мои лингвистические познания чукотской группы языков Вам известны. Меня их состояние удручает чрезвычайно»⁶⁶; «Этнографического материала здесь (в Горной Шории. — Авт.) масса, но получить его крайне трудно, никто не говорит по-русски»⁶⁷; «Займусь изучением чукок этого района, наиболее мало исследованных. В Апуке изучу корякский язык»⁶⁸; «Что касается языка, то распространяюсь о своих достижениях в этой области перед Вами мне не придется; Вы и так знаете, что без юрацкого языка я из тундры не вернусь»⁶⁹; «...по этнографии почти ничего не сделал, кроме некоторого усвоения эскимосского языка»⁷⁰.

Местные языки осваивать трудно, прежде всего из-за отсутствия словарей и учебных пособий. Учить язык по фольклорным записям не всегда удобно; вот прелестная цитата из письма Нины Богдановой Богоразу:

Затем должна сказать, что занимаюсь изучением чукотского языка по фольклорным записям — занятие мерзопакостное. Ну сами посудите, у Вас из фольклорных записей 50% слов выкинуть надо, если не больше. И все это слова, которые уважаемые чулки в разговорном языке не употребляют. Почему Вы не издали словарь à la Пекарский? По крайней мере нам грешным душам не надо было бы загружать голову ненужными словами и затем в аду нам бы лучше было, а то ругаемся мы больно и жарить нас больше будут⁷¹.

Конечно, в поле изучение местных языков идет гораздо легче, чем в классе: «Я удивляюсь теперь, почему так туго шло в ИНС(е) с языком», — и далее: «С языком дела идут, к удивлению самой, успешно. Надеюсь вернуться настоящей чулкой»⁷².

Однако и здесь ситуация за тридцать лет существенно изменилась. Язык все более воспринимается как уже не единственное средство получения этно-

66 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 33. Нина Богданова (Серк) — Льву Штернбергу от 15 мая 1926 года.

67 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 112. Надежда Дыренкова — Владимиру Богоразу от 31 августа 1926 (?) года.

68 Там же. Ед. хр. 132. Владимир Иванчиков — Владимиру Богоразу от 6 октября 1929 года.

69 Там же. Ед. хр. 208. Георгий Прокофьев — Владимиру Богоразу от 4 января 1930 года.

70 Там же. Ед. хр. 219. Георгий Мельников — Владимиру Богоразу от 2 сентября 1931 года.

71 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 33. Нина Богданова (Серк) — Льву Штернбергу от 17 января 1927 года.

72 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 220. Валентина Мельникова — Владимиру Богоразу, не позже 1932 года.

графических сведений — местное население кое-где уже неплохо говорит по-русски, в крайнем случае можно и переводчика нанять:

...я круто, и даже слишком круто переменял программу своих работ. Изучение языка отошло у меня на второй, пожалуй, даже на третий план. Но ведь язык был для меня не целью, а средством. Цель я достигаю, минуя его... Между прочим, для предварительной обработки собранного материала я нанял самоедку, прекрасно владеющую русским языком⁷³.

«Стационарный метод»

Кажется, что это — единственное положение Богораза и Штернберга, не потребовавшее переосмысления в новой реальности. Все авторы сохранившихся писем хотели пробыть в поле подольше; многие жалуются на то, что краткие поездки «не дают... стационарности, так необходимой... для начала работы среди гиляк»⁷⁴. Срок в два-три года считается достаточным: «Летом [19]30-го года я предполагаю отправиться на Корякскую культбазу и прожить там года три (Лида такой срок не очень одобряет, но надо думать, все же решится ехать)»⁷⁵; «Решил ехать вновь на Север, поработать и вернуться через 3 года. <...> В настоящее время все препятствия разбиты. Еду, вернее, едем — я и Клава. Срок 3 года»⁷⁶; «Немножко еще подучусь у Вас в Ленинграде и подчитаю, а затем снова приеду сюда работать, хотя бы на год или два, чтобы разобраться во всем окончательно»⁷⁷.

Обсуждение

Материалом данной статьи послужил корпус писем, написанных студентами Богораза и Штернберга своим профессорам из поля за период от начала 1920-х годов до начала 1930-х годов (самые поздние письма — 1932 год)⁷⁸. Именно на этот период пришелся и расцвет ленинградской этнографической школы, сформировавшейся при Географическом институте и затем перешедшей вместе с ним под крыло ЛГУ, и создание в Ленинграде специального учебного заведения для коренных народов Севера (рабфак для северян при ЛГУ, северный факультет ЛИЖВЯ, затем ИНС). Этот период, кроме того, — время Комитета Севера (1924—1934)⁷⁹, который сформировал особые отношения между властью и ленинградскими этнографами. Кажется, что это совпадение важно.

73 Там же. Ед. хр. 398. Владимир Вецкактин — Владимиру Богоразу от 14 октября 1921 года.

74 СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 154. Юрий Крейнвич — Льву Штернбергу от 30 июня 1926 года.

75 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 366. Кирилл Шавров — Владимиру Богоразу от 16 сентября 1929 года.

76 Там же. Ед. хр. 351. Александр Форштейн — Владимиру Богоразу от 8 апреля 1930 года.

77 Там же. Ед. хр. 398. Коля — Владимиру Богоразу от 6 апреля 1931 года.

78 Возможно, такая хронология объясняется какими-то неясными особенностями формирования архивного фонда.

79 Полное название — Комитет по содействию народностям северных окраин при ВЦИК СССР.

С одной стороны, Комитет Севера — это государственный орган при правительстве страны, который реально определял политику в отношении Севера и который призван был защищать интересы народностей, населяющие северные окраины, и способствовать их развитию. Комитет Севера должен был: а) представлять интересы коренных народов на всесоюзном и региональном уровне и осуществлять их защиту; б) содействовать развитию народностей северных окраин; в) способствовать тому, чтобы «строительство новой жизни неуклонно осуществлялось собственными силами северных народов» [Сергеев 1962: 77—78]. С другой стороны, состав и устройство этого органа имело важные особенности. Он был сформирован не только из «видных партийных деятелей», но и из людей, давно и хорошо знавших Север, таких как В.Г. Богораз, Л.Я. Штернберг, С.А. Бутурлин, С.В. Керцелли, Б.М. Житков, П.Е. Островских, много его изучавших и имевших ясное представление о том, как именно следует «содействовать народностям северных окраин», от кого и как их следует защищать, что им пойдет на пользу, а что может принести вред.

По своему устройству Комитет Севера имел двойственную природу: будучи государственной структурой, он одновременно строился как широкая общественная организация. Хотя в его штате в Москве было меньше десяти человек, Комитет организовал работу пяти постоянных комиссий, в работе которых участвовал широкий круг заинтересованных экспертов, организовал сеть местных отделений и «секторов» [Там же: 73—74]. Уже в 1924 году Комитет Севера привлек в качестве *основных* работников студентов этнографического отделения Ленинградского географического института [Там же: 74]. В результате в состав Комитета входили крупные ученые-североведы, а их студенты с самого начала ощущали себя сотрудниками этого органа.

В середине 1920-х годов Комитет Севера продвигал идею, что народности Севера должны быть особыми мерами защищены от эксплуатации со стороны местных купцов и злоупотреблений местной администрации и крупных этнических групп (русские, якуты, коми, китайцы и т.д.), а также от центральных организаций типа Госторга, Наркомзема, Союзпушнины и т.д. (см.: [Вахтин 1993: 19—24]). Кроме того, свою задачу Комитет видел в том, чтобы всесторонне изучать народности Севера, их социальную организацию и хозяйственное устройство, помогать им создавать свою собственную интеллигенцию, поднимать их культуру и хозяйство. Под эгидой Комитета Севера проводились многие экспедиции, в которых участвовали молодые ленинградские этнографы, разрабатывались письменности и учебники для народов Севера, именно Комитету принадлежала идея создать на Севере сеть «культурбаз» — форпостов культуры и новой власти. Из-за этой тесной связи Комитета и ленинградской этнографической школы (через личность Богораз) молодые этнографы ленинградской школы ощущали себя в поле экспертами по советской политике в отношении народов Севера, именно поэтому они постоянно подчеркивают свою особую связь с местными отделениями Комитета Севера.

Как мы показали, письма из поля позволяют увидеть кухню полевой этнографии не менее подробно, чем полевые дневники: они требуют от авторов хотя бы первичной рефлексии и формулировок, понятных адресатам. Важно, что письма в те времена были единственным инструментом «склеивания» этнографического сообщества учеников и учителей; письма выступали чем-то вроде «невидимой инфраструктуры», позволявшей молодым этно-

графам оставаться на связи, ощущать себя частью большого коллектива единомышленников⁸⁰.

Таким образом, ленинградская этнографическая школа направляла своих выпускников в экспедиции, снабдив их взаимосвязанными методологическими принципами. При этом такая взаимосвязь была не только гносеологической, но и этической, а также вполне прагматической. Стационарный метод (фактически именно он позже получил название «включенного наблюдения» (*participant observation*) в англоязычной антропологии) позволял получить глубокие знания об изучаемой группе, но одновременно предписывал определенный образ жизни. Об этом ясно писал С. Макарьев в известном учебнике по полевой этнографии, вышедшем под редакцией Богораза:

...для приезжего этнографа весьма важно сжиться с населением, завязать с ним интимные и личные связи, приобрести его доверие и, таким образом, найти доступ и подход к самым затаенным, сокровенным и тем более важным элементам человеческой жизни. Благоприятнее для работы этнографа, если он может занять определенное место в производстве, в культурной или служебной работе среди населения, сделаться учителем, кооператором, секретарем райсовета и т.д. И таким образом, явиться местным работником, а не только наблюдателем более или менее сторонним. Глубина этнографического наблюдения гораздо важнее, чем его ширина. Такой метод углубленного изучения тесного района называется стационарным методом, в отличие от разъездного [Макарьев 1928: 6—7].

Те же принципы включенности, участия в жизни исследуемой группы должны пониматься и как основа *миссионерской*, практической работы на благо народа, то есть составлять своего рода моральный кодекс:

Этнографическое обучение должно внушить этим работникам полное уважение к туземцу как к человеческой личности, жадное стремление подробно изучить условия его жизни и прежде всего туземный язык как необходимое средство общения и далее, готовность к слиянию с туземцами в условиях практической жизни и в процессе культурной работы [Богораз-Тан 1925: 47].

Этика, прагматика и наука оказываются неразделимы как для Богораза, так и для его учеников. Однако то, что было проверено на собственном опыте бывшими народниками, пришлось заново проверять их учениками в условиях неопределенности меняющейся послереволюционной России. Во многом эта проверка привела, повторим, не к пересмотру самих принципов, а к поиску нового баланса между ними.

В новых условиях стационарный метод предусматривал не только проживание в становищах и чумах, но и «культурную работу», занятость в органах власти, что создавало известное напряжение между осознанием собственной миссии и повседневной рутинной: культурная и административная работа необходима, но она часто не оставляет времени для собственно науки; с другой

⁸⁰ Заметим в скобках, что это не единственная функция писем: в то время Сибирь и Север управлялись фактически с помощью писем и телеграмм, составлявших едва ли не главный инфраструктурный элемент управления малонаселенными и удаленными территориями. В исследуемом корпусе писем много информации этого рода, в частности сведений о недостатках и ошибках в работе местных отделений Комитета Севера, адресованных Богоразу как одному из его руководителей.

стороны, без такой работы невозможны ни реализация миссии, ни долгое пребывание в поле.

Но и в новых условиях принципы школы сохраняли комплексную взаимосвязь. Создается впечатление, что на совещании 1929 года ученики Богораза были готовы отстаивать любой из принципов (даже те, на которые они жаловались в письмах), понимая, что при падении одного рассыплется вся конструкция.

Наверное, самой болезненной и опасной оказалась атака на этический комплекс школы, на принципы аскетизма и бессребреничества, выросшие из этики народников, поскольку эту атаку вела «пятая колонна». Уже в 1926 году оказалось, что студенты этноотделения отчетливо разделились на тех, кто принимал эти принципы и надеялся применить их в собственной научной работе, и тех, кто изначально не собирался становиться ни этнографом, ни «миссионером новой жизни» и вообще не предполагал ехать «на периферию». Уверенность Богораза, что «этнографическая молодежь не жметя в столицах. Вся ее работа и задача ее жизни лежит на окраинах Союза СССР»⁸¹, относилась не ко всем студентам. Это хорошо видно на примере протокола «сходки» студентов и преподавателей этнографического отделения географического факультета от 17 февраля 1926 года, на котором обсуждалась работа отделения за первое полугодие 1925/26 учебного года⁸². Присутствующие на сходке разделились на две части: те, кто поддерживал политику руководства отделения, и те, кто был против; последние обозначали себя как «левых». Основная претензия «левых» состояла в том, что отделение не дает им знаний, которые могли бы быть полезными для будущей «руководящей работы», то есть общественно-политических знаний, приобретя которые выпускники могли бы рассчитывать на хорошее место. Как формулировали сами «левые» студенты, «этнографическое образование не сможет студентов облагодетельствовать материально». Некий студент Дубов говорил: если мы будем работать «на местах», мы не поднимемся выше секретаря Волостного исполкома.

Здесь не место подробному анализу этого интереснейшего документа; суть конфликта четко сформулировал в заключительном выступлении Богораз:

Сейчас окраины Союза находятся в диких условиях... низовые аппараты мы должны в ближайшее время пополнить своими подготовленными силами, так как в настоящее время из-за неподготовленности их случаются различные государственные подлоги и растраты. Этнография есть наука общая, без которой страна обойтись не может⁸³.

Понятно, что и для него, и для председательствовавшего на этом собрании Штернберга мысль, что их студенты после окончания вуза не хотят «идти в народ», должна была звучать очень странно: ведь для них обоих весь смысл предпринятия был именно в работе ради «северных туземцев». Однако в «добровольную ссылку» на далекие северные окраины ехать хотели далеко не все.

81 СПФ АРАН. Ф. 250. Оп. 3. Ед. хр. 174. Л. 15. Докладная записка Этноотделения Геофака ЛГУ.

82 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 7240. Оп. 13. Ед. хр. 1. Л. 221–231. Стенограмма-протокол студенческой сходки этнографического отделения географического факультета.

83 Там же. Л. 229.

Таким образом, наиболее опасный удар по комплексу принципов школы Богораза был нанесен со стороны этики. Именно поэтому, наверное, этическим заветам уделялось такое внимание в письмах тех, кто хотел называть себя учениками Богораза или Штернберга. Пытаться заработать на науке — неприлично. Делец и торговец — ругательство. Искать личную выгоду — стыдно. Стыдно хотеть «излишнего» комфорта, бояться трудностей, стыдно выбирать место экспедиции исходя из финансовых соображений, стыдно беспокоиться об удобствах, стыдно не думать о важности того или иного места или группы для науки и о пользе, которую можно там принести. То же — с готовностью жертвовать личным комфортом, и даже рисковать жизнью для выполнения научной задачи⁸⁴. Вся переписка полна свидетельств того, что это — важнейший различительный признак: тех, кто думает иначе, не считали «своими». (Интересно, что, как мы знаем теперь, наибольших результатов в науке добились как раз те ученики Богораза и Штернберга, кто следовал этическим заветам школы, поскольку при нарушении этических правил все остальные «заповеди» теряли смысл.)

Заключение

Подведем некоторые итоги.

1. Богораз считал, что студенты должны отправиться на Север в «добровольную ссылку» — подобно тому, как сам он и его товарищи ехали на Север вынужденно. Думается, что центральное различие здесь не столько в добровольности, сколько в отношениях к центральной власти. Если Штернберг, Богораз и их товарищи, отправляясь в ссылку, были *узниками* царской власти, то их студенты, отправляясь на Север в 1920-е годы, ощущали себя *посланцами* новой — именно центральной — власти (ср. позицию Франсин Хирш в вопросе об взаимоотношениях советской власти и этнографов: [Хирш 2022], особенно в главе 3). Отсюда все различия в положении учителей и учеников, сложные отношения последних с местными властями и их двойственное отношение к административной составляющей их работы — как к долгу и как к обузе одновременно.

2. Если у поколения учителей в ссылке было очень много свободного времени, ученики, поехав в поле, попали в совершенно иную ситуацию, оказались включены в решение огромного числа насущных задач, которые они могли считать важными или не важными, но которые им в любом случае приходилось решать. Научная работа в поле на средства Комитета Севера была невозможна без дополнительного финансирования — от Госторга, от местных органов власти, а за это финансирующие органы требовали огромной дополнительной работы, что отнимало массу времени.

3. Поколение учителей ехало в поле, и там под воздействием обстоятельств они становились этнографами: по сути, они учились этнографии в поле и там же составляли программы исследований. Их ученики, напротив, сначала получили основы научных этнографических знаний и лишь потом отправлялись в поле

84 Именно в готовности рисковать чужими жизнями во имя науки обвиняла Богораза в своем письме от 13 августа 1929 года мать Наталии Котовщиковой, погибшей от цинги в экспедиции на Ямале.

(где программы исследований могли, конечно, корректироваться и дорабатываться). Иначе говоря, если учителя формулировали свои научные задачи сами, то их ученики в гораздо большей степени работали коллективно: их задачи во многом определялись общими интересами Комитета Севера, а значит, и школы, что несомненно способствовало формированию и укреплению этой школы.

4. И учителя, и ученики работали с изучаемым населением «стационарно». Но если поколение учителей не выбирало такой метод работы, хотя и оценило его преимущества, то поколение учеников уже сознательно считало такой способ работы единственно правильным. То же касалось и обязательного знания языков изучаемых народов, хотя к началу 1930-х годов языковая ситуация на Севере уже начала заметно меняться.

5. И тех, и других объединяет характерный для демократических кругов конца XIX — начала XX века этос служения народу, стремление не к личной выгоде, а общественному благу. Именно это, с их точки зрения, отделяло своих от чужих. Работа в науке (и в поле) обоими поколениями воспринималась не только как долг перед наукой, но и как долг перед народом. Обоим поколениям было свойственно уважительное и сочувственное отношение к изучаемым группам.

Как мы старались показать в этой статье, создателям этнографического образования в Петрограде/Ленинграде и тем их студентам, которые осознанно шли получать это образование в Географическом институте или на геофаке ЛГУ, пришлось на практике искать новый баланс науки и прагматики, мессианства и администрирования, идеалов и реальности. В той или иной пропорции все пять принципов школы соблюдались, школа бурно развивалась, и полевые исследования приносили прекрасные результаты. В итоге эта этнографическая школа рухнула не в результате внутренних напряжений, а по внешним «обстоятельствам непреодолимой силы»: из-за репрессий 1937 года и трагедии войны и блокады Ленинграда.

Приложение.

Ученики Штернберга и Богораза — авторы писем

Бауэрман Константин Иванович (1890—1941) — этнограф, административный работник. Жил среди коряков камчатского села Парень с 1929 по 1932 год, организовал там кооператив, школу и кузнечную мастерскую. Известна одна его статья (Советский Север. 1934. № 2. С. 70—78). <https://arch2.iofe.center/person/4151>

Богданова (Серк) Нина Алексеевна (1904—1966) — этнограф, языковед, преподаватель Хабаровского государственного педагогического института; автор учебников корякского и чукотского языков. <https://guides.rusarchives.ru/funds/75/bogdanova—n>

Василевич Глафира Макарьевна (1895—1981) — этнограф, языковед, специалист по эвенкам, сотрудник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). <https://collection.kunstkamera.ru/entity/PERSON/3532261>

- Вербов** Григорий Давыдович (1909—1942) — этнограф, специалист по ненцам. С 1940 года — доцент филфака ЛГУ (кафедра этнографии). Погиб в июле 1942 года на Ленинградском фронте. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вербов,_Григорий_Давыдович
- Вецкакгин** Владимир Яковлевич (1904—?) — этнограф, уже в 1923 году работал в Архангельской области и современном Ненецком автономном округе. Арестован в 1924 году, выслан сроком на 3 года. Впоследствии научный сотрудник Института антропологии и этнографии АН СССР [Батьянова 2020: 101].
- Дыренкова** Надежда Петровна (1899—1941) — тюрколог, научный сотрудник отдела этнографии Сибири. Погибла в блокаду.
- Иванов** Сергей Васильевич (1895—1986) — этнограф, специалист по изобразительному творчеству народов Севера. Сотрудник МАЭ с 1933 года и до конца жизни. Автор монументальной книги «Материалы по изобразительному искусству народов Сибири» (1954).
- Иванчиков** Владимир (Иванович?) (?—1932) — этнограф, окончил МГУ, затем ЛИЖВЯ, работал на Чукотке. Погиб при переправе через реку.
- Каргер** Нестор Константинович (1904—1943?) — этнограф, лингвист, работал на Амуре, на Енисее, активный участник Комитета нового алфавита, с 1931 года ученый секретарь НИА ИНС. В 1935 году арестован, выслан, завербовался на Ямальскую культбазу, затем работал в музее в Саратове. С началом войны ушел на фронт, сведений о нем нет с 1943 года. <https://collection.kunstkamera.ru/entity/PERSON/3611399>
- Козин** Сергей (?) (?—?) — работал на Чукотке уполномоченным по делам северных народов Райисполкома. Более о нем ничего не известно.
- Коля** (?—?) — видимо, родственник Богораза, закончил Географический институт, этнограф, работал в Таджикистане.
- Крейнович** Ерухим (Юрий) Абрамович (1906—1985) — этнограф, лингвист, один из крупнейших специалистов по нивхскому, юкагирскому и кетскому языкам. Арестован в 1937 году (осужден на 10 лет) и повторно в 1948 году. После освобождения работал в Институте языкознания в Ленинграде. <https://iling.spb.ru/persons/kreynovich-yurij-abramovich>
- Лядов** И. (?—?) — о нем ничего не известно.
- Макарьев** Степан Андреевич (1895—1937) — этнограф, специалист по вепсам. Заместитель редактора журнала «Этнограф-исследователь», автор книги «Полевая этнография» (1929). С 1931 года заместитель директора Карельского НИИ (Петрозаводск). В 1937 году арестован, расстрелян. <http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=1378>
- Мельников** Г.И. (?—?) — лингвист, этнограф, специалист по корякам и корякскому языку.
- Мельникова** Валентина (?—?) — о ней ничего не известно.
- Мыльникова** (Форштейн) Клавдия Михайловна (1899—?) — этнограф, исследователь фольклора и языка нанайцев, вышла замуж на А.С. Форштейна, в 1934—1937 годах сотрудник МАЭ. В 1937 году, после ареста мужа, отчислена за то, что «в недостаточной степени выявила свое научное лицо» [Хасанова 2002: 104].
- Молл** Павел Юльевич (1904—1932) — этнограф, погиб в экспедиции на Чукотке.
- Орлова** Елизавета Порфирьевна (1899—1976) — этнограф, исследователь культуры ительменов, коряков, эвенов, алеутов и др., создатель алфавитов и букварей. Работала в Арктическом институте, в Российском этнографическом музее, с 1961 года — сотрудник Института экономики и организации производства Сибирского отделения АН СССР. <http://bezheck.tverlib.ru/node/23303>

- Попов** Андрей Александрович (1902—1960) — этнограф, с 1929 года — сотрудник МАЭ, в 1944—1947 годах — заведующий сектором Сибири, специалист по народам Якутии. <https://collection.kunstkamera.ru/entity/PERSON/3525920?query=Попов&index=0>
- Прокофьев** Георгий Николаевич (1897—1942) — этнограф, специалист по народам Западной Сибири, работал вместе с женой Елизаветой Порфирьевной на культбазе в поселке Янов Стан. Погиб в блокаду. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокофьев,_Георгий_Николаевич
- Серк** Николай Юльевич (1898—1938) — этнограф, какое-то время был сотрудником МАЭ, затем работал в Хабаровске. Арестован в 1937 году, расстрелян.
- Спирidonov** Николай Иванович (1906—1938) — один из первых представителей народов Севера, получивший высшее образование. Известен также как первый юкагирский писатель Теки Одулок. Арестован в 1937 году, расстрелян. <https://gaipon.info/press-tsentr/personalii/teki-odulok/>
- Стебницкий** Сергей Николаевич (1906—1941) — лингвист, этнограф, создатель корякской письменности, организатор первых корякских школ. Работал в ИНСе, в ЛИФЛИ. Погиб на фронте. <https://collection.kunstkamera.ru/entity/PERSON/3906134?query=Стебницкий&index=0>
- Форштейн** Александр Семенович (1904—1968) — лингвист, этнограф, специалист по Чукотке. Работал в ИНСе, с 1933 года — в МАЭ. В 1937 году арестован, осужден на 10 лет лагерей, после освобождения в науку не вернулся. <https://bessmertnybarak.ru/books/person/52091/>
- Чернецов** Валерий Николаевич (1905—1970) — этнограф, археолог, специалист по финно-угорским народам (манси). В 1928—1929 годах был в годовой экспедиции Комитета Севера на север Ямала. Работал с ИНСе и в МАЭ, с 1940 года — в Москве, в Институте истории мировой культуры. <https://archaeolog.ru/ru/about/istoriya-v-licah/chernecov->
- Шавров** Кирилл Борисович (1899—1940) — этнограф, редактор, писатель. В 1924 году сослан, работал на Дальнем Востоке. Арестован в 1937 году, умер в заключении. <https://naenpri.ru/entsiklopediya/shavrovkirillborisovich>
- Шнакенбург** Николай Борисович (1907—1941) — этнограф, работал на Чукотке, с 1934 года — аспирант МАЭ. Погиб на Ленинградском фронте. <http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&p=64597>
- Шпринцин** Ноэми Григорьевна (1904—1963) — этнограф, американист, работала в МАЭ. <https://bioslovhist.spbu.ru/person/3712-sprincin-noemi-grigorevna.html>

Библиография / References

[Алымов, Арзютов 2014] — *Алымов С.С., Арзютов Д.В.* Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920—1930-е годы // *От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5—11 апреля 1929 г.)* / Под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова,

Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21—90.

(*Alymov S.S., Arzyutov D.V.* Marksistskaya etnografiya za sem' dney: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada i diskussii v sovetskikh sotsial'nykh naukakh v 1920—1930-e gody // *Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5—11 aprelya 1929 g.)* / Ed. by D.V. Arzyutov, S.S. Alymov,

- D.G. Anderson. Saint Petersburg, 2014. P. 21—90.)
- [Арзютов, Кан 2013] — *Арзютов Д.В., Кан С.А.* Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2013. № 6. С. 45—68.
- (*Arzyutov D.V., Kan S.A.* Kontsepsiya polya i polevoy raboty v ranney sovetskoj etnografii // Etnograficheskoe obozrenie. 2013. No. 6. P. 45—68.)
- [Батьянова 2020] — *Батьянова Е.П.* Алтайская этнография в письмах // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2020. № 1 (42). С. 99—111.
- (*Bat'yanova E.P.* Altajskaya etnografiya v pis'makh // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2020. No. 1 (42). P. 99—111.)
- [Богораз-Тан 1924] — *Богораз-Тан В.Г.* Предисловие // Старый и новый быт / Ред. В.Г. Богораз-Тан. Л.: ГИЗ, 1924. С. 5—7.
- (*Bogoraz-Tan V.G.* Predislovie // Staryj i novyj byt / Ed. by V.G. Bogoraz-Tan. Leningrad, 1924. P. 5—7.)
- [Богораз-Тан 1925] — *Богораз-Тан В.Г.* Подготовительные меры к организации малых народностей // Северная Азия. 1925. № 3. С. 40—50.
- (*Bogoraz-Tan V.G.* Podgotovitel'nye mery k organizatsii malykh narodnostej // Severnaya Aziya. 1925. No. 3. P. 40—50.)
- [Богораз 2014] — *Богораз В.Г.* Стационарный метод в полевой этнографии // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5—11 апреля 1929 г.) / Под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 254—265.
- (*Bogoraz V.G.* Statsionarnyj metod v polevoy etnografii // Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5—11 aprelya 1929 g.) / Ed. by D.V. Arzyutov, S.S. Alymov, D.G. Anderson. Saint Petersburg, 2014. P. 254—265.)
- [Вахтин 1993] — *Вахтин Н.Б.* Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. СПб.: Изд-во Европейского дома, 1993.
- (*Vakhtin N.B.* Korennoe naselenie Kraynego Severa Rossiyskoj Federatsii. Saint Petersburg, 1993.)
- [Вахтин 2005] — *Вахтин Н.Б.* Тихоокеанская экспедиция Джесуи и ее русские участники // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 241—274.
- (*Vakhtin N.B.* Tikhookeanskaya ekspeditsiya Dzhesupa i ee russkie uchastniki // Antropologicheskij forum. 2005. No. 2. P. 241—274.)
- [Вахтин 2016] — *Вахтин Н.Б.* «Проект Богораза»: борьба за огонь // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 125—141.
- (*Vakhtin N.B.* "Proekt Bogoraza": bor'ba za ogon' // Antropologicheskij forum. 2016. No. 29. P. 125—141.)
- [Вахтин 2023] — *Вахтин Н.Б.* У истоков североведческого образования в Петербурге: созидатели в эпоху interregnum // Сибирские исторические исследования. 2023. № 1. С. 64—95.
- (*Vakhtin N.B.* U istokov severovedcheskogo obrazovaniya v Peterburge: sozidateli v epokhu interregnum // Sibirskie istoricheskie issledovaniya. 2023. No. 1. P. 64—95.)
- [Вдовин 1991] — *Вдовин И.С.* В.Г. Богораз-Тан — ученый, писатель, общественный деятель (К 125-летию со дня рождения) // Советская этнография. 1991. № 2. С. 82—92.
- (*Vdovin I.S.* V.G. Bogoraz-Tan — uchenyy, pisatel', obshchestvennyy deyatel' (K 125-letiyu so dnya rozhdeniya) // Sovetskaya etnografiya. 1991. No. 2. P. 82—92.)
- [Гаген-Торн 1971] — *Гаген-Торн Н.И.* Ленинградская этнографическая школа в двадцатые годы (у истоков советской этнографии) // Советская этнография. 1971. № 2. С. 134—145.
- (*Gagen-Torn N.I.* Leningradskaya etnograficheskaya shkola v dvadtsatye gody (u istokov sovetskoy etnografii) // Sovetskaya etnografiya. 1971. No. 2. P. 134—145.)
- [Гаген-Торн 1994] — *Гаген-Торн Н.И.* Мемория / Сост., предисл., послесл. и примеч. Г.Ю. Гаген-Торн. М.: Моск. ист.-лит. о-во «Возвращение», 1994.
- (*Gagen-Torn N.I.* Memoria / Comp., introd., forew., and notes by G.Yu. Gagen-Torn. Moscow, 1994.)
- [Кан 2023] — *Кан С.* Лев Штернберг: этнолог, народник, борец за права евреев / Пер. с англ. А. Глебовской. Бостон; СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2023.
- (*Kan S.* Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Boston; Saint Petersburg, 2023. — In Russ.)
- [Кононов, Иорш 1977] — *Кононов А.Н., Иорш И.И.* Ленинградский Восточный институт. Страница истории советского востоковедения. М.: Наука, 1977.
- (*Kononov A.N., Iorish I.I.* Leningradskiy Vostochnyy institut. Stranitsa istorii sovetskogo vostokovedeniya. Moscow, 1977.)
- [Кузнецов 2018] — *Кузнецов И.В.* Счет зим. Вымирание коренных американцев и антропология спасения: В 3 т. Краснодар: Изд-во Кубанского университета, 2018.

- (Kuznetsov I.V. Schet zim. Vymiranie korennykh amerikantsev i antropologiya spaseniya: In 3 vols. Krasnodar, 2018.)
- [Лукашевич 1919] — Лукашевич И.Д. Краткий очерк возникновения Высших Географических Курсов, их деятельности и преобразования их в Географический Институт // Известия Географического института. Вып. 1. Пг., 1919. С. 38—66.
- (Lukashevich I.D. Kratkiy ocherk vozniknoveniya Vysshikh Geograficheskikh Kursov, ikh deyatel'nosti i preobrazovaniya ikh v Geograficheskii Institut // Izvestiya Geograficheskogo instituta. Iss. 1. Petrograd, 1919. P. 38—66.)
- [Лярская 2016] — Лярская Е.В. «Ткань Пенелопы»: «проект Богораза» во второй половине 1920-х — 1930-х гг. // Антропологический форум. 2016. № 29. С. 142—186.
- (Lyarskaya E.V. "Tkan' Penelopy": "proekt Bogoraza" vo vtoroy polovine 1920-kh — 1930-kh gg. // Antropologicheskii forum. 2016. No. 29. P. 142—186.)
- [Макарьев 1928] — Макарьев С.А. Полевая этнография. Краткое руководство и программы для сбора этнографических материалов в СССР / Под ред. В.Г. Богораза-Тана. Л.: Этнограф. экскурс. комис. Этноотд-ния Геофака ЛГУ, 1928.
- (Makar'ev S.A. Polevaya etnografiya. Kratкое rukovodstvo i programmy dlya sbora etnograficheskikh materialov v SSSR / Ed. by V.G. Bogoraz-Tan. Leningrad, 1928.)
- [Михайлова 2004] — Михайлова Е.А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнографы и антропологи XX века / Отв. ред. В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. М.: Наука, 2004. С. 95—136.
- (Mikhaylova E.A. Vladimir Germanovich Bogoraz: uchenyy, pisatel', obshchestvennyy deyatel' // Vydayushchiesya otechestvennyye etnografy i antropologi XX veka / Ed. by V. A. Tishkov and D.D. Tumarkin. Moscow, 2004. P. 95—136.)
- [Мочалова 2024] — Мочалова М.А. Производство знания и наследия как борьба с неопределенностью: кейс коренных народов Таймыра в 1920-е—1930-е гг. // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 139—165.
- (Mochalova M.A. Proizvodstvo znaniya i naslediya kak bor'ba s neopredelennost'yu: keys korennykh narodov Taymyra v 1920e—1930e gg. // Sibirskie istoricheskie issledovaniya. 2024. No. 1. P. 139—165.)
- [От классиков к марксизму 2014] — От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5—11 апреля 1929 г.) / Под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014.
- (Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5—11 aprelya 1929 g.) / Ed. by D.V. Arzyutov, S.S. Alymov, D.G. Anderson. Saint Petersburg, 2014.)
- [Сергеев 1962] — Сергеев М.А. Комитет содействия народностям северных окраин // Летопись севера. Т. 3. М.: Мысль, 1962. С. 72—81.
- (Sergeev M.A. Komitet sodeystviya narodnostyam severnykh okrain // Letopis' severa. Vol. 3. Moscow, 1962. P. 72—81.)
- [Сирина 2010] — Сирина А.А. Письма В.Г. Богораза из Сибиряковской экспедиции // Этнографическое обозрение. 2010. № 2. С. 138—149.
- (Sirina A.A. Pis'ma V.G. Bogoraza iz Sibiryakovskoy ekspeditsii // Etnograficheskoe obozrenie. 2010. No. 2. P. 138—149.)
- [Слезкин 1993] — Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928—1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 113—125.
- (Slezkin Yu. Sovetskaya etnografiya v nokdaune: 1928—1938 // Etnograficheskoe obozrenie. 1993. No. 2. P. 113—125.)
- [Соловей 2018] — Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «марксистской» этнографии: стратегии продвижения марксистской ортодоксии в раннесоветский период // Исторические исследования. 2018. № 11. С. 160—178.
- (Solovey T.D. Ot "burzhuznoy" etnologii k "marksistskoy" etnografii: strategii prodvizheniya marksistskoy ortodoksii v rannesovetskiy period // Istoricheskie issledovaniya. 2018. No. 11. P. 160—178.)
- [Хасанова 2002] — Хасанова М.М. Негидальская коллекция К.М. Мьельниковой в собрании МАЭ // Музей. Традиции. Этничность. XX—XXI век. СПб.; Кишинев: Нестор-история, 2002. С. 101—105.
- (Khasanova M.M. Negidal'skaya kolleksiya K.M. Myl'nikovoy v sobranii MAE // Muzey. Traditsii. Etnichnost'. XX—XXI vek. Saint Petersburg; Kishinev, 2002. P. 101—105.)
- [Хирш 2022] — Хирш Ф. Империя наций. Этнографическое знание и формирование Советского Союза / Пер. с англ. П. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- (Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Moscow, 2022. — In Russ.)
- [Krupnik, Vakhtin 2003] — Krupnik I., Vakhtin N. The Aim of the Expedition... Has in the Main Been Accomplished. Words, Deeds, and

- Legacies of the Jesup expedition, 1897—1902 // *Constructing cultures then and now: Celebrating Franz Boas and the Jesup North Pacific Expedition* / Ed. by L. Kendall, I. Krupnik. Washington: Arctic Studies Center, 2003. P. 15—31.
- [Liarskaya, Dudeck In press] — *Liarskaya E., Dudeck S.* “Early Soviet Arctic Social Studies and Ideas of “Saving” — Practices and Contradictions in Relations with Peoples of the North” // *Anthropology of Siberia in the Making: Openings and Closures from the 1840s to the Present* / Ed. by V. Vaté, J.O. Habeck. LIT Verlag. (In press.)
- [Martin 2001] — *Martin T.* *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939.* Ithaca; London: Cornell University Press, 2001.
- [Vakhtin In press] — *Vakhtin N.* “Human Culture is, in Essence, a Unified Whole”: Should we call Bogoraz an evolutionist? // *Anthropology of Siberia in the Making: Openings and Closures from the 1840s to the Present* / Ed. by V. Vaté, J.O. Habeck. LIT Verlag. (In press.)

Мария Момзикова

Письма после поля:

СОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ, НГАНАСАНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ И (СО)ПРОИЗВОДСТВО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РЕЦИПРОКНОМ ДИАЛОГЕ*

Maria Momzikova

Post-Fieldwork Letters: Soviet Scholars, Nganasan Correspondents, and
the Co-Production of Anthropological Knowledge through Reciprocal Dialogue

Мария Момзикова (Тартуский университет,
аспирант) mmomzikova@eu.spb.ru.

Maria Momzikova (PhD Candidate, University of
Tartu) mmomzikova@eu.spb.ru.

Ключевые слова: письма, отношения, реципрокность, диалог, после поля, производство знания, нганасаны, советский просветительский проект, советская этнография, советская лингвистика

Key words: letters, relations, reciprocity, dialogue, post-fieldwork, knowledge production, Nganasans, Soviet educational project, Soviet Ethnography, Soviet Linguistics

УДК: 39

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_44

UDC: 39

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_44

В статье рассматриваются переписка и подержание отношений между нганасанами и приезжавшими на Таймыр исследователями культуры и языка в 1930–1960-е годы как реципрокный диалог. Используя архивные и опубликованные материалы, автор показывает, как этнографическое и лингвистическое знание появлялось в постоянном диалоге между представителями советского просвещения и науки с их «информантами» в поле и переписке. Эти профессионально-дружеские отношения сопровождался реципрокным обменом не только знанием, но и вещами, а также передачей денег. Письма, как форма коммуникации, требующая ответа от адресата, обеспечивали продолжение этого реципрокного обмена и после окончания полевой работы. Будучи частью советской социальной и политической действительности, этот обмен письмами превращался не только в сопроизводство антропологического знания, но и в инструмент политического просвещения и интеграции представителей локальных сообществ в советские политические институты.

The article examines the correspondence between Nganasans and visiting Taimyr researchers of culture and language in the 1930s and 1960s as a “reciprocal dialogue”. Using archival and published materials, the study illustrates how ethnographic and linguistic knowledge emerged through ongoing dialogue between researchers and their “informants,” both in the field and through correspondence. These professional and friendly relationships involved a reciprocal exchange not only of knowledge but also of goods and even money. Letters, as a form of communication requiring a response from the recipient, ensured the continuation of this exchange after the conclusion of fieldwork. Within the context of Soviet social and political reality, this correspondence became not only a co-production of anthropological knowledge but an instrument of political education and facilitated the integration of addressees from local community representatives into Soviet political institutions.

* Я признательна Дмитрию Арзютову и Лауре Сирагузе за приглашение участвовать в настоящей подборке статей, кропотливую работу над текстом статьи и редактирование, а также Арсению Куманькову за редакторский взгляд со стороны журнала, и Анастасии Фоминой за корректуру. Я благодарю Дэвида Андерсона, Александра Басова, Дарью Болину, Катю Вереш, Елену Земскову, Майю Лавринович, Марину Люблинскую, Семена Макарова, Георгия Медвинского, Нонгелю Турдагина и Светлану Чуприну за консультации и помощь во время работы над статьёй.

Большинство современных антропологов, скорее всего, согласятся с утверждением, что антропологическое знание — продукт интеллектуального сотрудничества между исследователями и их собеседниками-«информантами» в поле и после него. Тем не менее голоса последних часто остаются неслышными в авторском монологе антропологических монографий. Критика антропологического знания, выросшая из приложения идей Михаила Бахтина о диалогичности культуры к анализу антропологических текстов, показывает, что полевая работа, составляющая ядро антропологии как дисциплины, изначально имела коллаборативную природу, которая затем в работах предшественников превращалась в авторский монолог [Clifford, Marcus 1986; Gibson, Gardner 2019; Tedlock, Mannheim 1995]. В то же время история сибирской антропологии, как важной части российского антропологического знания, по-прежнему остается в стороне от критики антропологического монолога (см. работы по интеграции истории сибирской антропологии в историю мировой антропологии: [Арзютов, Кан 2013; Кан 2009; Sorin-Chaikov 2008]).

Обращаясь в этой статье к полевой работе и последующей переписке советских этнографов и лингвистов Севера 1930—1970-х годов с нганасанами, живущими на Таймыре, я показываю, что знание о культуре и языке последних создавалось в советское время в постоянном диалоге, в том числе письменном, с экспертами — членами сообществ. Я останавливаюсь на письмах, которыми обменивались исследователи и их «информанты», но дополняю их данными полевых дневников. Для анализа такого диалога я выбираю антропологическую методологию обмена и реципрокности, позволяющую реконструировать прагматику сопроизводства знания как в поле, так и после него, и называю этот диалог в письмах реципрокным. Через рассматриваемые письма исследователи получали этнографическое знание от своих знакомых и друзей из поля, что влияло на последующие исследовательские интерпретации. Взамен же они делились своими представлениями о советской культуре, что могло помочь нганасанам в построении карьеры или поддержании социального статуса на советском Таймыре. Письма могли также сопровождаться вещами или даже деньгами. Подобный обмен знанием предполагал активную вовлеченность обеих сторон в диалог. Это хрупкое взаимовыгодное сотрудничество обеспечивалось многолетними личными отношениями между исследователями и «информантами» и превращало письма не только в источник информации, но и в важный эмоциональный ресурс, в какой-то степени нивелирующий властные иерархии.

* * *

Важность вклада местных сообществ в производство знания подчеркивается внутри недавно возникшей методологической программы по исследованию коренных народов (*Indigenous methodologies*), которая выросла из критики антропологии, социологии, истории и других дисциплин, изучающих коренных жителей разных регионов мира. Эта программа предлагает интеграцию разнообразных форм знания коренных народов в переосмысление доминирующих социальных, культурных, экономических и политических нарративов и, что самое важное, дает возможность коренным народам выступать субъектами производства знания [Denzin et al. 2008]. Несколько иначе это видно и в коллаборативной антропологии, когда приезжие исследователи вместе с чле-

нами сообществ производят знание, признавая равенство участия как репутационно — через соавторство, так и материально — через разнообразные формы оплаты проделанной работы [Gay Y Blasco, de la Cruz Hernández 2012; Lassiter 2005]. Эти относительно новые подходы к изучению коренных народов позволяют восстановить баланс в производстве знания, а при обращении антрополога к историческим материалам предшественников открывают перспективу восстановления голосов многочисленных ассистентов, переводчиков и принимающих хозяев, которые помогали и делились знанием с исследователями в поле и в дальнейшей переписке, но труд которых зачастую оставался незамеченным уже на стадии обработки полевого материала, а затем и в академических публикациях [Gibson, Gardner 2019; Sanjek 1993].

Более того, длительное сотрудничество исследователей и их собеседников-«информантов»¹ в поле могло приводить к близким отношениям, насыщенным эмоциональным измерением, которые продолжались после завершения полевых исследований². Такие отношения могли быть реципрокными, то есть включенными в практики взаимного обмена знанием, подарками, а порой и деньгами³. Реципрокность накладывала обязательства на участников акта обмена совершать ответные действия, поддерживая взаимный материальный и нематериальный обмен и тем самым поддерживая отношения как на расстоянии, так и во времени. Как отмечают антропологи, реципрокность в отношениях исследователей и их собеседников-«информантов» позволяла преодолевать различные формы исходного неравенства через материальную и нематериальную «отдачу» исследователей, проявляющуюся в виде «эмоциональной или практической поддержки, признания, информирования, заступничества, защиты, предоставления работы, денег или товаров» [Vacano 2019: 82], что в том числе критиковало идеалистические представления о деэкономизации отношений в полевой работе.

Эти теоретические наблюдения могут быть перенесены и на Советский Север. Известно, что приезжие исследователи, рассматриваемые в этой статье, попадали в сложившийся в многоэтничной таймырской тундре реципрокный круговорот товаров, вещей, еды, знаний — новостей, сказок, песен. В 1930-е годы у таймырских нганасан важным элементом перекочевков было гостевание у соседей как из своих родов, так даже и из других этнических групп, чьи стойбища могли быть на расстоянии в 100—200 километров. Гостевание означало также обмен подарками и оказание посильной помощи. Так, мясо и другие части убитых на охоте оленей могли быть использованы как дар с ожиданием равноценного подарка в будущем [Попов 1936: 38; 1948: 52; Хазанович 1983: 152—155]. В нганасанском языке многочисленные производные от глагола *мазайся* 'гостить' описывают различные виды гостевых отношений и обмена гостинцами и подарками [Костеркина и др. 2001: 93; Момде, Арон 1992: 7—12]. В говорке, таймырском пиджине на русской лексической основе, бывшем одним из основных языков межэтнического общения в эти годы, существовало слово для обозначения взаимопомощи — *пособка*. Однако этот реципрокный круговорот

-
- 1 Здесь и далее я использую термин «информанты» как исторический, существовавший в обиходе исследователей Севера XX века.
 - 2 См. о дружеских отношениях между исследователями и их «информантами» в: [Gay Y Blasco, De La Cruz Hernández 2012].
 - 3 См. социологическую интерпретацию дружеских отношений как практик обмена в: [Хархордин 2009].

продолжался и после поля, когда исследователи и их «информанты» обменивались письмами, посылками с вещами и могли передавать деньги (о письмах, включенных в реципрокный обмен, см.: [Besnier 1995]). Логика письма, требующая ответа от адресата, пересекалась с логикой реципрокности, требующей отдачи в будущем, что помогало поддерживать реципрокный диалог на расстоянии и во времени через письма. Как будет показано в этой статье, включенность исследователей или даже советского политического активиста в жизнь сообщества и реципрокные сети позволяла в какой-то степени нивелировать существовавшие формы эпистемического, социального и экономического неравенства, в том числе и через письма, которые делали исследователей зависимыми от знания их «информантов», а тех, в свою очередь, от социальных дивидендов от общения со «столичными» учеными.

Описывая этот реципрокный обмен, стоит сказать, что он, конечно, был погружен в советскую действительность. Это заметно и по терминам, вошедшим в нганасанский язык: *почта* и *письмо*, которые были заимствованы из русского и отсылают к элементам государственной инфраструктуры (см. контекст употребления в [Момде, Арон 1992: 47–50]). Но наряду с ними продолжили существование и другие, как, например, нганасанский термин *хоэър* для обозначения писем, а также термин говорки *падерка*, который прежде всего отсылал к письмам на бересте — практике, существовавшей на Таймыре и, шире, — в Сибири, задолго до русской колонизации. Советской в этой коммуникации была и включенность исследователей и нганасан в советские институты знания и власти, о чем подробнее будет написано ниже, а также само знание о советской действительности, передававшееся в том числе через письма.

Рассматриваемая в этой работе переписка затрагивает приблизительно тридцать лет советской истории: с конца 1930-х до начала 1970-х. Письма, о которых пойдет речь ниже, были отобраны и сохранены исследователями и попали в их архивы или публикации, поэтому среди них число писем, отправленных на Таймыр самими исследователями, относительно невелико. Можно предположить, что эти письма имеют нечеткую границу между частной и публичной сферами в силу их включенности в практики обмена, которые могли происходить среди более чем двух участников. Более того, попадая в архивы, письма становятся доступными другим исследователям. Работая с архивными письмами, я стараюсь решать этическую проблему приватности переписки, цитируя исключительно информацию на профессиональные темы (см. также: [Арзютов и др. 2024; Михайлин, Беляева 2016; Nader 2020]).

Герои настоящей статьи — знатоки нганасанской культуры и языка и советские просветитель, этнограф и лингвист. Материалы их переписки, взятые для анализа в этом исследовании, я сгруппировала следующим образом. Первая группа документов — это опубликованные дневники и заметки заведующей Красным чумом⁴ Амалии Хазанович за 1937 год, описывающие отношения с ее проводником, членом кочевого совета, а затем председателем колхоза Васептэ Асянду, а также отправленные Хазанович в конце 1960-х годов письма внучки Васептэ Даши⁵ Купчик. Вторая группа — письмо приблизительно конца

4 Красный чум — передвижной агитационно-образовательный пункт.

5 Здесь и далее при указании Даши Купчик используется уменьшительное имя Даша, которым она подписывала свои письма и которое, вероятно, было русифицированной версией ее нганасанского имени Дяси.

1950-х — начала 1960-х годов от бывшего председателя колхоза и оленевода Нумаку Чуначара к советскому этнографу Борису Долгих, а также полевые дневники этнографа из экспедиций 1938 и 1957 годов. Третья группа — письма между составителем нганасанского словаря Александром Челеевичем Момде, его супругой Анной Момде и лингвистом Натальей Терещенко во время их совместной работы над записью и переводом нганасанских фольклорных текстов в конце 1960-х годов. Эти три группы писем и сопутствующих дневниковых записей формируют структуру моей статьи. Совмещая обсужденные выше теоретические установки современной антропологии и результаты исследования нганасанских и таймырских представлений о реципрокности, я фокусируюсь на трех сюжетах: 1) переписке, показывающей реализацию советского модерного проекта по отношению к коренным народам Севера через личные отношения и охватывающей несколько десятилетий (переписка Асянду — Купчик — Хазанович); 2) переписке как форме экономического обмена (письма Чуначара к Долгих, а также Момде и Терещенко); 3) переписке как построению равного интеллектуального диалога (преимущественно письма Момде и Терещенко). В этой статье для меня также важен подход к переписке как способу передачи советских ценностей в форме реципрокного ответа (письма Купчик — Хазанович, Терещенко — Момде).

Васептэ Асянду, Даша Купчик и Амалия Хазанович

В конце своей книги 1983 года — очередного переиздания таймырских дневников — Амалия Хазанович, заведующая Красным чумом в Таймырской тундре, кочевавшая около шести месяцев с семьей нганасана Васептэ Асянду в 1937 году, публикует письмо:

Пишет вам Даша Купчик, дочь Хонгэ и Ачептэ. Когда я училась в школе, я много слыхала о вас от мамы и папы, особенно от бабушки Асянду Васептэ... Почтальон принес ваше письмо бабушке Асянду. Но наш Васептэ умер, и я решила вскрыть письмо.

Все обрадовались, когда узнали, что письмо от вас. Мама сказала: «Много лет прошло. Ама — Красный чум — нас помнит, напиши ей, пусть приезжает к нам» [Хазанович 1983: 201].

Далее в опубликованном письме Даша Купчик рассказывает о Васептэ Асянду и его родственниках, о своей учебе в медицинском институте в Красноярске, жизни колхоза, современных квартирах, радио, массовых праздниках, обучении молодых нганасан в школах. Приведя это письмо в своей книге, Хазанович сопровождает его следующим комментарием: «Чувство радости и гордости за этот маленький народ охватили меня. Нганасанка изучает философию!» [Там же: 202]. Этот эмоциональный комментарий — реакция Хазанович на результаты собственной работы по ликвидации безграмотности в таймырской тундре в 1930-е годы. То, что начиналось как проектирование советского будущего, к 1960-м годам превратилось в «новую жизнь» в тундре. Частным примером эффективности этой программы было проникновение письменных практик в повседневную жизнь нганасан, что показывало само это письмо. При этом изучение философии могло казаться Хазанович кульминационной точкой проекта просвещения.

«Северная эпопея» Амалии Хазанович, уроженки Иркутска, началась в декабре 1936 года, когда она, взволнованная новостями о гибели «Челюскина», выражала готовность посвятить себя работе на далеком Севере [Там же: 1]. Начала она свою работу в Красном чуме с долганами, но вскоре узнала об их соседях — нганасанах от ленинградского этнографа, уроженца Якутии Андрея Попова [Там же: 49—52; Хазанович 1939: 10—12]. Ее работа как заведующей Красным чумом предполагала среди прочего борьбу с неграмотностью [Плисова 2018: 171], которая была основана на идеологии превосходства письменного языка. Хотя этот процесс сопровождался политикой коренизации (поддержания кадров из числа коренного населения), ликбез предполагал не столько поддержание языкового разнообразия и множественных форм коммуникации, сколько создание стандартизированных форм местных языков (см.: [Ferguson 2017; Grenoble 2003; Siragusa 2018]). На Таймыре, помимо множества диалектов и говоров языков коренного населения, был распространен пиджин говорка, который мог восприниматься носителями стандартного русского языка как «ломаный» русский, требующий «исправления» [Урманчиева 2010; Хелимский 1987; Stern 2006]. Это языковое разнообразие заметно и в опубликованных дневниках Хазанович⁶.

На одном из долганских станков⁷, Исаевском, она встретила нганасана Васептэ Асянду, члена Вадеево-Нганасанского кочевого совета, деда упомянутой выше Даши Кучик, куда тот приезжал рассматривать журнальные иллюстрации и слушать патефонные пластинки. Хазанович помогла ему получить заем, а также произвела расчеты по перевозкам [Хазанович 1983: 52], что, вероятно, помогло ей уговорить Асянду взять ее в свое кочевье: «Ты член кочевого совета, передовой человек, должен первый показать пример и взять с собой на кочевье учителя. А польза будет большая, сам потом увидишь» [Хазанович 1939: 12]. В апреле 1937 года Асянду взял Хазанович в кочевой маршрут своей семьи, то есть стал ее проводником. Он был основным, а возможно, и единственным учеником Хазанович на стойбище. Его категорическим условием было: «Я старший в стойбище начальник, я буду учиться... Молодые не будут учиться. Нганасан такая вера» [Там же: 26]. За полгода работы с семьей Васептэ Асянду Амалия Хазанович обучала его русскому письму, а всех жителей стойбища — «гигиеническим» практикам, играла с детьми в мяч, рассказывала о жизни в Советском Союзе, проводила собрания в честь советских праздников. За это время она сблизилась с жителями стойбища. Обучение русской грамоте вместе с советским просвещением здесь важно для понимания письма Даши Купчик, написанного на стандартном русском языке, и той эмоциональной реакции, которую оно вызвало у Хазанович. Важен также и подход Хазанович к реализации советского современного проекта через обмен знанием на повседневном уровне:

Меня прислали сюда жить с вами вместе, работать с вами вместе. Буду спрашивать у вас, чего я не знаю, а вы все хорошо знаете: какая земля, по которой вы аргишите (кочуете), какие реки, озера встречать будем, какая рыба есть здесь, как постели выделывать, ну про всякую нганасанскую работу, которую я не знаю. А я буду учить вас грамоте, буду рассказывать о людях с Большой земли, о советской

6 Известно также, что Хазанович, будучи в тундре, отправляла своим «информантам» письма на бересте (падерка), используя пиктографическое письмо, а не алфавит, для передачи сообщения [Хазанович 1939: 17—18; 1983: 68].

7 Стоянка-стойбище на зимнем оленьем тракте от Дудинки до Хатанги [Дьяченко 2017: 74].

власти, о новом законе — Сталинской Конституции, о партии, о комсомоле, о колхозах, о пароходах и разных машинах [Там же: 20].

Упорство Хазанович в достижении своей цивилизаторской миссии, насколько мы можем судить по документам, не встретило протеста, как это бывало с просветителями, пытавшимися взаимодействовать с нганасанами в 1935 и 1936 годы [Там же: 11]⁸. И даже наоборот. Вот как о ней говорил Васептэ Асянду на привычной для него говорке (его слова передает Хазанович в своих опубликованных дневниках): «Ты беда умный человек, сила большая у тебя, будто не баба, а мужик ты. Век одну, самую правильную говорку гоняешь». «Сильная баба» в устах Васепте звучала как признание моего авторитета» [Там же: 45—46]. Насколько признание статуса Хазанович нганасанами соответствует действительности, сказать трудно, но оно повторялось и в более поздних публикациях уже биографов Хазанович [Чукова 1990: 57], а также в архивном оригинале письма Даши Купчик: «Пишу письмо не только от себя, но и от нганасанского народа. Они меня попросили написать Вам письмо... Нганасаны говорят Ама четоа няга Нанаса [Ама — хороший человек]. Передают большой привет и желают долгих лет жизни»⁹. Этот вероятный успех был не столько победой «советского» над «отсталостью», сколько коммуникативным успехом Хазанович, которая, проведя много лет в таймырской тундре и поняв многое в социальных и экономических отношениях внутри местных сообществ, смогла доказать важность и нужность собственного присутствия и, как следствие, оправдать приход советской власти на Таймыр.

Более того, история Амалии Хазанович и Асянду Васептэ также показывает, что члены местных сообществ, знакомясь с приезжими просветителями и учеными, уже были включены в советскую систему управления на местах и, сотрудничая с ними, получали дополнительные социальные дивиденды. Васептэ Асянду был членом кочевого совета и на первой встрече с Хазанович говорил о весеннем плане грузоперевозок [Там же: 12]. Она обращалась к нему: «Ты хорошо знаешь русское слово, ты член кочевого совета, самый большой начальник здесь» [Там же: 20]. Кочевание с Хазанович, ее деятельность по советскому просвещению и изменению жизни в тундре как заведующей Красным чумом повлияли на Асянду, который, во многом благодаря этому влиянию, стал председателем правления промыслово-охотничьего товарищества «Путь Ильича», собрание по организации которого проводила сама Хазанович [Там же: 47].

В поздней редакции своих дневников Амалия Хазанович описывает встречу и диалог с Васептэ Асянду на Таймыре по прошествии многих лет (за десятилетие до письма Даши Купчик):

— Как живешь? Я тебя более десяти лет не смотрел, а ты, однако, совсем не менялась, пошто так? ...

— Васептэ, ты лучше Расскажи, как сам живешь, как здоровье?

— Я живу трудно. Колхоз работа большая: план пушнины большой, опять рыбы. Оленей надо беречь... Тебя хорошо помнят. Век спрашивают, бывает, я тебя

8 Ср. также с более поздними случаями отторжения такой политики со стороны чукчей [Михайлова 2015].

9 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 682. Оп. 1. Д. 43. Л. 22, 22 об. Хазанович Амалия Михайловна — метеоролог. 1912—1986. Письма от Д. Купчик. 1964—1971. Письмо от 9 мая 1964 года.

видал. Теперь всем скажу: видал, близко видал. Ты почему нас забыла, не едешь к нам? Приезжай, гостевать будешь, сама всех посмотришь [Хазанович 1983: 200].

Прощаясь с Асянду, Хазанович дала ему свой адрес на случай, если он будет в Москве, и пригласила в гости, используя конструкцию говорки: «бывает», «быват» (может быть): «Бывает, в Москву прилетишь, обязательно заходи» [Там же]. До Москвы Асянду не доехал, но адрес, по всей видимости, оказался полезным для дальнейших писем уже его внучки Даши Купчик, с цитаты из которых я и начала эту часть статьи. При этом следует отметить, что Хазанович значительно отредактировала письма Купчик, соединив вместе несколько писем, которая та писала Хазанович в течение восьми лет с 1964 по 1971 год¹⁰. В обобщенном опубликованном письме Хазанович собрала факты, которые были важны в первую очередь ей самой: близкие отношения с нганасанами, влияние ее работы на образовательные проекты на Таймыре и новый советский быт тех, кто уже перешел на оседлый образ жизни. Этим «письмом» она как бы подводила итоги своей работы в 1930-е годы.

Опубликованное Хазанович письмо Даши Купчик вобрало в себя более чем тридцатилетнюю историю советского проекта с его видением будущего в попытке изменить жизнь коренных народов Севера. На уровне же личных коммуникаций советский проект реализовывался через близкие отношения советских активистов с коренными жителями тундры, сопровождавшиеся обменом знанием и эмоциями, в том числе и в письмах. Через эмоциональную составляющую может быть рассмотрен и памятник Хазанович конца 1980-х годов в таймырском поселке Новая в виде конической стелы с надписью:

Мы пришли к тебе, Ама, нганасаны — твои друзья,
Нам отцы передали, что должна ты вернуться сюда.
Мы хотим твои мысли превратить в добрый долгий рассказ,
На саях наших быстрых унести твой последний наказ¹¹.

Этот памятник, как и его послание, также встраивается в цепочку реципрокных отношений. Фразы «вернуться сюда» и «твой последний наказ» отсылают к последней «отдаче» Хазанович полю: урна с прахом инструктора Красного чума была отправлена на Таймыр и на вертолете повторила маршрут ее аргиша-кочевья с нганасанами над таймырской тундрой, затем была помещена в нишу этого памятника [Чукова 1990: 62].

Нумаку Чунанчар и Борис Долгих

В архиве советского этнографа Бориса Осиповича Долгих хранится письмо от нганасана Нумаку Чунанчара¹², написанное карандашом на двух пожелтевших тетрадных листах и датированное предположительно концом 1950—1960-х годов:

10 Там же.

11 См.: [Чукова 1990: 62], а также: Поездка в Новую. 2021. 22 марта // <https://хатанга.рф/novosti/284-poezdka-v-novuyu.html> (дата обращения: 10.08.2024).

12 Научный архив Института этнологии и антропологии Российской академии наук (НА ИЭА РАН). Фонд Долгих. Папка 2.

Здравствуйте, мой наилучший друг Борис Осипович. С приветом к вам Нумаку. Я нашел то, что вы искали (дяли¹³), по нашему (сатари бонга дяли¹⁴) я его нашел на берегу, его редко находят люди. Я его нашел 8 августа.

Я еще забыл вам сказать о так как жили люди, прошлые времена.

Быль → (написано на полях, за линией красной строки. — М.М.) Раньше жили люди, у них не было пищи, ничего. И таки помирают. Кто оствовался живым, тот шаманил шаман, на добичи пищи...¹⁵.

Борис если вы даёте деньги то пошлите с Егором.

Я рассказал вам (Быль)¹⁶

Несмотря на неопределенность даты письма, оно позволяет мне все-таки рассмотреть контекст реципрокного диалога между исследователем и его «информантом». Написанное явно после окончания полевых исследований, письмо показывает, что интеллектуальные и экономические отношения, возникшие, как будет показано ниже, в поле, продолжались и после него. Передача денег за информацию или вещи через запрос в письме как часть реципрокного диалога будет в центре моего анализа в этой части статьи.

Прежде чем перейти к собственно анализу, отмечу, что, как и в истории с письмами, отправленными Амалии Хазанович, мы наблюдаем, как местные корреспонденты умело использовали несколько языков: русский стандартный язык, нганасанские термины для обозначения традиционных вещей или для описания отношений (как в письме Купчик), а также говорку при пересказе «были». При чтении «были» сперва возникает ощущение, что в тексте есть ошибки, но Чунанчар скорее сохраняет особенности устной речи на пиджине, например используя фразу «таким помирают», что показывает его чувствительность к языковым регистрам и переключение между ними.

Отношения между Борисом Долгих и Нумаку Чунанчаром начались по крайней мере с 1938 года, когда Чунанчар был проводником Долгих во время экспедиции¹⁷. К этому времени Долгих уже был довольно опытным полевым исследователем (см. его биографию: [Вайнштейн 2002]) после участия в проведении первой приполярной переписи 1926 и 1927 годов, собиравшей сведения о социально-экономическом положении жителей отдаленных районов Сибири [Андерсон 2005]. Одной из основных задач переписи был сбор информации об этнической идентичности населения Севера с целью выстраивания дальнейшей национальной политики (см.: [Хирш 2022]). Государственный статист Борис

13 Дялы (нганасан.) — круглая подвеска, украшение [Костеркина и др. 2001: 54].

14 Сатара-бонка (нганасан.) — Песцовая нора. Название одной из «поколок» на реке Таймыра — «постоянных мест переправы через реку вплавь диких оленей, где нганасаны кололи этих животных копытами с челноков» [Долгих, Файнберг 1960: 16].

15 Далее следует история о том, как шаман сначала сказал людям смешивать снег с водой, чтобы получать жир. Но без шамана это превращение не работало. После этого шаман сказал людям ловить куропадок. С тех пор охотники сами находят добычу.

16 Сохранены орфография и пунктуация оригинала.

17 Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ). О/ф 7886/216. Долгих Б.О. Дневник поездки 1938—1939 года. Тетрадь 9. 31.08.1938—07.10.1938. Л. 35. 25 сентября 1938 года.

Долгих, увлекшийся сложностью этнической мозаики Сибири, превратился из переписчика в крупного сибирского этнографа и собрал в 1920—1930-е годы огромный корпус материалов для своих будущих работ по этническому составу и этнической истории народов Севера и Сибири [Долгих 1929; 1949; 1960].

Этнографическая экспедиция Бориса Долгих 1938 года, где он сблизился с Чунанчаром, была во многом продолжением его этноисторических увлечений 1920-х годов. Он интересовался фольклорными текстами и их жанровыми особенностями, целенаправленно ездил от стойбища к стойбищу в поиске «сказок» и «легенд». Запись из дневника этнографа от 8 октября 1938 года: «Пошел в чум Кими и Тоно. Там насилу достал 4 плохоньких сказки, затем вернулся обратно. Вечером Полемптэ сын Дюрюкири (неразборчиво. — М. М.) рассказал прекрасную легенду оленекского типа через переводчика Нере»¹⁸. Вероятно, Долгих характеризует сказки как «плохонькие», потому что они не давали ему достаточно информации для реконструкции прошлого нганасан, в отличие от «прекрасных» легенд, которые он мог использовать для «восстановления» исторических событий.

Зная об увлечении Долгих историческими нарративами, Нумаку Чунанчар не случайно использует термин «быль» в письме для классификации своего небольшого и, возможно, недостаточно информативного текста. Тем самым он продолжал «удаленно» помогать Долгих в сборе и классификации материала по миграциям нганасан в период до российской колониальной экспансии на Таймыр в XVII веке [Долгих 1960: 133]. Краткость записи «были» в письме Чунанчара может быть объяснена тем, что он не был большим знатоком фольклора, работая председателем местного колхоза, что и сделало его одним из проводников Долгих. Вот как о нем отзывался коллега Долгих, ездивший с ним в экспедиции, Лев Файнберг:

Часто к нам заходил и Нумаку Чунанчар, симпатичный старик с добрыми глазами и неизменной трубкой в зубах. В отличие от Атакая [Турдагина], он неважно разбирался в фольклоре¹⁹, но зато мог досконально рассказать об организации колхоза у нганасан, первым председателем которого он когда-то был [Файнберг 1962: 428—429].

Обращение Долгих к председателю колхоза стать проводником в полевых исследованиях сначала в 1938 году и позже в 1950-е, вероятно, было неслучайным. Репрессированный в 1929 году и отбывший четырехлетнюю ссылку Долгих, возможно, выбирал «официальный» путь вхождения в поле, чтобы обезопасить себя. Взамен он делился с Нумаку Чунанчаром «правильным» знанием о советских вождях, что было полезно для построения советской карьеры. Запись в полевом дневнике Долгих от 28 сентября 1938 года: «Еду рядом с Нумаку, он расспрашивает о биографии Ленина и Сталина. Когда они родились. Когда умер Ленин. Отчего он умер. Проверяет свои данные о гражданской войне»²⁰.

18 Там же. Л. 1.

19 Тем не менее 16 августа 1961 года Долгих записал от Нумаку Чунанчара два небольших повествования в поселке Усть-Боганида под заголовками «Глупый Хосю» и «Шаман надя-нюо» (см.: НА ИЭА РАН. Фонд Долгих. Папка 2).

20 ККМ. О/ф 7886/216. Долгих Б.О. Дневник поездки 1938—1939 года. Тетрадь 9. 31.08.1938—07.10.1938. Л. 47. 28 сентября 1938 года.

В архивных материалах экспедиции 1957 года есть также указание, что Чунанчар был не только проводником, но вместе с другими нганасанами был вовлечен в планирование хода экспедиции²¹. Это лишь один фрагмент из дневника Бориса Долгих (запись 2 августа 1957 года): «Беседовал с Нумаку, Ере и Дюдуме о задачах, стоящих перед нашей экспедицией (новое и старое²²), подарил Нумаку трубку»²³. Подаренная одному лишь Нумаку трубка из Москвы могла означать более близкие отношения между ними, которые сложились еще в предыдущих экспедициях этнографа. Долгих, конечно, знал, что курительные трубки были важным элементом нганасанской повседневности и символической культуры [Попов 1936: 28, 33]. Вероятно, совместная работа, обмен подарками и взаимная помощь стали тем важным обстоятельством, которые сделали Долгих «наилучшим другом» для Чунанчара, как тот обращается к нему в письме. Коллеги Долгих вспоминали, что Нумаку Чунанчар действительно считал Долгих близким человеком и, зная о скором приезде этнографа, мог подолгу ждать его у берега реки [Любовцев, Симченко 1968: 209—210]²⁴.

Вернемся к письму. Как человек, знавший интересы Долгих и его полевые практики, он, вероятно, осознавал важность этнографической «были» и информации о вещах²⁵ для Долгих. Вероятно, это знание и дружеские отношения с этнографом позволили ему поднять вопрос об оплате. Стоит сказать, что сам Долгих в своих экспедициях в 1930-е годы с прилежностью бухгалтера документировал финансовые расходы, среди статей которых была и оплата «за сказки», что составляло почти десятую часть его экспедиционного бюджета²⁶. Продолжал он это делать и позже, в 1958 году²⁷, что говорит об устоявшейся практике экономических отношений между этнографом и его «информантами», а позже и корреспондентами.

С одной стороны, мы можем интерпретировать эти отношения как превращение местных нарративов и традиционных вещей в ликвидный товар на возникшем рынке отношений между исследователями и «информантами», несмотря на то что этот рынок функционировал внутри социалистической экономики. С другой стороны, стоит иметь в виду, что практика одаривания сказителя или же выделения на него пая, например после охоты, была широко распространена среди сибирских охотников. В обеих логиках вопрос об оплате со стороны Нумаку Чунанчара, был вполне легитимен.

Несмотря на присутствие прямого экономического обмена в полевой практике советских этнографов, мне бы хотелось рассмотреть просьбу денег в контексте письма как встроенную в более широкий реципрокный обмен и институт взаимопомощи. Это подтверждают полевые наблюдения сибирских антропологов. Джон Зайкер, работавший на Таймыре в 1990-е годы, пишет о практиках неформального обмена и взаимопомощи у долган и нганасан в среде друзей

21 НА ИЭА РАН. Ф. 44. Оп. 3. Д. 1063. Северная экспедиция. Таймырский отряд. Долгих Б.О. Дневник № 1. 31.07.1957—25.08.1957. Л. 2 об.

22 Сравнивать новый и старый быт.

23 Там же. Л. 3 об.

24 См. также дневниковую запись самого Долгих: Там же. Л. 2 об.

25 Возможно, артефакт «дяли» также был передан Долгих вместе с письмом.

26 ККМ. О/ф 7886/216. Тетрадь 9. 31.08.1938—07.10.1938. Л. 88. Долгих Б.О. Дневник поездки 1938—1939 года. 6 октября 1938 года.

27 НА ИЭА РАН. Ф. 44. Оп. 3. Д. 1063. Л. 99—100. Северная экспедиция. Таймырский отряд. Долгих Б.О. Дневник № 1. 31.07.1957—25.08.1957.

или родственников через распределение добытого мяса и рыбы, помощи деньгами или услугами [Ziker 2002: 120]. Ненецкий антрополог Елизавета Яптик отмечает, что обмен оленя на нарту приобретает черты дарообмена в случае близких отношений участников акта обмена. Эта же логика работает и при замещении объектов натурального обмена деньгами. Так, покупка у знакомого продавца может быть осуществлена по более низкой цене или даже в долг [Яптик 2023: 97]. Упоминание денег в письме Нумаку Чунанчара также может быть рассмотрено с точки зрения института взаимопомощи между сблизившимися людьми. Автор письма не устанавливает сумму, которую просит, и напрямую не связывает деньги с «быльё» или артефактами. «Если вы даёте деньги» может означать, что если в качестве реципрокного ответа этнограф выбирает деньги, то их нужно будет послать с человеком, упомянутым в письме.

Эта многослойная история достаточно скупого письма Нумаку Чунанчара Борису Долгих открывает перед читателем зафиксированное в письменной форме сложное переплетение социальных и экономических отношений как внутри коренных сообществ на Таймыре, так и с приезжими этнографами в реципрокном диалоге. Вовлеченность в экономические обмены, а также присутствие государства в отношениях между исследователями и членами сообществ, которые зачастую невидимы в опубликованных текстах советских этнографов, раскрывается в уцелевших фрагментах переписки или кратких технических записях, как правило, сохранившихся на последних страницах полевых дневников.

Александр и Анна Момде и Наталья Терещенко

В архиве лингвиста Натальи Митрофановны Терещенко, известной своими многочисленными работами по ненецкому и нганасанскому языкам и фольклору, сохранилось несколько писем, полученных ею от нганасан, а также копий ее ответных писем. Обмен этими письмами происходил, когда Терещенко уже прекратила свою активную полевую работу²⁸ и обрабатывала полевые записи прошлых лет, превращая их в академические статьи и монографии. Эта трансформация полевых материалов в академические тексты, которую я обсуждала в самом начале статьи, зачастую нивелировала голоса из поля. Однако сохранившиеся письма после поля позволяют увидеть, насколько точность лингвистического перевода и интерпретации текстов лежали на плечах не только лингвистов, но и их «информантов», а точнее — корреспондентов. Вместе с этим они показывают роль переписки в темпоральном и пространственном расширении поля, в котором исходное властное неравенство постепенно перерастало в более сложные отношения взаимных симпатий и даже зависимости.

28 Во время полевой работы на Таймыре в 1961 и 1962 годах по составлению грамматики нганасанского языка Наталья Терещенко уже работала с Александром Момде, уточняя фонемный состав языка по произношению своего «информанта» [Терещенко 1979: 26], а также с упомянутой выше Дашей Купчик, которая взамен училась у Терещенко письменной записи нганасанского языка: «Буквы на нганасанском языке знаю. Их узнала от Натальи Митрофановны Черещенко (так в тексте. — М.М.)...» (РГАЭ. Ф. 682. Оп. 1. Д. 43. Л. 22 — 22 об. Письмо Даши Купчик к Амалии Хазанович от 9 мая 1964 года).

В архиве Терещенко хранится несколько сказок на нганасанском языке, в том числе полученных, вероятно, по почте. Переписка между семьей Александра и Анны Момде и Терещенко представляет собой фрагмент долгого письменного диалога на профессиональные темы с уточнением переводов и терминологии в этих сказках²⁹. Этот диалог также раскрывает многослойность полувековой истории образования коренных народов Севера и Сибири в Институте народов Севера (основан в 1925 году) при Педагогическом институте имени А.И. Герцена в Ленинграде, внутри которого формировалась «северная интеллигенция», где Терещенко работала в 1930-е годы, а Момде учился в 1960-х годах, вероятно, по протекции и рекомендации Терещенко³⁰, но был призван в армию. После демобилизации он ушел из института, но продолжил работу с нганасанским языком и сбором фольклора в тесном контакте с Терещенко и стал автором словарей нганасанского языка [Костеркина и др. 2001; Момде, Арон 1992] и создателем рубрики на нганасанском языке в газете «Советский Таймыр»³¹.

Бывшие студенты Института народов Севера продолжали поддерживать отношения с преподавателями, выступая для последних своеобразным «ближайшим полем», по выражению лингвиста Марины Люблинской [Люблинская 2006]. История Момде и Терещенко может служить иллюстрацией отношений такого рода, несмотря на то что Терещенко и не была его формальным учителем. Идея «ближайшего поля» в нашем случае может быть рассмотрена и как близкие отношения исследователей и «информантов», проявлявшиеся в эмоциональной поддержке в письмах, о которой будет сказано ниже, и совместном проживании во время работы с языковым материалом³². Этот исторический и биографический контекст позволяет лучше понять переписку Терещенко и Момде как письменный диалог учителя и ученика, в котором передача знания перестает быть однонаправленным вектором, и знания ученика оказываются очень важны для учителя в том числе для публикации монографии по грамматике нганасанского языка [Терещенко 1979].

В этой переписке работа шла над корпусом сказок, которые должны были быть опубликованы приложением к книге, возможно, к упомянутой грамматике, но так и не были опубликованы: «К книжке приложим самые интересные сказочки и словарик. Тогда будет хорошая работа, и от нас с тобой останется какая-то память — не зря проживем на свете»³³. Для этого постараемся реконструировать ход этой работы. Сначала Александр Момде прислал текст сказки на нганасанском языке в рукописи, Наталья Терещенко ее перепечатала и попросила добавить перевод, проверить текст и обратить внимание на расстановку специальных фонетических знаков:

29 Нельзя исключать, что часть из этих писем были неотправленными черновиками.

30 Наталья Терещенко познакомилась с Александром Момде, когда тот учился в 10-м классе школы поселка Волочанка на Таймыре. С тех пор он стал ее «информантом», позже в этой роли стала выступать и его жена Анна Алексеевна Момде [Люблинская 2002: 564].

31 Родная речь. Нэтуямьэ сиэде // Советский Таймыр. 1993. 4 августа.

32 В конце 1970-х годов семья Момде жила у Натальи Терещенко в Ленинграде во время работы над грамматикой нганасанского языка (личное сообщение Марины Люблинской).

33 Институт лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН). Фонд Терещенко. Оп. 1. Д. 62. Л. 47. Письмо от 5 мая 1969 года.

Саша! Посылаю тебе твою сказочку. Она очень интересная и записана хорошо. Но в ней нигде не поставлены «перевертки»³⁴, почти нет гортанных смычных. Я их наставила много, возможно и там, где не надо. Мне трудно отделить дифтонги от двух гласных, разделенных гортанным. Наверное, есть невыправленные опечатки. В общем, проверь, пожалуйста, самым внимательным образом и исправь все, что надо.

К сказке надо дать точный перевод, по возможности переведа каждое слово. Там, где будет получаться непонятно, в скобках надо дать перевод по смыслу...

Впрочем, ты ведь сам хорошо знаешь, как надо делать³⁵.

Работа над сказкой растянулась на долгий период и стала одной из главных тем переписки, сопровождаемой просьбами тщательной перепроверки: «Сегодня получила сразу три твоих письма. Пишешь, что не проверил в сказке “перевертки” и “лягушки”. А ведь это очень важно. Посылаю тебе текст обратно»³⁶. Ожидание писем беспокоило Терещенко: «Очень долго идет почта даже авио (sic!). Отправила я свое письмо 14 февраля. Следовательно, в оба конца ровно месяц. Вот это космическая скорость!»³⁷, — поэтому она давала инструкции на случай перебоев в почтовой логистике: «Если будет плохо ходить почта, пожалуйста, работай самостоятельно. Запиши старательно две-три сказки (сколько успеешь) с точным обозначением звуков и с дословным переводом на русский язык (где надо, с пояснениями)»³⁸.

Отвечая на запросы лингвиста, порой Александру и Анне Момде приходилось проводить самостоятельный анализ материалов и полевые исследования среди своих родственников и знакомых. Например, сравнивать этноботаническую терминологию русского и нганасанского языков при переводе русского текста на нганасанский. Момде писал: «...некоторые слова не переводятся, например... “толстым вязом” — такого дерева у нас нет, и, следовательно, и перевода нет. Написал дербайка”а мунку — толстое дерево»³⁹. Схожий эпистолярный прием использовался Терещенко при запросе описаний нганасанской системы родства и имянаречения, информация о которой была использована в работе об именах нганасан [Терещенко 1971]⁴⁰.

Помимо профессиональной работы над языковыми материалами, этим письмам сопутствовал обмен. Из письма мы узнаем, что, как и в случае с трубкой, подаренной Долгих Чуначару, Наталья Терещенко отправляла вещи, нужные на Севере, такие как солнцезащитные очки⁴¹ или ручки: «Хорошо, что ты доволен ручками. Солнечные очки вышли в ближайшие дни. Кажется, они

34 В письмах используются два термина — «перевертки» и «лягушки», которые, по всей видимости, относятся к специальным фонемам нганасанского языка, таким как э, џ, или з. Текст на нганасанском языке лингвист набирала на обычной машинке, а специальные фонемы проставляла ручкой.

35 ИЛИ РАН. Фонд Терещенко. Оп. 1. Д. 62. Л. 46. Письмо от 14 марта 1969 года.

36 Там же. Л. 47. Письмо от 5 мая 1969 года.

37 Там же. Л. 45. Письмо от 14 марта 1969 года.

38 Там же. Л. 47. Письмо от 5 мая 1969 года.

39 ИЛИ РАН. Фонд Терещенко. Оп. 1. Д. 59. Л. 9. «“Лисичка”. Перевод сказки на ненецкий и нганасанский языки».

40 ИЛИ РАН. Фонд Терещенко. Оп. 1. Д. 62. Л. 48—52. Письмо от 5 мая 1969 года.

41 Отмечу, что традиционно нганасанские охотники использовали очки из кожи, похожие на маску, со вставленными круглыми медными пластинами с горизонтальными прорезями [Попов 1936: 32].

есть в магазинах»⁴². Солнцезащитные очки были необходимы в заснеженной тундре при ярком весеннем солнце, а шариковые ручки незадолго до этого запущенные в производство были в дефиците в местных магазинах.

В письмах мы видим и заботливую наставническую риторику, касающуюся поведения в повседневной профессиональной жизни: «Конечно, у тебя все еще впереди. Но жизнь проходит быстро. Не успеешь оглянуться, как уже подошли зрелые годы, а потом и старость. Поступать обдуманно надо с молодых лет»⁴³; а также обсуждение эмоций: «Не обижайся, я ведь хочу тебе только добра... Вообще ничего не следует делать сгоряча. Надо спокойно обдумать, а уже потом принимать решения»⁴⁴. Заканчиваются письма упоминанием супруги Анны и ее помощи в работе над языковыми материалами: «Очень рада, что у нас с тобой появилась еще помощница. Передай от меня большой привет Ане. Думаю, что мы с ней подружимся»⁴⁵. Обмен благодарностями друг другу за профессиональную работу в публикациях Терещенко и Момде также может быть рассмотрен как часть реципрокного диалога [Момде, Арон 1992: 3; Терещенко 1979: 13].

Наталья Терещенко, как Хазанович и Долгих, также не прекращала советской агитационной деятельности и эмоционально наставляла в письме своего ученика Александра Момде в том, как лучше вести себя в построении профессионального пути после службы в Советской армии: «В армии ты зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Делай также и на “гражданке”»⁴⁶; в том числе на партийной службе: «Бороться с непартийностью в рядах партии необходимо, но только не такими способами (не эмоциональными опрометчивыми заявлениями. — М. М.)»⁴⁷. Советская биография Александра Момде включает в себя и работу в Красном чуме, где он начал интересоваться этнографией и фольклором нганасан⁴⁸. Обсуждения политической карьеры в письмах, вероятно, повлияли на судьбу и супруги Александра — Анны Момде, которая была учительницей нганасанского языка в начальной школе и членом КПСС, а также имела опыт работы инструктором Красного чума в 1960—1970-е годы, заведующей партийной библиотеки в Волочанке и своей деятельностью заслужила репутацию ответственного парторга⁴⁹. Спустя многие годы она будет переосмысливать свой советский опыт, и это станет поводом ее сотрудничества с ненецким и финским режиссерами-документалистами Анастасией Лапсуй и Маркку Лехмускаллио, которые снимут о ней фильм «Анна» (1997)⁵⁰.

* * *

В основе настоящей статьи — три истории переписки между исследователями и их знакомыми-нганасанами. В них мы находим свидетельства диалогов, об-

42 ИЛИ РАН. Фонд Терещенко. Оп. 1. Д. 62. Л. 47. Письмо от 5 мая 1969 года.

43 Там же. Л. 45. Письмо от 14 марта 1969 года.

44 Там же.

45 Там же.

46 Там же. Л. 46. Письмо от 14 марта 1969 года.

47 Там же.

48 Порбина Л. Жила такая пара... // Таймыр. 2013. 30 мая. Заметка опубликована в рубрике «Нам пишут».

49 Там же.

50 <https://doclisboa.org/2023/en/filmes/anna/> (дата обращения: 27.07.2024).

мена знанием и эмоциями, сведения об экономических обменах. Однако внимательное прочтение этих позднесоветских писем позволяет понять, насколько важную (хотя и не всегда очевидную) роль в производстве знания играли исследуемые представители коренных народов, а их взаимодействие со столичными учеными было встроено в советскую инфраструктуру производства знания. В литературе, посвященной советскому нацистроительству, фигура этнографа обычно занимает важное место [Андерсон 2004]. При этом, как я показала выше, собеседники-«информанты» этнографов остаются невидимыми, несмотря на активное участие в организации исследований и поддержании жизни советских институтов на местах.

Конечно, помощь исследователям, как и вовлеченность «информантов» в советское государственное управление, не была одинаково обязательной и повсеместной на протяжении советской истории. Николай Вахтин и Елена Лярская показывают в своей статье в настоящей подборке, насколько разнообразными были отношения в сибирском и северном поле в 1920—1930-е годы, а Елена Михайлова на примере советского этнографа Варвары Кузнецовой описывает сопротивление чукчей приезжему исследователю, навязывающему советские правила поведения и говорения в 1950-е годы [Михайлова 2015]. Однако три случая, проанализированные в тексте, дают примеры устойчивых реципрокных связей. Из переписки этнографа, лингвиста, советского активиста и их «информантов» нганасан мы можем выявить сложные системы обмена и взаимных обязательств, которые формируют социальные отношения во время полевой работы и после ее окончания в условиях разворачивания советского современного проекта, социального неравенства и подавления языкового и культурного разнообразия.

Реконструируя микроуровень коммуникации, мы можем видеть письма как сложные инструменты коммуникации, включавшие в себя помимо прочего отношения обмена и эмоциональное измерение, а кроме того, преодолевшие властные асимметрии. Во всех трех историях это особенно заметно на примере языка, которым пользовались корреспонденты. Письма, в отличие от публиковавшихся в это же время этнографических работ, содержали большее языковое разнообразие, поскольку включали в себя отрывки на нганасанском языке и пиджине говорке. Стандартный русский язык выступал в письмах не языком подавления локальных языков, а средством их описания и передачи значений слов русскоязычным исследователям, не владеющим нганасанским языком на уровне их собеседников. Вместе с этим письма были не только одним из инструментов в инфраструктуре производства академического знания, но и проводниками знания политического. Для представителей коренных народов переписка с исследователями и советскими активистами становилась в том числе инструментом поддержания престижа и даже построения карьеры, а вместе с этим адаптации и «выживания» внутри советской системы.

Таким образом, исследование писем на разных уровнях — языка, содержания, сопутствующих практик обмена и гостевания, а также их включенности в советскую инфраструктуру — раскрывает те множественные точки пересечения линий жизни исследователей и их собеседников-«информантов», которые в конечном счете, как пишет Дмитрий Арзютов, неотделимы друг от друга в истории антропологии [Arzyutov 2024].

Библиография / References

- [Андерсон 2004] — *Андерсон Д.Дж.* Б.О. Долгих и Приполярная перепись 1926—1927 гг. Статистика на службе у государственной этнографии // *Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее: Материалы международной научно-практической конференции: В 2 ч. Ч. 1* / Отв. ред. Н.П. Макаров. Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2004. С. 21—40.
- (*Anderson D.G.* B.O. Dolgikh i Pripolyarnaya perepis' 1926—1927 gg. Statistika na sluzhbe u gosudarstvennoy etnografii // *Etnosy Sibiri. Proshloe. Nastoyashchee. Budushchee: Materialy mezhdunarodno nauchno-prakticheskoy konferentsii: In 2 pts. Pt. 1* / Ed. by N.P. Makarov. Krasnoyarsk, 2004. P. 21—40.)
- [Андерсон 2005] — *Андерсон Д.Дж.* Туруханская экспедиция Приполярной переписи 1926—27 гг. на перекрестке двух научных традиций // Туруханская экспедиция Приполярной переписи: этнография и демография малочисленных народов Севера: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Д.Дж. Андерсон. Красноярск: Поликор, 2005. С. 7—33.
- (*Anderson D.G.* Turukhanskaya ekspeditsiya Pripolyarnoy perepisi 1926—27 gg. na perekrestke dvukh nauchnykh traditsiy // *Turukhanskaya ekspeditsiya Pripolyarnoy perepisi: etnografiya i demografiya malochislennykh narodov Severa: Sb. nauch. trudov* / Ed. by D.G. Anderson. Krasnoyarsk, 2005. P. 7—33.)
- [Арзютов, Кан 2013] — *Арзютов Д.В., Кан С.А.* Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // *Этнографическое обозрение*. 2013. № 6. С. 45—68.
- (*Arzyutov D.V., Kan S.A.* Kontseptsiya polya i polevoy raboty v ranney sovetskoj etnografii // *Etnograficheskoe obozrenie*. 2013. No. 6. P. 45—68.)
- [Арзютов и др. 2024] — *Арзютов Д., Кан С., Сирагуза Л.* Res Publica Literaria Франца Боаса, или как построить транснациональную антропологию с помощью писем // *Новое литературное обозрение*. 2024. № 189. С. 10—27.
- (*Arzyutov D., Kan S., Siraguzha L.* Res Publica Literaria Frantsa Boasa, ili kak postroit' transnatsional'nyu antropologiyu s pomoshch'yu pisem // *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2024. No. 189. P. 10—27.)
- [Вайнштейн 2002] — *Вайнштейн С.И.* Судьба Бориса Осиповича Долгих — человека, гражданина, ученого // *Репрессированные этнографы* / Отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М.: Восточная литература, 2002. С. 284—307.
- (*Vaynshteyn S.I.* Sud'ba Borisa Osipovicha Dolgikh — cheloveka, grazhdanina, uchenogo // *Repressirovannye etnografy* / Ed. by D.D. Tumarkin. Moscow, 2002. P. 284—307.)
- [Долгих 1929] — *Долгих Б.О.* Население полуострова Таймыр и прилегающего к нему района // *Северная Азия*. 1929. № 2. С. 49—76.
- (*Dolgikh B.O.* Naselenie poluostrova Taymyr i prilegayushchego k nemu rayona // *Severnaya Aziya*. 1929. No. 2. P. 49—76.)
- [Долгих 1949] — *Долгих Б.О.* Родовой и племенной состав народностей Севера Средней Сибири // *Краткие сообщения Института этнографии*. 1949. № 5 (1). С. 71—85.
- (*Dolgikh B.O.* Rodovoy i plemennoy sostav narodnostey Severa Sredney Sibiri // *Kratkie soobshcheniya Instituta etnografii*. 1949. No. 5 (1). P. 71—85.)
- [Долгих 1960] — *Долгих Б.О.* Родовой и племенной состав населения Сибири в XVII в. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.
- (*Dolgikh B.O.* Rodovoy i plemennoy sostav naseleniya Sibiri v XVII v. Moscow, 1960.)
- [Долгих, Файнберг 1960] — *Долгих Б.О., Файнберг Л.А.* Таймырские нганасаны // *Современное хозяйство, культура и быт малых народов Севера* / Ред. Б.О. Долгих. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.
- (*Dolgikh B.O., Faynberg L.A.* Taymyrskie nganasany // *Sovremennoe khozyaystvo, kul'tura i byt malyykh narodov Severa* / Ed. by B.O. Dolgikh. Moscow, 1960.)
- [Дьяченко 2017] — *Дьяченко В.И.* «Большая русская дорога» — территория этнокультурного взаимодействия на Таймыре // *Социальные отношения в историко-культурном ландшафте Сибири* / Отв. ред. В.Н. Давыдов. СПб.: МАЭ РАН, 2017. С. 72—135.
- (*D'yachenko V.I.* "Bol'shaya russkaya doroga" — territoriya etnokul'turnogo vzaimodeystviya na Taymyre // *Sotsial'nye otnosheniya v istorikokul'turnom landshafte Sibiri* / Ed. by V.N. Davydov. Saint Petersburg, 2017. P. 72—135.)
- [Костеркина и др. 2001] — *Костеркина Н.Т., Момде А.Ч., Жданова Т.Ю.* Словарь нганасанско-русский и русско-нганасанский. Около 7000 слов. СПб.: Просвещение, 2001.
- (*Kosterkina N.T., Momde A.Ch., Zhdanova T.Yu.* Slovar' nganasansko-russkiy i russko-nganasanskiy. Okolo 7000 slov. Saint Petersburg, 2001.)

- [Люблинская 2002] — Люблинская М.Д. Нганасанская речь // Языки мира. Типология. Уралистика: Памяти Т. Ждановой. Статьи и воспоминания / Ред. В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева. М.: Индрик, 2012. С. 559—564.
- (Lyublinskaya M.D. Nganasanskaya rech' // Yazyki mira. Tipologiya. Uralistika: Pamyati T. Zhdanovoy. Stat'i i vospominaniya / Ed. by V.A. Plungyan, A.Yu. Urmanchieva. Moscow, 2012. P. 559—564.)
- [Люблинская 2006] — Люблинская М.Д. Ближайшее поле (работа со студентами ИНС) // Материалы II Международного симпозиума по полевой лингвистике. Москва, 23—26 октября 2006 года. М.: Институт языкознания, 2006. С. 78—79.
- (Lyublinskaya M.D. Blizhayshee pole (rabota so studentami INS) // Materialy II Mezhdunarodnogo simpoziuma po polevoy lingvistike. Moskva, 23—26 oktyabrya 2006 goda. Moscow, 2006. P. 78—79.)
- [Любовцев, Симченко 1968] — Любовцев В., Симченко Ю. Тундра не любит слабых. М.: Мысль, 1968.
- (Lyubovtsev V., Simchenko Yu. Tundra ne lyubit slabyykh. Moscow, 1968.)
- [Михайлин, Беляева 2016] — Михайлин В., Беляева Г. Чужие письма: границы публичного и приватного в школьном кино 1960-х годов // Неприкосновенный запас. 2016. № 2 (82). С. 106—128.
- (Mikhaylin V., Belyaeva G. Chuzhie pis'ma: granitsy publichnogo i privatnogo v shkol'nom kino 1960-kh godov // Neprikosnovennyi zapas. 2016. No. 2 (82). P. 106—128.)
- [Михайлова 2015] — Михайлова Е.А. Скитания Варвары Кузнецовой. Чукотская экспедиция Варвары Григорьевны Кузнецовой. 1948—1951 гг. СПб.: МАЭ РАН, 2015.
- (Mikhaylova E.A. Skitaniya Varvary Kuznetsovoy. Chukotskaya ekspeditsiya Varvary Grigor'evny Kuznetsovoy. 1948—1951 gg. Saint Petersburg, 2015.)
- [Момде, Арон 1992] — Момде А.Ч., Арон Н.М. Язык нганасан (русско-нганасанский разговорник). Норильск: Region, 1992.
- (Momde A.Ch., Aron N.M. Yazyk nganasan (russko-nganasanskiy razgovornik). Noril'sk, 1992.)
- [Плисова 2018] — Плисова В.В. Развитие советской системы образования в районах Крайнего Севера в 1934—1941 гг. (на материалах Таймырского Архива) // Арктика 2018: международное сотрудничество, экология и безопасность, инновационные технологии и логистика, правовое регулирование, история и современность / Ред. С.А. Трофимова, И.Б. Трофимова, Л.Г. Гоцко. Красноярск: Краснояр. гос. аграр. ун-т, 2018. С. 165—173.
- (Plisova V.V. Razvitiye sovetsoy skisty obrazovaniya v rayonakh Kraynego Severa v 1934—1941 gg. (na materialakh Taymyrskogo Arkhiva) // Arktika 2018: mezhdunarodnoe sotrudnichestvo, ekologiya i bezopasnost', innovatsionnye tekhnologii i logistika, pravovoe regulirovaniye, istoriya i sovremennost' / Ed. by S.A. Trofimova, I.B. Trofimova, L.G. Gotsko. Krasnoyarsk, 2018. P. 165—173.)
- [Попов 1936] — Попов А.А. Тавгийцы: Материалы по этнографии авамских и ведевских тавгийцев. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1936.
- (Popov A.A. Tavgiytsy: Materialy po etnografii avamskikh i vedeevskikh tavgiytsev. Moscow; Leningrad, 1936.)
- [Попов 1948] — Попов А.А. Нганасаны. Вып. 1. Материальная культура. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
- (Popov A.A. Nganasany. Iss. 1. Material'naya kultura. Moscow; Leningrad, 1948.)
- [Терещенко 1971] — Терещенко Н.М. Личные имена у нганасанов // Этнография имен / Отв. ред. В.А. Никонов, Г.Г. Стратанович. М.: Наука, 1971. С. 40—44.
- (Tereshchenko N.M. Lichnye imena u nganasanov // Etnografiya imen / Ed. by V.A. Nikonov, G.G. Stratanovich. Moscow, 1971. P. 40—44.)
- [Терещенко 1979] — Терещенко Н.М. Нганасанский язык. Л.: Наука, 1979.
- (Tereshchenko N.M. Nganasanskiy yazyk. Leningrad, 1979.)
- [Урманчиева 2010] — Урманчиева А.Ю. Говорка: пример структурно смешанного языка // Инструментарий лингвистики: Sociolinguistic Approaches to the Non-Standard Russian / Ред. А. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin. Helsinki, 2010. С. 179—198.
- (Urmanchieva A.Yu. Govorka: primer strukturno smeshannogo yazyka // Instrumentariy lingvistiki: Sociolinguistic Approaches to the Non-Standard Russian / Ed. by A. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin. Helsinki, 2010. P. 179—198.)
- [Файнберг 1962] — Файнберг Л.А. Поездка на Таймыр к нганасанам. Очерк // На суше и на море. Вып. 3. Повести, рассказы, очерки. М.: Гос. изд-во географ. лит., 1962. С. 415—430.
- (Faynberg L.A. Pоеzdka na Taymyr k nganasanam. Oчерk // Na sushe i na more. Iss. 3. Povesti, rasskazy, oчерki. Moscow, 1962. P. 415—430.)
- [Хазанович 1939] — Хазанович А.М. «Красный чум» в Хатангской тундре. М.: Изд-во Главсевморпути, 1939.
- (Khazanovich A.M. "Krasnyy chum" v Khatangskoy tundre. Moscow, 1939.)

- [Хазанович 1983] — *Хазанович А.М.* Друзья мои нганасаны. Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1983.
- (*Khazanovich A.M.* Druz'ya moi nganasany. Krasnoyarsk, 1983.)
- [Хархордин 2009] — *Хархордин О.В.* Дружба: классическая теория и современные заботы // Дружба: Очерки по теории практик / Ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2009. С. 11—47.
- (*Kharkhordin O.V.* Druzhiba: klassicheskaya teoriya i sovremennye zaboty // Druzhiba: Ocherki po teorii praktik / Ed. by O.V. Kharkhordin. Saint Petersburg, 2009. P. 11—47.)
- [Хелимский 1987] — *Хелимский Е.А.* Русский говорка место казать будем (таймырский пиджин) // Возникновение и функционирование контактных языков: материалы рабочего совещания / Отв. ред. И.Ф. Вардудль, В.И. Великов. М.: Наука, 1987. С. 84—93.
- (*Khelimskiy E.A.* Russkiy govorka mesto kazat' budem (taymyrskiy pidzhin) // Vozniknovenie i funktsionirovanie kontaktnykh yazykov: materialy rabocheho soveshchaniya / Ed. by I.F. Vardudl', V.I. Belikov. Moscow, 1987. P. 84—93.)
- [Хирш 2022] — *Хирш Ф.* Империя наций: этнографическое знание и формирование Советского Союза / Пер. с англ. Р. Ибагудлина. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- (*Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Moscow, 2022. — In Russ.)
- [Чукова 1990] — *Чукова Ю.* Москвичка из тундры // На суше и на море. Т. 30. М.: Мысль, 1990. С. 48—63.
- (*Chukova Yu.* Moskvichka iz tundry // Na sushe i na more. Vol. 30. Moscow, 1990. P. 48—63.)
- [Яптик 2023] — *Яптик Е.С.* Дарообменные отношения ямальских ненцев: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2023.
- (*Yaptik E.S.* Daroobmennye otnosheniya yamal'skikh nentsev: PhD thesis. Moscow, 2023.)
- [Arzyutov 2024] — *Arzyutov D.* More Than a Shaman: The Life History of An Altai Shepherd Surrounded by Sacred Mountains, Siberian Ethnographers, and Anthropological Ideas // Anthropology of Siberia in the Making: Openings and Closures from the 1840s to the Present / Ed. by V. Vaté, J.O. Habeck. Vol. 50. Lit Verlag, 2024.
- [Besnier 1995] — *Besnier N.* Literacy, Emotion and Authority: Reading and Writing on a Polynesian Atoll. New York; Melbourne: Cambridge University Press, 1995.
- [Clifford, Marcus 1986] — Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography / Ed. by J. Clifford, G. Marcus. Berkeley; Los Angeles; London: University of California, 1986.
- [Denzin et al. 2008] — Handbook of Critical and Indigenous Methodologies / Ed. by N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, L.T. Smith. Sage, 2008.
- [Ferguson 2017] — *Ferguson J.* Words Like Birds: Sakha Language Discourses and Practices in the City. Lincoln: University of Nebraska Press, 2017.
- [Gay Y Blasco, de la Cruz Hernández 2012] — *Gay Y Blasco P., de la Cruz Hernández L.* Friendship, Anthropology // Anthropology and Humanism. 2012. No. 37 (1). P. 1—14.
- [Gibson, Gardner 2019] — *Gibson J., Gardner H.* Conversations on the Frontier: Finding the Dialogic in Nineteenth-Century Anthropological Archives // History Workshop Journal. 2019. No. 88 (October). P. 47—65.
- [Grenoble 2003] — *Grenoble L.A.* Language policy in the Soviet Union. Kluwer Academic Publishers, 2003.
- [Kan 2009] — *Kan S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist.* Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2009.
- [Lassiter 2005] — *Lassiter L.E.* The Chicago Guide to Collaborative Ethnography. University of Chicago Press, 2005.
- [Nader 2020] — *Nader L.* Laura Nader: Letters to and from an Anthropologist. Ithaca; New York: Cornell University Press, 2020.
- [Sanjek 1993] — *Sanjek R.* Anthropology's Hidden Colonialism: Assistants and Their Ethnographers // Anthropology Today. 1993. No. 9 (2). P. 13—18.
- [Siragusa 2018] — *Siragusa L.* Promoting Heritage Language in Northwest Russia. New York; Oxon: Routledge, 2018.
- [Ssorin-Chaikov 2008] — *Ssorin-Chaikov N.V.* Political Fieldwork, Ethnographic Exile, and State Theory: Peasant Socialism and Anthropology in Late-Nineteenth-Century Russia // A New History of Anthropology / Ed. by H. Kuklick. Blackwell Publishing, 2008.
- [Stern 2006] — *Stern D.* Social Functions of Speaking Pidgin: The Case of Russian Identifier Pidgins // Marginal Linguistic Identities: Studies in Slavic Contact and Borderland Varieties // Ed. by D. Stern, C. Voss. Vol. 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. P. 161—175.
- [Tedlock, Mannheim 1995] — The Dialogic Emergence of Culture / Ed. by D. Tedlock, Br. Mannheim. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 1995.
- [Vacano 2019] — *Vacano M.* Reciprocity in Research Relationships: Introduction // Affective Dimensions of Fieldwork and Ethnography / Ed. by Th. Stodulka, S. Dinkelaker, and F. Thajib. Cham: Springer International Publishing, 2019. P. 79—86.
- [Ziker 2002] — *Ziker J.P.* Peoples of the Tundra: Northern Siberians in the Post-Communist Transition. Long Grove: Waveland Press, 2002.

«В письмах всего не напишешь»

АРХИВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕСНИ В ПИСЬМАХ

Svetlana Podrezova

“You Can’t Explain Everything in Letters” The Archive of Revolutionary Songs in Letters

Светлана Подрезова (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, старший научный сотрудник, заведующая Фонограммархивом; кандидат искусствоведения) podrezova@yandex.ru.

Svetlana Podrezova (PhD; Senior Research Fellow, Head of Phonographic Archive; Institute of Russian Literature (Pushkin House), Russian Academy of Sciences) podrezova@yandex.ru.

Ключевые слова: бригада по собиранию и изучению русской революционной песни, письма, архив, М.С. Друскин, В.И. Чичеров, Институт антропологии и этнографии

Key words: Russian Revolutionary Song Study Brigade, letters, archive, Mikhail Druskin, Vladimir Chicherov, Institute of Anthropology and Ethnography

УДК: 39

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_63

UDC: 39

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_63

Настоящая статья посвящена уникальному случаю использования писем для собирания архива революционной песни. Анализ сохранившегося обширного эпистолярия показал, что, помимо успешного выполнения своей главной задачи, переписка внутри «бригады по собиранию и изучению русской революционной песни» при Институте антропологии и этнографии использовалась как элемент научной инфраструктуры, способный не только устанавливать и укреплять иерархии, но порой и как знак замещения и восполнения отсутствия одного из его членов. Материалом исследования стала переписка, отложившаяся в рукописном отделе Пушкинского Дома и других архивах Санкт-Петербурга и Москвы и частично опубликованная в 5-м томе Полного собрания сочинений советского музыковед М.С. Друскина.

This article examines a unique case of using correspondence to compile an archive of revolutionary songs. An analysis of the surviving extensive epistolary collection reveals that, beyond its primary objective, the correspondence within the “The Russian Revolutionary Song Study Brigade” at the Institute of Anthropology and Ethnography functioned as a key element of scientific infrastructure. This correspondence not only established and reinforced hierarchies but also occasionally served as a means of substitution and compensation for the absence of one of its members. The study draws on letters preserved in the manuscript department of the Pushkin House and other archives in Saint Petersburg and Moscow, with some materials also published in Volume 5 of the Complete Works of Soviet musicologist Mikhail S. Druskin.

Когда началась история, описываемая в настоящей статье, точно неизвестно, неизвестно также и то, кто выступил инициатором создания антологии русской революционной песни, точнее — кому первому пришла в голову эта идея. Не сохранилось сведений и о том, как формировался состав научной комиссии («бригады по собиранию и изучению русских революционных песен»), наконец, кто предложил кандидатуру ее руководителя — ленинградского музыковеда и пианиста М.С. Друскина¹.

1 Сам Друскин вспоминал об этом в безличной форме: «В расширение и углубление того, что ими (участниками Производственного коллектива студентов-композиторов Московской консерватории и Л.Н. Лебединским. — С.П.) сделано, в 1934 году

Сухие факты официальных документов определяют начало большого проекта 23 мая 1934 года. Именно в это время в Москве, в крупнейшем государственном музыкальном издательстве Музгиз прошло совещание, посвященное подготовке академического собрания революционных песен — первого научного комментированного издания мелодий и текстов «богатого песенного наследия, накопленного в течение десятилетий русским освободительным движением» [Друскин 1934а]. Проект предполагал выявление всех доступных источников о происхождении и бытовании старой революционной песни — прежде всего через экспедиционную работу с участниками революционного движения: бывшими каторжанами, видными советскими деятелями (например, с Ф.В. Ленгником, Ф.Я. Коном, Г.М. Кржижановским, П.Н. Лепешинским и др.), партийными пенсионерами, рабочими предприятий Москвы, Ленинграда, Иванова, Калинина, Колпино, Тулы, Сорново и др., а также по легальным и нелегальным изданиям и мемуарам. Собрание должно было не только восполнить пробел в собирательской работе прежних лет, но и заложить основы научного исследования этого пласта фольклора, а именно воссоздать исторические пути развития русской революционной песни и проследить связь каждой песни с революционной борьбой [Друскин 2012а: 483–484].

Поскольку на совещании были представлены «план и организация работ» по составлению сборника, можно с уверенностью сказать, что эта идея обсуждалась уже длительное время, в чем не последнюю роль сыграла переписка. Так, уже 20 мая 1934 года будущий руководитель «бригады» М.С. Друскин получает ответное письмо² от революционерки, в прошлом политкаторжанки, исследовательницы истории мест ссылки (в частности, Нерчинской каторги) Е.Д. Никитиной-Акинфеевой, в котором она отказывается принять участие «в работе по собиранию революц<ионных> стихов и песен», но выражает готовность посодествовать «личным опытом», «памятью и расспросами» [Письма и документы 2012: 596–598]. А уже 1 июня московский член «бригады» В.И. Чичеров сообщает в письме заведующему Фольклорной секцией Института антропологии и этнографии (далее — ИАЭ) М.К. Азадовскому, что он «вплотную принялся за работу над революционной поэзией» и просит подготовить документ для работы в архивах [Там же: 519]. Кроме того, из этого письма становится ясно, что Чичеров уже неоднократно встречался с Друскиным в Москве...

В настоящей статье я стремлюсь показать, как письма стали важнейшим инфраструктурным элементом для создания академического собрания революционных песен и в итоге одним из основных источников, составивших архивный фонд. Письма играли парадоксальную роль в истории этого проекта, будучи двойственными по своей сущности: мобильными и устойчивыми. С одной стороны, они были материальными носителями информации, которые должны были перемещаться между учеными и их «информантами», а с другой — они изначально воспринимались как надежный источник достоверной информации, предназначение которого — осесть на хранение в архив: сначала в личный, а затем в институциональный. Эти соединения между мобиль-

было решено создать под моим руководством специальную комиссию («бригаду») при Фольклорной секции Института антропологии, археологии и этнографии Академии наук СССР» [Друскин 1977: 258].

2 Письмо М.С. Друскина к Никитиной в архиве не сохранилось.

ностью и институциональной привязанностью писем с их архивной «оседлой жизнью» в производстве фольклористического знания будут находиться в центре моего исследования. Но прежде чем перейти к анализу писем, мне хотелось бы кратко описать историю проекта.

Академическое собрание революционных песен и письма

Серьезный интерес к революционной песне был, вероятно, вызван приближавшимися праздничными датами — 30-летием революции 1905 года и 20-летием Октября. На рубеже 1920—1930-х годов научные и творческие учреждения активно призывают проводить сбор материалов, связанных с этими событиями³, в круг интересов все чаще попадает и революционная песня⁴. Стоит также напомнить о серии проектов начала 1930-х годов: «История фабрик и заводов» и «История гражданской войны», в которых так или иначе затрагивалась тема отражения революционной эпохи в фольклоре⁵, а фольклор рассматривался как исторический источник, который, по словам Ю.М. Соколова, «передает не только внешнюю сторону исторического явления, но и несет в себе отпечаток настроений, психологии масс» [Соколов 1935: 15]. В том же 1934 году секретарь Фольклорной секции ИАЭ А.М. Астахова писала:

Собрание и изучение фольклора гражданской войны выдвигается как обязательная часть работы по истории, так как несомненно, что в области изучения настроений масс всей внутренней обстановки войны именно фольклор сможет дать ценнейший материал [Астахова 1934: 9].

Однако, несмотря на расширение или, как писал Азадовский, «перемещение» научных интересов, пришедшееся на рубеж 1920—1930-х годов, фольклористы не спешили включать в топику своей науки «старые революционные песни». Обращение к ним происходит прежде всего потому, что песни революции ак-

-
- 3 Согласно отчету за 1932 год, в Фольклорной секции Института по изучению народов СССР (далее — ИПИИ) шла работа по подготовке сборника «Фольклор и Октябрьская революция» (Санкт-Петербургский филиал Архива Академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 135. Оп. 1. Д. 120. Л. 121).
 - 4 Примерно в это же время готовятся издания: Пролетарские поэты: В 3 т. Т. 1: 1895—1910 / Ред., вступ. статья и коммент. А.Л. Дымшица; общ. ред. А. Горелова. Л.: Советский писатель, 1935; Русская народная песня / Сост. С.А. Бугославского, И.П. Шишова; общ. ред. М. Гринберга. М.: Музгиз, 1936. В первом номере журнала «Советская музыка» за 1935 год выходит серия статей, посвященных песням, звучавшим во время революционных событий 1905 года.
 - 5 В 1935 году Нацсектор Музгиза открывает нотную серию «Песни Гражданской войны»; организуются экспедиции в военные части Северного Кавказа (см.: Новиков А.Г. Поход за песнями гражданской войны (по материалам 1-й экспедиции, организованной ПУРККА и ССК) // Советская музыка. 1936. № 2. С. 17—22); революционные песни и песни Гражданской войны включаются в программы по собиранию фольклора (см., например: Азадовский М.К. Беседы собирателя: О собирании и записывании памятников устного творчества применительно к Сибири. Иркутск: Изд-во Русского географического общества, 1924. С. 61—62; Азадовский М.К., Астахова А.М. Проект программы по собиранию и изучению фольклора гражданской войны // Советская этнография. 1934. № 1—2. С. 213—214).

туализируются в виде песен Гражданской войны и сохраняются в репертуаре рабочих и красноармейцев (см. упоминавшийся выше сборник «Русская народная песня», составленный Бугославским и Шишовым). Нередко революционная песня используется также в качестве документа по истории рабочего и партизанского движений. Показательно, что первые работы о революционной песне представляли собой воспоминания членов подпольных организаций или самих авторов об истории создания и бытования отдельных песен⁶.

Еще одной предпосылкой к подготовке собрания стал революционно-песенный голод в творческом пространстве, с годами ощущавшийся все более остро и вызывавший беспокойство борцов «за оздоровление музыкального быта». Как показывал учет репертуара массовых демонстраций, в начале 1930-х годов на долю «старой революционной песни» приходилось 3–7% от всего музыкального контента (см., например: [Бекман, Заржевская 1933: 6]), а звучавшие на мероприятиях песни составляли небольшой набор песен-символов. К слову, к этому времени основательно был подзабыт не только политический фольклор дореволюционной эпохи⁷, но и песни недавнего прошлого — например, периода Гражданской войны. Так, рассуждая о значении первых концертных программ Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии⁸ 1928 года, М.С. Друскин писал: «Весь основной репертуар этого наследия был словно заново открыт для широких народных масс» [Друскин 2012б: 298].

Первым собранием, претендующим на то, чтобы хотя бы отчасти ответить на потребности «в массовой историко-революционной песне», стал сборник «Песни каторги и ссылки», изданный в 1930 году⁹. Сборник был составлен силами композиторов Производственного коллектива студентов научно-композиторского факультета Московской консерватории (ПРОКОЛЛ)¹⁰ из песен, бытовавших в устной практике и записанных от членов Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (40 текстов и 29 мелодий).

-
- 6 См.: *Борщевский С.* Первый русский революционный гимн (60-х гг. 19 в.) // Русская воля. 1917. № 15. 14 марта; Песня политических заключенных в Мурманской тюрьме (на мотив «Коробочки») // Олонекская коммуна. 1919. № 206. 12 сентября; *Бонч-Бруевич В.Д.* Первый русский мимеограф (Памяти Леонида Петровича Радина) // Пролетарская революция. 1921. № 2. С. 167–180; О новой «Марсельезе» // Пролетарская революция. 1922. № 6. С. 143–144; *Бонч-Бруевич В.Д.* На славном посту. Памяти В.В. Воровского (По личным воспоминаниям). М.: Жизнь и знание, 1923; *Лепешинский П.Н.* Старые песни революции // Огонек. 1927. № 32. С. 11–12; Революционные гимны и песни. «Интернационал» и его авторы // Красная нива. 1929. № 31. Ч. 17; *Февральский А.* Песни победы // Прожектор. 1929. № 24. С. 24–25.
- 7 Что естественно, учитывая, что век городской песни, по справедливому замечанию С.Ю. Неклюдова, недолог, «вся ее жизнь — от рождения до забвения — может быть полностью охвачена памятью одного поколения людей» [Неклюдов 2005: 271].
- 8 Первоначальное название — Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной армии имени М.В. Фрунзе. Основу первых программ ансамбля составляли музыкально-литературные композиции «22-я Краснодарская дивизия в песнях» (преьера состоялась 12 октября 1928 года), «Особая Краснознаменная Дальневосточная армия в песнях», «Первая конная в песнях» и другие, основанные на записях песен Гражданской войны, выполненных в действующей армии.
- 9 Песни каторги и ссылки. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльнопоселенцев, 1930.
- 10 В подготовке сборника участвовали В. Белый, А. Давиденко, З. Компанец, А. Колосов, З. Левина, Б. Сехтер и Н. Чемберджи.

Вспоминая о своей работе над этим сборником, композитор-проколловец Борис Шехтер не без пафоса писал:

Мы считали, что русская революционная песенность еще недостаточно претворена в произведениях крупной формы, а круг песен революции, к которым обращаются композиторы, слишком узок... Между тем, образно говоря, именно в недрах героической революционной песенности лежит та «руда», которую мы, композиторы, обязаны извлечь и в творчески обогащенном виде вернуть создателю — народу.

И вот мы отправились в существовавшее тогда Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльнопоселенцев, чтобы в совместной работе выявить, записать и издать наиболее «отстоявшиеся» в народе русские революционные песни. Эта инициатива была встречена с энтузиазмом. Старые большевики собирались много раз большими группами по тридцать-сорок человек и пели для нас боевые песни большевистского подполья... В общении со старыми большевиками и родилась идея создания оперы «1905 год»; сборник песен («Песни каторги и ссылки») оказался своеобразной «прелюдией» к этой капитальной работе [Шехтер 1968: 46].

Хотя этот сборник стал «важной вехой в деле изучения и пропаганды дооктябрьского революционно-песенного наследия» [Друскин 2012б: 299], он прежде всего преследовал практические цели (песни в нем были даны в виде обработки для фортепиано) и не отвечал критериям научности и достоверности (ср. рецензию М.С. Друскина: «Во-первых, в нем нередко приведены малохарактерные варианты напевов, недостаточно достоверные; во-вторых, комментарии составлены небрежно, на основе непроверенных данных» [Там же: 300]).

Академическое собрание русских революционных песен, за которое взялись сотрудники Фольклорной секции ИАЭ, должно было охватить все периоды и грани революционной борьбы и стать первой научной антологией такого рода, созданной на основе исследования этнографического характера. Однако составители оказались в противоречивой ситуации — «заказчик» в лице Музгиза и Наркомпроса требовал подчинения научного подхода цензуре:

В отличие от обычного рода этнографических работ, предполагаемое издание имеет большой политический, партийный характер. В этом смысле задача заключается в том, чтобы при участии и при содействии и при контроле Общества Старых большевиков и Общества Политкаторжан обеспечить партийность издания¹¹.

Не случайно в заседании, легитимирующем собрание, участвовали *представители заинтересованных в этом проекте организаций*: самого Музгиз (в лице главного редактора — музыковеда, фольклориста Виктора Сергеевича Виноградова, управделами Н.Н. Крамаревской и редактора книжного отдела Льва Львовича Калтата), Музея революции СССР (Левин-Троцкая), Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (революционер, редактор издательства «Каторга и ссылка», участник хора народовольцев Михаил Михайлович Константинов), признанные *эксперты* (Давид Аронович Черномордикив — революционер, известный музыкант, составитель целого ряда

11 Копия Протокола Совещания по вопросу об издании академического собрания революционных песен от 23 мая 1934 г. Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (РО ИРЛИ). Р. V. К. 102. П. 1. № 362. Л. 21 — 21 об. Опубликована в: [Письма и документы 2012: 704].

сборников песен Революции¹², в том числе нелегальных, в недавнем прошлом (1923—1929) председатель Ассоциации пролетарских музыкантов, а на тот момент — ответственный редактор журнала «Музыкальная самодеятельность»; Сергей Александрович Бугославский — историк русской литературы, музыковед и композитор, автор статей и сбораний народных и революционных песен¹³; и Михаил Михайлович Черёмухин — фольклорист, композитор, автор кантаты «Красная армия»¹⁴) и участники будущего академического коллектива — московский фольклорист Владимир Иванович Чичеров, в 1933 году подготовивший сборник «Песни о царском остроге»¹⁵, и Михаил Семенович Друскин, уже заявивший о себе в качестве знатока этой темы¹⁶ несколькими работами о немецком боевом песенном движении и ее представителе Гансе Эйсслере¹⁷ и русских песнях народовольцев [Друскин 1934б].

Итак, в ходе обсуждения сборника основным методом был признан, как уже было сказано, этнографический, то есть собирательская работа с носителями — участниками революционного движения, а также поиск источников в архивах и библиотеках. В середине июля 1934 года был заключен официальный договор о подготовке собрания между издательством Музгиз и Институтом антропологии и этнографии (текст договора см.: [Письма и документы 2012: 705—706]), а к осени — определен состав «бригады по революционной песне», в которую вошли библиограф Алексей Алексеевич Шилов, московский фольклорист В.И. Чичеров, этномузыковед с большим полевым опытом Софья Давыдовна Магид, начинающая фольклористка и полевик Пелагея Григорьевна Ширяева и музыковед М.С. Друскин. В предисловии к сборнику [Друскин 2012а: 486] и в своих воспоминаниях (вероятно, опираясь на тот же текст, см.: [Друскин 1977: 259; 2012б: 300]) среди членов «бригады» Друскин упоминает литературоведа А.Л. Дымшица. Однако официально Дымшиц, работавший в составе «бригады по рабочему фольклору» и немало потрудившийся над составлением комментариев к собранию, в «бригаду» Друскина не входил¹⁸.

-
- 12 Д.А. Черномородиковым по заданию фракции большевиков был подготовлен к печати Первый сборник революционных песен. 10 песен, гармонизованных А.Д.Ч. СПб.: Изд-во Вещего Баяна, 1906.
- 13 См., например: [Бугославский 1928], а также сборник Русская народная песня (сост. С.А. Бугославского, И.П. Шишова).
- 14 «Красная армия» на слова советских поэтов, 1932.
- 15 Машинописный вариант, принятый к печати, хранится в: РГАЛИ. Ф. 629 (Academia). Оп. 1. Ед. хр. 1858. Сохранился предшествующий вариант с названием «Песни о царской тюрьме»: РГАЛИ. Ф. 629 (Academia). Оп. 1. Ед. хр. 1859. Благодарю М.Л. Лурье за предоставленную информацию.
- 16 Как стало известно лишь после смерти ученого, его, родители Друскина — Семен Львович и Елена Савельевна — были участниками социал-демократического движения, членами еврейской организации «Бунд», в юности М.С. Друскин приветствовал революцию и был свидетелем революционной деятельности матери и отца. «Пролетарско-революционную “бундовскую” закваску», по его воспоминаниям, родители сохраняли в своем образе жизни на протяжении долгих лет [Друскин 1999: 16—23].
- 17 Находясь в 1930—1932 годах на стажировке в Германии, М.С. Друскин близко познакомился с представителями Боевого содружества рабочих певцов и самим Гансом Эйсслером, о чем по возвращении написал в работах: Друскин М.С. Ганс Эйсслер и его группа // Советская музыка. 1933. № 4. С. 57—63; Друскин М.С. Ганс Эйсслер и рабочее музыкальное движение в Германии. М.: Музгиз, 1934. См. также его воспоминания: [Друскин 1977: 257—258].
- 18 Ср., например: Отчет о работе Фольклорной комиссии за 1936 г. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 150. Оп. 5. № 37. Л. 19 — 19 об.

Таким образом, начало крупного проекта, рассчитанного на участие большой команды, стало прекрасной возможностью для Фольклорной секции и всего Института отчитаться об успешном внедрении «бригадного метода».

В начале 1930-х годов на фоне проходившей коллективизации, курса на преодоление индивидуализма и строительство советского коллектива этот метод активно внедрялся и в научные учреждения. Под научной «бригадой» понималась группа, разрабатывающая общую научную тему или проводящая коллективное полевое исследование. Благодаря производственному названию и такому же пониманию принципов организации труда, в исследовательский коллектив могли входить не только ученые Института, но и «посторонние» — исследователи из других отделов и организаций, аспиранты и ненаучные силы, например рабочие и студенты. Так, в состав «бригады по рабочему фольклору» — одной из первых научных групп Фольклорной секции, организованной в октябре 1931 года, входили А.М. Астахова, З.В. Эвальд, аспирантка З.Н. Куприянова и рабочие завода «Красный октябрь» М. Лобанов и Г.С. Орелов¹⁹. Второй большой научной группой стала «бригада по колхозному фольклору», третьей — «бригада по фольклору Гражданской войны». В мае 1932 года заведующий секцией М.К. Азадовский рапортовал:

С февраля мес<яца> работа Ф<ольклорной> С<екции> перестроилась, главным образом на бригадный метод. Вначале были некоторые не<у>вязки на почве понимания методов и форм бригадной работы (см. протокол раб<очего> совещ<ания> от 20/II 1932 г.), но после разъяснений, данных зав<едующим> иссл<едовательским> сек<тором> т<оварищем> Абрамзоном, все недоразумения были устранены, и работа началась полным ходом. Правда, необходимо отметить, что не все бригады вполне заслуживают названия бригад, т<ак> к<ак> состоят всего из 2-х лиц, но основные бригады (рабочая и колхозная) широко развернули свою деятельность, сумев включить в свой состав не только работников ИПИНа (не из состава Ф<ольклорной> С<екции>), но и посторонних, преимущественно из среды рабочей молодежи обследуемых предприятий²⁰.

Постепенно «бригадная работа» распространилась уже на многие традиционные темы — в документах секции упоминаются «бригада по сборнику пинежских песен», «Работы Веселовского по сказке. Подготовка к изданию XVII тома полн<ого> собр<ания> соч<инений>» и др., а «бригадами» могли называться любые группы собирателей или ученых (ср., например, в отчете о работе Фольклорной секции за 1935 год: «Обзор литературы по рабочему фольклору — студенческая бригада в составе т.т. <А.> Соймонова, <Л.> Лотман, <В.> Чистова»²¹).

19 См.: Отчет о деятельности Фольклорной секции за период с апреля по 20/XI 1931 г. (СПбФ АРАН. Ф. 135. Оп. 1. Д. 120. Л. 14, 23) и Отчет о работе Фольклорной секции за период с 1/1 по 1/V 1932 г. (Там же. Л. 115—116). В апреле 1932 года в «бригаду» включились еще двое рабочих, выпускница этнолого-лингвистического отделения ЛГУ Крюкова, музыковед-фольклорист Л.М. Кершнер и «выдвиженка Педагогического института им. Герцена» П.Г. Ширяева (см.: Там же. Л. 116). Позже состав «бригады» неоднократно менялся.

20 СПбФ АРАН. Ф. 135. Оп. 1. Д. 120. Л. 114. О внедрении «бригадного метода» в работу Фольклорной секции ИПИН по документам, сохранившимся в Отделе русского фольклора ИРЛИ РАН, см. также: [Петрова 2006: 248—250, 253—254].

21 Отчет о работе Фольклорной секции за 1-й квартал 1935 года: СПбФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1935). Д. 5. Л. 42.

Коллективная подготовка сборника революционных песен, кроме прочего, наследовала всем предыдущим собраниям песен борьбы. Публикация этих песен всегда имела абсолютное идеологическое значение и предполагала цензуру собратьев по движению. Ярким примером может служить одно из наиболее ранних и самых известных нелегальных изданий «Первый сборник революционных песен. 10 песен, гармонизованных А.Д.Ч.» (1906). Как вспоминал его составитель Д.А. Черномордилов, большая часть песен сборника была записана им с голоса «профессионального революционера» Д. Тагеева и затем утверждена группой его товарищей [Черномордилов 1935].

Работа «бригады» была организована необычным для научного коллектива способом: у каждого сотрудника были свои функции и своя часть общего «поля». М.С. Друскин старался координировать работу всех участников, вел переписку с московским членом «бригады» — В.И. Чичеровым, давал подробные наставления участникам полевых выездов. Он же вел внешнюю переписку с участниками революционного движения, авторами, композиторами и др. Иными словами, полевая работа «бригады» состояла из двух частей: первая представляла собой переписку с информантами и обработку полученных писем (систематизация полученных текстов и нот, машинописное копирование для подготовки сборника и комментариев), вторая — непосредственную работу с революционерами при личной встрече или по телефону. Оба этапа были очень трудоемкими: первый предполагал большую рассылку и обмен письмами с информантами, второй — тщательную и многоэтапную подготовку, обсуждение кандидатур информантов и их репертуара, ключевую роль на этом этапе также играли письма.

Сперва под давлением Наркомпроса, который подчеркивал «необходимость подведения большего общественного базиса подо всю работу» [Письма и документы 2012: 704], собиратели делали основную ставку на широкий охват респондентов и привлечение больших собирательских сил: «надо расширить работу, охватив и национальные революционные песни, для чего установить связь с местными организациями», провести «специальные экспедиции по записи и собиранию песен, особенно на места, служившие в прошлом ссылкой», привлечь к собиранию (в оригинале — «к обработке») широкий композиторский актив и «всех работников музыкального фронта, интересующихся данной отраслью работы» [Там же]. Но уже в июне 1934 года Чичеров составил свой письменный проспект собирательской работы на заводах и в архивах, в котором предпочел опереться на уже установленные научные и инфраструктурные связи: московских и ленинградских фольклористов для работы на заводах Москвы и Ленинграда, Ю.А. Самарина для работы на Уральских заводах и в архивах Украины и Белоруссии, С.А. Токарева — в архивах Якутии, В.В. Сенкевич на Оби (см. его замечание: «о ней спросите у Н.М. Маторина»), учеников М.К. Азадовского и Ю.М. Соколова на Нижней Волге, в Саратове, через близкие Чичерову краеведческие организации и т.п. [Там же: 520—523].

Очевидно, что работа такого масштаба требовала ведения широкой переписки, которая рисковала стать неподъемной. Поэтому от этой идеи ученым пришлось постепенно отказаться, рассчитывая целиком на собственные силы и опыт. Одним из главных инструментов полевой работы неизбежно стала переписка.

Стоит напомнить, что фольклористика и ранняя этнография в России делалась не только в поле, но и в кабинетах. Основой для нее выступали иерар-

хически выстроенная инфраструктура собирательской работы и широко используемые сети так называемых корреспондентов. Именно с программы анкеты, разосланной в 1847 году в количестве 7 тысяч экземпляров и полученных на нее ответов началась этнографическая деятельность Императорского Русского географического общества. Тот же метод был использован «Этнографическим бюро» князя В.Н. Тенишева и многими другими обществами, институтами и музеями. В опоре на сети собирателей, работавших в разных губерниях (литераторов, музыкантов, местных любителей старины), подготовлены крупнейшие издания П.В. Киреевского, П.В. Шейна и пр. К середине 1930-х фольклористика перешла на полевой метод сбора материала. Однако для целей проекта по истории революционной песни, респонденты которого были разбросаны по разным уголкам страны, этого метода было явно недостаточно. Наследуя традиции составления этнографических программ и анкет, Друскин готовит подборку отрывков песен (в виде восьмистрочий)²² и к ним — письменную инструкцию²³ в надежде получить нотации мелодий в записи или в самозаписи информантов, тексты и мелодии не включенных в программу песен, сведения об их бытовании и, если повезет, — обстоятельств сложения. Так же, как и этнографы прошлого, через открытые письма и циркуляры «бригада» обращалась к участникам революционного движения, авторам песен и воспоминаний, а также к широкому кругу потенциальных корреспондентов — краеведам, музыкантам и другим заинтересованным лицам. В список рассылки попали журналы «Советское краеведение», «Советская музыка» и «Каторга и ссылка», Музей революции, Всесоюзные общества старых большевиков и бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, филиалы Всесоюзного общества друзей музеев революции и пр.²⁴

Собирательскую работу вели все участники «бригады» — каждый в своем поле: в архиве (Шилов), в библиотеке (Шилов и Чичеров), среди революционеров (Чичеров, Магид, Друскин, Ширяева) и рабочих (Ширяева²⁵ и Магид). Полевая работа шла настолько успешно, что в конце февраля 1935 года в руках составителей было уже более 300 разных песен, 215 образцов было записано на восковые цилиндры. Но 29 августа 1935 года в письме к Г.Д. Дееву-Хомяковскому Друскин пишет: «Работа по собиранию материалов к нашей книге весьма разрослась. Предполагаем ее закончить к 1 янв<аря> 1936 г.». Вместо запланированных полутора лет работа над собранием продлилась до

22 К сожалению, предварительный сборник не сохранился, но неоднократно упоминается в письмах-отчетах Чичерова и ответах респондентов. Например, 3 февраля 1935 года Чичеров пишет Друскину о репертуаре С.И. Канатчикова: «По списку [стих<отворений>, составлен<ному> М. Друскиным. — *Надпись рукой М.С.*] №№ 1, 6, 9, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 39, 43, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 72, 75, 76, 80, 83, 85». Чуть позже, 22 февраля 1935 года, в письме к М.К. Азатовскому Чичеров упоминает «сборник» из 150 номеров: «Друскин прислал мне осенью сб<орник> около 150 №№. (Вы ведь его, наверное, видели — это сб<орник>, составленный, очевидно, Друскиным.)» [Письма и документы 2012: 578].

23 Как и все традиционные анкеты, инструкция напечатана на машинке и имеет штамп Института. См. бланк: Ил. 1: РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. Ед. хр. 194.

24 См. тексты открытых писем: СПБФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1934). Д. 25. Л. 43, 58; [Друскин 1934а; 1935]. Упоминание циркуляров содержится также в письме Чичерова Друскину от 3 января 1935 года, см.: [Письма и документы 2012: 546].

25 См. План работ П.Г. Ширяевой по обследованию фабрик и заводов Ленинграда и области: [Письма и документы 2012: 714].

середины 1937 года, когда наконец «объемистая рукопись» (40 авторских листов) была представлена в издательство, но так и не была издана²⁶.

Разнообразие практик проведения полевых исследований задавало разнообразие материальности знания, ее специфическую фактуру. В инвентаре собирателей революционной песни были не только письма, сюда входили и другие инструменты: фонограф и восковые цилиндры, беседы при личных встречах и телефонные звонки, из бумажных — печатные циркуляры, пакеты с написанными от руки или набранными на машинке фольклорными текстами, ноты, нелегальная и художественная литература, воспоминания. Однако письма стали основным средством конструирования всей сложной архитектуры получения знания.

Архив в письмах

Проследив траектории писем, мы увидим, что «бригада» использовала разные маршруты циркуляции материалов и способы их добывания: между полем и кабинетом, между ученым в поле и кабинетом, наконец, между учеными. Каждый из них задавал свои способы коммуникации, что в конечном счете обусловило жанровую и материальную многослойность писем «бригады»: это письма-знакомства, собственно рабочие письма, удостоверения, отношения для работы в архивах, письма-воспоминания, письма-свидетельства, письма-анкеты, письма-отчеты, письма из поля (письма — полевые дневники), письма-распоряжения, сопроводительные письма и мн. др. Особую роль в формировании архива сыграли вложения в письма, своеобразный «архив в конверте»: ноты и тексты песен²⁷, листки с комментариями²⁸.

Ориентированность на архив самым неожиданным образом обнаруживается в хронотопе переписки. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что корреспонденция «бригады» — как внутренняя, так и внешняя — неравномерно представлена во времени и пространстве. Прежде всего, бросается в глаза своеобразие географического распределения писем — их концентрация вокруг московской части работы, в том числе проводимой ленинградцами. Однако асимметрия пространственная получила зеркальное отображение в виде асимметрии коммуникативной и информационной. Из переписки мы во многих деталях знаем о работе в Москве, но почти ничего не узнаём о том, как она проходила в Ленинграде. Возможно, такими источниками могли бы стать письма Магид и Азадовского к Чичерову. В отличие от живых, наполненных эмоциями писем Чичерова, письма Друскина носят характер директива. Несмотря на заявленную коллективность («бригадный метод») работы, эпистолярные отношения Чичерова и Друскина неравнозначны и прочитываются как отношения между ученым в поле и кабинетным ученым, между исполнителем и заказчиком, между периферией и научным центром (в данном случае

26 Подробнее об истории собрания см.: [Подрезова 2012: 9–12, 17–28; 2021].

27 См. письма с вложениями нот, присланные М.М. Константиновым (РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 64–66); Г.П. Чекановкиным (Там же. № 54–58), А.Е. Туренковым (Там же. № 114–117) и др.

28 См. специальную подборку с комментариями к песенным сюжетам М.Ф. Фроленко: Там же. № 69–89.

Москва выступала периферией по отношению к научному центру, расположенному в Ленинграде), куда, как в архив, стекаются все данные.

Сохранившаяся переписка «бригады» — случай, пожалуй, уникальный. Помимо всего прочего, она отобразила на бумаге реальные маршруты собирателей. Например, благодаря письмам мы знаем о передвижении Друскина между Ленинградом и Москвой. Чичеров часто делится ближайшими планами, пересылает адреса информантов. В одном из отчетов, который может стать наглядным примером «неизменяемой мобильности» писем, он создает карту своего перемещения в течение дня:

8. Ю.М. Соколова никогда нет ни дома, ни на работе («Летучий Голландец»). Завтра буду в Лит<ературном>Музее. Он должен там быть завтра с 11 до 2. Если и завтра не застану его, придется решительно пристать к его жене — В.А. Дынин — с просьбой узнать о статье, хотя она категорически отказалась чем-либо помочь.

9. С Гавр<иилом> Григ<орьевичем> Сушкиным сговорился встретиться завтра в 10 час<ов>. Связь с ним держать буду.

10. От Сушкина завтра пройду в Муз<ей> Рев<олюции> и ВОДМР, передам там тексты, забегу в ВКР к Петрову и оттуда в Лит<ературный> Музей²⁹.

Письма «бригады» не только прорисовывают карты, прокладывают маршруты и обозначают замысловатые пути получения знаний — от упомянутого кем-то вскользь имени до архивного текста и осуществленной звукозаписи, но и структурируют время. Эпистолярный хронотоп проекта имеет свои зоны «напряжения», когда интенсивность коммуникации возрастает, и паузы, когда деловая и личная переписка стихают. Эти этапы не всегда соответствуют периодам личных встреч членов «бригады» и работы порознь. Наибольшей насыщенностью письменного общения отмечены: начало проекта (май — июль 1934 года), период подготовки и проведения полевых исследований (ноябрь 1934 — февраль 1935 года), начало работы над комментариями и вторая часть собирательской работы (апрель — июнь 1935 года). Затем переписка носит фрагментарный характер и актуализируется лишь в важные моменты — в период обсуждения собрания или его проблемных разделов. Наконец, в письмах обсуждаются календарные планы, составляются расписания собирательской работы и подводятся итоги.

Наиболее горячее время (практически ежедневный обмен письмами) приходится на период звукозаписи. Чичеров, который вел всю подготовительную работу с членами обществ к приезду Магид, присылает репертуарные списки, делится наблюдениями, от кого можно сделать звукозапись³⁰, присылает полученные в поле данные о происхождении и бытовании песен. Друскин в ответ

29 РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 156. Л. 72 — 73 об. Опубликовано в: [Письма и документы 2012: 529].

30 Ср., например, красочный рассказ о революционере Н.Л. Мещерякове, в ту пору главном редакторе «Малой советской энциклопедии»:

«Мещеряков для нотных записей не может быть использован. Дело было в его кабинете в МСЭ. Он мне доказывал, что он не может петь. Я не верил. И он запел. Боже мой!!! Понять ничего нельзя, — ни одного привычного звука.

Туруханский марш, помещенный в его книге, — запись Леонида Дмитриевича Покровского (я его постараюсь разыскать). Покровский, по словам Мещерякова, музыкален, поет и не требует уговоров» [Письма и документы 2012: 571].

шлет Чичерову и Магид планы звукозаписи и конкретные указания по собирательской работе³¹.

Продолжая разговор об особом хронотопе переписки и отразившемся в нем хронотопе научной группы, нельзя не заметить, что «бригада» использовала все возможности писем как особого и общепринятого вида коммуникации — как «официальные каналы», так и личные связи. В зависимости от статуса адресата переписка велась от имени Института (письма-отношения, письма в организации), от имени заведующего Фольклорной секцией М.К. Азадовского или от лица руководителя «бригады» Друскина. Собиратели получали адреса деятелей революции, авторов песен и их потомков и снова писали письма. Всю основную переписку после установления «бумажных связей» вел Друскин, а в качестве обратного адреса обычно указывал домашний — он присутствует во всех без исключения письмах, отправленных ученым, включая циркуляры, опубликованные в журналах. Таким образом, бумажная вселенная «бригады» аккумулировалась и формировалась на его домашнем столе: здесь документы проходили первичную классификацию и маршрутизацию. Всю входящую и исходящую внешнюю корреспонденцию Друскин аккуратно фиксировал в специальную тетрадь³², отделял письма от текстов, при этом неавторизованные документы или документы с нечитаемой подписью обязательно подписывал красным карандашом — спасая от обезличивания для будущих исследователей, систематизировал тексты по авторам записи (в архиве сохранились подборки из текстов, присланных Чичеровым и записанных Ширяевой³³). В дальнейшем разнородная, уже структурированная корреспонденция либо укладывалась в общий архив, использовалась для подготовки комментариев, цитировалась в письмах, либо отправлялась коллегам для работы (см. об этом ниже) и т.п.

Настоятельно рекомендуя писать по домашнему адресу, М.С. Друскин стремился не столько придать переписке приватность, сколько сделать ее более эффективной и надежной: во-первых, молодой музыковед не был сотрудником Фольклорной секции, а работал по договору — то есть, возможно, не имел рабочего места в Институте; во-вторых, письма, адресованные в Институт, рисковали затеряться в общем потоке корреспонденции. Этот принцип вместе с тем имел и оборотную сторону — исключительная монополия на письма делала их средством проявления власти и неравенства внутри коллектива. Монополия, которая со временем распространилась и на другие материалы бригады, вызывала недоумение, беспокойство, недоверие Чичерова, о чем он неоднократно писал Друскину, и в конце концов привела его к разочарованию в коллективной работе. 28 августа 1935 года, после нескольких попыток получить от ленинградцев материалы³⁴, необходимые ему для подготовки комментариев к песням, он пишет:

31 См. письма Друскина Чичерову: [Письма и документы 2012: 550—551] и Магид: [Там же: 569—571].

32 Тетрадь в виде отдельных листков из школьной тетради в линейку хранится в материалах собрания: РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 363—364.

33 См. аннотированную опись коллекции: [Письма и документы 2012: 733—767].

34 Чичеров неоднократно просил своих коллег позвонить А.А. Шилову, обращался он к старшему коллеге и напрямую (см. письмо Чичерова к Магид, публикуемое ниже).

Уважаемый Михаил Семенович,

прошу извинения за письмо карандашом. Дело в том, что я на пароход чернил не взял, а здесь их не оказалось.

Евгений Владимирович³⁵, вероятно, Вам все передал. Очень благодарен Вам за присылку Ваших тетрадей. К сожалению, они действительно ничего к моим материалам не прибавили. Если бы я знал их содержание заранее, я бы, конечно, не беспокоил Вас просьбой присылки Ваших материалов.

Но, м<ожет> б<ыть>, у Вас есть другие материалы, которые Вы с Евг<ением> Влад<имировичем> не прислали? И которые для комментирования дадут больше, чем эти два Ваших блокнота. Насколько помнится, Вы говорили, что их у Вас 4, не считая того, что Вы просмотрели по моему списку литературы (и что Вы просили меня не просматривать). Могу ли я рассчитывать получить эти материалы от Вас для комментирования?

Думаю, ввиду того, что наша работа проводится бригадой, я позволяю себе надеяться на получение материалов (по виду работы порученной мне), до сих пор еще рассеянных у отдельных членов бригады. Конечно, если у Вас таких материалов не имеется, мне нельзя рассчитывать ни на что, кроме как на материалы, добытые мной.

Обращаюсь с этим вопросом к Вам в последний раз. Если Вы не вышлете материалов и сейчас, разрешите считать, что материалов у нашей бригады, за исключением собранных мной, не имеется.

Евг<ений> Влад<имирович> договорился со мной, что я высылаю в Фолькл<орную> Секцию образец комментариев. Не сетуйте, дорогой, что я их еще не выслал. Я ведь все жду от Вас дополнительных материалов. Мои заметки Евг<ений> Влад<имирович> видел и может засвидетельствовать, что в черновом виде мои материалы обработаны. Даже больше. На основании комментариев (предварительной проработки), с благословения М. К. Азадовского я сдал в печать статью о рев<олюционных> песнях. Она уже принята к печати. Как видите, имеющиеся у меня материалы по рев<олюционным> песням не преданы забвению.

Итак, немедленно по моем возвращении в Москву я высылаю вам образец комментария. К тому времени и Азадовский приедет, и Гиппиус из отпуска вернется — Вам удобнее будет рассмотреть комментарий.

Желаю Вам всего доброго,

В. Чичеров³⁶

В конце проекта он с горечью резюмирует:

Прочитав комментарии в этом их виде, я окончательно убедился, насколько я был прав, когда просил выслать мне выписки, сделанные членами бригады о песнях, котор<ые> я комментировал (т<о> е<сть> сделать то, что я сделал со своими выписками). Прав я был, также требуя от Вас, как от бригадира, образца комментариев. Имей я его, я бы много деталей не ввел в свои комментарии, тем самым упростив свою работу и сделав более легким редактирование.

Ну, былого не вернуть. Вперед мне наука — в бригады не включаться. Прошу Вас отосланные мной в Ленинград мои экземп<ляры> комментариев

35 Е.В. Гиппиус — этномузыковед, заведующий Фонограммархивом Фольклорной секции, редактор собрания русских революционных песен.

36 РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 146. Л. 47—48.

вернуть мне. Я использую собранные и исследованные мной тексты в своих работах.

5/II-<19>37 г.

ночь

В. Чичеров³⁷

В напряженные моменты Чичеров адресует письма не лично Друскину, а в Фольклорную секцию [Там же: 586—587], либо использует параллельные каналы — переписку с заведующим М.К. Азадовским и С.Д. Магид, которым открыто поверяет свои сомнения и эмоции, связанные с работой «бригады» (см., например: [Там же: 577—578]³⁸). Чичеров, отделенный от всех остальных членов коллективной работы пространством и лишенный тем самым прямого научного и человеческого контакта, которые, судя по тону писем к Магид и Азадовскому, мыслились неотъемлемой частью его научного общения (см. цитату из его письма, вынесенную в заглавие), постоянно старается преодолеть заданный Друскиным подчеркнуто деловой стиль переписки. Его письма-отчеты и письма организационного свойства наполнены аффективными деталями, которые создают объемный, живой подтекст коллективной работы. Ср., например:

Ленгник сейчас в Баку. Когда приедет оттуда, Лепешинский будет с ним говорить. Обещал еще подумать и посмотреть тексты. Удивительно милый старик!³⁹

2. Шаповалов все извинялся, что по болезни и загруженности он Вам не ответил. Слух у него немногим лучше, чем у Мещерякова (замечательны слова Мещерякова: очень люблю музыку, только ничего не понимаю. Как бы ни соврали, я все принимаю за чистую монету, мне все кажется — так и надо!). Но кое-что Шаповалов обещал напеть.

<...>

5. Народовольцы. Теодорович — милый старик, но в нашем деле он ничего не понимает. Он меня уверял, что никто ничего не помнит и петь не сможет. Мало того, он убеждал в этом и народовольцев.

И вот начинается заседание. Я «проникновенно» взываю к аудитории. И донял старичков до того, что один взял мой телефон, другой — адрес, а третьи дали свои телефоны и адреса.

Будут петь: ...

А увлекательная эта работа! Теперь как-то вырисовывается она для меня. Еще недавно ее контуры были туманны. Думаю, Магид, когда приедет, детально расскажет о своей работе, о работе Ленинграда в целом. Это и ее записи в Москве — еще более уточнят вид сборников⁴⁰.

(Изумителен у Магид подход к людям — это в скобках.) Как кажется, мы с ней стали друзьями. Очень понравилась она и моей жене. Варюша сразу оценила ее хватку, а ее мнение в этом отношении очень ценно.

Когда работа будет подходить к концу, чувствую, мне надо было бы явиться к Вам, чтобы доложить обо всем. В письмах всего не напишешь, а надо было бы

37 РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 159. Л. 77 — 77 об. Опубликовано в: [Письма и документы 2012: 593].

38 Письмо хранится в: СПбФ АРАН. Ф. 150. Оп. 5. Д. 33. Л. 10—12.

39 Письмо М.С. Друскину, 3 января 1935 года. РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 135. Л. 29 — 31 об. Опубликовано в: [Письма и документы 2012: 548].

40 Письмо М.С. Друскину, 9—10 февраля 1935 года. РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 127—129. Л. 11—16. Опубликовано в: [Письма и документы 2012: 571—577].

слушать замечания о всех деталях моего участка работы непосредственно от Вас. Все-таки трудно, работая в бригаде, работать в другом городе — оторвано от нее. Ну, да это ничего. Приезд Магид мне раскрыл большинство «туманностей» работы бригады. Думаю сегодня узнать новости от Друскина, а когда придет Ширяева — и от нее. Так постепенно познакомлюсь со всеми⁴¹.

Из писем В.И. Чичерова мы узнаём также о сложностях и подводных камнях собирательской работы. Так, члены Общества старых большевиков, собрав материалы для «бригады» и вдохновившись ее примером, попытались перехватить инициативу — «решили издать свой сб<орни>к популяризаторского типа и считают неудобным использование их материала в нашем издании». «Если они откажутся сами организовать тов<ари>щей для записи, я сам их организую. В этом случае, — резюмирует Чичеров, — они только проиграют, потому что не получают даже копий записей мелодий» (29 января 1935 года [Там же: 552]).

Вообще говоря, вопрос о правах на знания, добытые в архивах и в поле, вероятно, волновал советских ученых не менее, чем современных, ср. сообщение Чичерова об еще одном привлеченном для работы коллеге — Илье Сергеевиче Гудкове: «В Лит<ературном> Музее весь архив пересмотрен Гудковым и подобраны мат<ерия>лы по рабочей песне (не революционной). С материалами он надувает. Сможет дать их не раньше как через месяц» (22 декабря 1934 года [Там же: 537]).

Разговор о письмах как инструменте производства и поддержания власти притягивает в свою орбиту тему иерархии, сложившейся в «бригаде» как научном коллективе, «разделении труда» в производстве знания и неравноправии при использовании его результатов. Разделение труда, вполне логичное в масштабной научной и собирательской работе, приобрело в «бригаде» по революционной песне» гипертрофированный вид: полной осведомленностью и абсолютным правом на все собранные источники обладал только руководитель «бригады» (как хранитель «архива»), остальные по той или иной причине имели ограниченный доступ к материалам, собранным другими коллегами, ср. замечание В.И. Чичерова о подготовке комментариев:

Весьма сожалею, что мне пришлось работать как «кустарю-одиночке», пользуясь только своими материалами. Михаил Семенович неожиданно для меня отметил мне для комментирования несколько песен раннего периода («Сбейте оковы», «Во селеньи, во великом» и друг<ие>). Основной материал по ним находится у А.А. Шилова. Конечно, если бы я имел эти материалы, комментарий был бы значительно полнее [Там же: 589—590].

Кроме того, Ширяева и Магид были включены в состав «бригады» только для выполнения «черновой» работы — экспедиционного исследования и звукозаписи, расшифровки, нотации и собирательского комментария⁴². О статусе та-

41 Письмо М.К. Азадовскому, 22 февраля 1935 года. СПбФ АРАН. Ф. 150. Оп. 5. Д. 33. Л. 10—12. Опубликовано в: [Письма и документы 2012: 558].

42 См. условия договора С.Д. Магид: «а) собирает напевы песен по заранее намеченным «точкам» записи, — дает их нотную расшифровку в готовом для печати виде и собирательский комментарий... б) совершает экспедицию для записи песен в Москву, сроком на 2 недели, каковая работа оплачивается особо из сумм экспедиционных расходов» [Письма и документы 2012: 712—713].

кого труда красноречиво говорит ремарка Чичерова о В.В. Сенкевич: «На мой взгляд, ее стоит использовать для работы. Дельная девушка» [Там же: 520]. О ней же затем вспоминает и Друскин в письме к Магид: «В случае, если валиков не хватит, необходимо записать на слух. Привлеките к этому делу Сенкевич (В. Чичеров ее Вам разыщет)» [Там же: 570]. Редактирование материалов и всего собрания, напротив, — приняли на себя заведующий Фонограммархивом Е.В. Гиппиус и заведующий Фольклорной секцией М.К. Азадовский.

Таким образом, сохранившиеся письма одновременно и отражают, и конструируют, и утверждают эту иерархию.

К вопросу о биографии писем

Письмо как никакое иное средство коммуникации имеет качество тотальной «мобильности» и обладает большим потенциалом пронизывать и связывать пространства, быстро и напрямую соединять прежде незнакомых людей, завязывать между ними «узлы» и вовлекать их в работу. Вместе с тем, дойдя до адресата, оно мгновенно превращается в «немобильное», благодаря своей способности закреплять посланное сообщение во времени; как материальный письменный объект, письмо является документом в самом прямом смысле (от лат. *documentum*), то есть образцом, свидетельством, доказательством.

Еще прихотливее это свойство проявляет себя в биографии вложений в письма с текстами и нотами песен: устное фольклорное произведение («мобильное») при записи трансформируется в письменный текст и нотацию («немобильное»), будучи вложенным в письмо и отправленным по почте, вновь приобретает свойства мобильного. По прибытии в Институт письма классифицируются и становятся частью архива, то есть приобретают статику. Но даже получив штамп с архивным номером, текст может сохранить приметы мобильности своей биографии — указание на того, от кого сделана запись, связь с почтовым отправлением (конвертом), наконец, он может продолжить циркулировать внутри архива — перемещаться в другие папки и помещения.

Подобная судьба ожидала и некоторые архивные документы «бригады». В начале 1950-х и в середине 1960-х сотрудники Фонограммархива Института русской литературы дважды возвращались к идее подготовки собрания революционных песен. Тексты и оригиналы нотаций, а вместе с ними и некоторые письма попали на полки рукописного фонда Фонограммархива. В этой сложной траектории некоторые из бумажных документов оказались обезличенными — утратили авторство и связь со своей биографией. В этой части статьи будет рассмотрен один из таких случаев.

В одной из коллекций рукописного фонда (Фонограммархив. П. 165) в папке, подписанной рукой П.Г. Ширяевой «То, что дал Друскин и Чичеров. Материалы» и завизированной ею 20 марта 1951 года, среди множества текстов, напечатанных на разных печатных машинках на листах разного формата, сохранилось несколько рукописных листов нестандартно большого размера. На этих листах синими чернилами написаны 13 текстов революционных песен (в первом из них есть указание на М.М. Константинова), на одном из них расположен анонимный текст письма с обращением «Милая Сонечка» и датой 20 мая 1935 года. То есть перед нами документ полижанровой природы. Приведу письмо целиком:

Милая Сонечка, посылаю тебе 13 текстов. Ты не совсем ясно написала, что тебе надо, м.б. я посылаю тебе не все тебе нужное. Это не беда. Напиши тогда. «Май», «Говорят, что социалисты» и тексты Беленькой⁴³ вышло позднее.

Письмо тоже меня и порадовало и озадачило. Почему М.К.⁴⁴ не показал тебе плана⁴⁵ предварительно? Я не предполагал, что он будет думать, что я вышло тебе и Др<ускину> копии (это моя вина). Почему он не охарактеризовал его мне, как обещал, — тоже не знаю. Наверное, гонят очень.

Интересно, как разработает план Др<ускин>. Беспокоят меня комментарии. Их надо писать сейчас, а учета того, что войдет в сб<орни>к, нет. Буду рад поработать с тобой, когда приедешь⁴⁶. Записать придется еще кое-что.

Жму твою лапу и все-таки жду письма.

Очень прошу тебя, позвони Шилову, передай ему просьбу прислать мне образец его комментария, с тем чтобы я мог по нему равняться. Ведь тип комментариев может быть разный. Я об этом ему буду писать особо, а ты все-таки позвони, это вернее будет. Заодно спроси, получил ли он мою открытку и что он думает насчет автора «Вы жертвою пали»?

У В.Н. Фигнер вот уже месяц тяжело больна двоюродная сестра, поэтому я ее не видел.

Как будет с посланными мной адресами? Используйте ли их. Привет П. Ширяевой.

20/V-<19>35⁴⁷

Листы были перепутаны и долгое время, очевидно, хранились небрежно, с нарушением правил архивного хранения и отдельно от других листов подборки: они были сложены пополам, закреплены скрепкой (что видно по характерным следам ржавчины), края приобрели множество заломов и обрывов. Письмо не подписано, не сохранилось и конверта, на котором был бы указан адресат. Но, хорошо зная историю «бригады» и почерки ее членов, я могу атрибутировать документ довольно точно: это письмо В.И. Чичерова, адресованное сотруднице «бригады» — С.Д. Магид. Без этих знаний бумаги так и останутся не вполне внятным смешением рукописных и печатных текстов, последние из которых и вовсе могут ввести в заблуждение, поскольку Чичеров использовал для письма черновики из подготовленного им сборника тюремных песен.

Завершающая подборку ремарка-вопрос «То ли тебе надо?» и содержание письма не оставляют сомнений в том, что тексты были высланы по личной просьбе Магид. Они соотносятся с образцами революционных песен, записан-

43 Имеются в виду тексты, записанные в Москве от члена Общества старых большевиков А.М. Беленькой. От нее было записано на фонограф девять песен (Фонограммархив Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ФА ИРЛИ). ФВ 5075.04—5081.02).

44 Имеется в виду М.К. Азадковский.

45 Имеется в виду «План издания сборника революционных песен» и «Распределение песен по плану Чичерова», подготовленные Чичеровым в апреле 1935 года и отосланные им в Фольклорную секцию для обсуждения, хранятся в: РО ИРЛИ. Р. V. К. 102. П. 1. № 150. См. также упоминание плана в письме Друскина Чичерову от 19 мая 1935 года и еще, вероятно, не полученного адресатом: [Письма и документы 2012: 579].

46 Речь идет о собирательской работе с членами теперь уже бывших обществ. Запись на фонограф состоялась в конце июня 1935 года.

47 ФА ИРЛИ. РФ. П. 165. Л. 300.

ными на фонограф в 1935 году и, возможно, потребовались ей для расшифровки плохо прослушиваемых фонограмм либо для дальнейшей собирательской работы.

Но как это личное письмо (очевидно, Чичеров не предполагал, что его прочтут коллеги) оказалось на полке Фонограммархива? Прояснить его биографию помогут документы, соседствующие с письмом. Таким ключом стали пометы на полях других текстов в папке — многие из них сделаны рукой Магид и касаются напевов, на которые пелись тексты, например:

возле текста «Ах ты сукин сын проклятый становой»:

«Клеменц. Узнать бытовал ли. Пелся в среде рабочих» (л. 16),

на тексте «Дума кузнеца»:

«Клеменц. пелось на мотив Хаз Булат (поверить). Имеет ряд промежуточных вариантов» (л. 20);

Текст «Дума ткача» сопровождается ремарка:

«Синегуб. Мотив неизв<естен> Найти» (л. 21).

В папку также вложены листки с фрагментами черновых карандашных описей фонозаписей, сделанных Магид в Ленинграде от бывших политкаторжан В.И. Скляревича (между листами 13 и 14) и А.А. Виташевской (лист 76). Все это указывает на то, что перед нами тексты, которые служили подспорьем и использовались Магид и Ширяевой в собирательской работе в Ленинграде и Москве. Тексты имеют разное происхождение: часть из них, вероятно, были собраны в поле участниками «бригады», расшифрованы и напечатаны на машинке, часть — присланы в рабочий архив корреспондентами (второй или третий экземпляры), но все они без исключения обрели новую жизнь — получили материальное перевоплощение в роли шпаргалок и образцовых текстов-трафаретов, по которым можно сверять варианты и разыскивать напевы. В этой же роли, несомненно, выступало и письмо Чичерова.

Стоит заметить, что почти половина текстов, размещенных в архивной папке, не имеет указаний на их происхождение и тем самым не может служить источником, по крайней мере, до тех пор, пока не будут атрибутированы исследователями — то есть не восстановят детали своей биографии.

Приведенный пример как нельзя лучше иллюстрирует наблюдение об амбивалентности писем и переписки в проекте. Он еще раз показывает, что не только та часть переписки, которая изначально должна была сформировать полевой архив, но также письма и фольклорные тексты для него не предназначенные со временем институализировались, а оказавшись в архиве — стали документами, источниками стабильной информации.

* * *

Сложную природу писем как источника знаний о фольклорных песнях осознавали и сами участники. В предисловии к собранию и в своих воспоминаниях М.С. Друскин называет среди источников только устные (полевые) и печатные «свидетельские документации» и абсолютно не упоминает данные, почерпну-

тые из писем, впрочем, как не упоминает он и саму переписку. Мы практически не найдем ссылок на письма ни на страницах подготовленной антологии, ни в более поздних работах Друскина о русской революционной песне. Несколько историй о происхождении песен, рассказанных информантами в письмах, не получив документальных подтверждений, так и остались лишь версиями. Один из таких сюжетов развернулся вокруг авторства похоронного марша «Замучен тяжелой неволей», вошедшего в советский песенный канон благодаря легенде об особой любви к нему Ленина. Письмо Тараса Григорьевича Мачтета — сына предполагаемого автора стихотворения Г.А. Мачтета, опровергнув ошибочную атрибуцию Петру Лаврову, не принесло долгожданного ответа на главный вопрос — как была создана эта песня и кто на самом деле был автором опубликованного в 1876 году стихотворения «Последнее прости!». В своей книге, а затем и в популярной ее версии Друскин осторожно сослался на письмо Т.Г. Мачтета: «Предположительно автором этого стихотворения называли самого Лаврова или писателя Г.А. Мачтета (1852–1901), близкого к революционно-демократическим кругам Петербурга. Последнее представляется более вероятным, так как подтверждается и редакционным примечанием газеты, и свидетельством сына писателя (в письме к автору данной брошюры в 1936 г.)» [Друскин 2012в: 407]⁴⁸. Однако это исключительный случай. Сведения, почерпнутые из писем информантов, как и другие не подтвержденные полем или документами знания, обычно не выходили за рамки архива. Впрочем, этот сюжет затрагивает другую тему — специфику и судьбу городской, постфольклорной песни (большая часть революционных песен рождалась по законам этого жанра), сложная природа которой и ускользающее авторство были осознаны фольклористами довольно рано, что во многом и определило дизайн этого проекта.

Библиография / References

- [Астахова 1934] — *Астахова А.М.* Фольклор гражданской войны // Советский фольклор. 1934. № 1. С. 9–40.
- (*Astakhova A.M.* Fol'klor grazhdanskoy voyny // Sovetskiy fol'klor. 1934. No. 1. P. 9–40.)
- [Бекман, Заржевская 1933] — *Бекман В., Заржевская М.* Опыт учета музыкального оформления октябрьской демонстрации // Музыкальная самодеятельность. 1933. № 1. С. 5–8.
- (*Bekman V., Zarzhevskaya M.* Opyt ucheta muzykal'nogo oforneniya oktyabr'skoy demonstratsii // Muzykal'naya samodeyatel'nost'. 1933. No. 1. P. 5–8.)
- [Бугославский 1928] — *Бугославский С.А.* Песни ссылки и подполья // Клубная сцена. 1928. № 1 (7). С. 90.
- (*Bugoslavskiy S.A.* Pesni ssylki i podpol'ya // Klubnaya stsena. 1928. No. 1 (7). P. 90.)
- [Друскин 1934а] — *Друскин М.С.* Открытое письмо в редакцию журнала «Советская музыка» // Советская музыка. 1934. № 10. С. 94.
- (*Druskin M.S.* Otkrytoe pis'mo v redaktsiyu zhurnala "Sovetskaya muzyka" // Sovetskaya muzyka. 1934. No. 10. P. 94.)
- [Друскин 1934б] — *Друскин М.С.* Революционная песня народовольцев // Советская музыка. 1934. № 3. С. 48–62.

48 Брошюра была опубликована в 1959 году: Русская революционная песня. Л.: Музгиз, 1959. Ср.: [Друскин 2012г: 281, примеч. 29].

- (*Druskin M.S. Revolyutsionnaya pesnya narodovol'tsev // Sovetskaya muzyka. 1934. No. 3. P. 48—62.*)
- [Друскин 1935] — *Друскин М.С. Циркулярное письмо // Советское краеведение. 1935. № 1. С. 80.*
- (*Druskin M.S. Tsirkulyarnoe pis'mo // Sovetskoe kraevedenie. 1935. No. 1. P. 80.*)
- [Друскин 1977] — *Друскин М.С. Призвание и профессия // Друскин М.С. Исследования. Воспоминания. Л.; М.: Советский композитор, 1977. С. 256—260.*
- (*Druskin M.S. Prizvanie i professiya // Druskin M.S. Issledovaniya. Vospominaniya. Leningrad, Moscow, 1977. P. 256—260.*)
- [Друскин 1999] — *Друскин М.С. Каким его знаю // Друскин Я. Дневники / Сост., подгот. текста, примеч. Л.С. Друскиной. СПб.: Академический проект, 1999. С. 7—41.*
- (*Druskin M.S. Kakim ego znayu // Druskin Ya. Dnevnik / Comp., prep., notes by L.S. Druskina. Saint Petersburg, 1999. P. 7—41.*)
- [Друскин 2012а] — *Друскин М.С. Исторические пути развития революционной песни. От редактора // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 482—487.*
- (*Druskin M.S. Istoricheskie puti razvitiya revolyutsionnoy pesni. Ot redaktora // Druskin M.S. Sbranie sochineniy. In 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kovnatskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 482—487.*)
- [Друскин 2012б] — *Друскин М.С. Нотные и книжные источники // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 295—303.*
- (*Druskin M.S. Notnye i knizhnye istochniki // Druskin M.S. Sbranie sochineniy. in 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kovnatskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 295—303.*)
- [Друскин 2012в] — *Друскин М.С. История песен // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 382—455.*
- (*Druskin M.S. Istoriya pesen // Druskin M.S. Sbranie sochineniy. In 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kovnatskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 382—455.*)
- [Друскин 2012г] — *Друскин М.С. Русская революционная песня. Исследование // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 49—294.*
- (*Druskin M.S. Russkaya revolyutsionnaya pesnya. Issledovaniye // Druskin M.S. Sbranie sochineniy. In 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kovnatskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 49—294.*)
- [Неклюдов 2005] — *Неклюдов С.Ю. «Все кирпичики, да кирпичики...» // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р.Д. Тименчика. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 271—303.*
- (*Neklyudov S.Yu. "Vse kirpichiki, da kirpichiki..." // Shipovnik. Istoriko-filologicheskiy sbornik k 60-letiyu R.D. Timenchika. Moscow, 2005. P. 271—303.*)
- [Петрова 2006] — *Петрова Л.И. Из истории собирательской и издательской работы ленинградских фольклористов (по материалам протоколов, отчетов, писем 30-х годов XX в.) // Из истории русской фольклористики. Вып. 6. СПб.: Наука, 2006. С. 248—262.*
- (*Petrova L.I. Iz istorii sobiratel'skoy i izdatel'skoy raboty leningradskikh fol'kloristov (po materialam protokolov, otchetov, pisem 30-kh godov XX v.) // Iz istorii russkoy fol'kloristiki. Iss. 6. Saint Petersburg, 2006. P. 248—262.*)
- [Письма и документы 2012] — *Письма и документы // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 517—769.*
- (*Pis'ma i dokumenty // Druskin M.S. Sbranie sochineniy. In 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kov-*

- natskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 517—769.)
- [Подрезова 2012] — *Подрезова С.В.* М.С. Друскин — собиратель и исследователь русской революционной и рабочей песни // Друскин М.С. Собрание сочинений: В 7 т. / Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая. Т. 5: Русская революционная песня / Сост., вступ. статья, материалы, публ. писем и документов, коммент. С.В. Подрезовой. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2012. С. 6—42.
- (*Podrezova S.V.* M.S. Druskin — sobiratel' i issledovatel' russkoy revolyutsionnoy i rabochey pesni // Druskin M.S. Sbranie sochineniy: In 7 vols / Ed. and comp. by L.G. Kovnatskaya. Vol. 5: Russkaya revolyutsionnaya pesnya / Comp., introd., materials, publ. of letters and documents, comment. by S.V. Podrezova. Saint Petersburg, 2012. P. 6—42.)
- [Подрезова 2021] — *Подрезова С.В.* К истории неизданного собрания «Русские революционные песни» // Русский фольклор. Т. XXXVIII: Материалы и исследования. Памяти Виктора Евгеньевича Гусева. СПб.: Наука, 2021. С. 219—232.
- (*Podrezova S.V.* K istorii neizdannogo sobraniya "Russkie revolyutsionnye pesni" // Russkiy fol'klor. Vol. XXXVIII: Materialy i issledovaniya. Pamyati Viktora Evgen'evicha Guseva. Saint Petersburg, 2021. P. 219—232.)
- [Соколов 1935] — *Соколов Ю.М.* О собирании фольклора // Советское краеведение. 1935. № 2 (февраль). С. 12—17.
- (*Sokolov Yu.M.* O sobiranii fol'klora // Sovetskoe kraevedenie. 1935. No. 2 (February). P. 12—17.)
- [Черномордикив 1935] — *Черномордикив Д.А.* Революционные песни в 1905 г. // Советская музыка. 1935. № 12. С. 3—10.
- (*Chernomordikov D.A.* Revolyutsionnye pesni v 1905 g. // Sovetskaya muzyka. 1935. No. 12. P. 3—10.)
- [Шехтер 1968] — *Шехтер Б.С.* Годы творческого общения // Давиденко А. Воспоминания, статьи, материалы / Сост. А.Н. Мартынов. Л.: Музыка, 1968. С. 42—48.
- (*Shekhter B.S.* Gody tvorcheskogo obshcheniya // Davidenko A. Vospominaniya, stat'i, materialy / Comp. by A.N. Martynov. Leningrad, 1968. P. 42—48.)

Режимы памяти

Ольга Лиценбергер, Роза Мусабекова

«У каждого своя история...»:

ШКОЛА И ДЕТСТВО В ПАМЯТИ

НЕМЦЕВ-СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ КАЗАХСТАНА (1950—1960-е ГОДЫ) ПО МАТЕРИАЛАМ УСТНОЙ ИСТОРИИ¹

Olga Litzenberger, Roza M. Mussabekova

“Everyone has their own story...”: School and Childhood in the Memories of German Special Settlers in Kazakhstan (1950s—1960s) based on Oral History

Ольга Лиценбергер (Баварский центр культуры немцев из России, Нюрнберг, Федеративная Республика Германия, профессор, научный сотрудник; доктор исторических наук) litzenbergerolga@gmail.com.

Роза Мусабекова (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан, доцент кафедры русской филологии; PhD) roza709@mail.ru.

Ключевые слова: устная история, интервью, российские немцы, дети, детство, семья, школа

УДК: 94(47)

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_84

На основании проведенных устных интервью и материалов государственных архивов Казахстана авторы анализируют особенности школьного обучения и социализации детей депортированных российских немцев, родившихся в Казахстане в период спецпоселения, в 1941—1955 годы. В статье рассматривается влияние

Olga Litzenberger (Dr. habil.; Professor, Research Fellow, Bavarian Centre for the Culture of Germans from Russia, Nuremberg, Germany) litzenbergerolga@gmail.com.

Roza Mussabekova (PhD; Associate Professor, Department of Russian Philology, Eurasian National University, Astana, Republic of Kazakhstan) roza709@mail.ru.

Key words: oral history, interview, Russian German, children, childhood, family, school.

UDC: 94(47)

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_84

Based on oral interviews and materials from Kazakh state archives, the authors analyze the specifics of schooling and socialisation of children of deported Russian Germans born in Kazakhstan during the period of special settlement, 1941—1955. The article examines the impact of temporal disorientation, Soviet school ideology and social upheaval on German

1 Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан «Целина и спецконтингент Северного Казахстана: устный нарратив и новые архивные источники (регистрационный номер AP23489276)».

дезориентации темпорального слома, идеологии советской школы и социальных потрясений на немецких детей. Как показывают материалы интервью, восприятие времени и жизненные истории немецких детей, родившихся в Казахстане и уже не испытавших на себе в полной мере тяготы и лишения депортации, порой противоречат национальному нарративу и не всегда вписываются в концепцию исторической травмы.

children. As the materials of the interviews show, the perceptions of time and life stories of German children born in Kazakhstan in the 1950s, who no longer experienced the hardships of deportation, sometimes contradict the national narrative and do not always fit into the concept of historical trauma.

Детство как важнейший этап жизни человека формирует его личность, определяет дальнейшую судьбу и жизненные устремления. Собранные в ходе подготовки данной статьи интервью передают спустя десятилетия эмоции и события, увиденные глазами детей и пережитые в период темпорального слома, которым для российских немцев стала массовая депортация 1941 года и последовавшее за ней спецпоселение.

История детства немцев-спецпоселенцев, основанная на свидетельствах очевидцев, исследуется на фоне экономических и социальных процессов этого периода, ставшего для старшего поколения эпохой катаклизмов. Использование методов устной истории, имеющей важное значение в изучении памяти о советском прошлом, позволило провести сравнительный анализ между восприятием собственного детства детьми довоенного и послевоенного поколений. На примере проведенных интервью авторы исследуют травматический опыт, объясняя, почему депортация или трудармия не только остаются бременем для репрессированного поколения, но и проявляются в эмоциональном опыте их потомков. Эта связь является очевидной в случае с детьми российских немцев. В исследовании памяти особенную значимость обретает травматическая память, оказывающаяся ключевым аспектом при анализе жизни российских немцев в 1940—1950-е годы. Воспоминания о перенесенных страданиях являются важной составляющей восприятия времени и стратегий поведения российских немцев. Выводы, сделанные на основании материалов устной истории, подкреплены документами государственных архивов городов Астаны, Кокшетау и Акмолинской области.

Депортация из исконных мест проживания, школьные годы и детство, проведенные в условиях спецпоселения и комендатуры, стали для целого поколения детей исторической травмой. Однако менялись ли в кризисных условиях ценностные ориентации следующих поколений детей, родившихся после депортации, в условиях спецпоселения?

Согласно устоявшимся оценкам, к историческим травмам относятся массовые преследования и геноцид, поражение в войне, утрата былой государственности, эпоха тоталитаризма и тоталитарное наследие, резкие социокультурные изменения и массовые потери [Шнирельман 2021: 7].

Наиболее авторитетными трудами в вопросах культурной и коллективной исторической памяти считаются работы М. Хальбвакса [Хальбвакс 2005; 2007] и А. Ассман [Ассман 2014]. В последние годы эти темы активно исследуются и многими российскими учеными (см.: [Артёменко 2019; Травма... 2009] и др.). Согласно М. Хальбваксу, индивиду доступны два типа памяти: коллективная

и индивидуальная. С одной стороны, его воспоминания вписываются в рамки собственной личности, и даже те из них, которые он разделяет с другими, рассматриваются им лишь постольку, поскольку они затрагивают его в отличие от других. С другой стороны, в определенные моменты индивид способен вести себя просто как член группы, вызывая в памяти и поддерживая безличные воспоминания в той мере, в какой они затрагивают его группу. Эти две памяти часто проникают друг в друга; в частности, индивидуальная память может опереться на память коллективную, чтобы подтвердить или уточнить то или иное воспоминание или даже чтобы восполнить кое-какие пробелы, вновь погрузиться в нее, на короткое время слиться с ней [Хальбвакс 2005].

В целом исследования памяти позволяют существенно расширить понимание и интерпретацию архивных документов и иных источников. Кроме того, материалы устной истории (Oral History), сбор и анализ интервью в последние десятилетия стали важнейшими источниками исследования и активно используются историками и этнографами. В ходе подготовки данной статьи были использованы воспоминания и материалы 28 биографических и тематических интервью с респондентами разного возраста и пола, длившиеся от двух до четырех часов и собранные в Германии (23), Казахстане (2) и России (3)².

В нашей статье в большинстве случаев обобщены результаты тематических интервью, проведенных на основе наводящих вопросов об особенностях взросления, школьного обучения и ином опыте, который пережил опрашиваемый свидетель. Для проведения и организации интервью была необходима структурированная процедура: поиск респондентов — российских немцев, родившихся в Казахстане в период с 1941 по 1955 год, обсуждение целей, задач и круга вопросов, а также получение разрешения опрашиваемого на запись и видеосъемку интервью. В процессе самого интервьюирования не все очевидцы могли воспроизвести свои воспоминания в доступной и логичной форме, не всегда могли справиться с физическим и психологическим напряжением. В ходе интервью, вспоминая собственное детство, опрашиваемые подвергались сильной эмоциональной нагрузке, которая приводила к волнению, стрессу и даже слезам. Эмоциональный опыт тесно связан с эмоциональной памятью, а именно способностью воспроизводить пережитое ранее эмоциональное состояние в комплексе с воспоминанием о вызвавшей его ситуации и субъективным отношением к ней [Бергфельд 2010: 43]. Интервьюеру необходимо было принимать во внимание психологические особенности интервьюируемого и значительную эмоциональную нагрузку. В центре внимания интервью находились детство и школьное обучение, взаимоотношения в семье, вопросы сохранения немецкого языка, традиций, культуры и др.

После непосредственной встречи с опрашиваемым следовал не менее важный и трудоемкий этап обработки и расшифровки интервью с целью его последующего использования в качестве исторического источника. Как известно,

2 Оба соавтора являются членами Исследовательского исторического общества немцев из России (Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland), переименованного в 2022 году в Немецкое историческое общество немцев стран Восточной Европы (Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Osteuropa) и изучающего историю и культуру российских немцев из стран постсоветского пространства. В рамках проекта одним из соавторов были организованы и записаны многочисленные интервью. Вторым соавтором была проведена аналитическая работа по изучаемой проблематике в архивах Казахстана.

такого рода источники часто содержат «импортированные» воспоминания третьих лиц, приукрашивания, перевоплощения, забытые или отошедшие на второй план воспоминания. Кроме того, формулировка ответов на конкретные вопросы и истории жизни зачастую формируется под влиянием индивидуального нарратива и конкретной ситуации общения.

Использование интервьюирования для сбора данных, а также сравнение данных «устной истории», не отделимых от человеческой памяти, с архивными документами позволяют представить историю детства немцев-спецпоселенцев в 1950—1960-е годы с разных сторон. Поскольку многие наши интервьюируемые родились и проживали на территории Кокчетавского района Кокчетавской области, в том числе в селах и аулах на территории Кусепского района с центром в селе Куропаткино (ныне село Оркен, Зерендинский район Акмолинской области), мы посчитали необходимым в ряде случаев привлечь архивные материалы и рассмотреть статистику и иные данные, касающиеся школьного обучения и развития образования в Кокчетавской области.

Результаты исследования. Рассмотрим прежде всего особенности школьного обучения детей немцев-спецпоселенцев, родившихся после депортации, но до снятия режима спецпоселения в 1955 году. Эта проблематика является малоисследованной: в советский период она изучалась исходя из идеологических установок историографии того времени, ныне рассматривается под иным углом зрения, квалифицирующим спецпоселение как административно-правовой режим, ограничивающий права личности и введенный государством для отдельных категорий населения и этносов. Многие исследователи отмечают, что с начала 1950-х годов ситуация по охвату обучением детей немцев-спецпоселенцев начала меняться в лучшую сторону. Если в 1945 году в Казахстане только 12% детей спецпоселенцев посещали школу [Черказьянова 2003: 73], а в 1946 году — 33% [Шабаев 1994: 34], то к 1950-м годам во многих районах Казахской Республики этот показатель превышал 90%. Так, например, на 1 января 1951 года в Восточно-Казахстанской области на учете состояло 6909 немецких детей (5568 — детей немцев «выселенных» (подвергшихся принудительному выселению из мест проживания в 1930-е годы), 1198 — «местных» (проживавших на территории Казахстана до депортации 1941 года), 39 — «мобилизованных» (трудармейцев) и 4 — «репатриированных» (возвращенных в СССР в послевоенные годы). Из «выселенных» 3679 являлись детьми школьного возраста, 3331 из них обучались в школах (88%) и 438 (11%) работали, из числа «местных» немцев школьного возраста — 709 (59%) учились и 108 (9%) работали. Число работавших наравне со взрослыми немецких детей в итоге по состоянию на 1951 год составляло 12% [Бургарт 2001: 167].

Опрошенные в своих беседах с нами обязательно упоминали, что помимо посещения школы они работали наравне со взрослыми:

В колхозе работа адская была. Мужчины работали по двадцать часов в сутки. Я взрослых, когда посевная или уборочная, могла неделями не видеть. Мы, дети, тоже ухаживали за скотиной, пешком ходили по степям 30—40 километров, перегоняли скот (Эльвира О.).

Сотни детей трудились на колхозных полях и фермах. В целом по Казахстану по состоянию на 1946 год в сельскохозяйственных работах принимали участие 124 446 учащихся, которые выработали 4 076 335 трудодней [Ахметова 1984:

99]. Одна из наших опрошенных, Эмилия П., рассказывала, что посещала школу всего четыре года, а когда в 1950 году ей исполнилось пятнадцать, была вынуждена работать дояркой в колхозе. Дневную норму девочки составляли 24 коровы.

В другом интервью нам довелось услышать о судьбе Эрвина Францевича Госсена, доктора сельскохозяйственных наук, разработчика системы защиты почвы от ветровой эрозии, лауреата Ленинской премии [Мусагалиева, Мусабекова 2000]. Родившийся в 1931 году в семье меннонитов, Эрвин был депортирован с родителями в селе Котырколь Щучинского района Кокчетавской области и работал в колхозе имени Фрунзе наравне со взрослыми. До конца жизни Госсен благодарил судьбу, появившуюся в его жизни в лице проверяющей из министерства просвещения по фамилии Ломакина. Проверяющая, заметив среди взрослых колхозников ребенка, строго спросила, почему он совсем не посещает школу, а затем вынудила бригадира и председателя колхоза освободить мальчика от полевых работ. В 1945 году будущий ученый Госсен смог пойти в четвертый класс Котыркольской школы и, окончив семь классов, поступил в зооветеринарный техникум (интервью с другом Госсена Вильгельмом Ю.).

Однако если большинство наших собеседников — российских немцев, родившихся в АССР немцев Поволжья до депортации (им будет посвящено отдельное исследование), пошли в Казахстане в первый класс лишь через несколько лет после окончания войны, то опрошенные нами российские немцы, родившиеся на спецпоселении после 1941 года, в подавляющем большинстве начинали обучение с 7—8-летнего возраста, наравне со сверстниками других национальностей. Тем не менее в конце 1940-х — начале 1950-х годов, кроме вовлечения детей в работу в колхозах, одной из главных причин непосещения ими школ являлось отсутствие русскоязычных школ в районах расселения спецпоселенцев. В начале 1950/51 учебного года по этой причине не посещали школу в Карагандинской области 1546 детей, в Кокчетавской области — 680 детей³. Уже к середине 1950-х годов ситуация изменилась. Так, например, в 1955 году в Кокчетавском районе из 4066 детей школьного возраста не посещали школу только 73 ребенка (2%)⁴.

В сведениях обкома КП(б) об обучении в школах детей спецпоселенцев за 1952 год отмечалось, что «некоторые дети ранее не учились, а в настоящее время они, будучи переростками, в школу не пошли, устроились на работу, и во-вторых, некоторая часть спецпереселенцев проживает в местах, отдаленных от школ» [Бургарт 2001: 168]. Действительно, семилетние и средние школы существовали лишь в крупных населенных пунктах, поэтому дети, окончившие начальные классы, вынуждены были прекращать учебу. Отсутствие школ во многих местах размещения немецкого населения приводило к тому, что дети были вынуждены ходить в школу пешком, преодолевая огромные расстояния и не считаясь с погодными сложностями. Эдуард Х. говорил:

Только если мороз был более сорока или буран, в школу ходить не надо было, вот тогда мы радовались. Никакого школьного автобуса, конечно, не было, и мы ходили пешком.

3 Из истории немцев Казахстана (1921—1975 гг.): Сб. документов. Алма-Ата; М., 1997. С. 150, 217.

4 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.

Сухие архивные строки также свидетельствуют о том, что многие школьники, ходившие пешком, не посещали занятия во время сильных морозов и снегопадов. Отчеты отдела народного образования Кокчетавского района 1952 года указывают, что «по вине бывшего директора Куропаткинской семилетней школы А. Ягудина школьники ходили пешком до школы 18 км» и шестеро детей пропускали школу в зимнее время года. Один из очевидцев, Теодор Л. 1945 года рождения, проживавший в селе Азат, где имелась только начальная школа, действительно вспоминал, что в середине 1950-х годов, с пятого по восьмой класс, должен был ходить в школу в Куропаткино: «Вставал очень рано и шел пешком четыре километра в одну сторону, в дождь, в грязь, в мороз и в стужу». Отдел народного образования констатировал, что и другие директора школ халатно допускали пропуски детьми занятий в зимнее время: Игиликская семилетняя школа — 13 учениками, Васильковская и Молотовская школы — 4 учениками в каждой⁵. Только с середины 1960-х годов для учащихся, живущих далеко от школ, был организован подвоз школьников гужевым транспортом. В Кокчетавском районе в 1962 году подвоз был организован в 13 населенных пунктах с охватом 375 детей, проживавших на значительном удалении от школ.

Однако в зимнее время из-за сильных снегопадов и отсутствия очищенных дорог дети по-прежнему пропускали школу:

Помню, как мы мерзли по дороге в школу и обратно, если приходилось ждать. У меня до сих пор нос и пальцы отмороженные. Холодно было так, что одежда леденела. А когда приходили в школу, все было насквозь мокрое. Если мы шли пешком, то по дороге играли, валялись в снегу, кидались снежками, скатывались с горок. Снег забивался в обувь и одежду, а потом сидели в школе мокрые, а ведь надо было идти обратно, —

вспоминала одна из наших респонденток.

Детскими воспоминаниями о посещении школы в зимнее время делилась и Эльвира О.:

Хоть сколько градусов: мама замотает шалью, портфель в руки — и вперед! Иногда придешь, а в классе человека 4—5, и потом позанимаются учителя 2—3 часа и домой, потому что другие дети, кто далеко жил, не приходили из-за морозов. В Казахстане сорок градусов минус — это нормально. И так все снегом занесено, что трубы только торчат.

В 1950-е годы по-прежнему проблема нехватки теплой одежды и обуви, из-за отсутствия которых дети не посещали школу в зимнее время, продолжала стоять достаточно остро. Однако с течением времени, согласно проведенным интервью, ситуация менялась в лучшую сторону. Поколение немецких детей, посещавшее школу во второй половине 1940-х годов, неоднократно упоминало о полном отсутствии у немцев, в отличие от местных жителей, обуви и одежды, о платьях из мешковины, о наличии на всю семью одной пары обуви, которую приходилось носить по очереди, и даже об использовании одежды, снятой с покойников (Виктор Ш., Вера Б., Эмилия П. и мн. др.). Поколение детей, родившихся в послевоенное время, также вспоминало о сложностях с одеждой

5 Там же. Л. 2.

и обувью, однако описывало их совсем иными красками. Эльвира О. вспоминала о начале 1950-х годов:

Одежда была ветхая. Носишь-носишь, пока не сносится. Бабушка София мне из моего старого пальто сшила потом костюм, распоролла и сделала из него юбку и курточку. А младшие сестры уже за мной ничего не донашивали. У них одежда была, можно было поехать в город и что-то купить. А у меня ничего не было, чтобы за мной донашивать. Носишь, пока не изорвется. Про меня маленькую говорили: «Как бедненько одета и какая миленькая». Помню, я уже в старших классах была, привезли в наш магазин пальто, а папка как раз получил зарплату, и купил он мне его на все деньги, что были. Потом учительница меня вызвала и говорит: «Некоторые женщины до конца жизни такого пальто не имеют».

О замечаниях учителей родителям в связи с покупкой дочери нового и дорогого предмета одежды (новой шапки) рассказывала нам еще одна респондентка, Татьяна Л. Ирма Б. вспоминала, как на 1 сентября надела платье, принесенное отцом — бухгалтером детского дома с работы, и тут же получила выговор от учительницы, узнавшей форму детдомовцев. Вернувшись домой, Ирма швырнула платье на пол и в слезах сказала, что не наденет его больше никогда. Однако никакого другого платья у девочки не было еще на протяжении нескольких лет.

Вильгельм Ю. 1947 года рождения рассказывал, что не только немецкие, но и депортированные чеченские дети, в отличие от местных детей, сталкивались с той же проблемой. Так, когда Вильгельм пошел в первый класс, вместе с ним учился чеченский мальчик по фамилии Дошкаев, который всегда ходил в школу только босиком, до первого снега, и вынужден был в течение нескольких лет подряд начинать обучение в первом классе. Местные жители, как могли, помогали депортированным, «ходившим по миру» и собиравшим подаяние, хотя сами в период войны и после нее находились в сложной экономической ситуации (Вера Б., Виктор Ш. и др.).

Со временем нуждающимся семьям была организована материальная помощь из специального фонда. Виктор Ш. упоминал, что на шестерых детей в их семье, оставшейся без отца, выдали пару обуви, с тем чтобы младшие дети, ходившие в школу в две смены, носили обувь по очереди. Согласно архивным документам, в 1962 году 585 учащихся получили помощь на сумму 10 тысяч рублей⁶. Родительские комитеты школ и сельские советы распределяли среди нуждающихся теплую детскую одежду и обувь.

Я помню, в начальных классах стали елки проводить в клубе и собирали по рублю, чтобы детям конфеты купить, а мама не дала, денег не было. Потом всем дают кульки, а мы все пятеро без конфет стоим, было так обидно. Потом маме стыдно было, и она сказала, что лучше бы последнее отдала и купила. Бедно мы жили, очень бедно, каждый рубль ценили, —

рассказывала о своем детстве Эльвира О.

Один из наших респондентов вспоминал, как самым запомнившимся детским рождественским подарком для четверых детей в семье стал кусковой сахар:

6 Там же.

Нам для счастья нужно было совсем мало: купят новые валенки — и мы счастливы, принесет мать обезжиренную сыворотку, которую давали в колхозе после сепарации молока, — и мы счастливы, а этот сахар в больших кусках я запомнил на всю жизнь (Андрей Л. 1947 года рождения).

К наиболее ярким воспоминаниям детей послевоенного поколения относятся события, связанные с появлением в селе первого фотоаппарата или первого пальто с воротником из лисьего меха (Вильгельм Ю. 1947 года рождения).

Уже к началу 1960-х годов все немецкие дети, родившиеся в Казахстане после депортации, как и дети других национальностей, имели возможность посещать школы. С образованием Целинного края⁷ в 1960 году и большим наплывом новых переселенцев численность общеобразовательных школ и, соответственно, учеников в них увеличивалась с каждым годом. Если в 1960/61 учебном году в Целинном крае было 3457 школ, в которых обучалось почти 454 тысячи детей, то в 1962/63 учебном году количество школ возросло до 3590, а учащихся — до 605 тысяч человек; в 1963/64 учебном году в Целинном крае имелось уже 3684 школы, в том числе 400 средних, 1360 восьмилетних и 1924 начальных, в которых обучалось 680 тысяч учащихся⁸. Если ранее школы располагались в зданиях бывших молитвенных домов, мечетей, «кулацких» и «поповских» домах, то в 1960-е годы в Казахстане, как и по всей стране, началось активное строительство новых школьных зданий⁹.

С целью увеличения общего числа школ в 1962 году отделом народного образования Целинного края совместно с исполкомами районных и сельских советов было принято решение о проведении комплекса мероприятий по строительству новых школ, интернатов и дошкольных детских учреждений. В 1962 году на территории Кокчетавского района Кокчетавской области насчитывалось 14 098 детей школьного возраста различных национальностей. В районе действовало 94 школы, в том числе 8 одиннадцатилетних, 37 восьмилетних и 49 начальных. Большинство школ работали в две смены¹⁰. Многие школы строились инициативным путем за счет совхозов: школьные здания на 1576 ученических мест были сданы в эксплуатацию в 1962 году¹¹.

Новые школы открывались и в местах расселения и проживания немецкого населения. Были сданы в эксплуатацию Александровская 11-летняя школа на 320 мест, Кызыл-сайская, Исаковская и школа в Конезаводском совхозе на 192 места каждая, а также Жылымдинская и Линеевская школы на 160 мест каждая. Открытие новых школ в сельской местности сопровождалось созданием пришкольных мастерских (в Абайской и Чаглинской школе), расширением школ-интернатов (Раздольненская на 210 мест).

В Кокчетавском районе на 1962 году насчитывалась 91 школа, из них 70 подлежали капитальному и текущему ремонту. К началу 1962/63 учебного года в Кокчетавском районе было введено 1577 новых ученических мест. Чаглин-

7 Целинный край — административное образование в составе Казахской ССР в 1960—1965 годы, занимал 21% площади Казахстана, здесь проживал 31% населения республики; объединял Кокчетавскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Целиноградскую области.

8 Государственный архив г. Астаны. Ф. 185. Оп. 1. Д. 300. Л. 14.

9 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 45. Л. 31.

10 Там же. Д. 56. Л. 104.

11 Там же. Л. 88.

ская опытная станция за счет совхоза построила школьные здания на участке «Октябрь» на 150 мест, Ортакская школа пристроила шесть классных комнат на 120 мест, Васильковская школа — четыре классные комнаты на 80 мест, Аканская школа — две классные комнаты на 40 мест. Поселок Железобетонный Дом открыл школьное помещение на 192 места, совхоз Раздольный и поселок Доломитный Карьер — на 120 учеников каждый¹². Активное строительство велось и в последующие годы. Только в 1964 году в Кокчетавском районе Кокчетавской области было построено более 30 новых школ.

Одной из ведущих в Кокчетавском районе являлась одиннадцатилетняя школа в Куропаткино, новое здание которой было возведено в 1962 году¹³. В этом году в школе обучался 341 ученик, здесь имелось восемь начальных и восемь старших классов. Согласно сухим строкам отчетов, в куропаткинской школе на высоком уровне находилась методическая работа и патриотическое воспитание, работали различные предметные секции, успешно функционировали пионерские и комсомольские организации. В марте 1947 года Центральный комитет ВЛКСМ утвердил постановление «Об улучшении работы пионерской организации», в котором рекомендовалось «для удовлетворения разнообразных здоровых стремлений и увлечений» усилить массовость организации, организовывать устройство военных и спортивных игр, соревнований, чтение и обсуждение книг и газет, а также массово привлекать детей в молодежные коммунистические организации»¹⁴.

Наша опрошенная Лидия М. вспоминала:

В немецких семьях вели разговоры, что в октябрюта и пионеры не нужно вступать. Некоторые получали разрешения вступить в октябрюта, а вот в пионеры было уже проблематично. В школе учителя объясняли, что это нужно делать, так как летики летали в Космос, и там в небе не встречали никого, и Бог не существует. Вступившие в пионеры из дома выходили с галстуком в кармане, а придя в школу, его одевали. Выходя из школы, вновь снимали и прятали в карман во избежание наказания как дома, так и в школе.

Другой наш респондент, родившийся позже, Эдуард Х., уже не помнил никаких сложностей, связанных со своим вступлением в детские и молодежные организации:

Все дети вступали в комсомол, и мы вступали, конечно, не политически, неосознанно, а потому, что вступали все. Чтобы не быть белой вороной. Но были дети, которые не вступали. У нас в классе была немецкая девочка из очень верующей семьи, она отказалась, потому что ей родители не разрешили. Даже дети над ней подсмеивались и подтрунивали.

Существенные отличия в восприятии советской действительности детьми, родившимися с разницей всего в десять лет, отмечают в своих работах и другие исследователи, подтверждающие на конкретных примерах тезис о быстрой социализации и интеграции младших детей. Так, родившаяся в 1950 году в семье немцев-спецпоселенцев девочка с легкостью вступила в комсомол, в отличие

12 Там же.

13 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 45. Л. 50.

14 Директивы и документы по вопросам пионерского движения. М.: Педгиз, 1959. С. 87.

от ее брата 1940 года рождения, высланного с родителями и потерявшего в депортации родного брата [Аманбекова 2022: 14].

Весьма эмоционально рассказывала нам о запрете вступления в пионеры Элла В. 1952 года рождения, родители которой по религиозным мотивам в течение нескольких лет не разрешали дочери вступить в ряды молодежной организации. Элла, будучи отличницей и активисткой, расценивала это как личную трагедию и в итоге вступила в пионеры тайно, по сговору с учительницей, только через год после того, когда пионерами стали все ее одноклассники, однако она все же была строго наказана родителями.

Анализируя воспоминания наших респондентов об их взрослении в советской школе и в том числе об участии в советских молодежных организациях, необходимо учитывать и тот факт, что мнения, высказанные интервьюируемыми, в большинстве случаев отражают их целостный, современный жизненный опыт и более поздние, постдетские интерполяции, а не то, что представляло для них особую ценность в детстве. Многим опрошенным были присущи и скрытые интерпретации пережитого, относящиеся к прежним жизненным установкам.

Упомянутая выше Элла В. также объяснила нам, почему ее желание «идти в ногу со временем» приводило к конфликтам с родителями. Старшее поколение расценивало молодежные коммунистические организации как наступление на религиозные традиции и подмену христианской веры новой идеологией. Элла В. вспоминала:

Мы с детства приобщались к религиозным традициям, видели, что взрослые каждый новый день начинали и заканчивали молитвой. Завтрак, обед и ужин тоже начинались и заканчивались молитвой. Все это было само собой разумеющееся.

Андрей Л. также указывал, что в его доме проводились религиозные собрания и ежедневно читались богослужебные книги. Все без исключения наши опрошенные вспоминали, что взрослые обязательно учили их молитвам, рассказывали библейские притчи и истории, с помощью которых пропагандировали нравственность и общепринятые правила морали, воспитывали в детях лучшие качества, проводили грань между добром и злом, хорошим и плохим, зачастую противопоставляя советские и религиозные традиции.

Принадлежность к массовым детским организациям предполагала воспитание юных ленинцев в духе коммунистической идейности и преданности советской родине и расценивалась учителями как непримиримость ко всему, что было чуждо социалистическому образу жизни. Ольга Ч. вспоминала:

В начальной школе была у нас учительница Ольга Егоровна, узнала она, что я молитвы читаю и по домам на Рождество хожу, и говорит: «Ты же октябренок, нельзя молитвы читать!» А я отвечаю: «Да я же хорошие молитвы и стихи знаю, там же про ангелочка!» Я никак не могла понять, почему нельзя, я же не читаю плохие молитвы. И предложила я учительнице перевести молитву на русский, а она не согласилась. А потом эта учительница заболела. А моя бабушка немецкими молитвами могла и зубную боль лечить, и ангину заговаривать. Возьмет молитвенник, шепчет, и боль проходит. А учительница долго болела. Я уговорила ее сходить к моей бабушке, говорю ей: «Вы же все равно не будете понимать немецкий, а бабушка прочитает, и перестанет болеть». Вот и пришла она к нам, бабушка прочитала молитвы и сказала утром прийти снова. Так у нее все и прошло. И потом в школе я ее спрашиваю: «Ну что, помогли Вам немецкие молитвы?» А она

мне шепотом: «Никому не говори, мы же коммунисты, нам же нельзя в это верить!» А я ей отвечаю: «Все равно, лишь бы не болело». Так она и выздоровела.

Знания, которое получали в школе советские дети, были пронизаны коммунистическими идеями и политическими ценностями советской системы. Хрущевская оттепель, в период которой в советской действительности происходили определенные изменения в лучшую сторону, выработала и новую концепцию детства, которая предполагала формирование будущего гражданина в соответствии с «Моральным кодексом строителя коммунизма» и торжеством новых идеалов. Советская педагогика считала воспитание гражданина даже более важным, чем его обучение.

Отец автора статьи, Андрей Л. 1947 года рождения, посещавший Куропаткинскую школу, рассказывал, что поколение немецких детей, родившееся после депортации, жило надеждами и верило в светлое будущее:

Когда в старшем классе школы мы должны были писать сочинение на тему «На кого я хочу быть похожим», я выбрал в качестве примера для подражания Никиту Сергеевича Хрущева. Я написал об освоении целины, строительстве новых школ, запуске первого спутника и даже о снятии спецпоселения. Учительница русского языка пригласила меня к себе после уроков, провела со мной длительную беседу и подсказала... где нужно поставить правильные запятые. Я переписал сочинение начисто, добавив с ее подсказки еще пару нужных слов, и в итоге занял первое место в области.

Советские педагоги использовали различные возможности, понимая, что в этот период происходит духовное развитие ребенка, закладываются главные ценностные ориентиры его личности, происходит становление характера, отношения к окружающему миру.

Процесс социализации личности, который в теории должен был интегрировать все виды воздействий, оказываемых на ребенка общественным окружением — как школой, так и семьей, страдал от отсутствия исторической преемственности, этнического окружения, родного языка и прерывания национальных традиций. Многие наши респонденты указывали, что их родители, депортированные, прошедшие трудовую армию и потерявшие там близких, никогда при детях не критиковали советскую действительность. Эльвира О., дед которой погиб в трудовой армии, узнала об этом совершенно случайно:

Я в жизни не думала, что дедушка мне неродной, а уже когда я была в седьмом или восьмом классе, то случайно двоюродный брат проговорился, что мой родной дедушка погиб. У нас даже фотографии не было, и никогда не говорили, что кто-то погиб в трудовой армии. Те, кто был в трудовой армии, боялись рассказывать, как там было. Почему? Потому что это риск на всю семью, заберут и вообще жить больше не будешь.

Эдуард Х. также отмечал:

Мои мама и бабушка старенькие уже были. Что они могли критиковать, высланные, всего боящиеся. Они боялись и рот открыть. Ни о чем даже разговора не было.

Виктор Ш. вспоминал, как все село, включая депортированных немцев, плакало, узнав из новостей о смерти «великого» Сталина; как взрослые, пережившие репрессии и депортацию, следовали традиционным идеалам советской

системы, верили в ее неизбежность и с надеждой смотрели в будущее. Достоверность последнего интервью была проверена при сопоставлении с другими рассказами на сходную тему. Однако иные респонденты высказывали противоположное мнение и указывали на сохранявшееся до конца жизни весьма настороженное отношение их родителей к мероприятиям советской власти.

В связи с этим следует в очередной раз отметить необходимость критического отношения к сведениям, получаемым в процессе устной беседы. В рассматриваемом примере лишь в случае кропотливого анализа многочисленных интервью, повторяемости и регулярности описания тех или иных событий можно говорить о надежности и ценности устных источников, выявляющих скрытую информацию и отражающихся в общественном сознании. Зачастую, сжимая годы жизни в часы рассказа, опрошенный становится транслятором чужих воспоминаний, путает названия и даты, соединяет разные факты в одно событие. В итоге жизненный опыт респондентов предстает совсем не таким однородным и обобщенным, каким его хотят видеть профессиональные историки. Стратегиями компенсации ненадежности устных источников может служить подтверждение высказываний интервью архивными источниками.

Как свидетельствуют архивные материалы, в первые послевоенные годы одной из важнейших составляющих идеологического воздействия на общество являлась и новая праздничная культура, которая замещала религиозные собрания по воскресеньям, заменяла празднование Пасхи и Рождества и активно привлекала детей к организации массовых праздников. Как воспоминания, так и архивные источники приводят многочисленные примеры того, как школьники выезжали с концертами в соседние села, к 1 Мая и другим праздникам организовывали выступления в совхозных бригадах (Кусепский совхоз и др.)¹⁵. Участие детей в выездных концертах в совхозы было нацелено на формирование единого мировоззрения и воспитание нового советского гражданина. Анализ соответствующих архивных документов, характеризующих деятельность общеобразовательной школы, позволяет утверждать наличие тесной зависимости учебно-воспитательной работы в школах от идеологии социалистического строительства и социалистической культуры.

Дети, воспитываемые советской школой на коммунистических идеалах, не только активно принимали участие в организации культурно-массовой работы в школах, но и работали в бригадах коммунистического труда и участвовали в освоении целины. После XXII съезда КПСС (1961) одним из факторов воспитательного воздействия стало прямое взаимодействие школ с производственными коллективами, выразившееся в создании бригад коммунистического труда и организации социалистических соревнований. Новым явлением в движении школьников за коммунистический труд явились совместные трудовые субботники и воскресники, о которых упоминали многие наши опрошенные. Вильгельм Ю. вспоминал:

Я ненавидел эти субботы и воскресенья, это были бесконечные субботники. В будний день все в школе или на производстве, а в субботу и в воскресенье на субботник!

Эта форма работы имела в советской школе большое воспитательное значение, так как главной ее целью являлся совместный безвозмездный труд на благо

15 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 55. Л. 257.

общества. Кроме того, Вильгельм вспоминал, что дети привлекались не только колхозом или школой, но и родителями для работы в огороде или изготовления кизяка по старой немецкой традиции:

На нас, на мальчишках, лежало изготовление кизяка. Весь навоз, который за зиму собирали, пускали на кизяк. Мы его поливали водой, топтали, месили ногами, потом ссыпали по формам, трамбовали, переворачивали. Лежали кирпичики из этого навоза потом все лето, а мы его то на ребро ставили, то домиком, то пирамидой. Этим топили, к этому очень бережно относились. В те годы у нас ни дров, ни угля не было. Вот и вся жизнь была вокруг этого навоза. И мы, дети, выполняли эту работу. Вместо того чтобы играть или на речку бегать, только и работали.

В этот период в Казахстане, как и по всей стране, широко развернулось и общественное движение за коммунистический труд в ученических производственных бригадах. По всему Казахстану в 1962 году действовало около двух тысяч ученических производственных бригад, в том числе 302 комплексных, 1379 специализированных (свекловодческих, картофелеводческих и др.), 68 животноводческих и 135 строительных [Ахметова 1984: 99]. Ученическая производственная бригада Куропаткинской школы, многие годы являвшаяся лучшей в районе, была удостоена почетного звания «бригады коммунистического отношения к труду». При школе находился пришкольный участок, где на 28 сотках были высажены акации, вязы и сосны, сеялись кукуруза, картофель, овощные культуры и цветы. Площадь пришкольного участка составляла еще 10 соток. Только в 1959 году здесь было высажено 200 кустарников и деревьев¹⁶. В Куропаткинской школе, как и на всей территории Кокчетавского района Кокчетавской области, в селах и аулах Кусепского района уроки биологии и обязательный практикум, прививавший любовь к сельскому хозяйству, проводились на совхозных фермах.

В этот период в процессе обучения и воспитания детей особое внимание уделялось новым методам, и повсеместно было введено социалистическое соревнование школ, также ставшее неотъемлемой частью воспитательной работы. По сведениям Кокчетавского районного отдела народного образования, к социалистическому соревнованию были привлечены даже дошкольные учреждения, а выполнение органами образования различных ступеней народно-хозяйственного плана составляло практически 100% (табл. 1).

Таблица 1. Выполнение народно-хозяйственного плана образовательными учреждениями Кокчетавского района за 1963—1965 годы¹⁷

Контингент	План, чел.	Выполнение, чел.	Процент
1—8 классы	13 309	13 260	99,6
9—11 классы	838	838	100
Школа-интернат	280	134	48,5
Вечерние школы	446	446	100
Общественные интернаты	513	513	100
Дошкольные учреждения	175	160	90,8

¹⁶ Там же. Л. 260.

¹⁷ Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 2. Д. 16. Л. 1.

Однако, несмотря на заметные успехи советской системы образования и, согласно риторике советских документов, отложившихся в архивах, «соответствие уровня учебно-воспитательной работы задачам социалистического строительства»¹⁸, послевоенная школа практически не уделяла внимания культурно-этнической составляющей. Такой перекоп в образовании и обучении детей негативно отразился на развитии детей российских немцев, родившихся после депортации. Были утрачены религиозные, языковые, национальные традиции; повсеместно отрицалась возможность изучения ими родного языка и культуры.

В 1956 году отделом партийных органов обкома Кокчетавской области для секретаря Кокчетавского обкома КП Казахстана С.А. Иванова были подготовлены Сведения о состоянии народного образования и культурного обслуживания немцев, проживающих на территории Кокчетавской области. Согласно этим данным, по состоянию на 1956 год в регионе проживало 7808 немецких детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них в школах обучался 7431 ребенок, что составляло 95% от общей численности немецких детей. Не посещало школы 276 человек (5%). Немецкие дети обучались в 411 из 602 имеющихся в области школ. Задачи создания для них «немецких классов» и их компактного распределения не ставились: в 226 классах из 3254 обучались немецкие дети. Количество немецких детей в одном классе составляло от 4—5 человек в Арык-Балькском районе или городе Кокчетаве и до 22—25 немецких детей в Аиртавском, Красноармейском, Эмбекшильдерском и Кзыл-Туском районе. Но даже там, где число немецких детей доходило до 25 человек (!) в одном классе, обучение на немецком языке организовано не было. Преподавание в большинстве школ велось на русском языке (7307 человек), однако 220 немецких детей даже во второй половине 1950-х годов были вынуждены учиться в казахских школах, где преподавание велось только на казахском языке. Андрей Л. рассказывал о своем опыте посещения чисто казахской школы:

Уже через пару лет школы мы легко общались с казахскими ребятами. Конечно, мы забывали свой язык. И сейчас я помню больше казахских слов, чем немецких. В других семьях дома говорили на немецком, а я в старших классах уехал от родителей, чтобы ходить в школу, и в итоге мой казахский был намного лучше, чем мой немецкий.

Несмотря на то что факт обучения на казахском языке позволил немецким детям лучше интегрироваться в казахское общество, обучение в казахских школах приводило к постепенной утрате родного языка и культуры. Детский опыт приобщения к чужим для них языку и традициям способствовал формированию комплексной советской идентичности. Школы с преподаванием только на казахском языке имелись в 7 из 15 районах области. Наибольшее количество немецких детей, обучавшихся на казахском языке, проживали в Кокчетавском районе (175 человек из 220). Особенности школьного обучения детей немецкой национальности в районах Кокчетавской области отражают таблицы 2 и 3.

18 Там же.

Таблица 2. Обучение детей немецкой национальности в школах Кокчетавской области в 1956 году¹⁹

Район	Немцы от 7 до 17 лет, чел.	Посещающие школы, чел.	Не посещающие школы, чел.	Школы	
				Всего, чел.	Обучающие немцев, чел.
Аиртавский	512	469	43	44	32
Арык-Балыкский	457	452	5	26	24
Зерендинский	512	447	65	34	28
Казанский	402	402	—	30	16
Келлеровский	1301	1297	4	38	38
Кокчетавский	730	700	30	57	41
Красноармейский	515	511	4	34	30
Кзыл-Туский	295	290	5	40	9
Ленинградский	99	99	—	13	10
Рузаевский	425	391	34	44	37
Чистопольский	468	418	44	78	18
Чкаловский	804	763	36	37	37
Щучинский	895	800	5	66	58
Энбекшильдерский	296	296	—	50	24
Кокчетавский	97	96	1	11	9
Всего по области	7808	7431	276	602	411

Таблица 3. Количество классов с детьми немецкой национальности и язык их обучения в школах Кокчетавской области в 1956 году²⁰

Район	Классы, шт.			Язык обучения, чел.	
	Всего по району	с немецкими детьми	максимальное количество немцев в одном классе	Русский	Казахский
Аиртавский	283	1	22	462	7
Арык-Балыкский	112	90	4	452	—
Зерендинский	210	47	15	440	7
Казанский	142	4	18	400	2
Келлеровский	243	8	16	1293	4
Кокчетавский	238	13	10	525	175
Красноармейский	202	1	22	511	—
Кзыл-Туский	263	15	25	271	19
Ленинградский	104	14	13	99	—
Рузаевский	249	3	11	391	—
Чистопольский	69	15	15	419	—
Чкаловский	224	1	10	767	1
Щучинский	422	11	7	885	5
Энбекшильдерский	418	1	25	296	—
Кокчетавский	75	2	5	96	—
По области	3254	226	от 4 до 25	7307	220

19 Государственный архив Акмолинской области. Ф. 714. Оп. 2. Д. 29а.

20 Там же.

С начала 1950 года в Казахстане на официальном уровне стал рассматриваться вопрос обучения детей-спецпоселенцев на родном языке. Партийные органы республики, ссылаясь на пожелания родителей немецких детей, выступили в 1955 году с предложением ввести преподавание немецкого языка как родного в виде самостоятельной дисциплины в первые четыре года обучения. Официально вопрос о преподавании немецкого языка как родного был решен постановлением Совета министров Казахской ССР от 2 февраля 1957 года «О введении преподавания родного языка для детей немецкой национальности в школах Казахской ССР»²¹. Изучение немецкого языка вводилось со второго полугодия 1957/58 учебного года в местах компактного поселения немцев. Язык преподавался со второго по четвертый класс, в начальных семилетних и средних школах по два часа в неделю сверх учебного плана. Число учащихся в каждой группе по изучению немецкого языка составляло не менее десяти человек. С целью выполнения указанного выше постановления и обеспечения школ преподавателями немецкого языка все учителя немецкой национальности, в том числе и работавшие не по специальности, были взяты на персональный учет. Однако реализация постановления растянулась на несколько лет, а программы обучения немецкому языку были получены из Министерства просвещения РСФСР лишь в сентябре 1958 года [Черказьянова 2003: 78]. Первоначально было создано 975 групп по изучению немецкого языка, в 1958—1959 годы их численность составляла 1099 с числом обучающихся детей 17 508 человек²². Конечно, большинство детей немецкой национальности по-прежнему были лишены возможности изучать родной язык в школах, но тем не менее на государственном уровне это был первый важный шаг, доказывающий необходимость обучения на национальном языке.

В Кокчетавской области имелось двести учителей, в основном из числа депортированных немцев, которые могли вести преподавание на немецком языке²³. В выбранном нами для проведения исследования с целью дальнейшей экстраполяции выводов Кусепском районе Кокчетавского района Кокчетавской области также работали учителя-немцы. Однако немецкий язык до 1958 года, как по воспоминаниям очевидцев, так и согласно архивным документам, преподавался здесь как иностранный. Уроки немецкого языка в Куропаткинской школе были распределены между учителями А.Ф. Клинг, П.Н. Стельмах и Т.П. Федоровой²⁴. Кроме того, в школе работали учителя-немцы Е.А. Бреймеер и М. Гаус. Отдельные учителя не только заслужили особую похвалу наших опрошенных, но и были упомянуты в числе лучших в школьных отчетах. Так, прозвучавшее в наших интервью имя преподавателя 5—7 классов Васильковской семилетней школы Эмиля Васильевича Вагнера, депортированного из Крыма, упоминается и в архивных документах, указывавших, что Вагнер в совершенстве знал учебную программу и методику преподавания. В Симферопольской начальной школе преподавал депортированный немец Вольф, в Раздольненской средней школе — Чензе, в Красноярской средней школе — Р. Миллер. С другой стороны, отчеты отдела народного

21 Из истории немцев Казахстана (1921—1975 гг.). С. 224—225.

22 Там же. С. 231.

23 Государственный архив Акмолинской области. Ф. 3260. Оп. 2. Д. 52.

24 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 55. Л. 258.

образования подвергали критике некоторых учителей немецкой национальности за плохое знание русского языка²⁵.

Отчеты и проведенные опросы свидетельствуют о том, что многие школьники на переменах свободно говорили на немецком языке. На немецком языке выпускались стенгазеты, а на вечерах школьной самодеятельности немецкие дети наизусть читали стихотворения и небольшие рассказы. Отчеты отмечают и тот факт, что немецкий язык порой «преподавали лучше, чем русский язык и математику»²⁶. Однако пережитые депортация и трудармия, сопровождавшиеся неуверенностью в том, что репрессии по национальному признаку закончились, вызывали и страх за судьбу детей, заставляя взрослых не акцентировать внимание на обучении на родном языке. Ассимиляция, необходимость скорейшей адаптации к новым условиям жизни и продолжения образования после школы привели в итоге к вытеснению использования немецкого языка и впоследствии к его практически полной утрате российскими немцами [Там же]. Этот же вывод подтверждают и проведенные нами интервью. Если поколение детей, родившихся до депортации, легко отвечало на наши вопросы на родном немецком языке, включая диалект, то дети, родившиеся после войны и особенно в 1950-е годы, выбирали в качестве языка общения с нами именно русский язык.

Важную роль в общем отношении опрашиваемых к своему детству в целом играл возраст рассказчика, особенности пережитого, наличие полной семьи, а также год рождения. Чем раньше родился российский немец, с которым было проведено интервью, тем значительнее была его травма и тем болезненнее являлось восприятие собственного детства. Ирма Б., родившаяся в середине 1950-х годов, подытожила разговор с нами: «Нас шестеро было. Старшим сестрам и братьям намного сложнее жилось. У каждого своя история, у всех разное детство. А у нас уже больше всего было и все наладилось».

Проведенные нами интервью однозначно подтверждают тезис Л. Нитхаммера, согласно которому «факторы коллективной памяти в данном случае особенно важны, гораздо важнее, чем индивидуальная память, потому что коллективная память подвергает индивидуальную жесткой цензуре» (цит. по: [Артёменко 2019: 137]). Для поколения детей, родившихся в послевоенное время, Казахстан является дорогим местом, и, отвечая на наши вопросы, они зачастую чувствовали неловкость, осознавая, что их восприятие собственного детства и советской действительности противоречит национальному нарративу жертвы, типичному для российских немцев. «У каждого своя история»: если для старшего поколения нарратив жертвы означал подчеркивание страданий, пережитых во время и после депортации в Казахстан и другие регионы СССР, то второе и последующие поколения уже не отождествляли себя с нарративом жертвы, поскольку они сами пережили другую реальность. Для наших опрошенных главным являлось то обстоятельство, что, несмотря на условия кризиса темпорального режима, они, пользуясь выражением А. Ассман, творили собственную современность, собственное будущее и прошлое [Ассман 2014].

Все наши информанты большую часть своей жизни прожили в советском обществе, а их формирование как личностей происходило в условиях советской школы. Впоследствии подавляющее большинство наших респондентов,

25 Государственный архив г. Кокшетау. Ф. 383. Оп. 1. Д. 56. Л. 67.

26 Там же.

будучи уже взрослыми людьми, выехали на постоянное место жительства в ФРГ, где обязательным условием принятия до сих пор является необходимость доказательства факта депортации, а национальный нарратив народа-жертвы служит основой для легитимации и получения статуса переселенца.

Бесспорно, история не существует без института памяти, который является ее основой. Однако, как известно, воспоминания меняются со временем, так как их носители, отдаляясь от пережитого, склонны объединять в своих воспоминаниях более поздние интерпретации, что неоднократно подтверждали проведенные нами интервью. «Память так же много сообщает нам о сознании того, кто вспоминает исторические события в настоящем, как и о самом прошлом. Память есть образ прошлого, субъективно сконструированный в настоящем» [Мегилл 2005: 158]. Опрошенные нами немцы, родившиеся в Казахстане, осознавали, что под влиянием старшего поколения и национального нарратива рассматриваемые события должны расцениваться как глубоко травматичные. Однако их индивидуальная память не всегда соответствовала нарративу народа-жертвы.

И хотя интервьюируемых просили вспомнить о событиях более чем шестидесятилетней давности, а архивная информация, представленная в качестве сопутствующего доказательства, не всегда могла компенсировать эту проблему, особую ценность в данном случае представлял сам ритуал сбора устной истории среди российских немцев. Детство в СССР, последующая эмиграция и приобретенный в соответствии с этим жизненный опыт дают возможность проследить на конкретных примерах, как особенности советского и европейского культурного контекста воздействуют на автобиографический нарратив в условиях темпорального слома.

Проведенные интервью подтверждают тезис о сложном характере идентичности российских немцев. С одной стороны, горькая участь депортированных стала трагедией и для их детей, определила будущее, повлияла на национальную идентичность и ценностные установки нескольких поколений. С другой стороны, в нескольких интервью весьма заметным было наложение на детскую память косвенных воспоминаний переживших депортацию старших поколений, в результате которого возникало неполное совпадение коллективной и индивидуальной памяти.

Собранные нами интервью, несмотря на их разнообразие, отличие по форме и стилю изложения, объединяет переосмысление собственного детства и эмоциональная переоценка опыта взросления в условиях спецпоселения. Анализ проведенных интервью свидетельствует о том, что поведение собеседников, родившихся в Казахстане до 1955 года, было сходным, что выражалось в однотипных реакциях на вопросы о депортации и спецпоселении, а также стремлении остановиться подробнее на конкретных, более позитивных темах собственного детства.

Использование материалов интервью, сопровождающееся проведением сравнительного анализа результатов материалов устной истории с архивными источниками, значительно расширяет представления об особенностях отражения собственного детства в памяти немцев-спецпоселенцев Казахстана. Связь устной истории и травматического опыта, восприятия времени и стратегий поведения позволяет с новых позиций рассмотреть изученные ранее темы депортации и спецпоселения, вычленив и проанализировав оставшиеся вне внимания исследователей или неизвестные ранее аспекты истории детства российских немцев, родившихся в период спецпоселения в Казахстане.

Библиография / References

- [Аманбекова 2022] — *Аманбекова С.Е.* Детство в ГУЛАГе: рассказы о депортации в Казахстан // *Формирование общероссийской идентичности в поликультурном социуме: научно-теоретические подходы и образовательные практики: материалы XXVI всероссийских с международным участием историко-педагогических чтений / Гл. ред. Г.А. Кругликова.* Екатеринбург: [Б.и.], 2022. С. 9—18.
- (*Amanbekova S.E.* Detstvo v GULAGE: rasskazy o deportatsii v Kazakhstan // *Formirovanie obshcherossiyskoy identichnosti v polikul'turnom sotsiуме: nauchno-teoreticheskie podkhody i obrazovatel'nye praktiki / Ed. by G.A. Kruglikova.* Ekaterinburg, 2022. P. 9—18.)
- [Артёмов 2019] — *Артёмов Н.А.* Устная история и проблема доступа к травматическому опыту // *Studia Culturae.* 2019. Вып. 2 (40). С. 128—138.
- (*Artyomenko N.A.* Ustnaya istoriya i problema dostupa k travmaticheskomu opytu // *Studia Culturae.* 2019. No. 2 (40). P. 128—138.)
- [Ассман 2014] — *Ассман А.* Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- (*Assmann A.* Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Moscow, 2014. — In Russ.)
- [Ахметова 1984] — *Ахметова Г.К.* Социалистическое соревнование как средство воспитания в общеобразовательной школе (1941—1972 гг.): Дис. ... канд. пед. наук. М., 1984.
- (*Ahmetova G.K.* Sotsialisticheskoe sorevnovanie kak sredstvo vospitaniya v obshcheobrazovatel'noy shkole (1941—1972 gg.): PhD thesis. Moscow, 1984.)
- [Бергфельд 2010] — *Бергфельд А.Ю.* Эмоциональный опыт как теоретический конструкт // *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология.* 2010. № 1. С. 38—46.
- (*Bergfel'd A.Yu.* Emotsional'nyy opyt kak teoreticheskiy konstrukt // *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya.* 2010. No. 1. P. 38—46.)
- [Бургарт 2001] — *Бургарт Л.А.* Немецкое население в Восточном Казахстане в 1941—1956 гг. Усть-Каменогорск: Алтай-Вита, 2001.
- (*Burgart L.A.* Nemetskoe naselenie v Vostochnom Kazahstane v 1941—1956 gg. Ust-Kamenogorsk, 2001.)
- [Мегилл 2005] — *Мегилл А.* История и память: за и против // *Философия и общество.* 2005. № 2 (39). С. 132—165.
- (*Megill A.* Istoriya i pamyat': za i protiv // *Filosofiya i obshchestvo.* 2005. No. 2 (39). P. 132—165.)
- [Мусагалиева, Мусабекова 2020] — *Мусагалиева А.С., Мусабекова Р.М.* Деятельность ВНИИ зернового хозяйства в рамках борьбы с эрозиями почв в целинных районах Казахстана (1960—1970-е гг.) // *Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения.* 2020. Т. 25. № 3. С. 31—44.
- (*Mussagaliyeva A.S., Mussabekova R.M.* Deyatel'nost' VNIИ zernovogo khozyaystva v ramkakh bor'by s eroziyami pochv v tselinnykh rayonakh Kazakhstana (1960—1970-e gg.) // *Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations.* 2020. Vol. 25. No. 3. P. 31—44.)
- [Травма 2009] — *Травма: пункты: Сб. статей / Сост. С. Ушакин, Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2009.*
- (*Travma: punkty: Sb. stately / Comp. by S. Ushakin, E. Trubina.* Moscow, 2009.)
- [Черказьянова 2003] — *Черказьянова И.В.* Попытки возрождения немецкого национального образования в СССР в 1950 — начале 1990-х гг. // *Немцы Сибири: история и культура: материалы международной конференции / Отв. ред. Н.А. Томилов, Т.Б. Смирнова.* Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. С. 73—78.
- (*Cherkaz'yanova I.V.* Popytki vozrozhdeniya nemetskogo natsional'nogo obrazovaniya v SSSR v 1950 — nachale 1990-kh gg. // *Nemtsy Sibiri: istoriya i kul'tura / Ed. by N.A. Tomilov, T.B. Smirnova.* Novosibirsk, 2003. P. 73—78.)
- [Шабаев 1994] — *Шабаев Д.В.* Правда о выселении балкарского народа. Нальчик: Эльбрус, 1994.
- (*Shabaev D.V.* Pravda o vyselenii balkarskogo naroda. Nalchik, 1994.)
- [Хальбвакс 2005] — *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память. Mémoire collective et historique / Пер. с фр. М.Г. // *Неприкосновенный запас.* 2005. № 2. С. 8—27.

(Halbwachs M. Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat'. Mémoire collective et historique // Neprikosnovennyu zapas. 2005. No. 2. P. 8—27. — In Russ.)

[Хальбвакс 2007] — Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. С.Н. Зенкин. М.: Новое издательство, 2007.

(Halbwachs M. Les Cadres sociaux de la mémoire. Moscow, 2007. — In Russ.)

[Шнирельман 2021] — Шнирельман В. Травматическое прошлое: память и нарратив // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 6—29.

(Shnirel'man V. Travmaticheskoe proshloe: pamyat' i narrativ // Sibirskie istoricheskie issledovaniya. 2021. No. 2. P. 6—29.)

На пути к «государственной» словесности: институты и практики

Составитель блока Дмитрий Цыганов

Александр Дмитриев

Социология переходной литературной культуры, или Снова советское

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_104

Публикации «Нового литературного обозрения» в последние десятилетия последовательно анализировали особенности социального бытования литературы в разных ее измерениях. Ретроспективной исследовательской опорой неизменно были давние идеи «литературного быта» Бориса Эйхенбаума с изучением рецептивных форм нового культурного потребления. К построениям Эйхенбаума примыкали тогдашние разработки «социологии литературного вкуса» Л. Шюккинга, а также соображения оригинального и почти совсем забытого академического «социолога литературы» Николая Ефимова¹ (хотя ими заняться, как и его историей «идеологии своеземного православия», особенно стоило бы). Но социологические инструменты 1920-х сами по себе, как кажется, — несмотря на их «симультанность» очень важной и для нас, потомков, эпохе, — все-таки не дают непосредственного выхода к пониманию социальных корней тогдашней литературной жизни. Одна из важных причин такого специфического «несоответствия» инструментов анализа и его предмета — помимо цензурных обстоятельств и вообще «давления времени» — является центральность понятия «класса» для тогдашнего социологического анализа. Причем это касается не только марксизма образца Плеханова, Люксембург или уже затем — Лео Левенталья или Реймонда Вильямса. Уже примерно к 1960-м (еще до немецкой «рецептивной эстетики») на первый план выходят понятие групп, и особенно институтов. Институты могут пониматься двояко — или в узком,

1 Внимания заслуживают несколько его книг [Ефимов 1912; 1918; 1927; 1930]. О первой из них — «Русь — Новый Израиль: теократическая идеология своеземного православия в допетровской письменности» — уважительно отзывался писатель и историк Владимир Шаров; содержательные ссылки на эту совсем небольшую по объему, но весьма важную книжку до сих пор встречаются в трудах современных медиевистов.

сугубо организационном смысле, или в более широком плане механизмов функционирования и потребления в рамках культурного производства; важную роль для продвижения второго подхода сыграли работы Пьера Бурдьё и его аналитика типов социального капитала и социокультурных различий внутри современного общества². Но как все эти механизмы работали в рамках советской государственной системы, особенно в эпоху ее становления? Помимо совершенно специфического институционального дизайна, здесь не могут выноситься за скобки и идеологические и эстетические измерения.

Очевидно, что литературная история первой половины XX века, связанная с советским экспериментом, продолжает вызывать интерес и явно повышенное внимание исследователей (и не только их) почти уже столетие спустя. Хотя уроки этого времени, казалось бы, учтены и усвоены — но что заставляет к ним возвращаться снова и снова? Очевидный ответ, помимо явных переключек с современностью: *опасные связи*. Ибо тогдашние идеологические вызовы, исторические сдвиги, резко выросшая роль насилия и государственного вмешательства оказались неразрывно переплетены с культурными новациями и эстетическими переменами на пространстве «одной шестой части» суши — и за ее пределами. Эти перемены также предопределили (на будущее) характер и облик литературы и советской, и «подсоветской» середины XX века и даже второй его половины. Но помимо этого эффекта, быть может особенно значимой (и соответственно, трудной для анализа) оказывается *природа* этого переплетения. Например, Галин Тиханов уже довольно давно обратил внимание на странный парадокс сочетания революционно-футуристической прагматики со специфически внутренним эстетическим консерватизмом у молодого Шкловского, заинтересованного в «воскрешении слова» и показательно равнодушного к «цвету флага над крепостью» [Tihanov 2005].

О сложности выработки инструментария для понимания двойной (и общественной и художественной) природы произошедшей революции говорили уже внимательные наблюдатели начала 1920-х годов. Анализируя с другими коллегами стиль Ленина, опоязовец и инженер Борис Томашевский пытался на страницах журнала «ЛЕФ», как и в случае с XVIII веком, опереться на завоевания риторики, которая была бы одновременно учебником и создания, и «развинчивания» выразительных форм, рожденных новой эпохой:

Основные проблемы конструкции словесного материала не затрагиваются ни логикой, ни психологией, ни лингвистикой. Должна быть воскрешена старушка риторика так же, как воскресла поэтика... Необходимо это и с точки зрения динамики современной культуры. В настоящее время происходит характерное «оседание» культуры. Прошла эпоха «парниковой» духовной жизни. Парниковая рассада пошла в дело. Отсюда и широкая демократизация искусства, и такие симптомы, как своеобразный утилитаризм в художественных направлениях. Все это — проявления здоровой тенденции создания широкой культурной традиции; традиция — это своего рода маховик, аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу будущего. Это оседание, как всякий социальный процесс, сопровождается и отрицательными, уродливыми явлениями, но в основе это процесс здоровый и исторически необходимый. Парники («интеллигентство» — которое

2 Помимо обобщения идей самого Бурдьё [Speller 2011], важно учитывать работы его последователей в области анализа литературы [Fowler 2021; Jurt 2023].

напрасно смешивают с «интеллигенцией», профессиональной носительницей культуры, которая нужна при всяких социальных соотношениях) — эти парники разбиты. Проникновение культуры в «жизнь» — выражаясь грубо — влечет за собой и пристальную, внимательную культивировку прозаической речи. Мечта Писарева о слиянии художественной литературы с популярно-научной наконец обретает в России реальную почву, хотя и не в формах, мыслившихся реалисту. Пред нами стоит практический вопрос — выработка нормальной риторики [Томашевский 1924: 140—141].

И характерным образом, несмотря на явные усилия ряда формалистских теоретиков и активность Института живого слова или схожих организаций, эта «попутническая» аналитическая, и тем более практическая установка на новую «риторику» реализована так и не была [Brandist 2015]³. *Культивировка речи* уже во второй половине 1920-х обеспечивалась не столько формалистско-«спецификаторскими» или даже партийно-идеологическими усилиями, сколько новыми институциональными практиками литературной жизни, далеко за пределами только «рапповского» лагеря. Как представляется, именно анализ институций может стать сейчас одним из главных средств для понимания описанного Томашевским «оседания» — не только для эпохи 1920-х, но и более позднего, собственно сталинского периода.

Как известно, переходу от революционной к соцреалистической парадигме в советской культуре посвящены за последние десятилетия десятки и даже сотни разноплановых публикаций. Ведущие направления («тренды») были заданы еще пионерскими работами Катарины Кларк, Ханса Гюнтера и отчасти «ревизионизмом» у историков, вроде Ричарда Стайтса или Шейлы Фицпатрик и ее единомышленников на излете советской эпохи. Затем институциональная природа литературной жизни 1920—1930-х, казалось бы, была достаточно полно и концептуально изложена в книгах Евгения Добренко о формовке советского читателя и писателя; работающие преимущественно в Германии или США слависты справедливо уделяли внимание медиальным и антропологическим аспектам новой словесности. Заслуженно востребованными стали указания Бориса Гаспарова или Роберта Бёрда на сложную модернистскую «подкладку» некоторых литературных и эстетических приемов 1930-х годов⁴. Творчество Андрея Платонова остается важным (и явно непростым) предметом анализа для исследователей нового века. В последнее время закономерно формируется «транснациональный» срез изучения литературы 1920—1930-х годов (и для литератур советских республик и этнических групп), хотя тут, кажется, явно не хватает обращения к трактовкам перемен на международной левой культурной сцене от 1920 до 1950-х годов⁵.

Что к этому может добавить — под институциональным углом зрения — публикуемая подборка, кроме вводимого в оборот нового материала? В пандан к цитате из Томашевского, приведенной выше, можно вспомнить и понятие «организованного упрощения культуры» левовского попутчика Михаи-

3 К сожалению, совсем малоизученным остается наследие одного из младоформалистов Виктора Гофмана (1899—1942), автора книги «Слово оратора (риторика и политика)» [Гофман 1932].

4 Часть этих статей безвременно ушедшего ученого вошла в книгу: [Бёрд 2022]; см. также: [Гаспаров 1999; 2017].

5 Явный сдвиг в эту сторону см.: [Glaser, Lee 2020].

ла Левидова. Он тогда же, в начале нэпа, хотел прославить насильственное переименование «слишком» утонченных и развитых модернистских форм в плоскость массового, революционно-функционального нового быта и рационального потребления⁶. Большинство исследователей красного эксперимента справедливо отмечают борьбу за гегемонию (и власть) как решающий мотив институционального развития, особенно в домене «пролетарской литературы». Но из директивного занятия правильной/провластной (партийной) позиции, как признавали и сами советские критики (особенно после Постановления 1932 года), еще не рождались сами по себе шедевры или весомые литературные репутации. Поэтому изучение литературной критики, а также читательского восприятия действительно позволяет задать необходимую объемность изучения словесности советской эпохи. И обращение к феномену «литературной организации» — но именно в расширенном духе — представляется тут особенно продуктивным [Круглова 2005; Рахматулина 2020; Янковская 2007; Апу 2020]. Изучение социальных (рамочных) условий возможности литературного производства, конечно, не может заменить изучения самих текстов, но, кажется, дает к ним заметно больше ключей, чем думалось во времена первого пришествия «нового историзма».

И тут стоит остановиться на любопытном парадоксе: литература заведомо ангажированная, как будто создаваемая по принципу социального заказа, за эти десятилетия в наименьшей степени освещена с точки зрения социологии литературы — и современной, и уже классической. Одна из причин такой странной десоциологизации состоит в том, что данный случай может казаться слишком очевидным, в смысле попыток «ломиться» в настезь распахнутую дверь. Сама социология литературы со сложностями своей институционализации (в 1970—1990-е для ее становления в Москве много сделали Лев Гудков и особенно Борис Дубин, см.: [Степанов 2015]) опирается на базовую аксиому автономизации своего предмета, словесности. Советский случай, широко понимаемый, — ломает как раз эту установку, ибо подчеркивает именно гетерономию «художественного производства» — и восприятия, общественную ангажированность или даже зависимость литературы от внешних условий. Но в разрывании литературного цеха советского типа, судя по всему, внешнее становится и внутренним. В конечном счете — точнее, на вековой дистанции — представляется, что ключ к динамике «оседающей культуры» 1920-х годов и последующих десятилетий дает не риторика сама по себе (как видел дело Томашевский или впоследствии, например, Гуковский), но состыковка ее с изучением социального устройства литературной жизни.

Именно институциональный подход поможет детальнее понять, как соотносятся между собой разные формы литературного сообщества в их специфических условиях реализации⁷. И в представляемом вниманию читателей блоке публикуется ряд материалов, где идет речь о разных типах послереволюционной организации литературы и культуры в целом. Перед нами работы, исследующие эволюцию исходно самостоятельных форм: сначала речь идет о доста-

6 Левидов М. Организованное упрощение культуры // Красная новь. 1923. Кн. 1. С. 306—318. Ср.: [Асоян 2018].

7 См. обзор современных соперничающих подходов: [Muecke 2016; Váňa 2020]. Для нашего случая интерес представляют: [Dobrenko, Jonsson-Skradol 2018; Kindley 2017; Sutherland 1988].

точно автономных начинаниях (кружок, сеть сообществ). И в статье **Марии Лихининой**, и в подготовленной **Валерием Отяковским** публикации рассмотрены особенности существования «переходных» литературных формаций, действующих еще в контексте Гражданской войны или раннего нэпа. Затем в статье **Дарьи Московской** описано развитие более иерархизированного и многоступенчатого типа организаций, — например, с региональными филиалами. Статья **Аллы Бурцевой** показывает, как в условиях «великого перелома» начинает работать мобилизационная форма писательской деятельности, отличная от времен революции и Гражданской войны⁸.

Скорее всего, несмотря на очевидное богатство эмпирического материала и разнородность объяснительных схем, в плане концептуальном будущие **социологические** перспективы изучения «пореволюционной» и советской культуры определятся путем наложения двух ныне более заметных тенденций: с одной стороны, открытий институционального анализа литературы XIX века («Чаадаевская история» в изображении Михаила Велижева, история читателей и кодификаций Алексея Вдовина и его коллег, новые трактовки реализма у Ильи Клингера или Анатолия Корчинского) и, с другой — изучения специфических уже более тонких и «невидимых» механизмов самонастройки поздние и постсоветских литератур, включая там- и самиздат, «контркультуру» и вторую литературу (в работах Ильи Кукулина, Марии Майофис, Глеба Морева или Кевина Платта). Вместо обоюдоострой «реторики», о которой мечтал Томашевский, или «классовой идеологии» Переверзева и Фриче историческая социология (не только советской) литературы обретет свою релевантность в опоре на изучение советского типа современности. Открытия Катарины Кларк, Евгения Добренко, Юрия Слезкина и Шейлы Фицпатрик (как и их необходимая ревизия), вместе с изучением наследия и скрытых параметров деятельности таких разных международных авторов этого склада, как Лукач, Брехт, Элюар, Мюнценберг или Назым Хикмет, помогут этому направлению анализа лучше понять не только «неушедшее» прошлое — но и опасное, катастрофическое настоящее.

Библиография / References

- [Асоян 2018] — Асоян Ю.А. Организованное упрощение культуры? Понятие и идеология культурности в Советской России 1920-х годов // Вестник Свято-Филаретовского института. 2018. № 28. С. 117—140.
- [Аsoyan Yu.A. Organizovannoe uprosichenie kul'tury? Ponyatie i ideologema kul'turnosti v Sovetskoy Rossii 1920-kh godov // Vestnik Svyato-Filaretovskogo instituta. 2018. No. 28. P. 117—140.]
- [Бёрд 2022] — Бёрд Р. Символизм после символизма. СПб.: Нестор-история, 2022.
- (Bird R. Simvolizm posle simvolizma. Saint Petersburg, 2022.)
- [Гаспаров 1999] — Гаспаров Б. Развитие или реструктурирование: взгляды академика Т.Д. Лысенко в контексте позднего авангарда (конец 1920—1930-е годы) // Логос. 1999. № 11—12 (21). С. 21—36.
- (Gasparov B. Razvitie ili restrukturirovaniye: vzglyady akademika T.D. Lysenko v kontekste pozdne-

8 См. примыкающую по сюжету недавнюю публикацию: [Шерстюков 2021] и важную книгу: [Draskoczy 2014].

- go avangarda (konets 1920—1930-e gody) // Logos. 1999. No. 11—12 (21). P. 21—36.)
- [Гаспаров 2017] — *Гаспаров Б.* Социалистический реализм в метафизическом измерении (Возможна ли ложь художественного вымысла?) // Новое литературное обозрение. 2017. № 1. С. 66—77.
- (*Gasparov B.* Sotsialisticheskiy realizm v metafizicheskom izmerenii (Vozmozhna li lozh' khudozhestvennogo vmysla?) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. No. 1. P. 66—77.)
- [Гофман 1932] — *Гофман В.А.* Слово оратора (риторика и политика). Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932.
- (*Gofman V.A.* Slovo oratora (ritorika i politika). Leningrad, 1932.)
- [Ефимов 1912] — *Ефимов Н.И.* Русь — Новый Израиль: теократическая идеология своеземного православия в допетровской письменности. Казань: Тип. Ф.П. Окишева, 1912.
- (*Yefimov N.I.* Rus' — Novyy Izrail': teokraticheskaya ideologiya svoezemnogo pravoslaviya v dopetrovskoy pis'mennosti. Kazan', 1912.)
- [Ефимов 1918] — *Ефимов Н.И.* Своеобразие русской литературы: обзор мнений. Одесса: Тип. А.А. Ивасенко, 1918.
- (*Yefimov N.I.* Svoeobrazie russkoy literatury: obzor mneniy. Odessa, 1918.)
- [Ефимов 1927] — *Ефимов Н.И.* Социология литературы: очерки по теории историко-литературного процесса и по историко-литературной методологии. Смоленск: Смоленский гос. ун-т, 1927.
- (*Yefimov N.I.* Sotsiologiya literatury: ocherki po teorii istoriko-literaturnogo protsessa i po istoriko-literaturnoy metodologii. Smolensk, 1927.)
- [Ефимов 1930] — *Ефимов Н.И.* Литературоведение революционной эпохи. (Направления и проблемы.) Вып. I. Эйдологическое направление (школа проф. В. Переверзева). Владивосток: Тип. Дальневосточного ун-та, 1930.
- (*Yefimov N.I.* Literaturovedenie revolyutsionnoy epokhi. (Napravleniya i problemy.) Vol. I. Eydologicheskoye napravlenie (shkola prof. V. Pereverzeva). Vladivostok, 1930.)
- [Круглова 2005] — *Круглова Т.А.* Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2005.
- (*Kruglova T.A.* Sovetskaya khudozhestvennost', ili Neskromnoye obayanie sotsrealizma. Ekaterinburg, 2005.)
- [Рахматулина 2020] — *Рахматулина Е.Ю.* Союзы творческой интеллигенции в системе государственного патернализма (на примере центральноазиатских республик СССР в 30-е гг. XX в.) // Вопросы истории. 2020. № 10—11. С. 275—287.
- (*Rakhmatulina Ye.Yu.* Soyuzы tvorcheskoy intelligentsii v sisteme gosudarstvennogo paternalizma (na primere tsentral'noaziatskikh respublik SSSR v 30-e gg. XX v.) // Voprosy istorii. 2020. No. 10—11. P. 275—287.)
- [Степанов 2015] — *Степанов Б.Е.* Борис Дубин и российский проект социологии культуры // Общественные науки и современность. 2015. № 6. С. 163—173.
- (*Stepanov B.Ye.* Boris Dubin i rossiyskiy proekt sotsiologii kul'tury // Obshchestvennyye nauki i sovremennost'. 2015. No. 6. P. 163—173.)
- [Томашевский 1924] — *Томашевский Б.* Конструкция тезисов // ЛЕФ. 1924. № 1 (5). С. 140—148.
- (*Tomashevskiy B.* Konstruktsiya tezisev // LEF. 1924. No. 1 (5). P. 140—148.)
- [Шерстюков 2021] — *Шерстюков С.А.* «Большевикам пустыни и весны»: советские писатели «открывают» Среднюю Азию (1930 г.) // Востоковедение: история и методология. 2021. Вып. II. С. 106—120.
- (*Sherstyukov S.A.* "Bol'shevikam pustyni i vesny": sovetskie pisateli "otkrivayut" Srednyuyu Aziyu (1930 g.) // Vostokovedenie: istoriya i metodologiya. 2021. Iss. II. P. 106—120.)
- [Янковская 2007] — *Янковская Г.* Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма. Пермь: ПГУ, 2007.
- (*Yankovskaya G.* Iskusstvo, den'gi i politika: khudozhnik v gody pozdnego stalinizma. Perm', 2007.)
- [Янковская 2009] — *Янковская Г.* Бригадный метод и другие «ноу-хау» изополитики эпохи сталинизма // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М.: ЦСПГИ: Вариант, 2009. С. 126—140.
- (*Yankovskaya G.* Brigadnyy metod i drugie "nou-khau" izopolitiki epokhi stalinizma // Vizual'naya antropologiya: rezhimy vidimosti pri sotsializme / Ed. by Ye.R. Yarskoy-Smirnova, P.V. Romanov. Moscow, 2009. P. 126—140.)
- [Any 2020] — *Any C.* The Soviet Writers' Union and Its Leaders: Identity and Authority under Stalin. Studies in Russian Literature and Theory. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2020.
- [Brandist 2015] — *Brandist C.* The dimensions of hegemony: Language, culture and politics in revolutionary Russia. Leiden; Boston: Brill, 2015.
- [Dobrenko, Jonsson-Skradol 2018] — *Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin: Institutions, Dynamics, Discourses / Ed. by E. Dobrenko, N. Jonsson-Skradol.* London: Anthem Press, 2018.

- [Draskozcy 2014] — *Draskozcy J.S.* Belomor: Criminality and Creativity in Stalin's Gulag. Boston: Academic Studies Press, 2014.
- [Fowler 2021] — *Fowler B.* Writers and politics: Gisèle Sapiro's advances within the Bourdieusian sociology of the literary field // *Theory and Society*. 2021. Vol. 50. No. 6. P. 867—889.
- [Glaser, Lee 2020] — *Comintern Aesthetics* / Ed. by A.M. Glaser, S.S. Lee. Toronto: University of Toronto Press, 2020.
- [Jurt 2023] — *Jurt J.* Le champ littéraire. Le concept de Pierre Bourdieu: contextes, théorie, pratiques. Paris: Honoré Champion, 2023.
- [Kindley 2017] — *Kindley E.* Poet-Critics and the Administration of Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.
- [Muecke 2016] — *Muecke S.* An ecology of institutions: recomposing the humanities // *New Literary History*. 2016. Vol. 47. No. 2. P. 231—248.
- [Speller 2011] — *Speller J.R.W.* Bourdieu and literature. Cambridge: Open Book Publishers, 2011.
- [Sutherland 1988] — *Sutherland J.* Publishing history: A hole at the centre of literary sociology // *Critical Inquiry*. 1988. Vol. 14. No. 3. P. 574—589.
- [Tihanov 2005] — *Tihanov G.* The politics of estrangement: The case of the early Shklovsky // *Poetics Today*. 2005. Vol. 26. No. 4. P. 665—696.
- [Váňa 2020] — *Váňa J.* Fiction and social knowledge: Towards a strong program in the sociology of literature // *Социологическое обозрение*. 2020. No. 4. P. 14—35.

Валерий Отяковский

Воспоминания Юрия Перцовича о Всеволоде Мейерхольде

Valerii Otiakovskii

Memoirs about Vsevolod Meyerhold by Yuri Pertsovich

Валерий Отяковский (Гарвардский университет; постдокторантура; PhD) klerk95@gmail.com.

Valerii Otiakovskii (PhD; Postdoctoral Fellow, Harvard University) klerk95@gmail.com.

Ключевые слова: Новороссийск, Государственный институт истории искусств, театр, воспоминания

Key words: Novorossiysk, State Institute of Art History, theater, memoirs

УДК: 792.03

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_111

UDC: 792.03

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_111

Публикация построена вокруг мемуарного очерка о В. Мейерхольде журналиста Ю. Перцовича, который встречался с режиссером на протяжении нескольких месяцев 1920 года в Новороссийске. В воспоминаниях запечатлены яркие эпизоды, характеризующие резкость и непредсказуемость построения культуры в обстановке Гражданской войны. Впервые публикуется авторская редакция, вдвое расширенная по сравнению с газетной.

This paper examines a memoir about V. Meyerhold by the critic Yuri Pertsovich, who was in touch with him in 1920 in Novorossiysk. The memoirs contain vivid episodes that characterize the unpredictability of culture-building processes in the context of the Civil War. The author's variant is published for the first time, double compared to the known publication.

Одним из неизменных спутников революции является децентрализация — насилия, власти, а также культуры. Культурный канон в турбулентные времена размывается, в том числе и чисто географически: так, во времена Гражданской войны художники из столиц оказываются в непривычных пространствах, по-новому встраиваясь в местный культурный ландшафт (см. яркий пример: [Бабак, Дмитриев 2021: 114—136]).

Именно этот процесс отображен в мемуарном очерке Юрия Перцовича о Всеволоде Мейерхольде в Новороссийске 1920 года. Режиссер покинул Петроград в 1919-м, отправившись в Крым лечить туберкулез. Вскоре он бежал оттуда в Новороссийск, опасаясь деникинцев, однако и этот город вскоре оказался подконтролен Добровольческой армии. Мейерхольд был арестован, но затем Новороссийск заняла Красная армия, что принесло режиссеру свободу и возможность возвращения к работе: весной и осенью 1920 года Мейерхольд занимался преобразованием местной театральной среды, по сути, создав новое культурное пространство в приморском городе, а после уехал в Москву.

Мемуарист Юрий Перцович в момент встреч с Мейерхольдом только закончил гимназию, возглавляемую поэтом Евгением Архипповым (1880—1950). Вокруг модерниста и эстета Архиппова собиралась городская интеллигенция (например, семейство Алперсов, позже близкое Мейерхольду), а Перцович был вхож в его близкий семейный круг. В будущем Перцович стал учеником фор-

малистов в Государственном институте истории искусств (ГИИИ) и ленинградским библиографом (его краткую биографию см.: [Отяковский 2022]).

В мемуарном очерке, написанном шестьдесят лет спустя после знакомства с Мейерхольдом, Перцович рассказывает о сотрудничестве режиссера с большевиками и, в частности, демонстрирует, как художник использовал появившийся у него административный ресурс. Энтузиаст революции Мейерхольд возглавляет подотдел искусств Отдела народного образования, пуская все доступные ресурсы на организацию масштабных перформансов, напоминающих (с поправкой на масштаб) петроградские «Мистерии освобожденного труда» и «Взятие Зимнего дворца». Он наполняет городские театры модернистскими и авангардными пьесами, занимается с молодыми актерами. Судя по современным краеведческим работам, эти несколько месяцев — в общем-то случайные в биографии Мейерхольда — стали принципиально важными для театральной жизни Новороссийска (см.: [Белогурова 2019; Тонких (Зарицкая) 2019]). Мейерхольд оказался своеобразным триггером, запустившим преобразование городских институций культуры — не только внутри театра, но и за его пределами (см. ниже упоминание книготорговых проектов, образовательных кружков, общение режиссера с литераторами и музыкантами). Локальная система культурного производства на несколько месяцев стала радикально динамичной, собственно, была революционизирована — поэтому и после отъезда режиссера его след остался в памяти местной интеллигенции.

В конце 1970-х годов с Перцовичем, который к тому моменту был ленинградским пенсионером, связался краевед из Новороссийска Н.А. Лангуси. По его просьбе Перцович написал небольшой текст, который отчасти был напечатан в газете «Новороссийский рабочий»¹. В этой публикации, однако, текст был вдвое сокращен по сравнению с авторской редакцией, а оставшееся переписано языком советской прессы. В архиве Перцовича сохранилась машинопись авторской версии, включающая несколько ярких эпизодов, не вошедших в газетную публикацию и сохранившая харизматичный авторский стиль, она и представлена ниже.

Текст публикуется по машинописи: Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (РО РНБ). Ф. 1306. Д. 373. Л. 9—12.

Статья Ю. Гольцева «В Москве и Новороссийске», вошедшая в сборник «Творческое наследие В.Э. Мейерхольда» (М., 1978. С. 247 сл.), вызвала во мне воспоминания, которыми, по их малозначимости, я ни с кем никогда не делился, хотя они прибавляют несколько строк к биографии В.Э.

Зимой и весной 1919—1920 г. я ходил в последний, восьмой класс гимназии мимо домов и заборов, на которых были расклеены крупнейшие газеты, переместившиеся сюда из Москвы и Петрограда, сокращенные до формата нынешних фабрично-заводских газет, или радиопрограмм. Чем ближе к марту 1920 года, тем больше ввали они об успехах Белой армии. Между тем все слышнее была слышна пальба пушек за перевалом, где партизаны («зеленые»), сли-

1 Перцович Ю. В далеком двадцатом... Странички биографии Новороссийска: о пребывании в Новороссийске Мейерхольда В.Э. // Новороссийский рабочий. 1981. 20 мая.

ваясь с наступающей Красной армией, гнали и добивали арьергарды денкинцев, шкуровцев, мамонтовцев. В порту толпы военных, сбивая и сталкивая друг друга с трапов пароходов и любых способных держаться на воде плавсредств, стремились попасть на палубу; в городе озверело расправлялись казаки, врывались в дома, насилая и грабя, ища золото — монеты, кольца, браслеты, часы, все, что могло поддержать их существование за рубежом. Все побережье от города до порта было усеяно трупами. Ворвались они, выломав калитку ворот, и в нашу квартиру. Случись это на два, три дня раньше, они обнаружили бы в ней Мейерхольда.

Его держали в подвале Особого отдела по обвинению в содействии большевистскому правительству — он ставил «Мистерию буфф» Маяковского и другие революционные пьесы. На его счастье, следствие вел заядлый театрал и поклонник его таланта. На последнем допросе он сказал: «Через несколько дней мы уйдем. Я отпущу вас под честное слово, но вам надо хорошо спрятаться, потому что группа офицеров монархистов поклялась разделаться с вами в последний час»².

Мой учитель³, историк, преподававший по крамольному в те годы В.О. Ключевскому, читавший в школьном литкружке стихи символистов, переписывавшийся с Блоком, Волошиным, Черубиной де Габриак (Е.И. Васильевой), доверял мне. Но, приведя В.Э., не назвал его нам, а попросил позволить ему на день-другой остаться ночевать.

В первые дни советской власти я узнал его, увидев в Отнаробе, которым заведовал Федор Гладков, автор «Цементы». В Отнаробе организован был отдел искусств, а в нем подотделы Лито, Музо, Изо и Тео, которым и стал ведать В.Э. Едва ли не на следующий день белогвардейские газеты были заклеены написанным В.Э. «Приказом по армии искусства»⁴, которым все имевшие отношение к театру обязывались явиться в подотдел для выполнения заданий. Таковых оказалось больше, чем достаточно.

Не прошло и месяца, как подотдел искусств съел весь бюджет Отнароба. В.Э. устраивал карнавалы, первомайские кортежи на вереницах грузовиков, на которых актеры, в костюмах разных эпох, изображали Спартака, Дантона, деятелей Парижской коммуны, читали монологи и разыгрывали сцены вперемежку с лозунгами дня. В театре, кроме пьес, отмеченных Гольцевым, В.Э. ставил «Нору»⁵, «Гибель надежды», «Мнимого больного». Тут он причастил к театру и меня, поручив первые и последние в моей жизни роли. В одной пьесе ему понадобился скрипач, о ч е н ь плохо играющий... за кулисами. Он вспомнил, как я пиликал гаммы дома. Видимо, я играл как надо, потому что он доверил мне роль со словами. Следовало пройти через сцену, хромая, опираясь на плечо товарища, со страдальческим выражением лица. Товарищ участливо спрашивал меня: «Что, здорово жмет?», я вздыхал: «Ох, и жмет же!», и скры-

2 Подробности об аресте Мейерхольда см., например, в краеведческой статье, основанной на местных архивах: [Гнездова 2017].

3 Имеется в виду Е.Я. Архиппов.

4 О прагматике авангардистских приказов см., например: [Россомахин 2019].

5 В своих мемуарах Ю. Гольцев все-таки упоминает, что «театральной сенсацией Новороссийска явилась постановка Мейерхольдом в Театре имени В.И. Ленина “Норы” Г. Ибсена с участием А.В. Богдановой в заглавной роли и Д.Н. Орлова в роли доктора Ранка» (*Гольцев Ю.* В Москве и Новороссийске // Творческое наследие В.Э. Мейерхольда / Ред.-сост. Л.Д. Вендровская, А.В. Февральский. М.: ВТО, 1978. С. 250).

вался за кулисы. Неудивительно, что этот эпизод имел успех. Зал взрывался дружным хохотом, потому что хитрый режиссер дал мне, длинному не по возрасту⁶, в спутники совершенного гнома, и это были, полагаю, впервые на театре, Пат и Паташон, которые имели тогда бешеный успех в кино. На это и ставил В.Э. Упоминаю об этом не в надежде войти в историю театра, а потому, что это раннее свидетельство о трюках, к которым позже так охотно прибегал В.Э.

Его хватало на все. В огромном зале пустующего кинотеатра он устроил студию для молодежи, куда стекались дети портных, шапошников, жестянщиков, за отсутствием рабочих, заменявших пролетариат. Пошел, разумеется, и я, уже обогащенный опытом. Стоя в центре зала, нервно постукивая толстой кизиловой палкой, В.Э. вводил сидевших вдоль стен юношей и девушек в историю театра и теорию мастерства. Давал задания: мальчикам — прочесть монолог Бориса («Шестой уж год я царствую спокойно»), девушкам — письмо Татьяны. Тогда и услышал я его толкование первой строки. Все читали: «Я к вам п и ш у». Он поправлял: «Дело ведь не в том, что она пишет, а в том, что она, первая, к нему. Надо читать — «Я — к в а м !». Именно поэтому он мог, по ее, и всех в те времена, представлению, ее «позором наказать».

Из всех национализированных книжных магазинов В.Э. собрал на полки небольшого киоска, стоявшего на главной улице, у Раевского бульвара, книги по философии, истории, литературе, театру, с тем чтобы актеры могли ими пользоваться, работая над ролью. Увы, за несколько месяцев моего заведывания этим киоском ни актеры, ни режиссеры, ни вообще кто бы то ни было в него ни разу не заглянул. Кроме, впрочем, самого В.Э., угрюмо констатировавшего ситуацию. Махнув на это начинание рукой, он переместил меня в свой подотдел, назначив... инструктором по театру. Тогда такое выдвижение было возможно (как, впрочем, и теперь). И снова я, к счастью, в этой роли никому не понадобился. Но мне к осени понадобилось выехать в Ростов, где я надеялся поступить в университет. Нужна была командировка, и В.Э. тут же ее сочинил: «Поручается сотруднику... выяснить разницу между полит- и культпросветом». Как горюю я, что эта бумага за печатью и с подписями Гладкова и Мейерхольда погибла в годы блокады Ленинграда, вместе с библиотекой и архивом, в котором, кроме нее, хранились рукописи автобиографий и стихотворений, авторских, Маяковского, А. Толстого, Мандельштама, Зощенко, и многих других, собранных мною по заданию факультета литературы Института истории искусств, где я в двадцатые годы учился. Они нужны были для семинара по текстологии⁷.

-
- 6 Перцович действительно был очень высок. Его подруга Е.А. Бекштрем (Старинина) вспоминала: «Помнишь ли ты, как мы в Новороссийске подолгу бродили, а за нами следовали обожавшие меня собаки с разных дворов, и ты их время от времени обгонял — я об этом сыну рассказывала. И как тебя спросили: “Дяденька, наверху холодно?”» (Е.А. Бекштрем — Ю.С. Перцовичу. РО РНБ. Ф. 1306. Д. 477. Л. 15). Также см. в ее письмах: «В Новороссийск я впервые попала весной 21 года. Ни Волошина, ни Рославлева лично не знала, не видела и не помню, рассказывали ли мне о них. Вот рассказы о Мейерхольде помню. Как вечером Над. Сергеевна [Архишпова] гуляла с ним по берегу и, шутя, подталкивала к краю воды, а он сказал: “Бросьте деревенский флирт, давайте перейдем на городской!”» (Е.А. Бекштрем — Ю.С. Перцовичу. Там же. Д. 480).
- 7 В ГИИИ собиранием автографов раннесоветских писателей занимался Кабинет современной литературы под руководством К.А. Шимкевича, помощником которого служил Перцович. В 1928/29 академическом году при Кабинете работал текстологический семинар под руководством Шимкевича и Б.В. Томашевского (Производст-

Попутно с юмористическим заданием, к которому, кстати сказать, в Краевом отделе искусств отнеслись вполне серьезно, пообещав дать письменное разъяснение, В.Э. поручил мне зайти к своему старшему брату, Эмилию Эмильевичу, владельцу крупного маслозавода, в роскошном особняке которого и разместился отдел искусств. Сдав командировочное удостоверение в бывшей гостиной, стены которой были покрыты шелковыми панно, забитой письменными, канцелярскими, кухонными столами, я прошел в бывшую столовую, мрачную, освещенную только свечой, у ближнего края уходящего в этот мрак стола, за которым в кожаном вольтеровском кресле сидел сухонький старичок. Ему оставили эту комнату и корову. На столе стоял кувшин с молоком и чашка, кусочек хлеба. Я передал привет, рассказал, что знал о работе и быте В.Э. и так как он не сразу ответил, разглядывал дубовые панели, резной потолок, все убранство барской комнаты, какой никогда до этого не видел. Наконец, он тихо, медленно, веско процедил: «Передай Всеволоду, чтоб он не очень зарывался. Сегодня белые, завтра красные, потом опять белые. И уж тут его обязательно повесят».

Вернувшись, я доложил этот завет В.Э. Он весело рассмеялся. «Теперь, брат, поздно беречься. Да и не все ли равно, на тонкой или на толстой веревке повесят. Так что будем продолжать».

Среди новороссийских друзей В.Э., знакомых ему по Москве и Петрограду, была семья Алперсов, высоко интеллигентная и талантливая. Отец — композитор, старший сын, Борис, поэт, впоследствии историк театра, критик, доктор искусствоведческих наук. Младший, Сергей, превосходный пианист, рано, к сожалению, умерший. Дочь, Вера, преподаватель ритмики по системе Далькроза, бывшей в те годы в моде. К концу семидесятых годов, кажется, она одна еще осталась в живых. Однажды, застав у них В.Э., я попросил их дать мне коллективный автограф. Сергей вырвал из блокнота листок и написал на нем первую строку программного для символистов стихотворения Верлена, по-французски: «О музыке прежде всего». Ту же строку повторили остальные. Борис — «О поэзии...», Вера — «О ритме...», В.Э. — «О театре...». Как пригодился бы сегодня для витрины театрального музея этот листок. Жаль, погиб и он.

Восемь лет спустя, в дни гастролей театра Мейерхольда в Ленинграде, я случайно узнал, что В.Э. остановился в квартире надо мной. Решил подняться. Он припомнил меня, принял приветливо, но выглядел усталым и озабоченным. Видимо, я пришел не вовремя, разговор не клеился. Может быть, еще и потому, что из соседней комнаты то и дело доносился голос Зинаиды Райх, раздраженный, капризный, торопивший мужа куда-то ехать. Извинившись, я ушел. Ни В.Э., ни советский театр от этого несостоявшегося разговора ничего не потеряли. Но в памяти моей остался не этот, а новороссийский, полный сил, энергии, обаяния, еще ничем не удрученный Мейерхольд.

Еще через несколько лет я подружился с Арнштамом, пианистом, потом кинорежиссером, делавшим сценарий «Встречного»⁸. Он был зав. музчастью

венный план отдела словесных искусств ГИИИ на 1928/29 акад. год. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Ф. 82. Оп. 3. Д. 28. Л. 91).

8 «Встречный» (1932) — фильм Фридриха Эрмлера и Сергея Юткевича. Лео Арнштам — один из сценаристов картины. С ним Перцович состоял в многолетней дружеской переписке.

в театре В.Э. и женился на его младшей дочери, Ирине, в дни новороссийские тонкой, необыкновенно изящной девушке, через серию замужеств (последнее — Меркурьев) превратившейся в сторбленную, черствую старуху, имевшую класс или помогавшую вести класс мужу в театральном училище на Моховой. Разбирая так называемый мелкий материал Публичной библиотеки, назначенный к передаче в макулатуру, я выделил театральные афиши, касающиеся В.Э. 1917 и 1918 гг., и послал их ей. Мне передали, что она хотела бы встретиться, но я боялся потерять образ, когда-то такой пленительный, и уклонился от приглашения.

Библиография / References

- [Бабак, Дмитриев 2021] — *Бабак Г., Дмитриев А.* Атлантида советского нацмодернизма: формальный метод в Украине (1920-е — начало 1930-х). М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- (*Babak G., Dmitriev A.* Atlantida sovetского natsmodernizma: formalnyy metod v Ukraine (1920-e — nachalo 1930-kh). Moscow, 2021.)
- [Белогурова 2019] — Мейерхольд в Новороссийске: Библиографическое пособие / Сост. И.В. Белогурова. Новороссийск: МБУ ЦБС г. Новороссийска, 2019.
- (*Meyerkhold v Novorossiyske: Bibliograficheskoe posobie / Comp. by I.V. Belogurova. Novorossiysk, 2019.*)
- [Гнездова 2017] — *Гнездова Т.* Мейерхольд в революционном Новороссийске // Кубань в эпоху великих потрясений 1917—1920 гг. Фелицынские чтения XIX. Краснодар: Вика-принт, 2017. С. 26—29.
- (*Gnezdova T.* Meyerkhold v revolyutsionnom Novorossiyske // *Kuban' v epokhu velikikh potryaseniy 1917—1920 gg. Felitsynskie chteniya XIX. Krasnodar, 2017. P. 26—29.*)
- [Отяковский 2022] — *Отяковский В.* Между самокритикой и самооправданием: случай Юрия Перцовича // Новое литературное обозрение. 2022. № 5 (177). С. 104—118.
- (*Otiakovskii V.* Mezhdru samokritikoy i samoopravdaniem: sluchay Yuriya Pertsovicha // *Novoe literaturnoe obozrenie. 2022. No. 5 (177). P. 104—118.*)
- [Россомехин 2019] — Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова. Уничтоженное издание 1923 года. + Антология авангардистских приказов и декретов 1917—1924 годов. (Приказ как литературный жанр: от футуристов до ничевоков) / Сост. и науч. ред. А. Россомехин. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2019.
- (*Prikaz Revvoensoveta No. 279 "K pyatiletiyu Krasnoy Armii", s illyustratsiyami Yuriya Annenkova. Unichtozhennoe izdanie 1923 goda. + Antologiya avangardistskikh prikazov i dekretov 1917—1924 godov. (Prikaz kak literaturnyy zhanr: ot futuristov do nichevokov) / Comp. by A. Rossomakhin. Saint Petersburg, 2019.*)
- [Тонких (Зарицкая) 2019] — *Тонких (Зарицкая) Т.* Становление и развитие советского театрального искусства в г. Новороссийске (1920—1940 гг.) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2019. № 1 (234). С. 39—45.
- (*Tonkih (Zarickaja) T.* Stanovlenie i razvitie sovetского teatral'nogo iskusstva v g. Novorossiyske (1920—1940 gg.) // *The Bulletin of the Adyge State University, the series "Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culture". 2019. No. 1 (234). P. 39—45.*)

Мария Лихинина

Петроградский Дом искусств как организационный эксперимент эпохи военного коммунизма

Mariia Likhinina

Petrograd House of Arts as an Organizational Experiment of the War Communism Period

Мария Лихинина (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Школа искусств и культурного наследия, аспирант) mlikhailina@eu.spb.ru.

Mariia Likhinina (Doctoral Student, School of Arts and Cultural Heritage, European University at Saint Petersburg) mlikhailina@eu.spb.ru.

Ключевые слова: художественная интеллигенция, военный коммунизм, организационная структура, административный конфликт

Key words: artistic intelligentsia, War Communism, organizational structure, administrative conflict

УДК: 7.067.3

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_117

UDC: 7.067.3

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_117

В статье на примере истории петроградского Дома искусств рассматриваются проблемы отношений власти и интеллигенции в период военного коммунизма. Раскрываются причины неудачи Дома искусств как горьковского проекта по объединению художественной интеллигенции. Доказывается, что его упадок был обусловлен не столько репрессивными государственными мерами, сколько неопределённым положением в бюрократической иерархии, внутренними конфликтами и критикой деятельности Дома искусств представителями художественной среды.

The article explores the relations between the authorities and the intelligentsia during War Communism in the Petrograd House of Arts case. It reveals the reasons for the decline of the House of Arts as Gorky's project to unite the artistic intelligentsia. The paper argues that the organisation's fall was caused by its uncertain position in the bureaucratic hierarchy, inner conflicts and criticism of the House of Arts by the artistic environment more than repressive state measures.

3 августа 1922 года ВЦИК и СНК выпустили постановление «О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними»¹. С этого времени все некоммерческие организации губернского и областного уровня, не контролируемые профсоюзами, должны были регистрировать устав в исполкоме, а всесоюзные — в НКВД. Введение цензуры не означало немедленной ликвидации всех кружков, объединений и обществ. Едва ли не более серьезным вызовом для них было постепенное возвращение к рыночной экономике с марта 1921 года, когда многие организации были лишены государственных субсидий, не успели перейти на самоокупаемость и закрылись по экономическим причинам. Вместе с тем централизованная регистрация приводила к изменению структур организаций, побуждая их руководство редактировать уставы для продолжения работы.

1 Известия. 1922. № 180. 12 августа. С. 4.

Постановление о регистрации подытоживало почти пятилетний период существования объединений, кружков и ассоциаций художественной интеллигенции в нестабильных экономических и политических условиях. Отношения чиновников и художественной интеллигенции в это время не сводились к абсолютному господству власти и пассивному подчинению интеллектуалов. По мнению ряда исследователей, в эти годы, напротив, начинает складываться общественный договор между властью и интеллигенцией, вполне оформившийся в середине 1930-х годов [Уокер 1999: 210; Fitzpatrick 2002: 110].

Внимания заслуживают не только успешные организации, которые смогли встроиться в государственную централизованную систему, но и случаи художественных объединений, потерпевших фиаско на этом пути. Одной из таких организаций был петроградский Дом искусств, стремительное развитие которого сменилось внезапным упадком, обусловленным не только репрессивными бюрократическими мерами, но и положением самой организации в меняющейся системе бюрократических органов и других художественных объединений². Для анализа причин упадка и закрытия Дома искусств важно рассматривать его историю в организационном поле. Под этим термином вслед за П.Дж. Димаджио и У.В. Пауэллом мы понимаем «те организации, которые в совокупности составляют идентифицируемую сферу институциональной жизни — это ключевые поставщики, потребители ресурсов и продуктов, регуляторы и другие организации, производящие сходные продукты или услуги» [Димаджио, Пауэлл 2010: 37]. Такой подход позволяет учесть ряд дополнительных факторов, определявших развитие Дома искусств, и по-иному рассмотреть отношения власти и интеллигенции, избежав жесткой дихотомии господства и подчинения.

Положение Дома искусств в культурной среде

Дом искусств был открыт 19 декабря 1919 года под руководством М. Горького для обеспечения представителей художественной интеллигенции работой, пайком и жильем. В структуре организации были выделены Литературный, Художественный и Музыкальный отделы. Литературным отделом в основном руководили К. Чуковский и А. Вольнский, во главе Художественного отдела стояли М. Добужинский, Ал-р и А. Бенуа, К. Петров-Водкин, Н. Пунин, Н. Альтман и другие; Музыкальным отделом руководили В. Щербачев и Н. Стрельников, которые привлекали к сотрудничеству специалистов из Консерватории. В общежитии Дома искусств в то время находили приют А. Вольнский, А. Грин, Н. Гумилев, Г. Иванов, Л. Лунц, Е. Леткова-Султанова, М. Лозинский,

2 Исследователи обращались к истории Дома искусств с 1970-х годов, однако главным образом фрагментарно [Зайдман 1973; Мартынов, Клейн 1971; Schert 1977]. За первым обобщением истории организации и особняка Елисеевых [Шульц 1997] последовали научные монографии [Тимина 2001; Nickey 2009]. За редким исключением [Устинов 2020] исследователи рассматривали Дом искусств как литературную организацию, лишь косвенно привлекая данные о Художественном и Музыкальном отделах. Центральными работами по теме остаются исследования С.И. Тиминой [Тимина 2001; 2015а; 2015б]; впрочем, здесь отношения Дома искусств с госорганами рассматриваются как «насилие над культурой» и «неравная борьба... с властью» [Тимина 2015а: 29, 30].

В. Милашевский, Ф. Нотгафт, В. Пяст, Вс. Рождественский, М. Слонимский, С. Ухтомский, О. Форш, В. Ходасевич, В. Шкловский, М. Шагинян, А. Щекати-хина-Потоцкая и другие.

Насыщенная художественная программа включала литературные вечера, концерты и выставки; здесь же работала Литературная студия под руководством сначала Чуковского, а затем Волынского; во многом под ее влиянием сложилась группа «Серапионовы братья». При открытии Дома искусств у его руководства были грандиозные планы, о чем Чуковский вдохновенно сообщал Е.В. Гольденвейзер:

Мы подали в Компрос бумагу. Гринберг (здешний глава просвещения) отнесся сочувственно — и обещал выдать «завтра или послезавтра» полмиллиона. Я был в восторге, нашел дивное здание на Мойке (бывшая квартира Елисеева — огромное помещение, двухэтажное), договорился с поставщиком дров и т.д. Полмиллиона — это только задаток, до нового года, а потом — обещано по смете. Смета же наша четыре миллиона. Дело намечается огромное³.

Расцвет Дома искусств пришелся на 1920—1921 годы, когда было организовано около 130 литературных вечеров, концертов и выставок из 150 мероприятий за все время его существования. На протяжении последнего года происходило постепенное замирание его деятельности, результатом чего стала невозможность подготовить новый устав и зарегистрировать его летом 1922 года: фактически Дом искусств перестал существовать как целостная организация еще до решающего постановления. Окончательно его деятельность завершилась к концу 1922 или началу 1923 года (точную дату установить практически невозможно из-за отсутствия сохранившихся документов о ликвидации).

Некоторые авторы находят причины закрытия Дома искусств в решении председателя Петросовета Г.Е. Зиновьева, который якобы лично ликвидировал организацию [Северюхин 2010: 706; Тимина 2015а: 30]. Эта точка зрения опирается на замечание Ходасевича о Доме искусств:

...жизнь была очень достойная, внутренне благородная... проникнутая подлинным духом творчества и труда. <...> По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки, — и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года⁴.

Впрочем, стоит учесть, что мнение Ходасевича основано на слухах: эмигрировавший 22 июня того же года, он не был очевидцем описываемого события.

Среди других внешних причин ликвидации Дома искусств называют, с одной стороны, переход к нэпу и связанные с этим изменения в поле искусства, когда необходимость в домах-коммунах отпала сама собой [Scherr 1977: 265], а писатели перестали нуждаться в посредниках для взаимодействия с вновь открывшимися издательствами [Hickey 2009: 282]. Добавим, что развитие театрального дела в 1921—1922 годах и открытие филармонии в июне 1921 года обеспечило систематическую профессиональную деятельность художникам-

3 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 14: Письма 1903—1925. М.: Агентство ФТМ, 2013. С. 427. К.И. Чуковский — Е.В. Гольденвейзер, 8 октября 1919 года.

4 Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 4. С. 283.

оформителям и музыкантам, что отвлекало их от участия в выставках и концертах Дома искусств. С другой стороны, появление домов отдыха для рабочих, районных домов просвещения и культуры, многочисленных маленьких театров и кино существенно снижало конкурентоспособность элитарных мероприятий Дома искусств. Установка на развитие сектора массовых развлечений для получения систематической прибыли была несовместима с задачами Дома искусств по сохранению культурного наследия [Ibid.: 303].

Анализируя причины упадка Дома искусств, исследователи порой представляют организацию как единое, лишенное внутренних противоречий общество, объединившееся для борьбы с трудностями военного коммунизма на основе творческих целей. Согласно этой интерпретации, если Дом искусств — «уникальный эксперимент творческого общения, который дал возможность людям искусства помочь друг другу преодолеть жестокость и бесчеловечность времени и даже в обытовленном и подчас непереносимо трудном пространстве продолжать ощущать себя Творцами» [Тимина 2015б: 163], то единственной угрозой могли быть только неблагоприятные политические и экономические условия.

Однако эти обстоятельства при всей их значимости не исчерпывают особенностей положения Дома искусств и в полной мере не объясняют его преждевременного упадка. Его истоки следует искать не только в репрессивных указах отдельных чиновников и бюрократических изменениях, но и в организационной структуре. Неразрешимые противоречия, заложенные в самом уставе Дома искусств, на протяжении всей его недолгой истории вызывали как внутренние, так и внешние конфликты.

Изначально Дом искусств был зарегистрирован «при Наркомпросе»⁵, но не как подведомственное учреждение. Правила сотрудничества с государственными ведомствами были совершенно не определены: в уставе лишь отмечалось, что «Дом искусств в лице Комитета и Совета мастеров входит в сношения с правительственными и иными учреждениями как Российской республики, так и других стран»⁶. Характер этих «сношений» был не прояснен, как не была установлена координация отделов Дома искусств с отделами Наркомпроса, содержание их отношений, степень подчинения Дома искусств вышестоящим органам.

Разные истолкования этой формулировки определили двойственное положение Дома искусств в бюрократической системе и художественной среде, из которого проистекало несколько ключевых противоречий, связанных со структурой, целями и задачами организации, планом работы и действиями руководителей. Первое заключалось в том, что администраторы Дома искусств и чиновники Наркомпроса по-разному понимали сущность и задачи организации и вели споры о ее институциональном дизайне. Второе было связано с репутацией Дома искусств в художественной среде: его неопределенное положение отталкивало как либеральных антибольшевиков, так и левых пролеткультовцев. Третье коренилось в различном понимании администраторами

5 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 5039. Оп. 5. Д. 1. Дом искусств. Титульный лист.

6 Там же. Л. 2. Регулярного сотрудничества с зарубежными авторами Дому искусств наладить не удалось. Самым масштабным был торжественный обед в честь Герберта Уэллса, организованный 26 сентября 1920 года по инициативе Горького.

Дома искусств своих целей и, соответственно, стратегий развития организации. Воплотившиеся в ряде повседневных конфликтов, эти противоречия мешали развитию Дома искусств гораздо чаще и серьезнее, чем глобальные исторические изменения.

Между кружком и бюрократией

В условиях разрушенных социальных институтов периода Гражданской войны художественная интеллигенция использовала приобретенные до революции навыки кружковой культуры [Уокер 1999]. Дом искусств не был исключением: он тоже унаследовал модель дореволюционной организации художественной интеллигенции, сложившуюся в 1880—1910-е годы.

Инвариант структуры такого рода организации — общество, кружок или собрание, объединяющее деятелей разных видов искусств и способствующее развитию этих искусств посредством организации регулярной программы (чтения произведений, диспуты, лекции, доклады, выставки, концерты и спектакли), а также выступающее посредником между издателями, дилерами и деятелями искусств. Обычно руководила организацией выборная дирекция, члены подразделялись на действительных, почетных и членов-соревнователей, при этом действительные члены выбирались баллотировкой на общем собрании по предварительной рекомендации трех членов кружка; гости допускались на мероприятия по рекомендации действительных или почетных членов. Иногда такая организация имела свою библиотеку, собственный периодический орган и включала внутренние творческие объединения, а также оказывала материальную и юридическую помощь своим членам. Немаловажным признаком этих организаций была их централизующая функция — координация организационного поля, включающего самих деятелей искусства, их аудиторию, критиков, издателей и спонсоров.

Самым известным и многочисленным среди них был московский Литературно-художественный кружок (1898—1918/20), в составе которого было более 700 членов, а количество посещений мероприятий в год достигало почти 55 тысяч [Шруба 2004: 108]. Большую часть его инициаторов составляли театральные деятели, однако к марту 1916 года «почти половина основной группы — 226 из 464 человек — состояла из литераторов, ученых и журналистов» [Сазонова 2013: 70]. Кружок имел целью «способствовать развитию литературы и изящных искусств»; в его задачи входило обеспечить «а) общение литераторов и художников; б) исполнение совокупными силами членов Кружка и приглашенных лиц различных сценических произведений, концертов, публичных чтений и т. п.; в) устройство художественных выставок, вечеров и собраний»⁷.

В Петербурге подобной по структуре организацией было Литературно-художественное общество (1886—1917) [Там же: 71]. Сходные задачи выполняло Санкт-Петербургское литературное общество (1907—1911), преемник закрытого в 1901 году Союза взаимопомощи русских писателей, в котором среди прочих участвовал и Чуковский [Кукушкина 2008: 23]. Еще несколько нереализованных петербургских проектов структурно воспроизводили тот же тип

7 Устав Московского литературно-художественного кружка. М.: Т-во И.Н. Кушнерев и Ко, 1898. С. 1.

организации. Это проект Общества единого искусства (1911), общество «Зритель», Общественное собрание художников и архитекторов (с 1907 года) [Северюхин 2010: 600—605].

Регулярные случаи самоорганизации художественной интеллигенции в форме таких кружков и обществ свидетельствуют об устойчивости этой модели — если не всегда в действительности, то в представлении деятелей разных видов искусств о задачах профессионального совершенствования, культурно-просветительской деятельности, общественном досуге, формах материальной помощи. Совпадение структурных элементов этих организаций также говорит о сформировавшихся организационных нормах и практиках, которые обеспечивали их институциональную целостность и воспроизводимость.

Дом искусств был одним из послереволюционных проектов в ряду подобных организаций. Как и его предшественники, по уставу он должен был объединить «представителей всех родов искусства в семью работников, взаимно помогающих друг другу на основании общностей интересов и целей»⁸. Дом искусств должен был стать центральной петроградской организацией в области культуры; предполагалось, что его руководство

- а) устраивает музеи, библиотеки, художественные школы, студии, мастерские, аудитории,
- б) организует выставки, конкурсы и аукционы,
- в) выпускает изделия повременного и неповременного характера,
- г) дает отзывы, советы, заключения по вопросам искусства,
- д) принимает и исполняет заказы на художественные работы от государственных учреждений, общественных учреждений и частных лиц, а также содействует получению заказов группам и отдельным работникам искусства, организуя художественные артели, бюро,
- е) организует кооперативы, хозяйственные распределители, столовые,
- ж) всячески содействует взаимному сближению деятелей искусства и по приглашению выступает между ними в качестве третейского судьи,
- з) принимает всякие другие меры к развитию искусства и созданию наиболее благоприятных условий для работы его деятелей⁹.

Внутренняя система управления также была заимствована из дореволюционной кружковой среды. Высший совет на ежегодных собраниях мог открывать и закрывать отделы и секции, менять устав, утверждать программу деятельности и смету, а также избирать состав Комитета Дома — исполнительного органа. В ведении Комитета находились касса, канцелярия и архив; его члены наблюдали за деятельностью подразделений, управляли учреждениями Дома, были его представителями в отношениях с другими организациями¹⁰.

В общей классификации членов и посетителей Дома искусств были выделены категории ученика, сотрудника, мастера, гостя и посетителя. В ученики принимались «лица, желающие совершенствоваться в области искусства и ре-

8 ЦГА СПб. Ф. 5039. Оп. 5. Д. 1. Дом искусств. Л. 2.

9 Там же.

10 Там же. Л. 10.

комендованные одним мастером или не менее чем двумя сотрудниками соответствующего отдела»¹¹. Ученики имели право работать в студиях, посещать лекции, вечера и открытые собрания, но не участвовали в управлении Домом. Гости могли посещать «вечера, диспуты, спектакли лишь по письменной рекомендации мастеров или сотрудников Дома искусства»¹². Для работы членов и обучения учеников была создана библиотека, с началом НЭПа был открыт книжный магазин.

В сравнении с дореволюционными организациями в Доме искусств был более развит сектор материальной помощи, что было вызвано бытовыми условиями времени Гражданской войны. Как уже отмечалось, были организованы общежитие на 56 человек¹³, столовая по талонам для членов, помощь в получении дров и керосина. Для летнего отдыха и получения дополнительных продуктов питания с июня 1921 года была открыта дачная колония в имении Холмки князя А. Гагарина. Руководители Дома искусств использовали привычные механизмы создания интеллигентской художественной среды с тем ключевым различием, что финансирование теперь поступало не от спонсоров, а от государства в форме субсидий.

Полностью реализовать проект, изложенный в уставе, не удалось, хотя начало деятельности было многообещающим. Спустя пару месяцев после открытия Чуковский послал Луначарскому отчет:

Дом Искусств работает неутомимо. В нем открыта столовая для художников и литераторов. Художественная и литературная студия полны учащихся. Публичные лекции неизменно собирают полный зал. Философская ассоциация, Литературный Фонд, Союз переводчиков находят в нем приют. Теперь мы основываем при Доме Искусств Подвижной университет для красноармейцев, милиционеров и матросов¹⁴; во главе университета М. Горький¹⁵.

К весне 1920 года ядро программы уже сформировалось: в Доме искусств регулярно работала Литературная студия, проходили литературные понедельники с чтениями художественных произведений и критики, были организованы выставки В.Д. Замирайло, Альб.Н. Бенуа и М.В. Добужинского; в феврале открылась музыкальная секция с концертами по пятницам и вторникам¹⁶.

С первых месяцев своего существования Дом искусств привлекал внимание не только деятелей искусств и потенциальных учеников, но и комиссаров Наркомпроса. Идея объединения деятелей всех видов искусств в одной организации, естественно сложившаяся в дореволюционной художественной среде, была близка стремлению Луначарского сосредоточить управление всеми искусствами в одном комиссариате, не отрывая при этом искусство от профессионально-образовательных и широко-просветительских задач. Эта идея была особенно актуальна в первые послереволюционные годы, когда Нарком-

11 Там же. Л. 2—3.

12 Там же. Л. 6.

13 *Чуковский К.И.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 502. К.И. Чуковский — А.Н. Толстому, май 1922 года.

14 В рамках этого проекта Чуковский, Горький, Блок, Гумилев и другие читали лекции в ГОРОХРе (Клубе городской охраны) и Балтфлоте.

15 Там же. С. 434. К.И. Чуковский — А.В. Луначарскому, до 23 февраля 1920 года.

16 Дом искусств. 1921. № 1. С. 69.

прос нуждался в кадрах, а его руководство вырабатывало стратегии взаимодействия с дореволюционной интеллигенцией [Fitzpatrick 2002]. Поэтому чиновники Петроградского отделения Наркомпроса видели в Доме искусств организацию-посредника между комиссариатом и раздробленной художественной интеллигенцией.

Заинтересованность комиссариата оказала влияние на структурные особенности Дома искусств: дореволюционная кружковая модель была приведена в соответствие с Художественной секцией Наркомпроса по состоянию последней на конец 1919 года¹⁷. Согласно этой структуре в Доме искусств было выделено четыре отдела: Изобразительных искусств, Историко-археологический, Литературный и Музыкально-театральный, а также 15 подотделов и 22 секции¹⁸. Для управления общими для всех отделов функциями было выделено Центральное бюро секций, которое должно было обеспечить сотрудничество представителей разных отделов и укрепить связи между деятелями разных искусств.

Между низовой кружковой моделью и бюрократической структурой не было содержательного противоречия: секционное деление не ограничивало выполнение задач организации и могло лишь дополнительно упорядочить ее деятельность. Однако администраторы Дома искусств и чиновники Наркомпроса подчинялись разной институциональной логике. Для первых это была устойчивая кружковая культура —

смесь поведенческих образов (навыков мышления, автоматических жестов, полусознанных мотиваций, бессознательных реакций), случайным образом использованных людьми, пытающимися прожить свою жизнь по возможности хорошо, людьми, отчасти представляющими собой продукт своей эпохи и среды, отчасти выступающими как агенты их преобразования [Уокер 1999: 210].

Для вторых — новаторское для российской бюрократии объединение искусства, науки, профессионального образования и массового просвещения в одном органе управления, который при таком избытке подконтрольных сфер должен был иметь прозрачную и четкую структуру.

В этих условиях успехи Дома искусств, суммированные Чуковским в письме к Луначарскому, оставались невидимыми для комиссаров Наркомпроса. Чиновники наблюдали другое развитие событий: вместо строгой иерархии сформировано всего три отдела (Литературный, Художественный и Музыкальный), деятельность которых не отвечает уставу: в Художественном отделе работает только выставочная секция, а театральная работа редуцирована до детского театра.

Первые претензии комиссаров заключались в критике не содержания лекций и выставок, а именно несоответствия установленной структуре. Спустя три с небольшим месяца работы Дома искусств Чуковский записывал в дневнике:

Пертурбации с Домом Искусства. Меня вызвали повесткой в «Комиссариат Просвещения». Я пришел. Там — в кабинете Зеликсона — был уже Добужинский. Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось засе-

17 Институты управления культурой в период становления, 1917—1930-е гг. Партийное руководство; государственные органы управления: схемы / Гл. ред. К. Аймермахер; рук. авт. кол. Т.М. Горяева. М.: РОССПЭН, 2004. С. 79.

18 ЦГА СПб. Ф. 5039. Оп. 5. Д. 1. Дом искусств. Л. 6—7.

дание. На нас накинудись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч<ее>. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы и рады бы, но... Особенно горячо говорила одна акушерка — повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов<арищ> Лилина, жена Зиновьева¹⁹.

Ответ Чуковского ярко свидетельствует о том, что руководители Дома искусств изначально не собирались опираться на устав. Ориентируясь на привычную кружковую модель, они хотели воссоздать организацию профессионально-клубного типа в новых условиях. Непонимание организационных норм и требований обеими сторонами не раз впоследствии выражалось в подобных конфликтах, которые были прекращены только в конце ноября 1921 года, когда Дом искусств с отредактированным уставом и целью «популяризировать в самых широких размерах все значительные явления в искусстве»²⁰ был официально включен в подчинение Наркомпроса.

Между «оппозиционерами» и «лоялистами»

Положение усугубляла критика Дома искусств изнутри художественной интеллигенции. Эта критика также во многом была вызвана двусмысленным статусом организации. Инициативную группу по разработке проекта Дома искусств составили в основном представители либеральной интеллигенции или сочувствующие им: профессор Ф. Батюшков, член редколлегии «Всемирной литературы» А. Левинсон, мирискусник М. Добужинский, журналист и секретарь Дома литераторов А. Кауфман, писатели К. Чуковский, Н. Гумилев, А. Блок, Е. Замятин, театральные режиссер В. Немирович-Данченко. Авангардисты были представлены только в лице Ю. Анненкова, а участников Пролеткульта не было вообще — если не считать А.Н. Тихонова, который прежде редактировал «Сборники пролетарских писателей» (1914, 1917), но с 1918 года был заведующим во «Всемирной литературе». Такой состав вызывал раздражение как оппозиционно настроенной интеллигенции, так и левой.

В кругах антибольшевистской символистской интеллигенции Дом искусств воспринимался как исключительно горьковская инициатива. З. Гиппиус комментировала его открытие с явным презрением: «А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме, будет “Дворец искусств” <sic!>. По примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и... Прости им Бог, не хочу имен»²¹. Горький был в их глазах дельцом-двурушником: А. Амфитеатров возмущался позицией писателя «с его вечною высокомерною декламацией о культуре — к утешению страждущей интеллигенции; и с его прочною дружбою и послушным сотрудничеством с самими антикультурными силами большевизма, которые эту страждущую интеллигенцию душат, чтобы не сказать — уже задушили»²².

19 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений. Т. 11: Дневник 1901—1921. М.: Агентство ФТМ, 2013. С. 294.

20 ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 5. Д. 5. Л. 1. Переписка о переходе Дома искусств в ведение Академического центра (отчеты о деятельности и устав).

21 Гиппиус З.Н. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. Дневники 1919—1941. Из публицистики 1907—1917 гг. Воспоминания современников. М.: Русская книга, 2005. С. 70.

22 Амфитеатров А.В. Горестные заметы. Берлин: Грани, 1922. С. 45.

Вспоминая в 1922 году визит Г. Уэллса в Петроград осенью 1920 года, Амфитеатров суммировал оценки главы Дома искусств в среде оппозиционной интеллигенции: «...Горький, “друг Ленина”, уже тогда начал плотно окружаться тою двусмысленною репутацией и непопулярностью полуправительственного человека, которые сделались его достоянием теперь»²³. Гиппиус в дневниках называла Горького человеком «на дне хамства и почти негодаяства, упоенным властью»²⁴, который, «вступив в теснейшую связь с Лениным и Зиновьевым, — “остервенел”»²⁵. Мережковский убеждал Г. Гауптмана, что Горький — «не друг, а враг, тайный, хитрый, лицемерный, но злейший враг русского народа»²⁶. В этом контексте Дом искусств воспринимался не как автономная организация, созданная по замыслу Горького, а, напротив, как еще одно отделение Наркомпроса, мимикрировавшее под литературно-художественный кружок.

Чуковский же, наряду с Блоком, Бенуа, Петровым-Водкиным и Мейерхольдом, входил, с точки зрения оппонентов Дома искусства, в число «интеллигентов-перебежчиков». Антибольшевистская интеллигенция не воспринимала его как равного. Гиппиус дала ему снисходительную оценку: «...довольно даровитый, но не серьезный, вечно невзрослый, он не “потерянное дитя”, скорее из породы “милых, но погибших созданий”, в сущности невинный, никаких убеждений органически иметь не может»²⁷. Амфитеатров относился к Чуковскому как к марионеточному бюрократу от литературы: это был

новейший петроградский Фигаро по литературно-дельцовской суетне и обычный обер-церемониймейстер ею порождаемых торжеств и празднеств. <...> О Чуковском говорили как о человеке, слишком зависимом от Горького по множеству совместных дел, предприятий и отношений²⁸.

Одним из последствий этой критики была непопулярность Дома искусств в художественных кругах, которая побуждала Горького лично приглашать потенциальных членов, порой отговаривая их от сотрудничества с либеральным Домом литераторов²⁹. Отношения двух Домов были неоднозначны. С одной стороны, между ними существовали дружеские связи: многие члены Дома искусств были также членами Дома литераторов и участвовали в мероприятиях обеих организаций; в 1921 году «серапионы» К. Федин, Н. Никитин, В. Каверин, Л. Лунц и Н. Тихонов победили в конкурсе Дома литераторов, распределив между собой все призовые места. С другой стороны, как отмечает Б. Шерр,

23 Там же. С. 62.

24 Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 9. С. 445.

25 Там же. С. 447.

26 Мережковский Д.С. Открытое письмо Гергарту Гауптману // Общее дело. 1921. 13 августа. № 392. С. 2.

27 Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 8. Дневники 1893—1919. М.: Русская книга, 2005. С. 379.

28 Амфитеатров А.В. Горестные заметы. С. 63.

29 Приглашая к сотрудничеству К.А. Фебина, Горький критиковал Дом литераторов: «Люди пережитков... не понимают, что им стукнула давность. Не ходите к ним. Держитесь поближе к Дому искусств. Там интересные люди, живые» (Федин К. Горький среди нас: картины литературной жизни. М.: Советский писатель, 1977. С. 27). Он также уговорил переехать в общежитие Дома искусств переводчицу «Всемирной литературы» Е.П. Легкову-Султанову, которая впоследствии стала организатором мероприятий в Доме ученых (см.: Леткова Е.М. Горький — создатель Дома искусств и Дома ученых // Красная панорама (Ленинград). 1928. № 12. 23 марта. С. 21).

постепенно между Домами нарастала конкуренция, обусловленная в том числе неприязнью Горького по отношению к Дому литераторов как консервативной организации [Schert 1977: 263].

Состав руководства Дома искусств не мог не вызывать раздражения левых. Первым столкновением на этой почве стал конфликт с Пуниным, бывшим тогда комиссаром ИЗО Наркомпроса. Его забаллотировали на первых же выборах в члены Дома искусств, что послужило причиной прямой его неприязни к организации; он назвал ее членов «буржуазными отбросами»³⁰. «Дому грозит опасность закрытия — Пунин этого хочет», — отмечал 12 марта 1920 года К. Сомов, состоявший в Доме искусств³¹. Это противостояние в открытой и скрытой форме длилось на протяжении всей истории Дома искусств и закончилось тем, что Пунин стал его заведующим после ухода Чуковского с административного поста.

Представители Пролеткульта тоже претендовали на управление Домом искусств, стремясь ограничить влияние старой интеллигенции при появлении новых объединений. На уже упомянутом собрании в Наркомпросе комиссар по охране музеев Г.С. Ятманов заявил «от лица Пролеткульта, что он имеет основание не доверять “господам из Дома Искусств” и требует, чтобы туда послали ревизию. И именно пролеткультовцев в качестве ревизора»³². Эта проверка не состоялась, но не исключено, что противники Дома искусств способствовали ревизии Рабоче-крестьянской инспекции в первые месяцы 1921 года; ее результаты были переданы в ЧК, что нанесло Дому искусств большой урон.

Промежуточный статус Дома искусств вместо ожидаемой централизующей способности приносил ему только издержки. Если для антибольшевистского лагеря Горький и Чуковский были нерукопожатными людьми, то для пролеткультовцев и футуристов Дом искусств был недостаточно левым. Если первые считали взаимодействие с Домом искусств делом неэтичным, то вторые пытались оспорить его независимость. Это дестабилизировало положение Дома искусств и на практике извращало его главную цель: вместо того чтобы объединять художественную интеллигенцию, он становился яблоком раздора.

Между личностью и коллективом

Руководство Дома искусств не имело единого представления о задачах организации, что приводило к конфликтам в Высшем совете. Первые разногласия возникли в Совете по Художественному отделу в декабре 1919 года еще до открытия первых выставок-аукционов, когда Добужинский высказывал опасения насчет сотрудничества с Альбертом Бенуа: «Был в Д<оме> Иск<уств>. Осматривал аукцион. Пережюрировали. Ой, боюсь, что с <Альбертом> Бенуа еще будут истории!» (цит. по: [Устинов 2020: 67]). Если этот случай еще можно рассматривать как обычную размолвку между коллегами, то в дальнейшем конфликты насчет программы отдела обострились из-за разницы в статусе участников: некоторые люди, назначенные на руководящие посты со стороны, не из художественных кругов, считались в интеллигентской среде чужими.

30 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 296.

31 Сомов К. Дневник 1917—1923. М.: Дмитрий Сечин, 2020. С. 396.

32 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 294.

Заведующим хозяйственным отделом Дома искусств и вторым товарищем председателя был П.В. Сазонов — опытный организатор, в прошлом не имевший отношения к искусству. В декабре 1920 года Чуковский описывал в дневнике конфликт между А. Бенуа и Сазоновым:

Вчера в Доме Искусств — скандал. Бенуа восстал против картин, которые собрал для аукциона Сазонов. Бенуа забраковал конфетные изделия каких-то ублюдков — и Сазонов в ужасе. «У нас лавочка, а не выставка картин. Мы не воспитываем публику, а покупаем и продаем». Бенуа грозит выйти в отставку³³.

Вероятно, этот конфликт в том числе послужил причиной выхода Бенуа из Совета отдела в марте 1921 года.

В мае 1920 года одним из внутренних скрытых конфликтов стал спор о составе редколлегии журнала «Дом искусств», в который были вовлечены представители Художественного и Литературного отделов Добужинский, Чуковский, Замятин и другие [Там же: 88—99]. Апогеем внутренних конфликтов стал суд над Чуковским, который состоялся в Доме искусств 12 декабря 1921 года. Разбирательство эксплицировало давно назревший конфликт между Чуковским и Волынским, коллегами по руководству Литературным отделом. Предшествующие разногласия по программе отдела обострились вовлеченностью Волынского в развитие его Школы русского балета, что побуждало его конкурировать за власть с Чуковским: с началом НЭПа предприимчивый Волынский планировал использовать возможности Дома искусств для финансирования школы.

Суд был направлен на дискриминацию одного из наиболее активных руководителей Дома искусств. Эта цель была достигнута: публичный процесс над одним из ведущих идеологов Дома искусств был личным оскорблением, которого Чуковский с его чутким отношением к посягательствам на свой статус не мог простить. Однажды он сформулировал свою позицию в письме к сотруднику издательства «Эпоха» Е.Я. Белицкому: «Если бы мне когда-ниб<удь> сказали, что те люди, для к<ото>рых я устроил “Д<ом> И<скусств>”, будут выгонять меня оттуда, я счел бы и это чудовищным»³⁴. Именно то, чего больше всего опасался Чуковский, и произошло в формате публичного разбирательства. Суд и последовавшее за ним развитие конфликта сторон привело к уходу Чуковского и его ближайших коллег из Высшего совета, после чего Дом искусств окончательно лишился централизованного руководства.

Из-за административных разногласий, критики изнутри художественного сообщества и конфликтов с Наркомпросом Дом искусств уже фактически не существовал как целостная самостоятельная организация к августу 1922 года. Из-за неопределенного статуса «при Наркомпросе» Дом искусств критиковали и справа и слева; его руководители были убеждены в независимости Дома от государственных органов, тогда как комиссары считали своим служебным долгом контролировать его деятельность; внутренние конфликты и разное понимание задач организации мешали его руководителям сосредоточиться на выработке единой стратегии развития и устойчивой структуры, которая могла бы противостоять внешним угрозам. Эти проблемы, проистекавшие одна из другой, уничтожили Дом искусств прежде, чем осенью 1922 года его «разогнал Зиновьев».

33 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 278.

34 Чуковский К.И. Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 476. К.И. Чуковский — Е.Я. Белицкому, 29 ноября 1921 года.

Библиография / References

- [Димаджио, Пауэлл 2010] — *Димаджио П. Дж., Пауэлл У. В.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях / Пер. с англ. Г. Б. Юдина* // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 35—56.
- (DiMaggio P., Powell W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // *Ekonomicheskaya sotsiologiya*. 2010. Vol. 11. No. 1. P. 35—56. — In Russ.)
- [Зайдман 1973] — *Зайдман А. Д.* Литературные студии «Всемирной литературы» и «Дома искусств» (1919—1921 годы) // *Русская литература*. 1973. № 1. С. 141—147.
- (Zajdman A.D. Literaturnye studii “Vsemirnoy literatury” i “Doma iskusstv” (1919—1921 gody) // *Russkaya literatura*. 1973. No. 1. P. 141—147.)
- [Кукушкина 2008] — *Кукушкина Т. А.* Всероссийский Союз писателей (Петроградское отделение). Период становления. 1920—1923 гг.: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008.
- (Kukushkina T.A. Vserossiyskiy Soyuz pisateley (Petrogradskoe otdelenie). Period stanovleniya. 1920—1923: PhD thesis. Saint Petersburg, 2008.)
- [Мартынов, Клейн 1971] — *Мартынов И. Ф., Клейн Т. П.* К истории литературных объединений первых лет советской власти // *Русская литература*. 1971. № 1. С. 125—134.
- (Martynov I.F., Klejn T.P. K istorii literaturnykh ob’edineniy pervykh let sovetsoy vlasti // *Russkaya literatura*. 1971. No. 1. P. 125—134.)
- [Сазонова 2013] — *Сазонова Е. А.* Литературные объединения России конца XIX — начала XX века // *Проблемы современной науки и образования*. 2013. № 2 (16). С. 69—74.
- (Sazonova E.A. Literaturnye ob’edineniya Rossii kontsa XIX — nachala XX veka // *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 2013. No. 2 (16). P. 96—74.)
- [Северюхин 2010] — *Северюхин Д. Я.* Художественный рынок Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, его роль и значение в истории развития отечественного изобразительного искусства: Дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2010.
- (Severyuhin D.Ya. Khudozhestvennyy rynek Sankt-Peterburga — Petrograda — Leningrada, ego rol’ i znachenie v istorii razvitiya otechestvennogo izobrazitel’nogo iskusstva: PhD thesis. Moscow, 2010.)
- [Тимина 2001] — *Тимина С. И.* Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е годы. СПб.: Логос, 2001.
- (Timina S.I. Kul’turnyy Peterburg: DISK. 1920-e gody. Saint Petersburg, 2001.)
- [Тимина 2015а] — *Тимина С. И.* Между двух огней: судьба петербургского Дома искусств в период слома эпох // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*. 2015. № 175. С. 23—30.
- (Timina S.I. Mezhdv dvukh ogney: sud’ba peterburgskogo Doma iskusstv v period sloma epoch // *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*. 2015. No. 175. P. 23—30.)
- [Тимина 2015б] — *Тимина С.* Петербургский Дом Искусств (ДИСК) в контексте культуры 1920-х гг. // *Вестник Тамбовского университета*. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 4 (144). С. 158—163.
- (Timina S. Peterburgskiy Dom Iskusstv (DISK) v kontekste kul’tury 1920-kh gg. // *Vestnik Tambovskogo universiteta*. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2015. No. 4 (144). P. 158—163.)
- [Уокер 1999] — *Уокер Б.* Кружковая культура и становление советской интеллигенции: на примере Максимилиана Волошина и Максима Горького // *Новое литературное обозрение*. 1999. № 6 (40). С. 210—222.
- (Walker B. Kruzhkovaya kul’tura i stanovlenie sovetsoy intelligentsii: na primere Maksimiliana Voloshina i Maksima Gor’kogo // *Novoe literaturnoe obozrenie*. 1999. No. 6 (40). P. 210—222.)
- [Устинов 2020] — *Устинов А. Б.* Надпись и узор: Мстислав Добужинский в петроградском «Доме Искусств» // *Rhema*. 2020. № 4. С. 49—134.
- (Ustinov A.B. Nadpis’ i uzor: Mstislav Dobuzhinskiy v petrogradskom “Dome Iskusstv” // *Rhema*. 2020. No. 4. P. 49—134.)
- [Шруба 2004] — *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1800—1917. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

- (*Schruba M.* Literaturnye ob"edineniya Moskv i Peterburga 1800—1917. Moscow, 2004.)
- [Шульц 1997] — Шульц С. (мл.). Дом Искусств. СПб.: Алмаз, 1997.
- (*Shulz S. (young).* Dom Iskusstv. Saint Petersburg, 1997.)
- [Fitzpatrick 2002] — *Fitzpatrick S.* The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917—1921. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [Hickey 2009] — *Hickey M.W.* The Writer in Petrograd and the House of Arts. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2009.
- [Scherr 1977] — *Scherr B.* Notes on Literary Life in Petrograd, 1918—1922: A Tale of Three Houses // *Slavic Review*. 1977. Vol. 36. No. 2. P. 256—267.

Дарья Московская

От Союза Советских Республик к Союзу советских писателей:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛИЗИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1920—1930-х ГОДОВ¹

Darya Moskovskaya

From the Union of Soviet Republics to the Union of Soviet Writers:
The Institutional Collisions of the Production of Proletarian Literature in 1920—30s

Дарья Московская (ИМЛИ РАН, заведующая отделом рукописей; доктор филологических наук) d.moskovskaya@bk.ru.

Darya Moskovskaya (Dr. habil.; Head of the Manuscript Department, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences) d.moskovskaya@bk.ru.

Ключевые слова: пролетарская литература, национальная литература, советский писатель, массовый писатель, пролетарский писатель, попутчики, финансовый рынок, символический капитал, групповщина, автономия литературного поля

Key words: proletarian literature, national literature, Soviet writer, mass writer, proletarian writer, fellow writers, financial market, symbolic capital, groupism, autonomy of literary field

УДК: 316.7+821.161.1+930
DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_131

UDC: 316.7+821.161.1+930
DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_131

Образование Союза советских писателей произошло спустя двенадцать лет после создания Союза Советских Республик, что было обусловлено не прекратившейся в годы нэпа и первой пятилетки классовой борьбой в поле культуры. Победивший класс оставался культурно неразвитым и не мог претендовать на гегемонию в литературном процессе. Попытка объединения социально разных писательских групп пришлось на 1927 год, когда была образована Федерация объединений советских писателей. Начиная с 1924 года по 1928 год Всероссийская ассоциация также пытается объединить пролетарские республиканские ассоциации под своей эгидой. И хотя формально в 1928 году ее усилия увенчались успехом и была создана Всесоюзная ассоциация, этот результат не был нужен ЦК. Причины такой незаинтересованности коренятся в запросе на новую гетерономность литературного поля, появившуюся в годы первой пятилетки, достижение которой стало возможно после роспуска всех литературных группировок и создания в 1934 году по указке партии Союза советских писателей.

The formation of the Union of Soviet Writers took place twelve years after the Union of Soviet Republics, which was due to the class struggle in the field of culture that had not ceased during the years of the NEP and the first Five Year Plan. The victorious class remained culturally underdeveloped and could not lay claim to hegemony in the literary process. An attempt to unite the socially diverse writer's groups was made in 1927, when the Federation of Soviet Writers' Associations was formed. From 1924 to 1928, the All-Russian Association attempted to unite proletarian republican associations under its aegis. Although formally these efforts succeeded in 1928 and the All-Union Association was established, this result was not needed by the Central Committee. The reasons for this lack of interest were rooted in the demand for a new heteronomy of the literary field, which emerged during the years of the first Five Year Plan, the achievement of which became possible after the dissolution of all literary groupings and the creation, at the behest of the Party, of the Union of Soviet Writers in 1934.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00394 ««Стенограмма»: Политика и литература. Цифровой архив литературных организаций 1920—1930-х гг.». ».

Введение

Образование Союза советских писателей произошло спустя двенадцать лет после создания Союза Советских Республик. Причиной тому была не прекратившаяся после революции и только обострившаяся в период нэпа борьба в поле культуры. Пролетариат, низвергнув политическую власть «эксплуаторских классов» — дворянства и буржуазии, остался культурно придавленным, лишенным необходимой образовательной базы и творческих навыков для осуществления гегемонии как в руководстве государством, так и в литературно-художественном процессе. На многие советские десятилетия врагами «трудящихся масс» в запросе на интеллектуальную деятельность и художественное творчество оставались так называемые попутчики — интеллигенция с ее унаследованным благодаря воспитанию и классическому образованию правом на культуру. Незалеченный революцией раскол между двумя важнейшими для строительства социализма социальными слоями, один из которых представлял «производительные силы» страны, другой являлся ее интеллектуальной «надстройкой», был источником постоянного беспокойства для ЦК ВКП(б) и его генерального секретаря Сталина, отвлеченного от непосредственного руководства культурой фракционной внутрипартийной борьбой. Расширение Советской республики в 1922 году после вхождения в нее вновь образованных Закавказской федерации, Украины и Белоруссии лишь усложнило культурную политику, внося в организацию единого советского культурного пространства новые проблемы, связанные с межнациональными различиями и непреодоленной внутриреспубликанской классовой рознью.

Попытка внешнего, инициированного Отделом печати ЦК объединения социально и национально разных писательских групп пришла на 1927 год, когда была создана Федерация объединений советских писателей (ФОСП). С 1924 по 1928 год Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП), со своей стороны, также берет за объединение национальных писательских сил, руководствуясь наднациональным классовым лозунгом пролетарской культуры. И хотя формально в 1928 году эти усилия увенчались успехом и было создано Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП), результат этих усилий не был востребован ЦК: в политических стратегиях пролетарских писательских союзов сохранялась и культивировалась классовая автономия литературного поля, преодолеть которую было необходимо. Это и было сделано после роспуска всех литературных группировок и создания в 1934 году управляемого напрямую из Политбюро Союза советских писателей.

Столь долгое становление писательского «СССР» — предмет историко-литературного знания в той его области, которая рассматривает литературный процесс как продукт социальных, культурных, экономических и политических обстоятельств.

Коллизия первая, обнаруживающая неактуальность общесоюзной советской культуры в условиях, когда победивший класс остался «культурно придавленным»

Уже в 1913 году В.Л. Львов-Рогачевский приветствовал выдвижение пролетариатом *собственной* стойкой, сильной *интеллигенции*, которая «вышла из массы, а не пришла в массу»². Пророчествуя, он видел в предреволюционном явлении неказистой поэзии и публицистики писателей-самоучек не гибель культуры, а ее «новую черту». В 1919 году во взрыве «творческих сил среди тех, которых называли “низами”», Рогачевский прозревал подлинно *исторический поворот*³. Социалистическая революция подтвердила его догадки: будущее рабоче-крестьянской власти в конечном счете определял культурный уровень трудовых классов. Пролетарские литературные объединения, вобравшие в себя «широкие массы культурно растущих слоев рабочего класса и крестьянства»⁴, а с ними комсомольских и партийных функционеров, отвечали духу переходного времени, когда победивший класс требовал на деле обеспечить свое «право на культуру». Борьба за осуществление гегемонии пролетарской культуры (ибо, как утверждал в мае 1924 года Ю. Либединский, «до сих пор мы писали и пишем на чужом языке»⁵) с новым способом культурного производства, разрушающего «ценности и дискурсы, привычки и пространство повседневности» и утверждающего «новые способы осмысления, привычки и жизненные формы» [Джеймисон 2014: 58], — одна из ключевых коллизий, образовавших цепочки связей и разрывов, схождения и развилки, которые, с одной стороны, неумолимо вели к объединению всех социальных слоев страны в *советской* культуре, с другой — препятствовали этому единению.

Набросав в 1923 году в предисловии к «Литературе и революции»⁶ схему современной литературы, Л. Троцкий представил ее в виде двух течений: 1) обреченной на гибель внеоктябрьской, дворянско-буржуазной литературы и 2) «*советской*», демонстрирующей творчество «перелицовывающей себя соответственно новой социальной обстановке» мелкобуржуазной интеллигенции — «попутчиков революции». Пролетарской литературе в этой схеме места не нашлось. Идеолог перманентной революции отводил пролетариату роль разрушителя политических и идеологических структур уходящего строя и строителя экономического базиса для культурной надстройки бесклассовой будущей: «Для искусства нужно довольство, нужен избыток, — пояснял он. — Нужно, чтобы жарче горели доменные печи, шибче вращались колеса, бойчее двигались челноки, лучше работали школы»⁷. И потому Троцкий игнорировал факт существования литературы пролетариата как класса, тем более что в первые годы нэпа она действительно — особенно проза — еще очень слабо о себе

2 Львов-Рогачевский В.Л. Снова накануне. М.: Кн-во писателей в Москве, 1913. С. 162.

3 Львов-Рогачевский В.Л. Поэзия новой России: Поэты полей и городских окраин. М.: Кн-во писателей в Москве, 1919. С. 5.

4 [От редакции] // На литературном посту. 1928. № 2. С. 2.

5 Отдел рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ОР ИМЛИ). Ф. 155. Ед. хр. 3. Л. 1.

6 Троцкий Л.Д. Литература и революция. 1923 год // <https://knigogid.ru/books/910495-literatura-i-revoluciya/toread> (дата обращения: 20.05.2022).

7 Там же.

заявляла. В это время на литературной арене блистали писатели, начавшие публиковаться до революции, в большинстве своем выходцы из слоев интеллигенции. 5 февраля 1920 года был учрежден Всероссийский союз писателей (ВСП) во главе с Абрамом Эфросом, собравший в своем правлении М. Гершензона, Г. Шпета, Н. Бердяева, Ю. Балтрушайтиса, заявили о себе аполитичные «Серапионовы братья»; в обеих столицах свободно издавались сменовеховские литературно-художественные журналы. Что касается пролетарской литературы, то в эти годы она изживала свое пролеткультовское прошлое. Новый этап в ее истории был ознаменован образованием осенью 1922 года комсомольских пролетарских групп «Молодая гвардия» и «Октябрь». В 1924 году ими был обновлен ВАПП, потерявший свою пассионарность в 1922 году и готовый раствориться в попутчиках. В недрах ВАПП был выношен первый журнал марксистской критики «На посту», целиком посвященный борьбе за гегемонию пролетарской литературы на литературном фронте. «Напостовству» предстояло окончательно освободить проект пролетлитературы от организационной и идеологической бесформенности, провозгласить классовый сепаратизм и нонконформизм, которые все годы существования будут определять лицо ассоциации как частной корпорации, предложившей себя на службу партии.

В отличие от всех других литературных институций, включая ЛЕФ и конструктивистов, творческая программа пролетарских институций интерпретировала литературное творчество в его связях с классовой идеологией, с идеей массовости, интерпретируемой как коллективизм: «Смело в “Кузнице” куем / Нашу волю, мысли, чувства: / Пролетарское искусство / Коллективно создаем»⁸, — писал Н. Дегтярев в 1920 году. Эта программа определила «генетический код» ВАППа:

Мы объединяемся и строим вместе нашу организацию потому, что мы считаем себя пролетарскими писателями. Мы исходим из общественно-идеологической установки писателя. <...> ...мы знаем, что, имея дело с новым классовым содержанием, мы получим и новую форму и новый подход к художественной литературе⁹.

Однако в первые годы нэпа появление новых, собственно пролетарских художественных форм было маловероятно: на рынке литературного производства победивший класс, выработав «себе великолепное идеологическое оружие политической борьбы», оставался «культурно придавленным», без навыков творческой деятельности, без «своей особой художественной формы, своего стиля», — как констатировала в 1925 году Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»¹⁰. В то же время «культурная придавленность» класса-победителя открывала Всероссийской ассоциации перспективу представить себя в роли единственного воспитателя и просветителя трудящихся СССР¹¹. Массовые и многонациональные ВАПП (в 1924 году

8 Дегтярев Н. Кузнецы // Кузница. 1920. № 1. С. 8.

9 Авербах Л. Творческие пути пролетарской литературы // На литературном посту. 1927. № 10. С. 9.

10 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВ о культурной политике. 1917—1953. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. С. 53—54.

11 Подробнее см.: [Московская и др. 2022].

ВАПП включал Латышскую, Армянскую, Азербайджанскую секции¹²; тогда как Белорусская и Всеукраинская АПП существовали автономно от ВАПП) и Московская ассоциация (МАПП) составили яркий контраст «Перевалу», попутническому ВСП и даже «Кругу». МАПП целиком состоял из рабкоровских и юнкоровских литературных кружков, образованных в том числе на национальных территориях РСФСР. Члены этих кружков, рабочие от станков, участвовали в конференциях ВАПП с правом решающего голоса.

Между тем глава попутчиков Воронский также взял курс на культуртрегерство — расширение своего влияния среди пролетарского писательского молодняка. «Перевал» переманил к себе талантливых Артема Веселого, Алексея Костерина и других и добился немалых успехов: журнал «Красная новь» и издания писательской артели «Круг» пользовались спросом. Генеральный секретарь ВАПП Л. Авербах утверждал, что «Перевал» как «группа» был создан «Воронским для борьбы с ВАППом»¹³. В этом была немалая доля правды. В мае 1922 года решением Оргбюро ЦК Воронский был назначен заместителем Н. Мещерякова — руководителя политотдела Государственного издательства и председателя редколлегии последнего, в ведении которого оказалась гражданская цензура: иначе говоря, в руках Воронского сосредоточились значительные материальные, идеологические и властные ресурсы. Усиление Воронского не способствовало поддержке массового непрофессионального пролетарского писателя. Как свидетельствовал Родов:

В <19>22 г. ... ни один литературно-художественный журнал Москвы, а вы знаете, что отсюда начинается борьба, не оставался без непосредственного руководства Воронского или без его контролирующего влияния. Контролирующие организации были в руках Воронского, и он направлял эти журналы и издательства <...>... у ВАППа было абсолютное отсутствие средств¹⁴.

Творчество кружковцев-рабселькоров не интересовало издателей и не привлекало читателей, вследствие чего ВАПП был более чем склонен к грубому «заушанию» своих противников, что прочно закрепилось в его литературных практиках. Родов вспоминал, как шла борьба за первый пролетарский журнал марксистской критики в 1923 году:

После конференции (Первой Московской конференции пролетписателей, прошедшей в мае 1923 года. — Д.М.) Б<убнов> нас вызывает и предлагает мне и Лелевичу: «Постарайтесь договориться с Воронским». Я должен сказать, что ни я, ни Лелевич, ни Безыменский Воронского тогда еще не знали. И вот мы отвечаем: «Пожалуйста». Мы договорились с Вардиным — он еще не знал об этой борьбе, а он был заведующим подотделом Печати ЦК РКП. Приглашаем на небольшое заседание Воронского. Был там Авербах, редактор в «Молодой гвардии». Лелевич берет слово и заявляет, что ему предложено договориться о делах. Воронский прочитал тезисы, положил на стол и заявил: «Нет, пока я редактор “Красной нови”,

12 В Белоруссии и Украине существовали автономные пролетарские секции.

13 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 131. Л. 10.

14 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 46. Л. 10—11. Здесь и далее при цитировании архивных документов применяются нормы современной пунктуации и орфографии, исправляются стилистические ошибки, многие из которых связаны с описками машинисток или стенографисток.

до тех пор этого не будет». И на этом разговор был окончен. <...> И вот начинается эпоха «На посту»¹⁵.

Статистика отдела печати ЦК РКП(б) показывает, что к 1925 году в РСФСР насчитывалось 970 частных и государственных издательств, издававших в первую очередь иностранную литературу, на которую приходилось 38% изданий, затем русскую классику — 13% изданий и попутчиков — 36,5% изданий. Крестьянская и пролетарская литература довольствовалась всего 12% от общей массы книг¹⁶. В издательском отношении она была изгоем. Как свидетельствовал А. Серафимович: «Нам не давали печататься, и тогда мы шли с рукописями на заводы... и завоевали рабочего читателя»¹⁷. Появление в этих обстоятельствах «На посту» было действительно переломным моментом на литературном фронте. Политредактором журнала по направлению ЦК трудился заведующий подотделом печати отдела агитации и пропаганды РКП(б) и один из организаторов ВАПП И. Вардин, что служило отчасти «охранной грамотой» идеологическим активностям ВАПП. Тем не менее не решенный в пользу ВАПП финансово-организационный вопрос оставался частью болезненной проблемы политического веса ассоциации, коррелирующей с ключевой для ВАПП задачей перевода культурной революции с условно эстетических позиций на рельсы идеологической борьбы с буржуазно-интеллигентским инакомыслием и последующим привлечением внимания ЦК к отвергнутому Лениным и Троцким проекту пролетарской культуры.

Таким образом, в первые годы нэпа, когда главной задачей государства было сплочение просоветски настроенных сил для восстановления народного хозяйства и ликвидации безграмотности, когда объединение писателей сменеховской ориентации рассматривалось как помощь партии в агитационно-пропагандистской работе среди выжидающих интеллигентов как внутри страны, так и за рубежом, литература превратилась в арену раздора между ВАПП и попутчиками, наследниками культурных традиций прошлого, что обеспечивало последним доминирование в социальном поле, то есть там, где политические и властные полномочия формально были закреплены за представителями необразованной трудовой массы.

Коллизия вторая, вызванная тем, что организационная активность ВАПП не обеспечивалась поддержкой ЦК

Чтобы нейтрализовать высокую символическую и рыночную стоимость писательского профессионализма и вести независимую издательскую политику, ВАПП была жизненно необходима отчетливо артикулированная поддержка политического центра. Ее не было в мае 1924 года, на который пришлось обновление ВАПП: на заседании фракции РКП и комсомола пленума Правления ВАПП представитель Отдела печати ЦК РКП заявил, «что Отдел печати снимает с себя всякую ответственность за решения Пленума» как не согласованные с ЦК¹⁸.

15 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 46. Л. 8—9.

16 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 48. Л. 26.

17 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 46. Л. 21.

18 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 3. Л. 2.

Не было этой поддержки и год спустя на январском Всесоюзном совещании (конференции) пролетарских писателей в 1925 году, хотя на совещании в ЦК 9 мая 1924 года давление «напостовцев» носило неприкрыто агрессивный характер¹⁹. Закономерно, что вопрос об отношении ЦК к литературному курсу ВАПП волновал собравшихся, и Вардину пришлось выступить с комментарием:

Как обстоит с этим вопросом в ЦК? В ЦК в этом вопросе не разобрались, но все должно было подсказать вам, кому сочувствует ЦК. Конечно, все сочувствие ЦК на нашей стороне. Но официально ЦК еще сторону свою формально не выявляет. Я уже указал на неоднократные факты, которые говорили о том, что в ЦК имеется в этом отношении линия менее благоприятная для Воронского и более благоприятная для нас. <...> Так что вы не поддавайтесь действиям отдельным шептунов и смотрите на то, какую линию фактически ведет представитель Отдела печати тов. Нарбут на нашей конференции²⁰.

Однако на деле отношение ЦК и Политбюро к ВАПП оставалось непроясненным на протяжении всех 1920-х годов. Это объяснялось, как считает К. Аймермахер, прагматическим подходом: партия не только жестко боролась с политическим противником, но также искала союзников среди интеллигентов, поддерживая тех из них, кто был настроен доброжелательно [Аймермахер 1998: 63]²¹. Институционализация такого явления, как писатель-интеллигент сменовеховской ориентации, симпатизант советской большевистской России, была неизбежна, что подтверждает появление в 1921 году первого толстого *советского* журнала «Красная новь», который, как справедливо пишет Р. Магуайр, был открыт «для благожелательных, но целенаправленных коммунистических указаний» [Магуайр 2004: 53]. Утверждение в 1922 году на заседании Агитпропа *беспартийного* Общества писателей и поэтов — писательской артели «Круг» — обеспечивало, по словам Воронского, возможность «сплочения близко стоящих к нам писателей» и перспективу в условиях свободной торговли «повести идейную борьбу на книжном рынке» [Поливанов 1993: 5].

В политико-экономических обстоятельствах нэпа «пролетарам» (самоназвание пролетарских писателей) нужно было занять командные высоты в коммуникации с читателем, расположить его к себе. Для этого, как рекомендовал на указанном совещании представитель подотдела печати ЦК Вл. Нарбут, «прежде всего нужно овладеть всеми существующими издательствами в области художественной литературы», внедрив в редакции «своих людей», таких, например, как Ф. Раскольников, Д. Бедный, Д. Фурманов, Ф. Жига и др.: количественный перевес пролетарских критиков обеспечит продвижение на книжном рынке пролетарской продукции и обратит гонорарную политику издательств в пользу вапповского творчества. Как сообщил Нарбут, обычная цена за лист колебалась от 70 до 100 руб., но «40 рублей — это нищенская плата», и «я тут слышу (речь идет о записках из зала. — Д.М.), говорят — 15 руб. <...> Попуччикам в Госиздате платят много: так, Бабелю — 250 р. за лист, Сейфул-

19 От редакции [Белая Г.А.] «О политике партии в художественной литературе». Материалы совещания в ЦК РКП(б) 9 мая 1924 года // Вопросы литературы. 1990. № 3. С. 154–187.

20 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 49. Л. 11.

21 С другой стороны, нэповские новобуржуазные интеллектуальные издания сильно обеспокоили власть, и она перешла к решительным контрдействиям.

линой — 250 р. за лист, Маяковскому — 2 руб. за строку (в то время как обычная плата — 50 коп.), а Маяковский пишет, как читает — за строку считает слово»²².

Докладные записки в Отдел печати ЦК с политическими доносами на попутчиков стали одним из ведущих жанров коммуникации ВАПП с политической властью страны. В 1926 году в очередной докладной секретарь комфракции Б. Горбатов жаловался:

В литературной критике процветает все что угодно, кроме четкой ортодоксально-марксистской идеологической линии. В то же время такие факты, как одинаковое финансирование Совнаркомом ВАППа и «Круга», подрывают у нас убежденность в важности нашей работы. ВАППу, имеющему организации во всех губерниях и на всех крупных предприятиях Союза, дается столько же денег, сколько и «Кругу», издательству тех групп писателей, которые и без того по большей части могут найти издателей²³.

Двойственность позиции ЦК сохранялась и после триумфального открытия под эгидой ВАПП уже упомянутого Всесоюзного совещания (конференции) ассоциаций в январе 1925 года, на который прибыли делегаты со всего СССР и были представлены «все направления, все течения пролетарской литературы и все объединения всех национальностей, населяющих СССР»²⁴. Эта двойственность явила себя в определении идеологических промахов Воронского, которое предложил Сталин, курировавший в те годы Отдел печати ЦК, на встрече с делегацией ВАПП 2 февраля 1925 года: Воронский, дескать, не водит попутчиков, а лишь «водим» ими²⁵.

Дело в том, что пролеткультовское прошлое ВАПП было отмечено политической неблагонадежностью. Пролеткульт был санкционирован профсоюзами, требовавшими права на участие в решении политических и государственных вопросов. Первая Всероссийская конференция пролетарских культурно-просветительных организаций в 1918 году поставила вопрос о *боевом союзе* пролетписателей, ибо пролетарская культура мыслилась ими как «новая самостоятельная форма борьбы пролетариата с буржуазией»²⁶. Наркомат просвещения, по мнению участников конференции, не мог решить задач культурного строительства в стране победившего пролетариата, так как он «обслуживает все население, все слои государства»²⁷, и потому проведение им или с его помощью «строго классового взгляда сталкивается с затруднениями»²⁸. Унаследованное от пролеткультов на генетическом уровне стремление получить эксклюзивное право на обслуживание культурных интересов трудящихся масс стало определяющим в отношениях руководства ВАПП как с Наркомпросом, так и с ЦК. В 1924 году на майском Пленуме правления ВАПП пролеткультовский по духу тезис, что «партия не может уже в дальнейшем курировать вопросы художественной литературы, поскольку эти вопросы сложны, новы и не разрабо-

22 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 48. Л. 52.

23 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 129. Л. 6.

24 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 38. Л. 1.

25 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 74. Л. 2—3.

26 Протоколы Первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций, 15—20 сентября 1918 года / Под ред. П.И. Лебедева-Полянского. М.: Пролетарская культура, [1918]. С. 6.

27 Там же. С. 27.

28 Там же. С. 28.

таны», повторит с мягкими оговорками Вардин²⁹: ВАПП осторожно, но последовательно отодвигал партию от руководства культурным строительством.

После подавления в феврале — марте 1926 года на пятой конференции МАПП и Чрезвычайной всесоюзной конференции ВАПП крайне левого, заупастьельского напостовского крыла, обвиненного в участии в «новой оппозиции», обновленное бюро комфракции ВАПП рассудительно искало поддержку не в Наркомпросе, где нашел себе пристанище разбитый Пролеткульт, а в Отделе печати ЦК. В очередной докладной записке в адрес Отдела печати партийная верхушка ВАПП предлагала себя в качестве исполнительного коллегиального органа ЦК — комиссии, определив для себя фронт работ по идеологическому цензурированию литературной продукции и предполагая охватить ею художественную литературу, выходящую в государственных, в том числе партийно-советских, и в частных, в том числе эмигрантских, издательствах. Не ограничиваясь книгоизданием, она хотела включить в круг идеологического надзора также всю газетную и журнальную периодику от Москвы до Тифлиса, поставить на контроль текущие библиографические обзоры, литературные хроники и даже литературоведческие штудии. Одним словом, ВАПП видел себя единственным оператором всесоюзного литературного процесса. Одновременно он требовал от Отдела печати для себя особого отношения — функционеры ВАПП бдительно охраняли институциональные границы: «Мы говорили, что будем срабатываться с Отделом печати ЦК. Но нужно суметь нас заставить идти на согласие. Должны быть уступки и с той, и с другой стороны»³⁰.

Таким образом, организационная активность и политическая самостоятельность, которой отличался разгромленный Лениным Пролеткульт и наследовавший ему ВАПП, скорее диктовавший свои условия Отделу печати ЦК и манипулировавший им, чем выполнявший его указания, не увеличивали шансы пролетарской ассоциации стать организатором и руководителем всесоюзного литературного процесса.

Коллизия третья, вызванная конкуренцией на книжном рынке, мешающей созданию разносословной многонациональной советской литературы

Известное суждение о том, что изгибы и повороты литературной борьбы 1920—1930-х годов повторяли виляющую в борьбе с оппозицией «генеральную линию» партии, можно уточнить соображениями институционального самосохранения: изгибы и повороты были следствием острой конкуренции на рынке литературного производства. Зигзагоподобные «маркетинговые» ходы ВАПП от альянсов с ЛЕФОм и Литературным центром конструктивистов против Воронежского до попыток автономизации поля пролетарской литературы с отказом от федерирования, сменившихся чрезвычайной активностью по созданию ФОСП, объясняются ясным пониманием, что в условиях рыночной экономики главным признаком гегемонии на литературном фронте может быть только читаемость произведения («главенствующее влияние на читательскую массу»),

29 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 54. Л. 7—8.

30 Там же. Ед. хр. 125. Л. 39.

«преобладающий спрос» и проч.)³¹, обеспечить которую в конкуренции с профессиональными писателями ВАПП не мог: по справедливому замечанию Э. Брауна, «попутчики по своему образованию, общей культуре и художественным достижениям намного превосходили борющихся пролетариев (пасынков культуры)» [Brown 1953: 49]. Одержать победу над законными ее наследниками можно было лишь политико-идеологическим оружием.

Инициатива создания ФОСП исходила от ВАПП, поддержанного Отделом печати, и была ответом на Резолюцию ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», призывавшую к объединению на советской платформе основных писательских союзов. Организационно-оформительский этап занял период с 10 декабря 1926-го по 21 ноября 1927-го, юбилейного для советской власти года, когда состоялось торжественное открытие ФОСП. Одновременно совершилось другое важное событие — съезд «друзей России», зарубежных революционных писателей, которые собрались 15 ноября тоже в Москве на Первой Международной конференции пролетарских и революционных писателей (МОРП). Главным достижением конференции МОРП было установленное ею «организационное начало»: связь МОРП с ФОСП и курирование ФОСП МОРП через учреждаемые журналы «Вестник иностранной литературы» (1928—1930) и «Литература мировой революции» (1931—1932 годы), которые должны были работать в «глубоком контакте с ФОСП». Эти два торжественных форума, следовавшие один за другим с интервалом в шесть дней, манифестировали наступление желаемого партией нового этапа в советском литературном процессе, суть которого состояла в преодолении социальной классовой розни между интеллигенцией и пролетарями, в том числе и в сфере международного и межнационального взаимодействия. Эти установки и ожидания нашли отражение в речи наркома просвещения А. Луначарского на торжественном открытии ФОСП:

...нельзя отрицать того, что наша литература довольно разнолика. <...> Это не может не определять собой, говоря даже с чисто теоретико-социологической точки зрения, разные тенденции, линии, которые идут в несколько различные стороны. <...> ...у нас есть писательские группы, выросшие в других условиях и отражающие в некоторой степени предыдущую эпоху... если это неизбежно, то и неплохо. <...> ...было бы плохо, если бы при наличии в стране различных прослоек в литературе получилась бы монотонность, ибо это значит, что какая-то прослойка осуждена на молчание. <...> ...литература должна отражать в рамках этой общей симпатии к социалистическому строительству весьма различные оттенки. <...> Это делается само собой и не должно нас пугать. Но положение вещей может идти в разные стороны, если не к большему единству, то к большей сплоченности...³²

Иначе смысл федерирования виделся комфракции ВАПП. За год до официального открытия ФОСП она предложила Отделу печати собственное видение организационного устройства и политических оснований единства федерации:

Нужно сделать ударение на том, что работа по созданию из ФСП *подлинного центра всей советской литературы* имеет своей предпосылкой еще большую

31 Авербах Л. Культурная революция и современная литература // На литературном посту. 1928. № 13—14. С. 8.

32 ОР ИМЛИ. Ф. 51. Ед. хр. 3. Л. 5—6.

организационную и *политическую крепость организаций пролетписателей* (курсив мой. — Д. М.). В данное время сообразно этому правление ВАПП проводит проработку платформы по всем ассоциациям пролетписателей. <...> Мы должны заявить отделу печати ЦК, что, как правило, в большинстве нацреспублик далеко не всегда уделяется должное внимание пролетписательским организациям, что практика на местах далеко не всегда приведена в соответствие с резолюцией ЦК (речь идет о Резолюции 1925 года, интерпретированной ВАППом в свою пользу. — Д. М.). Подчеркивая необходимость сугубой осторожности в литературной политике в нацреспубликах, специально учитывая особенно трудную обстановку, мы принуждены, однако, констатировать, что именно в нацреспубликах следует обратить внимание на то, что резолюция ЦК не положена там в основу работы. Особенно угрожающее положение создается в настоящее время в Закавказье и на Украине. В Армянской ССР существует АПП, организационно входящая в ВАПП и являющаяся самой сильной литературной организацией в Армении, как в творческом отношении, так и в смысле связи с армянскими рабочими массами. Однако целый ряд ответственных работников настаивает на том, чтобы эту организацию слить с организацией попутчиков «Ноябрь», и когда наши товарищи против этого хотят протестовать в печати, им не дают возможности этого сделать. Еще худшее положение мы видим в Грузии, где при попустительстве закавказских воронских создается единая «внеклассовая» организация писателей и где ассоциацию пролетарских писателей Грузии хотят превратить в придаток реакционнейшей феодально-буржуазной грузинской литературы. На Украине распалась, хотя организационно и программно с ними не связанная, но массовая и сильная организация «Гарт», причем верхушка этой организации, проникнутая националистическими предрассудками, кроме связи с украинской внутренней и внешней эмигрантщиной, прикрывалась именами некоторых влиятельных украинских коммунистов, очевидно неправильно разобравшихся в вопросе, противопоставила себя массовому пролетлитературному движению Украины, создав ВАПЛИТЕ (Вольная академия пролетарской литературы). Идеологическую вредность этой группировки можно в любой момент иллюстрировать материалами ее полемических работ. Мы считаем, что ЦК должен поставить перед ЦК национальных республик вопрос об организационных выводах из резолюции ЦК от 1 июля³³.

В заключение автор записки убеждал ЦК передать ВАППу как «по-большевистски настроенной массовой пролетлитературной организации» право проводить в ФОСП «политику руководства и обработки попутчиков»; просил также дать указание «всем т.т. коммунистам, руководящим органами советской печати, пересмотреть линию в духе резолюции ЦК на недопустимость травли нашей пролетарской организации»; «специально разработать вопрос о литполитике нацреспублик, для чего созвать совещание по вопросу о нацлитературах»; «немедленно же указать отделам печати Закавказья и Украины на необходимость... поддержки пролетписателей и их организаций»³⁴.

Итак, несмотря на следующий из резолюции «О политике партии в области художественной литературы» и озвученный Луначарским призыв к объединению всех писателей страны Советов с сохранением социальных и нацио-

33 Речь идет о Резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года, которая была опубликована в «Правде» и «Известиях» 1 июля 1925 года, см.: ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 129. Л. 3—4.

34 Там же. Л. 8.

нальных отличий при общей симпатии к социализму, ВАПП мыслил ФОСП как объединение *пролетарских сил* всех национальных республик, руководство над которым взяло бы на себя политическое ядро пролетарской ассоциации. Стратегические планы ВАПП были для всех очевидны: документы показывают, что ленинградские попутчики из ВСП, первыми выступившие с поддержкой идеи Федерации, отныне были против вступления в ФОСП³⁵.

Образование ФОСП было уже не первой с момента образования СССР иницизированной ЦК и осуществляемой его Агитпропом попыткой создания единой разносторонней многонациональной советской литературы.

Первым опытом такого рода была уже упомянутая артель писателей «Круг».

Мысль, что «Круг» был прообразом ФОСП, принадлежит редакции журнала «На литературном посту», писавшего в 1928 году:

Первоначально на «Круг» были возложены примерно те же задачи, которые сейчас осуществляет... Федерация. «Круг» должен был... объединить советских писателей и... обеспечить связь их с пролетарской общественностью. Однако, вследствие крайне правой позиции Воронского, Федерация, по существу говоря, возникла в противовес «Кругу», для того чтобы, учтя ошибки воронщины, *по-новому объединить советских писателей* (курсив мой. — Д. М.)³⁶.

Изучивший историю артели К. Поливанов нашел другую аналогию. По его мнению, в «Круге» были «сформулированы те принципы руководства литературой и литераторами, которые спустя десять лет легли в основу организации одного из монструозных порождений большевистского режима — Союза советских писателей» [Поливанов 1993: 5]. Той же точки зрения придерживался Б. Фрезинский, писавший, что усилия «литературных вождей» по объединению преданных советскому режиму писателей то под эгидой ВСП, то путем создания нового беспартийного Общества развития русской культуры или «Круга» представляли «вариант организации тотального контроля в литературной сфере, причем административная природа и незакамуфлированная конкретность этих предложений поневоле обращают память к соответствующим страницам Замятина и Орвелла» [Фрезинский 2008: 77].

И все же выстроенные таким образом цепочки уподоблений «Круга» — ФОСП и «Круга» — Союзу писателей СССР требуют разобраться в отличиях этих одинаково инструментальных литературных институций. «Круг» объединял в артель (цех, трест) лояльных советской власти и партии (но беспартийных) писателей-одиночек, пренебрегших своей институциональной принадлежностью, — особенность, для которой нашел точное определение Ю. Либединский: «“Круг” был сборным месивом из обломков всех групп»³⁷; в то время как в ФОСП слились мощные и независимые в финансовом отношении литературные организации с продуманными эстетическими программами, способные вести независимую политику и остро ставившие вопрос о принципах федерирования *как вопрос о своих правах и свободах*. Вот почему подготовительный этап создания ФОСП занял год, с 10 декабря 1926 года, когда начались собрания представителей организаций-учредителей с обсуждением устава и регламента Федерации, по 21 ноября 1927 года, когда наконец состоялось тор-

35 См.: ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 135. Л. 37.

36 Передовая // На литературном посту. 1928. № 11—12. С. 1.

37 Либединский Ю. К вопросу о личности художника // На посту. 1924. № 1. С. 69.

жественное ее открытие. Все это время продолжалась болезненная дискуссия об организационных принципах будущего объединения. Подобная атмосфера не могла обеспечить ни единства литературных потоков, ни управления ими, если такую цель действительно хотел реализовать ЦК, занятый в то время внутренними политическими разборками, или пытался осуществить, согласно своему функционалу, Отдел печати.

ФОСП не был похож на «Круг» в силу своей федеративной природы, не был он и прообразом Союза советских писателей, так как не стал *прямым* инструментом партии в управлении литературой. Код поведения Федерации в поле культуры определялся Постановлением ЦК от 23 августа 1926 года «О работе советских органов, ведающих вопросами печати», предписавшим Отделу печати проводить партийные директивы через комфракции издательств и писательских союзов. 4 марта 1927 года была создана комфракция ФОСП во главе с секретарем ВАПП А. Фадеевым, даже после разгона Ассоциации в 1932 году декларировавшим верность своей литературной, а не партийной группировке³⁸. Заседания комфракции ФОСП, где верховодил ВАПП, стали площадками, на которых отныне оформлялись идейно-политические задачи и литературные практики Федерации, весомость которых подкреплялась 57-й статьей Уголовного кодекса РСФСР о «контрреволюционном действии». Дело Пильняка-Замятина позволило ВАПП от имени ФОСП потребовать проведения совещания в Отделе печати и чистки рядов ВСП: «Разрушать ВСП не имеет смысла. Нужно изменить его, — считал Авербах, — дискредитируя нынешнее руководство, привлекая к этому левых попутчиков и сплачивая их вокруг себя»³⁹. Решением комфракции ФОСП старое руководство ВСП 5 сентября 1929 года было расформировано, а сама организация переименована, став ВССП, Всероссийским союзом советских писателей. Дело Пильняка-Замятина и проверка Ленинградского отделения ФОСП позволила комфракции поставить вопрос об отмене права «вето» организаций-учредителей, упростить структуру ФОСП, заменить Президиум Совета Федерации на Исполбюро и приступить к обслуживанию органов ФОСП.

Таким образом, в годы нэпа вместо ожидаемого Наркомпросом и поддерживаемого Отделом печати ЦК федеративного союза советских писателей, где главным органом управления являлся бы Совет представителей равноправных членов, ВАПП навязал ФОСП структуру партийного типа, где идеологическое, а с ним и организационное руководство осуществляла комфракция, возглавляемая представителями ВАПП.

Коллизия четвертая. Между демократическим централизмом и федеративностью

Вопрос о создании многонационального писательского объединения встал впервые в 1925 году на январском Всесоюзном совещании (конференции) пролетарских ассоциаций. Тогда организационно-идеологическое основание для

38 Ср. слова Фадеева: «Я... старый рапповский волк, и меня видели в литературных драках, и я эту линию провожу и буду проводить неуклонно» (ОР ИМЛИ. Ф. 41. Ед. хр. 14. Л. 28).

39 ОР ИМЛИ. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2.

объединения было сформулировано представителем Отдела печати Вл. Нарбутом, который отметил, что предыдущий период был

периодом кружковым, периодом собирания пролетарских писателей. Сейчас мы после нашего всесоюзного совещания обращаемся в массовую организацию, в массовую и самостоятельную организацию *пролетарских писателей СССР* (курсив наш. — Д. М.). Раньше работа была проделана, так сказать, вчерне. Подводя итоги, получаем базу, получаем тот стержень, вокруг которого в дальнейшем будет вращаться вся работа художественной пролетарской литературы⁴⁰.

И все же на Всесоюзном совещании 1925 года при наличии поддержки Отдела печати ЦК попытка объединения национальных литератур под знаком «пролетарскости» и под эгидой Всероссийской ассоциации не удалась: национальные различия оказались сильнее классового принципа. Представитель украинского «Гарта» и белорусского «Маладняка» не приняли ВАПП в качестве руководящего центра:

<ВАПП> решил, что он может назвать себя всесоюзной организацией, он решил, что он может созвать всесоюзное совещание, он решил, что он может не считаться с «Гартом», с белорусской организацией, с такими организациями, которые представляют из себя пролетарскую литературу, но не в русской, а в украинской и белорусской форме. Мы в этом видим также еще не скрытые старые тенденции великодержавные. ВАПП решил созвать съезд — и конченное дело.

<...> Если будет организован «Всесоюзный центр пролетарских объединений», то получится старый Пролеткульт, который себя не оправдал и который только будет мешать в работе отдельным республиканским ассоциациям, что будет отражаться на развитии пролетарской культуры в национальных формах, и поэтому мы против единого центра. <...> Какая-то организация, несомненно, должна быть, я не буду говорить о форме ее сейчас, но думаю, что какая-то связь между ассоциациями отдельных республик должна быть. <...> ...но это не будет единой организацией, центральным комитетом. На это... мы не пойдем⁴¹.

Совещание, в открытой борьбе и с использованием различных подтасовок объявленное ВАПП *конференцией*, с тем чтобы придать легитимность результатам голосования, так и не привело к объединению всесоюзных пролетарских сил. Родов констатировал:

Всесоюзная конференция наметила лишь общие организационные контуры, лишь общие рамки, в которые нужно вложить конкретное содержание. Конференция дала нам основные директивы, от которых мы не можем отступать, но нам необходимо считаться с целым рядом особенностей — национальных, местных и проч.⁴²

Вопрос о принципах объединения сильных и независимых писательских союзов оказался по-новому важен в 1927 году, после создания ФОСП, когда на май-

40 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 39. Л. 19.

41 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 38. Л. 3. Из выступления одного из украинских делегатов: «Товарищ Лелевич, если вы не хотите быть великодержавным шовинистом, вы не имеете права бросать нам “петлюровцы” (Шум в зале). <...> Тут похлопывание по плечу — разве это отношение... разве это не ликвидация всякой самостоятельности?» (Там же).

42 Родов С. Организационные вопросы пролетарской литературы // На посту. 1925. № 1. Стб. 95.

ском Пленуме Ассоциации встал вопрос о тактике национальной политики ВАПП. Свою задачу в год 10-летия советской власти ВАПП сформулировал как обеспечение гегемонии пролетарской литературы на всесоюзном фронте и вновь выдвинул себя в качестве главного организатора процесса. Обсуждение тогда вылилось в острую дискуссию по вопросу об организационном строении ассоциации.

Авербахом был жестко отвергнут предложенный рядом делегатов от нацреспублик *федеративный* принцип, предполагающий союз, куда наряду с Грузией, Украиной, Белоруссией ВАПП входит на правах одного из федерирующихся членов. Генеральный секретарь требовал для ВАПП управляющих директивных функций: «ВАПП — пролетарская организация и в большей степени направлена на единство, а не к федерализму»⁴³. Довод украинской делегации, что для национальных культур политическим куратором являются местные партийные комитеты, подчиняющиеся ЦК, оказался неразрешимой проблемой⁴⁴.

ВАПП попытался вновь решить задачу объединения национальных республиканских пролетарских литератур в 1928 году при создании ВОАПП — Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей. Это произошло 30 апреля — 8 мая 1928 года в Москве на Всесоюзном съезде пролетарских писателей, собравшем представителей 30 национальностей из созданных ВАПП за эти годы национальных ячеек.

Дискуссия о принципах объединения протекала в двух основных руслах. Первое — сохранение приоритета пролетарской классовой литературы над литературой дворянско-буржуазной (националистической), социально чуждой, для чего требовалась кардинальная переработка культурного наследия прошлого. Сославшись на речь Ленина на XI съезде партии, где тот предупреждал, что завоеватель может оказаться завоеванным культурно более развитым побежденным, Авербах призывал, строя социализм и развертывая пролетарскую культуру, «помнить о тех опасностях перерождения, на которые указывал Ленин»⁴⁵.

Вторым направлением дискуссии стал вопрос о принципах объединения ВАПП с республиканскими пролетарскими ассоциациями. Здесь также возникло несколько затруднений. Одно состояло в том, что ожидаемая резолюция Съезда о содействии развитию пролетарской литературы народов СССР может войти в противоречие с руководящими директивами собственного национального партийного органа, например Пленума ЦК Украины, и с постановлением

43 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 199. Л. 178.

44 Заметим здесь, что, несмотря на сопротивление республиканских ассоциаций, ВАПП не отказался от притязаний на всесоюзную гегемонию и в 1925 году подготовил проект своего устава уже как всесоюзной ассоциации, строящейся на большевистском принципе демократического централизма. С 1925 по 1928 год этот проект курсировал между различными властными инстанциями, от правлений республиканских ассоциаций пролетарских писателей до Отдела печати ЦК и СНК СССР, проходя различные этапы обсуждения, и 4 февраля 1928 года, то есть за три месяца до роспуска ВАПП, был в конце концов утвержден заместителем председателя СНК СССР А. Цурюпой. См.: ОР ИМЛИ. Ф. 50. Ед. хр. 38. Л. 1. Несмотря на то что историками советской литературы ВАПП традиционно расшифровывается как *Всероссийская* ассоциация пролетарских писателей, в стенограммах ВАПП 1925—1927 годов постоянно фигурирует самоназвание *Всесоюзная* ассоциация пролетарских писателей.

45 Авербах Л. Культурная революция и современная литература. С. 3.

республиканского Политбюро по вопросам литературной политики, где может быть признано право национальных литератур (в частности, украинской) иметь «свои пути развития», «развиваться самостоятельно при братском единении с литературами других народов». Из этого противоречия закономерно следовала еще одна проблема, озвученная украинской делегацией: «ВАПП не может рассматривать себя как единая организация в том смысле, что он должен влить в себя все пролетарские литературы народов СССР, как он сделал это в отношении народов Сев<ерного> Кавказа, Закавказья, Белоруссии и литературы других народов»⁴⁶. И наконец, претензии ВАПП заставили украинских делегатов вспомнить недавнее имперское прошлое страны:

Дело в том, что в украинских условиях, благодаря прошлым великодержавным тенденциям, которые были у Родова, Валайтиса, и благодаря историческому развитию Украины как колониальной страны... у нас среди интеллигенции, даже пролетарской, усвоилось недоверие ко всем центростремительным тенденциям, и очень глубокое. Поэтому я думаю, у нас может быть только Федерация. <...> Мы предлагаем Федерацию. <...> Предлагаю сначала установить Федерацию советской литературы, внутри каждой республики, потом федерировать советскую литературу всех республик. Сейчас Украина рассматривает федерацию как поглощение ВАППом⁴⁷.

С критикой идеи федерации национальных пролетарских литератур выступил Вл. Киршон, обратившись к актуальному опыту ФОСП:

У нас, как известно, есть Федерация советских писателей. Почему она имеет смысл? Зачем она нужна? Почему федерация, а не единая организация? Да потому что в ней различные классовые течения. Тут и некоторые попутчики, и буржуазные писатели, входящие в Союз писателей (то есть в попутнический ВСП. — *Д.М.*), и крестьянские писатели, то есть различные классовые прослойки. Нужна ли нам Федерация различных организаций, хотя бы работающих в других областях, но стоящих на той же классовой платформе? Нет, не нужна. Украинцы говорят, что в тех условиях, какие имеются на Украине, украинская общественность, интеллигенция отшатнется от такой организации, потому что, говорят украинцы, вы не заинтересуетесь вопросами украинской национальной культуры, а под руководством русской культуры ведете в ущерб национальным задачам свою линию. Вот мотивировка украинцев. <...> Если создать специфическую национальную организацию, не входящую во всесоюзную организацию, она может привести к тому, что в нашей организации не будет достаточно классово четко выдержанной линии и что не вполне желательные элементы могут участвовать в нашей работе⁴⁸.

Единственным выходом, как представлялось Киршону (в прошлом секретарю пролетарской ассоциации Ростова-на-Дону, теперь секретарю ВАПП), было выделение «в отдельную организацию Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП. — *Д.М.*), затем Закавказской, Белорусской, Украинской. Но чтобы был единый орган, который представлял бы собою единую по классовому принципу организованную всесоюзную ассоциацию писателей»⁴⁹.

46 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 278. Л. 1.

47 Там же. Л. 5.

48 Там же. Л. 2—3.

49 Там же. Л. 3.

Таким образом, появление Российской ассоциации возвращало России статус всего лишь одной из национальных республик и решало проблему объединения национальных республиканских литератур — решало, однако, не в пользу ВАПП, инициированного некогда именно РСФСР. Всероссийская ассоциация прекращала свое существование и вынуждена была формально отказать от попыток возглавить всесоюзную ассоциацию:

ВАПП создает специальную российскую организацию РАПП, и из федеративных частей республик — доминирующих — создается центральный орган, следящий за литературой народов, помогающий, а не руководящий, помогающий проводить единую линию всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. Вот так мы хотели бы избежать столкновения и хотели бы построить систему Наркомпроса, а не партийного руководства. Если бы мы так построили — это облегчило бы положение Украины и улучшило бы ВАПП, и действительно построило бы крепкую авторитетную организацию⁵⁰.

Новый виток дискуссии обнаружил старую проблему незнания того, насколько инициативы ВАПП пользуются безусловной поддержкой ЦК. Еще в начале заседания был озвучен тезис Дмитрия Горбова, прозвучавший на страницах последнего выпуска газеты «Известия», что ВАПП является общественным течением, осужденным партией, что вызвало необходимость доказывать обратное.

Дискуссия о формах объединения, в ходе которой были противопоставлены «система Наркомпроса» (при которой «из федерирующихся частей доминирующих республик создается центральный орган, следящий за литературой всех народов») и принцип демократического централизма (обеспечивающего, в отличие от федерации, подчинение местных руководящих органов центральному руководящему органу, а именно ВАПП⁵¹), потребовала вмешательства заместителя наркома Рабкринна СССР А. Криницкого, присутствовавшего на съезде. Он был вынужден взять на себя установление контакта с ЦК Украины для выяснения его точки зрения на инициативы ВАПП, так как «дело организации пролетарской литературы... это дело партии, и поскольку вопрос сложный, то он грозит взрывом внутри ВАППа»⁵².

Создание ВОАПП было одобрено ЦК по результатам рассмотрения докладной записки заведующего Отделом печати от 7 мая 1928 года:

Вместо ВАПП — Всесоюзной <sic!> ассоциации пролетарских писателей — теперь будет существовать ВОАПП — Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей, куда вошли украинцы, и «Кузница», и ассоциации других союзных республик. Таким образом, сделан значительный шаг вперед в деле объединения всех пролетарских писателей⁵³.

Через день, 8 мая, на заседании бюро комфракции Авербах констатировал создание Российской ассоциации писателей с самостоятельным правлением и организацию Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей.

50 Там же. Л. 9.

51 Там же. Л. 9.

52 Там же. Л. 18.

53 «Счастье литературы»: Государство и писатели. 1925—1938 гг. Документы / Сост. Д.Л. Бабиченко. М.: РОССПЭН, 1997. С. 55.

Таким образом, стремление ВАПП сохранить за собой основанный на большевистском партийном принципе демократического централизма контроль над национальными ассоциациями обнаружило значимое отсутствие у ассоциации подлинного культурного авторитета и полноты реальной политической власти, которой в тот момент обладали республиканские ЦК. Несмотря на оптимистическое заявление Отдела печати о «значительном шаге в деле объединения» национальных пролетарских литератур, ВОАПП существовал недолго и почти номинально, оставив по себе скудные плоды творческой активности и обильную бюрократическую документацию⁵⁴.

Коллизия пятая, вызванная тем, что производство пролетарской литературы не отвечало новой политико-экономической эпохе

Как писал П. Бурдьё, поле производства культуры в каждый момент своей истории представляет собой поле борьбы между двумя принципами иерархизации: гетерономным, который благоприятствует тем, кто экономически и политически доминирует в поле, и автономным — для ищущих «избранничества». ВАПП, всячески подчеркивавший свою связь с Отделом печати ЦК, ставящий в литературную повестку обслуживание актуальных задач социалистического строительства, парадоксальным образом был склонен к автономии в стремлении навязать «свои законы и установить санкции всему ансамблю производителей культурной продукции»⁵⁵. Создание Всесоюзного объединения советских писателей противоречило этому изоляционизму, этой автономии, и стало формой социального самоубийства ВАПП.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года констатировало, что за прошедшее десятилетие партия создала условия для вытеснения из литературы и искусства «чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа», когда «кадры пролетарской литературы были еще слабы», и что ЦК всемерно помог «созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы». Однако сейчас, когда успели вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, когда выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, «рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества»⁵⁶. Решением ЦК пролетарские ассоциации, и с ними все остальные писательские объединения, включая ФОСП, были распущены. На повестку дня встал вопрос создания оргкомитета, которому было поручено созвать первый всесоюзный съезд

54 См.: ОР ИМЛИ. Ф. 50. Ед. хр. 341 (1929—1934 гг.).

55 Бурдьё П. Поле литературы // URL: http://bourdieu.name/content/pole-literatury#_edn7 (дата обращения: 20.05.2022). Вспомним характерное «комчанство» ВАППа, его презрение к «массовой бульварной» литературе и педалирование своего культурного «сиротства», требующего принципиального обновления художественных средств и содержания литературного творчества: «революцию в литературе» ВАПП ждал только «от рабочего».

56 Власть и художественная интеллигенция. С. 172.

писателей на свободных от групповщины основаниях. Оргкомитет составлялся от имени соответствующих литературных организаций. До созыва съезда ему поручалось руководство всеми существующими организациями писателей, а также и всей сетью созданных ВАПП кружков. Деятельность вновь созданного Оргкомитета СП СССР, включившего членов бывшего РАПП, завершилась Первым съездом советских писателей 17 августа — 1 сентября 1934 года, где одним из главных вопросов, наряду с обсуждением метода социалистического реализма, был вопрос о создании многонациональной советской литературы.

Таким образом, все попытки *организации* советской литературы в 1920-е годы были обречены на провал. Такие инструментальные по своей природе институты, как «Круг», ФОСП или ВОАПП, родились преждевременно, недоношенными, «искусственно выведенными» укрепляющим свои позиции Отделом печати, равнодушным к литературным боям генеральным секретарем партии Сталиным и активностью финансового рынка, подтачивавшего перспективы директивного управления литературой.

История ФОСП и ВОАПП неразделима с историей конкурентной борьбы ВАПП за свою долю в символическом капитале, аккумулируемом новой советской культурой. Определенный успех, которого добился на этом пути ВАПП, действительно сумевший деинституционализировать вошедшие в ФОСП организации и создавший не отмеченный никакой яркой практической активностью ВОАПП, не был нужен ЦК. Причины такой незаинтересованности коренятся в запросе на новую гетерономность⁵⁷ всего литературного поля, появившуюся в годы первой пятилетки, которую констатировала правовая комиссия ФОСП на заседании, посвященном вопросу авторского права 30 марта 1930 года:

Нас питал Нэп. Нэп умер. Умер фактически контрагент, который мог питать. Кто контрагент у автора? — государство. Частных авторских издательств нет. Следовательно, контрагентом является государство... это основание для того, чтобы перейти <с ним> на трудовые отношения⁵⁸.

Однако литературные практики исчезнувшего с литературной арены в апреле 1932 года ВАПП оставили заметный след в истории советской литературы.

Союз писателей унаследовал из опыта ВАПП:

- социальный заказ, или «запланированную литературу», обеспеченную гарантированным потребителем: школами, библиотеками, рабочими кружками;
- установку на массового читателя, прежде всего школьника и студента, с развитым институтом детской и юношеской литературы;
- настороженное отношение к классическому наследию, требующее института литературной критики и культуры идеологического комментирования;
- национальную политику, отвечающую идеологическим установкам и одновременно способствующую появлению новых национальных писательских кадров;
- организационное строение, повторявшее структуру ВОАПП;
- необходимость собственных изданий, собственного издательства, собственного вуза для выращивания новых кадров писателей и литературоведов;

57 Ср.: «Гетерономия порождает спрос, который может принять форму персонального заказа, сформулированного “патроном”» (Там же).

58 ОР ИМЛИ. Ф. 51. Ед. хр. 103. Л. 17.

сохранение и поддержку с этой целью «низового писателя» в литературных кружках при заводах и фабриках;

— настороженное отношение к писательскому «таланту» и «кабинетному творчеству», к автономии литературного производства в целом.

* * *

Специфику той или иной национальной культуры определяют именно абстрактные формы. Они-то и выполняют функцию отличительного знака той или иной культуры. <...> ...каждая нация продуцирует свое собственное определение культуры, предложенное ее писателями и историками [Эспань 2018: 53].

На протяжении первого советского десятилетия пролеткритика никогда не отказывалась от попыток «продуцирования определения культуры» Страны Советов как культуры пролетарской, трудовой, массовой, от усилий выработать общепролетарский литературный канон, что, однако, было доверено не «профессорам» от литературоведения, допущенным в журнал «На литературном посту» или Комакадемию, от Плеханова до Переверзева, от Луначарского до Плетнева, от Фриче до Берковского, а «верхушке» руководства ВАПП/РАПП. Это были теньевые, но обладавшие в тот момент перформативной институциональной мощью стратегии литературной политики, когда властью вапшовского авторитета тот или иной писатель мог быть зачислен в пролетарские классики, а другому было в этом отказано, и та или иная национальная форма литературы могла быть объявлена пролетарской, а другая — быть отвергнутой как дворянско-буржуазная, патриархальная или попутническая.

Дискуссионная площадка созданного после постановления ЦК о роспуске литературных группировок Оргкомитета Союза советских писателей обеспечила условия для разбора результатов десятилетней борьбы ВАПП за общепролетарский литературный канон. Новыми операторами литературной политики стали председатель Оргкомитета журналист И. Гронский и секретарь Оргкомитета профессор Комакадемии В. Кирпотин, впервые в практике литературоведческих дискуссий цитировавшие для подтверждения своих суждений классиков марксизма. Отсылки к Марксу и Энгельсу, которыми полны их речи конца 1932 года, представляют руководителей Оргкомитета привилегированными знатоками элитарных научных текстов, благодаря которым они получили право широкого и обобщенного толкования литературных процессов.

На площадке Оргкомитета впервые формируется представление об образцовом для нового советского общества писателе, писателе-классике мирового масштаба — Максиме Горьком:

У нас... не всегда умели даже в пролетарском литературном движении ставить вопрос об усвоении опыта художественности творчества Горького для развития нашей дальнейшей литературы. <...> Горький первый в нашей пролетарской литературе показал... выход... на светлый простор социалистического правопорядка. <...> Наша художественная литература во главе с Горьким... покажет, как растет и складывается новая жизнь на социалистических началах...⁵⁹

Благодаря Горькому советская литература освободилась от навязанного ВАПП «культурного сиротства» и национального «рассеяния» рабоче-крестьянской литературы. Культура СССР наконец определилась со своей «идентичностью». Исторический разрыв с культурным прошлым был заполнен, построен мост, соединивший классическое *мировое* (то есть *наднациональное*) наследие с общесоветским настоящим. Отказавшись от попыток кодификации пролетарской литературы как литературы социалистического общества, оргкомитет приступил к разработке теории социалистического реализма как методологического основания будущего пантеона советской классики.

Таким образом, в 1934 году «другой» институт с прямым, без посредников, типом отношений литератора и работодателя, был создан в виде гомогенного массового Союза советских писателей СССР, направляемого непосредственно Политбюро. Вместе с ВАПП исчезли из исторической памяти ФОСП и ВОАПП, «генетический код» которых принадлежал рыночной эпохе нэпа. Однако созданные ВАПП и отработанные им литературные практики и организационный опыт успешно хабиитуализировались и послужили Союзу писателей СССР «унаследованным настоящим» [Веблен 2021: 213] — долговечной матрицей для институционального развития.

Библиография / References

- [Аймермахер 1998] — Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине, 1917—1932. М.: АИРО-XX, 1998.
- (Eimermacher K. Die sowjetische Literaturpolitik, 1917—1932. Von der Vielfalt zur Bolschewisierung der russischen Literatur. Moscow, 1998. — In Russ.)
- [Веблен 2021] — Веблен Т. Теория праздного класса. М.: АСТ, 2021.
- (Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. Moscow, 2021. — In Russ.)
- [Джеймисон 2014] — Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014.
- (Jameson F. Marksizm i interpretatsiya kul'tury. Moscow; Ekaterinburg, 2014.)
- [Магуайр 2004] — Магуайр Р.А. Красная новь: Советская литература в 1920-х гг. СПб.: Академический проект, 2004.
- (Maguire R.A. Red Virgin Soil: Soviet Literature in the 1920's. Saint Petersburg, 2004. — In Russ.)
- [Московская 2022] — Московская Д.С., Романова О.В., Бахшаева Н.Ю. Массовость и «массовизация» в раннесоветском литературном процессе // Studia Litterarum. 2022. Т. 7. № 4. С. 10—33.
- (Moskovskaya D.S., Romanova O.V., Bakshaeva N.Yu. Massovost' i "massovizatsiya" v rannesovetskom literaturnom protsesse // Studia Litterarum. 2022. Vol. 7. No. 4. P. 10—33.)
- [Поливанов 1993] — Поливанов К.М. К истории «артели» писателей «Круг» // De Visu. 1993. № 10 (11). С. 5—15.
- (Polivanov K.M. K istorii "arteli" pisateley "Krug" // De Visu. 1993. No. 10 (11). P. 5—15.)
- [Фрезинский 2008] — Фрезинский Б.Я. Писатели и советские вожди: Избранные сюжеты 1919—1960 годов. М.: Эллис Лак, 2008.
- (Frezinskij B.Ya. Pisateli i sovetskie vozhd: Izbrannye syuzhety 1919—1960 godov. Moscow, 2008.)
- [Эспань 2018] — Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (Espagne M. Istoriya tsivilizatsiy kak kul'turnyy transfer. Moscow, 2018.)
- [Brown 1953] — Brown E.J. The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928—1932. New York: Columbia University Press, 1953.

Алла Бурцева

Писательская бригада в Туркменистане 1930-х годов:

ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТЕРАТУРЫ

Alla Burtseva

Writers' Brigade in the 1930s Turkmenistan: From the Journey to the Production of Literature

Алла Бурцева (Российский государственный гуманитарный университет, Институт филологии и истории, кафедра истории русской литературы Новейшего времени, преподаватель; кандидат филологических наук) alla.burtseva@gmail.com.

Alla Burtseva (PhD; Lecturer, Department of Contemporary Russian Literature, Institute for Philology and History of the Russian State University for the Humanities) alla.burtseva@gmail.com.

Ключевые слова: советская литература, писательские бригады, туркменская литература, газеты, социология литературы

Key words: Soviet literature, writers' brigades, Turkmen literature, newspapers, sociology of literature

УДК: 821.161.1+821.512.164

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_152

UDC: 821.161.1+821.512.164

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_152

В 1930-е годы формой коллективного литературного производства в СССР стали бригадные поездки. Поездка в Туркменистан — один из случаев, когда советская литературная политика находилась в сложных отношениях с национальной. Публикации в местной прессе позволяют выявить, как воспринимались подобные проекты и какие задачи перед ними ставились. Производство литературного материала в этом случае предполагает следование интересам московского центра, однако значимой оказывается и роль периферии. Производство литературы о периферии и литературы на периферии предполагает не зависимые, а скорее двусторонние отношения, а коллективный творческий результат становится их частью.

In the 1930s, brigade journeys were a form of collective literary production in USSR. A journey to Turkmenistan is one of the cases when literary policy was complexly connected with national policy. Publications in local press provide information on the reception of such projects and their goals. The production of literary material suggests in this case following the interests of the center, but the periphery also presents itself. The production of literature about periphery and literature in the periphery is mediated not only by dependent relationship, but also mutual, and the collective result is a part of this process.

В 1930-е годы в СССР был официально взят курс на развитие так называемых «национальных литератур». Под этим термином понимались литературы разных национальностей, которые должны были влиться в формирующуюся общесоюзную традицию. Особый интерес в этом контексте представляют литературы советской Центральной Азии, так как, помимо прочего, культурное строительство в этом регионе предполагало легитимацию национально-территориального размежевания 1924 года, а также формирование новой идентичности. Это касалось и Туркменистана [Edgar 2006].

В этой статье мы будем использовать термин «литературы советской периферии», а не «национальные литературы». Он представляется более корректным с точки зрения как описания взаимоотношений внутри государства, так и характера ее производства. Вероятнее всего, политика в области литератур

периферии коренилась еще в деятельности РАПП¹. Ситуация Центральной Азии в этом смысле пока освещена мало [Козицкая 2022; Kudaibergenova 2017], но существуют работы, описывающие культурную политику в республиках в целом [Халид 2022; Kassymbekova 2016].

В этой статье речь пойдет об иной составляющей проекта. Как представляется, говоря о литературе советского Туркменистана, нельзя не учитывать и то, что писали о ТССР авторы из центра, в частности из Москвы. Мы исходим из допущения, что подобные тексты представляли собой часть советского литературного и национального проекта, так как репрезентировали культуру Туркменистана. В первую очередь это касается деятельности так называемых писательских бригад.

Писательские бригады — одна из форм коллективного литературного производства. Группа писателей (называемая иногда не просто бригадой, а ударной бригадой) выезжала в одну из советских республик, чтобы затем написать о ней, а также установить контакты с местными писателями. Таким образом, проекты «национальной литературы» и «литературы о жизни республики» сложно отделить друг от друга и можно рассматривать как две составляющие одного. Деятельность бригады имеет все признаки осознания литературы как производственной деятельности. Ее задачи решены заранее, писатели планируют заняться определенными темами, для них составлен маршрут и подготовлен гонорар, установлены связи с местными властями, а в конце ожидается получение продукта, в нашем случае — альманаха.

В 1932 году по материалам поездки писательской бригады ОГИЗа и «Известий ЦИК СССР» в составе Л.М. Леонова, В.А. Луговского, В.В. Иванова, П.А. Павленко, Г.А. Санникова и Н.С. Тихонова был издан альманах «Туркменистан весной». В диссертации К. Холт «Восход внутренней иконографии: образы советской Туркмении в русскоязычной литературе и кино 1921—1935 годов» («The Rise of Insider Iconography: Visions of Soviet Turkmenia in Russian-Language Literature and Film, 1921—1935») обсуждаются некоторые детали этой поездки [Holt 2013a]. В нашей статье мы будем освещать ее подробности в контексте литературного производства, опираясь на материалы газеты «Туркменская искра».

Бригада отправилась в Туркменистан 22 марта 1930 года. Писатели посетили Ашхабад, Мары, Кушку, Иолотань, Байрам-Али, Керки и Чарджоу. В записных книжках Санникова можно найти подробные заметки, которые он составлял во время путешествия (записи легко датируются 1930 годом по упоминанию о смерти В.В. Маяковского²). Приведем выдержки из них, которые помогают уточнить маршрут бригады.

28 марта Санников отмечает: «Приехали в Ашх[абад.] Вечером встреча в редакции с представ[ителем] правительства»³. 7 апреля он делает запись о посещении «семхоза Байрам-Али» и пометы о поливе растений, 8 апреля упоминает «поселок Мургаб»⁴. Даты в записной книжке по неясной причине

1 Так, Ю.М. Козицкая в диссертации о казахской литературе 1930-х годов обращается к деятельности КазАПП [Козицкая 2022: 24—26]. См. также: [Dobrenko 2022].

2 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 3256. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 7.

3 Там же. Л. 3.

4 Там же. Л. 3 об., 4.

идут не подряд, следующая помета относится к 4 апреля — упоминается «колхоз Безмеин» и два собрания, а выше — «город Безмеин»⁵. В записи от 6 апреля говорится: «Приехали в Мерв. Дождь, грязь»⁶. Отсюда писатели направляются в колхозы «Азатлык-Ленин (Ленин[ская] свобода), Сталин, Большевик, и Кызыл-Октябрь»⁷, а вернувшись в Мары, Санников описывает свои впечатления от базара. Затем Санников делает помету «Выехали в Кушку. Иолотань»⁸ и описывает дорогу на реку Мургабу к месту ее слияния с Кушкой. Далее следует бытовая деталь: «В Кушку приехали ночью — 12 ч. Холодно. Встретили, разместили всех в одной комнате»⁹. Утром 9 апреля Санников описывает свои впечатления от города и природы Туркменистана. 16 апреля бригада возвращается в Мары, 17 — едет в Байрам-Али, 20 — выезжает в Керки, 21 — посещает Бухару (Санников делает помету «Умирающий город»¹⁰), 23 — прибывает в Керки, переправившись через Амударью, и совершает оттуда поездку в колхоз и на пограничный пункт, 26 — едет на Узбой (пересохшее русло древней реки) и возвращается в Керки, чтобы отправиться в колхозы Карла Маркса, Калинина и Ленина. Записи о Чарджоу, по-видимому, не сохранились.

К. Холт, используя терминологию П. Бурдьё, отмечает, что писатели пытались построить новые, коллективные траектории в литературном поле [Holt 2013a: 285] (см. также: [Holt 2013b]). Действительно, писатели здесь ведут себя в первую очередь как группа, и конечный продукт также становится итогом групповых усилий.

1 апреля 1930 года в газете «Туркменская искра» вышла «Беседа с участниками первой бригады писателей». Материал занимал половину полосы и представлял собой подборку высказываний членов бригады о Туркменистане. Реплика Санникова озаглавлена «Подсмотреть незаметное», и в ней говорится, в частности, следующее:

Наш приезд бригадой в Советский Туркменистан я рассматриваю как первую организованную попытку изучить Туркменистан во всем его многообразии труда, борьбы и строительства, подсмотреть порой незаметные для простого глаза процессы преобразования Советского Востока, углубиться в их революционную, социалистическую сущность и написать об этом¹¹.

Иванов, чье высказывание в материале «Туркменской искры» названо «Коллективным трудом», подчеркивает коллективный характер работы над литературными произведениями, а одной из своих целей видит «изучение революционного прошлого наших республик, изучение наших побед и поражений»¹². В реплике Павленко «Первая попытка» подчеркивается: «Наш план — **написать коллективную книгу, книгу всех жанров...** Это — первая попытка

5 Там же. Л. 6, 5 об.

6 Там же. Л. 7.

7 Там же.

8 Там же. Л. 7 об.

9 Там же.

10 Там же.

11 Для чего мы приехали в Туркмению. Беседа с участниками первой бригады писателей // Туркменская искра. 1930. 1 апреля. Незначительные расхождения орфографии и пунктуации цитируемых источников с современной здесь и далее не воспроизводятся.

12 Там же.

в литературе посмотреть **глазами писательского коллектива** на одни и те же факты и события»¹³.

Самое обширное высказывание — «Познать новую Туркмению» — принадлежит Луговскому. Здесь о коллективном творчестве речи не идет, напротив, он пишет о личных намерениях: «дать» цикл стихов о Туркмении, в том числе об ирригации, биографии «новых людей Туркмении» «в виде поэмы», очерки о туркменской культуре и борьбе с пустыней в стихах в московские газеты и журналы, а также «радиофильм» — «произведение о Туркмении, построенное на звуковых образах»¹⁴. Кроме того, Луговской заговаривает о туркменской литературе:

В такой же степени меня интересуют переводы с туркменского языка, причем не только современных поэтов, но и старых, так как мне хочется уловить подлинно национальные черты туркменской литературы.

В одинаковой степени меня интересует и русская литература о Туркмении¹⁵.

Краткие реплики Тихонова и Леонова носят названия «Подвести итог своим работам» и «Своими глазами». Тихонова, так же, как и Луговского, интересует туркменская литература, он хочет написать цикл стихов, ознакомиться с «оседанием кочевников» и ходом коллективизации, «проследить за историей гражданской войны в Туркмении, а также «написать сценарий из жизни туркмен»¹⁶. Леонов же подчеркивает необходимость борьбы с «экзотикой» за новую культуру¹⁷.

Таким образом, двое из участников бригады (Иванов и Павленко) подчеркивают коллективный характер творчества, двое (Луговской и Тихонов) говорят о личных амбициях. Высказывание Санникова расположено сверху полосы в левом углу и должно, по-видимому, восприниматься как общая декларация. Ключевым тезисом всех реплик становится необходимость «познать Туркмению» и изучить, как она меняется, как рождается «новый советский человек». Писатели обозначают интересные им темы, однако сходятся в одном: они собрались для того, чтобы «подсмотреть незаметное», фактически открыть Туркменистан для советского читателя. Обращение к туркменской литературе, как советской, так и дореволюционной, подчеркивает, что ее производство также становится одной из целей бригады в будущем. Не только периферийная культура должна развиваться в сторону «центра», но и «центр» должен осваивать «периферию», формируя отношение к литературам Центральной Азии, а это, как представляется, подготавливает их «революционное развитие». Проекты литературы о республике и литературы республики оказываются взаимосвязаны.

В «Туркменской искре» поездка освещалась и в других публикациях. Бригада впервые упоминается на ее страницах 17 марта 1930 года в заметке «Ударная бригада писателей. В Туркменистан приедут Вс. Иванов, Павленко, Луговской, Тихонов и Санников»:

13 Там же. Здесь и далее различные способы выделения слова в тексте (полуужирный, подчеркивание и т.п.) даны по источнику, если не указано иное.

14 Там же.

15 Там же.

16 Там же.

17 Там же. Экзотика здесь понимается, по-видимому, как чрезмерное увлечение ориентальными мотивами.

Москва, 16 марта. Ударная бригада из пяти писателей: Вс. ИВАНОВА, ПАВЛЕНКО, ЛУГОВСКОГО, ТИХОНОВА И САННИКОВА — по приглашению Наркомпроса Туркменистана выезжает через неделю на два месяца в Туркменистан.

Писатели поставили перед собой задачу ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КОЛХОЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И МЕСТНОЙ КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ.

В результате изучения различных моментов культурно-бытовой и сельскохозяйственной жизни Туркменистана эта группа писателей предполагает ИЗДАТЬ ДВЕ КНИГИ, как первый опыт коллективного творчества¹⁸.

Фрагменты, выделенные прописными буквами, подчеркивают характер конечного продукта литературного производства. В Центральной Азии колхозное строительство было более чем актуальной темой, так как регион изначально был мало подготовлен к этому. См., например, у А. Халида: «Число тракторов — этих безусловных символов советского прогресса — было исчезающе малым и могло соперничать только с количеством механиков, умевших их обслуживать»¹⁹. Упоминание о приглашении Наркомпроса Туркменистана подчеркивает заинтересованность местных властей в том, чтобы к ним приехали «московские гости». Это значит, что туркменская сторона становится активным участником литературного производства, она не наблюдает пассивно. Подчеркнутое желание самой туркменской стороны видеть у себя гостей из центра создавало представление о том, что культурная политика СССР не насаждается механически, а органично вливается в существующую ситуацию. То же касалось и производства литературы: пока еще речь идет только о планах писателей из Москвы, однако есть и туркменская литература, которой необходимо развиваться — см. реплику Луговского в предыдущей процитированной заметке. Писатели должны продемонстрировать интерес к ее развитию и, вероятно, поддержать его в том числе за счет собственных текстов.

Упоминание о коллективном характере творчества принципиально. Конечно, до конца коллективное производство воплотить было невозможно, однако тесное общение писателей между собой могло породить определенные формы влияния и создать впечатление, что будущий альманах — это единый текст, пусть и написанный с разными стилевыми и жанровыми особенностями. Следует здесь заметить, что бригада не была уникальной (хотя в «Туркменской искре» она названа первой), подобные проекты позднее будут осуществляться в других республиках, например в Узбекистане и в Грузии.

Намерение издать две книги, по-видимому, осуществлено не было, альманах по материалам этой поездки вышел только один — «Туркменистан весной» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932), причем не все произведения соответствовали заявленной теме. Так, «роман в стихах» Санникова «В гостях у египтян» рассказывает о ташкентском ГПУ, Туркменистану посвящена только глава третья, которая поделена на четыре части: вступительную и три «туркменбаллады», как их обозначил сам автор: «О Келифском пути», «О туркменском ковре» и «О погибшем колхозе». Возможно, эта глава была добавлена отдельно — для при-

18 Ударная бригада писателей. В Туркменистан приедут Вс. Иванов, Павленко, Луговской, Тихонов и Санников // Туркменская искра. 1930. 17 марта.

19 Ср. в оригинале: «Tractors—those ubiquitous symbols of Soviet progress—were exceedingly rare, and their scarcity was matched only by that of mechanics who could service them» [Khalid 2021: 225].

вязки произведения к задачам бригады (путешествие писателей проходило через Ташкент, Санников мог использовать материалы, собранные там).

«Горячий, товарищеский привет мастерам слова, приехавшим изучать Советский Восток» был опубликован в «Туркменской искре» 30 марта 1930 года. Две заметки под заголовками «Первая ударная» и «Товарищеская встреча» предваряются следующим утверждением: «ЗАДАЧА НАШИХ ХУДОЖНИКОВ: полнее изобразить в своих произведениях каждый момент невиданной стройки, каждый этап нашего пути к социализму, по которому пойдут угнетенные народы Востока»²⁰. Характеристика «угнетенные», используемая для обозначения дореволюционной ситуации, весьма показательна. Литературное производство писателей из центра, благодаря которому формируются новое сознание и, очевидно, новая литературная элита, — один из способов преодоления такого состояния. Верно и обратное: молодые туркменские литераторы должны участвовать в борьбе за читателя. Это подчеркивается и в заметке:

Приезд московских товарищей имеет не столько литературное, сколько огромное культурное значение, являясь новым подтверждением той интернациональной спайки, которая с каждым годом крепнет между братскими республиками нашего великого Союза²¹.

Кроме того, в заметке цитируется речь Сталина, где впервые появляются мысли о литературе, пролетарской (пока еще не социалистической) по содержанию и национальной по форме. В этой связи автор подчеркивает антиколониальность новой литературы: «Приезд бригады московских писателей, составленной из лучших мастеров художественного слова, красноречиво опровергает все буржуазные басни о “литературном империализме”»²².

О производстве литературы Туркменистана говорится следующее:

Большое значение приезд ударной писательской бригады имеет еще и для установления связи с молодой советской литературой Туркмении. <...> Она расцветет еще пышнее, если будет установлен тесный контакт с литературой братских республик, художественно более сильной, нежели литература туркменская. В ответ на приезд московских писателей Туркмения должна послать в Москву своих талантливых писателей и поэтов²³.

Таким образом, СССР предстает принципиально антиимпериалистическим государством. Новой власти, а следовательно, и новой литературе необходимо отделить себя от понятия имперского, и из-за этого формируется представление о антиколониальном характере советской внутренней политики. При этом речь идет не об империализме вообще, а прежде всего о литературном империализме.

Кроме того, в начале 1930-х годов речь еще не идет о том, что русская литература — первая среди равных. Туркменская литература признаётся недостаточно сильной, но в сравнении с «братскими республиками» вообще, а не с русской в частности. Это позволяет предположить, что для историко-литературной

20 Горячий, товарищеский привет мастерам слова, приехавшим изучать Советский Восток // Туркменская искра. 1930. 31 марта.

21 Там же.

22 Там же.

23 Там же.

ситуации 1930-х годов характерно не только влияние центра на периферию, но и установление горизонтальных связей между республиканскими литературами. Также значимо обещание, что туркменская литература «расцветет еще пышнее». С точки зрения автора заметки, к 1930 году ее состояние уже приближается к расцвету, ей просто нужно немного помочь.

Более того, заметка упрекает некоторых писателей, приезжавших ранее, в ориентализме:

Приезжающие к нам иногда московские гости ищут подчас в Средней Азии «восточную экзотику», преклоняются перед «мудростью седого Востока», воспевают старые «дедовские обычаи» и всю ту рухлядь прошлого, которую республики Советского Востока выбросили в мусорную яму истории. Приезжие издалека гости в погоне за «экзотикой» — уходящим днем — не замечают изумительного по своей культурной и творческой насыщенности расцвета сегодняшнего дня Средней Азии, не видят всех исключительных по своей исторической важности социальных сдвигов²⁴.

Таким образом, периферия также выдвигает свои требования к центру. Новой должна стать не только литература Туркменистана, но и литература Москвы о республиках Азии. Именно поэтому перед писателями ставится задача не просто «подсмотреть», но создать себе определенные творческие ограничения (это в целом характерно для советской литературы, однако в нашем случае принципиален тот факт, что требование звучит в заметке местной газеты).

В заметке «Товарищеская встреча» описана встреча писателей с «партийными, советскими и литературными работниками»²⁵ в редакции «Туркменской искры». Помимо пересказа писательских заявлений, есть и выступления туркменской стороны, в частности Берды Кербабая, будущего лауреата Сталинской премии за роман «Решающий шаг»: «...**тов. Кербабая** выражает уверенность, что они, ознакомившись с нашей жизнью, возрожденной после Октября, введут Туркмению в художественную русскую литературу»²⁶. Обратим внимание, что здесь возникает риторика возрождения, а не создания. Несмотря на утверждения о «создании» туркменской литературы [Бурцева 2022], новые писатели все же не могли обойтись без опоры на предшествующую традицию. Советская власть не просто «создает» нацию, она утверждает за счет освобождения самобытной культуры от гнета. Это важно в контексте размежевания республик, так как легитимирует его. Писатели должны ввести Туркменистан в русскую литературу. Речь может идти о русском как языке-посреднике, однако в контексте предыдущей заметки эта связь может быть истолкована и как горизонтальная, то есть связь между республиками, которые имеют равный статус. Однако Кербабаяу кажется важным, чтобы Туркменистан получил репрезентацию на всесоюзном уровне. Таким образом, задача писателей состоит в следующем: не просто подробно описать, что они увидели, но и придать увиденному некий статус, заслуживающий внимания всей страны.

31 марта в «Туркменской искре» появляется еще одна заметка, «Ударная бригада писателей у текстильщиков», с подзаголовком «Мы приехали не ради простого любопытства!». Эта цитата из выступления Луговского ставит писа-

24 Там же.

25 Товарищеская встреча // Туркменская искра. 1930. 31 марта.

26 Там же.

телей в активную позицию по отношению к туркменской действительности, а разграничение «простого любопытства» и «изучения Туркменистана»²⁷ подразумевает отказ от экзотизирующего, ориенталистского взгляда на регион. Луговской добавляет: «Тут в сложнейших условиях строится новая пролетарская культура, куется новая социалистическая жизнь. Мы стремимся ознакомиться с вашим строительством, чтобы запечатлеть его в своих произведениях»²⁸.

Упомянув о «сложнейших условиях», Луговской как будто признаёт, что ситуация в Туркменистане кардинальным образом отличается от других регионов. Действительно, как замечает Халид, советская власть в Центральной Азии совершала пролетарскую революцию там, где пролетариата, по сути, не было. Примерную аналогию кулакам и буржуям представляли баи, зажиточные земле- и скотовладельцы²⁹, имевшие наемных работников. Луговской, возможно, имеет в виду чисто внешние факторы — когда человек вынужден заниматься, например, работой в поле, принимать участие в индустриализации и т.п. в условиях туркменского климата, времени на творчество у него остается мало, однако интересен сам факт такого заявления — Туркменистан предстает как регион, где еще многое должно быть сделано, регион, отстающий от остальных. С другой стороны, чем сложнее условия, тем труднее их преодолеть, а следовательно, имплицитно Луговской говорит и о том, что Туркменистан справляется с тем, с чем не справится никто.

Еще одна заметка на той же полосе — «Писатели в туркменском гостеатре». После посещения туркменского театра «Аул Гидже» Тихонов высказывается о том, что «игра молодых туркменских актеров значительно выше игры актеров других восточных театров»³⁰. Тихонов, возможно, намекает на формирование туркменской идентичности в контексте социалистического соревнования. Театр должен быть не просто хорош, он должен соперничать с другими. Таким образом, высказывание Тихонова здесь обусловлено и взаимодействием с местными интересами. Чтобы группа была принята не на словах, а на деле, следует обратить внимание на несомненные достоинства нового туркменского искусства.

2 апреля в заметке «Литературный вечер в гостеатре»³¹ впервые появляется оценка творчества писателей. И хотя она безоговорочно высока, это один из случаев, благодаря которому мы можем проследить местную реакцию:

В своем рассказе Павленко, автор известных малоазиатских рассказов, блеснул красотой отточенного слова и тонкостью психологического анализа. <...>

Стихи Тихонова проникнуты внутренней сосредоточенностью. Они глубоки по замыслу и формально просты. За этой простотой скрыта огромная творческая работа над словом и ритмом. <...>

«Соть» является поворотным пунктом в творчестве Л. Леонова — одного из лучших наших прозаиков. <...> Это замечательное произведение написано в типично леоновской манере — широкий охват темы, богатейшая людская галерея и драматичность положения. При всем этом блестящий по своей красоте словес-

27 Ударная бригада писателей у текстильщиков // Туркменская искра. 1930. 31 марта.

28 Там же.

29 См.: [Khalid 2021: 2016]. Речь идет о Казахстане, но это приложимо и к другим центральноазиатским республикам.

30 Писатели в туркменском гостеатре // Туркменская искра. 1930. 31 марта.

31 Чтения упоминаются также в [Holt 2013a: 116], однако очень сжато.

ный покров повести Л. Леонов владеет словом, как музыкант-виртуоз инструментом³². <...>

Санников лиричен, это — поэт интимных настроений и тонкой душевной мягкости, но эта «интимность» особого свойства. <...> Стихи Санникова социально насыщены. Они воспевают не экзотику старого Востока, они отражают в своих риторических звучаниях гул пробуждающегося к новой жизни поработанного Востока. <...>

В. Иванов прочитал рассказ о том, как он был факиром. <...> ...в этом рассказе находит отражение весь блеск замечательного писательского мастерства Вс. Иванова.

Вл. Луговской с большим искусством декламировал свои стихи. Они выразительны в своей словесной конструкции, богаты внутренним содержанием. В. Луговской один из немногих наших поэтов, которые с исключительной художественной выразительностью запечатлевают в поэтических образах волевою бодрость социалистической эпохи³³.

Писателей хвалят в первую очередь за личное художественное мастерство, то есть за производство качественной авторской литературы. Для каждого из них журналист выбирает описание скорее индивидуальных, чем коллективных черт, описывая, в противоречие к поставленной перед бригадой задаче, чем они отличаются друг от друга. Это связано и с тем, что писатели читают то, что было, вероятно, создано ранее, тогда, когда перед ними стояли другие цели. Неизвестна непосредственная реакция аудитории, однако эта заметка дает представление о том, как в республике мог восприниматься конечный продукт. Если отбросить оценочные суждения, остается следующее. Павленко достается психологический анализ, кроме того, подчеркивается, что с азиатской темой он знаком, а значит, задача описать Туркменистан может быть для него легкой. У Тихонова подчеркивается простота, но при этом указывается на творческую работу, которой, очевидно, ждут от него и в альманахе. Роман «Соть» Леонова — очевидный выбор, отрывок был опубликован в «Туркменской искре», то есть признан образцовым для конструирования новой литературы. Приписывая Санникову социально насыщенную интимность, автор заметки противопоставляет экзотику и новый Восток, пробуждающийся и выходящий из поработанного состояния. Противопоставление старого и нового Туркменистана станет характерной моделью литературно-критической риторики начала — середины 1930-х годов. У Луговского же «волевая бодрость социалистической эпохи» коррелирует как с общими тенденциями 1930-х годов, так и с репутацией самого автора. Все эти писатели, читая со сцены, должны были стать образцами для туркменской литературы.

3 апреля выходит другой текст, отчасти отражающий реакцию периферии. Это стихотворение Г.Н. Веселкова «С боем! (Бригаде писателей)»:

Время, время —
кузнец упорный,
 Перевитая ветром цепь...
 Дни туманом уходят в горы,
 Голубыми цветами — в степь.

32 Грамматическая ошибка в источнике.

33 К.Т. Литературный вечер в гостеатре // Туркменская искра. 1930. 2 апреля.

Разбегаясь, как волны, в стороны,
Рассыпаясь, хрустя, как песок...
Это наш самолет безмоторный
Забирает ввысь,
— и на восток!
Расступаясь, бегут они рядом,
Обтекая упругую грудь.
Боевой
ударной
бригадой
Перережем мы старому путь!
Нагибает медведица ковшик,
Поливая крутой корабль.
Вот и я,
зарываясь по уши,
Выплываю, весел и храбр.
Жизнь, —
спокойна ли, величава.
Жизнь —
бурлива ли и гневна, —
Ты, как море, ветром курчава,
И как море — не знаешь дна.
Мы плывем.
Мы летим.
А сзади
Взбаламученное быстрит...
Эй, товарищ, поэт, писатель!
Не назад, а вперед смотри!
В каждый день
мы вступаем с боем.
Каждый шаг наш — пожар-бурелом.
Не зальешь никаким брандсбоем,
Не спалишь никаким огнем!
Разбегаются в стороны волны,
Рассыпается с хрустом песок
Самолет наш, корабль солнечный —
В синеву,
в высоту,
на восток!³⁴

Георгий Николаевич Веселков жил в Туркменистане с 1928 года, был ответственным секретарем «Туркменской искры» и активно печатал свои стихотворения на ее страницах. Он также был переводчиком с туркменского языка. В 1938 году он был репрессирован, однако выжил и после освобождения продолжил переводческую деятельность (подробнее см.: [Мурадов 2002]). Фактически он был участником локального литературного процесса в Туркменистане, сотрудничая со многими авторами, такими как Ораз Тачназаров и Караджа Бурунов. Однако в стихотворении речь идет как будто от лица самих членов

34 Веселков Г. С боем! (Бригаде писателей) // Туркменская искра. 1930. 3 апреля.

бригады. Таким образом, периферия уравнивает себя с центром. Если писатели должны «познать Туркмению изнутри», то Туркменистан, в свою очередь, должен поддержать писателей. Отсюда, вероятно, и призывный пафос стихотворения (характерный, впрочем, для литературы тех лет). Так или иначе, деятельность писателей здесь выглядит едва ли не героической. Именно они вместе с местными литераторами создают новую страну. Веселков здесь фактически выступает от лица Туркменистана как один из его наиболее продуктивных поэтов.

В заметке «Бригада московских писателей в Туркмении» с подзаголовком «Часть писателей выехала в Москву, часть продлит свое пребывание в ТССР» от 13 мая 1930 года сообщается, что Луговской, Павленко и Тихонов продолжают оставаться в Туркменистане, а Иванов, Леонов и Санников уехали в Москву. Очевидно, писатели посчитали, что коллективная работа на этом завершена, и трое задержались, чтобы набрать чуть больше материала. В заметке точно описано, как писатели совершали свой путь, названы топонимы, а также его протяженность — 2170 верст по железной дороге, 805 — на автомобиле, 221 — верхом и 300 — по воде³⁵. Также в заметке обозначен итоговый план. Иванов «предполагает написать рассказ о плавании бригады по Аму-Дарье на фоне быта этого интереснейшего района»; Леонов задумывает «повесть — борьба с саранчой, в которой центром тяжести явится показ организованной массы как величайшей силы в борьбе со стихией»; Луговской «пишет стихи о быте виденных им районов и, кроме того, предполагает дать серию очерков о новой женщине, текстильной промышленности, быте пограничников и Красной армии»; Павленко «работает над вещью о воде и предполагает дать рассказ или пьесу из жизни пограничников и очерк о колхозах»; Тихонов напишет о «колхозах-кочевников (sic!), о Копет-Даге, о борьбе с басмачеством»; а Санников — «о ковротканном промысле, пограничных колхозах и хлопке»³⁶. Кроме того, Луговской и Тихонов собирались перевести несколько стихотворений туркменских поэтов, а значит, альманах должен был стать и их голосом на общесоюзном уровне.

Альманах «Туркменистан весной» был сдан в набор 23 апреля 1932 года, таким образом, на его создание у писателей ушло около двух лет, и продукт получился разнородным. В него вошли повесть Леонова «Саранчуки», роман в стихах Санникова «В гостях у египтян», «Острозубец из совхоза Байрам-Али», «Ответственные испытания инж[енера] Нур-Клыча», «Бухгалтер Г.О. Сурков, честно погибший за свою идею», а также сценарий «Гибель Наиб-Хана» Иванова, стихотворения Луговского «Большевикам пустыни и весны», «Посевная», «Пустыня и я», «Ночь в Чимин-и-Бите», «Гибель экзотики», «Ветерит» и «Земли Красной звезды», повесть Павленко «Пустыня», стихотворения Тихонова «Люди Ширама», «Весна в Дейнау, или ночная пахота тракторами “Валлис”», «Искатели воды», «Ворота Гаудана», «Завернувшиеся в плащи», «Подражание туркменскому», «Белуджи», «Джемшиды», «Кара-Кала», очерк Леонова «Поездка в Маргиан», рассказы Павленко «Шелк» и «Чувство воды»³⁷. Таким об-

35 Бригада московских писателей в Туркмении // Туркменская искра. 1930. 13 мая. Приведено также в [Нолт 2013а: 115].

36 Там же.

37 Мы приводим произведения в той последовательности, в которой они следуют в альманахе.

разом, намеченный план частично был выполнен (Леонов написал о борьбе с саранчой, Санников — о ковре, Павленко — о воде).

Некоторые из этих произведений печатались также в газете «Туркменская искра». Отметим здесь, что перед стихотворением «Трактор в горах», опубликованном в подборке Тихонова, стоят пометы «с туркменского» и «Кербабаев». Текст оказался переводным и ранее выходил на страницах туркменской периодики³⁸. Таким образом, хотя бы в одном тексте была представлена туркменская поэзия, как того хотели Луговской и Тихонов.

Альманах сочетает стихотворные и прозаические тексты, так или иначе представляющие советский Туркменистан. По объему он занимает 8,5 печатных листов, причем, как было сказано выше, роман Санникова прямого отношения к Туркменистану не имел (за исключением одной главы) и был, судя по всему, написан под впечатлением о поездке через Узбекистан. Надпись на титульной странице следующая:

Альманах первой писательской бригады Огиза и «Известий ЦИК СССР», совершившей поездку по Туркменистану весной 1930 г. в составе: Л. Леонова, Вл. Луговского, Вс. Иванова, П. Павленко, Г. Санникова и Н. Тихонова³⁹.

Предполагалось, по-видимому, что поездки будут регулярными, и за первой последовала вторая в 1934 году, по материалам которой был создан альманах «Айдинг-Гюнлер» (М.: [ГИХЛ,] 1934).

Хотя наша статья по преимуществу посвящена творчеству писателей из центра, она в то же время характеризует проект советской туркменской литературы 1930-х годов. Деятельность первой писательской бригады, как было показано, позволяет дополнительно прояснить отношения между центром и периферией, характерные для этого проекта. Он ставил писателей в положение сотрудничества, а следовательно, необходимо учитывать и те условия, в которых готовились совместные публикации русско- и туркменоязычных авторов.

Мы привели выдержки из записных книжек лишь Санникова, однако применительно к ним важно говорить о личных интересах писателя. Конечно, проект был инспирирован государством, и, конечно, работа велась по намеченному плану, нацеленному на конечный продукт — альманах, однако это не исключало творческих интенций самих писателей. Во всяком случае, по записям заметно, что Санникову действительно интересен Туркменистан.

Иногда в приведенных нами заметках встречается прямое восхищение приезжими писателями. Однако главное в приведенных нами заметках — требование от писателя погрузиться в жизнь региона, именно при этом условии можно получить конечный продукт подходящего качества. Противопоставляя себя ориентальной «экзотике», писатели породили новое расположение литературных сил.

Таким образом, говоря о советском проекте производства литературы о периферии и — в перспективе — литературы на периферии, мы сталкиваемся с рядом методологических проблем. Иерархия осложняется тем, что не только требуется «создать» туркменскую литературу, но и писателям из центра

38 *Kerbaabajyf B. Daaglarda tьgaaktьr // Turkmen medenijeti. 1930. № 2. С. 20.* Роспись журнала «Туркмен меденіјеті» любезно предоставлена А.Р. Ихановым.

39 Туркменистан весной. Альманах. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1932.

нужно «учиться у жизни» в Туркменистане (показательно в этом смысле, что в «туркменбалладах» Санников использует стилизацию и имитацию под «запев бахши⁴⁰»). В то же время и мы, как исследователи, изучая отношения центра и периферии, часто сами смотрим теми же глазами, что и писательские бригады, ездившие в Туркменистан. И здесь следует говорить о возможной смене оптики, когда перед нами встает задача посмотреть на процесс не только сверху вниз, но и снизу вверх.

Библиография / References

- [Бурцева 2022] — *Бурцева А.О.* Конструирование туркменской литературы в СССР в середине 1930-х годов: от колониального гнета к сталинскому раю // ШАГИ/Steps. 2022. Т. 8. № 4. С. 303—317.
- (*Burtseva A.O.* Konstruirovaniye turkmenkoy literatury v SSSR v seredine 1930-kh godov: ot kolonial'nogo gneta k stalinskomu rayu // ShAGI/Steps. 2022. Vol. 8. No. 4. P. 303—317.)
- [Козицкая 2022] — *Козицкая Ю.М.* Казахская литература как часть проекта «многонациональной советской литературы» в 1930-е годы: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2022.
- (*Kozitskaya Yu.M.* Kazakhskaya literatura kak chast' proekta "mnogonatsional'noy sovetskoy literatury" v 1930-e gody: PhD Thesis. Moscow, 2022.)
- [Мурадов 2002] — *Мурадов Р.Г.* Парадигма «Туркменоведения» // Культурные ценности: Международный ежегодник: 2000—2001 / Отв. ред. Р.Г. Мурадов СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2002. С. 164—178.
- (*Muradov R.G.* Paradigma "Turkmenovedeniya" // Kul'turnye tsennosti: Mezhdunarodnyy ezhegodnik: 2000—2001 / Ed. by R.G. Muradov. Saint Petersburg, 2002. P. 164—178.)
- [Халид 2022] — *Халид А.* Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период. СПб.: Academic Studies Press, 2022.
- (*Khalid A.* Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Saint Petersburg, 2022. — In Russ.)
- [Dobrenko 2022] — *Dobrenko E.* Hegemony of Brotherhood: The Birth of Soviet Multinational Literature, 1922—1932 // Slavic Review. 2022. Vol. 81. Iss. 4. P. 869—890.
- [Edgar 2006] — *Edgar A.L.* Tribal Nation: The making of Soviet Turkmenistan. Princeton: Princeton UP, 2006.
- [Holt 2013a] — *Holt K.* The Rise of Insider Iconography: Visions of Soviet Turkmenia in Russian-Language Film and Literature, 1921—1935: PhD Thesis. New York, 2013.
- [Holt 2013b] — *Holt K.* Collective Authorship and Platonov's Socialist Realism // Russian Literature. 2013. Vol. 73. No. 1/2. P. 57—83.
- [Kassymbekova 2016] — *Kassymbekova B.* Despite Cultures. Early Soviet Rule in Tajikistan. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2016.
- [Khalid 2021] — *Khalid A.* Central Asia. A New History from the Imperial Conquests to the Present. Princeton: Princeton University Press, 2021.
- [Kudaibergenova 2017] — *Kudaibergenova D.* Rewriting the Nation in Modern Kazakh Literature: Elites and Narratives. Lanham, MD; London: Lexington Books, 2017.

Канон revisited

Глеб Морев

Иосиф Бродский: пути литературной легитимации (1962—1965)¹

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_165

1

Сыгравшее в жизни Иосифа Бродского немаловажную роль знакомство с бывшим летчиком Олегом Шахматовым, вместе с которым он планировал угнать из СССР самолет², произошло в 1957 году в литературном объединении при ленинградской газете «Смена»³ — как и Бродский, Шахматов писал стихи.

Многочисленные в конце 1950-х годов официальные литературные объединения — получившие известность под именем ЛИТО (усеченный вариант

-
- 1 Глава из литературной биографии «Иосиф Бродский: годы в СССР», подготавливаемой автором. Благодарим Юлию Сенину (музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», Санкт-Петербург) за помощь в работе.
 - 2 Подробнее см.: Морев Г. «Побег в Америку»: несостоявшийся угон самолета и литературная биография Иосифа Бродского // Syg.ma*. 2024. 6 мая.
 - * Включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.
 - 3 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. СПб.: Вита Нова, 2010. С. 98. Сведения из справки КГБ от 7 марта 1964 года о знакомстве Бродского и Шахматова, которые цитирует Лосев, дополняют (и возможно, корректируют) воспоминания О.И. Бродович, основанные на рассказе самого Бродского: «[После получения Бродским первой зарплаты на заводе] Осина сослуживцы считали, что ее надо пропить с ними. Ося был другого мнения. За воротами завода его сослуживцы начали его бить. Мимо шел молодой человек — один. “Как? Пятеро (или четверо или шестеро — неважно) на одного?” Вмешался. Бившие разбежались. Спаситель и спасенный познакомились. Оказалось, что спаситель (Олег Шахматов) шел не куда-нибудь, а в “Смену” (газета такая была) на семинар начинающих литераторов. Пошли вместе» (Бродович О. Ося // Звезда. 2019. № 1. С. 189; отметим, что реальный контекст и время встречи, очевидно, нуждаются в уточнении; речь, видимо, идет не о получении первой зарплаты, а о получении расчета на заводе «Арсенал», где Бродский работал учеником фрезеровщика, а затем фрезеровщиком 3-го разряда с 11 апреля 1956 года по 28 декабря 1956 года: Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 28).

слов «литературное объединение») — представляли собой специфический социокультурный феномен послесталинского периода в СССР. Это были существовавшие при печатных изданиях, высших учебных заведениях или иных советских институциях литературные кружки, в которых начинающие авторы стихов и прозы под руководством «профессионалов» (то есть членов Союза советских писателей) учились «ремеслу» и входили в литературную жизнь. Генетически ЛИТО восходили к раннесоветской «идеологии мастерства», прокламировавшейся Горьким (а затем и Сталиным) с конца 1920-х до 1936 года (когда ее сменили требования «народности» и борьбы с «формализмом») и базировавшейся на утверждении необходимости для молодого поколения советских писателей учиться у «старых мастеров» — писателей с дореволюционным стажем, не всегда удовлетворявших требованиям коммунистической идеологии. В послесталинском СССР эта же идея (пусть и в трансформированном виде: старых мастеров заменили новые советские культурные кадры) стала основой для создания широкой сети кружков литературного мастерства.

По словам историка Петербурга—Ленинграда,

заметным явлением в культурной жизни Ленинграда выглядят многочисленные литературные объединения, появившиеся в конце 1950-х годов.... Литературные объединения... превратились не только в одну из самых распространенных форм вневузовской литературной учебы, но и в своеобразные молодежные творческие клубы... Литературные объединения предоставляли возможность знакомиться с новыми людьми, общаться, обмениваться информацией.

<...> Особенно яркий расцвет такая форма общественной жизни получила во времена так называемой хрущевской оттепели. Многочисленные литературные, поэтические объединения успешно функционировали при редакциях практически всех крупных городских журналов и газет, при дворцах и домах культуры, в институтах, на заводах и фабриках⁴.

По сути, речь идет о выстроенной Советским государством системе литобъединений, призванной поставить под контроль и формализовать активность так называемой творческой молодежи — начинающих авторов, пробующих себя в литературе и/или имеющих амбиции стать профессиональными писателями. Последнее, как известно, в СССР с 1934 года было возможно исключительно в рамках Союза советских писателей СССР (после 1956 года — Союз писателей СССР, далее СП) — институции, созданной по решению Сталина с целью монополизации литературной жизни и создания эффективного механизма идеологического контроля над ней. Лишь становясь членом СП (или аффилированными с ним структур вроде «профессиональной группы» при Литературном фонде СССР) литератор в Советском Союзе мог рассчитывать на регулярную публикацию своих текстов и, соответственно, на возможность жить литературным трудом — получая гонорары за опубликованные вещи. Такая практика фактически узаконивала сложившееся к началу 1930-х годов положение дел, при котором к введенной большевиками сразу после Октябрьского переворота 1917 года политической цензуре добавлялась цензура экономическая — по мере свертывания нэпа, сопровождавшегося сознательным удушением влас-

4 Синдаловский Н. Фольклор внутренней эмиграции. 1969-е—1970-е годы // Нева. 2013. № 7. С. 220–221.

тиями возникших в начале 1920-х годов частных (то есть формально независимых от государства) издательств и периодических изданий⁵, писатель в СССР лишился возможности профессионализации своего труда, если не декларировал полную политическую (а впоследствии и эстетическую) лояльность советской власти и ее социокультурным установкам. Создание СП и разработка механизма членства в нем формализовала ситуацию, при которой статусом «писателя» (или «поэта») обладал лишь автор, получивший соответствующую санкцию государства в виде кооптации в ряды членов СП. В афористическом виде эта беспрецедентная для русской культуры⁶ практика была выражена в ставшем знаменитым обращении судьи Савельевой к подсудимому Бродскому на процессе 1964 года: «Кто причислил вас к поэтам?»⁷, а также в диалоге между нею и Бродским, где Савельева неоднократно использует определение «так называемые» в отношении стихов Бродского:

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет⁸.

Членство в ЛИТО представляло собой некую промежуточную ступень между литератором с неофициальным статусом (чья легитимность отрицалась государством) и писателем — членом СП. В представлении властей функция ЛИТО едва ли не в первую очередь заключалась в своего рода «просеивании» литературной молодежи, в результате которого благонадежная, «идеологически выдержанная» ее часть получала возможность дозированных публикаций и впоследствии — при благополучном стечении обстоятельств — вступления в СП, а часть, проявившая себя как не готовая к компромиссам, склонная к политическому и эстетическому радикализму и, следовательно, «неблагонадежная» — отсеивалась как «недостойная» звания советского писателя и, по мысли властей,

-
- 5 См. об этом: *Блум А.В.* Частные и кооперативные издательства двадцатых годов под контролем Главлита: (По архивным документам 1922—1929 гг.) // Книга: Исследования и материалы. М.: Книжная палата, 1993. Сб. 66. С. 175—191.
 - 6 См. об этом: *Морев Г.* «Нет литературы и никому она не нужна»: К истории писательского самоопределения в России, 1917—1926 // *Un Radioso Avvenire? L'impatto della Rivoluzione d'Ottobre sulle scienze umane / A cura di E. Mari, O. Trukhanova, M. Valeri.* Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2019. P. 179—214.
 - 7 *Вигдорова Ф.* Право записывать. М.: АСТ, 2017. С. 212. Эти же представления до поры разделялись и в семье Бродского. Ср. в воспоминаниях Г.И. Гинзбурга-Воскова, относящихся к лету 1960 года: «...он [А.И. Бродский] прочел мне лекцию, что Иосифу надо работать, а не бить баклуши. Я говорю: “Александр Иванович! Иосиф — поэт!” И тут Александр Иванович выдал перл: “Какой он поэт! Поэт — это тот, кто в газете печатается!”» (Звезда. 2011. № 1. С. 112).
 - 8 *Вигдорова Ф.* Право записывать. С. 217. Ср. эксплицирующую логику советских инстанций формулировку в приговоре также формально осужденного народным судом в Москве в апреле 1966 года за «тунеядство» поэта Владимира Батшева, члена московской поэтической группы СМОГ и участника правозащитной демонстрации 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади: «В течение последних полутора лет Батшев не работал, а занимался так называемой литературной деятельностью, не являясь членом Союза писателей» (За что сослан Батшев? // Грани. 1967. № 63. С. 9—10). Механика дела Батшева и приговор (5 лет ссылки) идентичны делу Бродского. Батшев был так же, как и Бродский, освобожден досрочно (в 1968 году).

оставалась таким образом вне литературы. Забегая вперед, можно констатировать иллюзорность этих представлений: именно ЛИТО стали во многом той инстанцией, которая de facto разделяла поток литературной молодежи на будущих «официалов» (то есть авторов, кооптированных в советскую литературную систему) и «неофициалов/неформалов/нелегалов» (будущих создателей неофициальной советской литературы, вкладчиков самиздата и тамиздата).

Несмотря на партийную установку на «контроль», практика работы ЛИТО давала широкому кругу пишущих молодых людей уникальную в советских реалиях возможность относительно свободной творческой реализации в рамках признанной государством, но не слишком тщательно (в силу массовости участников) контролируемой им институции.

Лито и группы, с руководителями или без них, существовали во многих вузах города. Главным образом в технических: в Политехническом, Технологическом, Электротехническом... Дело в том, что в 1951—1953-м, в последние годы сталинского режима, в технических вузах идеологическое давление было чуть меньше, и туда шли, сознательно или инстинктивно, те, кто искал хотя бы минимума нерабства и недогматизма, в том числе — парадокс! — люди гуманитарного склада ума⁹.

В условиях недоступности для абсолютного большинства молодых авторов печатного станка особую ценность приобретала возможность «легализации» своих текстов путем публичного чтения — именно такие чтения, сопровождаемые критическим обсуждением товарищей, были основной формой работы ЛИТО. Часто из пределов собственно ЛИТО чтения выносились на более крупные общедоступные площадки — например, в домах культуры или больших институтских аудиториях.

Происходили общегородские вечера студенческой поэзии. В актовом зале Политехнического института. На первом таком вечере в ноябре 1954-го в течение трех часов больше тысячи студентов — и политехников и гостей — слушали нас, выступавших. Читали человек тридцать. Через год был второй такой вечер¹⁰.

Один из участников ленинградских ЛИТО 1950—1960-х годов Эдуард Шнейдерман вспоминал:

И тогда и в дальнейшем легализация написанного происходила почти исключительно через чтения — квартирные, в институтах и студенческих общежитиях, в поэтических кафе и НИИ. ...чтения были для нас едва ли не единственной возможностью познакомить многочисленных в ту пору любителей поэзии, жаждавших свежего поэтического слова, со своей работой. Ибо печатали — эпизодически, жалкие крохи...¹¹

9 Британишский В. Студенческое поэтическое движение в Ленинграде в начале оттепели // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 167—168. О роли ЛИТО в поэтическом движении в Ленинграде периода оттепели см. также: Lygo E. The need for new voices: Writers' Union policy towards young writers 1953—64 // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating cultural and social change in the Khrushchev era / Ed. by P. Jones. London; New York: Routledge, 2006. P. 193—208.

10 Британишский В. Студенческое поэтическое движение в Ленинграде в начале оттепели. С. 168.

11 Шнейдерман Э. Пути легализации неофициальной поэзии в 1970-е годы // Звезда. 1998. № 8. С. 194.

Именно как участник такого рода публичных поэтических чтений получил первую литературную известность юный Иосиф Бродский.

2

С.С. Шульц вспоминает о выступлении Бродского в феврале 1961 года на вечере молодых поэтов во Всесоюзном нефтяном геологоразведочном институте (ВНИГРИ) в Ленинграде:

Выступавших было довольно много — человек 15. И только во второй половине вечера ведущий объявил: «Иосиф Бродский!» Зал сразу зашумел, и стало ясно, что этого поэта знают и его выступления ждут. <...> Когда он кончил — мгновенное молчание, а потом — шквал аплодисментов. Крики с мест, показывавшие, что стихи его уже хорошо знали:

- «Одиночество»!
- «Элегию»!
- «Пилигримов»!
- «Пилигримов»!¹²

Не будет преувеличением сказать, что литературная известность двадцатилетнего Бродского носила во многом скандальный характер. Так, за год до чтения во ВНИГРИ, 11 февраля 1960 года, грандиозным скандалом закончилось его выступление на «турнире поэтов» в Доме культуры имени М. Горького, организованном ЛИТО «Нарвская застава». Бродский, не согласовав заранее с организаторами вечера, прочитал стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958). Это вызвало протест присутствовавшего в зале поэта Глеба Семенова, поддержанного частью аудитории. В ответ, по воспоминаниям Я.А. Гордина, Бродский демонстративно прочитал «Стихи под эпитафией» (1958; эпитафия гласил: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»)¹³. В результате возглавляемое поэтессой Натальей Грудиной жюри вынуждено было «выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места»¹⁴. В марте скандал вышел на уровень городского комитета партии. В центре внимания партийного руководства были, разумеется, не конкретные стихи Бродского, прочитанные на вечере, а созданный им прецедент *бесконтрольного* публичного выступления, сводивший на нет цензурскую функцию ЛИТО.

Вечер был подготовлен очень плохо. <...> [Читались] антисоветские произведения. Эти произведения не читались в литобъединении, и никто из руководителей о них не знал (курсив наш. — Г.М.). <...> Бюро Горкома осудило такую практику работы с молодыми¹⁵.

12 Шульц-мл. С. Иосиф Бродский в 1961—1964 годах // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель / Сост. Я. Гордин. СПб.: Звезда, 2003. С. 347.

13 Аналогичным образом этот эпизод освещен и в фельетоне А. Ионина, Я. Лернера и М. Медведева «Окололитературный трутень».

14 Гордин Я. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. С. 137.

15 Из выступления В.Б. Азарова на заседании бюро партийной организации ленинградского отделения СП 22 марта 1960 года: *Золотоносов М.Н.* Гадюшник. Ленинградская писательская организация: избранные стенограммы с комментариями (Из истории советского литературного быта 1940—1960-х годов). М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 672.

27 мая 1960 года эти же упреки в адрес организаторов вечера повторил на закрытом партсобрании секретарь партийной организации ленинградского отделения СП А.Н. Чепуров:

В отдельных случаях читались и пошлые, и прямо идейно сомнительные произведения! Здесь, конечно, виноваты и устроители — библиотека Дворца культуры и коммунисты из нашей комиссии по работе с молодыми. <...> По этому вопросу состоялось специальное решение горкома партии, которое обязывает Союз писателей усилить руководство кружками. Партийное бюро вместе с горкомом комсомола провело специальное совещание, посвященное состоянию работы в этих низовых литературных коллективах¹⁶.

Последующие попытки Бродского продемонстрировать свою поэтическую работу уже непосредственно на площадке Союза писателей также вели к конфликтам — 10 мая 1962 года на заседании секции поэзии Ленинградского отделения СП он читает только что законченную поэму «Зофья»; обсуждение текста вылилось в скандал, причем Бродский, по воспоминаниям одного из функционеров СП, поэта Николая Брауна, «демонстративно ушел с секции, уводя за собой целый хвост каких-то девиц и парней — своих друзей; иначе говоря, он отказался выслушать все то, что мы хотели сказать ему»¹⁷.

При этом, что существенно, Бродский, часто выступавший на площадках различных литературных объединений, формально не принадлежал ни к одному из них и, таким образом, с точки зрения партийного начальства оставался «абсолютно бесконтрольным»¹⁸. С одной стороны, он пользовался предоставлявшимися членам ЛИТО возможностями «опубликования» своих текстов, но с другой — демонстративно пренебрегал гласными и негласными правилами членства в ЛИТО, следование которым и давало кружковцам в перспективе надежду на легитимацию литературной деятельности в рамках СП, — прежде всего, отказываясь признавать за советскими литературными институциями право быть «обучающей» письму инстанцией. Эта специфическая репутация молодого Бродского, не вписывавшегося в устоявшийся контекст советской литературной жизни, зафиксирована в воспоминаниях А.Г. Наймана:

И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать¹⁹.

Оперативные данные, получаемые КГБ (очевидно, в рамках заведенного в отношении Бродского после ареста в январе 1962 года дела оперативной разработки, ДОР) — то есть донесения осведомителей КГБ из окружения Бродского — говорили о принципиальном характере занимаемой им позиции. В сочетании со все возрастающей известностью среди литературной молодежи это с точки зрения органов безопасности становилось неприемлемым — подтверждая выводы о политической неблагонадежности Бродского, сделанные

16 Там же.

17 Цит. по: Шнейдерман Э. Круги по воде (Свидетели защиты на суде над Иосифом Бродским перед судом ЛО Союза писателей РСФСР) // Звезда. 1998. № 5. С. 189.

18 Золотоносов М.Н. Гадюшник. С. 673.

19 Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Звезда, 1997. С. 32.

КГБ на основании полученных во время обыска 29 января 1962 года материалов (стихов и дневника Бродского 1956 года). Так, в справке начальника ленинградского КГБ В.Т. Шумилова (1964) при рассказе о поведении Бродского после ареста в начале 1962 года особо отмечалось, что

БРОДСКИЙ еще активнее стал распространять свои враждебные стихи среди молодежи. Среди определенной части молодежи о нем говорят как о «кумиде» подпольной литературы. В сентябре 1962 г. БРОДСКИЙ заявил (данные оперативные): «...Мне не нужно признание партийных ослов, у меня есть 50—60 друзей, которым нужны мои стихи»²⁰.

Характерно, что именно отказ от признания патронирующей функции ЛИТО (как официальной советской институции) ставился Бродскому в вину в написанном под диктовку КГБ фельетоне «Окололитературный трутень», публикация которого в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года сигнализировала о старте завершающего этапа операции КГБ по нейтрализации Бродского, в общих чертах продуманной, как мы показали в другом месте²¹, еще к лету 1962 года:

Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пищущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично²².

Ключевым элементом этой риторической конструкции, восстанавливающим актуальный для властей идеологический и политический контексты преследования Бродского, является (многократно повторенная в фельетоне) метафора «карабкаться на Парнас». Это словосочетание отсылало к «установочной» статье газеты «Известия» «Бездельники карабкаются на Парнас», опубликованной 2 сентября 1960 года. Написанная по заданию КГБ, статья заведующего литературным отделом «Известий» Ю.Д. Иващенко ставила целью дискредитацию издателя московского самиздатского журнала поэзии «Синтаксис» Александра Гинзбурга, к моменту выхода статьи арестованного и обвиненного в антисоветской деятельности, заключавшейся, по сути, в нарушении государственной монополии на публикацию. По меткому замечанию А.К. Жолковского, «недопустимыми были не сами тексты [“Синтаксиса”], а процесс и способ их издания. Власть над словом, которую монополистическая, тоталитарная власть просто не могла позволить никому другому»²³. Знаменательным образом редакторская деятельность Гинзбурга и творчество публикуемых им авторов, охарактеризованные как «бездельничанье», противопоставлялись в статье «настоящему» творческому «труду» (разумеется, в рамках официального советского искусства). Термин «тунеядство» в статье не употреблялся,

20 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 37.

21 См.: Морев Г. «Побег в Америку»...

22 Ионин А., Лернер Я., Медведев М. Окололитературный трутень // Вечерний Ленинград. 1963. 29 ноября. № 281. С. 3.

23 Александр Гинзбург: Русский роман / Авт.-сост. В. Орлов. М.: Русский путь, 2017. С. 74—75.

но можно констатировать, что в целом она находится в рамках идеологии, вскоре породившей такую юридическую новеллу, как указ от 4 мая 1961 года.

Бродский в статье Иващенко не упоминался. Однако в КГБ были прекрас-но осведомлены о его участии в «нелегальном журнале» Гинзбурга: в третьем номере «Синтаксиса», вышедшем в апреле 1960 года и посвященном ленинградской поэзии, были опубликованы пять стихотворений Бродско-го²⁴. По воспоминаниям Н.Е. Горбаневской, Бродский впоследствии называл Гинзбурга «мой первый издатель»²⁵ — публикация в «Синтаксисе», действи-тельно, была первой «институциональной» публикацией Бродского, «с гор-достью» демонстрировавшего в Ленинграде машинописный экземпляр жур-нала друзьям²⁶.

С «Синтаксисом» связана, однако, не только первая публикация Брод-ского, но и его первый контакт с органами госбезопасности. После ареста Гинз-бурга 14 июля 1960 года Бродский, как и многие другие авторы журнала, был вызван в КГБ «для беседы». По словам начальника ленинградского КГБ Шу-милова, «во время этой беседы Бродский вел себя вызывающе. Он был пред-упрежден, что если не изменит своего поведения, то к нему будут приняты более строгие меры»²⁷. Отсылка к истории с «Синтаксисом» в ленинградском фельетоне 1963 года, вкупе с информацией в справке Шумилова о контактах Бродского с «Синтаксисом» и «с группой московской молодежи, издававшей нелегальный литературный сборник “Феникс”»²⁸, показывает, что этот (идео-логически связанный с кампанией по «борьбе с туеядством») контекст не утратил актуальности для КГБ, усугубляя и без того в высшей степени проб-лемное положение Бродского после истории с несостоявшимся угоном само-лета и, вероятно, изначально определяя направление, выбранное госбезопас-ностью для удара по поэту.

Отказ Бродского считаться с официально утвержденной монополией СП на литературное признание базировался, с одной стороны, на бунтарском духе

24 «Еврейское кладбище около Ленинграда», «Пилигримы», «Стихи о принятии мира», «Земля» и «Дойти не томом...». Кроме стихов Бродского в третий номер «Синтаксиса» вошли стихи Д. Бобышева, Г. Горбовского, В. Голявкина, М. Еремина, С. Кулле, А. Кушнера, Е. Рейна, Н. Слепаковой и В. Уфлянда. В июле 1961 года «Пилигримы» и «Еврейское кладбище около Ленинграда» открывали московский самиздатский «Литературный альманах № 1», составленный В.С. Муравьевым и Г. Недгаром.

25 *Полухина В.* Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2 (1996—2005). СПб.: Звезда, 2006. С. 234.

26 По воспоминаниям И.П. Смирнова: *Полухина В.* Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 3 (2006—2009). СПб.: Звезда, 2010. С. 70.

27 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 35. К посещению Бродским Управления КГБ по Ленинградской области на Литейном проспекте, 4 (так называемый Большой дом) отсылает, очевидно, локализация в «Петербургском романе» (1961, гл. 7: «Литейный, бежевая крепость, / подъезд четвертый кГБ»). Встречающаяся в различных источниках информация о кратковременном аресте Бродского по делу «Синтаксиса» не соответствует действительности.

28 Там же. Л. 37. Сборник «Феникс» был составлен поэтом Юрием Галансковым весной 1961 года; Бродский в нем участия не принимал. В части, касающейся связей Бродского с московскими литературными кругами, справка Шумилова грешит ошибками в датах; не исключено, что информация о круге «Феникса» была добавлена в нее бесосновательно, с целью усугубления впечатления о широте антисоветских контак-тов Бродского.

одного из радикальных представителей «поколения 1956 года»²⁹, сформированного травмой от жестокого подавления осенью советскими войсками венгерского восстания против коммунистического правительства и тогда же решившего «не принимать» окружающий социум:

Однажды зимой 1958 г. мы возвращались с Бродским после вечерних занятий по домам, лежавшим на одной и той же городской оси, вися на подножке 47-го. Когда автобус вырулил на мост через Неву, Бродский прокричал мне: «Я решил не принимать». Грамматический объект назван не был. Но намек на фразу Маяковского, заявившего, что для него, как и для прочих московских футуристов, не стоял вопрос о том, принимать или нет большевистскую революцию, было не трудно расшифровать³⁰.

Другой причиной занятой Бродским по отношению к советской литературе непримиримой позиции стало обретение им альтернативных источников писательской легитимации.

Летом 1961 года³¹ Бродский познакомился с Анной Ахматовой.

3

Взаимоотношениям Ахматовой и Бродского, фактология которых суммирована Р.Д. Тименчиком³², посвящена обширная научная литература³³. Основ-

-
- 29 Ср. свидетельство Е.Г. Эткинды: «Сам Иосиф Бродский говорил, что решающее значение для формирования его личности имела Венгрия, 1956 г.» (1974; цит. по: История политического преступления: Сб. материалов и публикаций / Сост. Н. Лисицкая. СПб., 2004. С. 36). См. также данную в контексте разговора о Бродском автохарактеристику Н.Е. Горбаневской: «Наше поколение, поколение 56 года» (*Полухина В.* Бродский глазами современников. С. 96). Поэтическая формула отношения «поколения 1956 года» к венгерским событиям дана, например, в стихотворении Николая Шатрова «В пути» (1956): «Стуча железом по железу, / Мой поезд движется к Москве. / А в Будапеште Марсельезу / Поют в победном торжестве. // Зачем не мог я вместе с ними / Сквозь пули песню развернуть? / Стихами меткими моими / Прострелена России грудь. // Но чудо! Так пылает сердце, / Что расплавляется свинец. / За нас за всех поют венгерцы. / Советской музыке конец» (цит. по: *Орлов В.* «Я не стану просить заседательской жалости...»: К истории ареста Леонида Черткова // *Рема. Rhema.* 2020. № 4. С. 228).
- 30 *Смирнов И.П.* Свидетельства и догадки. СПб.: Звезда, 1999. С. 94. О свойственном «поколению 1956 года» крайнем антисоветизме см., например, свидетельство И.М. Губермана (кстати, привезшего из Ленинграда стихи Бродского для публикации в «Синтаксисе»: Александр Гинзбург: Русский роман С. 79; несколько лет спустя в своей книге «Третий триумvirат» (М.: Детская литература, 1965) Губерман поместит без указания автора отрывки из стихотворения Бродского «Стихи об испанце — Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами») об одном из наиболее ярких его представителей — Юрии Галанскове: «...о советской власти он говорил так, как все остальные о фашизме, утверждал, что наши функционеры не люди...» (Там же. С. 70).
- 31 Е.Б. Рейн называет дату 7 августа: *Рейн Е.* Сотое зеркало (Запоздалые воспоминания) // *Свою меж вас еще оставив тень...* М.: Наследие, 1992. С. 112. (Ахматовские чтения. Вып. 3).
- 32 *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // *И.А. Бродский: Pro et contra* / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова; предисл. А.Г. Степанова. СПб.: РХГА, 2022. Т. 2. С. 641—671.
- 33 Подробную библиографию см. в итоговой теме монографии Д.Н. Ахалкина «Иосиф Бродский и Анна Ахматова: В глухонемой вселенной» (М.: АСТ, 2021).

ным предметом дебатов при освещении этого сюжета является вопрос о природе влияния, которое личность и творчество Ахматовой оказали на молодого Бродского, — было ли это влияние поэтическим (литературным) или лежащим по преимуществу в сфере «человеческого».

Сам Бродский, говоря об отношениях с Ахматовой, многократно (хотя иногда и с оговорками) утверждал последнее, делая акцент именно на личности Ахматовой: «Не думаю, что она оказала на меня [литературное] влияние. Она просто великий человек», — сформулировал он в первом же публичном обращении к ахматовской теме в интервью лета 1973 года³⁴. Позднее, в 1986 году, в посвященном Ахматовой разговоре с Натальей Рубинштейн Бродский добавляет к уже сложившемуся у него к этому времени нарративу о знакомстве с Ахматовой (как известно, сама она называла такие устные мемуарные конструкции «пластинками») одну существенную деталь, позволяющую, как кажется, понять специфический контекст того «величия», о котором применительно к Ахматовой он всегда говорит.

На протяжении двух или трех месяцев... я продолжал наезжать в Комарово, либо сам, либо с кем-нибудь из моих друзей, и навещал Анну Андреевну. Но это носило характер скорее вылазок за город, нежели общения с великим поэтом. Во время этих встреч я показывал Анне Андреевне свои стихотворения, которые она хвалила, она мне показывала свои. То есть чисто профессиональный поэтический контакт имел место. Это действительно носило скорее характер поверхностный. Пока в один прекрасный день, возвращаясь вечером из Комарово в переполненном поезде, набитом до отказа — это, видимо, был воскресный вечер. Поезд трясло, как обычно, он несся на большой скорости, и вдруг в моем сознании всплыла одна фраза, одна строчка из ахматовских стихов. И вдруг я в какое-то мгновение, видимо, то, что японцы называют сатори или откровение, я вдруг понял, с кем я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг каким-то образом все стало понятным, значительным. То есть произошел некоторый, едва ли не душевный, переворот³⁵.

На уточняющий вопрос интервьюера, какая строчка имеется в виду, Бродский отвечает цитатой из «Пятой Северной элегии» Ахматовой: «Меня, как реку, / Суровая эпоха повернула».

Р.Д. Тименчик справедливо отмечает, что Бродского, «поклонявшегося Баратынскому», мог привлечь «выразительный стиховой перенос, кажется, nasledующий свою семантику из enjambement'ов Баратынского»³⁶. В то же время существенно, что «Пятая Северная элегия» (1945) — один из главных автометаописательных текстов Ахматовой, в центре которого стоит проблематика *поэтической биографии* в том специфическом ракурсе, какой придавали ей

34 Муза в изгнании. [Интервью Анн-Мари Брум] / Пер. с англ. Л. Бурмистровой // Бродский И. Книга интервью / Сост. В. Полухиной. М.: Захаров, 2007. 4-е изд., испр. и доп. С. 38. Впервые: Mosaic: A Journal for the Comparative Study of Literature and Ideas. 1974. Vol. VIII. No. 1.

35 Иосиф Бродский: «Ахматова учит сдержанности» // BBC News. Русская служба*. 2015. 23 мая. Текст интервью в сокращении см.: Два радиointервью с Иосифом Бродским // Иерусалимский журнал. 2001. № 9. С. 169—171.

* Включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

36 Тименчик Р. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. М.; Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2014. 2-е изд., испр. и расш. Т. 1. С. 360.

обстоятельства российской истории после 1917 года, где Поэт оказывался не только противопоставлен пореволюционной «суровой эпохе», но и «объективно» становится ее жертвой («мне подменили жизнь»). При этом финальной (и главной) смысловой точкой стихотворения Ахматовой является ее кажущийся парадоксальным отказ от признания себя исключительно объектом государственного насилия и утверждение своей *победительной субъектности*³⁷ и неповторимой *ценности* (в том числе творческой) сложившейся во враждебных обстоятельствах биографии, противопоставленной абстрактно-благополучной «несостоявшейся жизни» («Но если бы откуда-то взглянула / Я на свою теперешнюю жизнь, / Узнала бы я зависть, наконец...»). Представляется, что именно понимание внешних обстоятельств как материала, в противоборстве с которым (во многом таинственно) строится неординарная биография Поэта, сохраняющего независимость — личностную и творческую — и вопреки всему утверждающего таким образом свое «величие», привлекло молодого Бродского (после 1956 года сделавшего, как мы помним, выбор в пользу отказа от принятия советских «правил игры») в этом тексте и — шире — в фигуре Ахматовой. Она стала для него персонификацией фигуры Поэта («великого поэта») в традиции, актуальной для русской культуры со времен Пушкина — как некоей высшей нравственной инстанции, равной верховной власти и ведущей с ней (зачастую полемический) диалог. Обучение языку этого диалога и стало для Бродского важнейшим уроком, полученным им у Ахматовой, — и именно об этом, как представляется, он говорил, вспоминая Ахматову, Соломону Волкову:

Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя — от того душевного, духовного — да не знаю уж как там это называется — уровня, на котором находился — от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она³⁸.

37 Характерно акцентирование Ахматовой этого же качества в ее концепции социальной биографии Пушкина: «Он победил и время и пространство» («Слово о Пушкине», 1961; опубл.: Звезда. 1962. № 2). Современники с готовностью считывали эти авторопроекции — думается, именно с учетом ахматовских слов о Пушкине сделана 24 ноября 1962 года дневниковая запись К.И. Чуковского: «Сталинская полиция разбила об Ахматову... Обывателю это, пожалуй, покажется чудом — десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками — напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников» (*Чуковский К. Дневник (1930—1969) / Сост., подгот. текста, коммент. Е.Ц. Чуковской. М.: Современный писатель, 1994. С. 328*). Эксплицированный Чуковским актуальный политический подтекст слов Ахматовой о Пушкине был прозрачен и для властей — уже в следующем, 1963-м, году попытка А.И. Гитовича печатно повторить со ссылкой на Ахматову ее тезис «Императоры уходят, а поэзия остается» встретила противодействие цензуры (см.: *Тименчик Р. Последний поэт. Т. 1. С. 326*). Ср. также название первоначально — в последние годы жизни Ахматовой — предполагавшейся А.В. Белинковым в составе задуманной им трилогии о судьбах русской интеллигенции в ее противостоянии советскому режиму книги о ней — «Победа Анны Ахматовой» (*Белинков А. Победа Анны Ахматовой: Из незавершенной книги // Новый Колокол: лит.-публицист. сб. Лондон: The New Bell, 1972. С. 422*). «Можно с гордостью констатировать, что победила Ахматова, а не Жданов», — подводил итог в 1967 году Ю.П. Анненков (*Анненков Ю.П. Об Ахматовой в СССР // Возрождение. 1967. № 184. С. 128*).

38 *Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. С. 256.*

Именно влиянием поведенческого языка Ахматовой определяются, на наш взгляд, сложившиеся у Бродского как раз в годы общения с ней ключевые нравственно-эстетические принципы — отказ «чувствовать себя жертвой»³⁹, отказ от «драматизации» угнетающих внешних обстоятельств⁴⁰ и признание «независимости» высшей ценностью⁴¹. Отношение к Ахматовой как к обладающему полнотой Знания учителю зафиксировано в письме Бродского Я.А. Гордину от 20 ноября 1964 года — советуя Гордину показать Ахматовой рукопись о декабристах, он замечает: «Она знает (и) об этом больше всех»⁴². В 1990 году Бродский подытожит: «Ей я обязан девяноста процентами взглядов на жизнь»⁴³.

Характерно, что вызвавшее у поэта «душевный переворот» стихотворение Ахматовой, написанное в 1945 году, в момент чтения его Бродским не было опубликовано⁴⁴. Ситуация как бы наглядно воспроизводила для молодого автора целостную картину существования поэзии в СССР — ранее нарисованную самой Ахматовой (чьи слова задокументировал сексот госбезопасности): «Участь русской поэзии — быть на нелегальном положении. Печатают макулатуру — Симонова, а Волошина, Ходасевича, Мандельштама — нет»⁴⁵.

Все это не могло не оказать самого существенного воздействия на выбор Бродским модели литературного поведения; огрубляя, этот выбор может быть описан так: или «быть на нелегальном положении», как Ахматова, или идти путем заурядного советского стихотворца, пробиваясь в печать с помощью компромиссов. Для двадцатилетнего Бродского ответ был очевиден.

4

Социокультурный выбор, осуществленный Бродским и еще несколькими ленинградцами (Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом, Евгением Рейном), составившими в 1961—1964 годах ближайшее литературное окружение Ахматовой (называвшей эту группу молодых поэтов «волшебным хором»⁴⁶ и соотносившей ее с группой акмеистов, к которой когда-то принадлежала она сама⁴⁷), находил ощутимую поддержку с ее стороны. По воспоминаниям А.Г. Наймана, «Ахматова однажды назвала нас “аввакумовцами” — за неже-

39 Мейлах М. Поэзия и миф: Избранные статьи. М.: Языки славянской культуры, 2017. С. 836 («Т.М. Литвинова... вспомнила, среди прочего, что в критический момент жизни Павла Литвинова, когда тому грозил арест (в конце 1967 — начале 1968 года. — Г.М.), Бродский просил ее передать ему пожелание — “не чувствовать себя жертвой”»).

40 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 76.

41 «Будь независим. Независимость — лучшее качество, лучшее слово на всех языках» (из письма Я.А. Гордину от 13 июня 1965 года: Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010. 27).

42 Архив Я.А. Гордина (СПб.).

43 Бродский И. Книга интервью. С. 521 (впервые: Неделя. 1990. № 9).

44 Впервые (в сокращении) опубликовано: Литературная Россия. 1964. 24 января. С. 15.

45 Цит. по: Калугин О. Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература: На опыте России и Германии (СССР и ГДР). М.: Рудомино, 1994. С. 76.

46 Иосиф Бродский: «Ахматова учит сдержанности».

47 Ср. дневниковую запись Томаса Венцловы, зафиксировавшую слова Ахматовой: «Поэты круга Бродского — одна школа, как были когда-то мы, акмеисты» (Венцлова Т. Статьи о Бродском. М.: Новое издательство, 2005. С. 136).

вание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союза писателей»⁴⁸.

Ситуация этико-политического выбора, в которую были поставлены и Бродский, и остальные члены «волшебного хора», имела для Ахматовой свойства автопроекции — после большевистского переворота 1917 года ей самой пришлось делать подобный выбор, причем уникальная позиция «самоустранения... из [советской] литературной жизни»⁴⁹, которую она окончательно заняла к середине 1920-х годов, характеризовалась беспрецедентным для тогдашних писательских кругов радикализмом, распространявшимся и на участие в официальных литературных институциях. В 1929 году в знак протеста против травли Е.И. Замятина и Б.А. Пильняка Ахматова выходит из Всероссийского союза писателей. В 1934 году она — *единственная* из сколько-нибудь заметных писателей, живущих в СССР, — не подает заявления на вступление в создаваемый Сталиным Союз советских писателей⁵⁰. Несмотря на некоторое формальное смягчение (вызванное инициативами власти в 1939 году) этой позиции, Ахматова вплоть до конца жизни сохраняет внутреннее дистанцирование от официального литературного мира, даже в биографии Мандельштама, позиционируемого ею с конца 1950-х годов в качестве ближайшего литературного соратника, отказываясь принимать и понимать его усилия по интеграции в СП в 1937—1938 годах⁵¹. Политическая составляющая ее влияния на Бродского эксплицировалась самой Ахматовой в дружеском кругу (в контексте преследований молодого поэта властями): «Будут говорить: он антисоветчик, потому что его воспитала Ахматова. “Ахматовский выкормыш”»⁵².

Определяющее для дальнейшей судьбы Бродского и для его (само)позиционирования в литературном поле 1960-х годов влияние патронажа Ахматовой — с одной стороны, со всей присущей ей системой политических и эстетических пристрастий и с другой — с выработанной ею уникальной моделью автономного существования в советской литературе — становится особенно отчетливо на фоне одновременно развивающихся литературных карьер его

48 *Найман А.* Рассказы о Анне Ахматовой. М.: Художественная литература, 1989. С. 73.

49 *Морев Г.* Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии (1920—1930-е годы). М.: Новое издательство, 2022. С. 59. Подробнее о литературной позиции Ахматовой в 1920—1940 годы см.: Там же. С. 51—64.

50 «Заявления о принятии в СП написали буквально все писатели. Не осталось ни одного писателя, за исключением Анны Ахматовой, которые не подали бы заявления в Союз. Только она одна не подала такого заявления», — докладывал 15 августа 1934 года секретарь Оргкомитета СП П.Ф. Юдин высшему партийному руководству страны в лице ответственного за подготовку съезда писателей секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова (*Максименков Л.* Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932—1946) // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 247). Сама Ахматова, сколько можно судить, не делала разницы между советскими писательскими институциями разных лет: «Когда в 29 году началась травля Евгения Ивановича Замятина, я вышла демонстративно из Союза, вернулась туда только в 40-м году», — говорила она Л.В. Шапориной в 1947 году, после ее исключения из СП в 1946-м (*Шапорина Л.* Дневник / Вступ. статья В.Н. Сажина, подгот. текста, коммент. В.Ф. Петровой и В.Н. Сажина. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Т. 2. С. 38).

51 «Непонятым упорством» называет Ахматова в воспоминаниях о Мандельштаме его усилия по организации авторского вечера в СП в 1937 году («Листки из дневника»; подробнее см.: *Морев Г.* Осип Мандельштам. С. 204).

52 *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 2013. Т. 3 (1962—1965). С. 116 (запись от 2 декабря 1963 года).

сверстников и знакомых, также пользовавшихся поддержкой авторитетных фигур из числа советских классиков с дореволюционным «стажем». Прежде всего мы имеем в виду молодого (на четыре года старше Бродского) ленинградского поэта Виктора Соснору⁵³.

Спустя два дня после того, как органы милиции по предписанию КГБ вынесли Бродскому «предупреждение о трудоустройстве», 21 июля 1962 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась анонимная заметка о выходе в Ленинграде нового поэтического сборника — «Первая книга поэта-слесаря»:

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» выпустило первую книгу стихов Виктора Сосноры «Январский ливень».

Автор работает слесарем на Невском машиностроительном заводе имени В.И. Ленина. Известный советский поэт Николай Асеев написал в предисловии: «Соснора привлек мое внимание стихами, не похожими на обычные, часто печатаемые». И действительно, читатель найдет в книге поэзию своеобразную, самобытную, хотя голос поэта подчас резковат.

Второй раздел книги, названный «За Изюмским бугром», написан по мотивам «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве»⁵⁴.

Этот газетный текст с замечательной полнотой описывает сценарий литературной легитимации, полностью противоположный выбранному Бродским.

Начать с того, что отчетливо педалируемая (вынесенная в заголовок заметки) социальная идентификация молодого поэта как «слесаря» призвана снять вопрос, оказавшийся (с подачи КГБ) роковым для Бродского: на момент публикации первой книги Соснора, состоявший в руководимом Д.Я. Даром ЛИТО «Голос юности», еще не был членом СП⁵⁵ и, в соответствии с советской идеологией, не мог обозначаться просто как «поэт» — эту квалификацию давала лишь кооптация в ряды советских писателей, то есть членство в их официальном союзе. «Самозванное» (то есть не санкционированное государством), как в случае Бродского, причисление себя к литераторам, подлежало общественному осуждению и наказанию — в таком случае с точки зрения властей оно служило лишь маскировкой социального паразитизма («тунеядства»).

Эти правила советского литературного быта хорошо понимал избранный Соснорой «патроном» и сыгравший ключевую роль в издании «Январского ливня» Н.Н. Асеев — один из ветеранов советской поэзии (сверстник Ахматовой), начинавший в 1910-е годы как футурист, впоследствии, однако, по стремящемуся к академической беспристрастности замечанию М.Л. Гаспарова, «сознательно ушедший на подчиненную роль при Маяковском, а потом быст-

53 Личные отношения Бродского и Сосноры, завязавшиеся около 1960 года (17 февраля 1960 года Соснора вместе с Бродским участвовал в «турнире поэтов» в ДК имени М. Горького; см. также воспоминания Д. Шраера-Петрова о драке Бродского и Сосноры на свадьбе последнего: *Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников*. Кн. 2. С. 162), носили, сколько можно судить, неблизкий характер, продолжаясь, однако, до самого отъезда Бродского из СССР (см.: *Кельмович М. Иосиф Бродский и его семья*. М.: АСТ, 2015. С. 34).

54 Вечерний Ленинград. 1962. 21 июля. С. 3. Речь идет о книге: *Соснора В.А. Январский ливень: стихи*. М.; Л.: Советский писатель. Ленингр. отд-е, 1962.

55 Он будет принят в Союз писателей в 1963 году.

ро обессилевший в языковом бесчувствии новой эпохи»⁵⁶ и в этом качестве ставший лауреатом Сталинской премии (1941).

С констатации:

...с 1958 г. по сей день Соснора слесарь Невского Машиностроительного завода имени Ленина. Трудная биография и трудные стихи, также разнородные, как и переброска с места на место в годы детства. Трудный путь комсомольца-слесаря в литературу⁵⁷, —

начинает Асеев свою внутреннюю рецензию на книгу Сосноры, обосновывая в полном соответствии с идейными установками компартии ценность стихов молодого автора его социальным происхождением и опытом.

Как видим, использованный Асеевым, давно и полностью принявшим установленные советской властью «правила игры» в литературе, метод протектирования молодому поэту оказался чрезвычайно эффективным. По замечанию Льва Лосева, Соснора (по сравнению с Бродским) «решительнее экспериментировал с литературными формами»⁵⁸ — и газетная оговорка «голос поэта подчас резковат» подразумевает именно этот, восходящий к (канонизированному еще в 1936 году Сталиным) Маяковскому «советский авангардизм». Однако для официальной литературной системы он был (пусть и с оговорками) допустимее более консервативной, но зато отягощенной независимым от общественных конвенций поведением поэтики Бродского, ориентировавшегося, в свою очередь, на уникальный опыт «асоветского» существования Ахматовой, для которой реализуемые Асеевым сценарии литературного патронажа были неприемлемы.

5

Одной из составляющих ахматовской поддержки бескомпромиссности «аввакумовцев» было демонстративное противопоставление Бродского, уже к 1962 году выделяемого Ахматовой из этого круга в качестве бесспорного лидера, — молодым корифеям тогдашней «официальной» поэтической сцены в СССР, в первую очередь Евгению Евтушенко и Андрею Вознесенскому. Таким образом, к Ахматовой восходит сыгравшая, как мы увидим далее, в литературном и биографическом самоопределении Бродского немаловажную роль тема его «соперничества» с этими вождями оттепельной советской поэзии.

Сам Бродский позднее вспоминал об этом так:

Единственное отталкивание, которое имело место быть [у Ахматовой], это отталкивание от молодых людей в Москве, которые, как ни горько и ни стыдно, представляли русскую поэзию за рубежом в то время. И были весьма популярны как, впрочем, они и сейчас популярны среди молодежи. Я имею в виду Евтушенко и Вознесенского⁵⁹.

56 *Гаспаров М.Л.* Семен Кирсанов, знаменосец советского формализма // Кирсанов С.И. Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста и примеч. Э.М. Шнейдермана. СПб.: Академический проект, 2006. С. 9.

57 *Лоцилов И.Е., Соснора Т.В.* Асеев о Сосноре — Соснора об Асееве: К эдиционной истории книги «Январский ливень: Стихи» (1962) // Восемь великих / Отв. ред. Ю.Б. Орлицкий. М.: РГГУ, 2022. С. 553.

58 *Лосев Л.* Иосиф Бродский. С. 137.

59 Иосиф Бродский: «Ахматова учит сдержанности».

В этот период Ахматова, всегда внимательная к биографическому тексту, особенно увлечена вопросами литературной биографии и связанной с ней проблемой места в поэтической иерархии — прежде всего, применительно к себе самой и к Осипу Мандельштаму, чья поэзия после многолетнего перерыва возвращалась тогда к читателю. С точки зрения Ахматовой, ее литературный путь, искаженный, с одной стороны, цензурными запретами в СССР, а с другой — эмигрантской дезинформацией и непониманием, нуждается в «правильном» освещении, возможном только при сохранении ее контроля над необходимой для этого информацией. Этот же принцип, впоследствии взятый, по нашему мнению, именно с подачи Ахматовой на вооружение Н.Я. Мандельштам, используется ею при подходе к восстановлению места Мандельштама в русской литературе. Но если работа по автоканонизации и канонизации Мандельштама есть, в сущности, *ретроактивное* исправление ошибок прошлого, то литературная биография Иосифа Бродского, разворачивающаяся на глазах, становится для Ахматовой полем *синхронного* развития этой биографии приложения усилий по новому, представляющемуся ей справедливым, картографированию литературного поля.

Как замечает Р.Д. Тименчик, блокноты Ахматовой, откуда она читала вслух и давала в копиях стихотворения молодого поэта своим литературным знакомым, «послужили в известном смысле каналами распространения текстов Бродского»⁶⁰. Помимо этого она становится своего рода проводником поэзии Бродского в «большую печать»⁶¹: впервые поэтическая строка Бродского в сопровождении «говорящих» посвященным инициалов «И.Б.» опубликована в качестве эпитафии к стихотворению «Последняя роза» в январском номере «Нового мира» за 1963 год⁶², где подборка Ахматовой соседствует со ставшими литературной сенсацией рассказами Александра Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Ситуация, беспрецедентная в истории русской литературы: первое обозначение в печати молодого автора происходит в статусном обрамлении текстов живого классика. Современниками этот жест был прочитан как наименование Ахматовой своего «избранника» — поэтического преемника⁶³.

60 Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой. С. 645.

61 Эткин Д. Е. Процесс Иосифа Бродского. London: OPI, 1988. С. 37. Формальным литературным дебютом Бродского стала публикация «Баллады о маленьком буксире» в журнале для детей «Костер» (1962. № 11. С. 49).

62 Речь идет о строке «Вы напишете о нас наискосок» из стихотворения Бродского «А.А. Ахматовой» («Закричат и хлопнут петухи...», 1962). Оттиск новомирской публикации был подарен Ахматовой Бродскому с инскриптом: «Кесарю — кесарево. Иосифу Бродскому А.А.А.» (фотокопию инскрипта см.: Ахалкин Д. Иосиф Бродский и Анна Ахматова. С. 221). В позднейших советских изданиях Ахматовой эпитафия не воспроизводилась по цензурным причинам; однако в составленном самой Ахматовой томе переводов на болгарский язык, вышедшем в 1967 году, присутствуют и эпитафия и полное имя автора (см.: Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы: Сб. научных трудов. Л.: ГПБ, 1989. С. 200).

63 Такое утверждение на основании «новомирского» стихотворения Ахматовой с эпитафией из Бродского делает в конце 1964 года Р.Н. Гринберг, см.: Воздушные пути: Альманах IV / Ред.-изд. Р.Н. Гринберг. Нью-Йорк, 1965. С. 5 (здесь же впервые печатно раскрыто имя Бродского как автора взятой Ахматовой в качестве эпитафии строки). О впечатлении, произведенном жестом Ахматовой, «опубликовавшей» строку из

Именно Ахматова становится той авторитетной литературной инстанцией, которая инициирует использование применительно к Бродскому номинаций «первого поэта» и «гения». Происходит это прежде всего в полемическом контексте противопоставления Бродского популярным советским авторам (и несмотря на известный первоначальный скептицизм ахматовской аудитории):

Стихи И. Бродского. Как-то я все не могу поверить, что Бродский гений, хотя Анна Андреевна это и утверждает⁶⁴.

...она мне очень пренебрежительно говорила о Евтушенке, очень пренебрежительно об Ахмадулиной... <...> И потом сказала: «А вот великий поэт — Бродский»⁶⁵.

Летом 1963-го Ахматова роняет такую фразу: «Вы даже представить не можете, какой расцвет поэзии ожидает Россию». Я спрашиваю: «Ну а кто, какие поэты, как вы считаете?» — «Бродский». — «А еще кто?» — «Бродский. Разве этого недостаточно?»⁶⁶.

Бродского считала лучшим поэтом. <...> Я высоко ценю Евтушенко и Вознесенского, признался ей в этом. Ахматова не оспаривала их талант, но сказала, что рядом с Бродским таких поэтов как бы и нет⁶⁷.

Впервые о поэте Бродском мы услышали от Анны Ахматовой. «Как, вы не знаете нашего премьера?» — спросила она с удивлением и нежностью⁶⁸.

Дочь эмигранта Г.М. Воронцова-Вельяминова сообщила о разговоре июля 1965 года: «На его вопрос о том, кто, по ее мнению, лучший из молодых поэтов, она ответила не Евтушенко и Вознесенский, а Бродский. Бродский тогда был мало известен на Западе, да и в России тоже»⁶⁹.

Последняя фраза, точно отражающая социокультурную ситуацию 1960-х годов, указывает на важнейший элемент конструируемого Ахматовой нарратива о новом «первом поэте» России — где, с одной стороны, присутствует санкционированная авторитетом Ахматовой высшая степень поэтического признания (неизбежно актуализирующая в русской традиции пушкинские коннотации⁷⁰),

стихов Бродского, на тогдашнюю литературную молодежь вспоминает Томас Венцлова: «Помню, что эта первая публикация Бродского — хорошо известного к тому времени подпольного поэта — тогда стала едва ли не главным предметом разговоров в неофициальных литературных кругах» (Венцлова Т. Статьи о Бродском. С. 136).

64 Глэкин Г. Что мне дано было...: Об Анне Ахматовой / Сост., подгот. текста, вступ. статья, коммент. Н.Г. Гончаровой. М.: Экон-Информ, 2011. С. 225 (запись от 4 ноября 1963 года).

65 Свидетельство М.Д. Вольпина: Анна Ахматова в записях Дувакина / Подгот. текстов В.Ф. Тейдер, В.Б. Кузнецова, М.В. Радзишевская. М.: Наталис, 1999. С. 278.

66 Воспоминание В.Б. Кривулина: *Полухина В.* Бродский глазами современников. С. 173.

67 Г.В. Адамович о встрече с Ахматовой в Париже в 1965 году: *Тименчик Р.* Последний поэт. С. 453.

68 Орлова Р. Воспоминания о непростедшем времени. М.: Слово, 1993. С. 303.

69 Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой. С. 646.

70 Ср.: «Соответствие современного поэта Пушкину естественным образом устанавливалось через титул “первого поэта”» (*Паперно И.* Пушкин в жизни человека Серебряного века // *Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age* / Ed. by V. Gasparov, R.P. Hughes, I. Paperno. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1991. P. 32).

а с другой — резко контрастирующая с ней советская реальность, не признающая за подобным механизмом негосударственной/неофициальной канонизации никакой легитимности. Это культурное, социальное и в конечном счете политическое противостояние можно символически персонифицировать в виде формулы: *Ахматова vs. судья Савельева*, где имя Ахматовой будет репрезентировать представление о Бродском как о «Пушкине нашего века»⁷¹, а фамилия судьи — напоминать о том, что с точки зрения государства и подавляющего большинства читающей публики в СССР такого поэта не существует.

Это драматическое напряжение, возникшее на самом раннем этапе писательского пути Иосифа Бродского, будет определять его литературную биографию всего советского периода.

6

Столь заметная человеческая и литературная приязнь со стороны Ахматовой, разумеется, не могла не повлиять на самоощущение молодого Бродского. Важнейшим следствием знакомства с Ахматовой стало формирование у него обширной «стиховой «ахматовианы»»⁷² — серии поэтических обращений к старшему поэту, начатой в июне 1962 года стихотворным подношением ко дню рождения («А.А. Ахматовой» [«Закричат и захлопочут петухи...»]), строка из которого, напомним, через полгода будет использована ею в качестве эпиграфа, впервые печатно обозначившего присутствие имени Бродского в русской поэзии.

Поэтический диалог с автором, который, подобно Ахматовой в 1960-е годы, воспринимается современниками как (живой) завершитель некоей художественной традиции, уже не принадлежащей современности («последний поэт», в терминологии Тименчика⁷³), создавая небанальную коммуникативную ситуацию, очевидным образом сигнализирует о свойственном «адресанту» чувстве литературного «преемничества». У Бродского это чувство осложнено, как справедливо отмечает Г.А. Левинтон, «непосредственным ощущением бли-

71 Определение из неоконченной шуточной пьесы друга Бродского Л.Н. Черткова «Пронский» (1964; *Орлов В.* «Я не стану просить заседательской жалости...»: К истории ареста Леонида Черткова. С. 254). Несмотря на иронический характер этой характеристики, здесь, как и в случае характеристики Бродского как «еврейского Пушкина» (1964; слова матери преследовавшего поэта ленинградского писателя Е.В. Воеводина: *Гордин Я.* Память и совесть, или Осторожно — мемуары! // *Знамя.* 2005. № 11. С. 205), имеет место пусть и полемически заостренное, но в целом адекватное отражение представлений о статусе Бродского в близких ему литературных кругах Ленинграда и Москвы первой половины 1960-х годов.

72 *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой. С. 650. Состав и обстоятельства создания «ахматовианы» Бродского, отложившейся в архиве Ахматовой, впервые исследованы в работе: *Крайнева Н.И., Сажин В.Н.* Из поэтической переписки А.А. Ахматовой. С. 191—202.

73 «У этой фракции читательского сообщества (к которой в 1960-х годах принадлежал автор и его друзья. — *Г.М.*) было отчасти даже горделивое осознание присутствия при жизни последнего на излете череды вычитаний великого русского поэта. Было смутное ощущение, и для меня оно впоследствии подтвердилось, что будут еще замечательные стихи, достойные внимания и уважения фигуры, веселые и солидные имена, но та, собственно великая русская поэзия, от хотинской оды до «Поэмы без героя», кончилась» (*Тименчик Р.Д.* Последний поэт. Т. 1. С. 10—11).

зости, причастности, непрерывности не поэтической традиции, а самого существования “поэтов всех времен” (по выражению Кюхельбекера)»⁷⁴. Последнее объясняет, в частности, и то, почему в диалоге с Ахматовой для Бродского оказываются важны не поиск стилистических сходств, свидетельства «литературного влияния» и т.п., но прежде всего манифестация (исторической) общности судеб:

Разделенье не жизнью, не временем,
за пространством с кричащей толпой,
разделенье не болью, не бременем
и хоть странно, но все ж не судьбой⁷⁵.

(Эти строки Ахматова безошибочно выделит в качестве смысловой доминанты посвящения Бродского, процитировав их в одном из своих блокнотов в 1963 году:

Иосифу Бродскому
от третьего петербургского сфинкса
на память
24 марта
1963
Комарово
И.Б.
Разделенье не болью не бременем
и хоть странно, но все ж не судьбой.
А. <...>⁷⁶)

Маркером такой биографической общности не в последнюю очередь является для Бродского проблемный статус поэта в окружающем социуме («Не услышу я шуршания колес, / уносящих Вас к заливу, к деревьям, / по Отечеству без памятника Вам» («А.А. Ахматовой», 1962)).

Для Бродского важна здесь вписанность в определенный, соотносящийся с именем Ахматовой поэтический ряд, оказывающийся, что самое существенное, внеположным по отношению к советской современности с ее рестриктивным, политически ангажированным — и, как следствие, чрезвычайно обедненным — пониманием мировой культуры. Следствием такого генезиса поэзии Бродского — а не «содержания» его стихов — становится восприятие ее официальными литературными (и политическими) кругами как «несоветской»: «непонятность корней [поэзии Бродского] ведет к ощущению чуждости, а значит — к [ощущению] враждебности», отмечал, говоря в 1974 году об отношении к Бродскому властей, Е.Г. Эткинд⁷⁷.

74 Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: Творчество. Личность. Судьба. Итоги трех конференций. СПб.: Звезда, 1998. С. 200.

75 «А.А. Ахматовой» (24 июня 1962 года); цит. по: Крайнева Н.И., Сажин В.Н. Из поэтической переписки А.А. Ахматовой. С. 195.

76 Там же. С. 196. Запись сделана Ахматовой в ее блокноте «Библиография 1909—1964» (благодарим Р.Д. Тименчика за описание источника записи Ахматовой).

77 Е.Г. Эткинд, рукописный отзыв на статью М. Хейфеца «Иосиф Бродский и наше поколение» (1973): История одного политического преступления. С. 35.

Не случайно обращение Бродского к классическому для реализации этой установки жанру *in memorem* косвенно связано с именем Ахматовой. Речь идет о первом у Бродского тексте «на смерть поэта», обращенном к Роберту Фросту, о смерти которого он узнал в конце января 1963 года в Комарове и которого считал «единственным из всех зарубежных [поэтов], похожим на Ахматову»⁷⁸. В августе 1962 года Ахматова встречалась с Фростом во время пребывания того в Ленинграде и рассказывала Бродскому об этой встрече⁷⁹.

Значит, и ты уснул.
 Должно быть, летя к ручью,
 ветер здесь промелькнул,
 задув и твою свечу.
 Узнав, что смолкла вода,
 и сделав над нею круг,
 вновь он спешит сюда,
 где дым обгоняет дух.

Позволь же, старик, и мне,
 среди мертвых финских террас,
 звездам в моем окне
 сказать, чтоб их свет сейчас,
 который блестит окрест,
 сошел бы с пустых аллей,
 исчез бы из этих мест
 и стал бы всего светлей
 в кустах, где стоит блондин,
 который ловит твой взгляд,
 пока ты бредешь один
 в потемках... к великим... в ряд⁸⁰.

Текст Бродского «На смерть Роберта Фроста» (30 января 1963 года), очевидно не вполне удовлетворивший поэта (он никогда не печатал этих стихов), интересен прежде всего как «первый шаг к регулярному приему соположения в стихах Бродского голосов русской и мировой поэзии»⁸¹ (причем в числе первых явственно обозначено присутствие самого автора⁸²) и как место появления поэтической формулы «к великим в ряд», обозначающей (посмертное) присоединение поэта к сонму выдающихся предшественников.

Эта принципиальная для Бродского установка, закрепленная в 1965 году стихами «На смерть Т.С. Элиота», оказывается «объективно» (то есть, как представляется, без специального авторского умысла) близка пониманию поэзии акмеизма как «тоски по мировой культуре»⁸³, разделяемому Ахмато-

78 *Верхейл К.* Танец вокруг мира: Встречи с Иосифом Бродским. СПб.: Звезда, 2002. С. 14.

79 См. подробнее: *Ахапкин Д.* Иосиф Бродский и Анна Ахматова. С. 123—124.

80 Цит. по: *Ахапкин Д.* Иосиф Бродский и Анна Ахматова. С. 230.

81 Там же. С. 129.

82 Ср. убедительное предположение Д.Н. Ахапкина о присутствии в тексте стихов на смерть Фроста «alter ego автора, его двойника, призрака» (Там же. С. 128).

83 Формулировка, появляющаяся в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме («Листики из дневника») со ссылкой на свидетельство А.И. Гитовича, относящего ее к вы-

вой, и «синхронистическому» восприятию истории ею (и Мандельштамом), когда «существует некий высший уровень, на котором ось последовательности транспонируется в серию актуально сосуществующих явлений, принадлежащих современности и улавливающих будущее, как слово — смыслы»⁸⁴.

Стихи на смерть Элиота предсказуемо встречают чрезвычайно лестную оценку Ахматовой («Мне даже светло от мысли, что они существуют», — пишет она Бродскому в феврале 1965 года⁸⁵) а самый содержательный ее письменный отзыв о поэзии Бродского, оказавшийся итоговым, знаменательным образом посвящен именно этой, «неоакмеистической», стороне его поэтики — причем в принципиальном для Ахматовой (следующем пониманию ею истории как «вектора, противоположного сознательно полагаемой воле поэта»⁸⁶) полемическом соотношении с «официальной» советской поэзией:

Вот в чем сила Иосифа: он несет то, чего никто не знал: Т. Элиота, Джон<а> Донна, Пёрселла — этих мощных великолепных англичан! Кого спрашивается несет Евушенко? Себя, себя и еще раз себя⁸⁷.

Существенно также, что эта ориентированность поэзии Бродского на — в широком смысле — мировую культурную традицию шла вразрез с тенденциями оттепельной советской поэзии и выглядела крайне нетривиально. Синхронные читательские реакции на эту особенность поэтики Бродского сохранены в мемуаристике и в переписке современников.

Так, Л.Г. Сергеева, вспоминая поэму «Исаак и Авраам» (1963), отмечала:

Обращение совсем молодого человека к библейскому сюжету и личная интерпретация такого сюжета были подобны чуду в Стране Советов начала шестидесятых годов. В это время почти всех поэтов занимала история разоблаченного Хрущевым Сталина и культ личности⁸⁸.

Читатель-эмигрант В.Ф. Марков 3 мая 1965 года писал Г.П. Струве: «Я в нем [Бродском] особенно ценю, что это первый на моем горизонте за столько лет поэт-некомсомолец. Хорошо, что таких еще может «российская земля рождать»»⁸⁹.

ступлению Мандельштама в Ленинграде в 1933 году (см.: *Левинтон Г.А., Тименчик Р.Д.* Книга К.Ф. Тарановского о поэзии О.Э. Мандельштама // *Russian Literature*. 1978. Vol. 6. No. 2. P. 209; благодарим Р.Д. Тименчика, сообщившего нам фрагмент текста Ахматовой, не вошедший в опубликованные варианты «Листков из дневника»).

84 *Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В.* Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // *Russian Literature*. 1974. Vol. 3. No. 2–3. P. 49. Отметим, что схожее самоощущение «единовременности» (simultaneous existence) современной и мировой литературы, «начиная с Гомера», прокламирует и непосредственный адресат Бродского — Т.С. Элиот («Традиция и индивидуальный талант», 1919).

85 Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966) / Сост. и подгот. текста К.Н. Суворовой; вступ. статья Э.Г. Герштейн. М.; Torino: Einaudi, 1996. С. 588.

86 *Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В.* Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма. P. 50.

87 Записные книжки Анны Ахматовой. С. 695 (запись декабря 1965 года — января 1966 года).

88 *Сергеева Л.* Жизнь оказалась длинной. М.: АСТ, 2019. С. 140.

89 *Толстой И., Устинов А.* «Молитесь Господу за переписчика»: Вокруг первой книги Иосифа Бродского // *Звезда*. 2018. № 5. С. 20.

Сам Струве в предисловии к первой книге Бродского удивлялся: «В стихах Бродского поражает и почти полное отсутствие обычной советской тематики — будь то с положительным или с отрицательным знаком»⁹⁰.

«Осенью 1962 г. редакция узнала о молодом Бродском как о независимом поэте, пишущем стихи, не похожие ни по тону, ни по форме на массовое творчество, издающееся в СССР», — сообщал тогда же, в 1965 году, издатель нью-йоркского альманаха «Воздушные пути» Р.Н. Гринберг⁹¹.

Мемуаристка из числа советской молодежи 1960-х свидетельствует:

...нас, выросших на словаре советских поэтов, помимо нутряного восторга от поэтического чуда, совершавшегося здесь и сейчас, поражала, даже у раннего Бродского, еще и его лексика. С воодушевлением открывали мы для себя какие-то нездешние слова: «Над утлой мглой столь кратких поколений...». «Утлый» — пришло прямо из Пушкина, теперь, казалось нам, подобные слова вообще упряднены! Он произносил слова, которые стены домов и дворцов советской культуры, думаю, слышали впервые: «Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья...»⁹²

Ленинградский приятель Бродского из научной среды М.П. Петров вспоминал:

Тогда [в начале 1960-х годов] он начал увлекаться древнегреческой мифологией и римской античностью и эффектно использовал сведения оттуда в своих стихах. Это резко отличало его от других молодых поэтов⁹³.

Резко «несоветские» черты поэтики Бродского и демонстративный патронаж Ахматовой приводят к середине 1960-х годов к тому, что в (эмигрантской) критике возникает, с одной стороны, шаблон об «ученичестве» Бродского у Ахматовой, а с другой — имя поэта ставится, по его же формуле, «к великим в ряд», а сам он — на основании по преимуществу внетекстуальных, биографических обстоятельств — объявляется живым продолжателем связанной с поэзией русского модернизма 1910—1920-х годов «петербургской поэтики» — «тех представлений о стихотворном искусстве, которые выработались и воспреобладали у нас в золотую пору нашего так называемого серебряного века»⁹⁴.

Иосиф Бродский — большого дарования поэт, и, как о том свидетельствует целый ряд его стихотворений, необычайно рано достигший зрелости. У него есть своя поэтика, непохожая ни на чью другую. И все-таки петербургская она; не сказать о ней этого нельзя. Знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И все-таки, читая его, каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать

90 Стуков Г. [Струве Г.]. Поэт-«туняец» — Иосиф Бродский // Бродский И. Стихотворения и поэмы. Washington, D.C.; New York: Inter-Language Literary Associates, 1965. С. 15.

91 Воздушные пути: Альманах. IV. Нью-Йорк, 1965. С. 5.

92 Аллой Р. Веселый спутник: Воспоминания об Иосифе Бродском. СПб.: Звезда, 2008. С. 19.

93 Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 3. С. 61.

94 Вейдле В. Петербургская поэтика [1968] // Он же. О поэтах и поэзии. Paris: YMCA-Press, 1973. С. 126.

первого года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить⁹⁵.

Именно открытые Ахматовой для молодого поэта «альтернативные» возможности осмысления себя в поэтической традиции и утверждения на литературной сцене и в целом связанная с нею актуализация «поведенческого» (биографического) аспекта в жизни поэта, стоят за внешне брутальными эскападами вроде демонстративного ухода Бродского с заседания секции поэзии ленинградского отделения СП в мае 1962 года, так впечатлившего советского писателя Николая Брауна. Этот жест следует читать не как наследующий футуристической поэтике скандала (хорошо известной тогдашней литературной молодежи по описаниям молодости Маяковского⁹⁶), но как свободное выражение позиции человека, не нуждающегося более в санкции советских писательских институций и публично заявляющего о своей авторской независимости или — если смотреть шире — о своем «праве на биографию», являющемся в русской культурной традиции прерогативой именно Поэта⁹⁷. Реализация этого права, согласно Ю.М. Лотману, связана с антитезой между «поведением “обычным”, навязанным данному человеку обязательной для всех нормой, и поведением “необычным”, нарушающим эту норму ради какой-то иной, свободно избранной нормы»⁹⁸. Выбирая амплуа «литературного скандалиста», молодой Бродский резко противопоставлял себя деиндивидуализированной советской литературной массе, используя прежде всего «романтический» культурный код, традиционно, со времен Пушкина, программирующий в России поведение Поэта. Воспринятое через уроки Ахматовой пушкинское — то есть в высшей степени сознательное — отношение к построению своего биографического текста как к «творимой автором легенде его жизни, которая единственно и является литературным фактом»⁹⁹, будет, как мы увидим далее, свойственно Бродскому уже с самого начала его литературной деятельности.

Вызывающая по советским меркам независимость отличает в этот период и поведение Бродского в целом; проявления ее тщательно фиксируются — очевидно, в рамках ДОР, заведенного после кратковременного ареста в январе 1962 года, — секретными сотрудниками КГБ в окружении поэта.

95 Там же. Характерно место первой публикации этой статьи В.В. Вейдле — она являлась предисловием к четвертому тому Собрания сочинений Н.С. Гумилева под редакцией Г.П. Струве и Б.А. Филиппова (Вашингтон: Изд. книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1968). «Академический» и историко-филологический контекст, несомненно, усиливал значимость и влияние высказанных Вейдле суждений.

96 См., например, свидетельства Л. Лосева об акциях «неофутуристической» группы Э. Кондратова, М. Красильникова и Ю. Михайлова в Ленинграде начала 1950-х годов: *Лосев Л. Меандр: Мемуарная проза*. М.: Новое издательство, 2010. С. 279 и след.

97 См.: *Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте* // Он же. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 370.

98 Там же. С. 366.

99 *Томашевский Б. Литература и биография* // Книга и революция. 1923. № 4 (28). С. 9.

Справка начальника ленинградского КГБ полковника Шумилова, составленная 7 марта 1964 года на основе того, что на чекистском языке именовалось «оперативными данными» (то есть по материалам агентурных сообщений), в части, касающейся информации о Бродском после получения им предупреждения КГБ после допросов в январе 1962 года по делу Уманского, начинается с констатации: «Бродский поведения своего не изменил»¹⁰⁰. Далее Шумилов фиксирует прежде всего контакты Бродского с иностранцами, априори подозреваемыми в связях с органами иностранной разведки.

По имеющимся у нас оперативным данным, в феврале-марте 1962 года он [Бродский] установил связь с американским стажером ЛГУ РАЛЬФОМ БЛЮМОМ, подозреваемым в принадлежности к американской разведке, и получил от него какую-то литературу. <...>

В своих стихах БРОДСКИЙ пишет о якобы имеющемся в СССР идейном произволе, рожденном диктатурой черни. Не отказался он и от намерения изменить Родине. В отобранном нами в августе 1963 года оперативным путем письме БРОДСКОГО в Польшу он писал, что его единственной мечтой является выезд за границу. Он по-прежнему завязывает связи с враждебно настроенными по отношению к СССР иностранцами.

Так, в ноябре 1963 г. в адрес Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР на имя БРОДСКОГО была прислана бандероль из США от ВИРЕКА ПИТЕРА.

ВИРЕК П. за последнее время несколько раз посетил СССР, по имеющимся в Комитете госбезопасности при СМ СССР данным он связан с американской разведкой. Во время пребывания в СССР ВИРЕК активно устанавливал связь с лицами из числа творческой молодежи для сбора клеветнической информации о жизни творческой интеллигенции в СССР¹⁰¹.

Представленные Шумиловым американскими разведчиками Ральф Блум (Ralph Blum; 1932—2016) и Питер Вирек (Peter Viereck; 1916—2006) на деле не имели никакого отношения к спецслужбам. Первый был антропологом и славистом, выпускником Гарвардского университета, изучавшим в 1961—1963 годах в Ленинградском университете историю советского кинематографа и писавшим репортажи о жизни в СССР для журнала «The New Yorker» (впоследствии Блум станет автором бестселлера «Книга Рун», открытого русскому читателю в 1990 году Виктором Пелевиным¹⁰²). Питер Вирек был «первым из американских поэтов, с кем Бродский встретился и познакомился лично»¹⁰³. Вирек, пулитцеровский лауреат 1949 года, был в СССР несколько раз — впервые в 1961 году вместе с поэтом Ричардом Уилбером. Осенью 1962 года он

100 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 37.

101 Там же.

102 Пелевин В. Гадание на рунах, или Рунический оракул Ральфа Блума // Наука и религия. 1990. № 1. С. 51—54.

103 Азадовский К. Виреки. От германского кайзера до Иосифа Бродского // Звезда. 2016. № 5. С. 218.

посетил в Москве Ахматову¹⁰⁴. Тогда же состоялось его знакомство с Бродским, с которым они виделись и в дальнейшем — во время приездов Вирека в Ленинград «поздней осенью 1966-го или зимой 1966—1967 годов»¹⁰⁵ и в 1969 году¹⁰⁶.

Качество и способ подачи информации в справке полковника Шумилова позволяют сделать предварительные выводы о механизме развития «дела Бродского», завершившегося ставшим всемирно известным судебным процессом февраля — марта 1964 года по обвинению поэта в тунеядстве.

Анализ изложенных Шумиловым фактов показывает очевидную вещь — несмотря на демонстративно нестандартный для советского человека начала 1960-х годов характер, поведение Бродского не содержит в себе ничего, что позволяло бы предъявить ему обвинения в нарушении закона. Ни стихи о некоем «идейном произволе», ни встречи с иностранными гражданами, ни выраженная в частном письме мечта о выезде за границу не являлись в СССР уголовно наказуемыми действиями. Это обстоятельство было ясно и чекистам. Отсюда — искусственное подверстывание фразы из перлюстрированного письма к статье Уголовного кодекса об «измене Родине» (призванное напомнить о центральном с точки зрения КГБ эпизоде в «деле» Бродского — истории с несостоявшимся угоном самолета), нагнетание в справке «публицистических» оборотов в отношении как самого Бродского, так и знакомых ему иностранцев, и, главное, обвинения в принадлежности последних к иностранной разведке. Голословный характер этих обвинений — ясный и авторам справки — подтверждается хотя бы тем, что, например, «связанный с разведкой» и собирающий, по словам справки, «клеветническую информацию» о советской интеллигенции, а в реальности известный американский поэт Питер Вирек спустя два года вновь беспрепятственно получит визу для посещения СССР.

Тот факт, что ленинградские чекисты в своих рапортах московскому начальству сознательно преувеличивали степень общественной опасности Бродского, подтверждается свидетельством Н.И. Грудининой, пересказавшей в письме генпрокурору СССР Р.А. Руденко от 10 сентября 1964 года свой разговор с полковником Шумиловым. Грудинина сообщала:

...в деле суда имеется бумага КГБ, подписанная следователем идеологического отдела П. Волковым, где Бродский обвиняется в распространении стихов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, в получении от американского аспиранта «какой-то» книги, в чтении пошлых эпиграмм.

По вопросу этих пунктов бумаги я специально разговаривала с председателем ленинградского КГБ т. Шумиловым В.Т., и он сообщил мне, что кроме старого спецдела Шахматова и Уманского в распоряжении КГБ ничего нет. Относительно эпиграмм и пр. сведения приходили от каких-то посторонних людей, имен которых т. Шумилов не знал и обещал попробовать узнать. Жалел, что «такой проверки» сделано не было раньше¹⁰⁷.

104 См.: *Тыменчик Р.* Последний поэт. С. 274.

105 *Азадовский К.* Виреки. От германского кайзера до Иосифа Бродского. С. 215. Мемуарное интервью Вирека о Бродском (2003) см.: *Полухина В.* Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. С. 390—399.

106 См.: *Labinger L.* A Conversation with Joseph Brodsky (Leningrad, July 13, 1970) // *Agni*. 2000. No. 51. P. 17.

107 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 73.

Генезис реализованной в справке о поэте риторической политики КГБ и ее последствия были описаны знакомым Иосифа Бродского, ленинградским писателем К.В. Успенским (Косцинским), осужденным за антисоветскую деятельность в 1960 году и имевшим в ходе следствия дело с теми же сотрудниками КГБ, которые позднее вели дело Бродского, в частности с полковником Шумиловым:

Истина госбезопасность не интересует. В условиях «разгула либерализма», который мы наблюдали в середине и конце 1950-х годов, ее, госбезопасность, интересовали лишь более или менее убедительно звучащие формулировки, которые можно было бы включить в обвинительное заключение, а затем и в приговор.

Этого, в общем-то, не получилось, как станет ясно каждому, кто прочтет приговор по моему делу. Позднее я узнал, что после того как этот приговор, выражаясь торжественным слогом уголовно-процессуального кодекса, был «провозглашен», начальник ленинградского КГБ Шумилов, выступая на специально созванном расширенном секретариате Ленотделения Союза писателей, вынужден был пуститься в весьма сильные преувеличения относительно моей «преступной» деятельности¹⁰⁸.

Аналогичной (вплоть до деталей) тактики придерживался КГБ и в деле Бродского: 14 мая 1964 года состоялась встреча ленинградских писателей («общее собрание с молодежью»¹⁰⁹) с представителями областного Управления КГБ, на которой Шумилов делал доклад, касавшийся преследования Бродского и, очевидно, призванный снизить градус непредвиденного чекистами общественного волнения, вызванного этим делом¹¹⁰.

Представляется, что подлинная причина, по которой дело Бродского в начале 1964 года было доведено чекистами до суда (правомерность которого и призвана подтвердить перед партийным начальством справка Шумилова, составленная по запросу курировавшего силовые структуры Отдела административных органов ЦК КПСС) лежит в бюрократической плоскости.

Согласно внутренним инструкциям КГБ по оперативному учету, «срок ведения дел оперативной разработки по окраскам “измена Родине” (в форме бегства за границу)» — а именно такое дело (ДОР) было, очевидно, заведено на Бродского весной 1962 года после ставшей известной чекистам (и, несомненно, впечатлившей их) истории с самолетом в Самарканде — не должен был превышать двух лет¹¹¹. Просто прекратить дело оперативного наблюдения означало для КГБ признать необоснованность его заведения. Практика прекращения

108 *Косцинский К.* В тени Большого дома: Воспоминания / Сост. и подгот. текста Е. Гессен. Терафу, N.J.: Эрмитаж, 1987. С. 28.

109 Из письма Г.С. Семенова Ф.А. Вигдоровой от 4 мая 1964 года: Из переписки Фриды Вигдоровой и Глеба Семенова. 1964—1965 / Публ. Н.Г. Охотина и Л.Г. Семеновой // «Быть тебе в каталожке...»: Сборник в честь 80-летия Габриэля Суперфина / Сост. О. Розенблюм и И. Кукуй. Франкфурт-на-Майне: Esterum Publishing, 2023. С. 478.

110 По сообщению Н.Г. Охотина и Л.Г. Семеновой, собрание не протоколировалось, в зале «присутствовало 80 человек, среди которых было немало представителей либеральной фракции ЛО СП» (Там же. С. 487).

111 Приказ Председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР № 00220 от 5 ноября 1964 года. М.: [КГБ СССР], 1964. С. 10. (Ведомственное издание с грифом «Совершенно секретно»; благодарим Евгению Лёзину за возможность с ним ознакомиться.)

необоснованно заведенных ДОР в эти годы всерьез беспокоила Москву и вызвала осенью 1964 года специальный приказ председателя КГБ СССР В.Е. Семичастного, где отмечалось:

Нередко дела агентурной разработки заводятся на основании лишь субъективных предположений оперативных сотрудников о возможной причастности отдельных советских граждан к шпионской и иной враждебной деятельности без наличия достоверных данных о проводимой ими подрывной работе. По этой причине во многих местных органах КГБ возникает и прекращается значительное количество бесперспективных дел.

Такая порочная практика отвлекает оперативные силы и средства от борьбы с действительными врагами, объективно ущемляет права отдельных советских граждан, и тем самым наносит ущерб делу обеспечения государственной безопасности¹¹².

Нежелание подвергнуться критике вышестоящего (московского) начальства¹¹³, а также внутренняя уверенность ленинградских чекистов (не лишённая, заметим, веских оснований) во враждебности Бродского советскому политическому строю требовали «результативного» закрытия дела в установленный инструкцией срок. Он истекал весной 1964 года.

В ноябре 1963-го публикацией газетного фельетона «Окололитературный трутень» ленинградский КГБ приступил к завершению «дела Бродского» по заранее, летом 1962 года, разработанному упомянутым Н.И. Грудониной в письме генпрокурору Руденко заместителем начальника 2-го отдела ленинградского КГБ полковником П.П. Волковым сценарию.

112 Там же. С. 2.

113 Отметим, что в декабре 1964 года начальник ленинградского КГБ полковник Шумилов получит повышение и станет генерал-майором (см.: Из переписки Фриды Вигдоровой и Глеба Семенова. 1964—1965. С. 487). По-видимому, одновременно с ним аналогичное повышение в чине получил и куратор дела Бродского полковник Петр Петрович Волков, тогда же назначенный директором спецшколы № 401 КГБ СССР.

Археология филологического знания

Лидия Трипиччионе

Борис Бухштаб как явление теории¹

Lidia Tripiccione

Boris Bukhshtab as a Phenomenon of Theory

Лидия Трипиччионе (Принстонский университет, отделение славянских литератур, аспирантка) lidiat@princeton.edu.

Lidia Tripiccione (PhD Candidate; Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University) lidiat@princeton.edu.

Ключевые слова: библиография, теория библиографии, литературоведение, младоформалисты

Key words: bibliography, theory of bibliography, literary scholarship, young-formalists

УДК: 80+81

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_192

UDC: 80+81

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_192

Статья посвящается Борису Бухштабу, младоформалисту, библиографу и литературоведу, и его поздним работам «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века» (1966) и «Литературоведческие расследования» (1982). Доказывается связь сборников с теоретическими дискуссиями о библиографии начала 1960-х годов и предполагается, что «Разыскания» и «Расследования» позволяют Бухштабу исследовать границы академических жанров и предложить особое понятие литературоведения и литературоведа.

In this article, I take as my object of inquiry two later works by the young formalist, philologist and bibliographer Boris Bukhshtab, "Bibliograficheskie razyskaniya po russkoy literature XIX veka" (1966) and "Bibliograficheskie rassledovaniya" (1982). I show the link between these publications and the theoretical discussions on bibliography from the 1960s, and I conclude that through the "Razyskaniya" and "Rassledovaniya" Bukhshtab explores the possibilities of academic genres and proposes a specific understanding of literary scholarship and of the literary scholar.

«Как быть писателем?» — известный вопрос, лежащий в основе теории литературного быта Бориса Эйхенбаума [Эйхенбаум 1987: 429]². «Как быть литера-

- 1 Сердечно благодарю Сергея Ушакина, Илью Калинина, Марка Липовецкого и других участников круглого стола «Архаисты и новаторы» 2022 года за бесценные комментарии к раннему наброску этой статьи. Также благодарю Анну Вичкитову за помощь с русским языком.
- 2 Как известно, Эйхенбаум впервые опубликовал статью «Литература и литературный быт» в 9-м номере журнала «На литературном посту» в 1927 году.

туроведом?» — гораздо менее известный, но не менее интересный вопрос, структурирующий статью Евгения Тоддеса о работах Эйхенбаума 1930—1950-х годов [Тоддес 2002: 567]. На примере исследований Эйхенбаума тех лет Тоддес описывает повторный процесс адаптации ученого к непредсказуемо меняющимся требованиям советского режима, ведущий в конечном итоге к неотменяемой интериоризации марксистско-ленинских идеологем.

Вопрос «Как быть литературоведом?» (или, шире, ученым) ощущается особенно остро в таких идеологизированных контекстах, как, например, Советский Союз или американские университеты периода маккартизма, когда академическая работа подвергалась прямому политическому контролю, но он не менее актуален и в других. По сути, и книга французского социолога Пьера Бурдьё об академической среде в либеральной Франции конца XX века [Bourdieu 1988] интересуется нормативной системой, определяющей, среди прочего, как ученые должны вести себя и что (и в каком количестве) они должны публиковать, для того чтобы продвигаться по карьерной лестнице и набирать социальный капитал.

В сегодняшние дни бесконечно повторяется, что успешная академическая карьера зависит не только от качества, но и во многом от количества публикаций, согласно всем известной мантре: «Публикуйся или погибни» (Publish or perish). Безусловно, было бы интересно проследить подобные требования в исторической перспективе, но рядом с вопросом о количестве публикаций стоит другая, по-видимому более важная, проблема, а именно вопрос об академических жанрах, то есть о том, «что ученые должны писать». Дело в том, что от ученых требуется научный вклад разного типа, от монографий и статей до предисловий и комментариев, в зависимости не только от области, но и от исторических и географических оснований. В наши годы в США литературовед не может считаться успешным и не может претендовать на «бессрочный контракт» (tenure), не будучи автором хотя бы одной монографии, а художественная деятельность, если она есть, воспринимается отдельно, в то время как в послесталинский период, как замечает У.М. Тодд III, документальные повести о жизни писателей могли считаться особой формой литературоведения [Тодд 2011: 575]³.

С этой перспективы особое место занимает противопоставление теоретических и эмпирических жанров. Бурдьё, например, пишет в своей книге о возражениях специалистов по узким областям против «амбициозных теоретиков» в системе, как французская, где теоретические исследования ценились больше, чем эмпирические [Bourdieu 1988: 14]. В качестве анекдота примечу, что многие переехавшие из Италии и России в США аспиранты удивляются разрыву в методах гуманитарных наук в Новом и Старом Свете. Такие эмпирические жанры, как комментарий или коммеморативные доклады о жизни и творчестве писателей или выдающихся ученых, почти немислимы в Америке, где, как многие говорят, царствует теория.

Дихотомия теоретических и эмпирических исследований приобрела особое значение в Советском Союзе, где эмпирические жанры, по крайней мере в послесталинский период, были областью некоторой профессиональной сво-

3 Тодд III упоминает Якова Гордина (р. 1935), автора ряда романов, например, о декабристах, как «Мятеж реформаторов» (1989). Автор считает, что на популярность этих жанров оказал влияние Тынянов.

боды и поэтому противопоставлялись идеологизированному теоретическому дискурсу:

Эмпирические исследования в советской системе производства символического капитала ценились куда выше, чем в среде западных литературоведов этого времени. Архивные открытия, био- и библиографическая информация, комментированные научные издания основных литературных текстов считались весьма престижными, поскольку в целом позволяли ученым, сделавшим эту работу, говорить правду, не жертвуя объективными научными стандартами. <...> Эта работа приносила постоянный доход, престиж и определенную степень свободы от партийно-идеологического насилия, однако ценой часто оказывалась невозможность развития собственного критического голоса или создания монографической работы критического, теоретико-или историко-литературного характера [Тодд 2011: 573–574].

Хотя Тодд III не пользуется этим выражением, можно сказать, что его статья, равно как и работа Тоддеса, предлагает ответ на вопрос «Как быть литературоведом?»: либо отказаться от теоретических работ и завести некоторый уровень независимости, либо подвергаться партийному идеологическому контролю. Перспектива Тодда, указывающая на возможность компромисса между литературоведом и властью, резко отличается от позиции Тоддеса, согласно которому интериоризация советских идеологием была неизбежна⁴. Аргументация Тодда во многом сходится с рядом исследований об истории (естественных) наук⁵ в Советском Союзе, где советская идеология понимается не как всемогущая сила, всецело угнетающая ученых, а как особый язык, регулирующий отношения между партией, учеными и государством [Gerovitch 2002: 13]⁶.

Другой подход к вопросу «Как быть литературоведом?» — это, конечно, открытая критика режима или устоявшегося литературоведческого дискурса. Для данной статьи интересно, что в случаях Абрама Терца и Аркадия Белинкова, как показывает Илья Кукулин, подрыв академического дискурса шел путем разработки новаторских, научно-художественных жанров: ученый упоминает, например, «фантастическое литературоведение» Терца, основанное на критическом и трансгрессивном скрещении научного исследования с субъективизмом [Кукулин 2011: 116].

Кукулин, Тодд и историки науки подсказывают, что даже в идеологизированных контекстах у ученых остается возможность модифицировать до какой-то степени свою позицию в системе и иерархии научных жанров или, более радикальным образом, придумать новые, критические способы проводить исследования. Итак, академическая среда определяет, как быть литературоведами, что ученые могут и должны писать, а у ученых, в свою очередь, есть не-

4 Замечу, что профессиональная судьба Эйхенбаума для Тоддеса олицетворяет типовой путь любого советского интеллигента [Тоддес 2002: 571]. Недавно опубликованная статья Ильи Виницкого о Михаиле Леоновиче Гаспарове [Виницкий 2023] тоже посвящена поведению ученых в позднесоветский период.

5 Термином «история науки» я здесь обозначаю history of science, область, которая традиционно интересуется исключительно естественными науками, как физика, математика и т.д.

6 Кроме известной работы Геровича об истории кибернетике в СССР, упомяну классические работы Лорена Грахама [Graham 1998] и Николая Кременцова [Krementsov 1997].

кое пространство для маневра. Как эта динамика разворачивается, вопрос исторический. Моя задача здесь — рассмотреть вопрос «Как быть литературоведом?» через призму разработки новаторских эмпирических жанров на примере двух работ Бориса Бухштаба (1904—1985), младоформалиста, специалиста по литературе XIX века, библиографа.

Что касается раннего периода его жизни, Бухштаб известен в основном как ученик Юрия Тынянова и Бориса Эйхенбаума, участник их домашних семинаров вместе с Лидией Гинзбург, Вениамином Кавериним и другими⁷. Мало изучена, в общем, деятельность Бухштаба после формалистического периода, хотя основные этапы его профессиональной жизни известны: с 1926 до 1942 года Бухштаб работал систематизатором в Публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, хотя в некоторые периоды одновременно занимал и другие посты [Брандист 2007; Вахтина 1996]⁸. В 1942 году Бухштаб был уволен из библиотеки в связи с отъездом из Ленинграда в Омск, где жил до 1944 года [Эльзон 2003]. Вернувшись в Ленинград в 1944 году, Бухштаб проработал еще два года в Публичной библиотеке до того, когда он окончательно покинул ее. В дальнейшем занимал пост на кафедре библиографии Ленинградского государственного библиотечного института.

Двадцатилетие 1950—1970-х годов стало периодом интенсивного труда для Бухштаба. Его имя встречается во многих изданиях русских классиков в качестве редактора или автора вступительных статей и примечаний [Добролюбов 1962; Прутков 1965; Фет 1959] и в ряде библиографических пособий и указателей для студентов библиографических вузов [Бухштаб 1954; 1960а]. Среди самостоятельных (то есть не относящихся к паратексту) работ Бухштаба упомянем исследование о жизни и творчестве Фета (1974), сборник о Добролюбове, Фете, Козьме Пруткове и Тютчеве (1970) и две любопытные книги (фокус настоящей статьи) под названием «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века» [Бухштаб 1982] и «Литературоведческие расследования» (1982). Посмертно были опубликованы еще два сборника с исследованиями о Некрасове, Пастернаке, Мандельштаме и других [Бухштаб 1989; 2000].

Хотя я опираюсь на исследования Кукулина и Тодда, моя точка зрения расходится с обоими: в отличие от Кукулина, я не интересуюсь диссидентами и эмигрантами и, в отличие от Тодда, не воспринимаю теорию и эмпирическую работу как два противоположных начала, а занимаюсь их взаимосвязью. У Тодда эмпирические работы характеризуются некоторой нехваткой, недостатком «критического голоса» по сравнению с возможностями, которые он имплицитно приписывает теории. Сходное представление нередко встречается и в работах, посвященных формалистам и младоформалистам после 1930-х го-

7 Ранняя работа Бухштаба об Александре Вельтмане, русском писателе и картографе, была опубликована в сборнике под редакцией Эйхенбаума и Тынянова, где выступили младоформалисты [Бухштаб 1926].

8 С 1925 до 1926 года, например, Бухштаб преподавал литературу для студентов Государственных курсов техники речи; с 1925 до 1928 года Бухштаб был аспирантом в Ленинградском институте для сравнительной истории и языков Запада и Востока, а с 1927 до 1929 года он был исследователем в Государственном институте истории искусств. Единственная остававшаяся загадка жизни Бухштаба — это причины его второго ареста. Известно, что в 1928 году молодого Бухштаба арестовали в связи с его участием в группе «Сосьете — Общество удовольствий», но почему он был повторно арестован в 1933 году, не ясно [Эльзон 2003].

дов, где их текстологическая, библиографическая, иногда даже художественная деятельность воспринимается как вынужденное отталкивание от теории и поэтому как менее значима и менее интересна⁹. К примеру:

После смерти Бухштаба, в конце 1980-х — 1990-х годах, были опубликованы его ранние работы о Мандельштаме, Пастернаке, Хлебникове и Вагинове, представившие его как первоклассного знатока и исследователя русской поэзии XX века с большим вкусом к теоретическим проблемам. С начала 1930-х годов Бухштаб по понятным причинам сосредоточился на изучении русской литературы XIX века и стал писать в «позитивистской», так сказать, манере, ничуть не утратив, однако, остроты восприятия литературы и филологической культуры, привитых ему учителями [Каганович 2016: 279].

Данная перспектива, казалось бы, особо хорошо применима к Бухштабу, который, как вспоминает его друг, литературовед Вадим Баевский (1929—2013), был огорчен тем, что библиографическая работа выжимала из него все силы и не оставляла времени на литературоведение, которое и осталось лишь его «приватным занятием в свободные часы» [Баевский 1996: 391].

Ничуть не отрицая грубую адаптацию, которой советский режим потребовал от Бухштаба в профессиональной жизни, но дистанцируясь от иерархических суждений о теоретических и эмпирических работах, я пытаюсь указать на альтернативный подход к его исследованиям. Это позволяет мне сосредоточиваться на теоретических спорах, которые велись в 1960-е годы в СССР в таких сугубо, казалось бы, эмпирических областях, как библиография и текстология. Отталкиваясь от этих споров, статья посвящается вышеупомянутым «Разысканиям» и «Расследованиям»: обнаруживается их связь с теоретической дискуссией и рассматривается их эволюция как попытка прощупать возможности гибридных, научно-популяризаторских жанров.

Библиография и ее теория

Согласно известному советскому библиографу Льву Наумовичу Троповскому (1885—1944), библиография — это «область знания и научной и пропагандистской деятельности, имеющая задачей учет, систематизацию и оценку произведений печати с целью наиболее полного их использования» [Троповский 1937: 55]. О теории библиографии здесь ни слова, так как библиография называется областью знания и деятельностью, функция и социальное значение которой подчиняются пропаганде. По мнению историков библиографии, классическая формулировка Троповского характерна для 1930—1940-х годов, когда библиография считалась чисто вспомогательной дисциплиной с целью распространения данных о произведениях печати и их оценки: «Власть умерила теоретические претензии библиографов старой школы (1920-х годов. — Л.Т.) указанием на то, что библиография — обслуживающая дисциплина, вспомогательная для других отраслей народного хозяйства» [Фокеев 2006: 38]. Функция библиографии, таким образом, сводится к публикации вспомогательных пособий и

9 Пренебрежительное отношение к литературным и текстологическим работам формалистов можно найти, например, в первой англоязычной монографии о формализме, написанной учеником Романа Якобсона Виктором Эрлихом [Erlich 1955].

указателей для ученых и читателей разных уровней. Даже тогда, когда она именуется наукой, оценочная и рекомендательная функции оказываются на первом месте. По не менее классической, чем Троповского, формулировке библиографа Александра Эйхенгольца (1897—1960), под библиографией имеется в виду «наука, раскрывающая содержание книжных богатств по их идеологической, научной и практической ценности» [Эйхенголец 1946: 4].

Переломным моментом в истории дисциплины являются 1950-е и 1960-е годы. После публикации в 1954 году учебного пособия «Общая библиография» [Денисьев 1954] вспыхнула горячая дискуссия об определении и функции библиографии, которая велась преимущественно на страницах журнала «Советская библиография». В ней Бухштаб принимал активное участие. Суть обсуждений, которые продолжались почти десятилетие, заключается в том, как определить библиографию, каковы ее составные части, является ли она самостоятельной или вспомогательной дисциплиной и вообще является ли она наукой, то есть можно ли разработать научный библиографический метод¹⁰. Здесь слово «теория» встречается нередко и в основном используется как бы циркулярным образом, для того чтобы указать на то, что библиографическая работа подразумевает не только составление пособий и указателей, но и уровень метадискуссии о пределах, возможностях и направлении самой дисциплины. Как пишет академик Павел Берков (1896—1969):

В библиографической литературе — как на русском языке, так и на иностранных — давно уже принято деление библиографии на теоретическую и практическую. Под практической библиографией подразумевают создание конкретных библиографических указателей любого вида и назначения, начиная с текущей регистрационной библиографии, различных каталогов, перечней, обзоров и списков и кончая универсальными библиографиями второй и третьей степени. Под понятие теоретической библиографии подводят немногочисленные в общем работы, посвященные рассмотрению существа и методов библиографии, а главным образом, принципов построения отдельных видов библиографических трудов [Берков 1960: 5].

В то время как все участники дебатов были единодушны в том, что теория библиографии гораздо менее развита, чем практика, позиции резко отличались, когда речь шла о значимости и целях теоретического метадискурса. «Теория библиографии — это лишь скромный раздел более широкого явления, явления действительно большого общественного значения — библиографии в целом...» [Брискман 1960: 82], — заметил библиограф Михаил Брискман (1904—1975) в споре с коллегами, которые, наоборот, ратовали за более четкое разделение между этими уровнями. Как писали Иван Решетинский (1918—?) и Валерий Николаев (1928—1972) в другой статье в том же самом журнале:

Ее (теории библиографии. — Л. Т.) цель — изучить и обобщить конкретный библиографический опыт, практику составления и использования библиографических пособий, обслуживая эту деятельность в виде стройной системы руководящих идей. Это обобщение опыта библиографической работы необходимо для дальнейшего развития и совершенствования самой библиографической деятельности. Теория библиографии есть *абстрактное отражение библиографической практики в существенных проявлениях*. Она носит ярко выраженный научный

10 Об этой теме см.: [Абросимова 2011].

характер, выявляет существенные черты библиографической деятельности, делает выводы, подмечает закономерности ее развития. Это отличает ее от библиографии как деятельности по информации и пропаганде книг среди читателей [Решетинский, Николаев 1960: 6].

Согласно логике Брискмана, определение библиографии должно отражать прежде всего единство дисциплины: не может быть теории библиографии и дискуссии о ней вне связи с практической библиографией, потому что говорить о библиографии в абстрактном смысле, не учитывая ее общественное значение, не имеет смысла. Брискман — представитель старой школы, в то время как логика Николаева и Решетинского иная, новаторская, так как они, не отрицая важность практической библиографии, все-таки защищают нужду абстрактного уровня чисто теоретической дискуссии. Понятно тогда, что теоретические споры 1960-х годов — это, между прочим, попытка переосмыслить природу библиографической работы вне узких рамок пропагандистских целей. Несмотря на это, в официальных документах, таких как постановление «О состоянии и мерах улучшения работы библиотек Академии наук», все еще подчеркивался только неудовлетворительный уровень «библиографических пособий по отдельным отраслям знаний»¹¹. Сходную позицию, согласно которой библиография является «всеобщей» вспомогательной дисциплины, можно найти еще у Беркова [Берков 1960: 8–9].

Ученые, занимавшиеся историей русской и советской библиографии, согласны в том, что эти дискуссии привели к значимым изменениям в области библиографии. В 1950-е и 1960-е годы парадигму вспомогательной дисциплины постепенно заменяет информационная парадигма [Фокеев 2006: 22]. Не случайно, конечно, что переход к информационной парадигме проходил именно в те годы, когда ученые в разных областях, от математики до языковедения и литературоведения, стали интенсивно обсуждать кибернетику. В связи с этим позиция Бухштаба особо интересна. В то время как слово «информация» можно найти во многих статьях о библиографии в 1960-е годы, только Бухштаб использовал это понятие как центральное в определении дисциплины. Согласно Бухштабу, хотя библиографические пособия и могут иметь пропагандистские, рекомендательные и оценочные цели, «библиографическая деятельность, библиографические труды, обобщение библиографического опыта — это деятельность, труды, обобщение опыта в области информации о произведениях печати» [Бухштаб 1961: 30].

Новаторство определения Бухштаба сказывается, по-видимому, в том, что информация понимается как основной признак дисциплины, «в голом виде», то есть вне связи с какой-либо целью. Другие участники дискуссии, не забывая теоретические интересы, все-таки не пренебрегали воспитательной ролью библиографии перед читателями и общественным ее значением. Хороший пример этого — вышеупомянутая работа Беркова, согласно которой систематизация информации о произведениях печати должна выступать одновременно в роли учета публикации и отчета об успехах советского общества:

11 Постановление от 18 ноября 1960 года № 1037 «О состоянии и мерах улучшения работы библиотек Академии наук СССР» // <https://www.cnb.dvo.ru/wp-content/uploads/2022/05/postanovlenie-prezidiuma-an-sssr-ot-18-noyabrya-1960-%E2%84%961037.pdf> (дата обращения: 09.09.2024).

Чем полнее, многообразнее и своевременнее учитывает библиография литературу, в которой отражаются все эти явления (явления советского общества. — Л. Т.), тем ярче, всестороннее и внушительнее становится строго объективный, научный отчет о развитии социалистической культуры, выраженный специфическими способами и средствами библиографии. Существенная особенность последней как науки в том и состоит, что, учитывая подлежащие ее ведению материалы, она тем самым является и отчетом об этих материалах [Берков 1960: 7].

Для Беркова информация — средство для измерения и тем самым продвижения общественного развития. Для Бухштаба все наоборот: все то, что можно отнести к общественной функции (пропаганда, оценка, рекомендация), — это часть библиографии «в той мере, в какой они связаны с основной, информационной функцией библиографии» [Бухштаб 1961: 40]. Подобно Юрию Лотману и структуральной семиотике, Бухштаб пользовался понятием информации в критическом по отношению к устоявшемуся советскому дискурсу образе¹² — его позиция выражает сознательную критику концепции библиографии как вспомогательной дисциплины и средства пропаганды и одновременно нападает на узкие взгляды советской библиографии:

Часто библиографии вообще приписываются свойства советской библиографии. <...> Усвоив определения библиографии, помещенные в учебниках, студент должен счесть, что изучение произведений печати с точки зрения возможностей их распространения и использования, облегчение трудящимся использования книжных богатств свойственны любому библиографическому указателю — как советскому, так и дореволюционному... <...> ... либо он должен догадаться, что ему преподнесено парадное определение, а на самом деле библиография является не тем, или, по крайней мере не только тем, что значит в определении [Там же: 36—37].

Есть и другая сторона в статье Бухштаба, которую надо кратко прокомментировать и которая прямо скрещивается с острым желанием Бухштаба заниматься литературоведением, и не только библиографией. Согласно ему, такие тесно связанные с литературоведческой работой виды библиографической деятельности, как библиографические разыскания, должны считаться составной частью литературоведения [Там же: 32]. Под разысканиями подразумевается установление авторства, адресата, выходных данных, даты, шире — «какого-либо неизвестного библиографического факта или элемента в этом факте» [Берков 1960: 28], связанного с тем или иным литературным произведением. Словами другого библиографа, Евсея Рыскина (1903—1965), в то время как разыскания и литературоведческую библиографию часто принято считать только предварительными этапами научной работы, «библиография в ряде

12 Лотман определил произведение искусства как «художественную информацию»: «Создавая и воспринимая произведения искусства, человек получает, передает и хранит особую художественную информацию, которая неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальных структур мозга» [Лотман 1970: 11]. Поскольку художественную информацию нельзя понять и перевести обычным языком, то видно, что марксистско-ленинское истолкование художественных текстов и разделение между идейным содержанием и художественными особенностями ошибочны, на что и намекает сам Лотман в нескольких местах [Там же: 17—18].

случаев сама выполняет определенные исследовательские задачи. <...> Библиографические и историко-литературные исследования и открытия часто переплетаются, и иногда их трудно разграничить» [Рыскин 1965: 26—27].

Резумируя: суть библиографического труда потенциально освобождается от какой-либо идеологической роли, ибо он зиждется на установлении и систематизации информации о произведениях печати. С другой стороны, когда дело касается информации о литературных произведениях, то библиография органически входит в состав литературоведения, то есть является не только подготовкой к литературоведческой работе. Итак, принимая участие в дискуссии по теории библиографии, Бухштаб предлагает особый ответ на вопрос «Как быть литературоведом?»: литературоведческая работа может вполне оправданным образом существовать на чисто фактуальном уровне, как попытка установить неизвестные данные о литературных произведениях. Переход с теории на практику и конкретный образ литературоведа, который вырисовывается в интересующих нас сборниках, обсудим в дальнейшем.

Из теории к фактографии

Не случайно, по-видимому, что «Разыскания», первый за много лет сборник, где Бухштаб выступал в качестве автора, а не составителя или редактора, были опубликованы именно в 1966 году, на волне теоретических споров. Связь с ними очевидна, по крайней мере во введении, где Бухштаб ссылается на уже нами процитированное место в монографии Рыскина и на идею о тождестве библиографических исследований с литературоведческими [Бухштаб 1966: 3]. В книге собраны работы разных лет о литературе XIX века, уже отдельно появившиеся в печати. Статьи резко отличаются по длине; некоторые из них объемные, а другие не превышают пару страниц. Как подсказывает название сборника, во всех эссе устанавливаются и разъясняются какие-то неизвестные факты о литературных произведениях или разоблачаются и корректируются неправильные предложения.

Но отношение сборника к библиографическим дискуссиям гораздо глубже прямой ссылки на Рыскина. Среди сборников и журналов, где эти работы появились впервые, найдем «Труды Ленинградского библиотечного института имени Крупской», «Известия АН СССР», «Литературное наследство», несколько сборников разных лет по Некрасоведению, «Русскую литературу», «Омский альманах» и «Вестники» Ленинградского и Саратовского университетов. Сам факт, что Бухштаб собрал в одно место статьи, которые изначально печатались и в библиографических, и в литературоведческих публикациях, усиливает тождество библиографических разысканий с литературоведением, но здесь, по-видимому, важнее другое. В первоначальных сборниках и в журналах все эссе были связаны какой-то темой, подчинялись более высокой функции, то есть были частью коллективного научного дискурса: статьи в некрасовских сборниках углубляют знание о Некрасове; «Литературное наследство» собирает статьи и материалы о разных писателях; в двух статьях, опубликованных в «Омском альманахе» в 1940-е годы, устанавливались новые факты о пребывании в Сибири малоизвестного декабриста. Более того, поскольку все работы уже появились в печати, факты, представленные в «Разысканиях» в 1966 году, больше не новы. В «Разысканиях», таким образом, остается лишь уровень ин-

формации, фактов, которые, по-видимому, Бухштаб пытается распространить за пределы узкого круга специалистов.

Хотя Бухштаб об этом умалчивает, он ввел существенные изменения в текстах «Разысканий», где ход аргументации более линейный и значительно упрощен по сравнению с изначальными версиями. Приведу пример. Ода «Бокал заздравный поднимая...», также известная как «Муравьевская ода», была впервые напечатана во второй книге «Русского архива» за 1885 год с заметкой редактора журнала Петра Бартенева (1829—1912), где авторство приписывалось Некрасову. На самом деле оду в честь графа Михаила Николаевича Муравьева, усмирителя Польского восстания в 1863-м и председателя Верховной комиссии по делу Дмитрия Каракозова в 1866 году, написал не Некрасов, а чиновник, начальник канцелярии Муравьева Иван Никотин. В статье на эту тему, впервые опубликованной в журнале «Каторга и ссылка» [Бухштаб 1933] и потом перепечатанной в сборнике о Некрасове [Бухштаб 1944], Бухштаб разоблачает ошибку Бартевева и разъясняет удивительную путаницу, возникшую в связи с авторством и датировкой стихотворения. Хотя Некрасов 16 апреля 1865 года действительно прочел стихи в честь графа на обеде в Английском клубе в Петербурге, они не сохранились и, вероятно, никогда не печатались.

Если сравнить версию статьи Бухштаба 1966 года с оригиналом 1933 и 1944 годов, то увидим значительные изменения. Версия «Разысканий» начинается с краткого объяснения, кто такой Муравьев, в то время как в оригинале исторический контекст считался данностью. Более того, в оригинале кратко комментируется «шинельно-патриотический» тон [Там же: 185] оды и объясняется, почему трудно представить, что ее написал Некрасов, а в «Разысканиях» никаких замечаний о художественном стиле не находим. Подобным образом параграф о жизни и творчестве Никотина [Там же: 188—189] опущен в «Разысканиях». В общем текст «Разысканий» гораздо менее требовательный к уровню знания читателя, чем предыдущие варианты, написан для более широкой публики и в некоторых местах очевидно, что Бухштаб ввел несколько не содержательных, а скорее стилистических изменений ради ясности¹³. Ср., например, оригинал: «В дореволюционные собрания сочинений Некрасова это стихотворение не входило (эти собрания вообще были стандартны и не включали новых публикаций)» [Там же: 184] — с соответствующим местом в «Разысканиях»:

В дореволюционных собраниях стихотворений Некрасова текст этот не пропечатался — не потому, чтобы автентичность его возбуждала сомнения, — напротив, некрасоведы ссылались на него (например, В.Е. Чешхинскин-Вертинский, В.Е. Евгеньев-Максимов); но потому, что дореволюционные издания Некрасова вообще не пополнялись никакими новыми находками [Бухштаб 1966: 111].

Другим примером упрощения текста в «Разысканиях» служит статья о Николае Алексеевиче Чижове (1803—1848), декабристе и малоизвестном поэте, авторе одной стихотворной сцены, включенной в оперетту Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолога», неправильно приписанную другому поэту, Петру Ершову (1815—1869), автору детских стихов «Конек-Горбунок». Статья в «Разысканиях» является сокращением двух опубликованных Бухштабом в «Омском

13 Важно заметить, что, хотя в статье есть сокращения, часто поправки в текстах «Разысканий» являются дополнениями. Это доказывает, что Бухштаб ввел их по собственной воле, а не для того, чтобы сократить текст для издательства.

альманахе» статей [Бухштаб 1945; 1947]. Журнал этот, где публиковались местные поэты¹⁴, интересовался преимущественно сибирскими темами: в пятом выпуске, например, рядом с первой из двух статей Бухштаба помещена статья о Петре Ершове [Бурмин 1945], так что работа Бухштаба воспринималась как часть более широкого обсуждения русской литературы в Сибири. Более того, в «Разысканиях» отсутствует ряд деталей, доказывающих принадлежность слов Бухштаба к научному дискурсу. В альманахе, например, текст начинается длинным абзацем о том, как парадоксальным образом иллюзия авторской личности Козьмы Пруткова должна быть защищена от стихов-подделок, незаконно приписанных ему, что служит обрамлением для аргументации Бухштаба [Бухштаб 1945: 116]¹⁵. Этого просто нет в «Разысканиях», где проблема авторства представляется сама по себе, как и нет обнаруженного Бухштабом стихотворения Чижова «Русская песня», помещенного в конце первой статьи в альманахе [Там же: 125].

В их оригинальном контексте все исследования вписались в литературоведческий, научный дискурс для специалистов. В «Разысканиях» мы встречаем почти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, связь с научным уровнем ослабляется: тексты более доходчивы и представлены один вслед за другим вне контекста научного дискурса. С другой стороны, выявляется литературоведческая природа всех собранных исследований, включая те, что впервые появились в библиографических журналах. Если «Разыскания» можно отнести к литературоведению (что я не отрицаю), то все-таки надо поговорить об особом роде литературоведения, которое я буду именовать фактографическим.

Я пользуюсь термином «фактография» в значении, которое придавал ему не ЛЕФ в конце 1920-х годов, а Денис Козлов вслед за «Словарем современного русского литературного языка», то есть как описание или набор фактов вне анализа и, что важнее для нашего контекста, без попытки обобщения [Kozlov 2001: 578]¹⁶. Козлов пишет, что любовь к мелким историческим фактам и к эрудиции и чувство недовольства к идеологизированному изложению истории (например, в школьных пособиях) характеризовали советскую интеллигенцию послесталинской эпохи и вплоть до распада Союза. Согласно Козлову, фактография означает не радикальное переосмысление прошлого, а более приемлемую для власти попытку восстановить его во всех его деталях в поиске новой идентичности [Ibid.: 578—580]. В данном значении «фактография» кажется мне идеальным описанием «Разысканий», где факты представляются вне зависимости от идеологической или научной рамки. Это приводит нас обратно к статье Бухштаба об определении библиографии: как библиография у Бухштаба освобождается от определенной пропагандистской функции, так разыскания отцепляются от изначальной, чисто научной среды и информация в них представляется более широкой публике в виде более доходчивой формы литературоведения.

Мы уже заметили, что Козлов связывает послесталинский интерес к фактографии с поиском новой идентичности внутри позволенных властью границ. Но Козлов говорит в основном о фактографии, а не о фактографах, — а между тем важно обсудить этот вопрос на уровне персоналий, что позволяет нам вернуться к теме «Как быть литературоведом?». В «Разысканиях», кроме набора

14 Как, например, Леонид Николаевич Мартынов (1905—1980).

15 Слова Бухштаба, особенно выражение «авторская личность», не могут не напоминать о Юрии Тынянове и о его идеях о литературной личности.

16 Козлов ссылается на 16-й том словаря Академии наук (У — Ф).

интересных фактов, выдвигается вперед и автор-эрудит: ведь единственной причиной, почему статьи вышли под одной обложкой, был тот факт, что их все написал один человек. Это Бухштаб как автор нанизывает, как писал бы Шкловский, статьи эти одну за другой, то есть авторство здесь служит мотивировкой, которая держит вместе материал сборника¹⁷. По мере того как литературоведческая и библиографическая работа освобождается от научной и пропагандистской рамок, возникает пространство для информации в голом виде, поиска новой аудитории и фигуры автора-эрудита. И действительно, рецензия на сборник в «Вопросах литературы» показывает, что современники воспринимали «Разыскания» как проявление феноменальной эрудиции автора:

Отличное знание эпохи, удивительное умение вчитываться в текст и видеть в нем такие детали, которых не видели предшественники, всегда было замечательной особенностью Б. Бухштаба — исследователя, и статьи, опубликованные в этом сборнике, с наглядностью демонстрируют его превосходную библиографическую и историко-литературную эрудицию [Прохоров 1967: 175].

Заметим, что такие атрибуты, как эрудиция, энциклопедизм, феноменальная память и некое врожденное чутье, были нередко связаны с библиографами и библиотекарями¹⁸: и поэтому, между прочим, участники теоретических дискуссий о научности библиографии постарались доказать, что библиография — это не область для избранных со специальным дарованием, не искусство, а метод со своими рациональными правилами, который любой человек может усвоить [Берков 1960: 36; Мачурина 1970: 16]. Интересно, что вопрос о чутье, интуиции, таланте обсуждали по схожим причинам и текстологи, которые в 1960-е годы тоже были заняты интенсивными теоретическими дискуссиями¹⁹. На страницах журнала «Русская литература» знаменитый филолог Дмитрий Лихачев (1906—1999) обвинил Бухштаба в том, будто его предложения о работе филолога основываются не на научном методе, а на таких неуловимых понятиях, как остроумие и догадка [Лихачев 1965: 79]. На это Бухштаб ответил:

Признаюсь, я в самом деле не знаю, чем — в любой науке, в том числе и в текстологии, — можно заменить размышление, догадку, остроумие. Полагаю, однако, что этого не знает и мой оппонент, ибо он пользуется теми же понятиями, что и я [Бухштаб 1965: 127].

Итак, остроумие, догадка, чутье для Бухштаба незаменимы. Это, конечно, не значит, что он отрицал возможность разумно подходить к текстологической работе, но это хорошо согласовывается с общей его позицией в текстологических спорах; вслед за Эйхенбаумом и Томашевским он в общем подчеркивал,

17 Подобно тому, как запрещение Али говорить о любви служило мотивировкой для «Зоо, или письма не о любви».

18 Например, в одном выпуске журнала «Огонек» от 1969 года находим краткую историю известного библиотекаря Румянцевского музея, который, кажется, обладал феноменальной памятью [Безъязычный 1969].

19 Например, см.: «Заявления о необходимости для текстолога таланта и практического опыта не должны вводить в заблуждение: талант и практический опыт необходимы во всяком деле, но это не исключает и даже предполагает пользование устойчивыми научными принципами и критериями» [Нечаева 1962: 8]. Что же касается текстологических споров, то они были особенно сильны в 1960-е годы вслед за публикацией некоторых теоретических работ [Лихачев 1962; Нечаева 1962; Эйхенбаум 1962].

что филологическая работа является процессом с часто нечеткими границами, что канонический текст не может быть установлен раз и навсегда в каждом случае и что, следовательно, интуиция, эрудиция, догадка могут играть значительную роль (об этом см., например: [Бухштаб 1960б: 221]).

Как я постаралась доказать, в случае Бухштаба «Разыскания» возникли вслед за разработкой новаторского и критического по отношению к советскому дискурсу понимания библиографии. Здесь важны две вещи: во-первых, в рассмотренном нами контексте эмпиризм не мог существовать без теоретического взгляда, точнее, эмпиризм и был результатом теоретического переосмысления функции библиографии. Во-вторых, фактография здесь идет рука об руку со сменой центра тяжести: от литературоведения и библиографии как коллективного дела к автору со своей личной эрудиции. В статье Козлова фактография и попытки восстановить прошлое связаны с национализмом [Kozlov 2001: 593]. Здесь, я бы сказала, обнаруживается другая сторона проблемы, прямо связанная с интересующим нас вопросом о литературоведе. Гибридность сборника намекает на попытку экспериментировать с новыми формами, а фактографический жанр позволяет ученому-библиографу — представителю дисциплины, которую некоторые все еще считали вспомогательной, и автору в основном паратекстуальных исследований — выдвигаться на первый план в качестве эрудита, распространяющего информацию об отечественной литературе среди специалистов и не только.

От фактографии к научному детективу

Только что я говорил о том, что не надо возвращаться на старые следы. Но надо пользоваться старым опытом, так, чтобы мелкие наблюдения укреплялись, обобщались. <...> В художественном произведении человек, подвигаясь вперед, использует прошлое как ступень, использует противоречие прошлого. Он живет и воспоминанием, и памятью о будущем [Шкловский 1970: 233], —

слова Шкловского из «Тетивы» свидетельствуют об опасениях автора: открытие формализма за границей и энтузиазм по отношению к фундаментальным вопросам литературы в Европе и в Советском Союзе сводятся в конечном итоге только к повторению идей прошлого, без качественного скачка. Не место здесь обсуждать, оказался ли он прав, но слова Шкловского, хотя они не имели прямой связи с Бухштабом, могут служить антитезой фактографической модели автора/литературоведа. Как пишет Козлов, фактография предлагает новые факты ради восстановления прошлого во всей его сложности и многозначности, а не ведет к коренному переосмыслению его [Kozlov 2001: 581].

Казалось бы, концепция автора в «Тетиве» сильнее фактографической модели Бухштаба: в книге Шкловского автор часто называется творцом, единственным создателем художественного мира, представителем совершенно новой перспективы, в то время как Бухштаб-эрудит только дополняет, исправляет и распространяет факты²⁰. Зато перспективы фактографической модели гораздо

20 См., например: «Теперь вернемся к единству художественного произведения. Это единство — несомненно единство художественного построения, созданное мироощущением творца. Он пытается создать модели явления мира» [Шкловский 1970: 65]. Позиция Шкловского, конечно, удивляет, если сравнить ее с ранними его работами,

шире, чем они кажутся на первый взгляд. Как я показала раньше, «Разыскания», несомненно, писались для аудитории более широкой, чем академическая публика, хотя трудно представить себе, какого именно читателя Бухштаб имел в виду, когда он готовил свои работы. С одной стороны, статьи извлечены из изначально окружающего их научного дискурса, текст упрощен, с другой стороны, дискуссии в них все еще довольно специализированные. «Разыскания» Бухштаба — работа гибридная, где исследования становятся более доходчивыми, но не настолько, чтобы привлечь внимание широкой публики.

Блестящими примерами фактографии, основанной на исследовательской работе, но написанной для широкой публики, во время публикации «Разысканий» уже были «Рассказы литературоведа» [Андроников 1956] и «Лермонтов. Исследования и находки» [Андроников 1964] Ираклия Андроникова: в то время, как первый сборник вышел в 1956 году и второй в 1964 году, оба были многократно переизданы в 1950—1970-е годы, то есть когда Андроников сотрудничал с радио и телевидением²¹. Как известно, лермонтовед выступал чтецом в нескольких передачах по телевидению и радио: в 1959 году, например, он представил передачу «Загадка Н.Ф.И.», основанную на одноименном его рассказе²², а в 1964 году вел передачу «Ираклий Андроников рассказывает», где вспоминал о великих писателях и культурных деятелях 1920-х годов. Рассказ и передача «Загадка Н.Ф.И.», как и некоторые другие рассказы/передачи, вышли из комментаторской проблемы, которую Андроников решал во время работы над Собранием сочинений Лермонтова²³. В ряде стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах, молодой поэт обращается к девушке, упомянутой лишь тремя начальными буквами Н.Ф.И. Кто же она?

Рассказ, по сути, построен как детектив: в центре находятся загадка и рассказчик/сыщик, который детально объясняет читателю не только все шаги, ведущие к окончательной разгадке, но и все тупики, куда он попадает. Рассказ разворачивается исключительно с перспективы ученого, который вспоминает свои разыскательные приключения и в увлекательной форме восстанавливает свои догадки и ход мышления:

И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и при ярком свете настольной лампы перелистываю томик юношеских стихотворений Лермонтова. Внимательно прочитываю каждое, сравниваю отдельные строчки. Вот, например, в стихотворении, которое носит заглавие «К***», Лермонтов пишет:

Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья, —
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье.

где «человек-творец только геометрическое место пересечения линий, сил, рождающихся вне его» [Шкловский 1923: 22].

21 Один из рассказов Андроникова, «Загадка Н.Ф.И.», вышел в первый раз отдельно в 1949 году.

22 «Загадка Н.Ф.И.» в первый раз появилась в печати в сборнике, куда входил и другой рассказ, «Портрет» [Андроников 1948]. Эти рассказы многократно переиздавались, и новые сборники постепенно пополнялись новыми работами. Например, издание «Рассказы литературоведа» [Андроников 1956] включало также «Земляка Лермонтова» и «Подпись под рисунком».

23 Речь идет о Собрании сочинений Лермонтова в шести томах, опубликованном в 1950 году «Молодой гвардией» со вступительной статьей Андроникова.

«Надо заметить, — думаю я, — что о прощальном поцелуе в этом стихотворении сказано почти так же, как в стихах, обращенных к Н.И. Написаны же они почти в одно время». Так, может быть, и это стихотворение обращено к ней? Может быть, под тремя звездочками скрывается все та же Н.Ф.И.? Тогда, наверно, ей адресовано и другое стихотворение «К ***» [Андроников 2001: 13].

Почти никакой связи с научным дискурсом здесь не остается. Герои рассказа — это и Лермонтов, и загадочная девушка, и, главное, Иракий Андроников — рассказчик. Литературовед здесь выступает в качестве сыщика-эрудита, который разъясняет малоизвестные факты о классиках русской литературы для широкой, неспециализированной аудитории (рассказы печатались детскими издательствами). Путь, указанный Андрониковым, — это путь массового, публичного литературоведа, представляющего фактографические/комментаторские вопросы в виде детективов.

В 1982 году Борис Бухштаб опубликовал «Литературоведческие расследования», сборник, где он собрал некоторые уже появившиеся в «Разысканиях» статьи наряду с некоторыми работами 1970-х годов. Как и у «Загадки» Андроникова, в «Расследованиях» отдается предпочтение детективной перспективе и доходчивости текста за узкими рамками профессиональной публики. Во введении Бухштаб писал:

В каждом из этих произведений есть что-либо неясное, порою даже загадочное. Кто подлинный автор произведения? На кого направлено и по какому поводу написано произведение явно эпиграмматического характера? Подлинный ли текст произведения мы имеем или подмененный другим? Какая замаскированная мысль проступает сквозь рассказ? Каковы источники произведения, наложившие печать на его смысл? <...> Эту книгу я предназначаю читателям, интересующимся историей русской литературы и любящим жанр научного детектива [Бухштаб 1982: 3–4].

Поиск словосочетания «научный детектив» в Национальном корпусе русского языка не выдает, к сожалению, никаких интересных результатов. Однако можно предположить, что Бухштаб имел в виду работы, похожие на вышеупомянутые публикации Андроникова.

Правда, развлекательный стиль Андроникова, основанный на подробном изложении всех шагов сыщика к решению загадки, не встречается у Бухштаба, который модифицировал, но не переписал заново свои работы для нового сборника. Зато изменения, которые автор ввел в «Расследованиях» по сравнению с «Разысканиями», помещают в центр очерков поиск автором-эрудитом разгадки и увеличивают доходчивость и увлекательность рассказа. Во-первых, исключаются все самые короткие статьи, где часто загадки нет. Это случай, например, короткой статьи «К биографии Ершова», состоящей, по сути, из заметок о жизни поэта. Во-вторых, по подобным причинам опускаются и самые длинные статьи, как «Гимны Аполлона Григорьева», где аргументация довольно сложная, и поэтому загадку, хотя она и есть, сложнее уловить.

Изменения в текстах тоже служат доказательствами новых приоритетов. Это становится ясно, например, если взять опять же статью о Чижове. Во-первых, в «Расследованиях» Бухштаб добавил краткое описание сцены в оперетте Пруткова, о которой идет речь, видимо, чтобы и менее опытный читатель мог ориентироваться в историко-литературном контексте. Во-вторых, он убрал

длинный абзац со сноской из Полного собрания сочинений Пруткова, который в «Разысканиях» служил введением к вопросу о том, кто настоящий автор стихов. В-третьих, что, по-моему, самое главное, Бухштаб представил библиографическую проблему прямым образом как загадку. В «Расследованиях» мы встречаем следующий фрагмент, которого не было в «Разысканиях»:

Трудно представить себе куплеты второй картины связанными с каким-то иным сюжетом; вероятно, Ершов сообщил Жемчужникову, а тот использовал и ход действия несохранившегося водевиля, носившего то же заглавие, что и позднейшая оперетта Пруткова.

Однако Ершову ли принадлежала использованная в оперетте Козьмы Пруткова сцена? [Бухштаб 1982: 6].

Абзац, который Бухштаб поместил прямо после краткого описания сцены, несет лишь одну функцию — подчеркнуть общеизвестность и значимость этого произведения в истории русской литературы; тем самым он усиливает эффект следующего абзаца (тоже отсутствующего в «Разысканиях»), который ставит под сомнение авторство знаменитых куплетов.

Центральность аналогии с детективом обнаруживается и тем, что разгадка дана более линейным образом, скорее всего ради доходчивости и понятности. В конце статьи Бухштабу надо доказать, что Чижов был в Тобольске, чтобы окончательно доказать авторство куплетов. Проблема в том, что, хотя тобольская среда декабристов хорошо изучена, присутствие Чижова в Тобольске не упоминается ни в каких источниках, кроме одного письма (на которое ученые до Бухштаба не обращали внимание), наследника Александра Николаевича отцу, царю Николаю I, от 3 июня 1837 года. В «Разысканиях» документ служит единственным доказательством присутствия Чижова в Тобольске и неточности прежних свидетельств о его пребывании в Сибири, а в «Расследованиях» Бухштаб развертывает свою аргументацию более медленно и подробно, приводя сначала более мягкую улику, которой не было в предыдущем тексте:

Но проанализируем приведенные выше данные послужного списка Чижова. Мы видим, что Чижов в 1840 году служил в штабе Сибирского корпуса. Но штаб Сибирского корпуса до 1839 года находился в Тобольске, а с 1839 года был переведен в Омск. В 1840 году Чижов, очевидно, жил в Омске. Значит, был же он в Западной Сибири! [Там же: 11].

Эти поправки показывают центральность загадки и разгадки: хотя установление настоящего автора стихов в частности и разыскания в общем само по себе походит на разгадку, в «Разысканиях» эта аналогия не выражена прямо, в то время как в «Расследованиях» она подчеркнута.

«Расследования» Бухштаба представляют собой как бы следующий этап в эволюции той линии, которую начали «Расследования». Гибридная аудитория, состоящая из специалистов по литературе и заинтересованных читателей, прямо указана во введении, и потенциал самостоятельного фактографического сборника нащупывается благодаря аналогии с детективным жанром, возникшей, вероятно, под влиянием популярных работ Ираклия Андроникова. И так, через «Разыскания» и «Расследования» можно проследить прямую линию, связывающую теоретические споры о библиографии с поиском новых перспектив эмпирических, изначально вспомогательных жанров.

Более того, вопрос развития гибридных жанров переплетается здесь с вопросом о том, как быть литературоведом. Я понимаю, что, в отличие от Терца и Белинкова, Бухштаба нельзя назвать диссидентом, но и в его случае происходит аналогичная игра с границами научных исследований, изначально опирающаяся на критику советского понятия библиографии. Границы традиционных жанров расширяются, и конечный результат этой операции — не критика общества или литературоведческого дискурса, а личность ученого-эрудита, рассказы которого позволяют читателям разных уровней увлекаться богатствами отечественной литературы. Итак, попытка разграничения библиографических жанров приводит к особенному образу литературоведа, который более не связан с коллективным научным дискурсом и выступает как *solista*. Насколько это удовлетворило бы Шкловского периода «Тетивы», пожалуй, другой вопрос, но, надеюсь, случай Бухштаба показывает, что изучение эволюции научных жанров в связи с эволюцией образа (советского) литературоведа может оказаться плодотворным подходом.

Библиография / References

- [Абросимова 2011] — *Абросимова Н.В.* Научные дискуссии как метод развития библиографоведения (на примере 1950—1960-х годов) // Библиотековедение. 2011. № 2. С. 27—34.
- (*Abrosimova N.V.* Nauchnye diskussii kak metod razvitiya bibliografovedeniya (na primere 1950—1960-kh godov) // Bibliotekovedenie. 2011. No. 2. P. 27—34.)
- [Андроников 1948] — *Андроников И.Л.* Загадка Н.Ф.И. М.: Правда, 1948.
- (*Andronikov I.L.* Zagadka N.F.I. Moscow, 1948.)
- [Андроников 1956] — *Андроников И.Л.* Рассказы литературоведа. М.: Гос. изд-во детской литературы, 1956.
- (*Andronikov I.L.* Rasskazy literaturoveda. Moscow, 1956.)
- [Андроников 1964] — *Андроников И.Л.* Лермонтов. Исследования и находки. М.: Художественная литература, 1964.
- (*Andronikov I.L.* Lermontov. Issledovaniya i nakhodki. Moscow, 1964.)
- [Андроников 2001] — *Андроников И.Л.* Избранное: В 2 т. М.: Аусбург; Im Werdem Verlag, 2001.
- (*Andronikov I.L.* Izbrannoe: In 2 vols. Moscow; Ausburg, 2001.)
- [Баевский 1996] — *Баевский В.С.* Я не был лишним. Воспоминания о Борисе Бухштабе // Russian Studies. 1996. № 1. С. 389—417.
- (*Baevskii V.S.* Ya ne byl lishnim. Vospominaniya o Borise Bukhshtabe // Russian Studies. No. 1. P. 389—417.)
- [Безъязычный 1969] — *Безъязычный В.* Необыкновенный библиотекарь Румянцевского музея // Огонек. 1969. № 30. С. 20.
- (*Bez'iazchnyi V.* Neobyknovennyy bibliotekar' Rumyantsevskogo muzeya // Ogonek. 1969. No. 30. P. 20.)
- [Берков 1960] — *Берков П.Н.* Библиографическая эвристика. К теории и методике библиографических разысканий. М.: Изд-во всесоюз. кн. палаты, 1960.
- (*Berkov P.N.* Bibliograficheskaya evristika. K teorii i metodike bibliograficheskikh razyskaniy. Moscow, 1960.)
- [Брандист 2007] — *Брандист К.* Константин Сюннерберг (Эрберг) и исследование и преподавание живого слова и публичной речи в Ленинграде. 1918—1932 гг. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 2003—2004 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 58—81.
- (*Brandist C.* Konstantin Siunnerberg (Erberg) i issledovanie i prepodavanie zhivogo slova i publichnoy rechi v Leningrade 1918—1932 gg. // Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo goda na 2003—2004. Saint Petersburg, 2007. P. 58—81.)
- [Брисман 1960] — *Брисман М.А.* Спорные вопросы теории библиографии и постро-

- ения учебника «Общая библиография» // Советская библиография. 1960. № 3. С. 78—95.
- (Briskman M.A. Spornye voprosy teorii bibliografii i postroeniya uchebnika "Obshchaya bibliografiya" // Sovetskaya bibliografiya. 1960. No. 3. P. 78—95.)
- [Бурмин 1945] — Бурмин В. Тобольский гражданин Петр Ершов // Омский альманах. Кн. 5. Омск: Омское областное гос. изд-во, 1945. С. 100—116.
- (Burmin V. Tobol'skiy grazhdanin Petr Ershov // Omskiy al'manakh. Vkn. 5. Omsk, 1945. P. 100—116.)
- [Бухштаб 1926] — Бухштаб Б.Я. Первые романы Вельтмана // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л.: Academia, 1926. С. 192—232.
- (Bukhshtab B.Ya. Pervye romany Vel'tmana // Russkaya proza / Ed. by B. Eikhendbaum and Yu. Tynianov. Leningrad, 1926. P. 192—232.)
- [Бухштаб 1933] — Бухштаб Б.Я. О тексте муравьевской оды Некрасова // Каторга и ссылка. 1933. № 12. С. 138—145.
- (Bukhshtab B.Ya. O tekste murav'evskoi ody Nekrasova // Katorga i ssylka. 1933. No. 12. P. 138—145.)
- [Бухштаб 1944] — Бухштаб Б.Я. О тексте муравьевской оды Некрасова // Некрасов в русской критике / Сост. А. Елогин. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1944. С. 183—189.
- (Bukhshtab B.Ya. O tekste murav'evskoi ody Nekrasova // Nekrasov v russkoy kritike / Comp. by A. Elogin. Moscow, 1944. P. 183—189.)
- [Бухштаб 1945] — Бухштаб Б.Я. Козьма Прутков, П.П. Ершов и Н.А. Чижов // Омский альманах. Кн. 5. Омск: Омское областное гос. изд-во, 1945. С. 116—130.
- (Bukhshtab B.Ya. Koz'ma Prutkov, P.P. Ershov i N.A. Chizhov // Omskiy al'manakh. Vol. 5. Omsk, 1945. P. 116—130.)
- [Бухштаб 1947] — Бухштаб Б.Я. П.П. Ершов и Н.А. Чижов в воспоминаниях Констанция Волицкого // Омский альманах. Кн. 6. Омск: Омское областное гос. изд-во, 1947. С. 159—163.
- (Bukhshtab B.Ya. P.P. Ershov i N.A. Chizhov v vospominaniyakh Konstantsiya Volitskogo // Omskii al'manakh. Vol. 6. Omsk, 1947. P. 159—163.)
- [Бухштаб 1954] — Бухштаб Б.Я. Персональная библиография художественной литературы. М.: Гос. изд-во культурно-просветительной лит., 1954.
- (Bukhshtab B.Ya. Personal'naya bibliografiya khudozhestvennoy literatury. Moscow, 1954.)
- [Бухштаб 1960а] — Бухштаб Б.Я. Библиография художественной литературы. М.: Советская Россия, 1960.
- (Bukhshtab B.Ya. Bibliografiya khudozhestvennoy literatury. Moscow, 1960.)
- [Бухштаб 1960б] — Бухштаб Б.Я. Писатель и книга // Вопросы литературы. 1960. № 4. С. 217—222.
- (Bukhshtab B.Ya. Pisatel' i kniga // Voprosy literatury. 1960. No. 4. P. 217—222.)
- [Бухштаб 1961] — Бухштаб Б.Я. Об определении библиографии // Советская библиография. 1961. № 1. С. 26—41.
- (Bukhshtab B.Ya. Ob opredelenii bibliografii // Sovetskaya bibliografiya. 1961. No. 1. P. 26—41.)
- [Бухштаб 1965] — Бухштаб Б. О природе текстологии и проблеме выбора основного текста // Русская литература. 1965. № 3. С. 125—134.
- (Bukhshtab B.Ya. O prirode tekstologii i probleme vybora osnovnogo teksta // Russkaya literatura. No. 3. 1965. P. 125—134.)
- [Бухштаб 1966] — Бухштаб Б.Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М.: Книга, 1966.
- (Bukhshtab B.Ya. Bibliograficheskie razyskaniya po russkoy literature XIX veka. Moscow, 1966.)
- [Бухштаб 1970] — Бухштаб Б.Я. Русские поэты. М.: Художественная литература, 1970.
- (Bukhshtab B.Ya. Russkie poetry. Moscow, 1970.)
- [Бухштаб 1974] — Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л.: Наука, 1974.
- (Bukhshtab B.Ya. A.A. Fet. Ocherk zhizni i tvorчества. Leningrad, 1974.)
- [Бухштаб 1982] — Бухштаб Б.Я. Литературоведческие расследования. М.: Современник, 1982.
- (Bukhshtab B.Ya. Literaturovedcheskie rassledovaniya. Moscow, 1982.)
- [Бухштаб 1989] — Бухштаб Б.Я. Н.А. Некрасов. Проблемы творчества. Л.: Советский писатель, 1989.
- (Bukhshtab B.Ya. N.A. Nekrasov. Problemy tvorчества. Leningrad, 1989.)
- [Бухштаб 2000] — Бухштаб Б.Я. Фет и другие. Избранные работы / Сост., вступ. статья, подгот. текста М.Д. Эльзона при уч. А.Е. Барзаха. СПб.: Академический проект, 2000.
- (Bukhshtab B.Ya. Fet i drugie. Izbrannye raboty / Comp., introd., prep. by M.D. El'zon with part. of A.E. Barzakh. Saint Petersburg, 2000.)
- [Вахтина 1996] — Вахтина П.Л. Борис Бухштаб в Публичной государственной библиотеке (по материалам его личного дела) // Russian Studies. 1996. No. 1. P. 375—387.
- (Vakhtina P.L. Boris Bukhshtab v Publichnoy gosudarstvennoy biblioteke (po materialam ego lichnogo dela) // Russian Studies. 1996. No. 1. P. 375—387.)

- [Виницкий 2023] — *Виницкий И.Ю.* Эзопов миг. М.Л. Гаспаров и культурная биография советской интеллигенции (Филологическая басня) // *Avtobiografiya*. 2023. No. 12. P. 221—247.
- (*Vinitzky I.Yu.* Ezopov mig. M.L. Gasparov i kul'turnaya biografiya sovestkoy intelligentsii (Filologicheskaya basnya) // *Avtobiografiya*. 2023. No. 12. P. 221—247.)
- [Денисьев 1954] — *Денисьев В.Н.* Общая библиография. Учебное пособие для учащихся библиотечных техникумов. М.: Гос. изд-во культурно-просветительной лит., 1954.
- (*Denis'ev V.N.* Obshchaya bibliografiya. Uchebnoe posobie dlya uchashchikhsya biblioteknykh tekhnikumov. Moscow, 1954.)
- [Добролюбов 1962] — *Добролюбов Н.А.* Стихотворения / Подгот. текста, вступ. статья и примеч. Б.Я. Бухштаба. М.: Советский писатель, 1962.
- (*Dobrolyubov N.A.* Stikhotvoreniya / Prep., forew., and notes by B.Ya. Bukhshtab. Moscow, 1962.)
- [Каганович 2016] — *Каганович Б.С.* Неопубликованная работа Б. Бухштаба о поэтике Щедрина // *Вопросы литературы*. 2016. № 5. С. 278—297.
- (*Kaganovich B.S.* Neopublikovannaya rabota Bukhshtaba o poetike Shchedrina // *Voprosy literatury*. 2016. No. 5. P. 278—297.)
- [Кукулин 2011] — *Кукулин И.В.* «Разочарование в истории» как социокультурный диагноз 1960—1970-х годов: Андрей Сиянский и Аркадий Белинков // *Studi Slavistici*. 2011. Vol. VIII. С. 113—136.
- (*Kukulin I.V.* "Razocharovanie v istorii" kak sotsiokul'turnyy diagnost 1960—1970-kh godov: Andrey Siniavskiy i Arkadiy Belinkov // *Studi Slavistici*. 2011. Vol. VIII. P. 113—136.)
- [Лихачев 1962] — *Лихачев Д.С.* Текстология. На материалах русской литературы X—XVII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
- (*Likhachev D.S.* Tekstologiya. Na materialakh ruskey literatury X—XVII vv. Moscow, 1962.)
- [Лихачев 1965] — *Лихачев Д.С.* По поводу статьи Бухштаба // *Русская литература*. 1965. № 1. С. 76—89.
- (*Likhachev D.S.* Po povodu stat'i Bukhshtaba // *Russkaya literatura*. 1965. No. 1. P. 76—89.)
- [Лотман 1970] — *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- (*Lotman Yu.M.* Struktura khudozhestvennogo teksta. Moscow, 1970.)
- [Мачурина 1970] — *Мачурина А.Т.* Об интуиции библиографа и логике библиографического разыскания // *Советская библиография*. 1970. № 2. С. 16—24.
- (*Machurina A.T.* Ob intuitsii bibliografa i logike bibliograficheskogo razyskaniia // *Sovetskaya bibliografiya*. 1970. No. 2. P. 16—24.)
- [Нечаева 1962] — *Нечаева В.С.* Введение // *Основы текстологии* / Под ред. В. Нечаевой. М.: Изд-во Академии наук, 1962. С. 5—10.
- (*Nechaeva V.S.* Predislovie // *Osnovy tekstologii* / Ed. by V. Nechaeva. Moscow, 1962. P. 5—10.)
- [Прохоров 1967] — *Прохоров Е.П.* Историко-литературные разыскания по русской литературе XIX века // *Вопросы литературы*. 1967. № 2. С. 175.
- (*Prokhorov E.P.* Istoriko-literaturnye razyskaniya po russkoy literature XIX veka // *Voprosy literatury*. 1967. No. 2. P. 175.)
- [Прутков 1965] — *Прутков К.* Полное собрание сочинений / Ред., вступ. статья и примеч. Б.Я. Бухштаба. М.: Советский писатель, 1965.
- (*Prutkov K.* Polnoe sobranie sochineniy / Ed., forew., and notes by B.Ya. Bukhshtab. Moscow, 1965.)
- [Решетинский, Николаев 1960] — *Решетинский И.И., Николаев В.А.* Некоторые спорные вопросы теории библиографии // *Советская библиография*. 1960. № 5. С. 3—16.
- (*Reshetinskii I.I., Nikolaev V.A.* Nekotorye spornyye voprosy teorii bibliografii // *Sovetskaya bibliografiya*. 1960. No. 5. P. 3—16.)
- [Рыскин 1965] — *Рыскин Е.И.* Очерк теории и методики литературной библиографии. М.: Книга, 1965.
- (*Ryskin E.I.* Ocherk teorii i metodiki literaturnoy bibliografii. Moscow, 1965.)
- [Тодд 2011] — *Тодд III У.М.* Открытия и прорывы советской литературной теории в постсталинскую эпоху // *История русской литературной критики* / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 571—608.
- (*Todd III W.M.* Otkrytiya i proryvy sovetskoy literaturnoy teorii v poslestalinskuyu epokhu // *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki* / Ed. by E. Dobrenko and G. Tikhonov. Moscow, 2011. P. 571—608.)
- [Тоддес 2002] — *Тоддес Е.А.* Б.М. Эйхенбаум в 1950—1980-е годы (к истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // *Тыняновский сборник*. 2002. Вып. 11. С. 563—694.
- (*Toddess E.A.* Eikhenbaum v 1950—1980-e gody (k istorii sovetskogo literaturovedeniya i sovetkoy humanitarnoy intelligentsii) // *Tyupnovskiy sbornik*. 2002. Vol. 11. P. 563—694.)
- [Троповский 1937] — *Троповский Л.Н.* Вопросы библиографии на библиотечно-

- библиографическом совещании // Красный библиотекарь. 1937. № 4. С. 52—60.
(*Toropovskii L.N. Voprosy bibliografii na bibliotечно-bibliograficheskom soveshchaniі // Krasnyi bibliotekar' . 1937. No. 4. P. 52—60.*)
- [Фет 1959] — *Фет А.А.* Полное собрание стихотворений / Подгот. текста, вступ. статья и примеч. Б.Я. Бухштаба. Л.: Советский писатель, 1959.
(*Fet A.A. Polnoe sobranie stikhotvoreniy / Prep., forew., and notes by B.Ya. Bukhshtab. Leningrad, 1959.*)
- [Фокеев 2006] — *Фокеев В.А.* Библиография. Теоретико-методологические основания. СПб.: Профессия, 2006.
(*Fokeev V.A. Bibliografiya. Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya. Saint Petersburg, 2006.*)
- [Шкловский 1923] — *Шкловский В.Б.* Литература и кинематограф. Берлин: Универсальное изд-во, 1923.
(*Shklovsky V.B. Literatura i kinematograf. Berlin, 1923.*)
- [Шкловский 1970] — *Шкловский В.Б.* Тетива. О несходстве сходного. М.: Советский писатель, 1970.
(*Shklovsky V.B. Tetiva. O neskhodstve skhodnogo. Moscow, 1970.*)
- [Эйхенбаум 1962] — *Эйхенбаум Б.М.* Редактор и книга: Сб. статей. М.: Искусство, 1962.
(*Eikhenbaum B.M. Redaktor i kniga: Sb. statey. Moscow, 1962.*)
- [Эйхенбаум 1987] — *Эйхенбаум Б.М.* Литература и литературный быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 428—436.
(*Eikhenbaum B.M. Literatura i literaturnyy byt // O literature. Moscow, 1987. P. 428—436.*)
- [Эйхенгольц 1946] — *Эйхенгольц А.Д.* Общая русская библиография: Метод. указания для студентов-заочников. М.: Госкультпросветиздат, 1946.
(*Eikhengol'ts A.D. Obshchaya russkaya bibliografiya: Metod. ukazaniya dlya studentov-zaochnikov. Moscow, 1946.*)
- [Эльзон 2003] — *Эльзон М.Д.* Борис Бухштаб // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь: В 4 т. Т. 1 (https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=31 (дата обращения: 09.10.2024)).
(*El'zon M.D. Boris Bukhshtab // Sotrudniki Rossiyskoy natsional'noy biblioteki — deyateli nauki i kul'tury: Biograficheskii slovar': In 4 vols. Vol. 1 (https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=31 (accessed: 09.10.2024)).*)
- [Bourdieu 1988] — *Bourdieu P.* Homo Academicus / Transl. from French by P. Collier. Stanford: Stanford University Press, 1988.
- [Erich 1955] — *Erich V.* Russian Formalism. History-Doctrine. The Hague: Mouton, 1955.
- [Gerovitch 2002] — *Gerovitch S.* From Newspeak to Cyberspeak. Boston: MIT University Press, 2002.
- [Graham 1998] — *Graham L.* What we have learned About Science and Technology from the Russian Experience? Stanford: Stanford University Press, 1998.
- [Kozlov 2001] — *Kozlov D.* The Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism, Factography, Doubt // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2001. Vol. 2. No. 3. P. 577—600.
- [Krementsov 1997] — *Krementsov N.* Stalinist Science. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Илья Виноцкий

«Идиллическая страшилка»

ПРИНСТОНСКИЙ ТЕКСТ

В «ЗАПИСЯХ И ВЫПИСКАХ» М. Л. ГАСПАРОВА¹

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_212

Каждый человек — это прекрасный сон для других
и страшная явь для себя.

Франц Кафка (в пересказе М.Л. Гаспарова)²

А Альфреда не покинет
Дженни даже в небесах!

А.С. Пушкин. Из апокрифических вариантов

Недавно издательство «Новое литературное обозрение» выпустило в свет заключительный шестой том «первого посмертного собрания сочинений» выдающегося филолога Михаила Леоновича Гаспарова (1935—2005). Составители этого тома К.М. Поливанов и Д.В. Сичинава стремились «не столько представить результаты трудов Гаспарова-ученого, сколько показать читателю самого познающего Гаспарова», «проникнуть в творческую лабораторию ученого, следя за трансформацией текста на пути от записной книжки или конспекта лекции к публикациям» [Гаспаров 2023: 9, 15]. В этой статье мы хотим обратиться к самой личной и самой известной («интеллектуальный бестселлер») книге Гаспарова, открывающей последний том его собрания сочинений. Нас будет интересовать не интеллектуальная эволюция ученого, но тесно связанная с ней и скрытая от посторонних глаз «эмоциональная история» автора — его внутренние, психологические, часто иррациональные импульсы, страхи, надежды и разочарования. Реконструкция образа познающего в тексте (текстом) самого себя ученого — проблема сложная, интересная и, как нам кажется, заслуживающая особого внимания в кризисные периоды российской интеллектуальной истории.

1 Эта статья представляет собой переработанный и дополненный вариант публикации «Идиллическая страшилка Михаила Гаспарова» (Горький. 25.09.2023), содержащий дополнительные иллюстрации. Благодарю Майкла Вахтеля, Кирилла Зубкова, Дмитрия Иванова, Илью Кукулина, Светлану Коршунову, Олега Лекманова*, Юрия Левинга, Марка Липовецкого, Татьяну Смолярову и Андрея Устинова за советы и замечания.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — *Прим. ред.*

2 Перифразированная сентенция из письма Кафки о М. Броде: «Можно ведь быть одновременно добрым сном своего друга и мучительной явью для себя самого» («Man kann eben zweierlei zugleich sein, eines Freundes guter Traum und das eigene böse Wachsein»). Указано в: [Гаспаров 2006: 239].

Из подполья

«У меня плохая память» — так, с интонационной аллюзии на «Записки из подполья» Достоевского³, открывается публикация «Записей и выписок» М.Л. Гаспарова, пришедших в большую литературу в прямом смысле слова из филологического подполья — не только «подвалов памяти», но и находившегося в подвале корпуса иностранных языков кабинета принстонского профессора, где Гаспаров работал по вечерам во время исследовательской стажировки в США. В «подвальном» отделе НЛЮ «Приложение» (после раздела писем в редакцию!)⁴ были напечатаны и первые фрагменты книги.

Замысел этой маргинальной в прямом смысле слова филологической автобиографии, выстроенной из причудливо систематизированных в алфавитном порядке выдержек из записных книжек, которые автор вел на протяжении пятнадцати лет, относится к концу 1980-х — началу 1990-х годов. Композиция книги в общих чертах сложилась к середине 1990-х, после пережитой автором попытки суицида⁵. О трудностях работы над воспоминаниями (как эстетических, так и этических) Гаспаров рассказывал в письме к своей confidentке, немецкой переводчице Марины Цветаевой Марии-Луизе Ботт, написанном в Принстоне в День благодарения (24 ноября) 1994 года:

...я стал делать выписки из своих записных книжек — мне всегда казалось, что в них много интересного. Заполнил несколько страниц, перечитал, пришел в уныние. Во-первых, по содержанию они показались мне то дешевым юмором, то банальностями, претендующими на глубокомыслие. Во-вторых, мне не попра-

-
- 3 Ср.: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень» (*Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 5. Л.: Наука, 1973. С. 99). В письмах этого времени и в «Записях и выписках» Гаспаров сознательно (почти навязчиво) подчеркивает мотив собственной малопривлекательности. По собственному признанию Гаспарова, первым произведением Достоевского, прочитанным им в возрасте пятнадцати лет, были «Записки из подполья», которые его «потрясли очень сильно», — но после этого весь остальной Достоевский» стал для него «неинтересен: так, те же “Записки...”», только в ослабленном и разбавленном виде» [Гаспаров 2006: 236]. Полагаем, что отдаленным эхом и филологической трансформацией этого юношеского «потрясения» стали и «Записи и выписки». О программно-провокативном характере гаспаровской книги см.: [Виницкий 2021: 154—156].
 - 4 Обычно эта книга рассматривается в контексте «мозаичной» философски-биографической и филологической (часто экспериментальной) прозы (Новалис, И.П. Эккерман, Василий Розанов, Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский, Лидия Гинзбург, Михаил Безродный и т.д.). См.: [Булкина 2000; Зорин 2000], а также блок ярких статей о «Записях и выписках» Олега Проскурина, Ольги Седаковой, Юрия Левинга, Манфреда Шрубы, Кирилла Кобрин, Александра Дмитриева, Ильи Кукулина, Марии Майофис и Алексея Левинсона (Новое литературное обозрение. 2005. № 73) и статьи Виктора Живова и А.К. Жолковского (Новое литературное обозрение. 2006. № 77).
 - 5 Из письма Гаспарова к М. Тарловской от 8 июля 1985 года: «Марина, пишу тебе из нечаянного казенного дома — из больницы. Официально нигде не записано, но негласно подразумевается, что попал я сюда после покушения на самоубийство. Это не совсем точно, но близко к истине: помирать я не собирался, а хотел только проверить одно лекарство, пригодится ли оно в случае настоящей необходимости или нет» [Гаспаров 2017: 402—403].

вилась разница между старой записной книжкой, 10-летней давности, и новой, предпоследней: в старой я все-таки глядел по сторонам, хоть и замечал только вздор, а в новой все больше смотрю в себя, хоть и без всякого удовольствия. Кажется, это началось после того, как я отравился и побывал в реанимации, — но я не думал, что это так заметно.

Посылаю Вам эти два листка старых и два листка новых; постарайтесь пошеяться тому, что здесь есть нелепого, и не сердитесь на то, что здесь есть претенциозного. Это не жанр афоризмов, на него я не способен, — это действительно «записи и выписки» того, что казалось почему-нибудь интересным. Я думаю, что из них должно складываться какое-то представление обо мне, — хоть и малопривлекательное [Гаспаров 2006: 202].

За три недели до этого письма, также из Принстона, Гаспаров писал о «Записях» другой своей конфидентке, исследовательнице французской литературы и коллеге по комментарию к стихам Пастернака И.Ю. Подгаецкой (иронически цитируя письмо М.-Л. Ботт, побуждавшей его продолжать писать воспоминания, «чтобы освободиться от того, что, по его более позднему выражению, «давило изнутри»» [Там же: 145]):

Моя знакомая немка — цветаеведка, потом журналистка, которую Вы видели в Марбурге, — видимо, расслышала что-то в моих письмах и написала на не очень хорошем русском языке: «Каковы ваши жгучие несчастья? выговоритесь! ведь хорошие старые повести так обычно и начинаются — или в поезде, или за границей». Я ответил: у меня жгучих несчастий нет, у меня только холодные [Гаспаров 2008: 169].

В одной из лучших, на наш взгляд, работ о «Записях и выписках» Р.Д. Тименчик указывает на то, что книга Гаспарова «неоспоримо является памятником литературы конца XX века», ибо «дает в компактной форме представление об иерархиях и конфликтах интересов, о фобиях и пристрастиях, о границах знания и понимания литературы, сложившихся к концу прошлого века не только у одного автора, а у некоторого направления российского литературоведения» [Тименчик 2017: 564]. Отсюда, по Тименчику, возникает необходимость такого литературно-филологического исследования этого «памятника эпохи», которое бы учитывало не только биографические факты и историко-культурный контекст, но и использованные в тексте «художественные приемы, тропы и фигуры — в том числе иронию» [Там же], которую современному читателю уже сложно понять.

Следует подчеркнуть, что выделенная Тименчиком авторская ирония (чаще всего — самоирония) является едва ли не главным конструктивным приемом этого странного произведения, в основе которого, как признавался сам Гаспаров, лежит болезненная тема стесняющейся самое себя личности, «сквозящей» из сменяющих друг друга в игровом калейдоскопе масок-выписок. Показательно, что понятию «я» в четырех словариках Гаспарова посвящено тринадцать выписок (плюс еще две об «эго»)⁶ — например, из Паскаля: «Я — вещь ненавистная» [Гаспаров 2000а: 73]; или из Томаса Брауна — «Господи, избавь меня от

6 Абсолютными лидерами гаспаровского словаря являются «перевод» (27 раз) и «любовь» (26). За ними идут «жизнь» (22), «смерть» (15) и «диалог» (14). «Языку» посвящено 12 примеров-«дефиниций», а «детям» — 11.

меня» [Там же: 71]⁷. В конце концов, это книга не столько «обо всем на свете» (К.М. Поливанов, Д.В. Сичинава), сколько о самом составителе текста, его сложных отношениях со всем и всеми на свете и высокой степени мучительной авторефлексии. Говоря об «автобиографической печали» начатой в Принстоне книги, заметим, что 13 апреля 1995 года Гаспарову исполнилось шестьдесят лет, и к этому юбилею он вспомнил созвучную его настроениям эпиграмму из «Палатинской антологии»: «Шесть десятков прожив, здесь я сплю, Дионисий из Тарса. / Сам я не был женат. Жаль, что женат был отец» [Гаспаров 2008: 210].

Предлагаемая работа является попыткой аналитического комментария к преломленным в «Записях и выписках» «холодным несчастьям» автора, «давящим изнутри» текста. Написанная в старинном российском жанре «по местам жизни знаменитости», она, в отличие от традиционного биокраеведческого этюда, рассматривает не столько житейские связи писателя с данным местом, сколько символическую роль последнего в сложноорганизованном литературном тексте, создающем многогранный и противоречивый образ подпольного автора, сочетающий в себе остроумие, эрудицию, парадоксальность, фобии, болезненность, холодность, насмешливость, предвзятость, «нытье», трагизм, искренность, закрытость, скромность, кокетство, обаяние, «малопривлекательность» и т.п.

Американская трагедия

Среди многочисленных историко-литературных, философических, культурно-бытовых и иных «маргиналий», включенных в «Записи и выписки», есть одна, прямо скажем, неожиданная в общем контексте детская история:

Школьный вечер в Принстоне, дети сочиняли истории и рассказывали родителям. «Жили и дружили девочка Дженни и мальчик Альфред. У Дженни на шее всегда был зеленый бантик; Альфред спрашивал: почему? а Дженни отвечала: “Не скажу”. Они выросли, поженились, состарились, и Альфред все спрашивал, а Дженни отвечала: “Не скажу”. А когда Дженни стало совсем плохо, она сказала Альфреду: “Вот теперь развяжи мне бантик, и ты кое-что поймешь”. Он развязал, и у Дженни отвалилась голова». Идиллическая страшилка (с. 69)⁸.

В «окончательном» тексте «Записей» эта история следует сразу после выписанной сентенции из Е. Лундберга «**Функционирование** государства отвратительно, но не более, чем функционирование человеческого организма» (там же)⁹.

7 Это слова знаменитого английского врача и барочного писателя-мистика XVII века сэра Томаса Брауна (1605—1682) (*Browne T. Religio Medici: Urn Burial, Christian Morals, and Other Essays / Ed., with an introd. by J.A. Symonds. London: W. Scott, 1886. P. 103*). Латинская сентенция приводится также в 13-й книге «Опытов» Монтеня (*Montaigne M. de. The Essays: In 4 vols. / Transl. by Ch. Cotton. Vol. 4. Bk. 3. London: Reeves & Turner, 1902. P. 244*).

8 Здесь и далее фрагменты из «Записей и выписок» цитируются (за исключением особо оговоренных случаев) по последней публикации в: *Гаспаров М.Л. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Новое литературное обозрение, 2023*.

9 В ранних изданиях книги между ними в нарушение алфавитного порядка вклинивалась запись о флоте: «Главным врагом русского военного флота всегда было море» (с. 69).

Очевидно, что эта страшилка относится к принстонским впечатлениям Гаспарова, который провел на кампусе университета почти девять месяцев в 1994—1995 годах, работая с хранящимся в библиотеке архивом О.Э. Мандельштама. Между тем трудно представить себе Михаила Леоновича — человека, боявшегося многолюдства и плохо воспринимавшего на слух английский язык¹⁰, — присутствующим на школьном вечере в американском академическом городке. Зачем эта простая и абсурдная страшилка, якобы сочиненная американскими детьми для их родителей, понадобилась автору «Записей и выписок», над которыми он работал во время пребывания в Принстоне?

Зеленая лента

Прежде всего следует заметить, что приведенная страшилка представляет собой не аутентичный детский рассказ (в смысле «сочиненный» американским ребенком), а литературное произведение, написанное для детей младшего школьного возраста. Причем произведение исключительно популярное в Америке. Оно называется «Зеленая лента» («The Green Ribbon»), и его автором является Элвин Шварц (Alvin Schwartz, 1927—1992) — принстонский фольклорист (сборатель городских легенд) и писатель, создатель сборников страшных историй для маленьких детей. Впервые этот рассказ вышел в сборнике «ужастиков» «В темной-претемной комнате и другие страшные истории» («In a Dark, Dark Room and Other Scary Stories») в 1984 году с замечательными иллюстрациями Дёрка Зиммера (Dirk Zimmer). Приведем этот рассказ целиком в переводе Дмитрия Иванова¹¹:



Жила-была девочка по имени Дженни. Она была такой же, как все девочки, за исключением одной вещи. Она всегда носила на шее зеленую ленту. В ее классе был мальчик по имени Альфред. Дженни нравилась Альфреду, а Альфред нравился Дженни.

10 См. «Воспоминания о М.Л. Гаспарове» Майкла Вахтеля [Вахтель 2017: 442].

11 Читатель может посмотреть замечательные иллюстрации в сопровождении с текстом ужастика здесь: https://www.youtube.com/watch?v=_3PlkV2anqk. Иллюстрации воспроизводятся по данному видео.

Однажды он спросил у нее: «Почему ты все время носишь на шее эту ленту?» «Я не могу тебе этого сказать», — ответила Дженни. Но Альфред продолжал спрашивать: «Зачем ты ее носишь?» И Дженни отвечала: «Это неважно». Дженни и Альфред выросли и полюбили друг друга. Однажды они поженились.

После свадьбы Альфред сказал: «Теперь, когда мы женаты, ты должна рассказать мне про зеленую ленту». «Придется подождать еще, — ответила Дженни. — Я расскажу, когда придет время (один из персонажей на иллюстрации Зиммера чудесным и необъяснимым образом внешне немного похож на Михаила Леоновича).

Прошли годы. Альфред и Дженни состарились. Однажды Дженни тяжело заболела. Доктор сказал ей, что она умирает. Дженни подозвала Альфреда к своей постели. «Альфред, — сказала она, — теперь я могу рассказать тебе про свою зеленую ленту. Развяжи ее, и ты увидишь, почему я не делала этого прежде». Медленно и осторожно Альфред развязал ленту. И тут у Дженни отвалилась голова!



Эта страшилка, как и другие ужастики, напечатанные Шварцем, вызвала бурную дискуссию о пользе или вреде horror stories для маленьких, в которой приняли участие родители, педагоги и библиотекари (некоторые библиотеки исключили книжку из своих фондов). Сам автор указывал на то, что свои ужастики он не сочинил, а «вывел» из городского фольклора путем серьезного исследования этого жанра, проведенного в главной университетской библиотеке Принстона:

По сути дела, каждую новую книгу я начинаю с того, чтобы выяснить все, что могу, о жанре страшилки. Это требует прочтения значительного количества книг и журналов, а порою дискуссий и консультаций с профессиональными фольклористами. Большую часть времени я провожу в Файерстоуновской библиотеке в Принстонском университете. Я живу примерно в полумиле от нее, и ее близость — одна из причин, по которой мы поселились в Принстоне. Это действительно прекрасная библиотека. Собирая материалы по своей теме, я постепенно начинаю откладывать то, что мне особенно нравится. Замечательно, что в результате обычно обнаруживаются некоторые общие типологические модели. Я ищу не только то, что мне нравится, но и такие вещи, которые определяют этот жанр (цит. по: [Vardell 1987: 427]).

В заключавшем сборник разделе «Откуда заимствованы эти истории» Шварц указал, что «The Green Ribbon» основана на европейском фольклорном мотиве, в котором красная лента обвязывается вокруг шеи героя, отмечая место, где была отрезана голова, впоследствии приставленная к телу. Попутно заметим, что этот архаический мотив регенерации расчлененного тела представлен во многих мифах и сказках. В русской художественной литературе сюжет оторванной и приставленной головы использован в «Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова (наказание конферансье Жоржа Бенгальского, «причудливый шрам на шее» вампириши Геллы и, наконец, зеленая лента с бантом на блеклой шее прекрасной отравительницы Тофаны). Обнаруживается он и в современной массовой культуре. Так, в московском «Магазине необычных вещей» на улице Фучика еще недавно продавалась силиконовая маска «Оторванная голова, голова с цепью, цепь, страшная, латексная, на голову» производства США¹². Наконец, похожий на страшилку Гаспарова сюжет о механически прикрепленной и потом отвалившейся части тела хорошо известен по анекдоту о гайке вместо пупка, бытующему в разных модификациях — от «кавказского» тоста до «русской» сказки с моралью: «Родился Иван-царевич, а вместо пупа — гайка. <...> Добыли ключ, приехали во дворец, открыли гайку, а у Ивана-царевича задница отвалилась. Так выпьем же за то, чтобы не искать приключений на свою ж...» [Раскин 1995: 140].

Вернемся к страшилке Шварца. Комментаторы связывают происхождение этого сюжета с французским революционным террором (модницы времен Директории носили на шеях алые ленты, напоминавшие след от ножа гильотины) и указывают на его возможный литературный прообраз — страшный рассказ Вашингтона Ирвинга «Приключение немецкого студента» («The Adventure of the German Student», 1824). Еще одна литературная версия этого сюжета, восходящая, как полагают, к тому же, что и рассказ Ирвинга, неизвестному французскому источнику, представлена в напечатанном в 1851 году рассказе Александра Дюма «Женщина с бархоткой на шее» («La femme au collier de velours»). В XX веке этот сюжет перешел (спустился) из высокой романтической литературы с историческими (травматическими) аллюзиями в детскую литературу и школьный фольклор — рассказ «Бархатная лента» («The Velvet Ribbon»), напечатанный в 1970 году Энн Макгаверн (Ann McGovern) в детской книжке «Призрачные забавы» («Ghostly Fun») ¹³. Рассказ начинался лирическим вступлением: «Жил-был человек, который влюбился в прекрасную девушку», — и заканчивался жутким открытием не прислушавшегося к предостережениям жены супруга:

Быстро и тихонько, стараясь не разбудить жену, он склонился над ее кроватью: ВЖИК! — сделали ножницы, бархатная лента упала на пол и ХРЯСЬ! — оторвалась голова. Она покатила по полу в лунном свете, причитая в слезах: «Я... говорила... тебе... тебе же... теперь будет... ж-а-л-к-о!»¹⁴

12 Приводить ее изображение не будем, чтобы не пугать лишний раз читателя.

13 В том же году этот рассказ был включен в сборник «Дом с привидениями и другие жуткие стихи и сказки» («The Haunted House and Other Spooky Poems and Tales») в серии «Scholastic Book Services».

14 «Quickly and quietly, careful not to awaken her, he bent over his wife's bed and SNAP! went the scissors, and the velvet ribbon fell to the floor and SNAP! off came her head. It rolled over the floor in the moonlight, wailing tearfully: "I... told... you... you'd... be... s-o-r-r-y!"» Цит. в нашем переводе по: <https://www.laurashouseofhalloween.com/v-ribbon.html> (дата обращения: 28.09.2024).

Элвин Шварц сжал этот сюжет и наделил героев истории именами Дженни и Альфред. Его версия (и еще раз напомним — иллюстрации к нему) получила огромное распространение в американской детской субкультуре: его читали или пересказывали вслух (во вступлении к своему сборнику Шварц предлагал маленьким читателям читать его рассказы ночью «м-е-е-е-дленно [“s-l-o-w-l-y”] и тихим голосом», чтобы все получили удовольствие), разыгрывали в карнавальных костюмах на Хэллоуин, а недавно стали записывать на «YouTube».

В интервью Леонарду Маркусу (Leonard Marcus) в 1988 году Шварц признался, что на одно его выступление в начальной школе весь пятый класс пришел в зеленых ленточках вокруг шеи, и это его весьма умилило¹⁵.

Выскажем предположение, что Гаспаров познакомился с текстом этого рассказа не на детском школьном празднике, а в располагавшемся на главной улице городка книжном магазине «Micawber Books» (110 Nassau St.), по традиции выставлявшем на уличные прилавки в канун Хэллоуина иллюстрированную книжку Шварца (для чувствительного к звуковым ассоциациям человека диккенсовское название магазина — по имени неунывающего бедолаги из «Дэвида Копперфильда» — весьма похоже на слово «макабр»). В 2007 году «Micawber» закрылся и рядом с ним открылся новый книжный магазин «Лабиринт». Книжка Шварца и сейчас в продаже (в издании 2017 года с другими иллюстрациями).

МЛГ в ПГТ

Несложно заметить, что история в «Записях и выписках» представляет собой не что иное как сокращенный перевод с английского знаменитой страшилки Шварца¹⁶. Более того, этот пересказ выполнен в соответствии с разработанной в то же самое, принстонское, время провокативной теорией Гаспарова о контекстивном переводе, сжимающем оригинал в значимое целое, своего рода смысловой концепт. Так, 19 значимых слов в завязке и без того сверхкраткого оригинала — «One day he asked her, “Why do you wear that ribbon all the time?” “I cannot tell you,” said Jenny» — Гаспаров превращает в 12: «У Дженни на шее всегда был зеленый бантик; Альфред спрашивал: почему? а Дженни отвечала: “Не скажу”». Между тем перед нами не простая «языковая практика» русского гостя и его очередной переводческий эксперимент. Ключ к этой записи в ее «прописке».

Гаспаров не любил Принстон. Он чувствовал себя здесь одиноко, мало с кем общался¹⁷, очень много работал (причем не в самой привычной для себя области — текстологии) и сильно уставал. Здесь обострилась его депрессия, связанная, как считает Майкл Вахтель, с неудачно выбранной съемной квартирой в огромном (по принстонским масштабам) и страшноватом здании, по-

15 *Marcus L.S. Night Visions: Conversations with Alvin Schwartz and Judith Gorog // The Lion and the Unicorn. 1998. Vol. 12. No. 1. P. 47.*

16 Некоторые страшилки Шварца были недавно переведены на русский язык: *Шварц Э. Страшные истории для рассказа в темноте / Пер. с англ. Ю. Павлова и В. Браун. М.: АСТ, 2019. «Зеленой ленты» среди них нет.*

17 О «языковых переживаниях» Гаспарова в Америке см.: [Виницкий 2024].

хожем на «haunted house» (вход в это жилище был с задней стороны здания)¹⁸. В маленьком городе ему было скучно и, как он признавался в письме к Подгаецкой, кроме профессора Кэрил Эмерсон, занимавшейся нелюбимым им Бахтиным¹⁹, ему не с кем было здесь говорить на интересовавшие его темы²⁰. «Славистская кафедра, — писал он из Принстона М.-Л. Ботт, — слабая, интересных собеседников нет»; «русская литература в университете начинается Толстым и кончается Достоевским: поэзией не занимается никто» [Гаспаров 2006: 204].

Как вспоминает М. Вахтель, замечательный стиховед и специалист по русскому символизму, находившийся в тот год в академическом отпуске в Нью-Йорке, кафедра тогда ютилась в сыром и холодном подвале, а «славистика не котировалась» [Гаспаров 2017: 440]. Михаил Леонович утром и днем трудился в библиотеке, а вечером долгие часы сидел в подвальном кабинете Вахтеля, что точно не улучшало его настроение: крошечное окошко, естественный свет туда почти не добирался, зимой было жутко холодно, а когда шел сильный дождь, офисы в подвале заполнялись водой. Любопытно, что большой и обшарпанный дом, в котором поселился Гаспаров²¹, известен в принстонских хрониках как «Парфенон девицы Превост» [Buckner Inniss 2019: 92]. Такое название он получил, как полагают, потому что имел портик с шестью колоннами, а его богатая владелица никогда не выходила замуж: слово «Парфенон»

-
- 18 «Только после его смерти я понял, до какой степени МЛГ мучился в Принстоне» [Вахтель 2017: 442]. Сам Гаспаров в письме к И.Ю. Подгаецкой от 7 сентября 1994 года подробно описывал свою языковую уязвимость в сравнении с не знающими комплексов соотечественниками и соотечественницами: «Свое безъязычие больше ощущаешь не среди американцев, а среди владеющих языком соотечественников. Одна дама из Воронежа (очевидно, И.С. Приходько, бывшая в 1993—1995 годы феллоу-брайтовской стипендиаткой. — *И.В.*) чувствовала себя настолько на коне, что и с соседями рвалась разговаривать исключительно по-английски. Я молчал и угрызился невежеством. Оно относительное: [С.В.] Василенко знает язык не лучше меня, но он смело завязывает любые разговоры, а я прячусь в свое непонимание-со-слуха, как в скорлупу. (Как в русское заикание.) Это еще не худшее, такой же психологический паралич остался у меня непреодоленным в еще более жизненно важной области, но то — уже дело прошлое, а научиться говорить мне надо бы ввиду одного будущего приглашения в Англию, где обещают большую стипендию и идеальные условия для работы, но в обмен на несколько лекций на английском языке. Не научусь ведь» [Гаспаров 2008: 143].
- 19 «Единственный крупный ученый в Принстоне и интересный собеседник — женщина по фамилии Эмерсон, соавтор самой толковой книги о Бахтине» (письмо к И.Ю. Подгаецкой от 12 декабря 1994 года) [Гаспаров 2008: 181]. О ее диалогах с Гаспаровым см.: [Эмерсон 2006].
- 20 Из письма Гаспарова к И.Ю. Подгаецкой от 3 ноября 1994 года: «...здешняя преподавательница, с которой я еженедельно веду малоинтересные разговоры, задала мне детский вопрос: а оказал ли Пастернак влияние на русскую литературу? Я растерянно ответил: “Кажется, нет, разве что на мелких эпигонов”. <...> — “А на прозу?” — И на прозу. — “А на Андрея Битова?” — Ну, разве что Пастернак приложил к своему роману стихи, а Битов — реальный комментарий. Мне совестно, что я об этом не задумывался, но неужели это так, и Пастернак создавал только какую-то атмосферу, а не влиял на конкретных поэтов?» [Гаспаров 2017: 167—168]. Высказанное в частной переписке язвительное замечание о разговорах с принстонской преподавательницей не помешало Гаспарову процитировать одно из ее наблюдений в «Записях и выписках» (раздел «Акцент» [Гаспаров 2000а: 9]).
- 21 Вахтель вспоминает, что снятая им для Гаспарова принстонская квартира сразу оказалась Михаилу Леоновичу похожей «на квартиру, которую можно найти в любом провинциальном русском городе» [Гаспаров 2017: 442].

означает «храм Девы», смысл которого, по Гаспарову, — «победа закона и порядка над произволом неразумной стихии» [Гаспаров 2000б: 79]. Так что, сам того не зная, русский филолог-классик попал в своего рода американскую фиктивную Грецию.

Сам кампус вызывал у Гаспарова раздражение. В «Записи и выписки» на букву «П» он поместил характерную «шпильку» в адрес города, извлеченную из упоминавшегося выше письма к М.-Л. Ботт:

ПГГ²². «В Америке ведь не города, а поселки городского типа», — сказал Томас Венцлова, литовский диссидент, преподающий славистику в Йейле. Вот такой же и Принстон: серый псевдогоготический университет, такая же псевдоцерковь, покельнски поднявшая одно ухо, а вокруг острокрышние дачные домики-кубики с фасадами в дощатую линейку (с. 156—157).



Церковь Апостола Павла (архитектор Т.Г. Моран, 1955—1956), не понравившаяся М.Л. Гаспарову своей «фальшивой готикой» (находится неподалеку от дома, в котором он снимал квартиру). «Поднятое ухо» здесь, очевидно, не человеческое, а собачье, как бы настороженное, — скорее всего, речь идет о единственной торчащей башне, как в страсбургском (см. приводимое далее письмо Гаспарова), а не кельнском соборе. Впрочем, возможно, что эллинист разглядел здесь так называемый акротерион («собачье ухо») — украшенную часть храма, которая устанавливается на вершине фронтона на особом постаменте. Но вряд ли...

Автор фото: Doug Kerr



*Страсбургский собор (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, 1015–1439)
с северной башней (настоящая готика). Автор фото: David Iliff*

Не менее иронически он описывает в «Записях и выписках» принстонскую библиотеку имени Харви Файерстоуна (основателя компании по производству резиновых шин), готический лабиринт которой напоминает ему известную детскую головоломку (обратим внимание на вновь всплывающий «кубический» мотив):

РУБИК. В принстонской библиотеке старая часть расставлена по одной классификации, новая — по другой, и кусочки этих частей растасованы по шести этажам в непредсказуемом расположении: больше всего похоже на кубик Рубика (с. 61).

В письме к М.-Л. Ботт — как уже говорилось, переводчице и комментатору «Крысолова» [Bott 1981; 1982] Марины Цветаевой — от 20 сентября 1994 года Гаспаров идет еще дальше в своей критике принстонского провинциального мирка: «А в Принстоне смотреть не на что. Городок маленький и с виду очень мещанский, сытый, уютный, довольный, как Гаммельн» [Гаспаров 2006: 201].

Эта резкая характеристика вызвала впоследствии отповедь мичиганского профессора и друга Гаспарова Омри Ронена, уличившего его в бестактности и снобизме: Принстон — один из научных и культурных центров Америки, этот город принял Альберта Эйнштейна и других беженцев из нацистской Германии, наконец, на славистской кафедре преподают и учатся три поколения бывших студентов Ронена²³ [Ронен 2009].

В свою очередь, соавтор и многолетняя корреспондентка Михаила Леонovichа Н.С. Автономова справедливо вступилась за Гаспарова, указав на специфические (болезненные и детские) особенности его характера и индивидуальные предпочтения:

...сама эта защита принстонцев (Роненом. — *И.В.*) звучит диссонансом, потому что в данном контексте она глуха к важнейшим смысловым обертонам гаспаровского употребления слова «мещанство».

У Гаспарова (несмотря на соседство зловещего Гаммельна) речь идет о чем-то весьма соблазнительном: об уютном замкнутом мире, удобном для жизни и работы, о земном рае, в который его, «неконвертируемого» Гаспарова, никогда не впускают, так что и музыка, и еда тут ни при чем. <...> Помимо уютного и комфортного Принстона у МЛГ могли быть и другие поводы для зависти: вряд ли можно сомневаться в том, что он завидовал (скорее всего, бессознательно) и счастливым детствам, и «несчастливым», как выражается Омри Ронен, бракам. Счастливым людям легче жить, а он, Гаспаров, — за границей, где никому не нужен, обязан работать, как вол, чтобы продвинуть дело, которое не сможет сделать в московской суете [Автономова 2010].

В письме к М.Г. Тарлинской Гаспаров, говоря о возвращении из Принстона, пересказывает афоризм Кафки о том, что «каждый человек — это прекрасный сон для других и страшная явь для себя»: «Вот и я сейчас возвращаюсь оттуда, где я был прекрасным сном для других, туда, где я страшная явь для себя. Ничего нового в этой яви я не открыл» [Гаспаров 2008: 326].

Едва ли мы ошибемся, если назовем Принстон в восприятии российского филолога своеобразным холодным наваждением, в котором, перифразируя другого русского интеллигента, оказавшегося в маленьком университетском городке в Америке, реальный, страдающий и не находящий для себя места человек чувствует, что превращается в умильный сон местных обывателей (вспомним вторую главу «Сны» в цветаевском «Крысолове»).

«Детский рай»

Как мы полагаем, восходящий к поэме Цветаевой гаммельнский мотив имеет прямое отношение не только к записи Гаспарова о Принстоне как буржуазном академическом «поселке городского типа», но и к заинтересовавшему нас переводу-пересказу американской детской истории, определенной автором-филологом как «идиллическая страшилка» (своего рода фрейдовское «das Unheimliche», жуткое, редуцированной до сюжетного минимума мещанской

23 Ученики Ронена разных поколений — профессора Ольга Хейсти, Майкл Вахтель и аспирант Тимоти Портис (теперь тоже профессор).

жизни, представленной повествователем и проиллюстрированной художником: девочка и мальчик, школьная любовь, женитьба, жизнь вдвоем до старости и смерти).

В основе романтической поэмы Цветаевой лежит знаменитая средневековая «страшилка» о похищенных пестрым музыкантом-крысоловом 130 гаммельнских детях (существует большая литература об исторических, культурных, мифологических и социопсихологических истоках этой истории). В интерпретации Цветаевой оскорбленный Крысолов, символизирующий поэзию, уводит игрой на дудочке детей из духовно мертвого мещанского Гаммельна («Быт не держит слово Поэзии. Поэзия мстит»). Гаммельн, напомним, изображается в поэме так:

Стар и давен город Гаммельн,
Словом скромн, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн — славный городок!

В ночь, как быть должно комете,
Спал без просыпу и сплошь.
Прочно строен, чисто метен,
До умильности похож.

— Не подойду и на выстрел! —
На своего бургомистра²⁴.

Вот еще одна характеристика готического Гаммельна, очевидно проецируемая Гаспаровым на псевдоготический Принстон (двусложное название первого легко заменить в стихах названием нью-джерсийского городка):

Город грядок —
Гаммельн, нравов
добрых, складов
полных, — Рай —
город...

Божья радость —
Гаммельн, здравых —
город, правых —
город...

Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, —
Зай-город, загодя-закупай-город.

<...>
Божья заводь —
Гаммельн, гадов —
Бесу, сладок —
Богу...

24 *Цветаева М.И.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1994. С. 51.

<...>

Кто не хладен
и не жарок,
прямо в [Принстон]
поез —

жай-город, рай-город, горноста́й-город.
Бай-город, вовремя-засыпай-город²⁵.

В последней главе поэмы (которую по-гаспаровски вполне можно назвать исполинской романтической страшилкой) под названием «Детский рай» Крысолов зазывает с помощью волшебной дудочки гаммельнских детей и обещанную ему в жену дочку бургомистра в поэтический эдем (тема, связанная в восприятии Цветаевой с «Лесными царями» Гёте и Жуковского) и топит их в озере:

В царстве моем — ни свинки, ни кори,
Ни высших материй, ни средних историй,
Ни расовой розни, ни Гусовой казни,
Ни детских болезней, ни детских боязней:

— Вечные сны, бесследные чащи...
А сердце все тише, а флейта все слаще...
— Не думай, а следуй, не думай, а слушай.
А флейта все слаще, а сердце все глуше...

— Муттер, ужинать не зови!
Пу-зы-ри²⁶.

В этом русском поэтично-мифологическо-психологическом контексте становится понятной данная Гаспаровым дефиниция переведенной им детской истории, «услышанной» (или, как мы предположили, прочитанной) в кажущемся уютным и довольным Принстоне, — «идиллическая страшилка»²⁷. Эта дефиниция, используя собственное выражение Гаспарова, представляет собой своего рода деструкцию американской среды, вызывавшей в нем не только насмешку, но и некий первобытный ужас, — «страшная академическая идиллия». Иначе говоря, «уста́ми» вымышленных американских младенцев и с помощью американского детского фольклорного жанра Гаспаров высказывает собственное представление об академическом рае, скрывающем под прекрасной оболочкой чуждые для него эстетику и образ жизни. «Настоящий Гаммельн, — утверждал ученый в написанной совместно с Н.Г. Дацкевич статье «Тема дома в поэзии Марины Цветаевой» (1992), — это город "...складов пол-

25 Там же. С. 55.

26 Там же. С. 108.

27 Термин «страшилка», используемый Гаспаровым, был введен в фольклористический оборот в 1970-е годы М.В. Осориной [Гречина, Осорина 1981]. В 1990-е годы становятся популярными стилизации и сборники русских детских страшилок: *Успенский Э.* Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы. Страшные повести для бесстрашных школьников (Пионер. 1990. № 2—4); *Науменко Г.* Русские детские страшилки. М.: Классика плюс, 1997; *Усачев А., Успенский Э.* Жуткий детский фольклор. М.: Росмэн, 1998.

ных, Рай-город...», и это плохо, потому что в быту». И продолжал афористически: «Даже крысы, заслушав песню крысолова, становятся выше мещанства» [Дацкевич, Гаспаров 1992: 118] (флейта цветаевского Крысолова поет: «Крысы, с мест! / Не водитесь с сытостью: съест!»²⁸).

Заметим, что в похожем тоне Гаспаров описывал в «Записях и выписках» по-настоящему готический Оксфорд, название которого (the oxen ford 'бычий брод') «местные слависты» якобы переводят как «Скотопригоньевск» (с. 49). (Профессор Катриона Келли заметила в разговоре с нами, что никогда в жизни не слышала от коллег подобного перевода-сопоставления Оксфорда с местом действия «Братьев Карамазовых» и предположила, что Гаспаров услышал этот каламбур от профессора Джерри Смита, с которым тогда часто общался. Но возможно, что Гаспаров прочитал о такой этимологии в комментариях известного английского переводчика романа Игната Авсея в оксфордском издании 1994 года²⁹.) Разумеется, сама по себе ироническая критика университетского мирка как мещанского, лицемерного и мертвого является традиционной романтической темой (от «Золотого горшка» Э.Т.А. Гофмана до английских оксбриджских *mystery series* вроде замечательного «Инспектора Морса» и фильмов-ужасов на тему кампусной Америки 1950—1960-х годов).

Черный бутон

Почти девять месяцев спустя после приезда в Америку, 3 мая 1995 года, Гаспаров пишет письмо И.Ю. Подгаецкой «в самолете из Нью-Йорка в Москву»:

Только теперь, улетев из Принстона, я в состоянии сказать, на что он, собственно, похож. Архивная читальня называется «имени Даллеса» — помните, был такой поджигатель войны. Она круглая, и перед глазами висит портрет круглого Даллеса над круглым глобусом. Вокруг нее библиотека — версты пристроек и надстроек вширь и ввысь, а на перекрестках в полу рисунки компаса, N-E-S-W, чтобы не заблудиться. Вокруг — университет, серыми башенными псевдоготическими корпусами, а среди них, на площадке перед библиотекой, постамент, и на нем бутон черных выпуклостей с просветами: скульптор Липшиц, «Гармония гласных».

На главной улице — псевдоцерковь (святой Павел), по-кельски — или по-strasбургски? — поднявшая одно готическое ухо. А вокруг, теремками, острокрышие домики-кубики с дачными крылечками и фасадами в досчатую линейку. Я уже писал: «В Америке ведь не города, а поселки городского типа», — сказал Томас Венцлова, приятель Бродского, степенный диссидент, преподающий славистику в Йеле [Гаспаров, Подгаецкая 2008: 176—177].

Как видим, это письмо включает выдержку из приводимого выше письма к М.-Л. Ботт, ставшую затем словарной «выпиской» «ПГТ». Между тем в последней был несколько заретуширован сарказм, весьма напоминающий язвительную манеру Цветаевой: «литовский диссидент» вместо использованного

28 Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. С. 71.

29 «Достоевский, — указывал переводчик Игнат Авсей, — должно быть, сконструировал это название по образцу какого-то западного оригинала, вроде Кэттлвилля или Оксенфорда или даже Оксфорда» (*Dostoyevsky F. The Karamazov Brothers. A new translation by Ignat Avsey. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 1003*).

в письме к Подгаецкой оксюморона «*степенный диссидент*», преподающий славистику в элитарном Йеле. (Заметим, что высказывание Венцлова, процитированное Гаспаровым, непосредственно связано с исследовательскими интересами йельского профессора, занимавшегося изучением культурно-семиотического «языка» (легенды) любого города, в том числе и «многих современных городов, к которым часто применим советский термин “поселок городского типа”» [Венцлова 2014: 29–30]³⁰.)

Скульптура Жака Липшица (Jacques Lipchitz), которую иронически остраивает Гаспаров в этом письме, «по-хлебниковски» (для русского филологического уха) называется «*Song of the Vowels*». Она стоит перед библиотекой, в которой хранится архив Мандельштама, где изучал свои ужастики Шварц и работал Гаспаров, изображает арфу и арфиста и воплощает, по словам самого скульптура, древнюю легенду о тайной молитве, с помощью которой жрецы могут вызывать к жизни силы природы.



Жак Липшиц. «*Song of the vowels*» («*Песня гласных*»)
Принстонский университет. Автор фото: PoliticsIsExciting

30 Сам Венцлова в письме ко мне от 9 октября 2023 года заметил, что сравнение американского кампуса с поселком городского типа он, кажется, слышал от парижского гостя Е.Г. Эткинда.

Полагаем, что Гаспарову, ежедневно проходившему мимо «Песни гласных» в библиотеку, этот «бутон черных выпуклостей с просветами» казался пугающей (забронзовевшей) пародией на гаммельнского музыканта-заклинателя. Попутно заметим, что в принстонском письме к Андрею Устинову от 10 декабря 1994 года Гаспаров сообщал, что ходит в архив «мимо греческой закуской (Zorba the Grill), где предлагаются сувлаки и фарафели <sic!> — очень хармсовские слова»³¹ (речь идет о популярном ресторанчике — увы, недавно закрывшемся — «Zorba's Grill», находившемся в Принстоне по адресу: 183 Nassau St.). Замечательно, что греческие блюда вызывали у автора «Занимательной Греции» русские авангардистские фонетические ассоциации. А еще замечательнее, что эти ассоциации неожиданно преломились в «Записях и выписках» в «дефиниции» **«Хелефеи и фелефеи»**:

Я раскрыл Библию, открылась Вторая книга Царств: «И вышли за ним люди Иоавовы, и хелефеи и фелефеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри». Я обрадовался и написал открытку В.П. Григорьеву: вот какой хлебниковский (или хармсовский) язык я нашел в Писании. Он ответил: «Хармсовский, но не хлебниковский, потому что звука ф в “звездном языке” не было» [Гаспаров 2000а: 67]³².

Чистый Хармс!

В заключение приведем последние слова написанного Гаспаровым в самолете письма, завершающие его дискретный принстонский травелог:

Пока я писал, мы пролетели ночь, над светлыми облаками встает солнце, и до Москвы — три часа. Я понял, почему я стал писать Вам, вместо того чтобы считать аллитерации в «Евгении Онегине», как я собирался: потому что мне нужно было душевно приготовить себя к московской реакклиматизации, и через разговор с Вами это оказалось всего возможнее. Спасибо Вам за это [Гаспаров 2008: 213].

Кажется, что это специфическое предчувствие возвращения на родину к своему языку, своим читателям (читательницам) и неизменному одиночеству («страшной яви» собственного «я») выворачивает наизнанку канонический финал карамзинских «Писем русского путешественника», строящихся как эпистолярные «разговоры» с сочувственницами:

31 Разумеется, имеются в виду фалафели. Выражаю глубокую признательность А.Б. Устинову за разрешение ознакомиться с этим письмом. О «нелюбви» Гаспарова к еде см. воспоминания Вахтеля и Тарлинской: он питался «в основном сыром, конфетами и сухофруктами»; «...живя в Принстоне на квартире, в научной командировке, он ни разу плиту не зажег, не вскипятил себе воды для чая» и ел одни «дешевые конфеты типа ирисок “кис-кис”», сахар («для мозга хорошо») и дешевую колбасу типа ливерной [Вахтель 2017: 441; Тарлинская 2017: 404].

32 Действительно, Хармс, как любезно указал нам А.А. Кобринский, имел особое пристрастие к буквам «ф» и «фита» (Ф). Свою жену Марину Малич он звал Фефюлька. В одном из набросков у него появляется собака по имени Феска. Наконец, в рассказе, начинающемся словами «К одному из домов, расположенных на одной из обыкновенных ленинградских улиц», появляется герой Яков Иванович Фитон, у которого на двери висела бумажка с криво расположенными буквами, причем «слово Фитон начиналось не с буквы Ф, а с Фиты, которая была похожа на колесо с одной перекладной (мы бы сказали, что с ленточкой. — *И.В.*)» (Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. Проза и сценки. Драматические произведения. СПб.: Академический проект, 1997. С. 31).

Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата, но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих, но мне в нем весело!

С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счета, книги, камешки, сухие травы и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, la perte da Rhone, или могилу отца Лоренза, или густую иву, под которою англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете крезы бедны передо мною!³³

Почти девятимесячная принстонская командировка Гаспарова не оставила никаких чувствительных «воспоминаний путешественника» (кроме двух-трех разговоров с душевно близкими и интересными для него собеседниками³⁴). Но от нее остались несколько ярких, грустных и умных писем, классические статьи о мучительной работе Мандельштама над текстами своих главных и са-

33 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1984. С. 388.

34 Так, об античнице Е.В. Алексеевой, помогавшей ему в работе над мандельштамовским архивом, Гаспаров пишет: «Худая, болезненная... нервы натянутые. В голосе иногда слезы, но владеет собой. ...общий язык нашелся, и разговоры получаются такие человеческие, что мне все еще непривычно. Вот и еще одним хорошим человеком в жизни больше...» [Гаспаров 2008: 328]. Вообще с тихими и болезненными интеллигентными собеседниками Гаспаров легче находил общий язык. «С мало-знакомыми и новознакомыми людьми, — писал он в одном из своих принстонских писем, — вдруг получались очень хорошие разговоры: старенькая преподавательница (моложе меня на два года), устроившая мне визит в Блумингтон, разговаривала со мной так, что на прощание мы обнялись и я ее по головке погладил» [Там же: 326]. Речь идет о профессоре Индианского университета, «тихой бахтинистке» Нине Перлиной [Там же: 201], подсказавшей Гаспарову, что темный мандельштамовский стих «жаркой шубы сибирских степей» из известного стихотворения о «веке-волкодаве» восходит к ремарке Велимира Хлебникова «Перун подает Юноне черную шубу сибирских лесов» из той самой заумной пьесы «Боги», о которой ученый прочитал доклад (а потом написал статью). Заметим попутно, что этот стих, по всей видимости, подразумевает не sheepskin (дубленку), которая, согласно переводу Лоуэлла, высмеянному Владимиром Набоковым, была послана в сибирские степи (shipped to the steppes; см.: Nabokov V. Strong Opinions. New York: Vintage international, 1990. P. 281), а так называемую шубу сибирских волков, волчью шубу, славившуюся своей теплотой. Ср., например, из «Статистического обозрения Сибири» Ю. Гагемейстера: «Серые [шкуры] имеют несколько подразделений, но из них ценятся выше всех шкуры сибирских волков. Они крупнее, шерсть на них высокая, густая, темносерого цвета» (Гагемейстер Ю. Статистическое обозрение Сибири: В 3 ч. Ч. 1. СПб.: Тип. II Отд. Собств. е. и. вел. канцелярии, 1854. С. 327). Такой шкуре посвящен замечательный сибирский рассказ К.Н. Бальмонта «На волчьей шкуре» (1908) о рыжем мальчике, лежавшем «на волчьей шубе»: «...во всю эту ночь, в оцепенении тьмы, рыжему мальчику снилась бесконечная снежная равнина, и по ней с горящими глазами волк и волчица убежали к крайней черте горизонта, где виднелось зарево от сгоревшей деревни» (Бальмонт К.Д. Воздушный путь. Рассказы. Берлин: Огоньки, 1923. С. 129). Возможно, что этот материал понадобился Мандельштаму для того, чтобы ассоциативно мотивировать стремление своего лирического героя спрятаться от нового «века-волкодава» в шкуру сибирского волка (преследуемого старого века), не будучи волком по крови своей. Проницательный Олег Лекманов услышал здесь отголосок киплинговского Маугли, которого Мандельштам упоминал незадолго до написания этого стихотворения [Лекманов 2003: 147].

мых страшных произведений³⁵ и переработанное в книжку собрание собственных «подпольных» выписок, представляющих печальную ироничную исповедь (сам автор употребил в одном из писем медицинский термин «анамнез») «безбытного» или, лучше сказать, «*неуместного*» российского книжника-интеллектуала, оказавшегося в идиллическом академическом городке в окруженном огнем конце XX века (в нескольких письмах этого времени академический ученый Гаспаров упоминает кровавую чеченскую войну, начавшуюся в декабре 1994 года, — современный фон его филологической работы над статьей о пацифистских «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштама).

В свою очередь, переведенный Гаспаровым американский рассказ о Дженни и Альфреде оторвался от «Записей и выписок» и стал функционировать в российском интернете просто как анекдот-страшилка. Забавно, что остроумцы из российских чатов предлагают новые развязки для этой истории. Один шутник заменил имя Альфред на Альберт, включив тем самым страшилку в принстонскую «легенду»: «Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн»³⁶. Другой завершил рассказ на гендерной ноте: «“Вот теперь развяжи мне бантик, и ты кое-что поймешь”. Он развязал, и — *увидел кадык*» (или: *увидел, что это был... Джонни*)». Но это уже совершенно иная история, свидетельствующая о других страхах и предрассудках.

Постскриптум

«Что для меня удивительно, — меланхолически заметил мой коллега Майкл Вахтель, прочитав эту статью, — это то, что все это было не так давно, а ничего физического не осталось. Старого книжного магазина нет; бывшего кабинета, где работал Гаспаров, нет; дом, где он жил, снесли; читальный зал рукописного отдела перенесли; даже греческое кафе закрылось. Одни руины, как у твоего Карамзина». Справедливости ради нужно сказать, что кафедра славистики после ремонта переехала на светлый и теплый второй этаж, нынешние аспиранты слушают курсы по русской и украинской поэзии; наконец, в этом году на кафедре работают два замечательных мандельштамоведа в ожидании третьего.

Библиография / References

[Автономова 2010] — Автономова Н.С. Прочитав Омри Ронена (несколько соображений о Михаиле Леоновиче Гаспарове, его письмах и его биографии) // Стенгазета. 2010. 9 марта. <http://www.stengazeta.net/article.html?article=7017> (дата обращения: 28.08.2024).

(Avtonomova N.S. Prochitav Omri Ronena (neskol'ko soobrazheniy o Mikhaile Leonoviche Gasparove, ego pis'makh i ego biografii) // Sten-

-
- 35 В Принстоне Гаспаров выступил с докладом об «отброшенном ключе» к «Грифельной оде» О.Э. Мандельштама, ставшим основой для статьи в журнале «Philologica» [Гаспаров 1995].
- 36 Фраза из популярной в Рунете байки о молодом Эйнштейне и его профессоре. Благодарю Аллу Бурцеву за указание на этот современный фольклорный источник.

- gazeta. 2010. March 9. <http://www.stengazeta.net/article.html?article=7017> (accessed: 28.08.2024.)
- [Булкина 2000] — Булкина И. «Чтоб эпитафии разбирать» <https://web.archive.org/web/20150928131008/http://old.russ.ru/krug/kniga/20000229.html> (дата обращения: 28.01.2021).
- (Bulkina I. Chtob epigrafy razbirat' <https://web.archive.org/web/20150928131008/http://old.russ.ru/krug/kniga/20000229.html> (accessed: 28.01.2021)).
- [Вахтель 2017] — Вахтель М. Воспоминания о М.Л. Гаспарове // М.Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи и материалы / Под ред. М. Акимовой и М. Тарлинской. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- (Wachtel M. Vospominaniya o M.L. Gasparove // M.L. Gasparov. O nem. Dlya nego: Stat'i i materialy / Ed. by M. Akimova, M. Tarlinskaya. Moscow, 2017.)
- [Венцлова 2014] — Венцлова Т. К сопоставлению вильнюсского и таллиннского текста // Семиотика города: Материалы Третьих Лотмановских дней в Таллинском университете / Ред.-сост. И.А. Пильщиков. Таллинн: Изд-во ТЛУ, 2014. С. 29—55.
- (Venclova T. K сопоставleniyu vil'nyusskogo i tal'linnskogo teksta // Semiotika goroda: Materialy Tret'ikh Lotmanovskikh dney v Tallinnskom universitete / Ed. by I.A. Pii'shchikov. Tallinn, 2014. P. 29—55.)
- [Виницкий 2021] — Виницкий И. Заумный Гаспаров. Индейские имена в «Записях и выписках» // Новое литературное обозрение. 2021. № 168. С. 154—177.
- (Vinitskiy I. Zaumnyi Gasparov. Indeyskie imena v "Zapisyakh i vypiskakh" // Novoe literaturnoe obozrenie. 2021. No. 168. P. 154—177.)
- [Виницкий 2024] — Виницкий И. Дух языка: Михаил Гаспаров, Осип Манделштам и чужая речь // Знамя. 2024. № 3 (<https://znamlit.ru/publication.php?id=8958> (дата обращения: 28.08.2024)).
- (Vinitskiy I. Dukh yazyka: Mikhail Gasparov, Osip Mandelshtam i chuzhaya rech' // Znamya. 2024. No. 3 (<https://znamlit.ru/publication.php?id=8958> (accessed: 28.08.2024)).)
- [Гаспаров 2000а] — Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
- (Gasparov M.L. Zapisi i vypiski. Moscow, 2000.)
- [Гаспаров 2000б] — Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
- (Gasparov M.L. Zanimatel'naya Gretsia. Moscow, 2000.)
- [Гаспаров 1995] — Гаспаров М.Л. «Грифельная ода» Манделштама: история текста и история смысла // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4. С. 153—198.
- (Gasparov M.L. "Grifel'naya oda" Mandel'shtama: istoriya teksta i istoriya smysla // Philologica. 1995. Vol. 2. No. 3/4. P. 153—198.)
- [Гаспаров 2006] — «Читать меня подряд никому не интересно...»: Письма М.Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт, 1981—2004 гг. / Подгот. текста и публ. М.-Л. Ботт // Новое литературное обозрение. 2006. № 1. С. 145—249 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2006/1/chitat-menya-podryad-nikomune-interesno-pisma-m-l-gasparova-k-marii-luize-bott-1981-8212-2004-gg.html> (дата обращения: 28.08.2024)).
- (“Chitat' menya podryad nikomu ne interesno...”: Pis'ma M.L. Gasparova k Marii-Luize Bott, 1981—2004 gg. / Prep. and publ. by M.-L. Bott // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. No. 1. P. 145—249 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2006/1/chitat-menya-podryad-nikomune-interesno-pisma-m-l-gasparova-k-marii-luize-bott-1981-8212-2004-gg.html> (accessed: 28.08.2024)).)
- [Гаспаров 2008] — Ваш М.Г.: Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Новое издательство, 2008.
- (Vash M.G.: Iz pisem Mikhaila Leonovicha Gasparova. Moscow, 2008.)
- [Гаспаров 2017] — М.Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи и материалы / Под ред. М. Акимовой и М. Тарлинской. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- (M.L. Gasparov. O nem. Dlya nego: Stat'i i materialy / Ed. by M. Akimova, M. Tarlinskaya. Moscow, 2017.)
- [Гаспаров 2023] — Гаспаров М.Л. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Новое литературное обозрение, 2023.
- (Gasparov M.L. Sbranie sochineniy: In 6 vols. Vol. 6. Moscow, 2023.)
- [Гаспаров, Подгаецкая 2008] — Гаспаров М.Л., Подгаецкая И.Ю. «Сестра моя — жизнь» Бориса Пастернака. Сверка понимания. М.: РГГУ, 2008.
- (Gasparov M.L., Podgayetskaya I.Yu. "Sestra moya — zhizn'" Borisa Pasternaka. Sverka ponimaniya. Moscow, 2008.)
- [Гречина, Осорина 1981] — Гречина О.Н., Осорина М.В. Современная фольклорная проза детей // Русский фольклор. Вып. 20. Фольклор и историческая действительность / Отв. ред. А.А. Горелов. Л.: Наука, 1981. С. 96—106.
- (Grechina O.N., Osorina M.V. Sovremennaya fol'klornaya proza detey // Russkiy fol'klor. Iss. 20. Fol'klor i istoricheskaya deystvitel'nost' / Ed. by A.A. Gorelov. Leningrad, 1981. P. 96—106.)

- [Дацкевич, Гаспаров 1992] — *Дацкевич Н.Г., Гаспаров М.Л.* Тема дома в поэзии Марины Цветаевой // *Здесь и теперь*. 1992. № 2. С. 116—130.
- (*Datskevich N.G., Gasparov M.L.* Tema doma v poezii Mariny Tsvetaevoy // *Zdes' i tep'er'*. 1992. No. 2. P. 116—130.)
- [Зорин 2000] — *Зорин А.Л.* От А до Я и обратно (о «Записях и выписках» Михаила Гаспарова // *Неприкосновенный запас*. 2000. № 3. С. 69—72.
- (*Zorin A.L.* Ot A do Ya i obratno // *Neprikosnovenpny zapas*. 2000. No. 3. P. 69—72.)
- [Лекманов 2003] — *Лекманов О.А.* Жизнь Осипа Манделштама: документальное повествование. М.: Звезда, 2003.
- (*Lekmanov O.A.* Zhizn' Osipa Mandelshtama: dokumental'noe povestvovanie. Moscow, 2003.)
- [Раскин 1995] — *Раскин И.* Энциклопедия хулиганствующего ортодокса: опыт словаря с анекдотами, частушками, поэзией, плагиатом и элементами распустыянского пустобольства. СПб.: Эрго, 1995.
- (*Raskin I.* Entsiklopediya khuliganstvuyushogo ortodoksa: opyt slovarya s anekdotami, chas-tushkami, poeziei, plagiatom i elementami raspustyayskogo pustobol'stva. Saint Petersburg, 1995.)
- [Ронен 2009] — *Ронен О.* Приписки // *Звезда*. 2009. № 9. С. 218—226.
- (*Ronen O.* Pripiski // *Zvezda*. 2009. No. 9. P. 218—226.)
- [Тарлинская 2017] — *Тарлинская М.* Миша Гаспаров в моей жизни // *М.Л. Гаспаров. О нем. Для него / Сост. М. Тарлинская*. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 395—410.
- (*Tarlinskaya M.* Misha Gasparov v moyey zhizni // *M.L. Gasparov. O nem. Dlia nego / Ed. by M. Tarlinskaya*. Moscow, 2017. P. 395—410.)
- [Тименчик 2017] — *Тименчик Р.Д.* Выписки к записям // *М.Л. Гаспаров. О нем. Для него / Под ред. М. Акимовой и М. Тарлинской*. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- (*Timenchik R.D.* Vypiski k zapisiam // *M.L. Gasparov. O nem. Dlya nego / Ed. by M. Akimova, M. Tarlinskaya*. Moscow, 2017.)
- [Эмерсон 2006] — *Эмерсон К.* Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине // *Вопросы литературы*. 2006. № 2. С. 12—47.
- (*Emerson C.* Dvadsat' pyat' let spustya: Gasparov o Bakhtine // *Voprosy literatury*. 2006. No. 2. P. 12—47.)
- [Bott 1981] — *Bott M.-L.* Studien zu Marina Cvetavaeva's Poem "Krysolov". Rattenfänger- und Kitez-Sage // *Wiener Slawistischer Almanach*. Bd. 3. Wien, 1981. S. 87—112.
- [Bott 1982] — *Bott M.-L.* Krysolov. Der Rattenfänger / Hrsg., Übers. und Komment. von M.-L. Bott, mit einem Glossar von G. Wytzens // *Wiener Slawistischer Almanach*. Bd. 7. Vienna, 1982.
- [Buckner Inniss 2019] — *Buckner Inniss L.* The Princeton Fugitive Slave: The Trials of James Collins Johnson. New York: Fordham University Press, 2019.
- [Vardell 1987] — *Vardell S.M.* Profile: Alvin Schwartz // *Language Arts*. 1987. Vol. 64. No. 4. P. 426—432.

Поэтологические штудии

Анатолий Рясов

Андрей Платонов: ИСТИНА И КОНВУЛЬСИВНАЯ СИЛА

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_233

Теперь слушать сюда. Вы с гор. Вы меня слышите? Ваш язык мертвый. Он запрещен. Здесь на вашем языке говорить запрещено. Вы не можете говорить на вашем языке с вашими мужчинами. Не разрешается. Понятно? Вы не имеете права говорить на нем. Он вне закона. Можно говорить только по-столичному. В этом месте дозволен только этот язык. Вы будете сурово наказаны, если попытаетесь заговорить здесь на своем горском языке. Это приказ. Военный. Закон. Ваш язык запрещен. Он умер. Никому нельзя говорить на вашем языке. Его не существует. Вопросы есть?

Гарольд Пинтер. Горский язык¹

История издания повести Платонова «Впрок» хорошо известна: экземпляр журнала «Красная новь» с этой публикацией попал в руки Иосифу Сталину, вызвав его неподдельное негодование. Но среди пометок, оставленных генеральным секретарем на полях, бросается в глаза одна фраза. Рядом с лаконичными оценками вроде «Дурак!», «Пошляк!», «Мерзавец!» (и более предметным замечанием «Рассказ агента наших врагов», судя по всему, отнесенном к автору, а не рассказчику) имеется запись «Это не русский, а какой-то тарбарский язык»². Она относится к предложению «Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму». Строго говоря, это не самый изощренный для Платонова языковой оборот, и — не говоря

1 Пинтер Г. Горский язык / Пер. с англ. А. Левкина // Пинтер Г. Коллекция: пьесы. СПб.: Амфора, 2006. С. 551.

2 Цит. по: Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 1 / Подгот. текста и коммент. Н. Дюжиной, Н. Умрюхиной. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 65.

о «Чевенгуре» или «Котловане» — даже в повести «Впрок» можно отыскать более причудливые словосочетания. И тем не менее Сталин точно почувствовал нечто важное: *политическая идеология не может иметь ничего общего с этим языком, тем более — говорить на нем*. Речь не о политических разногласиях или о том, что текст не вписывается в текущие идеологические установки, представляя как оппозиционный возглас, это столкновение с чем-то куда более радикальным. Сам этот язык опаснее, чем излагаемые им идеи, ведь даже когда говорящие на нем транслируют провластные лозунги, он порождает угрожающее вулканическое бурление. «Вражеские» взгляды — это нечто, поддающееся фиксации и даже корректировке, но дела обстоят совсем иначе, когда угроза исходит не от самих идей, а уже от словосочетаний, из которых складываются идеи. Эти герои могут воспевать существующий режим, но принципиально ничего не изменится: сама их речь является подрывом.

«Прекрасные книги написаны на некоем подобии иностранного языка»³, — писал Марсель Пруст о рождении литературных мотивов незадолго до того, как юный Андрей Климентов (еще не Платонов) впервые задумался о сочинении стихов. Позднее эта мысль Пруста оказалась развернута Жилем Делёзом, который сделал ее своеобразным ключом к пониманию задач литературы: «Великий писатель — всегда как чужеземец в языке, на котором он выражается, пусть даже это и его родной язык... Он кроит внутри своего языка язык иностранный, коего прежде не существовало»⁴. Обращаясь за примерами к русской литературе, Делёз выделял произведения Андрея Белого, Велимира Хлебникова и Осипа Мандельштама⁵, но едва ли не в большей степени эта мысль оказывается применима к текстам Платонова. При этом особенность его произведений еще и в том, что они словно не ощущают ни малейшего давления литературной традиции, практически не нуждаются в диалоге с ней. При чтении Платонова возникает чувство появления писателя из ниоткуда: погружение в язык здесь не имеет никаких заданных ориентиров, оно предшествует всяким литературным аналогиям и отсылкам.

Дистанцируясь от каких-либо школ и направлений⁶, Платонов сумел на основе русских словоформ создать собственный язык, изобилующий просторечиями, намеренными повторами, причудливыми нарушениями привычного порядка слов. Платонов ставит знакомые лексические формы в столь неожиданный контекст, что, изменяя лишь одно-два слова, преобразует саму языковую структуру. Перед нами алхимический сплав самых заурядных и общепотребимых слов, которые сталкиваются в непостижимых комбинациях. Бессознательный фольклор бытовой речи в странной пропорции смешивается с советским «новоязом», но в языке Платонова потрясают не столько переплетения разных языковых уровней, сколько сама структура фразы.

3 Пруст М. Против Сент-Бёва. Статьи и эссе / Пер. с фр. Т. Чугуновой. М.: ЧеРо, 1999. С. 126.

4 Делёз Ж. Критика и клиника / Пер. с фр. О. Волчек и С. Фокина. СПб.: Machina, 2002. С. 149.

5 Там же. С. 154.

6 «Весь наличный писательский состав, за малым и почти незаметным исключением, состоял в РАППе, ЛЕФе, «Перевале», ЛОКАФе и пр. Платонов как-то умудрился остаться “вне”» (Крамов И.Н. Платонов // Андрей Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии / Сост., подгот. текстов и примеч. Н. Корниенко и Е. Шубиной. М.: Современный писатель, 1994. С. 131.

Однако и не заметить присутствия «новояза» в этих текстах оказывается невозможно. Когда, к примеру, Платонов пишет об *октябринах*⁷, пришедших на смену крестинам, то это слово настолько вписывается в гротескный контекст его произведений, что по прошествии многих лет начинает казаться авторским неологизмом. Оформление писательского стиля Платонова практически совпало по времени с укреплением сталинской политической системы, и именно присутствие идеологии внутри этих художественных текстов, а в каком-то смысле — ее присвоение оказывается краеугольным камнем в вопросе о стиле: если бы его произведения вовсе не касались политики, то разговор о них выстраивался бы совсем иным образом. «Я искал возможности быть политическим писателем», — говорил о себе и сам Платонов⁸.

Идеология, техника, прогресс (и счастье)

Возможно, сам феномен писательского стиля Платонова родился именно на стыке литературы и идеологии, но — вопреки как хвалебным рецензиям на книги Николая Островского и Джамбула Джабаева, так и «покаянным» письмам (в том числе Сталину) — его художественные тексты продолжали выстраиваться по собственной логике. Впрочем, на письма стоит обратить отдельное внимание. В своем послании в редакции «Литературной газеты» и «Правды» Платонов сконцентрирован отнюдь не на вопросах стиля:

Противоречие — между намерением и деятельностью автора — явилось в результате того, что автор ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, — тогда как это мировоззрение ему предстоит еще завоевать. <...> Кроме того, я не понимал, что начавшийся социализм требовал от меня не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности — специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии. <...> Главной же моей заботой является теперь не продолжение литературной работы ради ее собственной «прелести», а создание таких произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом⁹.

В первой редакции этого обращения имелась еще и следующая фраза: «Автор не писал бы этого письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы он не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свою идеологию»¹⁰. Конечно, формулировки Платонова больше соответствуют марксистскому пониманию идеологии, которое к началу 1930-х годов в СССР уже было практически вытеснено политической реальностью, где сущность пролетар-

7 Платонов А.П. Дураки на периферии // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2 / Подгот. текста и коммент. Е. Антоновой и др. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 166.

8 Стенограмма творческого вечера Андрея Платонова во Всероссийском союзе писателей 1 февраля 1932 года // Андрей Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии / Сост., подгот. текстов и примеч. Н.В. Корниенко, Е.Д. Шубиной. М.: Современный писатель, 1994. С. 300.

9 Платонов А.П. Письмо в редакции «Литературной газеты» и «Правды», 14 июня 1931 г. // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. / Сост., вступ. статья, коммент. Н. Корниенко и др. М.: Астрель, 2013. С. 298—299.

10 Платонов А.П. Письмо в редакции газеты «Правда» и «Литературной газеты», 9 июня 1931 г. // Там же. С. 293.

ского сознания определялась исключительно партийной элитой. И тем не менее акценты в этом послании расставлены предельно ясно: идеология первична в отношении литературы, и стиль всегда определяется ничем иным как идеологией. Однако в письме Максиму Горькому, отправленном всего через месяц, Платонов сообщает следующее: «...я классовым врагом стать не могу и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя родина и мое будущее связано с пролетариатом»¹¹.

Таким образом, если Платонов и готов был принять ряд выдвинутых против него обвинений, то только не инвективу «агент врагов». Не случайно над героями его художественных произведений как тотальный абсурд нависает угроза вероятности оказаться оппортунистом, примиренцем, двурушником, вредителем, подкулачником, перегибщиком, правым или левым уклоном. Нередко этот официальный список обструкционистов продолжают изобретенные Платоновым термины, и характерной иллюстрацией здесь предстает реплика из завершенной незадолго до написания этих писем пьесы «Шарманка»:

Я сознаю себя ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще механистом... Но не верьте мне... Может быть, я есть маска классового врага! А вы думаете редко и четко, вы — умнейшие члены! А я полагал про вас что-то скучное, что вы плететесь в волне самотека, что вы бюрократическое отродье, сволочь, кулачская агентура, фашизм. Теперь я вижу, что был оппортунист, и мне делается печально на уме...¹²

В черновиках пьесы можно найти еще более прямолинейные высказывания: «Дружественные элементы — это величайшая опасность, Евсей: пойми поскорей эту сущность! Население, это классовый враг, Евсей!»¹³ При этом в середине того же 1931 года он пишет жене: «Если бы ты знала, как тяжело живут люди, но единственное спасение — социализм, и наш путь — путь строительства, путь темпов, — правильный»¹⁴, — а всего за год до этого была завершена работа над «Котлованом». Скрупулезное выстраивание событий и цитат в хронологическую последовательность едва ли окажется веским аргументом в пользу последовательной эволюции взглядов Платонова. Все эти признания не позволяют объяснить и его прижизненные публикации лишь глупостью цензоров или наоборот — самоотверженностью издателей. Каким же образом в произведениях Платонова оказалось возможным существование бесстрашных красноармейцев, негнибаемых стахановцев, искренних строителей социализма и мотивов медленного умирания, мрачного абсурда, хаоса войны и безжалостности власти? Для ответа на этот вопрос придется на время покинуть территорию идеологии. Дело в том, что большевизм — несмотря на то что зачастую он фигурирует в художественном пространстве Платонова в качестве неоспоримой истины, одновременно выступает лишь модусом будущего общепланетарного прогресса, поводом для его осмысления.

11 Платонов А.П. Письмо Максиму Горькому, 24 июля 1931 г. // Там же. С. 304.

12 Платонов А.П. Шарманка // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2. С. 238.

13 Платонов А.П. Фрагменты ранней редакции пьесы «Шарманка» // Там же. С. 351.

14 Платонов А.П. Письмо Марии Платоновой, 27 августа 1931 г. // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 315.

«Я на войне чувствую себя как в огромной мастерской среди любимых машин», — писал Платонов жене в 1942 году¹⁵, и одновременно в записных книжках: «...вот что погибает на войне, — там убитая возможность прогресса»¹⁶. Эти две фразы иллюстрируют не только происходившее в сознании писателя в годы войны, но и двойственную тему, которая занимала его с первых послереволюционных лет, — тему, которую можно обозначить как *амбивалентность прогресса*.

Хорошо известно, что, несмотря на метания между физико-математическим и историко-филологическим факультетами, в итоге сын слесаря железнодорожных мастерских сделал выбор в пользу технического образования («Пишу я плохо, это знаю, потому что я электромонтер, а не писатель»¹⁷), а архив писателя содержит массу инженерных проектов и патенты на авторские изобретения. Вполне закономерно, что этому сразу нашлось отражение в художественных текстах, что, впрочем, отнюдь не было экзотикой для литературы послереволюционных лет. Однако для Платонова тема техники стала системообразующей. Уже в ранних стихах Платонова образ преображающей природу машины выступил одним из центральных, и эта воодушевленность прогрессом отнюдь не стихла в записях 1930-х годов: «Мне, инженеру — правда, пока еще мертвой материи, а не живой человеческой души (последнее звание еще не соответствует моим силам), — мне приходится много заниматься техникой. И мне кажется, что время почти полного практического господства человека над природой весьма близко»¹⁸. Техника для Платонова — это прежде всего «глубокая страсть ума и сердца человека, столь же “инстинктивная” и естественная, как, допустим, чувство любви»¹⁹. Инженерам, механикам, машинистам, неустанно разгадывающим тайны машин, в произведениях Платонова нет числа. И однако они быстро осознают, что прогресс зачастую движется не в сторону «освобождения человечества и снабжения его счастьем»²⁰, а в противоположном направлении. Характерная запись 1944 года: «Машина смертью пахнет»²¹.

Платонов одновременно называл технику и «новым евангелием»²², и тем, что насилует, «уязвляет» природу²³. Тема прогресса здесь оказывается неразрывно связанной с темой смерти, это ощутимо уже в ранних рассказах: «Вогу-

15 Платонов А.П. Письмо Марии Платоновой, 27 июля 1942 г. // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 510.

16 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии / Публ. М. Платоновой; сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 231.

17 Платонов А.П. Письмо в Госиздат РСФСР, 1 марта 1921 года // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 90. Ср. также: «Совершенно не похож на писателя, а скорее на мастерового человека, слесаря или водопроводчика» (Левин Ф.М. Несколько слов об Андрее Платонове // Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. С. 97—98); «Среди нарядных писателей в ярких галстуках, вельюровых шляпах, импортных пальто Андрей Платонович был как будто и незаметен. Он казался слесарем, пришедшим починить водопровод» (Таратута Е.А. Повышенное содержание повести // Там же. С. 101).

18 Цит. по: Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 401.

19 Платонов А.П. Книги о великих инженерах // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 6. Кн. 3 / Подгот. текста и коммент. Е. Антоновой и др. М.: ИМЛИ РАН, 2023. С. 26.

20 Платонов А.П. Первое свидание с А.М. Горьким // Там же. С. 458.

21 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 256.

22 Платонов А.П. Новое евангелие // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 1. Кн. 2 / Подгот. текста и коммент. Е. Антоновой и др. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 192.

23 Платонов А.П. Эфирный тракт // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 2 / Подгот. текста и коммент. Е. Антоновой и др. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 33.

лов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрафиолета, чтобы вселенная перестала существовать»²⁴; «История несется и так трясет пассажиров, что у них головы отрываются»²⁵. Не подозревая об этом, Платонов вел диалог с европейскими философами, примерно в тот же период осмыслившими связь между техникой и историей: в его текстах можно найти рифмы и с беньяминовским образом прогресса как шквального ветра, нагромождающего руины²⁶, и с хайдеггеровским предостережением относительно того, «что повсюду утвердится неистовая техническая гонка, пока однажды, пронизав собою все техническое, существо техники не укоренится на месте события истины»²⁷. В черновиках «Чевентура» можно обнаружить следующую запись: «В науке умерла какая-то тревога неудачи, опасность ошибки — осталась одна нажива. Мир перепружен наукой — ему некуда вытечь. Он всасывается человеком»²⁸. Эти мысли плохо коррелируют с задачами пролетарской литературы, однако, вопреки рифмам с немецкими авторами, здесь логичнее вспомнить не об увлеченности молодого Платонова философией Освальда Шпенглера, а о его многолетнем чтении Николая Федорова, сформулировавшего, в частности, следующую мысль: «Прогресс есть именно та форма жизни, при которой человеческий род может вкусить наибольшую сумму страданий, стремясь достигнуть наибольшей суммы наслаждений»²⁹.

Итак, перед нами два взаимоисключающих образа: машина, преобразующая и совершенствующая природу, и машина, несущая гибель. Это противоречие, ставшее болевой точкой русского авангарда, достигает у Платонова небывалого накала. Казалось бы, подобная оппозиция предполагает необходимость выбора одного из двух взглядов или по крайней мере определенного предпочтения, однако парадоксальность взаимоотношений Платонова с техникой (и отнюдь не только с ней) заключается в отказе от поспешного решения. Даже при ощущении реальной, каждодневно растущей, неминуемой опасности гибели человечества его герои упорно продолжают отчаянный поиск всеобщего спасения. С техникой что-то случилось, «мысль была золотая, а родилось из нее убудочное дело»³⁰, но, кажется, ее все еще возможно освободить от вируса насилия.

Мы постоянно сталкиваемся с желанием того или иного героя изменить окружающий его мир, хотя стремление это смешивается с осознанием того, что

24 Платонов А.П. Потомки солнца // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 1. Кн. 1 / Подгот. текста и коммент. О. Алейникова и др. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 33. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 203.

25 Платонов А.П. Лунные изыскания // Там же. С. 113.

26 Беньямин В. О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения / Сост. и послесл. И. Чубаров, И. Болдырев. М.: РГУ, 2012. С. 242.

27 Хайдеггер М. Вопрос о технике / Пер. с нем. В. Библихина // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. СПб.: Наука, 2007. С. 330.

28 Платонов А.П. Строители страны // Платонов А.П. Сочинения. Т. 3 / Подгот. текста и коммент. Н. Корниенко, Е. Папковой. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 369.

29 Федоров Н.Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства // Федоров Н.Ф. Философия общего дела / Сост. А.Г. Гачевой, вступ. статья С.Г. Семенов, коммент. А.Г. Гачевой, С.Г. Семенов. М.: Академический проект, 2020. С. 63.

30 Платонов А.П. Житейское дело // Платонов А.П. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941—1945 годов / Сост., подгот. текста, коммент. Н. Корниенко. М.: Время, 2010. С. 450.

преобразования едва ли могут совпасть с первоначальным замыслом, а даже если они и осуществляются, то будущая жизнь все равно окажется под угрозой уничтожения внешней силой. В этой двусмысленности жизни, где зияет пропасть между мыслью и чувством, герои Платонова пребывают незавершенными для самих себя, они одержимы необъяснимым томлением: «Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир»³¹. И однако, счастье в произведениях Платонова прорезается наружу там, где, казалось бы, даже мысль о его появлении являлась абсурдной:

Есть время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом. Там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания, — это бессознательное настроение радости; но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется своей близкой нуждой³².

Это ощущение неотвратимости счастья позволяет героям Платонова продолжать свой поиск, свое блуждание по лабиринту жизни. В «Чевенгуре» Захар Павлович пытается отыскать истину в работе, Копенкин — в революции и коммунизме, Прокофий — в странствиях за пределы города и, наконец, Дванов вслед за отцом ищет ее уже за пределами земного существования. Так и тема инженера-художника, воспринимающего прогресс как неминуемую потребность, как необходимое отклонение от нормы, но одновременно осознающего его апокалиптический смысл, будет занимать Платонова на протяжении всей жизни. И конечно же, это бесконечное восхищение и разочарование тайнами машин во многом является метафорой творчества как такового. В этом смысле разговор о присутствии идеологии в текстах Платонова вряд ли будет продуктивным в отрыве от антиномии «прогресс — счастье». Платонов рано осознал, что даже любовью, как электричеством, можно не только «светить над головою и греть человечество», но одновременно «ею можно убивать»³³, а «явная, демонстративная доброта бывает компенсацией тайного зла»³⁴. Эта мысль, во многом перекликающаяся с его восприятием революции, настолько пронизывает его книги, что обязательность ее присутствия кажется бессознательной³⁵.

Тема прогресса как апокалипсиса (абсолютно чуждая не только большевизму, но и классическому марксизму) явственно проявляется даже в тех произведениях, где, согласно здравому смыслу, возникать не должна: например, в пьесе «Объявление о смерти» (другой вариант заглавия — «Высокое напря-

31 Платонов А.П. Чевенгур // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 3. С. 48.

32 Платонов А.П. Семен // Платонов А.П. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2 / Сост. и примеч. В. Чалмаева. М.: Советская Россия, 1985. С. 154.

33 Платонов А.П. Однажды любившие / Публ. Е. Роженцевой // Архив А.П. Платонова: В 2 кн. Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 17.

34 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 217.

35 Но опять же нужно вспомнить и о «двойнике» этой мысли, присутствующем в ранних статьях (и не только в них): «Пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником и должен обрести в себе силу к этому. Без зла и преступления ни к сему в мире не дойдешь и умножишь зло, если сам не решишься сделать зло разом за всех и этим кончить его» (Платонов А.П. Коммунизм и сердце человека // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 481).

жение»), которую Платонов многократно переписывал с целью политической адаптации. Причем формальным виновником трагедии здесь оказывается во все не сокрушающая внешняя сила (которой нередко выступает в произведениях Платонова война), а заурядный обыватель.

В свою очередь, в пьесе «Голос отца» служащий, разрывающий могилы, прикрывается государственным авторитетом, по сути, указывая на то, что можно делать все что угодно, если эти деяния благословлены государством. Точно так же Прокофий, герой романа «Чевенгур», «имевший все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формулировал всю революцию, как хотел, — в зависимости от настроения Клавдюши и объективной обстановки»³⁶. Далее — сюжеты пьес «Шарманка» и «14 красных избушек» можно прочесть как отсылку к эволюции взаимоотношений СССР и Запада: внешне антагонистические системы находят почву для взаимовыгодных контрактов. Этот же политический иррационализм занимает центральное место и в одном из последних текстов Платонова — незаконченной пьесе «Ноев ковчег (Каиново отродье)». Черчилль здесь ходит под руку с Гамсуном, и нередко к нему подходят с просьбой: «Обратитесь вы к генералу Сталину... Ведь он вас прекрасно знает»³⁷. Не удивительно, что советским критикам сказанное о вожде казалось «кошунственным, нелепым и оскорбительным»³⁸. Не слишком укладывались в формат советских литературы и герои военной прозы Платонова — одержимые метафизикой, прилаживающие к избам фанерные крылья и поднимающие вместо знамен отсеченные руки. При этом редактор «Нового мира» Владимир Ставский на полном серьезе советовал автору доработать один из этих рассказов, «проконсультировавшись и с танкистами»³⁹.

Но как только укрепляется уверенность в том, что тексты Платонова нужно прочесть как приговор советской политической системе, его произведения начинают оказывать сопротивление, а в глаза все чаще бросаются противоположные цитаты. «И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не дождав-шись еще, не достроив социализма, но их “кусочки”, их горе, их поток чувства войдут в мир будущего»⁴⁰, — едва ли эту перекликающуюся с финалом «Котлована» запись 1931 года можно истолковать как бесповоротное разочарование в большевистском проекте. И прежде всего потому, что ужас перед смертью целого поколения в художественном мире Платонова оказывается неотделим от веры в спасительный потенциал социализма, присутствующий даже в самых мрачных сюжетах:

Вермо понял, насколько мог, Ленина и Сталина: их мысль — это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, — на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела⁴¹.

36 Платонов А.П. Чевенгур. С. 211.

37 Платонов А.П. Ноев ковчег (Каиново отродье) // Платонов А.П. Ноев ковчег. Драматургия / Сост. А. Мартыненко, отв. ред. Е. Шубина. М.: Вагриус, 2006. С. 405.

38 Тарасенков А.К. Письмо Александру Твардовскому. 3 февраля 1951 // Андрей Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии. С. 486.

39 Цит. по: Платонов А.П. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941—1945 годов. С. 516.

40 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 71.

41 Платонов А.П. Ювенильное море // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 1. С. 244.

Впрочем, на политические взгляды Платонова и историю его отношений с коммунистическим проектом можно посмотреть несколько иначе. Так, например, не кажутся откровенно абсурдными многочисленные обвинения Платонова в анархических умонастроениях и провозглашении бакунинских идей. Вполне характерным примером здесь оказывается высказывание Александра Фадеева: «...в “Октябре” я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова “Усомнившийся Макар”, за что мне поделом попало от Сталина, — рассказ анархистский»⁴². Примечательно, что и симпатизировавший Платонову редактор Георгий Литвин-Молотов приходит к таким же выводам об анархистских настроениях, читая роман «Чевенгур»: «Впечатление таково, что будто бы автор задался целью в художественных образах и картинах показать несостоятельность идеи возможности построения социализма в одной стране. И это на другой день после осуждения партией оппозиции, выставившей это положение!»⁴³

Каждый раз, когда в текстах Платонова появляется «бюрократизм», сложно удержаться от мысли, что речь идет не просто о произволе отдельных чиновников в провинциальных городках, а о чем-то системообразующем, и в одной из неоконченных статей конца 1920-х годов это явление даже названо «советской инквизицией»⁴⁴. В рассказе «Надлежащие мероприятия» многие предложения по празднованию десятилетия революции выглядят беспрецедентным левацким издевательством над большевистской действительностью, напоминая о том, что юмора и сарказма в текстах Платонова больше, чем кажется на первый взгляд: «Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья с интервалами для заслушивания итоговых отчетов...»⁴⁵. Радиоприемник герои Платонова именуют «всесоюзным дьячком»⁴⁶, а в пьесе «Шарманка» появляется машина, генерирующая аплодисменты и овации⁴⁷, словно предвещающая технологии будущего «общества спектакля». В «Чевенгуре» Захар Павлович говорит сыну: «Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война...»⁴⁸ Черновики романа сохранили и вовсе крамольные фразы вроде «пролетариат — человек, а всякий вождь — одно мертвое орудие»⁴⁹, а герои-анархисты там изображены с недопустимой для большевиков симпатией.

Более подробно история взаимоотношений Платонова с анархизмом проанализирована, например, в работе исследователя Валерия Вьюгина⁵⁰, однако

42 Цит. по: Платонов А.П. Сочинения. Т. 4. Кн. 2. С. 530.

43 Литвин-Молотов Г.З. Письмо Андрею Платонову, без даты // Андрей Платонов. Воспоминания современников: Материалы к биографии. С. 219.

44 Платонов А.П. Административное естествознание // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 2. С. 417.

45 Платонов А.П. Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине) // Там же. С. 287.

46 Платонов А.П. Дураки на периферии. С. 156; Областные организационно-философские очерки // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2. С. 18.

47 Платонов А.П. Шарманка. С. 219—220.

48 Платонов А.П. Чевенгур. С. 44.

49 Динамическая транскрипция рукописи романа «Чевенгур». «Строители страны» → «Чевенгур» / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Н. Корниенко и Е. Антоновой // Архив А.П. Платонова: В 2 кн. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 388.

50 Вьюгин В.Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки. Очерк становления и эволюции стиля. СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. С. 326—344.

во избежание выстраивания нового мифа о писателе необходимо указать на множество противоположных записей. Еще в юности Платонов писал, что «анархическое учение есть прямой, однокровный наследник учения буржуазии»⁵¹, но и в середине 1930-х годов многие его мысли были далеки от идеи построения безвластного общества. Весьма иллюстративными оказываются и политические высказывания Платонова о Льве Троцком, последовательно эволюционирующие вместе с государственной идеологией. Если в 1920 году Платонов писал, что Троцкий — «революционер-артист, гордый, острый дух революции, страсть восстания и ненависти, воин чести и справедливости — вождь победы»⁵², то написанное в 1926 году стихотворение «Вождь оппозиции» уже пародирует стиль его выступлений. В свою очередь, статья 1937 года вполне в духе времени сосредоточена на сравнении троцкизма с фашизмом и бичевании сторонников этого преступного учения: «...уничтожение этих особых злодеев является естественным, жизненным делом»⁵³ (при этом по злой иронии именно Троцкий стал одним из первых левых теоретиков, подробно проанализировавших не только идеологию итальянского фашизма, но и идейные принципы немецкого национал-социализма еще на стадии их зарождения).

В одной из статей 1938 года неожиданное воплощение получил мотив погоста как символа рождения: «Могила, мавзолей Ленина, стала основанием нового мира, “сердцем земли”»⁵⁴. Не так просто соотнести этот образ с перешедшим все дозволенные властью границы ерничеством из написанного десятилетием ранее рассказа «Надлежащие мероприятия», во всяком случае аргумента об идеологическом перевоспитании автора явно оказывается недостаточно:

Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В.И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине «Октябрь» режиссера туманных картин г. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолей в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел⁵⁵.

Взаимоотношения Платонова с идеологией слишком многослойны и едва ли сводимы к стройному и логичному сценарию. Парадокс его произведений заключается в том, что они способны в равной степени включать в себя и миф, и его развенчание, и найти четкую грань перехода здесь едва ли возможно. Мераб Мамардашвили называл выстроенный Платоновым мир «попыткой осуществления нулевой утопии»: «Здесь все как бы срезано до нуля, мир начинается заново, и для описания этого мира принимаются только такие слова, которые заново прошли через невербальное оригинальное сознание авто-

51 Платонов А.П. Анархисты и коммунисты // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 1. Кн. 2. С. 117.

52 Платонов А.П. Луначарский // Там же. С. 50.

53 Платонов А.П. Преодоление злодейства // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 6. Кн. 3. С. 467.

54 Платонов А.П. Джамбул // Там же. С. 118.

55 Платонов А.П. Надлежащие мероприятия (Святочный рассказ к 10-й годовщине). С. 286.

ра»⁵⁶. Именно поэтому при чтении Платонова нередко возникает впечатление вторичного знакомства с вроде бы известной уже историей России первой половины XX века, в которой все поменялось местами, и одни явления сделали карикатурными, а в других обнажилась скрытая серьезность. При этом для «диссидентской прозы» его тексты чересчур избобилуют социалистическими убеждениями, а для «гимна революции» они нарочито мрачны и пронизаны эстетикой абсурда. В то же время эти антиномии способны породить иллюзию о возможности деконструкции текстов Платонова через анализ идеологических дискурсов его времени. Действительно, существует огромный иску́с взглянуть на творчество этого писателя как на попытку осмысления эволюции большевистского мифа, преисполненного внутренних противоречий, подвергавшегося многочисленным корректировкам и постоянно сталкивавшегося с другими идеологическими концептами — от троцкистского до либерального. Однако едва ли взгляд через призму идеологии даст понять, каким именно образом из столкновения политических мифов — и из него ли? — возник писатель Андрей Платонов.

(Тарабарский) язык

Итак, агент врагов выбрал довольно своеобразный способ для изложения антисоветских взглядов: тарабарщину. После замечаний Сталина советские рецензенты быстро взяли на заметку не только «контрреволюционность» Платонова, но и его писательский стиль. По воспоминаниям Исаака Крамова, «в критике господствовал дух “дознания по делу Платонова”»⁵⁷, касавшийся самой речи его героев. И на эту претензию на право дознания стоит обратить отдельное внимание. Вот характерная цитата из статьи «Клевета», написанной одним из идеологов РАПП Иваном Макарьевым: «Убогий, с претензией на оригинальничание *юродствующий язык* лесковских дьяконов, *вымученное и противоестественное* словосочетание, словесное манерничание, фиглярство и кривляние...»⁵⁸ Через два года после публикации повести «Впрок» критик Владимир Ермилов (чью манеру высказывания Платонов позднее назовет «механической записью на идеологической пленке»⁵⁹) снова пишет о юродстве, на этот раз замеченном в тексте «Хлеб и чтение»:

...ничего принципиально нового в повести Платонова *нет*, ее по-прежнему населяют печальные юроды и неправдоподобные чудаки, действительность гражд[анской] войны и начала нэпа предстает весьма мрачной, в этой действительности не существует главное — *коммунистическая партия*, ее представляют глуповатые, хотя и с большим запасом эмоциональности, странные юродствующие чудаки⁶⁰.

Еще через год сам Платонов напишет Льву Мехлису: «Недавно я передал в “Правду” несколько глав из своей повести. Это я сделал для того, чтобы вид-

56 Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: Московская школа полит. исслед., 2000. С. 314.

57 Крамов И.Н. Платонов. С. 133.

58 Цит. по: Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 309.

59 Платонов А.П. Ответ В. Ермилову // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 6. Кн. 3. С. 486.

60 Цит. по: Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 335.

но было, что моя литературная работа приобретает положительный характер (в идеологическом и художественном смысле)»⁶¹. Речь идет о повести «Джан», которая при жизни писателя опубликована не будет; а о том, что Платонов считал неопубликованные книги нерожденными, свидетельствуют и его записные книжки («Не приняли роман — и руки и тело покрыли нарывы. Сломать человека легче, чем думают»)⁶², и дарственная надпись на сигнальном экземпляре запрещенной к публикации книги «Размышления читателя» («Дорогому единственному сыну — от отца, автора этой погибшей книги»)⁶³. Но если в публицистике и критических статьях ему порой удавалось соответствовать политическому контексту (хотя и здесь Платонова куда чаще ждали отповеди, чем похвалы), то его художественные произведения год за годом оказывались костью в горле идеологии. В 1935 году его стиль вновь сравнивают с подстрочными переводами с персидского или тюркского⁶⁴. Во второй половине 1930-х годов Платонов от эпических повествований перейдет к коротким рассказам с ограниченным числом персонажей, что отразится и на стиле — он станет более лаконичным и строгим, а в военных рассказах претерпит еще большие изменения, но и это не приблизит тексты Платонова к официальным нормативам.

Чтобы понять, каким критериям, по мнению критиков, должен был соответствовать голос советской литературы, достаточно заглянуть в книги Фадеева или Фурманова, но гораздо любопытнее изучить редакторские правки текстов Платонова, особенно их аспекты, напрямую не касающиеся идеологии.

В 1928 году, то есть за несколько лет до попадания под обстрел критики, Платонов отправил в журнал «Новый мир» фрагмент романа «Чевенгур», который, как ни странно, был принят к публикации. Сам автор, однако, попросил сопроводить текст следующим комментарием: «В №ре шестом напечатан мой рассказ “Приключение”. Я за него несу только часть ответственности, потому что он значительно изменен редакцией — в отношении размеров и внутреннего чувственного строя»⁶⁵. Просьба о публикации этого замечания выполнена не была, однако сегодня есть возможность последовательно проследить, о каких именно исправлениях шла речь. Вот несколько примеров⁶⁶:

Авторский текст

<...> она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотом стояла уже ночная тоска. <...> птицы улетели в глушь гнезд <...>

В этом затухающем, наклонившемся мире Дванов разговорился сам с собой.

Вариант редактора

<...> она не столько текла, сколько расплывалась болотами. Над болотом стояла осенняя тоска. <...> птицы улетели <...>

В этой глуши Дванов разговорился сам с собой.

61 Платонов А.П. Письмо Льву Мехлису, август 1935 г. // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 402.

62 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 176.

63 Цит. по: Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 6. Кн. 3. С. 310.

64 Цит. по: Корниенко Н. «Размышления читателя»: Николай Никитин — рецензент рассказа «Такыр» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 732.

65 Платонов А.П. Письмо в редакцию журнала «Новый мир», 11 июня 1928 г. // Платонов А.П. «...я прожил жизнь»: Письма. 1920—1950 гг. С. 259.

66 Цит. по: Там же. С. 259—260.

Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы.

Он не потерял ясного сознания и, когда катился вниз, слышал страшный шум в земле, к которой на ходу прикладывались поочередно его уши.

Нужно признать, что перед нами вовсе не намерение скорректировать транслируемую автором идеологию, а искреннее желание редактора привести стиль в соответствие с общепринятыми нормами. Вполне возможно, если бы речь шла о другом писателе, редакция могла быть полезна, но применительно к тексту Платонова она оказывается абсолютным фиаско. Авторский стиль не просто изувечен, он в принципе исчезает, замещаясь чередой бесцветных и банальных фраз. В комментарии Платонова нет ничего удивительного — к этому времени защита текстов от излишней редактурной стала для него привычной: «Посылаю “Епифанские шлюзы”. Они проверены мною. Передай их немедленно кому следует. Обрати внимание Молотова и Рубановского на необходимость точного сохранения моего языка», — писал он жене годом ранее⁶⁷.

Есть, впрочем, и другой, исключительно интересный пример, который, напротив, можно охарактеризовать как стремление сделать речь Платонова не более доступной, а более изящной. Речь о редакционных правках пьесы «Дураки на периферии», которую Платонов писал в соавторстве с Борисом Пильняком⁶⁸. Большинство правок Пильняка — это чисто литературные коррективы, «улучшающие» текст и сдерживающие абсолютно безудержные прыжки Платонова в языковую стихию. Так, фразу Платонова «швырнуть ребенка в массы нельзя, он на воздухе скончается» Пильняк изменяет на «швырнуть ребенка в массы нельзя, он в воздухе растворится, как падающая звезда». Но, как ни странно, эта потребность сделать стиль более беллетристичным возвращается к той же трансляции банальностей, только на этот раз перед нами трафаретные литературные образы. Правки Платонова, напротив, сопротивляются любым художественным стандартам. Когда Пильняк пишет: «Нельзя подходить к женщине в таком масштабе», Платонов добавляет еще одно предложение: «Нельзя подходить к женщине в таком масштабе. Она не сумма, а личность, потому что несчастная». Логика правок Пильняка абсолютно понятна: он руководствуется определенной традицией, а структура фраз Платонова кажется идущей вразрез всем общепринятым нормам, однако она не производит впечатления вымученного подбора нужных слов — отчего-то возникает уверенность, что Платонов мгновенно предлагал эти варианты. Эту догадку можно подкрепить не укладывающимися в голове сроками создания большинства его текстов: «Сокровенный человек» был написан за полтора месяца, а «Чевенгур» — меньше чем за год. Примечательно, кстати, что в середине 1930-х годов, когда литературные заработки превратились в основное средство существования, темпы и объемы написанного несколько снизились.

Кажется, в драматических текстах эта неумеренность проявляется наиболее наглядно. Даже в пьесах 1940-х годов, которые напоминают отчаянные усилия остаться (возможно, хотя бы через театр) в среде признанных литераторов, присутствуют гротескные вкрапления (например, декламирующая из-под земли старуха в драме «Без вести пропавший, или избушка возле фронта»), совер-

67 Платонов А.П. Письмо Марии Платоновой, 30 января 1927 г. // Там же. С. 207.

68 Цит. по: Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2. С. 616–617.

шенно недопустимые для советской литературы. Но главное, что при всем понимании сценических или кинематографических задач драматургия интересует Платонова прежде всего как ресурс письма, как разноплановое взаимодействие реплик и ремарок, практически невозможное в поэзии и прозе.

«Шарманка» открывается подзаголовком «Действующие люди» вместо привычных «Действующих лиц»⁶⁹, в сценарии «Елифанские шлюзы» одним из действующих лиц указана Природа⁷⁰, а в сценарии «Песчаная учительница» — «Песок» и «Шелюга»⁷¹. Многие авторские ремарки пьес и либретто явно выходят за пределы указаний режиссеру: «Абраментов осторожно спускает Крашенину в приблизительную, расчищенную постель»⁷². Другие ремарки, напротив, нарочито точны, но перечеркивают сами себя (что порой способно напомнить некоторые авторские комментарии и сноски в пьесах Жана Жене, разумеется, не известных Платонову): «Играть на сцене “Голос отца” другому актеру не следует, потому что это будет грубой художественной ошибкой, которая придаст сцене мистический оттенок, тогда как эта сцена должна быть совершенно реалистической. Впрочем, может быть, “Голос отца” как раз следует играть другому актеру»⁷³. И наконец, некоторые строки в сценариях выглядят настолько безумными, что оказывается сложно представить режиссера, который взялся бы за съемки. Дзига Вертов? Сергей Эйзенштейн?

Задом к зрителю сидит некое туловище, производящее равномерные автоматические движения; туловище похоже на человека. Зрителю оно должно казаться «абсолютным» человеком.

Соседи некоего туловища (уже сущие люди); они несколько похожи на него. Они сидят также задом к зрителю. <...>

Лицо «туловища»: это сложный американский чертежно-множительный аппарат, работающий от штепселя. Можно дать пояснение надписью. Можно, и это лучше, добавить кадр: автомат из «рта» выпускает синюю бумагу с белыми линиями чертежей⁷⁴.

Очевидно, что писательскую манеру Платонова не спутать ни с чьей другой, но эта непохожесть едва ли соотносима с размышлениями Жана Полана о «терроре в изящной словесности». Едва ли Платонов претендовал на роль *enfant terrible* русской литературы, более того — в своих критических статьях он ассоциировал эксперименты авангарда с декадентством⁷⁵, а романы Джойса и Пруста даже называл бессознательным выстраиванием «моральной обстановки» для фашизма⁷⁶. И все же он стал тем самым *прустовским чужеземцем в языке*, но по каким-то другим причинам, словно придя с неведомой терри-

69 Платонов А.П. Шарманка. С. 195.

70 Платонов А.П. Либретто «Елифанские шлюзы» // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 2. С. 336.

71 Платонов А.П. Сценарий «Песчаная учительница» // Там же. С. 313.

72 Платонов А.П. Объявление о смерти // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2. С. 251.

73 Платонов А.П. Голос отца // Платонов А.П. Ноев ковчег. Драматургия. С. 210.

74 Платонов А.П. Турбинчики (Кинематографический очерк) // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 4. Кн. 2. С. 314.

75 Платонов А.П. Пушкин и Горький // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 6. Кн. 3. С. 41, 43.

76 Платонов А.П. О «ликвидации» человечества // Там же. С. 157.

тории и ухватив альтернативные способы выстраивания синтаксических связей. Вроде бы напрашивается параллель с обэриутами: «Тут человек лежит бесцельно / Сам нецельный / Что тут было?»⁷⁷ — даже в самом построении фразы есть повод для сравнения. Но перед нами модернист, нарочито дистанцирующийся от модернизма, и его искреннее стремление войти в советскую литературу проявляется даже в самых «антисоветских» текстах. При этом представить его, например, обсуждающим марксизм или философию языка в круге Бахтина оказывается куда сложнее, чем в сообществе пролетарских писателей, чьи бесчисленные (и заслуженно позабытые) книги Платонов неустанно рецензировал. Впрочем, еще в 1920 году на Всероссийском съезде пролетарских писателей на вопрос «Каким литературным направлениям сочувствуете или принадлежите?» он категорично ответил: «Никаким, имею свое»⁷⁸.

Действительно, очень часто возникает впечатление, что Платонов пишет так, будто словесности до него в принципе не существовало, — пишет, не ощущая ее груза на плечах. Но при этом его завораживающее косноязычие не противостоит традиции, а словно развивается параллельно ей, указывая на то, что классическая литература, несмотря на весь свой масштаб, лишь один из возможных путей письма. И в этом существенное отличие от Введенского, язык которого оставался вдумчивым диалогом с традицией.

Языковое мышление Платонова распространяется далеко за пределы политического измерения, и указание на его истоки — задача едва ли выполнимая. Но что же выбрать в качестве точки отсчета? Как ни странно, вариантов множество, и это еще больше усугубляет проблему. И вопреки только что сказанному, таким началом координат может стать и русская литература XIX века. Разобраться с этим парадоксом помогает предложенная Валерием Подорогой концепция «другой литературы», отделенной «от так называемой “придворно-дворянской” или “классицистской” литературы, литературы образца» и противопоставляющей ей «то, что та должна исключить, признать маргинальным, “несущественным” и бессмысленным»⁷⁹. По словам Подороги, в русской литературе эта линия представлена в первую очередь текстами Гоголя и Достоевского, присвоение которых традицией раз за разом спотыкается о вывернутый наизнанку, не поддающийся усмирению язык. Нечто подобное, но в куда более резкой форме позднее произойдет и с языком Платонова, который окажется камнем преткновения для порядка слов, выстраиваемого коммунистической партией. «Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде», — если верить собственным статьям Платонова, Достоевский не входил в список его любимых авторов⁸⁰, и, однако, эту фразу из «Преступления и наказания»⁸¹ вполне можно представить в качестве фрагмента из «Чевенгура».

77 *Введенский А.И.* Елка у Ивановых // Введенский А.И. Полное собрание сочинений: В 2 т. Т. 2 / Вступ. статьи и примеч. М. Мейлаха. М.: Гилея, 1993. С. 49.

78 Цит. по: *Платонов А.Л.* Сочинения. Т. 1. Кн. 1. С. 492.

79 *Подорога В.А.* Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы: В 2 т. Т. 1. М.: Культурная революция; Logos altera, 2006. С. 9, 69.

80 При этом по воспоминаниям вдовы писателя незадолго до смерти он просил читать ему только Библию и роман «Бесы» (См.: *Мальгина Н.* Диалог Платонова с Достоевским // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 4. С. 185).

81 *Достоевский Ф.М.* Преступление и наказание / Подгот. текста и примеч. Л. Опульской, Г. Коган, Г. Фридлендера // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 5. С. 92.

Тем не менее поисков литературных предшественников Платонова оказывается явно недостаточно для объяснения феномена его стиля, тем более что привычный для филологов разговор о литературном влиянии (как и о концептуализированном Хэрольдом Блумом «страхе влияния») в этом контексте если не теряет смысл, то, по меньшей мере, оказывается проблематичен. К тому же порой язык Платонова нарочито нелитературен и изобилует просторечиями, а нередко и внушительным количеством грамматических и даже орфографических ошибок (характерный пример — первая редакция повести «Впрок»). В этом смысле особый интерес представляет короткая запись середины 1930-х годов, которую можно прочесть как апологию так называемой тарабарщины: «Мы разговариваем друг с другом языком нечленораздельным, но истинным»⁸². Еще одним истоком этого стиля можно назвать фольклор, но не в смысле фундамента для будущей традиции, а наоборот — как сферу столкновения сырых, первозданных слов, уходящих корнями в миф и определяющих пределы любой культуры (отнюдь не случаен интерес Платонова к жанру сказки)⁸³. Может быть, поэтому одним из постоянных объектов его внимания оставалась и детская речь, где связи между словами предстают в своем становлении. Вот цитата из записных книжек, в которой ребенок похож на героев Платонова: «Мальчик трогает снег и говорит: когда ж ты растаешь, чтоб хлебу было тепло вырастать!»⁸⁴ К слову, на поездки в отдаленные от столицы районы и знакомство с людьми, для которых русский в прямом смысле был иностранным языком, тоже можно взглянуть как на один из стилистических источников.

По замечанию исследователя Сергея Федякина, письмо Платонова перестроит язык так радикально, «как если бы известные нам химические элементы вдруг непонятным образом поменяли валентность и атомы стали бы соединяться в иные, неведомые нам молекулы, а взаимодействие знакомых веществ всякий раз порождало бы невероятные, с немыслимыми для нас свойствами, соединения»⁸⁵. Действительно, при чтении Платонова поражает не выбор лексики — в сравнении с Клюевым, Ремизовым, Хлебниковым количество редко употребляемых слов, архаизмов или, наоборот, неологизмов не так уж велико, а то, что действительно не укладывается в голове, — это синтаксис: совершенно непривычный порядок слов и грамматические управления. Фиксации этих аномалий посвящены многие филологические статьи: Платонов превращает в литературный прием стилистические и категориальные ошибки⁸⁶, очевидные тавтологии и плеоназмы, странным образом совмещающиеся с эллипсами и намеренными недомолвками⁸⁷, «неоднократно ставит рядом сло-

82 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 176.

83 См., в частности: Кулагина А.В. Тема Смерти в фольклоре и прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, 2000. С. 345–357.

84 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 201.

85 Федякин С.Р. Слово Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 35.

86 Нонака С. Силлеспис в «Котловане» Платонова // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Кн. 3. СПб.: Наука, 2004. С. 378–399; Нонака С. Категориальная ошибка как стилистический принцип Платонова («Котлован») // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 4. С. 62–73.

87 Михеев М.Ю. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 260–278.

во в прямом значении и совпадающую с ним метафору»⁸⁸, что закономерным образом отражается и на совмещении разных стилистических норм (возвышенной и низменной лексики, канцеляризмов и научных терминов и т.п.). Но то, что действительно ставит в тупик, — это авторские принципы принятия решений, разгадать которые кажется непосильной задачей. Впрочем, почему бы не послушать самого писателя? Тем более что есть как минимум один текст, без околичностей рассказывающий о том, как начинающему литератору стать Платоновым:

Я сделал так (меня можно сильно поправить). Купил кожаную тетрадь (для долгой носки). Разбил ее на 7 отделов-«сюжетов» с заголовками: 1) Труд, 2) Любовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры, 5) Разговор с самим собой, 6) Нечаянные думы и открытия и 7) Особое и остальное. Я дал самые общие заголовки — только для собственной ориентации. В эту тетрадь я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может послужить полуфабрикатом для литературных работ, как то: вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, вырезки из много- и малочитаемых книг (которыми я особенно интересуюсь: очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мурманского края, канатное производство, история Землянского уезда Воронежской губ. и мн. др. — я покупаю по дешевке этот «отживший» книжный брак), переношу в тетрадь редкие живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и очерки, — стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпяченной наблюдательности все прилипало и накальвалось, а потом я отдираю от себя налипшее — шлак выкидываю, а полуфабрикат — в кожаную тетрадочку.

Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус, а то насыешь в тетрадь мякину и лебеду, вместо насыщенного хлеба⁸⁹.

В книге Сальвадора Дали «50 секретов магии мастерства» последний из многочисленных советов начинающим художникам выглядит откровенно издевательским: все предыдущие указания обретут свой смысл, только если рукой художника будет водить ангел⁹⁰. Едва ли Платонов стремился к подобному эффекту, напротив — статья явно настаивает на том, что предлагаемый метод вполне может быть реализован многими литработниками, однако фраза «конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус» по сути перечеркивает все рекомендации — иными словами, дело за малым: вдобавок к рецепту нужен лишь художественный талант. Платонов приводит только один пример из своего писательского опыта — рассказ «Антисексус», однако в разном виде подобные коллажи из технической, газетной, бытовой и литературной речи можно обнаружить во многих его произведениях, на фоне которых даже хаотичный беррозовский «метод разрезов» куда лучше поддается пониманию в том, что касается принципов организации текста. К слову, исследователям Платонова не удалось найти в архиве ничего напоминающего кожаную тетрадь, а черновики «Антисексуса» представляют собой наброски на разноформатных листах.

88 Кожевникова Н.А. Тропы в прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 349.

89 Платонов А.П. Фабрика литературы // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 2. С. 364—365.

90 Дали С. Из книги «50 секретов магии мастерства» / Пер. с англ. Н. Матяш // Рохас К. Мифический и магический мир Сальвадора Дали. М.: Республика, 1999. С. 302.

Но, рассмотрев редакторские исправления, пора обратиться к собственным правкам Платонова, которые присутствуют в рукописях. По сути, последовательное прослеживание изменений во фразах — это единственный способ приблизиться к его писательскому мышлению. В монографии Вьюгина цель этих стилистических правок определена как увеличение семантической плотности текста, напоминающее процесс сгущения, которым Зигмунд Фрейд определял мыслительную работу сновидения⁹¹. Платонов добивается той степени плотности текста, когда чтение требует предельного сосредоточения, внутреннего проговаривания фраз, но одновременно оказывается так захвачено словесным ритмом, что не остается места для передышек и размышлений, настолько книга уносит за собой. Вьюгина интересуют прежде всего редукции формы — значительные сокращения финальных редакций в сравнении с первоначальными, слияния нескольких персонажей в одного (и здесь параллель с «Толкованием сновидений» вовсе не выглядит умозрительной), однако на материале тех же самых текстов — «Чевенгура» и «Котлована» — можно увидеть, что плотность зачастую достигается не за счет сокращения фразы, а благодаря ее незначительной деформации. Вот несколько примеров:

Предварительный вариант

Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и после застал бобыля, задохнувшегося собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней шевелились белые мелкокалиберные черви.

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму — это просто теснота внутри его матери, он снова всовывается меж ее костями, но не может — от слишком большого старого роста...

Безотрадное солнце светило из вышин пустого мира, испуская тепло не от смысла, а от закона; травяная мелочь с терпением таилась у корней ржи, — может быть, она надеялась на будущий смысл, свое искупление человеком, или была сцеплена глубиной корней с питающей ее истиной терпения, — может быть, существовала лишь в химической тьме.

Финальная редакция

Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была плотная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали белые мелкокалиберные черви.

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму — это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть — от своего слишком большого старого роста...⁹²

Смутное солнце светило с вышины бессознательного мира, испуская тепло не от смысла, а от закона; травяная мелочь бережно таилась у низов ржи, — может быть, она надеялась на свое искупление из природы человеком, или сама была сцеплена глубиной корней с питающей истиной терпения, — может быть, существовала лишь в химической тьме⁹³.

91 Вьюгин В.Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки. Очерк становления и эволюции стиля. С. 139—159, 221—227; *Его же*. «Чевенгур» и «Котлован»: становление стиля Платонова в свете текстологии // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 606, 615.

92 Динамическая транскрипция рукописи романа «Чевенгур» // Архив А.П. Платонова: В 2 кн. Кн. 2. С. 15, 52.

93 Динамическая транскрипция рукописи «Котлована» // Платонов А.П. Котлован. Текст. Материалы творческой истории / Подгот. текста И. Долгова. СПб.: Наука, 2000. С. 180.

Появление глагола «действовали» на месте «шевелились» или изменение «ее костями» на «ее расставленными костями» словно на мгновение приближает к мышлению Платонова: текст каким-то волшебным образом заново рождается прямо на глазах. Но одновременно нельзя не поймать себя на мысли, что перед нами именно финальная огранка — умножение того захватывающего напряжения, которое уже присутствовало в предложении с самого начала. То есть это стадия, на которой мы удивляемся выбору эпитета, а не структуре фразы, которая становится более отточенной, но не изменяется кардинально. Принцип выстраивания предложений опять ускользает от нас, хотя сложно представить себе более близкий план для исследовательской макросъемки.

Итак, при попытке генеалогии писательского стиля Платонова лакун неизменно оказывается больше, чем вызывающих доверие гипотез, более того — подозрение начинает провоцировать сама логика, в которой отдается предпочтение связи, а не разрыву. Так как же определить этот нечленораздельный, но истинный язык? Шагом в эту сторону, к тому же в некоторой степени возвращающим разговор в политический контекст, может стать переосмысление предложенного Мишелем Фуко концепта «конвульсивной плоти» или «одержимости» как реакции на репрессивную христианизацию эпохи инквизиции. «Конвульсивная плоть — это тело, освоенное правом дознания, тело, повинующееся обязанности полного признания, и тело, бунтующее против этого права дознания, против обязанности полного признания»⁹⁴. Конвульсия — это непроизвольное сопротивление тела или разума насилию, которое не получает ясной артикуляции.

Однако речь и письмо порой тоже способны проявлять себя подобным образом, и языковые конвульсии оказываются еще менее предсказуемыми, чем физиологические. Вполне объяснимо, что чаще всего они проявляются не в публицистике, а в литературе, но они врываются в художественные тексты без предупреждения, как жуткое, болезненное вдохновение. И теперь становится заметнее пропасть, разделяющая этих языковых чужемцев и территорию «террора в изящной словесности». Литературный террорист — это писатель, сознательно выбравший стратегию бунта как идейно, так и стилистически: Селин, Жене, Гийота, даже Джойс — их речь намеренно кроит внутри родного языка иностранный, но в случае непроизвольной словесной конвульсии перед нами нечто совершенно иное. Поэтому куда сложнее оказывается и выстроить некий, пусть даже предельно условный ряд подобных писателей: языковая одержимость препятствует аналогиям.

Однако как раз для того, чтобы яснее очертить особенности этого письма, имеет смысл привести пример, не касающийся текстов Платонова: стихи Геннадия Гора. В довоенной прозе Гора можно обнаружить внимание к языковым аномалиям: художественная переработка наречий ненцев или гиляков — это очень любопытный литературный опыт, в котором основой писательского стиля становится ломаная речь персонажей, порой даже способная напомнить некоторые реплики героев Платонова. Однако литературные достоинства предвоенных рассказов Гора вовсе не препятствуют филологическим размышлениям о том, как сделаны эти тексты: в рассказах «У большой реки» или «Богач Тютяка» нет ничего общего с языковыми конвульсиями, нет никаких яс-

94 Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году / Пер. с фр. А. Шестакова. СПб.: Наука, 2004. С. 257.

ных намеков на то, что этот же автор всего через несколько лет создаст жуткий цикл блокадных стихотворений, которые сегодня в первую очередь ассоциируются с его именем. Стихи Гора, написанные в 1942—1944 годах, — это сопротивление языка вторжению калечащей действительности, которое, несмотря на всю свою нечленораздельность, предстает как скрупулезная документация путешествия в ад. Мы не знаем и никогда не узнаем, как были «сделаны» эти стихи, метод сочинения не поддается реконструкции, если, конечно, сам термин «метод» уместен. Но здесь становится ясно, какой ценой достигается подлинное языковое чужеземство: оно подступает к тому, что нельзя продумать, но можно пережить.

В биографии Платонова, отнюдь не обделенной ударами судьбы, трудно выделить одно событие, сопоставимое с блокадным опытом Гора, да и едва ли есть смысл в подобных сопоставлениях травм. Однако если и имеется какое-то объяснение тому, почему несмотря на все попытки соответствовать требуемым представлениям о литературной норме, Платонов раз за разом писал нечто противоположное, то, возможно, его стоит искать в непроизвольном сопротивлении речи — том самом непроизвольном бунте против права дознания. Видимо, таким образом в письме сказались и многие противоречивые события его биографии: детские смерти брата и сестры, работа на заводах, вера в революцию, первые литературные опыты, Гражданская война, вступление в коммунистическую партию и последующее исключение из ее рядов, знакомство с Марией Кашинцевой, рождение сына, публикация нескольких книг, инженерная деятельность, многолетний шквал критики, аресты близких знакомых, нескончаемые отказы издательств, арест и смерть сына, Великая Отечественная война, рождение дочери, заболевание туберкулезом, новые книги, очередной шквал критики. Языковая «одержимость» Платонова не была кратковременной вспышкой, как у Гора, но равномерно растянулась почти на всю жизнь писателя, стихая лишь на непродолжительное время, и поэтому она еще менее объяснима. Несомненно то, что этот тарабарский язык опасен для идеологии и власти — тем, что он не охватывается правом дознания: никогда не ясно, чего от него ждать, — неизвестно, каким будет следующее слово. И это его свойство не отменяется перечитыванием. Вопреки постоянному присутствию фраз, связанных с пропагандистской действительностью, художественная речь Платонова — это нечто, предельно далекое от языка идеологии и подрывающее саму его структуру. В этом смысле Платонову, несомненно, удалось стать «политическим писателем».

Известная статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», написанная им в последние годы жизни, в каком-то смысле проясняет давнее возмущение тарабарским языком. Опубликованная с целью закрытия дискуссии о классовом характере языка, она одновременно содержит следующие вопросы: «Кому нужно, чтобы изменения слов в языке и сочетание слов в предложении происходили не по существующей грамматике, а по совершенно другой? Какая польза для революции от такого переворота в языке?»⁹⁵ Очевидно, что это риторические вопросы, предполагающие единственно верные ответы — отрицательные. Но важнее, что главный тезис статьи оказывается почти семиологическим: несмотря на то что язык всегда стоит над общественными

95 *Сталин И.В.* Марксизм и вопросы языкознания. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1953. С. 10.

классами и «закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления», он всегда выполняет лишь служебные функции: «Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания»⁹⁶. И здесь перед нами нечто, предельно далекое от восприятия языка, предлагаемого текстами Платонова, где слова крайне редко бывают ограничены сферой обмена информацией, но обращены к онтологическим основаниям.

(Не)бытие

Когда Мартин Хайдеггер в вопросе «Что зовется мышлением?» выдвигает на первый план смысл «Что зовет нас мыслить?», он дает этой переакцентировке следующий комментарий:

Если же здесь и может идти речь о какой-либо игре, то не мы играем со словами, а существо языка играет с нами, не только в этом случае, не только сегодня, но давно и постоянно. Язык играет нашей речью именно таким образом, что он легко позволяет ей расходиться во множество поверхностных значений слов⁹⁷.

Подобное понимание сущности слова предлагает Платонов: язык никогда не выступает в его произведениях лишь средством донесения некоей информации, а является первичным условием для рождения мысли. Самые простые, общеупотребительные слова здесь приобретают (возвращают себе?) онтологический статус.

Исследовательница Анни Эпельбоин указала на проблему постоянного смещения повествовательной перспективы во многих текстах Платонова: речевая манера рассказчика часто и без всякого предупреждения перетекает в реплики и даже споры персонажей, так что противоположность их позиций размывается, а иногда даже начинает вызывать сомнение. «Разным героям передается эстафета повествования, а вместе с ней — и ответственность за миропписание», более того — та или иная формулировка может не только присваиваться другим персонажем, но и «переходить к отдельным органам его тела» или передаваться от «рассматривающего лица к рассматриваемому им предмету», отчего человек оказывается равен пейзажу, звуку, вещи. Однако «распыление точек зрения компенсируется образованием новых и прочных языковых связей», в результате чего роль главного героя получает сам язык⁹⁸. И в случае Платонова это не тривиальная метафора: его персонажи действительно живут в языке. Эти тексты редко отличаются сюжетной убедительностью и сложной фабулой, чаще всего сюжет здесь вообще стоит на второстепенном плане, а типичный герой — это странник, который бредет по диким землям, деревням и городам, от одного дома к другому, встречает случайных знакомых и ведет с ними беседы. Сталкиваясь друг с другом, эти выговариваемые или же вымалчиваемые идеи предстают как сложный сплав, скрепленный прежде всего

96 Там же. С. 22.

97 Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. М.: Территория будущего, 2010. С. 147.

98 Эпельбоин А. Проблемы перспективы в поэтике А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 359—360.

самой словесной тканью, переплетаясь настолько, что порой невозможно разграничить их даже в пределах одного предложения.

Скольжение лишь по поверхности политического рискует совсем не коснуться бытийного пласта произведений Платонова, пронизанных метафизической смертью, хотя эти мотивы просвечивают едва ли не за каждой «социально-политической» сценой, превращая даже канцеляризм в философские категории. Порой можно подумать, что Владимир Бибихин, переведивший «Бытие и время» на русский язык, ориентировался на Платонова в своем выборе слова *присутствие* как эквивалента для хайдеггеровского *Dasein*: «Граждане подсудимые, прошу очистить вас своим присутствием от меня!»; «Вась, припри дверь на всякий случай. Сегодня мы не присутствуем»⁹⁹.

Едва ли смена политических декораций смогла бы повлиять на потребность Вощева вглядываться в темную пустоту таинственной жизни, и в этом смысле котлованом — разом и вавилонской шахтой, и космосом — у Платонова оказывается бытие как таковое. Здесь выходят на первый план темы неподлинности жизни, ее вечной незавершенности: «Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не может никогда родиться»¹⁰⁰. Многие герои Платонова одержимы странной потребностью обретения, и зачастую невозможно сформулировать, что именно они хотят обрести, но очевидно, что за победами социализма, трудоднями, кооперацией и распределением они прячут невыговариваемые грусть и счастье. Они ощущают потребность сделать что-то невозможное, а когда к ним приходит трагическое осознание того, что осуществить задуманное не получится, пытаются найти обретение в небытии.

В текстах Платонова нет ничего реальнее, чем смерть, но именно непостижимость ее сокровенного смысла превращает гибельный опыт в познание бесконечности. «Возле смерти человек сильнее»¹⁰¹; «Надо быть живым для того, чтобы чувствовать смерть, горе, мертвые ничего не могут чувствовать. Для смерти нужны живые»¹⁰², — здесь мысль Платонова оказывается предельно близкой к центральному пункту философии Достоевского, евангельскому образу о пшеничном зерне, избранному в качестве ключа-эпиграфа для его главного романа «Братья Карамазовы». И однако в других записях, понимание смерти далеко не всегда совпадает с христианским: «Конечно, мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть — покойный человек, мертвый»¹⁰³.

При этом многие тексты Платонова не покидает ощущение конца, ощущение приближения к ничто, вызревания оледенелой картины медленного, мучительного и бесконечного умирания, которое уже нельзя охарактеризовать как жизнь, скорее как существование в смерти. Федоровское «воскрешение отцов» часто вспоминают в связи с Платоновым, однако многие его записи наполнены столь мрачным абсурдом, что параллель тут же искривляется: «Вскоре наука всего достигнет: твой ребенок и все досрочно погибшие люди, могущие дать пользу, будут бессмертно оживляться, обратно к активности!»¹⁰⁴

99 Платонов А.П. Дураки на периферии. С. 172, 181.

100 Платонов А.П. Заметки // Платонов А.П. Сочинения: В 6 т. Т. 1. Кн. 1. С. 184.

101 Платонов А.П. Иван Толокно — труженик войны // Платонов А.П. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941—1945 годов. С. 134.

102 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 99.

103 Там же. С. 272.

104 Платонов А.П. 14 красных избушек // Платонов А.П. Ноев ковчег. Драматургия. С. 203.

А в записных книжках Платонова есть следующая фраза: «Замороженных воскресают — и они снова сражаются, но их уничтожают вновь: две смерти они переживают»¹⁰⁵.

Эту тему существования на границе небытия Платонов порой переносит даже в рецензии на книги других авторов, где тоже обнаруживает людей, которые «пребывают словно в каком-то “третьем” состоянии, то есть они не мертвы, но и жить в их положении нельзя: и они томятся в промежуточном, мучительном, трагическом положении, срываясь в свою гибель»¹⁰⁶. И даже самоубийства Двановых оказываются еще одним звеном этого поиска обретения невозможного. В каком-то смысле термин *самоубийство* применительно к текстам Платонова не совсем правомерен: редкий пример доведенной до конца безнадежности — доярка Айна из «Ювенильного моря», но куда чаще у его героев речь идет о восприятии встречи с гибелью, знакомом идущему в атаку солдату, или о намерении «пожить в смерти и вернуться»¹⁰⁷, а бытие и небытие здесь не разделены зримой демаркационной линией (потому и христианское понимание *греха* также оказывается вне этой системы координат). Эта диалектическая взаимозависимость живого и мертвого обнаруживается героями Платонова повсюду: «А ногти же мертвые, — выходил старик из узкого места. — Они же растут изнутри, чтобы мертвое в середине человека не оставалось. Кожа и ногти всего человека обволакивают и берегут»¹⁰⁸.

Именно поэтому, даже пребывая в пространстве смерти, многие герои произведений Платонова изобилуют жизнью, более того, именно непрекращающийся диалог с неживым делает само их существование возможным, это тайна, которая ставит саму проблему смысла жизни. Быть может, смерть, Бог, революция, прогресс, любовь представлялись Платонову шагами на пути к той стирающей все противопоставления пустоте, истинным языком которой пытались заговорить его герои. Да, «ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться»¹⁰⁹.

105 Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии. С. 229.

106 Платонов А.П. Рассказы Василия Стефанника // Платонов А.П. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. С. 509.

107 Платонов А.П. Чевенгур. С. 11.

108 Там же. С. 246.

109 Платонов А.П. Котлован // Платонов А.П. Сочинения. Т. 4. Кн. 1. С. 75.

Геннадий Айги: На границах речи

Антон Азаренков

«Музыка Молчания» Геннадия Айги¹

Anton Azarenkov

Gennadiy Aygi's "Music of Silence"

Антон Азаренков (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), доцент; кандидат филологических наук) aazarenkov@hse.ru.

Anton Azarenkov (PhD; Lecturer, HSE University (St. Petersburg)) aazarenkov@hse.ru.

Ключевые слова: поэтология, интермедальность в литературе, поэзия и музыка, фоносемантика, семантический ритм, семантическая рифма

Key words: poetology, literary intermediality, poetry and music, phonosemantics, semantic rhythm, semantic rhyme

УДК: 82.14

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_256

UDC: 82.14

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_256

В статье идет речь о концепции «словесной музыки» в творчестве Геннадия Айги. В первой части статьи описывается авторская поэтология Айги, выделяются и систематизируются соответствующие трансмузыкальные топосы. Во второй части статьи анализируются фоносемантические эффекты лирики Айги, в том числе активно дискутируемый в последние десятилетия феномен «семантической рифмы». В творчестве Айги теория и практика «словесной музыки» оказываются тесно переплетены между собой и укоренены, с одной стороны, в европейской поэтологической топике, а с другой — в современной поэту лингвистике.

The article deals with the concept of “verbal music” in the work of Gennady Aygi. The first part of the article describes Aygi’s authorial poetology, identifies and systematizes the corresponding transmusical topoi. The second part of the article analyzes the phonosemantic effects of Aygi’s lyrics, including the phenomenon of “semantic rhyme”, which has been actively discussed in recent decades. In Aygi’s work, the theory and practice of “verbal music” are closely intertwined and rooted, on the one hand, in European poetological topology and, on the other hand, in linguistics contemporary to the poet.

1 В статье отражены результаты исследования, выполненного по проекту «Сравнительное изучение метрического стихосложения на фоне языковой просодии: цифровая аналитическая платформа “Прозиметрон”», поддержанного РНФ, проект № 24-18-00913.

Как иногда хочется поэту не говорить неотменимым словом-логосом, а *завзвучать!* — завзвучать некоею «самою» красотой прекрасного! — как в музыке.

Г. Айги. *Листки — ветер праздника. К столетию Велемира Хлебникова* [Айги 2019: 237]

Эта статья посвящена месту музыки в поэзии Геннадия Айги. Подчеркну, что я практически не буду говорить здесь о музыке как о *музыкальном искусстве*. В XX веке трудно найти крупного поэта, которого не занимала бы эта тема, кто не учился бы у музыки, особенно академической, искусству композиции. Вот и у Айги найдутся стихи, так или иначе отсылающие к музыкальным формам — «мадригалы», «реквиемы», самые разнообразные «пения», от хорального до народного; сюда же следует отнести книгу вариаций на темы поволжского фольклора «Поклон — Пению». Другими словами, музыка как *тема* у Айги представлена довольно широко — этому вопросу, в частности, посвящено обстоятельное эссе Татьяны Грауз [Грауз 2018]. Меня же будет интересовать иное бытие музыки в творчестве Айги: во-первых, «музыка» как метафора поэзии (то, что иногда называют дискурсом трансмузыкальности), а во-вторых, «музыка стиха», то есть поэтическая фоника. Как я попытаюсь показать, теория и практика «словесной музыки» у Айги крепко связаны и во многом созвучны европейской поэтологической топике и некоторым течениям современной поэту лингвистики.

1

Центром музыкальной поэтологии Айги становится, собственно, антимузыка — *молчание, тишина*. Итогом многолетних размышлений Айги над этой темой стало его эссе 1992 года «Поэзия-как-Молчание» — настоящая апология «слушания вместо говорения» [Айги 2019: 518]. Айги рассуждает не только о метафизике, но и о *практике* тишины, то есть о *поэтике* (у)молчания, основанной на стиховой паузе. Разрабатывается целая типология подобных пауз: отдельные строки-двоеточия, отточия-«шуршания», умолчания со значением и бессмысленные лакуны и др. Такая поэтика противопоставляется Айги «многоговорению» современной поэзии, в чем можно усмотреть заочную полемику с Бродским, который был склонен сближать поэзию и риторику:

Поэзия не есть искусство умолчания — это искусство красноречия, утверждения. Если поэт хочет быть скрытным, он может с тем же успехом сделать следующий логический шаг и полностью загкнуться. Безнадежно семантическое искусство, поэзия должна быть дискурсивной даже при самой интровертной чувствительности [Бродский 2001: 166].

Айги, скорее всего, не читал этих слов, впервые опубликованных в 1991 году по-шведски в предисловии к книге переводов Дерека Уолкота, но с общей интенцией Бродского, очевидно, был хорошо знаком. Верно и обратное: еще в 1979 году в интервью Джону Гледу Бродский весьма негативно отзывался об

Айги, говоря о том, что такая поэзия никак не способствует «восстановлению гармонии просодии» [Бродский 2000: 118].

Противопоставляя молчание «самым значительным словам» [Айги 2019: 519], Айги из своих современников ближе всего подходит к Вс. Некрасову, призывавшему не «сотворять» поэзию из «инерции речевого потока», а «открывать» ее заново при помощи «молчания, паузы, того, что за речью». Об этом Некрасов говорит в своей «Объяснительной записке» 1979 года [Некрасов 1991: 38–39], а еще через десять лет в предисловии к первой официальной публикации Некрасова в России (Дружба народов. 1989. № 8) Айги напишет об «изъятых из скоростного автоматизма обычного стиха» словах Некрасова, что, по сути, почти дословно повторяет некрасовскую программу. Производимый стихами Некрасова эффект Айги определяет как *эффект тишины*, правда, этот абзац оказался исключен из журнальной публикации и воспроизведен только в Собрании сочинений поэта [Айги 2019: 186–187].

Тишина для Айги не только цель поэзии, но и ее причина — «пред-Слово» [Там же: 318]. Поэт определяет такую тишину как зону потенцирования смысла, состояние интенсивного поиска, а не как «безопасную “нетронутость” абсолюта» [Там же: 407]. Таким образом, *тишина* помещается Айги в ту область, где в европейской поэтике обычно располагается сигнальный *звук* («шум», «гул», «звон» и т.п.) — некая довербальная энергия, вызывающая к жизни стихотворение. В одном тексте Айги даже назвал периоды поэтического безмолвия «Гулом-Накоплением» [Там же: 114].

К образу «гула» Айги прибегает еще несколько раз, в основном в стихах. Во-первых, это «гул» как нарушение первозаданной тишины, знак тревожных изменений:

и гул — в тебе — распадов: в е т е р - х р а м
(«Человеко-переводы», 1967)²

все — гул беды!
как быть — чтоб переждать?
(«Продолжение-гул», 1986)

И вновь, призывая
в поле — для нового гула труда,
в небе резвятся
белые кони грозы
(«Тридцать шесть вариаций на темы чувашских
и марийских народных песен», 1998–1999)

Этот «гул» чаще всего ассоциируется с образами ветра и времени, эпохи. В основе этого, вероятно, лежат такие расхожие метафоры, как «ветер перемен» и «шум времени», который Айги однажды сравнил с «шевелившимся месивом человеческих боен» [Там же: 407].

Другое значение «гула» более привычно — это представление о смутном замысле, предшествующем стихотворению:

2 Все поэтические тексты в статье приводятся по изданию: [Айги 2009].

как сон звучит?
идеей-гулом
в словах не бывшего еще
какого-то «о-есть-уже-готовится»

(«И вновь: начиная со сна», 1969)

Связь поэзии, сна и таинственного «первозвука» — один из сквозных мотивов поэтологии Айги. В наиболее явном виде этот мотив присутствует в эссе «Сон-и-Поэзия» 1975 года. Эссе начинается с попытки определить сущностное различие между поэзией 1970-х годов и предшествующей ей поэзией оттепели. В первую очередь Айги отмечает смену способов бытования текста:

Меняется «схема» связи поэта с читателем. Теперь это — не от трибуны — в зал, в слух, а от бумаги (часто — и не-типографской) — к человеку, в зрение. Читателя не ведут, не призывают, с ним — беседуют, как с равным [Там же: 509].

По мысли Айги, ориентация поэзии на слух не только неизбежно обедняет ее в смысловом отношении, но и делает ее инструментом риторической манипуляции. Здесь Айги сталкивает два старых поэтологических топоса: античный, сравнивающий поэзию с «оружием», «поражающим» читателя помимо его воли, и средневековый, позже подхваченный романтизмом, осмысляющий поэтический акт как диалог «двух сердец», то есть равного с равным [Европейская поэтика... 2010: 53]. Именно такое, доверительно-интимное, бытие поэзии Айги и сравнивает со сном и относит к области зрения. Однако сон, в котором обычный слух перестает работать, дает представление и о другой, не риторической *музыкальности*: «Прибой его волн печет кое-что и для слуха, названного “поэтическим”... звуко-сгустки из тьмы» [Айги 2019: 511]. Появляющиеся из глубины человеческой самости «звуко-сгустки» — «гул», «шепот» и «ритм» — и составляют, по Айги, основу стихотворения [Там же: 512]. Этому находят подтверждения из классики, в частности упоминается предсмертный сон Пети Ростова, в котором он дирижирует невидимым оркестром [Там же: 514]³.

В своем эссе и ряде перекликающихся с ним стихов Айги разворачивает сложную метафору *поэзии как сна и как звука*, представляемого часто как звук музыкальный, гармонический. Впрочем, похожая метафора появляется еще у ранних романтиков. Так, например, Новалис призывал уподоблять логику стихотворения логике сна. Однако айгианская программа существенно расходится с романтической в плане отношения к поэтическому слову. Для Новалиса, как и для многих романтиков, «стихи-сны» должны представлять собой нерасчленимый поток образов, «понятный лишь в отдельных строфах» и взывающий, подобно музыке, скорее к ассоциативному, чем рациональному мышлению [Новалис 2014: 278]. Установка Айги прямо противоположна: поэт разводит понятия *напева*, или «пения слов», то есть речевой суггестии, и *слова-логоса*, или «Иоаннического слова», то есть поиска самого точного определения из возможных, преодоления инерции не только стиха, но и обыденной речи [Айги 2019: 223, 471, 524]. Иначе говоря, «сон» в поэтологии Айги — это

3 Любопытна переключка с поэтологической элегией Ольги Седаковой «Музыка», в которой по этому же поводу цитируется то же место из «Войны и мира».

не бессознательное, а *надсознательное* состояние, позволяющее не просто пассивно сливаться с мирозданием, но и активно его познавать. Об этом свидетельствует и работа Айги над своими черновиками, часто довольно долгая и кропотливая, порой уводящая поэта очень далеко от первоначального впечатления [Житенев 2023], в то время как для романтиков очень важна была идея спонтанности. С другой стороны, у Айги найдется множество принципиально экспромтных текстов (кстати, то же эссе «Сон-и-Поэзия» снабжено подзаголовком «Разрозненные записи к теме»). В одном интервью поэт также признается, что «слышит» свои ненаписанные стихотворения как «литургический напев», оговаривая, правда, что за этим следует трудоемкий процесс письма, который сравнивается с возведением здания [Айги 2019: 312—313].

Тема бессловесного напева довольно часта и в стихах Айги:

опять поются! есть! опять они
звучащие — везде — одновременно!
(«Снова: места в лесу», 1969)

Однако «пение» все же не становится для Айги последним «пред-Словом» — это место отведено непостижимой Божественной тишине. Продолжу цитировать стихотворение:

боярышник — при пении молчащий
как бог молчащий — за звучащим Словом.

Но в отличие от трансцендентной тишины (если как-то и являющей себя, то в таинственном, почти мистическом *шуришани*), «гул-пение» все же постижимо, потому что оно имманентно природе, в том числе и природе человеческой. В этом случае оно именуется *мелосом*:

и снова тот же гул — но в превращенье новом
далеким мелосом горит
(«Осенняя прогулка дочери», 1987)

Это понятие включает в себя и индивидуальный стиль (например, «моцартовский мелос» в стихах Вагинова [Там же: 152] или «по-младенчески чистый звук» поэзии Хлебникова [Там же: 243]), и просодию того или иного языка (например, «древнеславянский звук» в «мелосе» Божидара [Там же: 207—208]), и коллективное бессознательное целого народа. Айги называет это «Мелосом-Отечеством» [Там же: 316], который каждый национальный поэт призван воплотить в своем творчестве. Таков, например, Перец Маркиш, сумевший передать в своих стихах «всю глубину души еврейского народа» [Там же: 449], или чувашский поэт Константин Иванов, чей поэтический голос, «как наш общий голос... исходит из “народо-отца”» [Там же: 222]. Все это довольно близко подходит к тому, что А.Н. Веселовский писал о мифологическом периоде развития поэзии:

Древний поэт не творит, собственно говоря, ничего такого, что бы не существовало в представлении его современников как знание или чаяние. Оттого он не поет *для* них, потому что не в состоянии передать им ничего, что бы они в известной мере уже не знали; но он поет *от* лица всех, за всех [Веселовский 2011: 122].

«Ртом» чувашского народа, выговаривающим в стихах его обчий «крик», называет Айги и Михаила Сеспеля. Айги определяет чувашский «мелос» как шаманический «гул», находя отголоски этого «гула» и в самом себе, подчеркивая, правда, что старается не пускать его в свои русские стихи [Айги 2019: 475].

Представление о народном «мелосе» как основе поэзии могло сложиться у Айги еще в раннем детстве: поэт вспоминает, что первые стихи, которые он услышал в жизни, а именно стихи Пушкина, Лермонтова и Крылова, ему почувашски *пел* отец, причем на собственные мелодии [Там же: 463]. Но все-таки в словах Айги о «Мелосе-Отечестве» и «пении» лесов нетрудно распознать преломление традиционной поэтологической топики. Так, еще Боэций в трактате «Основы музыки» выводит сущность «нрава» того или иного народа из музыкального «лада», присущего его культуре [Боэций 2012: 5]. Также Боэций с опорой на античных философов разделяет понятия инструментальной, мировой и человеческой музыки; если первая, производимая музыкальными инструментами, предназначена для слуха, то две остальные — для ума. Мировая музыка представляет собой гармонию четырех стихий, а человеческая — душевное и телесное согласие [Там же: 11–13]. Позже эти понятия трансформировались, с одной стороны, в идею *естественной музыки*, или музыки природы, у которой поэтам и композиторам то и дело предписывалось учиться, а с другой стороны — в концепцию *музыки души*, индивидуального *тона* чувств и мыслей, который и призвано передавать высокое искусство поэзии [Махов 2005: 36–71].

Топос «музыки души» предполагает согласованность творчества поэта и его моральных качеств и поступков. Вполне в русле этой традиции Айги делит поэтов на тех, кто «берет гармонию напрокат», то есть безотчетно перенимает у великих предшественников лишь стиль, и тех, кто ищет гармонию в самом себе, в собственных экзистенции и нравственности. В пределе такое искание должно привести человека в резонанс с «колоссальным миросмыслом» — к состоянию, напоминающему святость (Айги даже называет поэтов «несостоявшимися святыми») [Айги 2019: 473–474]). Интересно сравнить эту мысль с тем, что пишет в своих «Наставлениях науках божественных и светских» Кассиодор: «Музыка — это наука, разлитая по всем поступкам нашей жизни. <...> Когда грешим, то музыки не имеем» (цит. по: [Махов 2005: 51]).

У Айги можно найти еще немало перекличек с традиционной трансмузыкальной топикой, порой весьма точных. «Самое небывало-“дикое” произведение, если оно подлинное, непременно имеет свою внутреннюю гармонию, любое “недопустимое” средство будет в нем “к месту”», — говорит поэт в интервью [Айги 2019: 316], полностью совпадая со средневековым пониманием музыкальной и словесной гармонии как так называемого *согласного несогласия*. Но сейчас мне важнее показать, что для Айги характерен сам язык описания поэзии не только как словесного, но и как музыкального искусства.

Звуковое измерение имеет, пожалуй, и самый главный концепт айгианской поэтологии — *свет*. Понятие «света поэзии» как ее последней глубины связывается Айги с общим представлением о некоем сияющем метафизическом пространстве-поле, на фоне которого постепенно проступают слова и образы. На первый взгляд, этот сюжет гораздо логичней соотносится с живописью, чем с музыкой. И действительно, знаток авангардистского изобразительного искусства, музейный работник, Айги то и дело сравнивает свой поэтический метод с творчеством Малевича и даже называет себя «малевичанцем».

Однако в живописи для Айги на первый план выступают не пространство и цвет, а, если можно так выразиться, ее «фоносемантика». «Картина — также слово», — заявляет Айги [Там же: 346—347]. Живопись самого Малевича поэт сравнивает с «грохотом», а его философские и искусствоведческие штудии — с инструментом, которым «делается Слово, музыка делается»; основополагающими для себя Айги считает слова Малевича о поэзии как «распределении звуковых масс в пространстве» [Там же: 135—139]. Эти «звуковые массы» в разных местах связываются то с крученыховской зауемью как формой «пра-звука» [Там же: 218], то с музыкой Бетховена [Там же: 405—406], то с особой эвфонией русского свободного стиха [Там же: 495]. Иначе говоря, айгианская программа поэтического супрематизма более «музыкальна», чем «живописна».

Понятие «света» Айги прилагает не только к живописи, но и к другим искусствам, музыкальному в том числе. «Морем света, бездонным, в вечном движении» называет Айги музыку Карла Бельмана [Там же: 276]; в чувашском песенном фольклоре поэт также различает «таинственный свет народной этики» [Там же: 331]. В поэтологии Айги понятия «мелоса» и «света» как метафизической основы искусства вообще довольно близко подходят друг к другу. Об этом, в частности, говорится в стихотворении «Просьпаясь от пенья» 1976 года:

отлита дуда — скреплена всем извечным
свеченьем души всех проживших
на родине Малой.

Стихотворение посвящено украинским художникам Валерию и Алине Ламахам, и образ «дуды родины Малой», или, как сказано выше — «Малой России», отсылает, очевидно, к украинскому «мелосу». Этот «мелос» можно не только «услышать», скажем, в народном напеве или академической музыке⁴, но и «увидеть» — в «свечении души» и «белизне холста» национального художника. О «свете звука» говорится и в другом дружеском послании Айги — филологу Константину Эрастову и его жене Татьяне («Дом друзей», 1960).

«Свет» поэзии соотносится не только с ее «мелосом», но и с ее «тишиной», начальной и конечной точками развития текста. Так, Айги называет искомое им «Иоанническое», то есть рожденное Божественным безмолвием, слово «тихим Светилом» [Там же: 292], а целью своей поэзии — «нелюдскую тишину и свет» [Там же: 316]. Этот «свет» выступает знаком невербально смысла, «музыки Молчания» [Там же: 522], совпадая с белизной не заполненной текстом страницы.

Однако «молчание» Айги включает в себя не только трансмузыкальный и метафизический смыслы, но и социальное измерение. Поэт говорит о «молчании» и как о замолченности, непризнании неподцензурного автора со стороны литературного официоза [Там же: 423], и как о способе «жизневыдерживания» в идеологически ангажированной среде [Там же: 311—312]. В поэзии этот мотив становится особенно заметен в стихотворениях 1970-х годов («глухого времени», как определяет этот период Ольга Седакова [Седакова 1990: 257]):

4 «Поющей душой человека», музыкой, передающей «известные качества напевности культуры его родной Украины», называет Айги и творчество композитора Валентина Сильвестрова [Айги 2019: 484—487].

и вихрь — как смерти тишина
мы сами — не слышнее этого
<...>
все уезжают
мы одни
страна — как место где умолкло Слово
(«Снег с перерывами», 1973)

Именно этот аспект — историзм, вернее, принципиальный *аисторизм* поэта — больше всего интересует автора единственного в своем роде систематического описания айгианской поэтологии А.А. Житенева [Житенев 2022: 41—90]. Исследователь особенно подчеркивает *новизну* суждений Айги о поэзии. Нисколько не умоляя новаторства Айги и достоинств посвященной ему работы, отмечу только, что в ней совсем ничего не говорится о «словесной музыке» поэта, которая, как я попытался показать, во многом опирается на вполне привычную топику.

2

Далее речь пойдет о том, как концепция «словесной музыки» Айги соотносится с его стихом. Сам поэт считал, что пишет верлибром, хотя, строго говоря, это не так — основу его поэтики составляет гетероморфный стих на силлаботонической основе [Орлицкий 2020: 683—710]. Как видно из черновигов Айги, варианты текста могут до неузнаваемости отличаться друг от друга в лексическом плане, но практически всегда сохраняется исходный метр.

Поэт делит верлибры на три «жанра»: «повествовательно-рассказовые», «умственно-риторические» и те, что содержат в себе «стихию музыкальности», которая складывается из «словесного звучания разной временной протяженности» и пауз; прообразом такого стихотворения Айги называет камерно-инструментальную музыку [Айги 2019: 319—320]. Под таковой имеется в виду, очевидно, музыка неклассическая. По мнению Айги, до атонального переворота поэзия играла по отношению к музыке второстепенную роль (поэтому для своих переложений композиторы выбирали, как правило, посредственные стихи, не отвлекающие слушателя от мелодии); новая же музыкальная эпоха открыла возможности равноправного взаимодействия слова и музыки [Там же: 488—490]. Говоря о «музыкальности» верлибра, Айги особо отмечает роль сложного ритма, который называет «главной силой» своего стиха и связывает с малевичеанским определением поэзии как организации «звуковых масс» [Там же: 493—495]; паузировку же подобной ритмической конструкции Айги, по собственному признанию, отчасти перенимает у Веберна [Там же: 442]. Соотнесение айгианской поэзии и новой музыки, особенно минималистской, давно уже стало общим местом — первым из филологов об этом заговорил, кажется, Джеральд Янчек [Янчек 2006]. И действительно, присутствие музыкального дискурса в рассуждениях Айги о стихе довольно заметно: так, например, поэт сравнивает свою новаторскую пунктуацию с музыкальной нотацией, а собственное чтение стихов — с литургическим напевом [Айги 2019: 394—395] (отмечу в скобках, что Бродский также называл свою манеру чтения «литургической» [Бродский 2000: 459] — и не он один; в целом это довольно расхожая мысль в русской неподцензурной среде).

Но все же для Айги «музыка» стиха связывается прежде всего не с музыкой инструментальной и даже не со словесной эвфонией, а с метрикой и ритмикой:

Я нуждаюсь не в музыке, а в наличии «толкающего» меня ритма. Он — не звучащий, но почти биологически ощутимый. Если он отсутствует, мне вообще «не на что опереться», и творение немислимо [Айги 2019: 294–295].

На первый план выходит пауза, разделяющая «звуковые массы» стихотворения. Такая пауза может заменять собой текст целиком, как в случае с так называемыми стихотворениями-названиями, или энигматическими «текстами», например написанными на березе и для публикации не предназначенными [Житенев 2023: 242–243]. Также это может быть включение в текст принципиально непроизносимых элементов: музыкальных (глухой стук, звучание флейты) или визуальных (символ креста, собственные «иероглифы»). Примечательно в этом плане стихотворение «Без названия» 1965 года, завершающее книгу «Степень: остоики». Оно состоит из заглавного комплекса (собственно «Без названия») двух красных квадратов разных площадей, стихотворной строки между ними и прозаического текста в финале, где говорится, в частности, что эти квадраты, или «тихие места», представляют собой «опоры наивысшей силы пения». В авторском пояснении к стихотворению («О чтении вслух стихотворения “Без названия”») подробно расписано, с какой интонацией произносить вербальный текст, а также приведена музыкальная нотация для исполнения «тихих мест». Все это, очевидно, отсылает к супрематизму Малевича.

Пауза для Айги — это инструмент замедления и разрушения «напева» стиха, акцентирование «логосной», суверенной природы поэтического слова. Для этого поэт использует всякого рода отточия, увеличенные пробелы и отбивки, а также ненормативную пунктуацию, где одну из главных ролей играет знак тире («молчанка», как издавна его называют) — прием, найденный уже в ранних стихах:

— и — трансзабытье —
 — оползни — косо — и жалко —
 — чужие — вдруг — ресницы — оторваны —
 — отнимается — все —
 — косо — и жалко — и нет —
 — лишь красные — во всех —

(«Женщина на улице», 1961)

Особенно это показательно при работе с чужим словом, как, например, в стихотворении «Казимир Малевич» 1962 года, где взятый эпиграфом стих из народного песнопения «...и восходят поля в небо» в самом тексте передан как «и — восходят — поля — в небо».

Пауза-молчание в стихах Айги также проявляется в «световом» пространстве белого листа. На этом строятся «вакуумные» тексты поэта, включая самый известный из них — «Спокойствие гласного» 1982 года, состоящий из заглавия, даты и одинокой буквы *a*, расположенной по центру страницы. Это «стихотворение» демонстрирует такую характерную черту айгианской фонетики, как *звуковой символизм*. Фонема *a*, пожалуй, самая главная для Айги: это и акроним его родового имени, и первое вышедшее из вселенской тишины «Иоанническое слово» (в одном черновике звучание «aa» даже названо «стихотво-

рением Бога» [Айги 2014: 9]), и передача крика — одного из важных мотивов-символов Айги, означающих ужас существования. Фонема *a* становится не только *темой* целого ряда стихотворений, но и элементом их инструментовки — «напева». Так, многие тексты начинаются непосредственно с союза «а»:

а как? — да с «а»! —

а сон-то здесь

а сон-то в летнюю

(«Розы в начале цветения», 1976)

Ассонансы на *a* также приобретают особенное значение, как, например, в стихотворении «Прогулка: гвоздики на могиле Владимира Соловьева» 1969 года. К тексту предпослано два эпиграфа, библейский («глас хлада тонка») и соловьевский («вот веет тонкий хлад»); как широко известно, этот стих в славянской библии заканчивается так: «...и тамо Господь» (3 Цар. 19:12). В самом стихотворении Айги цитирует только славянский вариант, потому что в нем «трубят» «все *a* по очереди», то есть это «Иоанническое» звучание больше подходит для манифестации Божественного, чем не ассонированный соответствующим образом вариант Соловьева.

Впрочем, не только *a* обладает в поэзии Айги символическим потенциалом — практически все гласные фонемы (реже — согласные) наделяются тем или иным смыслом, например цветовым («Хуану Миро: пузыри гласных», 1969) или литургическим («Утро: метро: утешение», 1968). Встречаются и стихотворения, которые, подобно знаменитому сонету Рембо, полностью построены на этом приеме:

ПЕСНЯ ЗВУКОВ

о (Солнце Некое)

в *a*-Небе (тоже Неком)

e-u-y-ы-Другим (Мирам)

и *a-э-у*-Другие

деревьям-ю букашкам-*e a*-детям

6 июля 1983

Айги семантизирует не только отдельные фонемы, но и их простейшие нелексические сочетания. Это могут быть переданные кириллицей слова другого языка, как правило, взятые из песенного фольклора (литовск. *лелюмай*, евр. *хайя*), детский лепет (*ляля, нося*), окказиональные междометия (*ойй, ай-ии*). В этом ряду также следует рассматривать излюбленные Айги неологизмы-концепты типа *йех* и *бла*, с помощью которых поэт описывает жизнь «блатного» социального дна. Временами встречается и «классическая» заумь крученыховского типа (*вэай вьюзавый сда*). Следующий этап — введение в фонический состав стихотворения лексических неологизмов, например:

и **царсово-садо** бело на юру

сарабанда-пространство

(«Поле — до ограды лесной», 1962)

Еще один прием — это деформация звучания вполне конвенциональных слов. Почти всегда это растягивание гласных на манер пения (*меня-яаа-огня, река-а-о-женщина*) — так фоника становится на службу поэтической деривации. Ближе к этому подходит акцентирование фоносемантики имен собственных: например, Тиль Уленшпигель становится звукоподражанием *тиль-тиль* («При посылке роз», 1966), а Крученых — *крч*, хрустом от столкновения бытия и небытия («КРЧ — 80 (К 80-летию А.Е. Крученых)», 1966). И наконец, последним уровнем работы со словом как звучащим элементом стиха для Айги становится деавтоматизация звучания конвенциональных слов; этому способствуют разного рода разрядки, курсивы, кавычки, начертания прописными буквами, прямая и несобственно-прямая речь. В таком случае слово русского языка как бы изымается из «скоростного автоматизма стиха» — его фонический облик остраниается, отдалается от денотата и становится самостоятельным образом стихотворения:

а слово девочки «инъекция»
 при шепоте при шелка шорохе —
 Поэзия-Стихи-на-Впредь
 («Маска быка из военной формы», 1965)

выше возможностей звука:
 «с т р а н а !» —
 как — сквозь ключицы! — сквозь лица:
 даже не образом смысла и звука —
 скорее пространством идеи-отчаянья
 («Место: пивной ларек», 1968)

Сюда же следует отнести довольно частый для Айги прием фонического обыгрывания цитаты. Так, взятый эпиграфом к стихотворению «И: последняя камера» 1979 года неологизм Норвида «мраморея» повторяется и в самом стихотворении, включаясь в систему его звуковых повторов:

в мраморе с т л а н и к — навеки-кровавом-и-мерзлом
 (в том что уже — **м р а м о р е я**)
 и глухо в **каморке**
 как мышь (шевеленье ползущих по снегу)
 что это — **п о с л е д н я я к а м е р а**

На этом примере хорошо видно то, что можно назвать *парадигматической фоникой* — образование вертикальных паронимических цепочек, тяготеющих к правому краю стиха, что может служить своего рода компенсаторным механизмом в безрифменном тексте. «Я не рифмую», — отвечает Айги на вопрос, что для него значит свободный стих [Айги 2019: 471], однако в его поэзии встречаются, пусть и достаточно редко, как рифмы в строгом значении этого слова, так и рифмоподобные элементы — нерегулярные позиционно закрепленные созвучия:

белизной нашатыревой **мучая**
 шиворотом открывая пути
 от шеи к тайне **цимбальной**

зная о провиденном **случае**
быть тонкой для **бала**
операционно-**бела**
(«Прощание на юге», 1964)

Отмечу в этом стихотворении также и параллельную паронимическую аттракцию по левому краю стиха. Или:

овес
зернами тебе подражающий
красным пятном отражался
на пару с тобой
когда в облике мысли нас видел **сперва**
Спас
(«Коломенская церковь», 1964)

Наравне с парадигматической фоникой Айги активно пользуется и *синтагматической*, то есть аллитерацией:

сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:
сердце — сечение — север
(«Заморская птица», 1962),

парономазией:

там: **плачу-и-платья** — как чаши в сугробе...
там: я-и-смеются...
(«Праздник в детстве», 1965)

и в целом — звуковым повтором в бриковском смысле:

теперь — когда уже отдалено
все — **словно с ризной белизной — в слезах!**
(«Ты — немного — в весне», 1968)

Впрочем, интенсивность подобных созвучий от ранних стихов к поздним постепенно снижается. Это может быть объяснено все большим отдалением Айги от метрической инерции силлабо-тонического стиха, которая, по всей видимости, предполагает и повышенную фоническую интенсивность, в том числе и «память о рифме». То, что остается с поэтом на протяжении всего творчества, — это стремление к унификации клаузул. У Айги насчитывается немало текстов, сплошь написанных с применением одного типа окончаний (чаще женских, реже — дактилических и еще реже — мужских) или их более-менее регулярного альтернанса. Строго говоря, это сугубо *метрическое* явление. «Я не рифмую, — продолжим цитировать Айги. — А вот работа над ритмом для меня очень много значит» [Там же]. Однако на клаузулу одного типа закономерно могут приходиться одинаковые части речи или схожие грамматические

формы, тогда возникает грамматическое созвучие, или *гомеотелевтон*, одна из самых частых фигур в поэзии Айги:

Когда нас никто не **любит**
начинаем
любить **матерей**

Когда нам никто **не пишет**
вспоминаем
старых **друзей**

(«Путь», 1958)

а там за мостом
завершающе-дальнее —

просто — «душа!» — будто что-то имея от нас
внутренне-зрящее

(«Завершение поля», 2002)

Как писал С.С. Аверинцев совсем по другому поводу, гомеотелевты могут применяться не только как риторическое украшение, но и как

знак словесной геральдики, выделяющий привилегированные слова, удостоверяющий их логико-синтаксическую параллельность и подчеркивающий их смысловое сближение или противоположение [Аверинцев 2004: 231].

Ровно этот процесс можно наблюдать и у Айги. Такое понимание краегласия вполне соотносится с яacobсоновской концепцией рифмы как звуко-смыслового единства [Яacobсон 1975: 216]. Французское стиховедение идет еще дальше и развивает учение о чисто *семантических* рифме и ритме. В этой связи особенно примечательна книга Анри Мешонника «Рифма и жизнь». Мешонник основывает свою теорию на представлении о единстве поэтической речи и «жизни», то есть биологии, психологии и политики. При таком подходе рифма и метр из просодических элементов стиха превращаются в способы передачи «жизненного» смысла, неизбежно присутствующего даже в самом герметичном стихотворении. Вместо формального определения рифмы как разновидности звукового повтора Мешонник предлагает функциональное: рифма должна выявлять и накапливать семантику ритмического ряда, а также смещать привычную языковую логику («плутать»). Отказ европейской поэзии от регулярной формы, по Мешоннику, только подчеркивает функциональную, то есть сущностную, природу рифмы, которая из созвучия превращается в означивание. Так открывается путь к изучению «рифмы» в безрифменном свободном стихе [Мешонник 2014: 219—240].

Можно предположить, что, уходя от рифмы как созвучия, Айги акцентирует ее семантическое измерение, а излюбленные поэтом слова-понятия, особенно позиционно закрепленные в стихе, становятся своего рода функциональными «рифмами», элементами его «музыки Молчания» — того, что в европейской поэтике со времен Гердера обычно называлось стихотворной «мелодией мысли» [Махов 2005: 79—82]:

И: КАК БЕЛЫЙ ЛИСТ

в прахе нет гласного... смерть — это **звук**:

к богу ли — **крик**?

он — в поверхности праха:

что же — **просвет**?

о не жертвы сокровище:

не представленья!., не звуки и **песнь**:

а — ослепни и прими:

и откройся — коль **есть** обнаружится:

о тишина - и исус!..

1967

Поэтология Айги (которого, кстати, Мешонник упоминает как наиболее близкого «западным поэтикам» русского поэта [Там же: 234]), довольно близко подходит к французскому «семантическому стиховедению». Общее место айгианских размышлений — это соотнесение поэзии и «жизни», понятой как экзистенция и телесность: «Поэзия — это дыхание и человек — дыхание. Дыхание и вдохновение идут от одного корня» [Айги 2019: 494]. Поэтическое, таким образом, отделяется от стихотворного и располагается в сфере природного, то есть бессловесного; задача поэта состоит в том, чтобы *миметически* передать эту природность в соответствующей стиховой форме:

Для меня нет техники, потусторонне поджидающей, когда ее «применят». «Техника» возникает в «огне» и «теле» самой работы. Сегодняшнее стихотворение я чувствую «свободным», то есть собирающим в себя любые ритмы и «размеры», не чурающимся и рифмы, легко обходящимся и без нее... — такое стихотворение как бы похоже на *природу*: это — вольное поле и лес, а не «классический парк» [Там же: 316—317].

Для передачи этой естественной гармонии (*musica mundana, musica naturalis*) и изобретается особый стих, совмещающий в себе области *тишины* (паузировки) и *напева* (метрико-фонических эффектов), а также среднюю область семантической «ритмики» и «рифмовки».

*

Говоря о поэзии, Айги стремится избегать расхожих трансмузыкальных формул: в его статьях и интервью мы не найдем практически ничего о «гармонии сфер», «музыке души», «звуках вдохновения» и тому подобного, однако идея «словесной музыки» занимает одно из центральных мест в системе айгианских поэтологических понятий, более того, она становится настоящей программой его поэтического творчества. На первый взгляд, Айги как будто игнорирует эвфоническое измерение русского стиха, отдавая предпочтение его семантичес-

ким и графическим возможностям, да и сам его поэтический стиль — по знаменитой дихотомии В.М. Жирмунского — явно бежит от суггестивной «напевности» в сторону «смыслового заострения» [Жирмунский 1977: 59]. Но фоника стихов Айги, чужающегося приемов школьной «звукописи», остается весьма богатой и выразительной, а напряжение между «песней слов» и «музыкой Молчания» естественным образом порождает метаязыковой конфликт, который и становится основным содержанием многих айгианских стихотворений.

Библиография / References

- [Аверинцев 2004] — *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-Классика, 2004.
- (*Averintsev S.S.* Poetika rannevizantiyskoy literatury. Saint Petersburg, 2004.)
- [Айги 2009] — *Айги Г.Н.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2 / Сост. Г.Б. Айги. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009.
- (*Aygi G.N.* Sobranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 2 / Comp. by G.B. Aygi. Cheboksary, 2009.)
- [Айги 2014] — *Айги Г.Н.* Расположение счастья: Книга стихов / Реконстр. Н. Азаровой и Т. Грауз. М.: Книжное обозрение; АРГО-РИСК, 2014.
- (*Aygi G.N.* Raspolozhenie shchast'ya: Kniga stikhov / Reconstr. by N. Azarova, T. Grauz. Moscow, 2014.)
- [Айги 2019] — *Айги Г.Н.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4 / Сост. А.П. Хузангай. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2019.
- (*Aygi G.N.* Sobranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 4 / Comp. by A.P. Khuzangay. Cheboksary, 2019.)
- [Бозэций 2012] — *Бозэций А.М.С.* Основы музыки / Пер. с лат. С.Н. Лебедев. М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2012.
- (*Boethii A.M.S.* Institutio musica. Moscow, 2012. — In Russ.)
- [Бродский 2000] — *Бродский И.А.* Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000.
- (*Brodsky J.A.* Bol'shaya kniga interv'yu. Moscow, 2000.)
- [Бродский 2001] — *Бродский И.А.* Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. Т. 7 / Сост. В.П. Голышев, Е.Н. Касаткина, В.А. Куллэ. СПб.: Пушкинский фонд, 2001.
- (*Brodsky J.A.* Sochineniya Iosifa Brodskogo: In 7 vols. Vol. 7 / Comp. by V.P. Golyshev, E.N. Kasatkina, V.A. Kulle. Saint Petersburg, 2001.)
- [Веселовский 2011] — *Веселовский А.Н.* Избранное: Историческая поэтика. СПб.: Университетская книга, 2011.
- (*Veselovskiy A.N.* Izbrannoe: Istoricheskaya poetika. Saint Petersburg, 2011.)
- [Грауз 2018] — *Грауз Т.* О неподцензурной музыке в поэзии Геннадия Айги // Интерпоэзия. 2018. № 3 (<https://interpoezia.org/content/o-nepodcenzurnoj-muzyke-v-poezii-gennadiya-aygi/> (дата обращения: 08.08.2024)).
- (*Grauz T.* O nepodtsenzurnoy muzyke v poezii Gennadiya Aygi // Interpoeziya. 2018. No. 3 (<https://interpoezia.org/content/o-nepodcenzurnoj-muzyke-v-poezii-gennadiya-aygi/> (accessed: 08.08.2024)).)
- [Европейская поэтика... 2010] — Европейская поэтика от Античности до Просвещения: Энциклопедический путеводитель / Ред. Е.А. Цурганова, А.Е. Махов. М.: Изд-во Кулагиной — Intrada, 2010.
- (*Evropeyskaya poetika ot Antichnosti do Prosveshcheniya: Entsiklopedicheskiy putevoditel' / Ed. by E.A. Tsurganova, A.E. Makhov.* Moscow, 2010.)
- [Жирмунский 1977] — *Жирмунский В.М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977.
- (*Zhirmunskiy V.M.* Teoriya literatury. Poetika. Stilistika. Leningrad, 1977.)
- [Житенев 2022] — *Житенев А.А.* Современная российская поэтология и проблема экфрасиса. Berlin u.a.: Peter Lang, 2022.
- (*Zhitenev A.A.* Sovremennaya rossiyskaya poetologiya i problema ekfrasisa. Berlin, 2022.)
- [Житенев 2023] — *Житенев А.А.* Геннадий Айги: поэтика черновика. СПб.: Jaromír Hladík press, 2023.
- (*Zhitenev A.A.* Gennadiy Aygi: poetika chernovika. Saint Petersburg, 2023.)
- [Махов 2005] — *Махов А.Е.* Musica Literaria: идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada, 2005.
- (*Makhov A.E.* Musica Literaria: ideya slovesnoy muzyki v evropeyskoy poetike. Moscow, 2005.)

- [Мешонник 2014] — *Мешонник А.* Рифма и жизнь / Пер. с фр. Ю. Маричик-Сьоли. М.: ОГИ, 2014.
(*Meschonnic H.* La rime et la vie. Moscow, 2014. — In Russ.)
- [Некрасов 1991] — *Некрасов В.Н.* Справка: Стихи. М.: Постскриптум, 1991.
(*Nekrasov V.N.* Spravka: Stikhi. Moscow, 1991.)
- [Новалис 2014] — *Новалис.* Фрагменты / Пер. с нем. А.Л. Вольский. СПб.: Владимир Даль, 2014.
(*Novalis.* Fragmente und Studien. Saint Petersburg, 2014. — In Russ.)
- [Орлицкий 2020] — *Орлицкий Ю.Б.* Стихосложение новейшей русской поэзии. М.: Изд. дом ЯСК, 2020.
(*Orlitsky Y.B.* Stikhoslozhenie noveyshey russkoy poezii. Moscow, 2020.)
- [Седакова 1990] — *Седакова О.А.* Музыка глухого времени (русская лирика 70-х годов) // Вестник новой литературы. 1990. Вып. 2. С. 257—265.
(*Sedakova O.A.* Muzyka glukhogo vremeni (russkaya lirika 70-kh godov) // Vestnik novoy literatury. 1990. Iss. 2. P. 257—265.)
- [Якобсон 1975] — *Якобсон Р.О.* Лингвистика и поэтика / Пер. с англ. И.А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. М.: Прогресс, 1975. С. 193—230.
(*Jakobson R.* Closing Statement: Linguistics and Poetics // Strukturalizm: "za" i "protiv": Sb. statey / Ed. by E.Ya. Basin and M.Ya. Polyakov. Moscow, 1975. P. 193—230. — In Russ.)
- [Янечек 2006] — *Янечек Д.* Поэзия молчания у Геннадия Айги // Айги: материалы, исследования, эссе: В 2 т. Т. 2. М.: Вест-Консалтинг, 2006. С. 140—153.
(*Janecek D.* Poeziya molchaniya u Gennadiya Aygi // Aygi: materialy, issledovaniya, esse: In 2 vols. Vol. 2. Moscow, 2006. P. 140—153.)

Арсен Мирзаев

Геннадий Айги, Андрей Волконский и поэзия Северного Кавказа

Arsen Mirzaev

Gennady Aygi, Andrei Volkonsky and Poetry of the North Caucasus

Арсен Мирзаев (независимый исследователь) arsemir@yandex.ru.

Arsen Mirzaev (Independent Researcher) arsemir@yandex.ru.

Ключевые слова: Геннадий Айги, Андрей Волконский, Дагестан, дагестанские аулы, поэты Северного Кавказа, путешествия

Key words: Gennady Aygi, Andrei Volkonsky, Dagestan, Dagestan auls, poets of the North Caucasus, travel

УДК: 82.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_272

UDC: 82.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_272

Интерес Геннадия Айги к Востоку, мусульманской культуре и религии, кавказской литературе был связан не только с его увлечением поэзией вообще, но и с активной переводческой деятельностью. Он переводил отдельные сочинения поэтов из разных стран; составил несколько антологий, в которых сам участвовал как переводчик: «Поэты Франции», «Поэты Польши», «Поэты Венгрии». Его увлечение Северным Кавказом, поэтикой, природой, суровой и прекрасной жизнью горцев разделял близкий друг Айги — музыкант и композитор Андрей Волконский, оказавший на поэта большое влияние. В 1962—1972 годах они вместе неоднократно путешествовали в «страну гор и холмов».

Gennady Aygi's interest in the Orient, Muslim culture and religion, Caucasian literature was connected not only with his passion for poetry in general, but also with his translation activity. He translated some poetic compositions by authors from different countries; compiled several anthologies in which he himself participated as a translator: "Poets of France", "Poets of Poland", "Poets of Hungary". His fascination with the North Caucasus, poetics, nature, the harsh and wonderful life of the highlanders was shared by Aygi's close friend, musician and composer Andrei Volkonsky, who had a great influence on the poet. In 1962—1972, together they repeatedly traveled to the "country of mountains and hills".

Интерес Айги к Востоку, мусульманской культуре и религии, кавказской литературе и поэзии, как свидетельствует Атнер Хузангай, арабист и литературовед, близкий друг Айги, сын народного поэта Педера (Петра Петровича) Хузангая (1907—1970), особенно проявился в тот период, когда Геннадий Николаевич начал активно заниматься переводческой деятельностью¹. Атнер Петрович рассказывал, что в то время дело едва не дошло до составления антологии арабской поэзии. Но этому замыслу по разным причинам не суждено было осуществиться.

Поэзией народов Дагестана Геннадий Айги начал заниматься, по всей видимости, в начале — середине 1960-х годов. В это время появляется цикл его стихотворений (1965—1969) на чувашском языке «ДАГЕСТАН, СЃРТ-ТУ ЉЃЃЃ» [Айхи 2008: 174—181], в который включены стихи, посвященные горским

1 В 1968 году в Чувашии вышла антология «Франци поэчессем» («Поэты Франции: стихотворения 77 поэтов XV—XX веков») в переводе Айги на чувашский; в 1974-м Чувашское книжное издательство выпустило подготовленную им антологию «Венгри поэчессем» («Поэты Венгрии XV—XX веков») на чувашском языке; наконец, в 1987-м, после долгого ожидания, увидела свет и антология «Польша поэчессем» («Поэты Польши XV—XX веков»), тоже на чувашском, составитель Г.Н. Айги.

аулам Гуниб, Хунзах, Кубачи, Кахиб и др., а также переложения поэтических текстов особо любимых им поэтов — даргинца Омарла (то есть сына Омара) Батырая (1820—1902), которого в Дагестане называют «отцом даргинской поэзии», и Махмуда из Кахаб-Росо (1873—1919), крупнейшего аварского поэта, автора знаменитой поэмы «Мариам»².

Что же касается «русских дагестанских» стихов Айги, то они появляются тоже в середине 1960-х. Приведем первый из известных нам текстов. Посвящается он двум аулам, названия которых более-менее на слуху, поскольку связаны с именем и деяниями легендарного имама Шамиля:

ИЗ ГУНИБА НА АХУЛЬГО

(Возвращаясь к дагестанским записям)

1. Гуниб

свет
где Россия серебряной горстью
был — отсюда разорван:
тайною раной в Нерли-Излучении
есть
газават

2. В о с п о м и н а н и е

Нам тільки с а к л я очі коле:
Чого вона стоїть у вас.
(Тарас Шевченко, «Кавказ», 1845)

3. А х у л ь г о

темнеем сами («тут и там»)
в Молчании сверх-твердом
и камни гор опять слова страны
и вновь людопобьями-камнями
как из Духа

1964—1996

[Айги 1998: 1]³.

-
- 2 Имя Батырая носит одна из улиц Махачкалы; бюсты поэта установлены в городе Избербаш, где в 1961 году был открыт Государственный даргинский театр имени О. Батырая, и в селении Сергокала — перед зданием лицея, названного в его честь. Стихи Батырая Айги часто цитировал в переводе Эффенди Капиева на русский; особенно он любил вот это стихотворение: «Телеграфный столб в пути — / Гордо поднятый твой стан. / Ослепительны глаза, / Как фарфоровый стакан, / Брови, точно в два ряда / Вдоль стаканов провода» (цит. по: Поэзия народов Дагестана. Антология: В 2 т. Т. 1. С. 298. М.: Гослитиздат, 1960. С. 298). А Махмуду он посвятил стихотворение под названием «Кахаб-Росо: могила Махмуда» (1970). «Мариам» на русском языке Айги читал в переводе Семена Липкина (Там же. С. 273) либо в переводе того же Э. Капиева. Поэт Николай Тихонов сравнил творчество Махмуда в аварской литературе с творчеством Пушкина и назвал его «кавказским Блоком».
- 3 Цитата приводится по парижскому изданию Н. Дронникова, поскольку ни в собраниях сочинений, ни в других изданиях Айги это стихотворение нам найти не удалось.

В стихотворении Геннадия Айги использована *инверсированная ретроспекция*: события даны в иной временной последовательности — «обратное течение времени». В 1839 году укрепление на горе и два аула на ее вершине (Новое и Старое Ахульго; название селения на русский язык можно перевести как «Набатная гора») стали надежным укрытием и настоящей крепостью для предводителя горцев имама Шамиля и его верных мюридов. В течение двух месяцев они отбивали ожесточенные атаки русских войск. И хотя силы были неравны и исход сражения, казалось, предрешен, но Шамилю удалось в конце концов с небольшой группой соратников прорваться сквозь ряды осаждающих и уйти в Чечню. Битва при Ахульго, в которой, кстати, принимал участие и будущий убийца Лермонтова поручик Николай Мартынов, получила отражение в искусстве и литературе⁴. Спустя двадцать лет в высокогорном ауле Гуниб, где поселился Шамиль с семьей, он со своими приверженцами (надо сказать, среди них были и русские солдаты — перебежчики) снова был осажден русскими войсками во главе с главнокомандующим Кавказской армии генерал-адъютантом князем Александром Ивановичем Барятинским. В результате длительной осады Шамиля, как известно, вынудили сдаться на милость победителя, и он «был подвергнут почетному пленению»⁵.

Еще семь стихотворений, так или иначе связанных с Дагестаном, включены самим автором в его знаменитую книгу «Отмеченная зима»: «Гимры» (1965), «Знамена Гази-Магомеда» (1965), «В горах Аддала́-Шухгельмеэр»⁶ (1966), «Белый шиповник в горах» (1969), «Розы на Вацлавской площади (Памяти Яна Палаха)»⁷ (1969), «Кахаб-Росо: могила Махмуда» (1970), «Сон: горы — все дальше от Кахиба»⁸ (1978).

Вот одно из них:

РОЗЫ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ

Памяти Яна Палаха

и белые-по-дагестански
знамена-розы вы неисчислимы:

все время в ряд о в ряд по всей стране!

-
- 4 Стоит упомянуть хотя бы панораму «Штурм аула Ахульго», созданную в 1880—1890 годах в Мюнхене художником Францем Рубо, и роман под названием «Ахульго» (Махачкала: Эпоха, 2008) Шапи Казиева, автора монографии, посвященной Шамилю.
 - 5 Событиям, предшествовавшим сражению, самой битве и дальнейшим событиям, связанным с Шамилем, посвящено столько воспоминаний, художественных произведений, картин и т.д., что их перечисление заняло бы слишком много места.
 - 6 Аддала́-Шухгельмеэр — одна из самых высоких гор Дагестана (третья по высоте: достигает 4151 метров над уровнем моря). Местные жители называют ее Каббала. Стихотворение предваряет эпиграф из «Утеса» М.Ю. Лермонтова («Ночевала тучка золотая...»).
 - 7 Райнер Грюбель, известный немецкий славист, предложил оригинальную интерпретацию этого стихотворения. Исследователь берет за основу знаменитую элегию М. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), перебрасывая к ней, а точнее, к заключительной строфе элегии («И снилась ей долина Дагестана; / Знакомый труп лежал в долине той; / В его груди дымясь чернела рана, / И кровь лилась хладающей струей»), ниточку от «Розы-Сна» из последней строки текста Айги: «я Роза-Сон: я на твоей груди» [Грюбель 1998: 44].
 - 8 Кахиб — крупный дагестанский аул (село) в Шамильском районе.

вы розы-головы: сиянием отверзты!
и кровотоचितе: «я Роза-Прага!..»

«я Роза-Сон: я на твоей груди»

25 января 1969

[Айги 1982: 518].

Стихотворение посвящено Яну Палаху (чеш. Jan Palach; 1948—1969), 16 января 1969 года совершившему самоожжение на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Советского Союза и других стран Варшавского договора. Славист Райнер Грюбель в своей статье «Молчание о листопаде — новый псалом. Несколько слов об аксиологии литературы и о поэзии Айги» приводит это стихотворение и дает интересный анализ текста Айги, в котором присутствуют одновременно и «белые — по-дагестански знамена-розы», и «Роза-Прага», и «Роза-Сон». «Розы», «белое», «белизна» всегда связываются у поэта, во многих его текстах, и в прозе, в стихах, с «чистотой» и «сиянием», а также со «сном» [Грюбель 1998: 42—46]. Интересно сопоставить то, что пишет Р. Грюбель, с текстом другого стихотворения, также включенного автором в «Отмеченную зиму», где все перечисленное выше присутствует в «высокогорном» сне Мухаммада-Магомеда в наиболее выкристаллизовавшемся, дистиллированном, очищенном горными ветрами виде:

БЕЛЫЙ ШИПОВНИК В ГОРАХ

кто озвучивал белое?
флейтой какую?
кого проявляешь — сияя?.. —

..... —

ты — с о н м у х а м м а д а ... — а было начало его —
как детей той страны что душою давно
уже избрана трепет духовный!.. — детей:

Белокостных:

Опор — на равнинах!.. — и словно пронизанных
гласными — полости солнца подобными! —

и — длится он явно:

с о н м у х а м м а д а !.. —

есть он — в горах! — пребывает в горах
продолженьем его

и его глубиною:

белого — в высшем накале — с а м а Белизна! —

не до-увидеть — не только глазами:

но и души чистотою:

пламенем высшим — уже и не жгущим —
ее отрешенности...

1969

[Айги 1982: 174].

Обращает на себя внимание — в этих и других «дагестанских» текстах — акцентирование Геннадием Айги особого качества белизны (и Белизны), белого цвета: розы — Ср. «белые-по-дагестански». А «знамена-розы» напоминают о его стихотворении «Образ — в праздник. В день 100-летия К.С. Малевича»:

со знанием *белого*

вдали человек
по *белому* снегу
будто с невидимым *знаменем*

26 февраля 1978

[Там же: 479] (Курсив мой. — А.М.).

Особая семантика белого (в связи со «знаменами») отчетливо проявлена в еще одном «дагестанском» стихотворении Айги, посвященном легендарному имаму Гази-Магомеду⁹:

ЗНАМЕНА ГАЗИ-МАГОМЕДА

где
скоро-вещи-белокурия
для в-воздухе-шарами-девичье
как будто в щелку освещались
из тела-только-мысли-звезд

где вещи для готовли белокурия
для пряжи-в-воздухе-знамен
тогда еще как связки были
мощей из тела бог-белеет-вьюгой:

они как тени этой вьюги:
для Скоро-где-нибудь-святые
белея им сердцами стать

1965

[Там же: 112].

9 Гази-Мухаммад (1795—1832; Гази-Магомед, Кази-Мулла, Газимухаммад) — первый имам Дагестана и Чечни; аварец; мусульманский ученый и богослов, предводитель кавказских горцев в борьбе против Российской империи.

С этим текстом внутренне связано стихотворение «Гимры»¹⁰, в котором присутствует и «белокостная» *наша белизна* и появляется отчетливая оппозиция — *красное/алое* и *белое/белизна* [мела]:

как в травах снится:
будто сам
жужжишь и плачешь и алеешь! —

среди пустынного собора
из мела и его тумана
едины так же крики птиц:

и духа зримой распыленностью
над головою вознесенная
из кости
наша белизна! —

и свет:
навылет сообщающийся! —
как будто там где разлучают
идею ран от их теней:

и словно с пальцев начиная
растертый сильно по рукам! —

и страсть которую на солнце
деревьям не отдашь!.. —

----- —

и смесь: почти алеющего зрения
и мест не видящих его:

и пара на скале от крови высыхающей:

плетни расцветивает: царапают как перья!
тревожащих расцветивая вспять

и словно то что тянет нас
нам кожу жарко опалая
в пустоты и проемы те
чьи стенки из людей —

нам виден он по цвету в нас
и видим словно распляясь
и так же двигаясь к нему:

и — скоро — бабочки яркие
как на ресницах кровь

1965

[Там же: 119].

10 Гимры — дагестанский аул, родина Гази-Магомед и имама Шамиля. Гази-Магомед был убит во время штурма аула русскими войсками. Первоначально он похоронен

Французский славист и переводчик, «айгист № 1» Леон Робель писал в своей книге — первой монографии, посвященной жизни и творчеству Геннадия Айги:

В статье, названной «Места-голоса Айги», Клод Мушар очень красивой и верной формулой обозначил тот факт, что в свойственной Айги поэтике голосу нужно проникнуть в обозначаемые им пейзажи и местности, чтобы, преобразившись, стать «голосом-местом».

К *местам-голосам* детства в поэзии 1960-х прибавились те, что связаны с Дагестаном. В 1961 году, последовав за Андреем Волконским, Айги впервые отправляется в высокогорные долины Кавказа, навещает облепившие заснеженные горные склоны деревушки. Он очарован, семь раз сюда возвращается, проходит пешком все районы Дагестана. Он обрел здесь невероятный покой, почувствовал, как душу охватывают умиротворение и радость. Айги живо интересуется Шамилем, имамом, возглавившим сопротивление русским завоевателям. И изучает ислам. Принимается за большую поэму «Мавлит», которую так и не закончит. Он читает Коран и проникается уважением к этой религии...

Места-голоса Дагестана слышны в «Знаменах Гази-Магомеда» (1965), в «Гимри» (1965), «Белом шиповнике в горах» (1969) и других стихах. Айги всегда будет тосковать по этим мирным и тихим местам [Робель 2003: 60—61].

В книге Леона Робеля можно найти и упоминание о том, что спутником Волконского и Айги в одном (или, может быть, двух) из путешествий по горным дагестанским аулам был режиссер-документалист Виктор Зак¹¹. В других «дагестанских» странствиях сопровождала поэта его вторая жена Н.А. Айги (Алешина)¹².

По просьбе автора этой статьи Наталия Алексеевна рассказала, что была в Дагестане вместе с Геннадием Николаевичем дважды: в 1965 и 1968 годах. Привожу несколько фрагментов из ее неопубликованных воспоминаний:

Ахвах¹³, Цумада,
Бежта, Шодрода,
Балхар, Дженгутай,
Хунзах, Цудахар...

Названия селений в Дагестане звучат как языческий заговор или заумь футуриста Крученых. Как-то по желанию поэта Айги я переписала магический чуваш-

в селении Тарки, но в 1843 году отряд Кебед-Хаджиява Унцукульского по приказу Шамиля захватил Тарки и перенес останки имама под Гимры для перезахоронения. В Гимрах над его могилой был воздвигнут небольшой мавзолей.

- 11 Режиссер-вгиговец и сценарист Виктор Григорьевич Зак, автор ряда документальных фильмов (например, «Песни синей птицы», 1974), был, судя по всему, человеком оригинальным и многосторонним: страстный путешественник, член Географического общества, переводчик Омара Хайяма, а также автор книги «Розовая чайка: Два путешествия на Индигирку. Записки кинорежиссера» (М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1982).
- 12 В браке с Г.Н. Айги у нее родились два сына: Андрей (1966 г.р.), коллекционер, музыкант, и Алексей (1971 г.р.) композитор, скрипач, лидер известного музыкального ансамбля «4'33». Н.А. Айги — искусствовед, художник, литератор, автор книги «Богомаз» (М.: Москвоведение, 2013), посвященной другому ее мужу (с Геннадием Николаевичем они развелись еще в 1973-м), известному живописцу Владимиру Владимировичу Маслову (1934—2020). Наталия Алексеевна писала статьи о художниках, тексты песен для кинофильмов; является автором повести-сказки «Про Пятчкова, Копытцева и козу Луизу» (М.: Мир детства, 2019).
- 13 Ахвах — название не села, а района, расположенного в Центральном Дагестане.

ский заговор, и Айги повесил его над дверью. Повторяю вслед за Набоковым: «Память, говори».

В 1965 году я вышла замуж за поэта. Его имя — Геннадий Айги. Мэтром он тогда не звался, а был удивляющим многих поэтом с черными глазами, волнистыми волосами, тоненьким, веселым и ловким.

Он сразу решил, что мы вдвоем отправимся в Дагестан. Этим краем он был очарован и уже ездил туда с другом композитором, Андреем Волконским. Они даже купили в горах удивительный пятиугольный дом¹⁴. Выдающийся музыкант Волконский увлекался не только авангардом и старинной музыкой Европы, но также народной классической музыкой Востока, сочинял мутамы. На стихи лакской певицы Щазы написал сюиту для сопрано «Жалобы Щазы». Жалобы, стенания — его поразила ее горемычная жизнь¹⁵.

Еще в 1962-м, в год создания «Жалоб Щазы», Геннадий Айги посвятил Волконскому стихотворение с «говорящим» названием «Заморская птица»:

отсвет невидимый птичьего образа
ранит в тревоге живущего друга

и это никем из людей не колеблемо
словно в системе земли
сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:
сердце — сечение — север

а рядом приход и уход
замечающих перья и когти
знающих гвозди крюки и столбы
не боящихся видеть друг друга

14 Ср.: «Мы с Айги вместе купили в Дагестане дом необыкновенной красоты. Там была резная дверь XVIII века, и планировка была необычная: одна большая комната в виде трапеции, а другая — треугольная. Так получилось, что ни Айги, ни я там ни разу не ночевали. Я разрешил какой-то старушке там жить и охранять дом. Она, наверное, скончалась. Не знаю, что стало с этим домом» [Дубинец 2010: 94].

15 В 1962 году Андрей Волконский сочинил «Жалобы Щазы» — четырехчастный вокальный цикл для сопрано, английского рожка, скрипки, ударных и камерного оркестра на слова лакской поэтессы и певицы Щазы (настоящее имя Ахмедова Шаза дочь Мухаммада; 1868—1937) из дагестанского селения Куркли. Щазу называют «классиком лакской литературы». К 150-летию со дня ее рождения был издан сборник «Шаза из Куркли. Долгое эхо» (М.: Первый том, 2018). В книге представлены песни Щазы и их переводы, опубликованные ранее на лакском и русском языках, статьи писателей и литературоведов, посвященные творчеству лакской поэтессы. Е.А. Дубинец пишет, что Волконский узнал о ней из случайно купленной в одном из дагестанских райцентров антологии «Дагестанская народная поэзия» (антология с таким названием нам не известна; возможно, имеется в виду сборник «Дагестанские лирики» (Л.: Советский писатель, 1961)). «Ужасная жизнь» Щазы, по выражению самого Андрея Михайловича, потрясла музыканта. Эту бедную девушку насильовали, она чудом избежала смерти, затем была плакальщицей на похоронах, зарабатывала на жизнь пением на свадьбах (на одной из них случайным выстрелом была убита дочь Щазы — певица прижала к себе мертвую девочку, но не прервала песню), а впоследствии стала известной исполнительницей песен и поэтессой. Для Волконского она явилась «символом дагестанской женской судьбы».

и надо на улице утром на шею принять
холод от стен и сугробов
и тайная фраза синичья
диктует сердечную славу всему

слава белому цветку — присутствию бога
в его тайнике для сомнений
слава бедной столице и светлomu нищенству века

снегам — рассекающим — сутью бесцветья
бога — лицо

светлomu — ангелу — страха
цвета — лица — серебра

[Айги 2009: 68].

Другое стихотворное посвящение Волконскому под названием «Место: пивной бар» появилось спустя три года:

А. В.

ты пьющий — значит: спящий! —

в себе — как в матерьяле сна:
в горячности своей: ты — спящий сном в т о р ы м :

(а их — мы знаем — три
последний будет — т р е т ь и й):

ты спящий сном — пока что: избранным! —

как он глубок! он даже там — где место есть: без памяти! —

и — как он длится!
как слоист и темен! —

о этот ветер! — от мира укрывающий:

на время — как заброшенных детей

1965

[Там же: 144].

Как пишет Робель в своей книге, Айги «в 1963—1972 годах совершает еще шесть путешествий по этому краю (часть из них — вместе с А. Волконским)» [Робель 2003: 200]. «С Айги они всегда путешествовали аскетами, предпочитая суровый Дагестан даже радушной Грузии» (Н.А. Айги, рукопись).

О своем знакомстве с композитором, клавесинистом, органистом, основателем и руководителем ансамбля старинной музыки «Мадригал» (с 1965 года; ансамбль исполнял произведения западноевропейских Возрождения и Средних веков, а также византийскую, южнославянскую и русскую музыку — вплоть до духовных концертов XVIII века) Геннадий Айги говорит в интервью «Российской музыкальной газете»:

С Андреем я познакомился в 1956 году. Мы втроем очень близко дружили: Андрей, я и его будущая жена Галина Арбузова-Паустовская. Помню, однажды у Паустовских мы с Галей беседовали о чем-то очень серьезном, о судьбе... и тут пришел Андрей. Неуклюжий, теряющийся без очков (у него сильная близорукость) человек с каким-то кьеркегоровско-андерсоновским взглядом...

Моим первым впечатлением о Волконском было восхищение им как человеком необычайно высокой культуры. В связи с ним слово «утонченный» кажется самым верным определением. <...>

...все мы чувствовали потребность в том, чтобы над нами возвышался некий абсолютный вкус — «абсолют» в кантианском выражении. Такой личности в нашем кругу не было (быть может, по таланту были, но по универсальности — нет) до появления Волконского. Его скальпельный ум сочетался с очень глубоким чувством человечности и высокой одухотворенностью. Он нас просто, так сказать, чистил. Помню, мне было достаточно, чтоб он сказал: «Это слово мне не нравится» для того, чтобы переделывать то или иное место в моих стихах. Он поражал всех прямоотой и честностью в искусстве, а также необыкновенным артистизмом [Айги, Адаменко 1989: 10–11].

О том, какое значение для него самого и его близких друзей — Игоря Вулоха, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Игоря Ворошилова — и других художников имел Волконский — европейски образованный, прекрасно разбирающийся не только в музыке, но и в живописи и литературе, знакомящий Айги и его окружение с новейшими достижениями западного искусства — он писал неоднократно [Айги 2001: 275; Айги, Яковлев 2004: 68].

Андрей Михайлович очень ценил Айги и дорожил своей дружбой с поэтом. В книге, вышедшей через два года после его смерти и состоящей из записей бесед с ним в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции (композитор, родившийся в Женеве в 1933 году и перебравшийся затем вместе с родителями в СССР в 1947-м, вернулся в Европу в 1973 году и жил в основном во Франции) вспоминал:

В молодости я очень увлекался Хлебниковым, он был мой кумир...

Я лично знал Крученых; познакомился с ним, а также с Митуричем¹⁶, в связи с Хлебниковым. Мне было шестнадцать лет, и я тогда хотел найти все следы Хлебникова. Второй раз я встретился с Крученых уже во второй половине 50-х годов. Он — замечательный поэт. <...>

Но главный мой друг был, конечно, Айги. Мы с ним были очень близки, дружили, даже путешествовали вместе. Он все время у меня бывал (цит. по: [Дубинец 2010: 87]).

В последнюю по времени книгу «Узелки времени», «сборник трудов Волконского и о Волконском», включены и посвященные ему стихотворения Айги, а в мемуарном очерке искусствоведа Е.Б. Муриной о Волконском есть фрагмент о взаимоотношениях Андрея Михайловича и его давнего друга:

Андрей... рассказал мне... о встрече с Айги, когда тот наконец приехал во Францию. Ради него он даже поехал в ненавистный Париж, где они провели вместе не-

16 Очевидно, имеется в виду не художник Петр Васильевич Митурич (1887–1956), друг и душеприказчик Велимира Хлебникова, а его сын Май Петрович Митурич-Хлебников (1925–2008; его матерью была художница Вера Владимировна Хлебникова (1891–1941), родная сестра Велимира), внучатый племянник поэта.

сколько дней. Со слезами на глазах вспомнил, как они стояли на мосту Св. Людовика и, обнявшись, плакали, глядя на текущую внизу Сену. Сколько лет они мечтали о такой встрече в Париже, и сколько всего случилось в их непростых жизненных обстоятельствах за прошедшие годы... Андрей для Айги с самого начала их знакомства в начале 1950-х годов¹⁷ был олицетворением Франции и ее культуры... Айги был ему дорог как — в каком-то смысле — его создание. Этот чувашский самородок, очень глубоко укорененный в своей родной земле, по совету Пастернака писавший стихи по-русски, сумел придать своей поэзии, благодаря влиянию Волконского, какую-то огранку французской утонченности. Таков, как мне кажется, стилистический синтез Айги, совершенно уникального поэта XX века [Узелки времени... 2022: 339].

Совсем недавно — и почти случайно — я узнал о том, что было новостью... во семь лет назад. 21 августа 2016 года, в день рождения Геннадия Николаевича, Зал Айги Национальной библиотеки Чувашской Республики получил в дар от Г.Ф. Юмарты (1938—2020), известного чувашского писателя, переводчика, фольклориста, лауреата ряда литературных премий, — дагестанский кувшин, на нижней части которого имеются несколько поэтических строк на чувашском языке, нанесенных черной тушью. История появления этого кувшина довольно необычна, и она имеет непосредственное отношение к дагестанским путешествиям поэта.

В 1972 году Айги вернулся из очередной поездки в Дагестан (по всей видимости, последней). В этот раз он был в Акушинском районе и посетил село Балхар, «знаменитое на весь мир своей керамикой», как о нем обычно пишут. Балхарский «керамический неглазурованный» кувшин, украшенный «традиционной простой белой тонкой росписью (волнистые и прямые линии, штриховка, точки, розетки, спирали и т.п.)», он привез для своего друга Геннадия Федоровича. Вернувшись в Москву, Айги написал на кувшинчике стихотворное посвящение Юмарту — «от лица кувшина». А когда он доехал до Чебоксар, вручил Геннадию Федоровичу свой подарок.

Вот этот текст, начертанный на кувшине:

Эп — пурнăс япали. Эп — вилёмён тупри.
Ман хёрлĕ тăмăмра — аслаçăрсен тăпри!
Чăвашăн çĕрĕнче юласчĕ, аркансан,
Сас-чÿсĕр салам пек! Эп — хамăр Пăлхартан.

•

Пăлхар ялĕ, Тусăртстан

1972, авăн¹⁸

Помещаю здесь перевод, который я сделал по подстрочнику Н.А. Сельверстовой, заведующей Музеем чувашской вышивки:

17 Их знакомство, по свидетельству самого поэта, случилось в 1956 году.

18 Свой подстрочный перевод Надежда Сельверстова сопроводила небольшим комментарием: «У Айги вместо *Балхар* — *Пăлхар*, слово, намекающее на родство, отсылающее к Волжской Булгарии. В последней строке “...из нашего Булгара” та же семантика. При переводе на русский язык созвучие “палхар-пăлхар” теряется. Дагестан он называет на чувашском “страной гор и холмов” — Тусăртстан».

Я — вместилище жизни. Я — смерти сосуд.
В моей красной глине — ваших пращуров труд.
Когда я разобьюсь, то в болгарской земле
Останусь навек, — не исчезну во мгле!..

●
Село Балхар, Дагестан

1972, сентябрь

Библиография / References

- [Айги 1982] — *Айги Г.* Отмеченная зима: Собрание стихотворений в двух частях / Изд. подгот. В.К. Лосская; предисл. П. Эмманюэля. Париж: Синтаксис, 1982.
(*Aygi G.* Otmечennaya zima: Sbranie stikhotvoreniy v dvukh chastyakh / Prep. by V.K. Losskaya; introd. by P. Emmanuel'. Paris, 1982.)
- [Айги, Адаменко 1989] — *Айги Г., Адаменко В.* Судьба Андрея Волконского // Российская музыкальная газета. 1989. № 6. С. 10—11.
(*Aygi G., Adamenko V.* Sud'ba Andreyа Volkonskogo // Rossiyskaya muzykal'naya gazeta. 1989. No. 6. P. 10—11.)
- [Айги 1998] — *Айги Г.* Слово-ворона: Стихотворения разных лет: В 3 кн. / Рис. Н. Дронникова. Кн. 2. Париж: [Дронников-Коновалов], 1998.
(*Aygi G.* Slovo-vorona: Stikhotvoreniya raznykh let: In 3 bks. / Ill. by N. Dronnikov. Bk. 2. Paris, 1998.)
- [Айги 2001] — *Айги Г.Н.* О назначении поэта (Разговор с Галиной Гордеевой) // Айги Г.Н. Разговор на расстоянии: Статьи, беседы, стихи / Сост. Г. Айги, А. Мирзаев. СПб.: Лимбус Пресс, 2001. С. 260—279.
(*Aygi G.N.* O naznachenii poeta (Razgovor s Galinou Gordeevoy) // *Aygi G.N.* Razgovor na rasstoynanii: Stat'i, besedy, stikhi / Comp. by G. Aygi, A. Mirzaev. Saint Petersburg, 2001. P. 260—279.)
- [Айхи 2008] — *Айхи Г.Н.* Сырнисен пуххи: В 4 т. Т. 1: [Сăвъсемпе поэмăсем, куçарусем] / Г. Айхи; Н.А. Сельверстова, Е.Н. Лисина пухса хатёрл. Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 2008.
(*Aygi G.N.* Sbranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 1. Shupashkar, 2008.)
- [Айги 2009] — *Айги Г.Н.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2 / Сост. Г.Б. Айги. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2009.
(*Aygi G.N.* Sbranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 2 / Comp. by G.B. Aygi. Cheboksary, 2009.)
- [Айги, Яковлев 2004] — *Айги Г., Яковлев В.* Дружба, творчество, сотворчество. Произведения художника Владимира Яковлева из собрания Геннадия Айги. М.: Виртуальная галерея, 2004.
(*Aygi G., Yakovlev V.* Druzhba, tvorchestvo, sotvorchestvo. Proizvedeniya khudozhnika Vladimira Yakovleva iz sobraniya Gennadiya Aygi. Moscow, 2004.)
- [Грюбель 1998] — *Грюбель Р.* Молчание о листопаде — новый псалом. Несколько слов об аксиологии литературы и о поэзии Айги // Айги: материалы, исследования, эссе: В 2 т. / Сост. Н. Азарова, Ю. Орлицкий, Д. Дерепя. Т. 2. М.: Вест-Консалтинг, 2006. С. 30—41.
(*Grübel R.* Molchanie o listopade — novyy psalom. Neskol'ko slov ob aksiologii literatury i o poezii Aygi // *Aygi: materialy, issledovaniya, esse: In 2 vols. / Comp. by Yu. Orlitskiy, N. Azarova, D. Derepa. Vol. 2. Moscow, 2006. P. 30—41.)*
- [Дубинец 2010] — *Дубинец Е.А.* Князь Андрей Волконский. Партитура жизни. М.: РИПОЛ классик, 2010.
(*Dubinets E.A.* Knyaz' Andrey Volkonskiy. Partitura zhizni. Moscow, 2010.)
- [Робель 2003] — *Робель Л.* Айги / Пер. с фр. О. Северской. М.: Аграф, 2003. — In Russ.)
(*Robel L.* Aïgui. Moscow, 2003. — In Russ.)
- [Узелки времени... 2022] — Узелки времени. Эпоха Андрея Волконского: воспоминания, письма, исследования. СПб.: Jagomir Hladik press, 2022.
(*Uzelki vremeni. Epokha Andreyа Volkonskogo. Saint Petersburg, 2022.)*

Атнер Хузангай

Чувашский Айхи: русский Айги

Atner Khuzangai

Chuvash Ayhi: Russian Aygi

Атнер Хузангай (независимый исследователь; кандидат филологических наук)
anvaska@mail.ru.

Atner Khuzangai (PhD; Independent Researcher)
anvaska@mail.ru.

Ключевые слова: двуязычие, ранний чувашский Айхи, русский Айги, физиологизм, мета-поэтика русского Айги

Key words: bilingualism, early Chuvash Ayhi, Russian Aygi, physiologism, metapoetics of Russian Aygi

УДК: 82.0+82-1+821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_284

UDC: 82.0+82-1+821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_284

В статье рассматривается самоидентификация чувашского поэта Геннадия Айги в русскоязычной среде Москвы, анализируется цикл его ранних стихотворений на русском языке «Начала полян», а также чувашские поэмы «Завязь», «Начало» как этап «перехода» на русский язык. В центре внимания автора — друзья-сподвижники Айги (художники, музыканты) из неофициального искусства и взаимодействие двух картин мира — русскоязычной и чувашской.

The article discusses self-identification of Chuvash poet Gennady Aygi in Russian-speaking environment of Moscow, analyzes the cycle of his early poems written in Russian “Beginnings of the Clearings” and Chuvash poems “Ovary”, “Beginning” as a stage of transition to Russian language. In the center of attention are friends-associates of Aygi (painters, musicians) from uncensored, non-official art sphere and interaction of two world pictures — Russian-Language and Chuvash.

Языковое понимание как миропонимание.

Георг Гадамер

С начала 1960-х годов, когда стали появляться первые публикации Г. Айги за рубежом, и до самого последнего времени он был известен в мире по переводам (более чем на 50 языков) своих русскоязычных стихов и, соответственно, воспринимался как русский поэт. При этом чувашская составляющая его творчества почти не учитывалась, хотя некоторые исследователи отмечали присутствие чувашского субстрата в его стихах, написанных на русском [Paganì-Cesa 1983]. И всегда ощущалась его особость, непохожесть на других современников — скажем, Вознесенского, Ахмадулину, Евтушенко. Для последних легко подыскивали родословную, с Айги все обстояло сложнее: чувашское происхождение (мало кому известный народ с обособленным тюркским языком и своим огуро-оногуро-булгарским (< хунну ≈ гунны?) прошлым, невхождение в «бомонд» шестидесятников, «трудный случай языка» (А. Хаас), человек-поэт как «существо издалека» (М. Хайдеггер).

На чувашском языке Айги начал публиковаться с 1947 года и продолжал писать и переводить на чувашский вплоть до самой своей кончины. То есть он был поэтом-билингвом. Но сферы чувашского и русского языков и потенциальные адресаты его поэтического высказывания были различны.

Чувашско-русское двуязычие началось, когда Айги работал над поэмой «Чёрё тевё» («Завязь», 1954—1956) и представил ее как дипломную работу в форме переложения на русский язык в московском Литературном институте

имени М. Горького. Его мастера-наставники по институту Михаил Светлов и Виктор Шкловский одобрили этот опыт, а поэты Борис Пастернак и Назым Хикмет посоветовали ему писать на русском. Тогда, вероятно, Айги искал самоидентичности в языке. В каком? чувашском? русском? Ситуацию выбора сам поэт объяснял так:

Мой переход на русский язык был вызван несколькими причинами. Ограничусь приведением двух из них. Искусство для меня — область трагического. В то время, когда я становился как поэт, область трагического для меня находилась в сфере русского языка, — короче, на нем я мог высказаться «до предела», «до конца», «по существу». В юности, в решающие годы творческого становления, мы нуждаемся в особенных читателях, которых я назвал бы *читателями-сподвижниками*. Это — единомышленники в творческих исканиях, в стремлениях к новому в искусстве, — ищущие того же, что и мы, в других — соседних — областях искусства: художники, музыканты... После первой же книги моих стихов на чувашском языке я потерял таких друзей в Чувашии, — был совершенно одинок в дальнейших моих исканиях. Благодарение Богу, — я приобрел их в «левых» кругах, зародившихся в Москве в конце 50-х годов, — они и стали моими первыми читателями-сподвижниками. У нас была краткая эпоха *Пощечин общественному вкусу*, свои неписанные «манифесты». Не наша вина, что наша «будетлянская» юность не закрепились в наших *Садках судей*... Первыми моими *читателями-сподвижниками* были мои друзья: композитор Андрей Волконский, художники Владимир Яковлев, Игорь Вулох, Игорь Ворошилов. Стихи того времени во многом — переключки с ними, в них также есть немногие — и, думаю, негромкие — слова наших юношеских надежд... [Айги 2001: 22].

Но есть и еще одна социокультурная причина. Москва была, безусловно, метрополией по отношению к родной деревне Айги — Сеньял (Шаймурзино) Батыревского района на юго-востоке Чувашии. И потому чувашский поэт был вынужден принять язык метрополии. Такую ситуацию описывает Ж. Деррида в книге «Монолингвизм другого, или Протез первоначала» (1996): «Язык метрополии стал языком, замещением родного языка (и всего остального?) как языка другого. Париж всегда мог играть эту роль метрополиса... Ведь Париж еще и столица Литературы» (цит. по: [Ольшанский 2005: 61]). Айги в то время переводил французских поэтов на чувашский и мог только мечтать о Париже Бодлера, Верлена, Нерваля, вполне осознавая, что у него нет шанса когда-либо попасть туда. А Москва — он уже был в ней — тоже столица литературы, шире — искусства.

Непосредственно с русским языком Г. Айги стал работать при написании цикла «Начала полян» (1956—1959). Начала не в смысле конкретном, физическом как исходная точка, а как некое философское понятие «первоначало», то есть обычная лесная поляна осмысливается в качестве духовной категории. Позже такой же подход мы видим к Полю, Лесу, деревьям, цветам.

Начальной точкой «перехода» на русский язык сам поэт ставит 1960 год. Считается, что одним из первых стихотворений был «Снег»¹. Есть чувашская и русская версии этого текста.

1 В 1962 году стихотворение было опубликовано в газете «Polityka» (перевод на польский Виктор Ворошильского). Были также другие публикации в польской периодике. Благодаря этим публикациям имя Айги становится известным в Венгрии, Чехословакии, Германии.

СНЕГ

От близкого снега
цветы на подоконнике страны.

Ты улыбнись мне хотя бы за то,
что не говорю я слова,
которые никогда не пойму.
Все, что тебе я могу говорить:

стул, снег, ресницы, лампа.

И руки мои
просты и далеки,

и оконные рамы
будто вырезаны из белой бумаги,

а там, за ними,
около фонарей,
кружится снег

с самого нашего детства.

И будет кружиться, пока на земле
тебя вспоминают и с тобой говорят.

И эти белые хлопья когда-то
увидел я наяву,
и закрыл глаза, и не могу их открыть,
и кружатся белые искры,

и остановить их
я не могу.

[Айги 1982: 15]

Интересны эти версии (есть и другие параллельные версии, их мало — языки разошлись), потому что именно в это время шел выбор языка — изначальный выбор в условиях пограничной ситуации. Можно отметить многословие чувашского текста, в нем больше подробностей, и лаконичность русского. Если в чувашской версии словно происходит какой-то диалог между «Эп / Я» и «Эс / Ты», то русская более напоминает разговор с самим собой.

Но в этот же период и даже чуть раньше (середина — конец 1950-х) произошёл сдвиг в поэтическом сознании поэта, результатом чего явилось переключение чувашского языкового кода. Поэт искал свой язык и для этого вводил в стихи ощущения всех органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), они как бы сливались в одно впечатление на Ране-Лице, в Теле. Отсюда некоторый физиологизм этих ранних стихов. Так, может быть, ребенок познает мир, а мир сам, в свою очередь, всматривается в ребенка. «Я» (Его) поэта сжималось, свертывалось, желая защититься (поэмы «Чёрё тёвё» («Завязь»)),

«Пусламăшĕ» («Начало», 1957)² и некоторые тексты того же времени, примыкающие к ним), от внешнего мира он переходил к внутренней речи, говорению *для и про себя*. Высказывание не было ориентировано *вовне*, чувашезычная поэзия Айги как бы становилась *эгоцентрической* речью. В это же время поэт в русскоязычных текстах искал и находил важные для себя смыслы: «мир как творение», «человек — это дух», «первичная идея вещей», «искусство сфера трагического», «творящая сила естества» и др. Об этих смыслах по существу напрямую можно было высказаться на русском языке, ибо в чувашской словесности такой традиции просто не существовало, не было поэтики и способов выражения подобных смыслов. Хотя сам Айги писал:

В моем эстетическом воспитании, конечно же, многое связано с чувашской культурой. Я много раз мыслил об этом. И хочу коротко определить, чем я обязан чувашской культуре в своих эстетических представлениях, в своей поэтике. Прежде всего, это наверняка сказалось в том, что поэзия для меня неизменно — тот вид «действия» и «связи», который лучше всего выразить словом «священнодействие». С детства, еще не зная, что это называется «поэзией», я наблюдал вокруг себя именно эту ее «функцию». Позже я все более утверждался в мысли, что она нужна для «оперирования духовными силами», не исключая (а включая) и ту необходимость, что она нужна для «выявления и поддерживания родства» между людьми³.

И все же рождение поэта состоялось именно на этом чувашско-русском языковом пограничье. Как бы соответствуя постулату Деррида «Человек всегда находит себя одиноким в языке» [Ольшанский 2005: 61], в обоих языках Айги был одинок. В Чувашии, как он сам говорит, потерял собеседников, в сфере русского языка он сотворил *другой*, чужой, иноземный язык. Приведу интересное наблюдение друга Айги Антуана Витеза, актера, режиссера, поэта и переводчика: «Я узнал его в 76-м... Мы тотчас поняли и полюбили друг друга. Я был поражен его азиатским лицом и его акцентом, который не походил на русский, на провинциальный, но был истинно иностранным, чувашским акцентом»⁴.

Айги не противостоял советскому режиму идеологически или политически, он не был диссидентом. Но он не принимал советскую культуру, литературу и соцреализм тем более по этическим и эстетическим соображениям. О своем понимании искусства он высказывался, например, так: «...если бы мне позволено было сказать свое мнение, где же искать основную ценность будущего искусства (конечно, опять-таки в том случае, если оно вообще возможно), я бы сказал: в человеке в кьеркегоровском понимании»⁵. Это вело и к «стилистическим разногласиям» (А. Синявский) с современной ему советской поэзией, и до середины 1980-х годов прошлого века ни одного его стихотворения на русском языке не было опубликовано в нашей стране.

Вообще можно сказать, что до конца 1980-х существовало два разных поэта: АЙХИ и АЙГИ. У нас он был известен как чувашский поэт, переводчик-

2 Обе поэмы были опубликованы в полном объеме на чувашском языке лишь в 1975 году. Их фрагменты на русском языке в авторском переложении включались поэтом в свои книги: *Айгу Г. Стихи 1954—1975* / Ред. и вступ. статья В. Казака. Munchen: Sagner, 1975. S. 16, 17; см. также: [Айги 1982: 364, 491].

3 *Айгу Г. Стихи 1954—1975*. S. 195.

4 *Vitez A. Aïgui le Tchouvache // Libération*. 1984. 2 mai. P. 38.

5 *Айгу Г. Стихи 1954—1975*. S. 200.

составитель антологий «Поэты Франции» (1968), «Поэты Венгрии» (1974), «Поэты Польши» (1987), в Европе, мире — как энигматический (метафизический) русский поэт или даже как «экстраординарный поэт современного русского авангарда» (Р. Якобсон)⁶, по более широкому определению Жака Рубо: «...самый своеобразный голос в современной русской поэзии и самый необычный голос в мире»⁷. Но и на Западе, когда речь заходит об Айги, то тут же приводятся сведения об истоках и корнях чувашской культуры. Впрочем, такова была и позиция самого поэта. Когда корреспондент и переводчик Айги из Бразилии обратился к нему с просьбой дать сведения о его поэтической концепции и о том, что он думает о проблемах творчества, он получил ответ,

который сначала разочаровал меня: большой пакет с исторической информацией о чувашах и их литературе. При первом контакте поэт почти не говорил о себе, он хотел прежде всего рассказать о своем народе, который так мало известен у нас. И только потом, размышляя на эту тему и перечитав некоторые высказывания Сартра об интерсубъективном, субъективном, которое объективируется, и о широте понятия национальной культуры, как в случае с негритюдом, я понял, что эта позиция поэта точно соответствует точке зрения Сартра на эту проблему. Поэт, который так связан с модернизмом, который избегает всяческих издержек «экзотики» и «местного колорита», настаивал на том, чтобы напомнить своему корреспонденту о «чувашитюде», если можно так сказать. [Он] вводит свой народ в свои стихи гораздо более ценным и оригинальным образом: революционизируя синтаксис русского поэтического языка и создавая произведения нового климата... который передает видение мира, отличное от всего написанного на русском языке...⁸

Когда в конце 1980-х годов Айги стал публиковаться в нашей стране и на русском языке (его зарубежные публикации, в том числе и две книги, а также самиздат, были, конечно же, известны очень узкому кругу читателей), споры вокруг Айги в чувашской писательской среде возобновились. И было некоторое умолчание в российской критике.

Сам поэт как будто говорил: «...писал стихи на чувашском языке, чтобы только поддерживать статус чувашского поэта». Или, как вспоминает Наталья Азарова:

Чувашско-русская тема возникла и на последнем вечере — Айги говорил, что поэт имеет право покинуть свою культуру. Он имел в виду, что не пишет стихов на чувашском языке. Отвечая на мой вопрос, он сказал, что его переводы на чувашский, в частности, французской поэзии — это такая индульгенция, чтобы культура простила за то, что он не пишет по-чувашски⁹.

Думаю, что это совершенно неверно. Айги всегда испытывал уважение к традициям, обычаям, культуре и языку «сельских и полевых людей», как он иногда называл чувашей. И писал на чувашском до последних дней. А работа по переводу французской, венгерской и польской антологий прежде всего была

6 *Jakobson R.* Message sur Malevitch // *Change*. 1976. No. 26—27. P. 7.

7 *Roubaud J.* Aïgi le Tchouvache // *Le Monde*. 1990. No. 14110. P. 2.

8 *Schnaiderman B.* A importância de ser tchuvache // *O estado de S. Paulo*. 1971. 11 avg.; 18 avg. (Suplemento literario).

9 *Азарова Н.* Возвращение к Айги // *ЛИК*. 2012. № 4. С. 123.

вызвана любовью к этим культурам и к отдельным поэтам — Бодлеру, Максиму Жакобу, Рене Шару, Пьеру Эммануэлю, Эндре Ади, Миклошу Радноти, Яношу Араню, Камилу Циприану Норвиду, Болеславу Лесьмяну, Кшиштофу Камилу Бачинскому и др. Они были его собеседниками в трудные времена, духовной поддержкой. То же самое можно сказать и о переводах из шведской и шотландской, бретонской поэзии. Кроме того, это было желание привить чувашской словесности новые ростки, иное мировидение.

И все же существовал двуликий АЙГИ-ЯНУС. Одним лицом он был обращен к чувашскому, другим — к «воскрешению Слова» в лоне русского языка или к будущему (как это определяет Владимир Новиков: «...смог положить начало русскому стиху двадцать первого века и третьего тысячелетия» [Новиков 2001: 14]). Значит ли это, что «чувашское» было для Айги только прошлым, архаикой? Нет, оно постоянно оживает в его сознании, чувашский background чувствуется в его русских стихах. Иногда это непосредственное трагическое переживание: «Не снимая платка с головы, // умирает мама, // и единственный раз // я плачу от жалкого вида // ее домотканого платья» («Смерть», 1960 [Айги 1982: 13]). Позднее «чувашское» становится темой à la recherche du temps perdu (поисков утраченного времени), или, как это определял кумир раннего Айги Бодлер: «Прошлое, сохранив всю притягательность миража, обретет наконец светозарность и подвижность, свойственные жизни, и станет настоящим»¹⁰.

Иногда Айги говорил о себе, что он «чувашский поэт, пишущий на русском языке». По причине его билингвизма и чтобы прояснить оба лика Айги-Януса, обратимся к понятию наивной картины (модели) мира. «Идея наивной модели мира состоит в следующем: в каждом естественном языке отражается определенный способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям языка. В способе мыслить мир воплощается цельная коллективная философия, своя для каждого языка» [Апресян 1995а: 629]. И еще: «Способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так как носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [Апресян 1995б: 350—351]. Значит, существуют русскоязычная и чувашеязычная картины мира, общие для носителей этих языков. Но Айги отвергает коллективную обязательность и «вырезает» для себя личную наивную картину мира («окно Духа»), в меньшей степени в чувашском языке и в большей в русском языковом пространстве. Если в своих ранних стихах на русском языке («Начала полян») он еще придерживался норм общего языка в грамматике, пунктуации и слова обозначали то, что они обозначают для любого носителя русского языка, но постепенно он *присваивает* этот язык и создает свою личную сферу говорящего (поэта), оперируя в основном сдвигами в синтаксисе и семантике, а для акцентирования ритмической композиции отдельного стихотворения Айги начинает использовать собственную систему знаков пунктуации (отсутствие точек и запятых, особое употребление тире, дефиса, скобок) и пробелов.

Выше было сказано, что в период переключения языкового кода в стихах Айги преобладает физиологизм, точнее говоря, физические восприятие и действия, состояния (голод, жажда, желание — плотское влечение, суицидальные

10 Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе / Сост., вступ. статья Г.К. Косикова. М.: Высшая школа, 1983. С. 442.

мотивы и др.), реакции на внешние и внутренние воздействия. Приведу только три примера с подстрочным переводом:

*П|чченлѣх сывлѣшѣ таса.
Таса та — йывѣр...
Эпѣ хам
Ку юратушѣн хампалан
Хам татѣлп.*

Воздух одиночества чист.
Чист и тяжел...
Я сам
За эту любовь с собой
Сам рассчитаюсь¹¹.

*Кусем сѣс юлчч=р!.. Хам эп пулам
В|с-х|рс|р пыс=к кус!*

Пусть останутся только глаза!.. Я буду сам
Огромным, всепоглощающим глазом!

*Анчах п у с л а м ѣ ш ѣ — ялан
сапла вѣл...
<...>
Чун сѣс -и, — ун чухне кашни
сисев тьмарѣ таранчѣн,
й ѣ л т кисренет этем...*

Но н а ч а л о — всегда
таково...
<...>
Разве только душа, — тогда
до кончиков нервов
в е с ь человек содрогается¹²

Но через эту физиологическую чувственность лирический герой мучительно ищет любовь, чистоту, гармонию. В дальнейшем в чувашезычную картину мира Айги входят образы поэтов (Блок, Митта, Элюар, Иванов, Сеспель, Пастернак, Паруйр Севак, Рене Шар и др.), аллюзии из мира искусств (например, рембрандтовская Саския), музыка как стихия (Бетховен, Моцарт, Вивальди, Бах, Шуберт), размышления о назначении поэта. Основными категориями его поэтики становятся гармония, красота (*килѣшѣне илем*), высота духа (*чун сѣллѣшѣ*), чудо света (*кѣтрет сѣти*), его поэзия становится все более просветленной, прозрачной. Сравнения и метафоры берутся уже не из мира природы, а строят-

11 Чувашиский оригинал цит. по: Айхи Г. Атгесен ячѣпе. Шупашкар: Чѣваш АССР гос-во изд-ви, 1958. С. 48.11

12 Чувашиские оригиналы цит. по: Айхи Г. Чѣрѣ тѣвѣ: Сѣвѣсемпе поэмѣсем. Шупашкар: Чѣваш кѣнеке изд-ви, 1975. С. 25, 84.

ся на основе культурных реминисценций. Много посвящений как чувашским айгистам, так и поэтам «поколения отцов». Поэзия Айги становится все более нравственно-эстетической, с полным пониманием ответственности художника.

Но он также думает о том, что человек должен стать личностью: быть человеком = быть самим собой (в понимании Кьеркегора). Недаром в его — программной на тот момент — книге «Чёрё тевё» («Завязь») один раздел так и называется: «Этем пёлтерёшё» («Значенье человека»).

Что касается русскоязычной картины мира у Айги, то об этом писалось много исследователями из разных стран. Он стремился к будущему «воскрешенному Слову»,

в поэзии, от «поэтических воспринимателей», это требует — в новых условиях — восстановления их связи со вселенной-домом и с жизнью-братством, как в древнем — давнем — глубоком накале того, что называлось *Истиной*... ..это можно было бы назвать реализмом существенного, *экзистенциальным реализмом*. <...> И нам придется всерьез — в большой и широкой общности — начать разговор о *новой эстетике скептического гуманизма* с его новым опытом, — во имя обновленного *прияття жизни* [Айги 2001: 145].

Тогда поэтический язык станет опять творящим, подобно словам молитв и заклинаний. Это, может быть, некая утопическая мечта о времени, когда «Слово создавало Богов» (С. Малларме). В таком понимании поэтический язык является наиболее полным воплощением потенций и реализаций языка национального.

Известно, что Кьеркегор установил три стадии, «сферы существования»: эстетическая, этическая и религиозная. Мне кажется, что эволюция чувашскоязычной картины мира у Айги показывает, как он проходил эстетическую и этическую стадии, а в русскоязычной версии Айги достигает религиозной стадии¹³.

Две картины мира — два лика АЙГИ-ЯНУСА, но они взаимодействуют, они взаимодополнительны. И все же это разные пространства смыслов. Но в его русских текстах просвечивают чувашские «элементы» и архетипы, некие духовные силы, мифологемы, скрытые чувашские реалии и опять же чувашские «воспоминания». Поэтика его русских текстов «надстраивается» на чувашской почве и потому является метапоэтикой. От чувашского сеньялского Праполя Айги восходит к «полям в Небе».

О том, как АЙХИ соотносится с АЙГИ, интересное суждение высказал Улдис Берзиньш. *Айхи* он называет «God's Scribe in the Chuvash language» («Писарь Бога на службе чувашского языка») и высоко оценивает его работу по составлению «Антологии чувашской поэзии» по линии ЮНЕСКО. *Айги* же он называет «минималистским гением русского авангарда». У. Берзиньш разрешает противоречие между АЙХИ и АЙГИ следующим образом:

Я слышал от кого-то, почему Айги был столь «озабочен» получением Нобелевской премии: эта премия помогла бы выжить чувашскому народу. По-моему, как раз наоборот: это Айхи завоевал почетное звание писаря Бога для русского модернистского поэта Айги [Berziņš 2012: 31, 35].

13 Подробнее о трех стадиях см.: *Быховский Б.Э.* Кьеркегор. М.: Мысль, 1972. С. 137—171.

14 Паруйр Севак, армянский поэт и друг Г. Айги, определял назначение поэта близким образом: «А я стал бы поэтом / Новым секретарем / Бога ветхозаветного» (*Севак П.* Избранное / Пер. с арм. В. Микушевича. М.: Художественная литература, 1975. С. 168).

Таким парадоксальным образом подчеркнута единство личности поэта: *без чувашского Айги не было бы и русского Айги.*

Таков парадокс АЙГИ-ЯНУСА: он сотворяет русскую поэзию, оставаясь чувашом, и пишет чувашские стихи, ощущая себя гражданином мира.

Библиография / References

- [Айги 1982] — *Айги Г.* Отмеченная зима. Собрание стихотворений в двух частях / Изд. подгот. В.К. Лосская; предисл. П. Эммануэля. Fontenay-aux-Roses: Syntaxis, 1982.
- (*Aygi G.* Otmehennaya zima. Sbranie stikhotvoreniy v dvukh chastyakh / Prep. by V.K. Losskaya; introd. by P. Emmanuel. Fontenay-aux-Roses, 1982.)
- [Айги 2001] — *Айги Г.* Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи / Сост. Г. Айги и А. Мирзаев; предисл. В. Новикова. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.
- (*Aygi G.* Razgovor na rasstoyanii: Stat'i, esse, besedy, stikhi / Comp. by G. Aygi and A. Mirzaev; introd. by V. Novikov. Saint Petersburg, 2001.)
- [Апресян 1995а] — *Апресян Ю.Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 629—650.
- (*Apresyan Yu.D.* Deiksis v leksike i grammatike i naivnaya model yazyka // Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy: In 2 vols. Vol. II. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. Moscow, 1995. P. 629—650.)
- [Апресян 1995б] — *Апресян Ю.Д.* Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 348—388.
- (*Apresyan Yu.D.* Obraz cheloveka po dannym yazyka: popytka sistemnogo opisaniya // Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy: In 2 vols. Vol. II. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. Moscow, 1995. P. 348—388.)
- [Новиков 2001] — *Новиков В.* Больше, чем поэт. Мир Геннадия Айги // Айги Г. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи / Сост. Г. Айги и А. Мирзаев; предисл. В. Новикова. СПб.: Лимбус Пресс, 2001. С. 5—14.
- (*Novikov V.* Bol'she, chem poet. Mir Gennadiya Aygi // Aygi G. Razgovor na rasstoyanii: Stat'i, esse, besedy, stikhi / Comp. by G. Aygi and A. Mirzaev; introd. by V. Novikov. Saint Petersburg, 2001. P. 5—14.)
- [Ольшанский 2005] — *Ольшанский Д.А.* Протез языка у Жака Деррида // Критическая масса. 2005. № 3/4. С. 60—64.
- (*Olshanskiy D.A.* Protez yazyka u Zhaka Derrida // Kriticheskaya massa. 2005. No. 3/4. P. 60—64.)
- [Berziņš 2012] — *Berziņš U.* Chuvash Indigenous Poetry: Aihni versus "Aigi" // Returning Souls and Rambling Thoughts: Qinghai International Tent Roundtable Forum of Aboriginal Poets. An Anthology of Essays and Poems. Xinan: Qinghai renmin chubanshe, 2012. P. 31—35.
- [Pagani-Cesa 1983] — *Pagani-Cesa G.* Note per uno studio del mondo ciuvasco nella Poesia di Gennadij Ajgi // Oriente Moderno. 1983. Vol. LXIII. P. 127—148.

Хроника современной литературы

Алексей Порвин

Свобода неопределимости

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_293

Морозова К. Амальгама

СПб.: Jaromír Hladík press, 2023. — 96 с.

Дебютный сборник Кати Морозовой — это проза «с острова» в смысле разъятости знания о себе, о времени, о мире: материк некоего общего нарратива, разделяемого с культурой и цивилизацией — в силу причин, проступающих сквозь текст, словно очертания бессонных гондол, при ближайшем рассмотрении оказывающихся напряженными пустотами, — предстает болезненно-зыбким и далеким в смысле невозможности ухватить целое, проследить его истоки и линии развития. Этот материк есть утрата и в то же время отправная точка, какую необходимо иметь в виду при разговоре об этой книге, которая с первых же строк — с обреченностью, но и с некоторой надеждой — берется прорисовывать свой ландшафт, наполняя его смутными, будто размытыми силуэтами людей и болезненной рябью тревоги. Говорящему сквозь строки этой книги ничего не остается, кроме как исследовать, а точнее — пересоздавать свое «я», решаясь на поиск, который начинается не только вопреки шаткости онтологических оснований, но и благодаря им.



В «Венецианках», открывающих книгу, этот поиск чуть ли не захлебывается в волнах насилия, акты которого являются результатом специфической выборки — то есть опять же определенного насилия над событийным потоком. Как правило, источником насилия здесь является мужское (кузены «принимаются за свое», супруг «запускает руки в волосы» и т.д.), женское же предстает объектом насилия и носителем специфического аффекта жертвы, выражаемого сугубо литературным языком, дополняющим повествование разнообразными тропами, из-за чего аффект то и дело рискует стать чересчур эстетизированным («Синьора Аконе зажимает рот рукой и, беззвучно сотрясаясь, сползает на пол», «отец ударом откуда-то снизу лишает

чувств Лилию, мать» и т.д.). Здесь даже предметность, обретая фаллические свойства, вовлекается в поток насилия в мире, где «дымоходы норовят продырявить небо».

Телесность в «Венецианках» фрагментирована, редуцирована до «удобных» признаков и отчуждена — все эти методы, свойственные патриархальной культуре, Морозова успешно осваивает и присваивает, при этом каталогизация актов невыносимости сопряжена с последовательными умолчаниями, которые, кажется, являются оболочками для поиска, внемлющего утопическим ориентирам, почерпнутым из культурного архива — внемлющего, однако, лишь в той части, которая питательна для организма, растущего внутри другого. Что же вынашивается этой книгой? Очевидно, некое новое «я», и факт грядущего рождения внушает подлинно экзистенциальную тревогу, унять которую можно, в том числе обретая опору в обломках и осколках культуры.

Жанр «Венецианок» определен авторской волей как «кводлибет» — это не только длинный перечень предметов и их свойств, но также — в музыкальной терминологии — многоголосие. Очевидно, сама партитура невыносимости «Венецианок» и их мучительная полифония содержат в себе ключи к интерпретации всей книги в целом, но не менее важными могут оказаться и артефакты самого читательского восприятия. Выбраться из суггестивного нагнетания форм этого опыта не так уж просто — внимание попросту вязнет в гипнотических отрезках болезненного времени, переходя от предложения к предложению, от строки к строке, и каждый последующий смысловой виток не оказывается избавлением ровно настолько, насколько ты такого избавления ожидаешь. Можно предположить, что невозможность «отлепиться» вниманием от временного потока, творимого текстом, есть один из ключей к пониманию приемов, использованных в книге. Эта избыточная невозможность — один из ее краеугольных камней: вязкость текста достигает такой силы, что «Венецианки» не завершаются, но обрываются — насильно, то есть с помощью того же вещества, из которого они созданы.

«Козима отправляется на поклон к святой, в руках — несколько маковых головок, капелек алой жидкости, от которой нужно просить избавление. Всякое описание есть деформация. Мадам Ларош девушкой боялась дефлорации. Сорванные цветы вянут в пустоте ничем не заполненного одиночества. Вероника рассказывает, что трахалась с видом на северную лагуну и сочиняла новые строки. Вязкое томление ни с чем не рифмуется. Раньше были нравы, говорит маленькой Леде приставленная к ней тетка по отцу, вынося ночной горшок, забытый с самого утра» (с. 11).

Среди сущностей, переопределяемых в книге, особая роль принадлежит телу как знаку поиска нового — вернее, постоянно обновляемого *положения*, которое необходимо занять по отношению к себе, миру, страданию, наслаждению, истории. Однако тело и телесность вовсе не становятся неким «центром», так как Морозова пытается нащупать в перечисляемых единицах нечто, способное если не полностью выразить индивидуальный (в том числе соматический) опыт, сопрягая его с ускользающей экзистенцией, то хотя бы определить границы подобного сопряжения в языке.

Несколько иным способом исследует границы знания о себе, о мире, а также память рассказ «Инкубация», сопрягая это исследование с более-менее четко выраженными сюжетными движениями: проблема поиска онтологической опоры уточняется, но предсказуемо не приближается к своему решению. В «Инкубации» царят сомнения в реальности: пространство изменчиво, его предметы порой ускользают от внятного определения; опереться на ощущение времени также не представляется возможным, поскольку память как инструмент выстраивания темпоральности не вызывает доверия, а точки контакта с реальностью оказываются черными дырами.

Практики письма являют собой очевидную попытку ухватиться за реальность, но, как и само мышление, как и сам язык, оборачиваются препятствием для контакта с ней, а потому вселяют еще большую неуверенность, становясь опустошением памяти: «Восстановить его исповедь я пытался много раз, я записывал ее по памяти, но каждый раз, не удовлетворившись результатом, разрывал лист бумаги и брался за следующий; так, лист за листом, я перенес все его слова на хрупкий физический носитель и, уничтожив очередной вариант, понял, что больше не помню ни слова» (с. 35).

В «Инкубации» попытки преодолеть мучительную участь — участь обреченного на пересобирание реальности — наталкиваются на память как ненадежную и даже ущербную силу. За этими попытками маячит «подготовка другой жизни», некий ориентир, обретающий очертания цели, достижимость которой ощущается как нечто весьма зыбкое в мире, откуда, как может показаться, нет выхода. Ощущение замкнутости усиливается, когда фраза, которой открывается «Инкубация», повторяется ближе к концу рассказа и повествование «закольцовывается». Выход — или, как его называет нарратор, «отъезд» — предстает едва ли возможным.

В рассказе «Амальгама» углубляется тревожный опыт пребывания в мире, находящемся во власти метаморфоз, и возникающий в самом начале мост соединяет «наш островок с большой набережной» и, по всей видимости, дает некую надежду на структуру и целостность рассыпающегося бытия. У этого мира есть своя история, повороты которой («вспышка» как обозначение некоего поворотного катастрофического момента; «изгнание святых») заявлены как мифологическая данность и непосредственно связаны с необходимостью обживать пространство утраты и травмы.

Жизнь в мире «Амальгамы» — это жизнь *после* — и, как легко догадаться, не так уж важно, после чего именно. Поворотный момент в прошлом, разделивший время на «до» и «после», назван «вспышкой», в чем прочитывается очевидная концептуализация, усиливая впечатление от текста как системы элементов со вполне (логически, аксиологически) обоснованным центром. Вспышка — это скачкообразно возросшая интенсивность чего-либо; «вспышка» же в «Амальгаме» — это к тому же исходная точка, задающая некую рамку для интерпретации этого текста как игры с градациями интенсивности эмоций, ощущений, поступков, намерений, времени, пространства... Мир «Амальгамы» есть двоимирие: сон смыкается с явью и говорит на языке градаций этой интенсивности: «Я, казалось, могла смотреть этот сон бесконечно, но меня разбудило осторожное покашливание клерка в черном, до странного идеально сидевшем на весьма шутой фигуре костюме» (с. 45).

Другой концептуальный (и во многих отношениях гораздо более сильный) элемент этого рассказа — полусновидческое «зеркало» лагуны, за которым главному герою нужно наблюдать по службе. Лагуна вторгается как посланник чего-то *иного*, несущего иррациональную угрозу; с трудом укладываясь в категории человеческого мышления, лагуна как эмиссар немислимого обладает вполне ощутимой властью над людьми. Можно предположить, что лагуна призвана обозначить лакановскую «стадию зеркала», некое формообразующее начало для человеческого «я», при этом зеркало в данном случае — это некое запредельное измерение, обладающее трудно разгадываемой метафизикой, а вода — и быть может, весь мир с людьми, его населяющими, — есть вещественный отблеск этого запредельного начала. Немаловажным является также то, что лагуна, обозначая механизм формирования «я», вынесена на периферию города, и это самопринуждение к бинарности весьма красноречиво иллюстрируется тем фактом, что большинство горожан ютятся ближе к центру, чтобы «не встречаться взглядом с большой водой».

«Амальгама» начинается с ожидания вестей, и, кажется, будто господин «в мышином пальто», который оказывается соседом сверху, и есть та самая ожидаемая

весть о (проступившем, как может показаться, более явно) устройстве мира и человека: этот господин — не только некое обретшее человеческие черты сверх-я, живущее выше этажом, но и вариант столь нечасто возникающего в книге образа Другого, представленного в тексте как намек на невротизирующий характер бинарности.

Этому господину свойственны «тяжелые пробуждения» («тяжелые», возможно, также и в том смысле, в каком «тяжелы» помыслы возникающего позже прохожего, способного столкнуть человека в воду), они — источник тревог повествователя, который, как может показаться, во всем, даже в оценках реальности и реакциях на нее, следует сновидческому критерию истинности.

Два рассказа «Трамонтана, Аквилон» более явным образом, чем другие тексты в книге, сфокусированы на непосредственном сопряжении векторов тревоги и желания. В этом диптихе особую значимость обретает чужеродный взгляд, вторгающийся в сферу желания и страсти: «носителями» этого взгляда являются как существа, принадлежащие памяти и оживляемые силой воображения («детिशки в форменной пижаме, ангелочки, маленькие проказники, шаловливые балбесы, глупые дети Адриатики»), так и призраки («воскресший» доктор-садист). Диптих устроен, казалось бы, просто, но таков эстетизм Морозовой, когда спасительный культурный архив раскрывается сразу на нескольких уровнях, добавляя повествованию поистине значительную глубину. В отсутствие этого архива — и предельно гнетущая атмосфера, передаваемая краткими и емкими описаниями, напоминающими сеттинг хоррор-фильма или компьютерной игры, и нарративы о докторе-садисте и пациентах-флейтистах, кашляющих кровью, и лом как фаллический символ и оружие против «воскресшего» чудовища — все это не поднялось бы выше банального (пусть и тотального) жизнеутверждения с его победой над вторжением *иного*.

«Снег и камень» как дневник беременности (точнее говоря, дневник тревоги грядущего материнства; дневник тревоги, уточняющейся при соприкосновении с людьми, вещами и событиями) — попытка зафиксировать и осмыслить онтологические изменения, привносимые меняющейся телесностью. Рассказ говорит на языке реминисценций, отсылок, скрытых и явных цитат, причем делает это с большей открытостью и прямоотой, чем другие произведения в книге.

«Снег и камень» во многих отношениях стоит особняком: чувства уязвимости и растерянности обнаруживают свою лирическую ипостась и размеренно ее осваивают, с каждым смысловым витком проясняясь и до определенного предела обретая рациональное выражение, — здесь нет столь проявленного аффекта, уже ставшего привычным, нет обреченно-тревожной возгонки желания и страсти, ведущих сбивку текстовых фрагментов по своим, во многом непредсказуемым, направлениям.

Подобный переход к более рациональному и взвешенному осмыслению — немаловажный жест, дополняющий архитектонику книги: за модусом чуть ли не безличного созерцания прочитывается умение отстраниться от аффекта, что расширяет диапазон эстетического воздействия. В самом деле, в книге «Амальгама» все — и в том числе ускользающее пространство — подвержено метаморфозам, низвергающим попытки зафиксировать происходящее, от чего позиция созерцателя воспринимается как еще более оправданная: определения не приближают к реальности, и своего рода истинной, проходящей проверку эстетической практикой, оказывается созерцание изменчивой игры неопределимости¹. Возможно, это одна из форм существования свободы.

1 Что особенно важно в текущей ситуации, когда немалые надежды возлагаются на художественную практику как антитезу официальному нарративу, обслуживающему биополитику государства, направленную на регулирование репродуктивной функции и ее безальтернативное прикреплению к идеологемам.

Анна Нуждина

Ледниковый период

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_297

Лев Оборин. Ледники.

СПб.: Jaromír Hladík press, 2023. — 64 с.

...Жизнь тогда исчезла в этой части Северного полушария и, жалкая, неверная, отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханьем громадных ледяных масс. Несчастный, слабый, темный дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование.

Кропоткин П.А. Записки революционера

Оледенение, в отличие от, например, схода лавины, накрывает мир медленно. Тысячи лет понижается средняя температура воздуха, и почти незаметными кажутся изменения природы — пока все окончательно не покрывается льдом, и спастись оказывается слишком поздно. В таком случае «слабый, темный дикарь» вынужден выживать, пока его надежда не угаснет или пока все так же медленно и неявно климат не переменится снова. В «Ледниках» Льва Оборина ощущение тревоги тоже накапливается неторопливо. А затем заполняет собой пространство, и вторая часть книги становится похожей на навигацию вслепую в мире первобытного ужаса.



Книга названа по открывающему ее циклу «Ледники» из четырех частей, за которым следует «Пятый ледник», отколовшийся от общего массива. И с первых же строк оледенение становится неизбежной константой:

Вопреки всем прогнозам, ледники наступали
ледники всем прогнозам
тянулись, как мои руки, и несли в себе кости

между всякими пальцами немудреные фьорды
кости бумеров поставляются
в индивидуальных пластиковых упаковках

сарафанное радио всполохами передач
смятых пальцами доносило
обрывки и джинглы прекрасной эпохи

(С. 7)

Если бы эти строки обладали строгой метрикой, их сходство с терцинами «Божественной комедии» стало бы еще более очевидным. Все начинается с конца прекрасной эпохи, на руинах которой из бетонных блоков, каменной крошки и другого сора, не ведающего стыда, прорастают слова и складываются в строки. Перед лицом надвигающейся неизвестности текст становится одним из немногих инструментов аккумуляции памяти, ведь «лед отлично глушил сигналы» (там же). Лед

молчания глушит буквы, и они становятся такими же заброшенными, как покинутые в спешке дома. Поэтика книги опирается на своеобразную телесность, вещественность языка. Катастрофа погружает буквы в хаос, как и другие вещи, однако они, ставшие вмиг материальными, служат компасом для одинокого героя постапокалиптической панорамы. Он вооружился мешком слов, а не ножом или пистолетом — должно быть, слова уже успели оттаять, и он собрал их до того, как они попадали на головы их произнесшим. Теперь он готов двинуться в путь наугад.

Складывая из ледышек слово «вечность», действительно можно забыть о существовании другой жизни. Холод замораживает и пугает, убивает и спасает — 13 января 2022 года «Полка» записала подкаст «Опять “Метель”», в котором редакторы рассуждали о снеге, холоде, льде и зиме в литературе. Оборин, в частности, обращался к поэме Марии Степановой «Священная зима 20/21», в которой напрямую возникает сюжет о замерзших словах. Зима в поэме оказывается состоянием стагнации и объединения одновременно: никак не развиваясь, скованные нарративы разного происхождения и разных эпох смешиваются. События разрывают хронологический порядок и становятся единым, как ледник, монолитом — в случае «Ледников» этот монолит мировой культуры накрывает землю сразу. Читатель так и не увидит (по крайней мере, не в этой книге), что же у него внутри. И тем не менее семантика слитых воедино зимних текстов влияет на субъекта поэтической речи.

На фоне повторяемости апокалиптического опыта значимым для книги становится ощущение индивидуальности событий. Слова, прочитанные и услышанные множество раз, теряют свою остроту и заново обретают ее. Деавтоматизация происходит в момент, когда распространенность сюжетов, шаблонность метафор и опыт литераторов-предшественников оказываются также погребены под десятками метров льда.

Сезонное существо
кладет на аптекарские весы
новые обстоятельства
и с интересом недоумением
видит на месте весов тоннель
уходящий к центру земли;

что ты узнаешь скоро:
что пол — это лава,
что времени больше не будет,
что запасных деталей
для сезонного существа
не предусмотрено

(С. 13)

«Новые обстоятельства» обнажают и исчерпаемость времени, и конечность жизни. А главное, грозятся продлиться значительно дольше этой жизни, оставляя субъекта размышлять над собственной «сезонностью». В подобном случае едва ли можно говорить о письме «для вечности» (для вечности, как мы помним, подходят только ледышки), скорее о попытке найти способ преодоления неизбежного. Когда земля оттает, дома придется строить с нуля.

Строка, эксплуатирующая элемент детского фольклора («пол — это лава»), напоминает о ключевых характеристиках поэтики Оборина в 2010-е годы. Многим она была памятна благодаря активному взаимодействию с неформальными культурными элементами и паттернами, в том числе с поговорками, считалками и пе-

сенками для детей. В этом чувствовалось влияние концептуализма, обусловленное в том числе плотным взаимодействием Оборина с наследием Д.А. Пригова. Поэтическая работа осуществлялась в основном в рамках приверженности строгим формальным критериям, будь то нормированность строк или их количество. Делая двигателем действия языковую инерцию, способную соединить даже семантически несвязные рифмованные элементы, такая поэтика открывает возможности для «мерцания» субъекта и поиска «новой искренности» в лабиринтах закрепившихся в традиции паттернов. Примечателен цикл «50 восьмистиший», объединенный твердой формой и зачастую не столь последовательный в содержании. Приведем в пример один из текстов, который «ворует» интонацию у «Вредных советов» Г. Остера:

если влажная уборка
вас от пыли не спасет
толстый демон сведенборга
к вам придет и все всосет

так внучок в былые годы
мы решали сей вопрос
а потом на гребне моды
появился пылесос¹

Так же как и «прекрасная эпоха» в первом тексте книги «Ледники» распалась на обрывки и джинглы, утратила свою строгость и форма. Не привязанные к четкой метрике, часто вовсе ее не имеющие, стихи 2020-х уходят от иронии — и тем самым становятся гораздо более субъектными, личными. Их слепая навигация в изменившемся мире сообщает поэтике дополнительную эмоциональность, место которой в поэтической речи ранее занимали центонность и интертекстуальность. Возвращаясь к тексту о «сезонном существе», отметим, что в нем игровые метафоры и практики не служат геймификации/упрощению нарратива. Наоборот, такие «общие места» обретают неожиданную непосредственность, сообщаемую уже с куда меньшей дистанции между адресантом и адресатом.

Однако, сокращая дистанцию между субъектом поэтической речи и читателем, поэтика книги делает более значимыми различия частного нарратива и нарратива большой истории. Производство речи смещается с позиции постмодернистского пребывания в пространстве мировой культуры в сторону именно создания частного нарратива. Один из текстов книги начинается строчкой: «мороз не снисходит до слов языка» (с. 22). Это рождественский текст, и его структура схожа со структурой святочного рассказа, где подарок и чудо сходятся в одной точке обновления. Праздничное «возжигание мангала» напоминает языческий обряд защиты от мороза, однако мороз, как и подобает богу, не снисходит и до этих усилий: «я перешагну ваш теплеющий страх / я вас вообще не замечу» (там же). Это не борьба с морозом — бороться с ним невозможно. Ощущающие себя муравьями под ногами колосса, герои получают в подарок такой же незначимый словарь. Словарь становится инструментом неподцензурности, и вместе с воем метели едва слышится человеческая речь.

Речь существует как бы на задворках больших событий — и «системы» в широком смысле. В разных текстах под ней понимается рынок гуманитарного труда, цифровое пространство и следом за ним недобровольно ограниченное цифровое про-

1 *Оборин Л.* Из цикла «50 восьмистиший» // Homo Legens. 2013. № 1 (https://magazines.gorky.media/homo_legens/2013/1/iz-czikla-50-vosmishishij.html).

странство, литературное генеральство, непрекаемая мощь природы. Отвергнутое и/или незамеченное за своей малостью сообщение принимает, как и все остальное, исконную форму: от адресата к адресату. Оно, будучи выключенным из контекста, будто само собой оказывается ему противопоставлено: индивидуальное против общественного, ощущение против памяти. Лишь ощущение и остается говорящему, у которого, как у ребенка строгих родителей, «в этом доме нет ничего своего».

И электроголосовой
феномен тебе скажет
твоего тут нет ничего

точки связи с лимбом
в отдельных буквах
потаенные гейты метро

шелест много-
значительного наива
словно в гимнах маленьких городов

твоего здесь нет ничего
подтвердит шелуха крапива
столоверчения канитель

(С. 44)

«Электроголосовой феномен», наименование искусственного интеллекта, воплощает собой вершину научно-технического прогресса. С прогрессистской точки зрения «шелуха крапива» должна быть ему противопоставлена, однако наука и природа как глобальные величины объединяются в своем превосходстве над говорящим. И все же то единственное, что не поддается систематизации и контролю, — это творимая речь, произнесение и транскрибирование ее. Пусть даже слова в итоге потонут в белом шуме и белом снегу.

Как мы уже упоминали, оледенение — процесс небыстрый: «мы понимаем куда но / как медленно мы движемся» (с. 51). Постепенность процесса не отсрочивает его необратимость, а, напротив, лишь укрепляет ее в глазах вовлеченного наблюдателя. Позиция субъекта поэтической речи внешне отстранена от предмета повествования, нарратив неумовимо приближается к летописному. И возможно, преследует ту же цель: зафиксировать с известной долей правдоподобности события, а не ощущения от них. Эмоции в текстах тоже есть, но они скорее коллективны — это не переживание в чистом виде, а переработка воспринятого переживания. Примечательно, что в «Ледниках» на 50 стихотворений всего несколько обращений субъекта к самому себе. Рефлексирует рассказываемое он куда чаще, однако и летописец хвалит завоевания князя Владимира — не называя при этом собственного имени. Какое значение для истории имеет имя скриптора?

Однако заметим, что принципиальное различие между летописцем и хроникером ледникового периода состоит в том, что последний не ставит цели вымарать себя из повествования. Напротив, для него письмо и речь становятся очень личными инструментами, с помощью которых осуществляется личное преодоление тревоги — и сугубо личная навигация. Объединяя стремление к фиксации коллективного с семантикой индивидуального высказывания, поэтика «Ледников» внезапно оказывается адресованной одновременно всем и никому. Как и сами льды, общий природный ресурс и непредсказуемая ее же сила.

Библиография

Евгений Савицкий

Советская «республика словесности», «восточный интернационал» и кемалистская Турция в 1920—1960-е гг.

(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

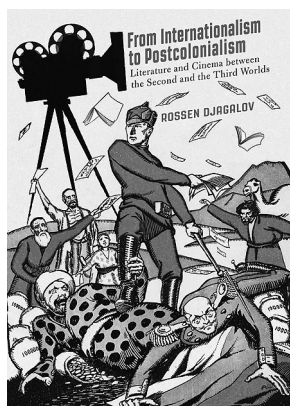
DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_301

В последние полтора года вышло несколько книг, посвященных советско-турецким литературным и в целом культурным связям в межвоенный и послевоенный периоды: «Красное письмо: литература и революция в Турции и Советском Союзе» Н. Эртюрк, «Против либерального порядка: Советский Союз, Турция и этатистский интернационализм» С. Хёрста, а также «Красная звезда над Черным морем: Назым Хикмет и его поколение» Дж. Мейера. Эти исследования соотносятся с более широким контекстом работ последних лет об отношениях между советской «республикой словесности» и «восточным интернационалом», стремятся дополнить их или оспорить некоторые их положения. Они также вписываются в более широкие дискуссии о становлении в XX в. «всемирной литературы» с ее каноном ключевых произведений¹. Особенно важны здесь книги «От интернационализма к постколониализму: кино и литература между вторым и третьим мирами» Р. Джагалова и «Евразия без границ: мечта о левом литературном содружестве, 1919—1943» К. Кларк, о которых поэтому тоже пойдет речь в этом обзоре.

Появление сразу трех книг о советско-турецких связях контрастирует с тем, о чем четыре года назад писал в названной книге² *Россен Джагалов*: все эти писа-

-
- 1 См.: *Казанова П.* Мировая республика литературы / Пер. с фр. М. Кожевниковой, М. Летаровой-Гистер. М., 2003; *Mufti A.R.* Forget English! Orientalism and World Literatures. Cambridge (Mass.), 2016; *World Literature in the Soviet Union* / Ed. by G. Tihonov, A. Lounsbery, R. Djagalov. Boston, 2023. См. также: *Венедиктова Т.* Институт мировой литературы по-гарвардски (обзор) // Новое литературное обозрение. 2018. № 152. С. 313—323.
 - 2 *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third World. Montreal; L.; Chicago, 2020.

тели просоветских взглядов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которых так активно переводили и продвигали в СССР, сегодня мало кому интересны. Их книги выглядят побочным продуктом советского интернационального проекта, оказавшегося несостоятельным и давно отошедшего в прошлое. Правда, некоторые из этих писателей в итоге стали ключевыми фигурами в литературах своих стран, но там теперь предпочитают не вспоминать об их связях с СССР. Исследователи же из стран бывшего социалистического лагеря практически не занимаются этой частью литературного наследия, интересуясь в основном связями с Европой и Северной Америкой. Политически левыми писателями из стран третьего мира в какой-то мере занимаются западные специалисты по постколониальным исследованиям, но дисциплинарные границы обычно изолируют их предмет исследования от второго мира. Более того, в постколониальных исследованиях, по словам Джагалова, было как раз стремление спасти этих авторов от дихотомий холодной войны, выявив их самостоятельную значимость³. Это вело к стиранию советского контекста их творчества.



По словам Джагалова, взгляд из СССР позволяет увидеть историю неевропейских литератур иначе, чем только в контексте отношений с Западом, но также и Москва или Ташкент начинают смотреться по-другому, если взглянуть на них с позиции африканского писателя. Джагалов писал, что необходимо преодолеть границы между исследованиями советского общества и постколониальными исследованиями. До сих пор взаимодействие между этими областями ограничивалось тем, что подходы постколониальной теории применялись для изучения советской/российской периферии. Совсем мало сделано для понимания того, как советский опыт повлиял на становление самой этой постколониальной теории и связанных с нею литературного и кинематографического канон⁴.

Сам Джагалов исследует период уже после Второй мировой войны, и прежде всего формы взаимодействия писателей и кинематографистов, появившиеся в период деколонизации и оттепели: проводившийся с 1958 г. в Ташкенте кинематографический Международный фестиваль стран Азии и Африки, а также деятельность Ассоциации писателей Азии и Африки, возникшей в результате проведения ряда Конференций писателей стран Азии и Африки, первая из которых состоялась также в 1958 г. в Ташкенте⁵. Джагалов стремится показать, что реконструкция кон-

-
- 3 О деколонизации, литературе и контексте холодной войны см. также: *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and the Cold War. Durham; L., 2020.
 - 4 Тольц В. «Собственный Восток России»: политика идентичности и востоковедение в позднимперский и раннесоветский период. М., 2013.
 - 5 Об особой роли Узбекистана как витрины свершившейся советской деколонизации в этот период и позднее см.: *Kirasirova M.* The Eastern International: Arabs, Central Asians, and Jews in the Soviet Union's Anticolonial Empire. Oxford, 2024. P. 153—216 (об этой книге см. в: Савицкий Е. Амбивалентности советского интернационализма

кретных сетей взаимодействия между писателями и кинематографистами позволяет лучше понять их работы и вообще осмысление международной солидарности в то время. Роль второго мира в этих контактах, по словам Джагалова, неправильно сводить лишь к политике Кремля: особую роль играли международные организации, в том числе кинематографические и писательские, не менее важны были и просто личные контакты, конфликты и привязанности, которые нельзя было предусмотреть ни в каком политическом сценарии. Свою роль в выстраивании контактов играли и западные левые интеллектуалы (Й. Ивенс, Л. Арагон и др.), которые часто выступали посредниками между коллегами из советского блока и стран третьего мира. Исследование культурных связей между этими странами позволяет усложнить привычное деление советской интеллигенции на прозападных инакомыслящих и конформистов, ведь незападными антиимпериалистическими кино и литературой интересовались как раз последние. Кроме того, особой частью советской аудитории были жители Средней Азии и Закавказья, которым постколониальная проблематика была особенно близка, но о которых часто забывают в исследованиях как об оттепели, так и о «застое»⁶.

Особо Джагалов отмечает то, что литературоцентричность СССР, одной из двух сверхдержав, повышала ценность литературного труда и вообще сферы культуры в глазах антиколониальных активистов Азии и Африки. Как пишет автор, советская бюрократия унаследовала от русской дореволюционной интеллигенции веру в способность литературы и вообще культуры менять души людей, поэтому в эту сферу вкладывалось много ресурсов. Роль культуры в постколониальных обществах представлялась аналогичной ее роли в СССР. Неевропейские интеллектуалы искали советского признания, это влияло на их произведения, но одновременно делало их более заметными в международном контексте.

Другой важный тезис Джагалова, который, впрочем, будет оспариваться в позднейших исследованиях, — это указание на разрыв между двумя фазами советской антиколониальной политики: межвоенной «коминтерновской» и послевоенной хрущевской. Первая фаза характеризовалась появлением большого количества работ по проблемам колониализма, написанных убежденными марксистами, а также опробованием разных путей приложения марксистских теорий внутри и вне страны. Однако во второй половине 1930-х гг. в условиях нарастания германской угрозы СССР жертвует антиколониальной политикой ради сближения с Францией и Великобританией. Возврат к ней произойдет лишь во второй половине 1950-х — в совсем других организационных и идеологических формах. К этому времени борьба сверхдержав за влияние в странах третьего мира привела к резкому росту доступных интеллектуалам из этих стран символических и материальных ресурсов — приглашений на различные форумы, предложений щедрых гонораров и про-

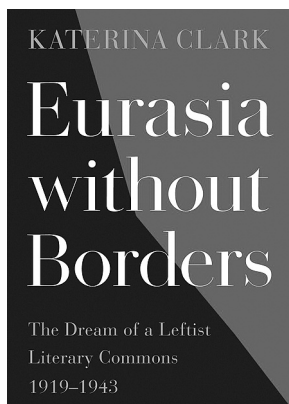
в политике и культурной практике (обзор) // Новое литературное обозрение. 2024. № 188. С. 381—394). О советизации и деколонизации Узбекистана в более ранний период см.: Халид А. Создание Узбекистана: нация, империя и революция в ранне-советский период / Пер. с англ. К. Тверьянович, А. Рудаковой. Бостон; СПб., 2022; Дриё Х. Кино, нация, империя: Узбекистан 1919—1937 / Пер. с фр. В. Петрова. Бостон; СПб., 2023. Роль «лаборатории деколонизации» выполнял не только Узбекистан: Kalinovsky A. Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization of Soviet Tajikistan. Ithaca, 2018.

- 6 Так, например, Д. Сахадео стремится показать, что, с точки зрения мигрантов с южных окраин, брежневский СССР, наоборот, отличался большим динамизмом благодаря либерализации внутренней миграционной политики и идеологии «дружбы народов»: Сахадео Д. Голоса советских окраин: жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве / Пер. с англ. Д. Чагановой. М., 2023.

катных возможностей. Обе стороны были вынуждены проявлять вонне идеологическую гибкость, но также внутренне меняться, что затрагивало как афроамериканцев в США, так и жителей Средней Азии и Закавказья в СССР. В то же время все большая бюрократизация СССР, исчезновение искреннего революционного энтузиазма, живых теоретических дискуссий, особенно в брежневское время, отталкивали многих интеллектуалов из неевропейских стран.

История советской литературы, отмечает Джагалов, периодизируется обычно с точки зрения ее отношений с Западом: за творческим расцветом авангарда 1920-х следуют узость соцреализма и сталинская самоизоляция, потом наступает оттепель с ее большей открытостью Западу, разгорается борьба между неосталинистами и реформаторами, возникают самиздат и тамиздат, литература эмиграции и пр. Но с незападной точки зрения история литературы так не выглядит. По мнению Джагалова, в странах Азии и Африки советская литература обычно вообще не воспринимается в ее временном развитии. Она важна в связи с конкретными событиями, в контексте которых появляется и наделяется особыми местными значениями.

Мнение Джагалова о двух фазах советской антиколониальной политики разделяет *Катерина Кларк*; ее «Евразия без границ» ограничивается межвоенным периодом⁷. Наряду с разворотом во внешней политике СССР, приведшим в итоге к упразднению Коминтерна, рубежным моментом она считает также выступления Мао Цзэдуна на Совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани в мае 1942 г., оформившие альтернативу советскому проекту литературного «восточного интернационала».



«Евразия без границ» продолжает две более ранние работы Кларк: «Петербург, горнило культурной революции» — о значении дореволюционных имперских идей жизнестроительства для советской культуры 1920-х гг. (в частности, там идет речь о лингвистической теории Марра, которая «меняла местами центр и периферию в Российской империи»⁸ и с которой были связаны дискуссии о едином языке) и «Москва, четвертый Рим»⁹ — о советской столице 1930-х гг. как о космополитичном, несмотря на сталинизм¹⁰, месте встреч советских и западных интеллектуалов, их попытках создать новую общую антифашистскую культуру. В «Евразии без границ» эта история советско-западных связей дополняется исследованием «восточного интернационала» как проекта революционного культурно-политического

единения народов Азии.

В качестве отправной точки Кларк рассматривает Первый съезд народов Востока, состоявшийся в Баку в сентябре 1920 г. Выступавшие, среди которых были

-
- 7 Clark K. *Eurasia without Borders: The Dream of a Leftist Literary Commons, 1919—1943*. Cambridge (Mass.); L., 2021.
 - 8 Кларк К. Петербург, горнило культурной революции / Пер. с англ. В. Макарова. М., 2018. С. 330.
 - 9 Кларк К. Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931—1941) / Пер. с англ. О. Гавриковой и А. Фоменко. М., 2018.
 - 10 Вслед за К. Шлегелем Кларк отмечает одновременное присутствие в Москве 1930-х гг. очень разных политических и культурных явлений; ср.: *Шлегель К. Террор и мечта. Москва 1937* / Пер. с нем. В.А. Брун-Цехового. М., 2011.

Г. Зиновьев, К. Радек, М. Павлович и др., высказывали мечту о будущем едином евроазиатском пространстве, в котором разные культуры гармонично переплетутся друг с другом, разные восточные литературы составят одно целое с пролетарской европейской, и возникнет, по выражению Павловича, общий международный океан поэзии и знания. Кларк почему-то поясняет метафору Павловича отсылкой к нацистскому теоретику права К. Шмитту, связывавшему образ океана с вечным и безграничным, хотя по крайней мере со времен Канта это было расхожее воплощение «динамически возвышенного» с акцентом не на бескрайности, а не неизмеримой мощи, перед лицом которой преодолевается ограниченность индивидуального, тем самым человек открывает безусловное и бесконечное в самом себе. Возможно, Павлович имел в виду и какое-то более банальное значение, понятное рядовым участникам съезда. В подчеркивании им особой роли литературы Кларк вслед за Джагаловым видит проявление особой веры советского руководства в силу художественного слова. В частности, в литературных произведениях можно было артикулировать свои политические задачи менее абстрактно, чем в марксистских трактатах.

Существовали в то время и другие проекты единения азиатских культур, но каждый охватывал какой-то отдельный регион — только Восточную Азию, или Восточную и Южную, или мусульманский Восток. Советский же проект был направлен на преодоление всех границ, правда, как именно — виделось по-разному. Так, Ленин, в отличие от Павловича, писал не о переплетении, а о слиянии наций, и в этом, по замечанию Кларк, отражалась противоречивость советского проекта, которая будет проявляться и позднее: с одной стороны — поддержка национально-освободительных движений, с другой — стремление преодолеть прежние национальные ограничения.

Проект, о котором говорилось в Баку, так никогда и не реализовался, но размышления о нем стали, по словам Кларк, началом возникновения всемирной литературы, но не в том центрированном вокруг Парижа варианте, о котором писал П. Казанова, а как ориентированной на широкое многообразие географических и культурных пространств¹¹. По сути, замечает исследовательница, мы имеем дело с недостающим звеном между идеей мировой литературы XVIII—XIX вв. и тем, что сложилось к началу XXI в. Д. Дэмрош отмечал, что Гёте хотя и сочиняет «Западно-восточный диван», но не является интернационалистом, ведь базовыми отсылками для него остаются Греция и Рим. В начале XX в. у разных писателей (Э. Феноллозы, Э. Паунда и др.) можно найти адаптации произведений восточной литературы, но значимым современным восточным автором считался разве что Р. Тагор. И если в СССР ценили Тагора-антиимпериалиста, проводника современных идей и борца за освобождение женщин, то на Западе он признавался как реактуализатор древней индуистской духовности.

С 1920-х гг. СССР стремился стать более открытым центром для взаимодействия разных культур, но здесь возникал целый ряд проблем. Уже в Баку остро ощущалось отсутствие общего языка общения. Единению литератур препятствовала и разница в основных жанрах: на Западе это был роман, в странах Востока — поэзия и драма. Сталин видел решение проблемы в создании литературы национальной по форме и социалистической по содержанию, но не всегда можно было отделить одно от другого. На практике ориентированные на советский проект писатели шли противоположными путями: если Назым Хикмет пытался преодолеть

11 В такой трактовке Баку Кларк следует за Эртюрк; см.: *Ertürk N. Baku, Literary Common // Futures of Comparative Literature: ACLA State of the Discipline Report. L., 2017. P. 141—144.*

турецкое в пользу европейско-авангардной моды¹², то Абулькасим Лахути — сохранить традиционные формы персидской поэзии, наполнив их новым содержанием. Не только в 1920-е, но и в 1930-е гг. левые писатели вели себя довольно самостоятельно. Так, они по большей части игнорировали призыв Радека на Первом всесоюзном съезде советских писателей сделать выбор: «Джеймс Джойс или социалистический реализм?»¹³ Кларк обращает особое внимание на участие в этом съезде многих зарубежных писателей.

«Евразия без границ» состоит из восьми глав, посвященных отдельным авторам, при этом Кларк географически движется с запада на восток, от Турции и Ирана через Афганистан к Индии и Китаю, а хронологически — от Бакинского съезда к совещанию в Яньани. В связи с книгами о Турции важны первые две главы, посвященные упомянутому Назыму, который сопоставляется с Маяковским, и Лахути, который сравнивается с Хлебниковым. В следующей главе (об Афганистане) рассматриваются только произведения писателей — участников советской дипломатической миссии 1921—1922 гг.: «Афганистан» Л. Рейснер и «Четырнадцать месяцев в Афганистане» Л. Никулина.

По словам Кларк, Назым — это центральная фигура, позволяющая проследить связи между возникающей советской культурой, европейским авангардом и новой культурой республиканской Турции. Не только литературное творчество, но и биография Назыма, который в 1920-е гг. дважды приезжал в СССР и возвращался в Турцию, а затем, в 1951 г., бежал в СССР после двенадцати лет в тюрьме, опровергают представление, будто новая интернациональная левая культура создавалась сверху вниз, под контролем бюрократов из Коминтерна. Особое внимание Кларк уделяет их совместному с Маяковским выступлению в Политехническом музее 8 марта 1923 г., когда Назым читал по-турецки поэму «Новое искусство». Используя характерный для Маяковского и вообще футуристов прием звукоимитации, Назым стремился сделать понятным содержание поэмы без перевода, на фонетическом уровне. В таком ницшеанском отказе от языка ради музыки виделось тогда, по мнению Кларк, одно из возможных решений проблемы общего языка, способного объединить представителей разных культур. Уход от языка означал также преодоление различий и иерархий, на которых обычно строится языковое высказывание, вот почему для Назыма было важно отказаться от традиционных турецких приемов стихосложения и обратиться к экспериментальной метрике европейского авангарда.

Из произведений Назыма 1930-х гг. Кларк подробно рассматривает «Поэму о шейхе Бедреддине» (1936) — суфийском шейхе, богослове, одном из руководителей восстания против султана в 1410-е гг. Назым перетолковывает османское прошлое в светском ключе, следуя официальной исторической политике времен Мустафы Кемаля. В то же время Бедреддин изображается как автор антиавторитарного учения, предвосхитившего многие из коммунистических идей, — тем самым Назым возражает официальной турецкой прессе 1930-х, считавшей коммунизм абсолютно чужеродным явлением. Кроме того, Бедреддин отменяет законы, дискриминирующие национальные меньшинства; турки, евреи и греки вместе поют

12 В его поэме «Новое искусство» (1922) повторяется призыв выбросить саз, традиционный турецкий музыкальный инструмент: «Эй, брось ты саз, / дуралей, / прекрати этот звон, / перепевы старья. / Выбрось вон старый саз. / Три струны у него — / тощих три соловья» (*Назым Хикмет. Новое искусство* / Пер. с тур. П. Железнова // Назым Хикмет. Избранное: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 19).

13 *Радек К. Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства* // Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934. С. 315.

песню о том, как будут мирно и свободно трудиться, что напоминает мечты о единении времен Бакинского съезда. Это тоже противоречило националистической идеологии кемалистской Турции, но было созвучно повороту СССР к политике Народного фронта — сотрудничеству европейских левых сил в противостоянии фашизму. Соответственно, в поэме больше нет антиимпериалистической риторики, характерной для Назыма в 1920-е гг. Использование же им эпической формы, полагает Кларк, связано не только с увлечением национальным фольклором в Турции 1930-х, но и с речью Горького на Первом съезде советских писателей, в которой превозносилось творчество дагестанского ашуга Сулеймана Стальского. Поэма Назыма показывает, как во второй половине 1930-х гг. эстетика соцреализма приспосабливается к турецким условиям, но одновременно утрачиваются многие из прежних эстетических и политических целей.

Хлебникова и Лахути объединяет участие в революционных событиях в Иране в 1921 г. Один был агитатором в красногвардейском отряде, отправленном на помощь Гилянской советской республике, а другой, вернувшись из эмиграции в Турции, стал офицером жандармерии в Тебризе, поднял в начале 1922 г. мятеж против правительства Реза-хана, а после его подавления бежал на советскую территорию. Оба в своем творчестве обращаются к образу кузнеца Каве из «Шахнаме» Фирдоуси, поднявшего восстание против правителя-злодея¹⁴, и у обоих, по словам Кларк, в стихах больше персидской традиции, чем марксизма-ленинизма. Но если Хлебников в его персидском цикле мыслит всеобщее единение в духе спиритуализма Блаватской, грезит о триединстве Христа, Будды и Мухаммеда, пусть и уделяя больше, чем Блаватская, места исламской культурной традиции, то поэзия Лахути подчеркнута посюсторонняя¹⁵, средневековую метрику он наполняет актуальным содержанием, большевистской агитацией, как в «Оде Кремлю» (1923). В написанном позднее либретто для оперы о кузнеце-революционере («Кузнец Кова», 1939; премьера состоялась 15 апреля 1941 г. в Большом театре в Москве) главный герой, по словам Кларк, подобен стахановцу. В конце он не передает власть новому шаху, как у Фирдоуси, а поет и танцует с другими участниками восстания, как в финале фильма «Волга-Волга» Г. Александрова (1938). В конце 1940-х гг. Лахути становится жертвой борьбы с космополитизмом, поскольку считал таджикскую культуру частью более широкой, интернациональной персидской. Последние годы он занимался переводом «Шахнаме», первый том которого выйдет в 1957 г., в год его смерти, когда идеи культурной близости с зарубежным Востоком снова окажутся востребованы. Таким образом, заключает Кларк, хотя Лахути в 1930-е гг. и являлся одним из руководителей Союза писателей и даже жил в Доме на набережной, он был вовсе не «придворным поэтом», а человеком, отстаивавшим свое понимание художественной эстетики и истории культуры, даже ценой потери привилегированного статуса. Подобно Хлебникову, Маяковскому и Назыму, он совмещал в своей карьере роли революционера и поэта-интеллектуала, пусть и не столь эксцентричного.

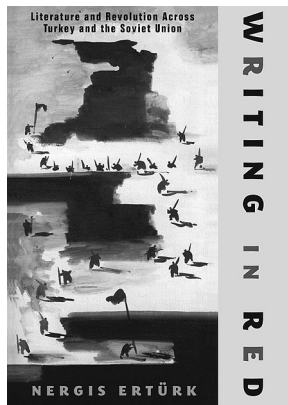
Нергис Эртюрк, автор книги «Красное письмо»¹⁶, видит в истории таких писателей не только важный эпизод становления мировой литературы, но и предис-

14 У В. Хлебникова — «Кавэ-кузнец» (1921).

15 Еще в 1914 г. он писал: «О, если скажет кто-нибудь, что в небе есть аллах, / Дай тут же в зубы болтуну! Бей кулаком, бей смело!» (*Лахути А.* «Когда от верховой езды...» / Пер. с фарси С. Шервинского // *Лахути А.* Стихотворения и поэмы / Сост. З.Н. Ворожейкиной. 2-е изд. Л., 1981. С. 46).

16 *Ertürk N.* Writing in Red: Literature and Revolution across Turkey and the Soviet Union. N.Y., 2024. Из ее работ см. также: *Ertürk N.* Grammatology and Literary Modernity in Turkey. Oxford, 2011.

торию диссидентских движений второй половины XX в. Кроме того, по ее мнению, в постколониальных исследованиях до сих пор недооценивалось историко-культурное значение турецкой Войны за независимость (1919—1923). Победа в ней, одержанная при поддержке большевиков, была вдохновляющим примером для многих народов, также боровшихся с французским, британским и итальянским империализмом. Анкара наряду с Москвой становится в 1920-е гг. местом встреч представителей антиколониальных сил.



Выбрав путь вестернизации, кемалистская верхушка продолжала следить за альтернативным путем модернизации в СССР. Происходил активный обмен официальными делегациями, включавшими в себя деятелей культуры. Так, С. Юткевич, побывавший в Турции по случаю празднования в 1933 г. десятилетия Турецкой республики, снимает фильм «Анкара — сердце Турции», демонстрирующий новый облик страны и ее особый путь модернизации. С другой стороны, такие видные идеологи кемалистского режима, как Фалих Рифки и Якуб Кадри, посетили Первый съезд советских писателей в 1934 г.¹⁷ Используя работы советских писателей и филологов, они стремились создать для Турции новую светскую культуру, способную преодолеть разрыв между элитой и народом.

Кроме того, в рамках политики модернизации, включавшей в себя обширную программу переводов западной литературы, в 1930-е гг. появляются турецкие издания Чехова, Достоевского, Тургенева, Горького, Шолохова и многих других авторов, правда переводили их в основном с французского. При этом Эртюрк, как и Джагалов, отмечает, что культурные контакты не были лишь производными от официальных дипломатических, а имели собственную логику.

Большое влияние на культурные связи оказали и нелегально пересекавшие турецкую границу выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). Хотя они и подвергались репрессиям со стороны кемалистского режима, но все же смогли существенно расширить круг известных в Турции авторов, переводя непосредственно с русского. Публиковали они и собственные сочинения, написанные под влиянием опыта пребывания в Москве. По словам Эртюрк, такого рода тексты, выходящие за рамки официального турецкого дискурса об СССР, составляют альтернативный, весьма гетерогенный культурный архив, рассказывающий о переплетениях большевистской и анатолийской революций, многие обещания которых были перечеркнуты позднее сталинизмом и кемализмом. Влияние этих авторов не ограничивалось межвоенным периодом. Несмотря на ужесточение репрессий в конце 1930-х и бегство из страны многих авторов в 1950-е гг., влияние этой традиции продолжало сказываться в 1960-е и позднее, в контексте деколонизации. В случае Турции, как полагает Эртюрк, разрыва левого интернационального движения на две фазы не было.

По словам автора, до сих пор исследователи уделяли основное внимание воздействию советского авангарда, отчего центральной фигурой оказывался Назым, но не менее важны были исторические романы или эротическая литература. Работавшие в этих жанрах Низаметтин Назиф и Вала Нуреддин, а также другие ав-

17 В речи на съезде Кадри задавался вопросом: «Как реализовать ту самую учебу друг у друга, о которой говорил здесь Алексей Максимович?» И отвечал: «Прежде всего — больше близости» (Первый всесоюзный съезд... С. 345). См. также: *Якуб Кадри Караосманоглу*. Дипломат поневоле: воспоминания и наблюдения. М., 1978.

торы, объединявшиеся вокруг «Иллюстрированного ежемесячника», основного левого литературного издания 1930-х гг. (Зеки Баштымар, Решад Фуад Баранер, Суад Дервиш, Абидин Дино и др.), незаслуженно оказались в тени.

Низаметтин, когда-то вместе с Назымом учившийся в военном-морском училище, в конце 1920-х гг. сначала в газете «Время», а потом отдельными книгами публикует роман «Кара Давуд», действие которого происходит в XV в. и в котором он пытается применить марксистское понятие фетишизации «азиатского деспота»: все на свете свершает деспот как высшая сила. От советских и кемалистских истериков роман отличался натуралистичным изображением убогости крестьянской жизни, а также заметной ролью меньшинств — курдов, алавитов, христиан. Он повлиял на концепцию поэмы Назыма о Бедреддине.

Вала пишет в 1928 г. эротический комедийный роман «Балтаджи и Екатериана», изображающий, по словам Эртюрк, коллапс империй сквозь призму сексуальной революции, но прежде всего он был известен как переводчик М. Зоценко, которого переводил и Назым (позднее, в 1954 г., он пригласит опального Зоценко на чтение своей пьесы «Первый день праздника» в Ленинграде). Назым и Вала по-своему трансформировали советские тексты. Так, в «Душевной простоте» (1927) Зоценко речь идет о том, как в уличной толчее людям наступают на ноги, но они не обращают на это внимания, а в версии Назыма турок постоянно теснят, но они относятся к этому с большим благодушием, даже если им наступают на головы, — из иронической зарисовки советской повседневности рассказ превращается в критику кемализма. В «Мелком случае» (1927) Зоценко герой приходит в театр, но не может заплатить за гардероб, а в пальто его не пускают, в препираниях он пропускает спектакль и, рассерженный, уходит домой; у Назыма же герой прорывается в опустевший зал и сидит там до утра, оказываясь скорее трагической, чем комической фигурой с его неисполнимой мечтой увидеть театр.

Переводы Вала в большей степени следовали оригиналу, но тоже отличались. Сказ Зоценко передается у него как меддах — традиционное с XVII в. рассказывание историй в кофейнях и частных домах. Основанная на импровизации форма меддаха включала в себя имитацию разных стилей речи, представляющих социальные типы, и их утрированное изображение создавало комический эффект, одновременно выявляя напряжение в социальных отношениях. В результате переводимые рассказы становились гораздо более игровыми и драматичными. Так, в «Шапке» (1927) Зоценко рассказывается о машинисте, с которого в пути сдуло шапку, и он останавливает поезд, чтобы пассажиры помогли найти ее; как и у Гоголя с носом или шинелью, преувеличенная важность вещи создает комический эффект. У Вала («Восстановленный порядок», 1929) «шапка» переводится как *şapka*, и главный комический эффект заключается уже в этом. После запрета Мустафой Кемалем в 1925 г. фесок и тюрбанов было предписано носить как раз «шапки» — шляпы европейского образца (так называемая шапочная революция). При этом, так же как у Гоголя утрата носа прочитывалась с сексуальными коннотациями, запрет фесок виделся в те годы как своего рода символическая кастрация, сделавшая новым основанием маскулинной идентичности «шапку». Если у Зоценко речь идет вообще о перепутанности вещей в советской культуре, то у Вала акцент делается на гендерном значении истории, и уже в связи с этим критикуются республиканские идеи прогресса и реформ. Таким образом, заключает Эртюрк, здесь нет иерархии русского и турецкого вариантов, они каждый по-своему подрывают официальные репрезентации Новой России и Новой Турции как успешных примеров ускоренной модернизации.

Вала, отмечает Эртюрк, был одним из немногих, кто сумел обратиться к теме кризиса традиционной маскулинности в межвоенный период, когда и в России, и

в Турции происходят секуляризация брака, либерализация разводов, легализация абортов. Имело значение и то, что после войн многие остались вдовами и сиротами. С другой стороны, революционный аскетизм предполагал мужские, товарищеские отношения без заботы о семьях и «буржуазной» романтической любви. Сам Вала в период учебы в КУТВ женился на армянке и оставил ее с дочерью в СССР, когда вернулся в 1925 г. в Турцию, больше он их никогда не увидит. Не увидит свою московскую жену с ребенком и Назым. Но в те же годы предпринимаются попытки восстановить традиционную роль мужчины. Когда в 1926 г. в Турции был принят новый гражданский кодекс, составленный по образцу швейцарского, женщинам даровалось право на развод и опеку над детьми, но там же говорилось и о мужчине как о главе семьи. Происходит постепенное становление культа Кемаля как отца нации. Переводы Вала и его романы подрывали эти новые формы патриархата.

В том же ключе рассматривает Эртюрк и другие тексты, например «Фосфорическую Джеврие» (1948) С. Дервиш, которая следует сюжету «Матери» Горького, но при этом Ниловна заменена на делающую аборт проститутку, что подрывает характерный для соцреализма миф о величии семьи. Если Ниловна в конце понимает, что все люди — большая семья, то Дервиш, по словам Эртюрк, отказывается мыслить коммунистическое сообщество как гетеронормативное и фаллоцентрическое. Центральным элементом романа Дервиш оказывается любовь. В «Матери» друг Павла Николай говорит, что любовь уменьшает революционную энергию; у Горького любящие друг друга люди разъединены, и происходит типично революционная сублимация чувств. У Дервиш же именно любовь оказывается в центре истории, что предполагает другую субъективность и другую этику действия.

Как отмечает Эртюрк, до 1960-х гг. Дервиш была больше известна не в Турции, а в СССР, где ее переводил Радий Фиш. В 1957 г. выходит перевод «Фосфорической Джеврие», в 1960-м — «Узников Анкары», а в 1969-м — автобиографических «Любовных романов», где Дервиш «переписывает» «Антигону» Софокла: отказ отречься от брошенного в тюрьму брата-близнеца означает для героини социальную смерть. Дервиш была замужем за сидевшим в тюрьме лидером подпольной турецкой компартии и была вынуждена, как и ее литературная героиня, зарабатывать написанием пошлых любовных историй, которые публиковала под чужим именем. Причем текст «Любовных романов» сохранился только в русском переводе, с которого позднее был сделан обратный турецкий перевод, местонахождение же оригинала неизвестно. Вообще, отмечает Эртюрк, изучение истории политически левой турецкой литературы осложняется очень плохой сохранностью текстов, которые издавались подпольно небольшими тиражами, пропадали при обысках, передавались через посредников третьим лицам и т.п.

В самом начале книги Эртюрк рисует сцену тайного собрания в Анкаре в октябре 1922 г. членов запрещенной Народной коммунистической партии Турции. Группа из пяти человек решает разделиться, чтобы разными путями пробраться в Советскую Россию. Среди них были секретарь партии Салих Хаджиоглу, который умрет в советском лагере 1954 г., и Низаметтин, будущий автор «Кара Давуда». Подобным образом Назым в автобиографическом романе «Жизнь — прекрасная штука, брат...» описывает свое трудное бегство из Турции после убийства кемалистами Мустафы Субхи и других руководителей турецкой компартии в 1921 г. Как все эти люди стали коммунистами? Эртюрк придает особое значение Спартакистскому восстанию в Берлине 5—12 января 1919 г. — попытке Коммунистической партии Германии захватить власть в стране по большевистскому образцу. После этого десятки учившихся в Германии турецких студентов были депортированы на родину — они-то и привезли с собой багаж леворадикальных идей, которыми стали де-

литься прежде всего со своими стамбульскими знакомыми из образованных кругов. Характерно, что Назым и Низаметтин были потомками пашей и имели возможность получить хорошее образование. Кларк же в своей книге отмечала, что среди участников Бакинского съезда было много недавних пантюркистов.



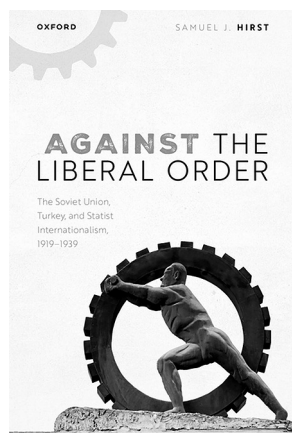
По-своему отвечает на вопрос о происхождении турецких коммунистов и соответственно интерпретирует их тексты Джеймс Мейер в книге «Красная звезда над Черным морем»¹⁸, основанной на изучении материалов российских архивов, прежде всего — личных дел студентов КУТВ, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории. Судьба Назыма помещается в контекст биографий многих других людей его поколения, жизнь которых в 1920-е гг. также оказалась трансграничной¹⁹. По мнению исследователя, большинство приезжавших в Советский Союз и поступавших в КУТВ или же как-то иначе сотрудничавших с большевиками вовсе не были убежденными коммунистами. Многие из них — действительно недавние пантюркисты, искавшие теперь себе нового применения, реализации своих идей в иной форме, под эгидой коммунистического интернационализма.

Значительную часть будущих турецких коммунистов составляли находившиеся в России пленные османские солдаты, у которых после 1917 г. часто не было другого выбора, кроме как пробираться в родную Анатолию, вступив в части Красной армии, и нередко это становилось началом их советской карьеры. Об одном из таких османских унтер-офицеров, учившемся в КУТВ и испытывавшем классовую ненависть к генеральскому внуку, с неприязнью вспоминает Назым в романе «Жизнь — прекрасная штука, брат...». Многие попадали в Советскую Россию как беженцы, поскольку турецкая Война за независимость и связанные с ней невзгоды длились дольше, чем Гражданская война в России, и в 1921—1923 гг. жизнь в Советском Закавказье выглядела более благополучной. Оттуда благодаря земляческим связям многие попадали в Москву и другие города. Чтобы найти работу и выжить, они готовы были сотрудничать с разными советскими учреждениями, в том числе служить в ГПУ или поступить в КУТВ. Отдельную группу представляют собой российские мусульмане, эмигрировавшие в позднеимперский период, имевшие турецкие паспорта, но теперь, после отмены большевиками национальной и религиозной дискриминации, стремившиеся вернуться в Крым, Поволжье, на Кавказ и в Среднюю Азию, готовые ради этого на некоторую политическую мимикрию. Наконец, были и просто туристы, желавшие посмотреть, как выглядит на самом деле пресловутый большевизм. Именно так, а не как бегство, трактует Мейер первый приезд в Советскую Россию Назыма в компании Вала — они дружили еще со времен учебы в элитном стамбульском Галатасарайском лицее (в автобиографическом романе Назым по ряду причин умалчивает о спутнике). Поэзия Назыма предшествовавших поездке лет (1919—1921) аполитична, а до этого отличалась военным шовинизмом. Все эти люди по-своему реагировали на то конкретное окружение, в котором

18 Meyer J.H. *Red Star over the Black Sea: Nâzım Hikmet and His Generation*. Oxford, 2023.

19 Книга продолжает более ранние исследования автора о трансграничных российско-османских контактах в позднеимперский период; см.: Meyer J.H. *Immigration, Return, and the Politics of Citizenship: Russian Muslims in the Ottoman Empire, 1860—1914*. Cambridge, 2007. См. также: *Hamed-Troyansky V. Empire of Refugees: North Caucasian Muslims and the Late Ottoman Empire*. Stanford, 2024.

оказывались. Так, Назым, пока общался с Маяковским и Мейерхольдом, писал авангардные тексты, но по возвращении в Турцию его стихи становились более традиционными. Тексты турецких коммунистов неправильно рассматривать как раз и навсегда подчиненное одной общей идее, — они, считает Мейер, должны прочитываться в контексте конкретных биографий, условий жизни, в том числе трагических последствий закрытия границы в 1930-е гг. и усиления репрессий в обеих странах в конце 1930-х.



Книга Сэмюэла Хёрста «Против либерального порядка»²⁰ посвящена в большей степени сотрудничеству между РСФСР/СССР и Турцией на государственном уровне, стремлению представителей советского и турецкого руководства уйти от тех моделей отношений, что сложились в позднеимперский период. Хёрст отмечает, что в 1920-е гг. между двумя странами было много общего: ощущение отсталости и потребность в модернизации; необходимость борьбы с интервенцией — войсками Антанты, высаживающимися в Мурманске и Одессе, в Стамбуле и Адане. В обеих странах главным двигателем модернизации виделось государство. Особенно тесным сотрудничество становится в 1930-е гг., после Великой депрессии, когда СССР выделяет Турции кредиты и строит на ее территории

заводы, чтобы сделать ее более независимой от промышленного Запада. Несмотря на репрессии против «буржуазных националистов» в СССР и коммунистов в Турции, две страны ощущали себя по одну сторону раздела между Западом с его колониальными амбициями и антиимпериалистическими силами. Обе страны в 1920-е гг. оказались в положении международных изгоев. У обеих имелся печальный опыт внешних заимствований, когда царь и султан жертвовали суверенитетом ради иностранных инвестиций. Разгром левой оппозиции в СССР и поворот к авторитарному правлению происходит примерно тогда же, когда после покушения на Кемаля в 1926 г. проходят чистки в турецком руководстве. «Великая речь» турецкого лидера 1927 г. перекликается с провозглашенным Сталиным годом позже курсом на «великий перелом».

Общее стремление преодолеть прошлое было связано с рядом трудностей. Хёрст подробно анализирует, как в сложных дискуссиях о паритетности торгового баланса, о статусе сотрудников советских торгпредств, о лицензировании турецких товаров вырабатывались представления о равноправных постимперских отношениях. В результате контактов с турецкой стороной большевики пересматривали многое из своих прежних убеждений. Так, К. Юст, в 1920-е гг. работавший в Анкаре и проделавший путь от пресс-атташе до первого секретаря посольства, в стихотворении «Кредо» (1922) писал в духе Бакинского съезда о всеобщих объятиях и единении разных народов. В очерках, публиковавшихся в «Красной нови», он стремился заменить прежний ориенталистский язык описания Турции новым революционным, уйти от старых клишированных образов этой страны. Но постепенно он начинает писать и о том, что турки в одиночку героически сражались против империалистов, а греки и армяне, пойдя в услужение Антанте, их предали, и это диссонировало с пафосом единения в «Кредо».

20 Hirst S.J. *Against the Liberal Order: The Soviet Union, Turkey, and Statist Internationalism, 1919–1939*. Oxford, 2024.

Многие из тех, кто в начале 1920-х гг. ехал в Анкару от черноморского побережья, видели такое, что оставляло самое тяжкое впечатление — даже у бывалых людей вроде М.В. Фрунзе, проделавшего этот путь верхом в 1921 г. Тогда возникла опасность франко-турецких договоренностей, и к Кемалю был отправлен близкий ему по духу военный человек из высшего руководства РСФСР. В письме К.Е. Ворошилову Фрунзе отмечает жуткие следы насилия в отношении греков, их жен и детей, пишет об омерзительности увиденного, но в его письме, отмечает Хёрст, видно также стремление преодолеть в себе симпатию к жертвам, что было непросто, поскольку сочувствие к христианам, «страдавшим под османским гнетом», усиленно культивировалось в царской России. Фрунзе находит греческих женщин похожими на российских крестьянок, а вот наряды турок для него странны и чужды. Его письма в НКВД и Политбюро не оставляют, однако, у читателя сомнений в антиимпериалистическом характере межэтнического насилия. Фрунзе отмечает прямо, душевную теплоту и искренность Кемалю, его недоверие к Антанте. Такое видение ситуации в Турции воспроизводится и в его статье «По ту сторону Черного моря» (1921), опубликованной в журнале «Коммунист». В дневниковых записях он также возлагает ответственность за разрушение большой греческой деревни на стравливающую народы якобы просвещенную Антанту: турецкие греки стали жертвами ее агентов. Схожую позицию занимали советские востоковеды, как это видно по работам «Революционная Турция» (1921) М. Павловича или «История революции в Турции» (1923) женатого на армянке В. Гурко-Кряжина, а также чиновники среднего ранга вроде Е. Адамова, директора архива НКВД, который в первом номере журнала «Международная жизнь», начавшего выходить в 1923 г., писал, что тему христиан до последнего времени использовали для установления внешнего контроля над Турцией, ограничения ее суверенитета. Таким образом, отмечает Хёрст, в 1920-е гг. и позднее происходило расставание не только с шаблонами царской восточной политики, но и со многими принципами раннего советского интернационализма.

Если Джагалов, Кларк и Эртюрк занимаются апологетикой «восточного интернационала», рассматривают советскую «республику словесности» как ценную альтернативу либеральной модели всемирной литературы (как она описана П. Казановой, Ф. Моретти и др.), то Хёрст не ограничивается изучением культурного взаимодействия и уделяет больше внимания проблемным сторонам сотрудничества двух стран. Впрочем, и для его работы важно стремление уйти от европоцентристской перспективы, в том числе от акцентирования советско-германских отношений в истории становления оппозиции «либеральному порядку». Книга Мейера дополняет эти исследования более сложной картиной судеб конкретных людей, их нестабильной самоидентификации с большими культурными и идеологическими проектами. Таким образом, если четыре года назад Джагалов сожалел о слабом интересе к такого рода темам, то исследования последних лет демонстрируют довольно большое разнообразие подходов и трактовок, которые заслуживают дальнейшего обсуждения.

Дмитрий Колчигин

(Не)вымышленные истории перед судом истории

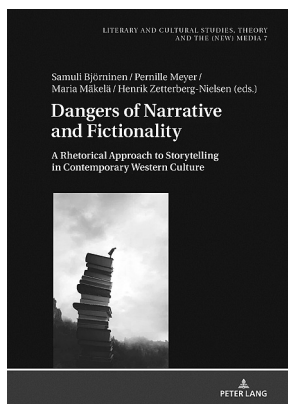
DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_314

Dangers of Narrative and Fictionality: A Rhetorical Approach to Storytelling in Contemporary Western Culture /

Ed. by S. Björninen, P. Meyer, M. Mäkelä, H. Zetterberg-Nielsen.

Berlin: Peter Lang, 2024. — VII, 292 p. — (Literary and Cultural Studies, Theory and the (New) Media).

Сборник статей «Опасности нарратива и фикциональности» стоит в одном ряду с несколькими новейшими англоязычными изданиями, посвященными потенциально манипулятивной природе повествовательных практик¹. Выделяет же его весьма радикальный подход к проблеме — с позиций так называемой историо-критической нарратологии (story-critical narratology), подразумевающей критику всякой фикциональности в риторизованных информационных средах². Составители утверждают, что нарративность и все, что с ней связано (повествовательность, во-ображение, риторическая инвентивность), лишь отчасти может считаться ценным активом человеческой культуры; в немалой степени это еще и опасный инструмент так называемой постправды. Нарративная психология, эмпирическая филология и когнитивистика специально не занимаются связанными с этим проблемами, в отличие от историо-критической нарратологии, которая «фокусируется на риторике и этике» (с. 11).



Книга-стихотворение Анри Волохонского «Филологу» (2005) открывается вступлением о нарратологии, где саму эту «недавно возникшую отрасль словесной науки» предлагается называть, от немецкого слова *Narr*, дураковедением. С тем же корнем, образно говоря, все чаще в последнее время ассоциируется сам нарратив: в нем видят некую манипулятивную конструкцию, искусственную полуреальность, специально выстроенную для одурачивания реципиента. Новейшая нарратология в этом свете приобретает неожиданные свойства: она сближается с научным рецензированием, с фактологическим контролем, берет на себя едва ли не расследовательские функции. С другой стороны, эту надзорную службу нарратологи XXI в. от-

правляют с выраженным упором на личную и социальную этику, на вопросы нрав-

- 1 См., например: *Brooks P. Seduced by Story: The Use and Abuse of Narrative*. N.Y., 2022; *Narrative Research Now: Critical Perspectives on the Promise of Stories* / Ed. by A. Barnwell, S. Ravn. Bristol, 2023; *The Use and Abuse of Stories: New Directions in Narrative Hermeneutics* / Ed. by M.P. Freeman. Oxford, 2023.
- 2 Ее основатели возводят свою систему к учению Ж.-Ф. Лиотара о доминанции микро-нарративов в современном обществе (см.: *Meretoja H. The Narrative Turn in Fiction and Theory: The Crisis and Return of Storytelling from Robbe-Grillet to Tournier*. L., 2014). Рецензируемому сборнику непосредственно предшествуют статьи М. Мякеля:

ственной ответственности во взаимоотношениях нарратора и адресата. Можно поэтому сказать, что современная наука о нарративах при всей ее технологичности остается гуманитарной наукой в самом высоком смысле слова.

С чем же связано это дурное перерождение нарратива, как и почему изначально нейтральное понятие обросло негативными коннотациями? Этим вопросом в самом начале сборника задается австралийский поэт и филолог *Пол Доусон*³ в статье под названием «Дурная репутация»; характерно, что сам оборот *Bad Press* в оригинале не только указывает на проблему, но и, по существу, содержит в себе прямое указание на массмедиа как на причину и транслятор резко совершившегося понятийного переворота. Долгое время, пишет Доусон, понятие о нарративе ассоциировалось с литературой как искусством, с человечностью личного повествования и оттого оставалось неотъемлемой частью гуманистического самосознания⁴, в последние же годы оно крепко увязалось с манипулятивными практиками и дезинформацией⁵. Доусон называет четыре направления, исказивших и преобразивших нарративный терминологический ряд: политическая агитация, общественная деятельность, корпоративный брендинг и реклама; впрочем, как явствует из всей дальнейшей аргументации (не только Доусона, но и других авторов сборника), политическое осмысление нового нарратива выглядит несомненно главнейшим, а все другое лишь сопутствует ему.

Популяризация термина «нарратив» приблизительно совпала по времени со стремительной политизацией социальных сетей. В результате само понятие о нарративе, как и все в чисто сетевом бытии, оказалось не только переосмыслено, но и в немалой степени просто обесмыслено, сделавшись журналистским клише. Доусон (кажется, единственный из авторов сборника) не обходит эту сложность стороной — и предлагает чисто лексикографическое решение: необходимо составить список возможных синонимов и аналогов, а затем сличать его с «нарративом» в журналистском словоупотреблении. Заметим, что этот деконструктивистский метод подразумевает опосредованное возвращение к идее, а не твердое ее понимание от начала. Кроме того, синонимом «нарратива» может, судя по всему, оказаться

Mäkelä M. Lessons from the Dangers of Narrative Project: Toward a Story-critical Narratology // Tekstualia. 2018. Т. 1. № 4. S. 175—186; Eadem. Disagreeing with Fictionality? A Response to Richard Walsh in the Age of Post-truth Politics and Careless Speech? // Style. 2019. Vol. 53. No. 4. P. 457—463; Mäkelä M., Björninen S., Karttunen L., Nurminen M., Raipola J., Rantanen T. Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy // Narrative. 2021. Vol. 29. No. 2. P. 139—159.

- 3 В контексте рассматриваемой книги совмещение художественной деятельности с текстурально-критической само по себе небезынтересно. Недавно вышедшая книга Доусона «История художественной правды» посвящена зарождению литературного реализма и может быть рассмотрена параллельно с литературоведческой частью сборника: *Dawson P. The Story of Fictional Truth: Realism from the Death to the Rise of the Novel. Columbus, 2023.*
- 4 То есть примерно с конца 1970-х гг. В сборнике речь почти всегда идет о концептах и терминах, а не о самом явлении литературного повествования, поэтому история нарратива совпадает с историей нарратологии. Отметим к тому же, что уже у Джона Сёрла многие нарратологические понятия были осмыслены в негативном ключе, возвращены к платоновскому пониманию художественности как лжи.
- 5 Поворотным пунктом Доусон считает кн.: *Fernandes S. Curated Stories: The Uses and Misuses of Storytelling. Oxford, 2019.* А первым симптомом — журналистские публикации 2015 г. о «нарративном переизбытке» в политической риторике Барака Обамы. В рецензируемом сборнике рассматривается сравнительно широкий срез международной прессы: это и скандинавские, и австралийские, и западноевропейские издания, но североамериканская пресса все же превалирует.

любое слово, хоть как-то связанное с ментальными конструкциями: примерный список таких синонимов, данный в статье Доусона, выглядит так: «типичный образ или оборот, мнение, идея, “месседж”, аргумент, (частная) перспектива или нарочная выдумка», «мировоззрение» (с. 30, 38). Семантическое обобщение кажется безмерным: во всяком случае, такой подход позволит вписать в нарративный (или антинарративный) дискурс практически любую публикацию вне зависимости от ее жанровой, тематической или идеологической принадлежности.

Более конструктивным видится подробный анализ английского словоупотребления с разграничением между определенным *the narrative* и неопределенным *a narrative*⁶. Первый представляет собой устоявшуюся систему общественных взглядов, так называемый культурный сценарий, а второй, как предполагает газетный язык американской прессы, означает индивидуальные взгляды, борющиеся за всеобщее признание и противопоставленные другим нарративам того же «неопределенного» статуса⁷. Жизнеспособный нарратив⁸ в цикле своего развития проходит три стадии: индивидуальную (высказывание на уровне личного мнения), «неопределенную» (*a narrative*, разделяемый небольшим количеством нарраторов) и «определенную» (*the narrative*, заново перестроенный для массовой публики по образу малого нарратива из предыдущих стадий). Здесь же рассматривается и состав глаголов, которыми чаще всего описывают возникновение нарратива: все они, по словам автора, подчеркивают «сомнительную природу» самого явления. Впрочем, его примеры не вполне доказывают это: с одной стороны, нарративы «стряпают» и «сплетают», а с другой — о них говорят и вполне нейтрально: они, например, «создаются». Целая группа глаголов указывает на искусственное, техническое происхождение нарративов («выстраиваются», «складываются», «изготавливаются»), что само по себе не имеет негативного значения и только в отдельных случаях связывается с корыстью и выгодой определенных групп. Доусон, однако, видит все в ином свете: «создание» нарративов в его системе обязательно указывает на их фикциональность, а «выстраивание» непременно ассоциируется с противоестественной фабрикацией ложных идей. Более того, терминологическая связь нарративности с художественным произведением оказывается, по Доусону, катализатором для возникновения новейших контрлитературных течений⁹.

Но именно в этом разделе, в связи с глагольными формами, Доусон неожиданно проводит линию разграничения между нарративами и произведениями литературы: и то и другое, пишет он, «творят» и «сочиняют», однако нарратив,

-
- 6 В этом объемном разделе автор развивает тему, ранее затронутую им в статье: *Dawson P. What Is “The Narrative”? Conspiracy Theories and Journalistic Emplotment in the Age of Social Media // The Routledge Companion to Narrative Theory / Ed. by P. Dawson, M. Mäkelä. N.Y., 2022.* В методически схожем духе написана статья П. Мейер об использовании второго лица как проективной методики в художественной прозе.
 - 7 Это любопытное наблюдение местами превращается в догматический принцип: цитаты, плохо укладывающиеся в такую систему, Доусон полностью перетолковывает и вписывает в новый контекст. См., например, его интерпретацию слов экс-прокурора Ника Акермана (с. 34).
 - 8 См.: *Frenkel S. How Misinformation “Superspreaders” Seed False Election Theories // The New York Times. 2020. November 23 (<https://www.nytimes.com/2020/11/23/technology/election-misinformation-facebook-twitter.html>). Экспансивность принимается здесь за неотъемлемую природу всякого нарратива; искусственные механизмы для продвижения нарративов, а также сама возможность существования условно интровертивных нарративов в книге не рассматриваются.*
 - 9 Один из примеров такой внутрикультурной антинарративной реакции — французский «новый роман» середины 1950-х гг. См.: *Meretoja H. The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford, 2018.*

в отличие от литературных «артефактов», представляется реципиенту не как цельное произведение, а как череда разрозненных заявлений, производящих нужное впечатление по своей совокупности. Уточнение представляется критически важным и, пожалуй, в целом противоречит общему подходу, заданному в сборнике: составители, скажем, определяют нарратив как «репрезентацию личного переживания определенных событий» (с. 19; в этом смысле нарративность может как сходиться, так и расходиться с литературной фикциональностью), а целый раздел книги (с. 141—210) посвящен романным, то есть чисто художественным, нарративам.

Американский исследователь историзма Хейден Уайт еще в начале 1970-х гг. выстроил теорию «исторического нарратива», согласно которой все выдающиеся историки прошлого работали в рамках литературной традиции и организовывали материал по жанровым повествовательным принципам. Историографические тексты распределяются Уайтом по четырем жанрам (роман, трагедия, комедия и сатира), причем каждому жанру строго соответствует определенный риторический троп, а исторический сюжет в целом выстраивается по рамочным принципам одной из четырех идеологических позиций¹⁰. Удивительным образом это структуралистское схематичное допущение находит полное отражение в современной нарратологии: как только дискурс начинает опираться на «язык нарратива», он, по утверждению Доусона, сам становится нарративом и может быть рассмотрен извне, как чистая риторика без внутреннего содержания. На этом основании можно, например, говорить, что политики обращаются «к языку романа или трагедии» (с. 38), когда пользуются в своих речах исторической аргументацией: сама эта аргументация тоже вписана в тот или иной историографический нарратив.

Для Доусона концепция нарративизации как обоюдоострого феномена служит своего рода политическим оправданием: если в других статьях сборника явление политического нарратива связывается с риторикой американских республиканцев, то здесь структурное обобщение делает возможным использование и других примеров. В частности, речь заходит о демократически настроенных журналистах, критикующих республиканские нарративы с помощью своих собственных: они «знают, что нарративы вредны, но, как зависимые курильщики, не могут удержаться от нарративизации» (с. 37)¹¹. Отсюда — вывод: партийная политика в значительной степени представляет собой конкуренцию нарративов. Доусон идет еще дальше, утверждая: если прежде под конкуренцией нарративов понималось столкновение разных интерпретаций того или иного события, произошедшего в действительности, то сейчас речь идет уже о «построении различных версий» самой этой действительности (с. 40). Тотальная релятивизация опыта приводит к тому, что содержание нарративных моделей оказывается несовместимо с самим явлением кри-

10 См.: Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. Екатеринбург, 2002. См. также: *Он же*. Практическое прошлое / Пер. с англ. К. Митрошенкова, А. Арамяна. М., 2024. Позитивистским ответом на подобную критику может служить книга Карло Гинзбурга «Соотношение сил» (2000): Гинзбург К. Соотношение сил / Пер. с итал. М. Велижева. М., 2024.

11 Это хорошо вписывается в постмодернистскую доктрину панфикционализма: любая попытка говорить о реальности опосредована языком, и потому всякое высказывание в явном или скрытом виде оказывается фикциональным (см. об этом: Ryan M.-L. Postmodernism and the Doctrine of Panfictionality // Narrative. 1997. Vol. 5. No. 2. P. 165—187). Дж. Фелан, — еще один автор рецензируемого сборника, статья которого будет подробно рассмотрена ниже, — указывает (на с. 84—85), что невозможность разграничить фикциональность и нефикциональность происходит от изначальной путаницы между конструкцией (фабрикацией факта) и инвенцией (приведением материала в упорядоченное состояние).

тического мышления и опасно приближается к так называемым теориям заговора. И нарратив, и теория заговора методически направлены к одной цели: к осмыслению опыта через установление мнимых связей, возводящихся к некоему единому замыслу. В такой ситуации наиболее частой и наиболее предсказуемой реакцией становится, как пишет Доусон, отбрасывание любых конкурирующих (и, добавим, просто неудобных) взглядов; «нарратив» в этом смысле становится не более чем пейоративным ярлыком, позволяющим заведомо отвергнуть ту или иную систему взглядов. Подобное понимание нарратива опять-таки не вполне согласуется с тем вышеописанным представлением, согласно которому нарратив в общественном дискурсе проявляется главным образом как отрывочные высказывания. И удивительным образом обнаруживается, что в рамках заданного метода антинарративная реакция сама по себе, по всем формальным признакам, становится одним из конкурирующих нарративов и с тем же основанием может быть отвергнута. Когда система входит в дурную бесконечность, то, вероятно, где-то в ее основаниях следует искать замкнутый доказательный круг или, как в нашем случае, терминологическую инфляцию, при которой само ключевое понятие оказывается переполнено общими смыслами.

Обесценивание нарратива как понятия привело риторизированный околополитический дискурс к необходимости что-то противопоставить этому повсеместно проникшему и в общем виде негативизированному концепту. По Доусону, в качестве контрнарративного термина лучше всего (в функциональном смысле) применять слово «история» (как рассказ: *story*). По наблюдениям автора, термин этот, давно прижившийся в журналистике и, по существу, обозначающий весь новостной жанр как таковой, стал в последние годы приобретать новые оттенки смысла; теперь «история» означает «расширение личных прав и возможностей, предоставление голоса отдельному человеку» (с. 42—43). Но что в таком случае отделяет «историю» от «неопределенного» нарратива, который, как мы видели, понимается в качестве диссеминации личного опыта? Каким образом *story* может вывести из нарративного поля, если сами авторы обозначают нарративную фикциональность как *storytelling*? Доусон об этом не пишет. Более того, выдвинутое им представление об «истории» оказывается чисто риторическим и даже удивляет своим возвращением к поэтике: этика «истории» основывается на «силе возвышенного» (с. 45), то есть, собственно, на преимуществах высокого риторического стиля в наиболее классическом его понимании.

Самым непредсказуемым образом антириторическая тенденция оборачивается чисто риторической: реалистический нарратив (история), в отличие от нарратива мифического (фикционального), характеризуется возвращением к античной системе трех стилей, подобающих для жанрового высказывания; соответственно — вспомним явные отсылки к структурализму Уайта — антинарративная нарратология подразумевает также и жанровую чистоту. Еще Эрх Аурбах, фактический основатель антириторического литературоведения, в своем «Мимесисе», напротив, производил само явление европейского реализма от стилистического смещения, начавшегося вместе со сломом классической традиции. Доусон же утверждает, что сегодняшнего нарратора к действительности приближает не гуманистический «смешанный стиль», а жанровая дистилляция и эстетика «возвышенного». Эти важные суждения, заставляющие пересмотреть целые филологические традиции и нуждающиеся в развернутом изложении, преподносятся сегментированно и скорее мозаично складываются, чем последовательно разъясняются. Между прочим, это, по той же теории, есть типичное свойство фабрикации нарратива.

«Конкурирующие нарративы до такой степени отрываются от фактов и мировых событий, что теряют уже свою референтность; нарративу в таких обстоятель-

ствах противопоставляется не ненарратив, а действительность» (с. 48). Вывод интересный, и в целом он обобщает всю «социально-политическую» часть сборника¹²: без полной маргинализации риторики прорыв к реальности невозможен, в то время как нарративная конкуренция только подпитывает среду постправды. Есть здесь, впрочем, и проблемные точки: почему, например, ненарратив оказывается бесполезным, ведь в книге вполне убедительно показано, что главная и наиболее сложная задача нарратора — выйти за пределы нарратива? Каким образом сама действительность — без ее изображения — может быть задействована в речевом акте? Наконец, как достигается нарративное высвобождение? Никаких конкретных стратегий в том, что касается последнего вопроса, книга, увы, не предлагает, если, конечно, не считать неясное упоминание об «истории», якобы способной заменить обесценившийся «нарратив».

Невозможность выйти за границы нарратива остается, таким образом, главной экзистенциальной проблемой антинарративного анализа. Аргументация проходит по диаллели и в любой момент может стать своего рода самоопровержением; пожалуй, можно заключить, что нарратологическая активность в области социологии сталкивается с пока еще не преодоленными препятствиями¹³. Неудивительно, что наиболее последовательным и наименее проблематичным разделом сборника оказывается его чисто нарратологическая — в исконном смысле — часть, посвященная литературным и вообще художественным повествованиям. В этом плане центральными становятся статьи *Джеймса Фелана* (живого классика американской нарратологии, главного редактора журнала «Narrative») и

12 Упомянем здесь статью *Луизы Брикс Якобсен* об «Опасностях медиамистификаций». Автор фокусирует внимание на сетевых розыгрышах (hoaxing), выстроенных с использованием новейших технологий, ищет новое определение для подобных мистификаций («ложное сообщение, специально созданное так, чтобы быть разоблаченным», с. 70) и формулирует существо такого рода «уток» через следующую аддицию: «введение в заблуждение + фикциональность» (с. 71). Этические проблемы, связанные с явлением сетевых мистификаций, однозначно указывают на опасность обмана, но никак не связываются с признаками художественности. Якобсен пользуется методическими наработками из «Десяти тезисов о фикциональности» Нильсена, Фелана и Уэлша (*Nielsen H.S., Phelan J., Walsh R. Ten Theses about Fictionality // Narrative. 2015. Vol. 23. No. 1. P. 61–73*) и, в частности, воспроизводит их формулу: «Когда, где, почему, с какой целью и для какой аудитории используется фикциональность?» — как рамку для анализа мистификаций. Пожалуй, понятие о фикциональности оказывается в данном случае чужеродным, и его естественнее было бы заменить на «введение в заблуждение» как центральный — собственно мистифицирующий! — оператор. Сама формулировка «когда, где, почему, с какой целью и для какой аудитории» чисто риторическая и восходит к позднеантичным образцам, ср. комментарии Сервия к Вергилию и Боэция — к Порфирию. А *Ханна-Риikka Ройне* в статье о нарративной форме в социальных сетях вводит разграничение между формами содержания (forms of content) и формами субъектности (forms of agency) — не стоит ли усматривать здесь возвращение к схоластической концепции модусов высказывания и дантовской паре «forma tractatus — forma tractandi»? Влияние массовой культуры в статье Ройне называется бардовским, так называемые инфлюенсеры сравниваются там же с риторическими *exempla* как образцовыми фигурами, а нарратив инфлюенсеров именуется сентеционным (с. 105–106). Вновь можно заметить, что антириторический метод у современных нарратологов чаще всего кусает себя за хвост (нарратология против нарративов).

13 Здесь можно упомянуть статью *Яркко Тойкканена* и др. (с. 119–140), где наиболее очевидные лакуны социологической нарратологии (в этой статье она так и названа) восполняются за счет филологических и культурологических концепций М. Бахтина, просто введенных авторами в текст себе на подмогу.

Сары Копленд. Статья Фелана касается кинематографического жанра документальной драмы, рассмотренного на примере фильма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» (2020), а статья Копленд посвящена фикциональности, инвенции и «процессу создания знаний» в романе Джозефа Конрада «Случай» (1913).

Исследование Копленд особенно примечательно тем, сколько слоев интертекстуального модернистского нарратива оно затрагивает: это и внутрисюжетный план (вымышленный рассказчик Чарльз Марлоу), и точка зрения автора как демиурга (ремарки «всезнающего» внешнего нарратора внутри самого романа, при помощи которых достраивается или даже меняется наррация Марлоу, представленная как цитируемый, воспроизводимый устный рассказ), и паратекстовые комментарии автора как нарративного методолога (предисловия и примечания Конрада, в которых он излагает свою писательскую стратегию). Статья открывается обширным теоретическим введением, в котором обосновывается подход Копленд к теории фикциональности: введение это во многом проясняет общие теоретические основания, на которых построены основные статьи сборника, и тесно связано с работами Фелана. В статье последнего также есть крупный раздел о фикциональности и ее риторическом изводе. Вместе Фелан и Копленд дают достаточно подробный очерк современной фикционалистской теории, корнями уходящей к «Риторике фикциональности» Ричарда Уолша¹⁴.

Так, Фелан рассматривает фикциональность в параллели с нефикциональностью, что углубляет теорию нарратива и позволяет разграничивать нарративные, анти- и ненарративные элементы дискурса, — именно этого не хватает нарратологам социологического склада. Нефикциональность определяется как интенциональная коммуникация с прямой ссылкой на реальное положение дел; речь идет о сообщении, интерпретации, оценке или «ином взаимодействии» (с. 82); фикциональность же опирается на инвенцию¹⁵ для привлечения внимания аудитории к нефактическому положению дел. При этом фикциональность и нефикциональность онтологически не противопоставлены, скорее они всего лишь «по-разному сообщают о реальном мире» (с. 83). Это весьма интересный подход¹⁶, позволяющий сгладить большинство противоречий, характерных для социально-политической нарратологии, стремящейся нащупать свою дорогу к человеческой действительности. Более того, экономика фикциональности и нефикциональности такова, что две эти категории, даже будучи исключительно широкими полями коммуникативного дискурса, не занимают весь дискурс в его целостности. Фелан выделяет гибридные

14 Walsh R. *The Rhetoric of Fictionality: Narrative Theory and the Idea of Fiction*. Columbus, 2007. Эта книга продолжает в нарратологическом ключе идеи У.К. Бута, изложенные в его знаменитой «Риторике художественной прозы» (*Booth W.C. The Rhetoric of Fiction*. Chicago, 1961). Многие вопросы авторской этики и ответственности, поставленные современными нарратологами, у Бута также уже разрабатывались.

15 Термин из классической риторики, означающий подбор материала. В английском тексте слово *invention* может пониматься как «измышление, вымысел»; очень вероятно, что из таких лексико-семантических переходов, сходных в чем-то с так называемыми ложными друзьями переводчика, и складывается «дурная репутация» риторических приемов. Во всяком случае, это кажется более вероятным, чем теория о разрушительном влиянии журналистских публикаций в американских республиканских СМИ.

16 По существу — традиционный: на схожих предпосылках базируется сама идея о литературно-критических толкованиях («тематических прочтениях» в терминологии Фелана) художественной литературы. Однако в рамках рассматриваемого сборника такой подход нетипичен и сильно выделяется на общем фоне.

формы нарратива¹⁷, но еще можно предположить существование параллельных смысловых и риторических структур: например, область религиозного и мистического опыта (в том числе речевого) явно следует считать сложным третьим; соответствующую сторону гуманистического дискурса все авторы сборника обходят молчанием, а ведь это достаточно богатый материал на тему опасностей нарратива.

Фикциональность высказывания определяется интенцией говорящего, а не самим соотношением между высказыванием и действительностью, — такое уточнение позволяет гораздо отчетливее разграничивать ложь и художественность, повсеместно отождествленные у нарратологов новой генерации. Нефикциональность может быть как верной, так и ошибочной или ложной, и в последних двух случаях ее нельзя отождествлять с фикциональностью. По словам Фелана, «ложь не является подмножеством фикциональности, скорее это употребление нефикциональности с целью обмана» (с. 83—84). Это абсолютно необходимое уточнение, которое ставит на свои места целый ряд тезисов из «социополитической» части сборника, а также позволяет лучше упорядочить приведенный там фактический материал. Без этого уточнения всякое рассмотрение фейков, мистификаций, предвыборных лозунгов и социально-сетевых информационных кампаний с точки зрения нарратологии и теории фикциональности в какой-то момент непременно подступает к фундаментальному противоречию, к тотальной диктатуре фикции, в которой нет места ни фальсифицируемости, ни верифицируемости¹⁸. Эти методологические обобщения, восходящие к упомянутой выше статье Нильсена, Фелана и Уэлша «Десять тезисов о фикциональности», помещены в первый раздел, посвященный нарративам «публичной сферы», но их можно соотнести со всеми поставленными в сборнике вопросами и проблемами. К тому же именно эта теоретическая база представляется наиболее твердой и именно она подошла бы разделам о сетевой риторике и политических нарративах. Но социологическая нарратология движется иным путем: составители сборника предупреждают читателя, что взгляды классических нарратологов, таких как Фелан, представлены в книге скорее для полноты, а по-настоящему их привлекает иной подход (очевидно, применяемый социологами-сетевиками), при котором нарратив понимается как «репрезентация того, как некто пережил некие события» (с. 19), и строго противопоставляется фикциональности.

Последнее, впрочем, проявляется лишь в одном: некоторые из авторов отказываются от самого термина «фикциональность»¹⁹ и пользуются парафразами, не разрывая при этом внутренней связки с нарративом (так, Доусон опирается на Уайта, видного апологета теории панфикциональности). Не меньше проблем и с опреде-

17 К ним можно отнести и рассмотренные Якобсен мистификации. При таком подходе формулу «введение в заблуждение + фикциональность» следовало бы заменить на более выразительную: «(нефикциональность + фикциональность) — нефикциональность», что указывало бы на смешанную природу такого нарратива и на его стремление в итоге разоблачиться от внешних признаков нефикциональности.

18 Вспомним, что в статье Якобсен обман и фикциональность входят в такое диалектическое единство, что этические проблемы в конечном счете связываются не с обманом, а с фикциональностью. Фелан предлагает понимать ложь как «нефикциональность, лишенную этики» (с. 84), и тем самым обходит подводные камни, которых большинству других авторов избежать не удается.

19 Например, в статье Тойкканена и др., посвященной превращению бытовой рутины в контент видеоблогов, используется термин «рассказывание» (storytelling), по смыслу не отличающийся от «фикционализации»; в статье Ройне «фикциональность» во всем аналогична «художественности»; *Хенрик Цеттерберг-Нильсен* в статье «Опасности фикциональности, человеческой сексуальности и сексуальных фантазий» отождествляет фикциональность с самой функцией человеческой фантазии без каких бы то ни было внешних интенций и коммуникативных свойств.

лением, предложенным составителями: как, например, вписать в него авторские самотолкования Конрада или политические нарративы, граничащие с теориями заговора? Получается, что две условно выделяемые части книги, одна — о сетевых формах коммуникации, другая — о художественных произведениях, расходятся в методических стратегиях и общей терминологии²⁰. Так, Фелан и Копленд не опираются на Уайта, а скорее работают в рамках традиции, заложенной, как уже было сказано, Уолшем. При этом Копленд дополняет понятийно-концептуальный ряд Фелана с помощью уолшевской «Риторике фикциональности». Например, она пишет, что в случаях с нарративами смешанной породы, такими как художественное высказывание с нефикциональными элементами, классификация становится индикативным элементом, позволяющим оценивать риторические модусы и определять, какой из них доминирует (слово «модус» здесь тоже от Уолша). Нарратолог-литературовед, как указывает исследовательница, призван к тому, чтобы выявить удельный вес инвенции внутри фикциональной системы (это продолжение идеи Фелана об инвенции как медиуме фикциональности). Особого внимания в этом смысле заслуживает кропотливая работа Копленд с комментариями и предисловиями Конрада к собственным сочинениям; такого рода «паратексты» вообще лежат в основе теории фикциональности, как она разработана Уолшем²¹, но здесь этот классический подход дополнен параллельным сопоставлением сразу нескольких дискурсов: фикционального (текст романа с речью его героев), нефикционального (сопутствующие замечания автора) и смешанного (речь автора внутри романа). В первом случае речь идет о «непрямой коммуникации» (развитие концепции Фелана о нарративе персонажей²²), во втором — о «намеренно сигнализируемой» инвенции, в третьем — об «интерпретативном соответствии» (с. 146). Обращение к сочинениям Конрада следует признать удачным решением: этот автор был последовательным сторонником миметического искусства и в то же время пользовался техниками усложненного нарратива с элементами гипертекстуальности. Так, отвечая критикам и литературоведам, он подробно описывал свои источники и в описаниях этих упоминал о личных встречах со своими персонажами и ссылался на вымышленные исторические труды. Фикциональность как риторический ресурс позволяет писателю одновременно приоткрывать инвентивные механизмы художественного произведения и, как пишет Копленд, «сообщать о границах собственного знания» (с. 149).

Последнее также является частью риторического арсенала и тоже может считаться средством для конструирования достоверности, создания «видимости или впечатления правды» (с. 150). То же касается и художественного моделирования, когда персонажи или события напрямую восходят к реальным людям или историческим инцидентам, но при этом обретают в произведении новую жизнь и функционируют по-своему. По мнению Конрада, художественное видоизменение правды не только не приближает ее к обману, но даже напротив — позволяет сделать правду более достоверной, подводит ее к читательскому восприятию. Инвенция и фикционализация, таким образом, могут не только функционировать в рамках

20 При чем те и другие статьи не сгруппированы друг с другом, а распределены по разным разделам. Так, статья *Самули Бьёрнинена* о дидактических свойствах современной прозы находится в четвертой главе («Теория риторической фикциональности в широком применении»), статья Фелана о киноискусстве — в первой («Нарратив, фикциональность и публичная сфера»), а статья Копленд — в третьей («Перепозиционирование романа»), но все они написаны в схожей технике и касаются фикциональных нарративов в исконном смысле.

21 См.: *Walsh R.* Op. cit. P. 130–147.

22 См.: *Phelan J.* Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Columbus, 2005.

«искусства обмана» (традиционный философский взгляд на риторику, воспринятый современной социальной нарратологией²³), но и подкреплять действительность в ее нарративном отображении. Как показывает Копленд, соотношение истины, выдумки и правдоподобия занимало Конрада настолько, что свод его сочинений, художественных и паратекстуальных, можно рассматривать как своего рода нарратологическую сумму, в которой «почти за сто лет до появления теории фикциональности» (с. 162) уже отражены или даже напрямую сформулированы все главные вопросы: методические, конструктивные, этические.

Функционал внутритекстового нарратора как инвентивной структуры внутри другой инвентивной структуры настолько имманентен реалистической литературе, что нарративизация нефикционального «разговорного повествования» (вспомним, что в системе Уолша — Фелана большую роль играет сама интенция говорящего, будь он автором или персонажем) есть явление неизбежное. «Но неизбежное, — добавляет Копленд, — не означает беспроблемное или безвредное» (с. 161): в статье, например, показано, что искаженный нарратив Марлоу (как рассказчика и в то же время участника событий) сеет между героями раздор и ушибы. Копленд полагает, что Конрад исподволь указывает здесь читателю на «опасности» нарративных искажений в бытовой жизни²⁴. Конрад и Марлоу пользуются инвенцией схожим образом, но с разным результатом. Копленд выделяет три переменные, различающие автора и нарратора: перевес фикционального (в случае автора) или нефикционального (в случае нарратора); разная степень удаленности от событий (автор только сообщает о них, а нарратор участвует в них непосредственно); разный подход к риторической инвенции (автор о ней хотя бы отчасти сигнализирует, нарратор же ее маскирует).

Четкость этой литературоведческой системы и конкретность выводов, к которым она подводит, заставляют задуматься о социально-сетевой нарратологии, шаткой и внутренне противоречивой доктрине, которая, на первый взгляд, оперирует теми же понятиями на том же уровне категорий. Отчасти, наверное, это можно объяснить степенью фактической разработки двух техник: если литературоведческая нарратология существует десятки лет, а тематически (в иных терминах) разрабатывалась еще дольше, то нарратология современного информационного пространства делает пока первые шаги (не обращая даже к достижениям уже сравнительно давно существующей когнитивной нарратологии). Впрочем, насколько вообще правомочна эта текстуализация окружающего мира с последующей критикой его повествовательной природы? Как было показано, в тематическом отношении сборник «Опасности нарратива и фикциональности» представляет собой две книги под одной обложкой: одна часть статей составляет условный блок, объединенный социально-

23 Ср. рассуждение Фелана о фильме Соркина, который Фелан находит неэтичным по отношению к реальным членам «чикагской семерки». В этом смысле разница между смешанным нарративом у Конрада и у Соркина тоже восходит, во-первых, к интенции, во-вторых — к коммуницируемому замыслу (реальные люди как прообразы, с одной стороны, и образы реальных людей — с другой), а в-третьих, пожалуй, просто к уровням мастерства.

24 Идея об опасностях нарратива и фикциональности, высказанная в названии сборника, в некоторых статьях (литературоведческих и культурологических) вводится как будто вынужденно, по необходимости. Название статьи Копленд с цитатой из «Случая» («Это никому и никогда не повредит») явно выбрано с тем, чтобы так или иначе вынести на критическое обсуждение само понятие об «опасностях» риторизированного дискурса. Последняя статья сборника — «Опасности фикциональности...» Цеттерберга-Нильсена — и вовсе завершается решительным выводом, согласно которому эротическая фикциональность обладает психотерапевтическим эффектом и никаких опасностей в себе не заключает.

политическим содержанием, вторая же обобщает некоторые достижения новейшей нарратологии в области литературы и искусства. Такая структура, особенно учитывая произвольную группировку статей, сама по себе создает немало проблем, первая из которых — столкновение плохо совместимых терминологических систем: авторы переосмысливают базовые понятия каждый по-своему, что заставляет заново оценивать понятийный ряд в каждом отдельном случае. Лишь внутри пар «Доусон — Якобсен» и «Фелан — Коппенд» семантические круги сходятся достаточно плотно.

О научном значении двух частей сборника судить тоже можно по-разному. «Искусствоведческий» раздел силен и интересен; в нем представлено несколько работ из киноведческой, литературоведческой, исторической сфер, и работы эти объединяют, во-первых, принятие единой нарратологической системы, унаследованной от классиков внятную понятийную структуру, а во-вторых — позитивистская конкретность материала и филологическая точность умозаключений. Как ни странно, авторы статей, наиболее обоснованных в научном смысле, вынуждены делать разного рода оговорки²⁵. Подход Фелана, вполне традиционный, у составителей вообще представлен как отдельно стоящая замкнутая система, не сходящаяся с новыми представлениями о существовании риторического. Если Фелан, как и положено, спрашивает об авторском намерении, то Бьёрнинен и др. усматривают этические дефекты в самих речевых структурах. Но можно ли считать инвенцию опасной как таковую, в отрыве от интенции? Ведь еще Цицерон в раннем трактате «О нахождении» («De inventione») отмечал, что риторика делается вредоносной в том только случае, когда отстраняется от «мудрости и честности».

С этой простой максимой согласны не все современные нарратологи, и отчасти именно из-за этого «социально-политическая» часть сборника страдает целым рядом концептуальных несовершенств. Например, критики заслуживает все, что касается риторики и риторической теории: большинство авторов этой группы тесно, до отождествления сближают понятия фикции, фикциональности, манипулятивного потенциала и риторизации, что в конечном счете делает рассуждения о риторике скорее обличительными. Риторическое искусство характеризуется на коммуникативном уровне воспроизводимостью приемов, и при рассмотрении политических и сетевых нарративов естественнее всего было бы выделить ряды возвратных риторических фигур: это одновременно и повысило бы наглядность изложения, и позволило бы выявлять группы нарративов по объективным филологическим признакам, а не по идеологиям и политическим спектрам. Более того, антириторический нарратив почти целиком выстроен у этих авторов на чисто риторических концепциях — о стилях, модусах высказывания, параллелизме, метафорике. Дискурс о неэтичности «постправды» — это, конечно, слишком общее основание, чтобы считаться полноценной отраслью гуманитарной науки. С подделками, мистификациями, фейками и теориями заговора гораздо лучше справляется обычная верификация, проверка фактов²⁶, в то время как нарратологический дискурс оказывается в этом отношении чисто сигнальным, то есть оповещающим о проблеме, но не подступающим к ее решению. Вопрос о том, что же в большей степени вводит читателя в заблуждение — социальный нарратив или социальная нарратология, — остается открытым.

25 Так, Коппенд поясняет свой дискурсивный выбор с извинительным оттенком: «Было бы полезно рассмотреть схожие примеры фикциональности <...> в чисто документальных дискурсах <...>, но я, как ни парадоксально, возвращаюсь к художественной литературе и ее паратекстам» (с. 145).

26 Такие методы в книге даже не упоминаются; фиктивные сообщения предлагается подвергать типологическому, а не фактологическому анализу.

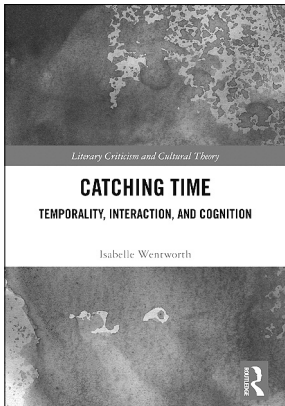
Татьяна Венедиктова

Новости литературной когнитивистики с южного края света

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_325

Wentworth I. *Catching Time: Temporality, Interaction, and Cognition.*

N.Y.; L.: Routledge, 2024. — VIII, 171 p. — (Literary Criticism and Cultural Theory).



На месте Австралии долгое время предполагалась «пока неведомая южная земля» — Terra Australis Nondum Cognita. И если с физической географией давно все ясно, то культурный потенциал страны-континента далеко не раскрыт, особенно в научно-гуманитарной составляющей. Из четырех десятков австралийских университетов почти все были созданы после Второй мировой войны, при этом гуманитаристика не числилась среди образовательных приоритетов, и сама мысль о том, что у нее может быть неповторимо местное лицо, многими воспринималась как курьез. На поле, если не сказать пятачке, академического знания о литературе «бодались» традиционалисты и теоретики. Первые исходили из того, что у австралийцев

все должно быть «как у людей», то есть у «старых» наций: история отечественной словесности и канон, пусть небогатый, биографии, библиографии, собрания сочинений, нобелевские лауреаты (один есть — Патрик Уайт). Вторые работали в фарватере англо-американской и европейской литературной теории, в 1970—1980-х гг. переживавшей бурный расцвет. Оба направления были по своей сути «догоняющими» и не сулили ни инновационных прорывов, ни достижений по части глобальной конкурентоспособности. Не удивительно, что государственные гранты текли мимо — в русло STEM (science, technology, engineering, mathematics), а из гуманитарных программ более или менее успешно развивались только программы академического письма: иностранные студенты приезжали в Австралию, чтобы развивать навыки письменной коммуникации на английском языке. Кафедра австралийской литературы в старейшем университете Австралии (Сиднейском) открылась только в 1962 г., а в 2019-м, после выхода на пенсию очередного заведующего, уже закрылась. На взгляд скептического европейского наблюдателя, гуманитарный ландшафт в стране Оз¹ приобрел вид пустыни.

Впрочем, в пустыне есть оазисы, и в них ведется работа на будущее. Один из таких перспективных проектов связан с масштабной оцифровкой текстов и разнообразной работой с литературными базами данных². Другой нам предстоит обсу-

- 1 Шуточное обозначение Австралии, в котором обыгрывается созвучие первого слога (Aus-) с названием сказочной страны, придуманной в начале XX в. Фрэнком Баумом.
- 2 См. об этом в рецензии на книгу австралийской исследовательницы К. Боуд: Венедиктова Т. Провинциальная газета как полигон транснациональной литературной истории (Рец. на кн.: Bode K. *A World of Fiction: Digital Collections and the Future of Literary History*. Ann Arbor, 2018) // Новое литературное обозрение. 2020. № 165. С. 364—369.

дить, тем более что именно его упомянутый наблюдатель — французский исследователь Жан-Франсуа Верней, глубоко погруженный в австралийскую ситуацию, — описывает как тренд несомненно яркий и перспективный. Сборник статей, недавно вышедший под его редакцией, называется выразительно: «Подъем австралийской нейрогуманитаристики: диалог между нейрокогнитивной наукой и австралийской литературой»³.

«Поворот» в гуманитарном знании происходил и происходит, конечно, не только в Австралии. Описывается он по-разному — как прагматический, экспериенциальный, энактивистский или нейрокогнитивный, что, разумеется, не одно и то же, но вектор движения, несомненно, общий. С конца 1970-х гг. формируется новая зона сотрудничества философии, психологии, лингвистики, антропологии, биологии и нейронауки, а в 1990-х появляется ряд ключевых работ, определяющих ее лицо⁴. «Поворот», как бы его ни описывать, обусловлен, с одной стороны, усталостью от абстракций, которыми грешили структурализм и постструктурализм, с другой — новыми возможностями, возникшими на рубеже столетий в науках о жизни и о мозге. Между ними и гуманитарной наукой образуется промежуточное звено в виде исследовательских программ когнитивистской направленности, которые все дальше уходят от «компьютерной» модели сознания, с которой когнитивистика ассоциировалась исходно. В рамках энактивистского подхода коммуникация и сознание принципиально соразмерны жизнедеятельности и характеризуются сочетанием свойств, обозначаемым аббревиатурой 4E (embodied, embedded, enactive, extended)⁵. В фокусе внимания — телесная воплощенность и действенность сознания, его погруженность в среду и распределенность в ней.

Основная посылка энактивизма состоит в том, что любая живая система, стремясь сохранить себя, поддерживает динамическое равновесие со средой, постоянно оценивает все вокруг с точки зрения угроз или возможностей для выживания. Это значит, что даже самые простые соматические реакции выполняют адаптивную функцию, способны приобретать эмоционально-оценочный окрас, а следовательно, и возможность стать субъективным переживанием. Континуум телесного, эмоционального и осознаваемого как раз и отличает человеческое сознание от машинного интеллекта. Чем изощреннее становятся разработки последнего, тем выразительнее интерес ученых к аффективным состояниям и «воплощенным» формам сознания, — это парадокс, но только кажущийся.

Под общей шапкой «*сог lit crit*» за последние десятилетия собралось уже довольно много конкурирующих за внимание исследовательских программ, которые

-
- 3 The Rise of the Australian Neurohumanities: Conversations Between Neurocognitive Research and Australian Literature / Ed. by J.-F. Vernay. N.Y.; L.: Routledge, 2021. См. также статью (именно в ней высказывается суждение о состоянии гуманитарной науки в Австралии): *Vernay J.-F. Towards a New Direction in Contemporary Criticism: Cognitive Australian Literary Studies // The Routledge Companion to Australian Literature / Ed. by J. Gildersleeve. N.Y.; L.: Routledge, 2021. P. 116–122.*
 - 4 В частности, выходит работа, ставшая классикой энактивистской методологии: *Varela F., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind. Cambridge: MIT Press, 1991.*
 - 5 Посылки энактивизма подразумевают серьезный пересмотр оснований научной мысли, поскольку не совместимы ни с методологическим индивидуализмом (представлением о «я» как об источнике мысли), ни с дуалистическим противопоставлением духовного и телесного, идеального и материального. Механизм репрезентации — отражения объективного мира в сознании субъекта — также открывается критическому переосмыслению. Хорошим введением в энактивистскую методологию на русском языке можно считать кн.: *Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014.*

определяются при помощи «волшебного» слова, успешно убегающего от однозначного определения: когнитивная поэтика, когнитивная риторика, когнитивная стилистика, когнитивная нарратология, когнитивная экокритика и т.д. В рамках любого из этих направлений может быть поставлен — и ставится — вопрос: «Что дает изучение когнитивной сферы для понимания искусства и что искусство слова позволяет понять в механизмах когниции?» Развернутая версия этого вопроса содержится в аннотации к упомянутому выше сборнику «Подъем австралийской нейрогуманитаристики»: «Как именно литература ангажирует читателя, как она производит контекст и производится контекстом, как побуждает к переосмыслению отношений между национальными литературными, культурными и историческими традициями, а также к переосмыслению социальных функций самих текстов?»

Таков общий фон, на котором может быть рассмотрена книга «Уловить время: темпоральность, интеракция, когниция». Ее автор, Изабел Вентворт, в 2019 г. получила докторскую степень в Университете Нового Южного Уэльса и теперь преподает в Вуллонгонгском университете в том же штате, на юге Австралийского континента. Первая монография молодой исследовательницы невелика — полторы сотни страниц, включая обширные и очень полезные библиографические списки в каждой главе. О том, что перед нами работа вчерашней аспирантки, говорят и благодарность научному руководителю, и довольно дежурная композиция (теоретическая глава плюс прилагающиеся к ней иллюстративные разборы), и выбор материала, пожалуй, слишком явно определяемый специализацией автора (англо- и испаноязычные литературы). Во второй части книги рассмотрены четыре романа: «Художник тела» («Body Artist», 2001) американца Дона Делилло, «Вода» («Аgua», 2021) аргентинки Лии Чары (Lia Chara), «Тела лета» («Los cuerpos del Verano», 2012) аргентинца Мартина Фелипе Кастаньета (Martin Felipe Castagnet) и «Жизнь домов» («The Life of Houses», 2015) австралийской писательницы Лиз Гурон (Lise Guron). Можно сказать, что перед нами пример «аспирантской науки» — очень хорошей, то есть не той, что следует спокойно в хвосте достижений научных руководителей, а той, что азартно грызет гранит науки в новом, еще далеко не разработанном направлении. В данном случае предпринимается попытка внести вклад в литературную когнитивистику путем сосредоточения на «чувстве времени», продуцируемом литературой.

О том, что для разных людей и в разных ситуациях время течет по-разному, сказано немало. Например, у Шекспира в «Как вам это понравится» об этом говорит Розалинда: «...Время идет различным шагом с различными людьми. Я могу сказать вам, с кем оно идет иноходью, с кем — рысью, с кем — галопом, а с кем — стоит на месте»⁶. Конечно, наука от начал ньютоновской физики настаивала на «объективности» времени, его членности на измеримые сегменты, а деловая культура индустриальной эпохи последовательно трактовала время как полезный ресурс, который можно трагить, использовать, оплачивать и т.д. Но эстетика модернизма — в лице хотя бы Вирджинии Вульф — напоминает нам о несовпадении времени на часах и времени, субъективно переживаемого. Второе ощущается как субстанция растяжимая и пористая: тысячи кротовых нор памяти пронзают момент настоящего, в любую из них можно провалиться как в кошмар или в благодать и так, через смутный портал воспоминания, выйти в непрерывность и взаимосвязанность переживаемых нами времен.

Отталкиваясь от этих (ранее исследованных) мотивов, Вентворт предлагает сфокусироваться на ощущении движения времени — дорефлексивных структурах

6 Шекспир У. Как вам это понравится / Пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник // Шекспир У. Собр. соч.: В 8 т. М.: Интербук, 1997. Т. 5. С. 163.

опыта темпоральности, которые не только субъективны, но и intersубъективны. Индивидуальное сознание принципиально не изолируемо, принцип его бытия — сосуществование и взаимодействие (здесь автор книги ссылается на Бахтина). Это значит, что и во времени мы сосуществуем с другими, синхронно или асинхронно (о чем напоминают расхожие английские выражения «in sync» и «out of sync»).

Чувство времени, в силу того что оно обладает «нейронным субстратом», переживается нами на уровне моторных, сенсорных, перцептивных состояний. Скорость течения времени зависит от эмоционального состояния субъекта — эти субъективные «искажения» в движении временного потока мы чаще осознаем постфактум и/или в смычке с каким-то внешним обстоятельством-триггером. Достаточно представить себе время автомобильной катастрофы, когда все происходит в одно мгновение, но это мгновение «разбухает», наполняясь множеством подробностей, или, скажем, время скучной лекции, которое невыносимо растягивается.

Парадокс литературного текста: благодаря автору мы *знаем*, что думает или переживает тот или иной персонаж, но понимаем или, скорее, чувствуем иллюзорность этого знания. Мозговым обеспечением бессознательных процессов, которыми определяется огромная часть внутренней жизни человека, сегодня начинает заниматься нейропсихология бессознательного⁷. Литература *уже* располагает по этой части обильным материалом, но материал этот до сих пор не освоен в силу отсутствия внимания к нему и инструментов для его исследования.

Вентворт напоминает для начала, что время внутри произведения — это иллюзия, создаваемая текстом. При помощи чего и как именно она создается? Самое очевидное как будто бы средство — последовательность рассказываемых событий. Однако время рассказа организуется не только сюжетным движением; не менее важна синхронизация в воображении, осуществляемая при посредстве языковых сигналов. Сигналы могут не иметь собственно темпоральной природы и отсылать лишь к «микрофлуктуациям» опыта, но опыту временная протяженность присуща по определению.

Здесь Вентворт предлагает учесть посылки так называемой естественной нарратологии⁸. Ее сторонники исходят из того, что опыт и нарратив неразрывны, то есть нарративы возникают в жизни «естественно»: где есть (антропоморфный) субъект, там есть и нарратив, даже в отсутствие сюжета. Отсюда — возможность и, более того, необходимость изучать нарративы в аспекте *intersубъективной интеракции*, обязательно воплощенной и обязательно (для Вентворта) *развертывающейся во времени*. Наш опыт времени или наше *чувство времени*, напоминает молодая исследовательница, всегда подразумевают опору на предшествующий опыт и предвосхищение будущего. Так же и в нарративе: любое событие определяется тем, что было раньше и что может быть потом. Эффекты постоянной ретроспекции и постоянной же антиципации характеризуют рассказ, как и в целом жизнедеятельность субъекта.

При этом границы наших субъективных сознаний проницаемы. Каждое существует в «своем» времени, но «чужое» время можно подхватить в процессе коммуникации, как подхватывают вирус, «уловить» его подражательно, синхронизируясь с ним в воображении. Это напоминает то, что происходит в актах чтения,

7 Об этом направлении исследований в российской психологической науке см.: Хохлов Н.А., Федорова Е.Д. Нейропсихология бессознательного: современное состояние проблемы // Национальный психологический журнал. 2021. № 1 (41). С. 127—148.

8 См.: Herman D. Cognitive Narratology // Handbook of Narratology / Ed. by P. Hühn, J.C. Meister et al. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. P. 46—64; Fludernik M. Towards a “Natural” Narratology. L.: Routledge, 1996.

когда, погружаясь в текст, мы прибегаем в иные моменты к чувственной симуляции, — например, силясь вообразить выражение лица, о котором читаем, пытаемся собственному лицу придать подобное. Именно этот уровень «конверсии» опыта в текст — неосознаваемый, происходящий за счет моторной эмпатии, соматического резонанса, спонтанного подражания движению или интонации другого субъекта, — представляет наибольший интерес для Вентворт.

Можно ли отследить этот тонкий процесс, подвергая рефлексии чтение конкретного текста? Вентворт пытается это сделать, следя за тем, как синхронизируются в акте чтения пласты времени, в каких обитает рассказчик, персонажи, а иногда еще особо и отдельно — вещественная среда, фигурирующая в повествовании. Каждый из разборов по-своему любопытен, но очевидно, что этот пробный анализ может быть осмыслен глубже и полнее систематизирован. В отсутствие четкого алгоритма анализа автор книги предлагает учитывать сразу все: и содержательные структуры (например, размышления о времени «от автора» или от лица персонажа), и структуры дискурсивные (от дейктических единиц до глагольных временных форм). В ходе дальнейшего движения по обозначенному пути будут, наверное, сделаны уточнения. Возможно, также и открытия.

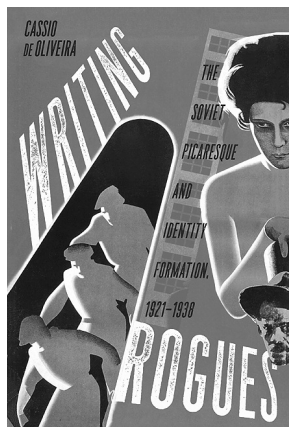
Книга о литературе, ворах, жуликах, проходимцах и советской империи

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_330

Oliveira Cassio de. *Writing Rogues: The Soviet Picaresque and Identity Formation, 1921–1938.*

Montreal & Kingston; London; Chicago: McGill-Queen's University Press,
2023. — XIII, 290 p.

В советской культуре, пожалуй, можно выделить такое время, когда герои с уголовными наклонностями оказались предметом особого интереса писателей. Оно, собственно, совпало с периодом зарождения и становления советской литературы, то есть приблизительно с 1920-ми гг. Когорту криминальных или полукриминальных типов, причем подчас весьма харизматичных, почти сразу попытались заменить персонажами перевоспитывающимися и перевоспитываемыми, а также соцреалистическими героями, начиная с незабываемого подвижника Павла Корчагина и заканчивая кавалером Золотой Звезды Сергеем Тутариновым. Но, в отличие от «романтиков с большой дороги», культ соцреалистических героев приходилось поддерживать постоянными усилиями сверху: о Тутаринове, в частности, забыли сразу, как только правление Сталина закончилось.



По известности Остап Бендер с его свитой и «оппонентами» наряду, возможно, с Беней Криком должны быть названы первыми среди авантюристов и бандитов. По разным обстоятельствам серьезно отставая, но все же прочно укоренившись хотя бы в сознании историков литературы, за ними следуют Хулио Хуренито и И. Эренбурга, герой «Вора» Л. Леонова и др.

Если вспоминать о более поздних, относительно «вегетарианских», оттепельных временах, то в них формировалась своя плеяда привлекательных асоциальных персонажей. Правда, в деле их популяризации литературу в этом моменту уже серьезно потеснил кинематограф. Гайдаевские герои Трус, Балбес и Бывалый начали покорять публику в 1960-е гг. С 1969 г. российские зрители пристально следили за злоключениями недисциплинированного волка из «Ну, погоди!» В. Котеночкина и очаровывались «Бременскими музыкантами» И. Ковалевской. В 1968 г. (притом что за рубежом этот сюжет интересовал кинорежиссеров еще с 1930-х¹) М. Швейцер экранизировал «Золотого тельца», а в 1971 г. Л. Гайдай снял первую советскую экранизацию «Двенадцати стульев». Бене Крику в кино повезло меньше...

Следующий как-то сравнимый с предшествующими приступ любопытства к преступному элементу приходится уже на постсоветскую историю, хотя тоже на

1 См., например: «Dvanáct křesel» (1933; реж. Мартин Фрич и Михал Вашиньский; Польша и Чехословакия), «Keep Your Seats, Please» (1936; реж. Монти Бэнкс; Великобритания), «Dreizehn Stühle» (1938; реж. Эмерих Вальтер Эмо; Германия) и др.

эпоху распада и брожения — на конец 1980-х и 1990-е гг., когда, с одной стороны, несчастливая судьба Тани из «Интердевочки» В. Кунина оказалась достойной обстоятельного мелодраматического рассказа, а с другой — новые бандиты А. Константинова, А. Кивинова, А. Бушкова и других их коллег по детективному письму превратились в предмет обожания и подражания многочисленной читающей и кино-/телепублики.

Зачарованность неидеальным заражала и академическое сообщество, и здесь тоже наблюдались свои волны. Если говорить о российском литературоведении, то оно попыталось осмыслить явление еще в 1920-е гг., хотя развернуться не успело². Затем ряд монографических работ о тех же Ильфе и Петрове, Бабеле, Эренбурге продолжил пополняться в СССР с начала 1960-х³ на фоне некоторой реабилитации культуры 1920-х в целом, хотя, разумеется, настоящая возможность осмыслить этот важнейший материал появилась лишь с «перестройкой».

За рубежом изучение «плутовской» и смежной проблематики на российской почве продвигалось и до сих пор во многом продвигается по своим траекториям, причем в последние два десятилетия оно явно набирает ход. Новая книга Кассио де Оливейры пополнила довольно обширный ряд уже опубликованных исследований⁴, так что автору даже приходится на первых страницах отстаивать независимость своего обращения к теме, отмежевываясь от «концепции трикстера» Марка Липовецкого.

Первое впечатление от монографии Оливейры таково: это энциклопедическая работа, полная многими именами, названиями, нюансами, рассматриваемыми в самых разных перспективах. Автор блестяще знает предмет и контекст, в который ему приходится погружаться. В то же время читать книгу, может быть как раз поэтому, было непросто. Манеру, в которой она написана, я бы назвал мультипоточной. Автор удерживает внимание на нескольких аспектах, постоянно переключаясь между ними: проблемы литературной формы (стиля, сюжетосложения, жанра) Оливейра свободно перемежает с проблемами содержания — идеологии, культурной истории и политики. Возможно, именно это заставляет автора не однажды, а раз за разом объяснять или напоминать читателю, что он хочет доказать и о чем рассказать в книге в целом и в каждой главе по отдельности.

Материал, рассматриваемый в книге, по-настоящему разнообразен и обширен: И. Эренбург и его романы «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...» (1921), «Рвач» (1924), «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца» (1927); В. Шклов-

-
- 2 Например: *Терещенко Н.А.* Современный нигилист: беллетристика И. Эренбурга Л.: Прибой, 1925; И.Э. Бабель: статьи и материалы / Под ред. Б.В. Казанского и Ю.Н. Гынянова. Л.: Academia, 1928.
 - 3 *Вулис А.З.* И. Ильф, Е. Петров: очерк творчества. М.: Гослитиздат, 1960; *Смирин И.А.* Творческий путь И.Э. Бабеля-прозаика: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1964; *Поварцов С.Н.* Творческие искания И.Э. Бабеля и некоторые особенности литературного процесса 20—30 годов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1969; *Левин Ф.М.* И. Бабель: очерк творчества. М.: Художественная литература, 1972; и др.
 - 4 Некоторые наименования из англоязычной литературы: *Olcott A.* Russian Pulp: The Detektiv and the Russian Way of Crime. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2001; *Fitzpatrick Sh.* Tear off the Masks!: Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton: Princeton University Press, 2005; *Lipovetsky M.* Charms of the Cynical Reason: The Trickster's Transformations in Soviet and Post-Soviet Culture. Boston, MA: Academic Studies Press, 2011; *Dralyuk B.* Western Crime Fiction Goes East: The Russian Pinkerton Craze 1907—1934. Leiden: Brill, 2012; *Whitehead C.* The Poetics of Early Russian Crime Fiction 1860—1917: Deciphering Stories of Detection. Cambridge: Legenda; Modern Humanities Research Association, 2018; *Kirschenbaum L.A.* Soviet Adventures in the Land of the Capitalists: Ilf and Petrov's American Road Trip. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.

ский и его книга «Сентиментальное путешествие» (1923); И. Бабель и его цикл «Одесских рассказов» (1921—1924); В. Каверин как автор повести «Конец хазы» (1924); роман «Вор» Л. Леонова (1927); повесть В. Катаева «Расстратчики» (1926); «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1931) И. Ильфа и Е. Петрова и их же «Одноэтажная Америка» (1937); «Зеленый фургон» А. Козачинского (1938); рассказ М. Зощенко «История одной перековки», опубликованный в сборнике «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина...» (1934), журнальные репортажи как претекст художественных нарративов и даже «Записки следователя» (1938) Л. Шейнина.

Обо всем этом автор пишет подробно или более или менее подробно. Вскользь проходят Достоевский, Аввакум, Гашек и другие. Ко всему прочему, во введении, реконструируя «имперскую» предысторию советской «плутовской литературы», автор укладывает буквально в несколько страниц разговор о «Ваньке Каине», «Мертвых душах» и «Очарованном страннике».

С одной стороны, можно позавидовать такой способности писать лаконично о самых разных вещах, которая проявляется у Оливейры во введении, а с другой — в ней есть нечто настораживающее: временами получается уж как-то очень общо и категорично; слишком многое игнорируется. Но логично задаться вопросом о том, что принципиально нового открывает в них избранный исследователем взгляд на сюжеты (*ricarquesque*, то есть пикареска, плутовской роман) и персонажей (*logues*, то есть плуты, мошенники).

Попробую прояснить новизну книжки Оливейры, суммировав основные выдвигаемые в ней тезисы. Вначале я довольно детально рассмотрю введение, в котором автор манифестирует специфику своего подхода. Затем пройду по главам, где заявленная методика применяется. Уже понятно, что ход размышлений Оливейры, особенно в начале, не показался мне слишком очевидным. Боюсь, что их изложение совсем прозрачным тоже не будет. Более того, иногда я буду сопровождать его вопросами по поводу некоторых промежуточных выводов или посылок автора, чтобы хотя бы отчасти сохранить впечатление от чтения книги.

Во-первых, плутовская литература интересует автора книги, говоря условно, как дискурсивное зеркало социальной симптоматики и одновременно активная сила, участвующая в организации общества, во-вторых (с формальной точки зрения) как специфический жанр.

Размышляя вслед за Шкловским (писавшим об этом еще в 1934 г. в связи с «Золотым теленком») об эволюции плутовского романа в условиях советской реальности, Оливейра сравнивает данный процесс с двусторонним уличным движением.

С одной стороны, согласно точке зрения исследователя, модернизированный в советском ключе жанр пикарески отражает спектр возможностей для установления связей советского индивида и коллектива. Этот аспект исследователь именует миметическим, поскольку он, по его логике, подразумевает либо отождествление читателя с персонажами, либо осуждение последних. С другой стороны, Оливейра подчеркивает, что дело не только в пассивном мимесисе, а еще и в том, что пикареска способна создавать новые формы идентификации индивида с коллективом, помогая формированию чего-то напоминающего андерсоновские воображаемые сообщества (с. 5).

Эти наблюдения представляется верными. Только возникает вопрос: почему выделенные особенности атрибутируются лишь пикареске? Разве они не присущи любому художественному нарративу вообще?

Внимание автора, однако, обращено не на теорию литературы, а на историко-культурную конкретику. Для него важнее артикулировать потенциал лишь определенного типа текстов как *специфического* средства групповой идентификации, обозначить некую специфику порождаемых именно им воображаемых сообществ.

Если Б. Андерсон, напоминая Оливейра, относит свой концепт к строительству современных наций, то в случае с советской пикареской речь идет, по его словам, о национальностях и построении для них общей, «классовой» идентичности. И все же даже при таком уточнении вопросы не снимаются, а умножаются: разве только «советский плутовский роман» служил становлению советской идентичности, а не большая часть советской литературной продукции? К тому же само использование термина «класс» сразу накладывает на аргументацию автора книги отпечаток советско-марксистской идеологии, которая, казалось бы, должна быть в этой книге не инструментом, а предметом анализа.

Вместе с тем процесс формирования советской идентичности Оливейра мыслит в рамках совершенно определенной концепции более позднего времени. Основной вывод, к которому он приходит в результате своего краткого обзора досоветской плутовской литературы, предельно конкретен: все три вышеупомянутых произведения «высвечивают специфический опыт России как империи и колонии одновременно», то есть реализуют в литературной форме, ровно по А. Эткинду, «процесс, называемый “внутренней колонизацией”» (с. 16). «Моя цель, — пишет Оливейра, исходя от предъявленных предпосылок, — показать, как плутовский роман инкорпорировался в ткань советской культуры и в широком смысле идеологии» (с. 5). То есть, соответственно, автор книги стремится экстраполировать матрицу «внутренней колонизации» (надежно подтвержденную, как, видимо, предполагается, в кратком отступлении в историю русской литературы XVIII и XIX веков) на советскую литературу.

Но разве, возникает очередной вопрос, сама эта пресуппозиция не предвосхищает результатов исследования? Разве любой текст, созданный в «империи» с характерной для нее «внутренней колонизацией», не будет воплощать в себе имперскую, внутренне-колониальную «ментальность», отражая и провоцируя соответствующие социальные практики?

При этом, согласно Оливейре, тексты, которые он рассматривает, не служили укреплению советской коллективной идентичности в восприятии читателя, но скорее отражали, а иногда и бросали вызов, хоть и безуспешный, превалирующим на тот момент и призванным цементировать общество дискурсам (там же).

Констатация такого рода амбивалентности снова заставляет спрашивать: не служит ли любой легитимизованный системой выпад против нее средством сделать эту систему более пластичной и поэтому устойчивой? Не стоит ли в связи с этим по-разному оценивать отвергаемые ею «ереси» и прощаемые ею инновации? Оливейра, разумеется, не скрывает, какие тексты быстро сходили со сцены, а какие задерживались подолгу. Но и те и другие он рассматривает в конечном счете как единый поток, единый дискурс.

Так в общих чертах можно охарактеризовать «содержательную», ориентированную на социокультурную проблематику, перспективу исследования. Что же касается литературной формы, то Оливейра обращается не только к истории жанра пикарески в России, но и к истокам жанра вообще.

На этот раз отступление в историю дает возможность Оливейре, во-первых, еще раз обратить внимание на то, что плутовский роман, согласно некоторым теоретическим разработкам, содержит в себе запас «нереализованных националистических амбиций» (с. 7), что соотносится с его корректировкой вопроса о «воображаемых сообществах» применительно к ситуации в СССР⁵. А во-вторых — заметить,

5 В этом вопросе Оливейра ориентируется на Терри Мартина, см.: *Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.

что плутовской жанр «протеистичен» (там же), то есть крайне изменчив. Последнее позволяет автору расширять объем термина, подводя под него перечисленные выше довольно разные произведения, например книгу про Беломорско-Балтийский канал и даже написанные с точки зрения следователя нарративы Шейнина. Именно в такой перспективе Оливейра видит путь к ответу на вопрос, «что такое плутовской роман и какова его функция, а также что значит приписать литературный текст к данному жанру» (с. 13).

В освоении эмпирики автор движется хронологически — от начала нэпа к «высокому сталинизму», хотя это опять-таки не единственный организующий принцип. В дополнение к нему Оливейра пытается выстроить материал, противопоставляя «художественную литературу» (fiction) «жизнеописанию» (life-writing) с целью выяснить изменение соотношений между ними на фоне культурно-политических трансформаций. Чтобы реализовать заданную программу, в первой главе Оливейра, в частности, сопоставляет «Необычайные похождения Хулио Хуренито...» Эренбурга как воплощение художественности и «Сентиментальное путешествие» Шкловского как жизнеописание. Исследователь стремится показать, как в процессе жанровой эволюции соотносятся «стирание (effacement) <...> автобиографического нарратора и вопросы коллективного самосознания» (с. 9). Попутно Оливейра предполагает выяснить отношения между художественным и нехудожественным началом в литературе вообще и в русской в частности, а также отношения между литературой и жизнестроением. То есть замысел автор просто обсуждением плутовского романа в советскую эпоху никак не исчерпывается.

Показательно с точки зрения такой разноаспектности книги, что даже в названии первой главы — «Биографии Эренбурга и Шкловского как самоустранение (self-Effacement)» — тема пикарески никак не заявлена. Основным предметом рассмотрения в ней оказывается другой жанр (автобиография) и его трансформации в советских условиях. Сравнивая на общем автобиографическом основании два плутовских нарратива — мемуары Шкловского и роман Эренбурга, — автор приходит к выводу, что, с одной стороны, несмотря на попытки устранить самих себя из повествования, оба автора не могут избежать «самоманифестаций», а с другой — что путешествия их героев по России отражают подспудную озабоченность проблемой национальностей. Причем, согласно Оливейре, как проявления самости авторов, так и проблематика национализма проникают в тексты Эренбурга и Шкловского, возможно, без особого желания писателей.

Продолжая во второй главе анализ топики путешествия, позволившей писателям окунуться в проблематику многонациональной федерации, Оливейра приходит к заключению, что «эти плутовские псевдоавтобиографии создавали важный прецедент для советской литературы эпохи нэпа и высокого сталинизма, схожим образом артикулируя проявления коллективной идентичности в атмосфере напряженных отношений между самими собой и советским режимом» (с. 75).

Главы, сгруппированные во второй части, посвящены писателям, не стремящимся, как отмечает Оливейра, акцентировать автобиографичность и при этом пишущим тексты, жанровую принадлежность которых определить легче. Говоря о Бабеле, автор отмечает, что его Бенья Крик в своих делах и словах воплощает тщательно замаскированный утопический проект, согласно которому этнические меньшинства получают права полноправных членов коллектива под эгидой партии (с. 85), а Одесса в этом проекте является «аллегорией и микрокосмосом» советской утопии в целом (с. 89). Размышляя о «Конце хазы» Каверина, Оливейра приходит к заключению, что повесть, представляя ту же тенденцию, что и «Одесские рассказы», одновременно предвосхищает изменения во второй половине 1920-х гг.

(с. 92). Не уходят от внимания автора книги и фильмы, вскоре снятые по следам этих анализируемых им произведений («Беня Крик», «Чертово колесо»).

Говоря о «Воре», Оливейра замечает, что, в отличие от Бабея, Каверина и Эренбурга, Леонов ориентируется не на иностранные модели, а на русские пред-революционные, прежде всего на Достоевского (с. 123). Эта связь с Достоевским важна для автора постольку, поскольку, по его мнению, Леонов инкорпорирует в свой роман идею русской исключительности, подразумевающей оптимальный синтез мировых тенденций. В результате Леонов предвосхищает характерный для «высокого сталинизма» идеал братства наций, в котором титульная нация и Россия занимают все же особое место (с. 124, 125).

В путешествующем по СССР Остапе Бендере Оливейра опознает не только жулика, но и невольного агента империи (с. 138). Судьба героя «Истории одной перековки» предстает у Оливейры не иллюстрацией действительного перевоспитания, а как пример вынужденного примирения с условиями советской реальности, что больше соответствует бендеровскому термину «переквалификация» (с. 175). Какое отношение это имеет к проблеме разных национальностей, ради которых автор книги, казалось бы, и собирал вместе советских жуликов и воров, я не совсем понял, но кажется, что автор связывает сюжет перековки преступника с идеей путешествия плута за счет распространения самого процесса перековки на всю страну. Таким образом, в конечном счете автор книги выходит за пределы повествования о литературе, концентрирующейся на собственно криминальных или близких к данной сфере личностях.

Попробуем подвести итоги. Что же нового, по крайней мере мне, открыла прочитанная монография? Должен признать — несмотря на все сетования по поводу способа изложения и некоторых немного смелых генерализаций, — что книга Оливейры вполне способна заставить читателя взглянуть на знакомый материал с совершенно неожиданной стороны. Не с точки зрения, например, авантюрного сюжета, сатирического начала, субверсивных или, напротив, укрепляющих советский порядок стратегий разных писателей, что привычно, а (в соответствии с главной задачей автора) с точки зрения своего рода географии, высвечивающей напряженные отношения между доминирующим, «имперским» центром и многими периферийными, если смотреть из этого центра, территориями и культурами, — с акцентом на различия и на эксклюзивность последних. В контексте имеющих довольно долгую традицию колониальных и постколониальных исследований такой ракурс, скорее всего, не очень нов, однако применительно к конкретному материалу в инновативности ему не откажешь. Это что касается социокультурного значения литературы. Если же говорить о вопросах формы, то я с удовольствием обнаружил в книге признаки возрождающегося интереса к теории жанра, которая в последние десятилетия явно потерялась среди других направлений гуманитарных исследований. Так или иначе, книгу Кассио де Оливейры теперь невозможно игнорировать при обращении к теме воров, жуликов, проходимцев в советской империи.

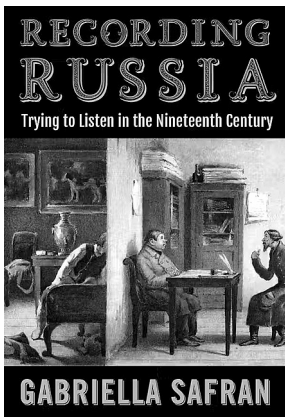
Северные звуки и ночные голоса

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_336

Safran G. *Recording Russia: Trying to Listen in the Nineteenth Century.*

Ithaca; L.: Cornell University Press, 2022. — XII, 288 p.

На первых же страницах книги профессора Стэнфордского университета Габриэлы Сафран¹, – монографии, название которой можно было бы перевести как «Записывая Россию» или, что лучше отвечает содержанию, «Записывая за Россией», – читателя встречает иллюстрация к очерку «Контора» из тургеневских «Записок охотника». Акварель художника Петра Соколова из альбома иллюстраций к «Запискам...», изданного в начале 1890-х гг., композиционно поделена на две части. Слева мы видим помещика-охотника, нашедшего по сюжету убежище от непогоды в конторе встретившейся ему по пути усадьбы. Он изображен сидящим на диване и прислонившимся к перегородке, которая отделяет его заднюю комнату от соседней приемной. Справа мы видим то, что привлекло внимание охотника: купец Гаврила Антоныч торгуется с конторщиком Николаем Еремеичем за сумму взятки, чтобы купить в обход хозяйки усадьбы дешевый хлеб. Частная обстановка в комнате охотника резко контрастирует с конторой, где вдоль стен стоят шкафы, на полках в папках лежат документы, на столе разложены принадлежности для письма и т.д. Также контрастны друг другу позы двух слушателей – жадно припавшего к узкой и дырявой перегородке охотника и зажатого между столом и стулом вялого конторщика с кувшинным рылом, бесстрастно выслушивающего аргументы купца.



Кажется парадоксальным, что книга, посвященная слушанию в России XIX в., открывается иллюстрацией (и сопровождающим ее анализом), то есть тем, что традиционно рассчитано на визуальное восприятие и противопоставляется звуку. Более того, иллюстрация Петра Соколова помещена на обложке. По мере чтения книги становится понятным, почему этой бытовой зарисовке, на первый взгляд лишь тематически и стилистически связанной с основным предметом этой работы – русской прозой XIX в., – отведена столь важная роль. В иллюстрации Соколова, своего рода аллегории слушания два века назад, заключены несколько сюжетов, которые займут центральное место в книге Сафран.

Первый – это сама ситуация, когда дворянин прислушивается к спору крепостного (выбившегося в конторщики Николая Еремеича) с купцом. Это слушание можно было бы назвать кросс-классовым, или, иначе говоря, пограничным, под-

1 На русский язык переведены две ее книги: Сафран Г. «Переписать еврея...»: тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (1870–1880 гг.) / Пер. с англ. М.Э. Маликовой. СПб.: Академический проект, 2004; Она же. Неприкакаянная душа. Семен Ан-ский: русский революционер, еврейский этнограф, автор «Дибукка» / Пер. с англ. А. Глебовской. М.: Симпозиум, 2020.

разумеая под границами прежде всего социальные различия. Далее, это слушание сопряжено с функцией охотника как повествователя в «Записках охотника», то есть с воспроизведением услышанной им речи в письменной форме, литературным опосредованием. Этот второй сюжет связан не только с дискуссией о принципах и приемах передачи чужой речи (как правило, крестьянской) в литературе, но и об этических коллизиях слушания: охотника можно упрекнуть в том, что он подслушивает чужой разговор. Точно так же и тяготевших к простонародности писателей XIX в., таких как Владимир Даль, Дмитрий Григорович или Иван Тургенев, одни будут хвалить за способность слышать чужую речь и доносить ее до читательской аудитории, а другие — упрекать за склонность к «подслушиванию». Третий сюжет связан с акустическим слушанием. Так, вслед за композитором Пьером Шеффером французский теоретик кино Мишель Шион называл ситуацию, в которой процесс создания звука остается скрытым от слушающего (примером может служить голос в телефоне или звук неизвестного происхождения на звуковой дорожке хоррора — и тот, и другой противопоставлены, скажем, голосу находящегося рядом собеседника или звуку, извлеченному с помощью проведенного по струне смычка сидящим на сцене скрипачом). В случае с «Конторой» точнее будет сказать, что голоса, которые слышит проснувшийся охотник, возбуждают его интерес к происходящему за стеной, тогда как дырявая ширма позволяет ему следить за собеседниками. Акустическое слушание существовало всегда, но начиная с середины XIX в., уже в принципиально новой медиаситуации, определяемой возможностями записи (и несколько позже — воспроизведения) звука, с одной стороны, и передачи звука на расстоянии — с другой, оно получит новый смысл и займет новое место в культуре, включая, как показывает Габриэла Сафран, и русскую литературу XIX в. Четвертый сюжет связан с тем, как на практики слушания писателей-дворян влияли их служба и место в бюрократической системе Российской империи. В интерьере конторы мы видим атрибуты бюрократии, такие, например, как шкафы с папками или перья с чернильницей, а также документы, подвешенные к стене за проволоку или крепкую нить, — способ упорядочивания, к которому (через французское существительное *fil* 'нить') восходит современное слово «файл». Согласно Сафран, внимание к этим атрибутам бюрократии у Соколова перекликается с тем повышенным вниманием к бумаге и ее производству, которое можно встретить в очерках Тургенева. Тесная связь слушания с экономическими, технологическими и административными изменениями в России XIX в. — тот аспект, который займет одно из центральных мест в книге.

Обобщая, можно сказать, что монография Сафран посвящена различным концепциям, практикам и репрезентациям (в критике, художественных и теоретических текстах) слушания. Речь идет в первую очередь о слушании, осуществляемом писателями, а также фольклористами и иностранными путешественниками, посетившими Россию в XIX в. Если добавить к этому, что речь идет в основном о слушании представителей других классов, преимущественно крестьян, то тема начинает звучать более привычно. Однако этого нельзя сказать о дисциплинарных и методологических особенностях книги, резко отличающих ее от работ по истории литературы и исследований литературного языка.

Исследование Сафран можно отнести к работам по интеллектуальной истории слушания. В корпусе научных трудов последних двух-трех десятилетий, представляющих эту дисциплину, возникшую на пересечении медиаисследований, исследований звука, социологии, антропологии, в отдельных случаях литературоведения и музыковедения, заметна характерная особенность: важное, если не ключевое место в нем занимают книги, посвященные именно XIX в. Такие, например, как книга Айвана Крейлкампа о присутствии устности в английском викторианском

романе, музыковедческое исследование Джеймса Джонсона о «слушании в Париже» или работа Марка Смита, в которой прослеживается связь восприятия американского «звукового ландшафта» времен Гражданской войны с социальными изменениями и сопровождающей их рефлексией². К этому же ряду относится тематически и методологически близкое к рецензируемой книге (и цитируемое в ней) исследование Аны Марии Очоа Готье о слушании в Колумбии XIX в.: в этом «акустически настроенном», по словам автора, анализе письменных архивов (литературы и литературоведения, фольклора и музыки) показано, как использование слуха «насыщает технологию письма следами и избытками акустического»³, — так же можно охарактеризовать и книгу Сафран.

Еще одна линия исследований слушания, методологически важная для Сафран, связана с рефлексией по поводу различных опытов записи звука и речи в XIX в., объединенных намерением соединить средствами графики их *репрезентацию с репродукцией*. К числу этих опытов относятся различные техники записи речи, возникшие еще до изобретения фонографа, как, например, стенография, переживавшая в XIX в. очередной виток своего развития и оставившая отпечаток на биографиях Диккенса, Достоевского (на котором специально останавливается Сафран) и многих других писателей. Под этим углом стенография рассматривается в книге Лизы Гительман, также написанной в основном на материале XIX в., которая, наряду с работами канадского исследователя Джонатана Стерна и другими, стала методологической основой многих исследований по интеллектуальной истории слушания, включая и рецензируемую книгу⁴.

Писатели и фольклористы в России XIX в. нередко сомневались в своих (и чужих) способностях слушать и записывать речь других людей, что подталкивало их к опробованию различных *перформансов слушания* — еще одно важное понятие, которым пользуется Сафран. В качестве раннего примера писательского перформанса слушания можно привести посещение ярмарок переодетым в крестьянскую одежду Пушкиным. Другой пример, на котором останавливается автор, связан с тем, как слушал и записывал исполнителей северных былин известный собиратель устного фольклора Павел Рыбников. Необычным было, скажем, то, что он мог начать подпевать крестьянину, исполнявшему по его просьбе былины, чтобы вызвать его доверие и убедить его продолжить пение.

Какой же предстает история русской литературы XIX в. в свете вышеописанных подходов? Что существенно нового они могут предложить для ее изучения? Книгу Сафран, построенную по хронологическому принципу и дающую своего рода панораму стратегий слушания, можно условно разделить на две части. Первая посвящена так или иначе связанным со звуком тропам, к которым обращались авторы для описания социальных явлений. Эти тропы рассматриваются на фоне менявшегося «звукового ландшафта» российских городов первой половины XIX в., где значение колокольного звона (сообщавшего о времени, пожарной тревоге и т.д.) постепенно ослабевало в силу технического и экономического развития, в том числе из-за появления телеграфа и распространения бумаги. Эти изменения вли-

2 *Kreilkamp I.* Voice and the Victorian Storyteller. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; *Johnson J.H.* Listening in Paris: A Cultural History. Berkeley: University of California Press, 1995; *Smith M.M.* Listening to Nineteenth-Century America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.

3 *Ochoa Gautier M.A.* Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. Durham, NC; L.: Duke University Press, 2014. P. 7.

4 *Gitelman L.* Scripts, Grooves, and Writing Machines: Representing Technology in the Edison Era. Redwood City: Stanford University Press, 1999.

яли на интенсивную рефлексию по поводу культурных и социальных импликаций звуков, в том числе и колокольного звона, одного из главных звуковых образов в российской истории (вспомним хотя бы название издававшейся в Лондоне газеты Герцена). Другой образ — замерзший на морозе звук — хорошо знаком читателям по «Приключениям барона Мюнхгаузена». Историей про звуки охотничьего рожка, замерзшие, когда кучер попробовал подуть в него на морозе, и зазвучавшие после того, как рожок отогрелся, повисев рядом с камином на постоялом дворе, завершается часть книги Бюргера и Распе, посвященная пребыванию Мюнхгаузена в России. Образ замерзших на морозе звуков схож с описанием местного «звукового ландшафта» у еще одного путешественника-европейца. Тишину (чаще всего зловещую) и молчание опасных собеседников не раз упоминает в книге «Россия в 1839 г.» маркиз де Кюстин. Он ассоциирует их с политическими репрессиями и угнетением, тем самым намечая карикатурно отраженную в более поздней книге о Мюнхгаузене связь между тиранией, характерным для Севера холодом и застывшим звуком. Дальнейшее переосмысление тишины славянофилами (в частности, Алексеем Хомяковым), предлагавшими видеть в ней признак не подавленности, а, напротив, духовного превосходства — один из примеров соперничества слушаний.

Одна из центральных идей книги Очоа Готье заключалась в том, что какой-то одной доминирующей практики слушания в отдельно взятую эпоху не существует, — напротив, сосуществуя, они находятся в отношениях соперничества и конфликта. Сафран перенимает эту агонистическую модель, делая акцент на соперничестве за интерпретацию звуков (или их отсутствия). Однако славянофилы стояли у истоков не только переосмысления тишины, но и принципиально нового для русской культуры типа слушания, которое Сафран называет хорovým. Согласно Константину Аксакову, слушание иного, более высокого качества (по сравнению с обычным) детерминировано изначальной принадлежностью слушателя к определенной социальной группе, своего рода хору. Концепция Аксакова, утверждавшая возможность достижения гармонического единства людей средствами обращения к «живому» языку, опиралась на философию искусства и языка немецкого философа Фридриха Шеллинга и его идею о способности музыки и звучащей речи дать доступ к познанию Абсолюта. Принадлежность к кругам русских шеллингианцев объединяла Аксакова с другим человеком, также интересовавшимся расширением возможностей коммуникации, — бароном Павлом Шиллингом, первым проводившим в Петербурге успешные опыты с телеграфом.

Во второй части книги в повествование вводится новый сюжет, посвященный литературному проекту записи «голосов простых людей», объединившему многих авторов середины XIX в. Одним из наиболее значимых в истории этого проекта эпизодов Сафран считает появление стихотворения Николая Языкова «К не нашим» («О вы, которые хотите...»), содержащего знаменательный стих: «Народный глас — он Божий глас...». Раскол, вызванный в литературной среде появлением этого стихотворения в 1844 г., был связан не только с обвинениями Языкова против западников, многими писателями воспринятыми как личная инвектива. Стихотворение ставило под вопрос способность слышать голос народа, и это сомнение долгие десятилетия будет сопровождать русскую литературу. В свою очередь, анализ полемики вокруг этой темы, в которой участвовали Дмитрий Григорович, Виссарион Белинский, Алексей Писемский, Николай Лесков, Федор Достоевский, Иван Горбунов и многие другие, занимает важное место в книге Сафран.

Среди ключевых героев второй части — Владимир Даль и Иван Тургенев. Первый, согласно Сафран, привнес в русскую литературу и культуру новый тип слушания, который она называет всепоглощающим (omnivorous). Им предопределялись

различные способы фиксации народной речи, которыми пользовался Даль, а кроме того, способы упорядочивания сведений, сыгравшие важную роль в составлении словаря. С другой стороны, этот новый тип слушания отвечал выработанной Далем философии языка, а в ней одно из центральных мест занимало представление о прогрессе, которого русский язык может достичь благодаря обращению к простонародной речи. Сафран подробно останавливается на вызвавшем в свое время оживленную полемику принципе группировки слов в словаре Даля — лексических «гнездах» однокоренных бесприставочных слов — как на одном из свидетельств, позволяющих глубже понять его виталистский подход к «живому великорусскому языку». Но витализм является лишь одной из особенностей, определяющих подход Даля-лексикографа. С точки зрения Сафран, Даль, длительное время служивший чиновником Министерства внутренних дел, являл собой яркий пример ученого и литератора, который перенес в свою работу принципы организации, заимствованные из бюрократических и административных практик своего времени. Речь идет в первую очередь о карточных каталогах, родственных вышеупомянутым протофайлам, которые предоставляли более гибкие возможности организации материалов. Таким образом, практика, укорененная в административной работе, в том числе связанная с обращением и архивацией служебных документов, сыграла роль и в организации словаря.

В статье «Русский словарь» (1845) Даль призывал к тому, чтобы опекать «слово русское», сироту, «которой нельзя же не дать где-нибудь приюта»⁵. Одним из тех, кто откликнулся на этот сентиментальный призыв, был Дмитрий Григорович, обращавшийся к областному просторечию в ранних рассказах, включая «Деревню» (1846). Литературная биография Григоровича, полная нападок коллег-писателей, свидетельствует о том, что к середине XIX в. в российской культуре возникла потребность найти и описать феномен «неправильного», неадекватного слушания простонародной речи. И именно автору «Деревни» доведется, невзирая на литературный успех, занять малопочетное место «комичного филолога», как называет этот типаж Сафран, то есть литератора, который ходит за крестьянами с блокнотом, записывая их речь, для того чтобы вставить ее в свои произведения. «Песенная прокламация» (1837—1838) Ивана Киреевского — один из источников, на котором останавливается Сафран, — содержала в себе призыв записывать памятники народной поэзии. Киреевский предполагал, что каждый, кто следует определенному протоколу, может зафиксировать устное крестьянское творчество во всей полноте. Poleмика вокруг произведений Григоровича знаменует важный момент: даже запись крестьянской речи непосредственно за ее носителями больше не обеспечивает легитимность доступа писателя к народному языку.

В дискуссии о том, как правильно «слушать» простонародную речь, Григорович начинает восприниматься как отрицательный пример, несмотря на то что его способы записи принципиально ничем не отличались от тех, к которым обращались его критики. Такие, например, как Достоевский, также записывавший выражения и диалоги окружающих его каторжан (позже он использует их в «Записках из Мертвого дома»). И все-таки в одних случаях слушание крестьян воспринимается (как минимум частью критиков и коллег-писателей) как неудачная затея, а в других — как несомненный успех. Почему это происходит? В случае Григоровича, согласно Сафран, немалую роль сыграло его французское происхождение и излишняя сконцентрированность на языке вкупе с кажущейся безучастностью к судьбам самих крестьян. Однако произошедший в середине XIX в. сдвиг в дискуссии о слу-

5 Луганский В. [Даль В.И.] Русский словарь // Иллюстрация. 1845. Т. 1. № 1. С. 14.

шании предполагал, что писатель больше не мог оставаться безучастным, и его эмпатия становилась условием успешного слушания.

Писателем, которого в этом отношении можно противопоставить Григоровичу, Сафран считает Ивана Тургенева. Автор «Записок охотника» воплощает тип современного слушателя-виртуоза, способного привносить в литературу подходы из различных смежных областей. Сафран показывает, как Тургенев обходил претензии в «бездушном» слушании, на примере его очерков. В них он обращался к теме распространения фабричного производства, в частности бумаги. Насыщение описания современной фабрики фольклорными мотивами в очерке «Бежин луг» — фактически превращение самой фабрики в фольклорное пространство — было косвенно связано с претензиями к тому, как пользовался бумагой для «механической» записи народной речи Григорович, слушатель-антипод Тургенева. Страсть к слушанию, которой отмечены тургеневские очерки, и его этномузыкаловедческая установка также были призваны убедить читателей и критиков в более изощренных и адекватных практиках слушания.

В одном из самых интересных фрагментов книги этот тезис иллюстрируется при помощи неожиданной аналогии между отдельными сценами из «Записок охотника» и теми изменениями, которые претерпевало слушание музыки, в частности оперной. Одновременно с тем, как к середине XIX в. в европейских театрах все чаще стали затемнять зрительный зал на время спектакля с помощью газового освещения, оставляя ярко освещенной лишь сцену и направляя все внимание зрителей на исполнителей, распространилась новая практика слушания оперы. Вопреки социальной иерархии, заложенной в архитектуре зрительного зала, отдельные ценители музыки и вокала стали предпочитать партеру и ложам галерку с самыми дешевыми местами. Такая разновидность слушания давала возможность, не отвлекаясь на светские конвенции, целиком сосредоточиться на исполнении. Тургенев, заядлый посетитель концертов и опер, переносил эти принципы в литературу: своего рода аналогией «концентрированного» слушания с галерки становятся в его очерках сцены слушания, как, например, сцена беседы мальчиков у костра, которую рассказчик-охотник слушает, сам в это время находясь в темноте («Бежин луг»).

Еще один тип слушания, который занял свое место и в литературе, и в фольклористике, Сафран называет гипногическим: это — слушание на границе сна и яви. В качестве примера она приводит красочное свидетельство из «Заметки собирателя» Павла Рыбникова — о том, как он впервые услышал северную былинку. Застигнутый непогодой во время переправы через Онежское озеро, Рыбников заснул у костра и был разбужен пением сидящего неподалеку онежского крестьянина Леонтия Богдановича⁶. Это же гипногическое слушание можно встретить у Достоевского в «Записках из Мертвого дома», например в главе «Акулькин муж», где шепотом рассказанная арестантом Шишковым история убийства им жены Акульки звучит поздней ночью в палате больницы, когда все остальные ее обитатели уже спят. В этой сцене Достоевский воспроизводит знакомую по «Запискам охотника» ситуацию, когда слушатель-дворянин воспринимает крестьянскую речь из темноты, сам оставаясь в этот момент невидимым, и ее Сафран считает характерной: такое слушание становится признаком качественно иного, более полного доступа к чужой речи. Однако в более поздних произведениях Тургенева (очерк «Стучит!», в 1870-е гг. включенный в «Записки охотника») и Достоевского («Мужик Марей»

6 См.: Рыбников П. Заметка собирателя // [Рыбников П.Н.] Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. / Под ред. А.Е. Грузинского. 2-е изд. М.: Сотрудник школ, 1909. Т. 1. С. LXI—CII.

из «Дневника писателя») описания слушания меняются. Согласно Сафран, их объединяет уже другая общая особенность: неуверенность в том, что звук и речь могут быть правильно истолкованы как слушателями в самих рассказах, так и самими писателями. Этические и политические установки в этих произведениях расходятся со слушательской интерпретацией голосов и звуков, в результате чего в повествование проникает неопределенность.

Герой заключительной главы — Иван Горбунов, сын вольноотпущенного крестьянина, ставший известным рассказчиком, актером и писателем. Рассказы Горбунова прекрасно вписывались в набиравшие популярность в Европе и России юмористические журналы, где печатались произведения, предназначенные, в частности, для чтения вслух. Отличительной чертой рассказов Горбунова было то, что в них не только образованные горожане оценивали крестьянскую речь, но люди самых разных сословий, включая крестьян, занимали активную позицию, слушая, оценивая и творчески перерабатывая речь, в частности, образованных горожан, и все вместе складывалось в насыщенную картину тесного взаимодействия по линиям социальных различий. Итак, начав с анализа слушательского опыта европейских путешественников и продолжив обсуждением увлекшихся крестьянской речью писателей и фольклористов, Сафран завершает книгу обращением к популярной литературе, в центре которой находится то, как представители разных социальных групп слушают друг друга, и где уже юмор служит инструментом рефлексии по поводу возможностей слушания. «Если рожденные на рубеже XVIII—XIX вв. писатели, такие как Пушкин и Даль, понимали кросс-классовое слушание как средство, дающее возможность космополитичным образованным людям собирать примеры простонародной речи, чтобы использовать ее в произведениях словесного искусства, — подытоживает Сафран, — то Горбунов изображал противоположный процесс: выходцы из глубинки использовали речь горожан в собственных художественных целях» (с. 211).

История литературного языка и, конкретнее, крестьянская речь в системе литературного языка — области исследований, близкие к работе Сафран, и рассмотрение ее в их контексте может помочь хотя бы контурно обозначить ее новизну вместе с сильными и слабыми сторонами. В исследовании истории литературного языка наряду с изучением, скажем, лексического и фразеологического составов текстов, а также общих принципов обращения писателей с крестьянскими областными диалектами существенное значение имеет то, насколько сильно влияли заимствования из крестьянского языка на литературный процесс в целом, или, пользуясь выражением Виноградова, какими путями шло «расширение литературной речи». Примером этого служит характерное наблюдение Виноградова по поводу языка Даля: при всей симпатии к народным говорам он использовал в своих художественных произведениях то, что уже было закреплено в языке городского населения⁷. В работе Сафран фокус смещен с литературы и литературного языка — по той причине, что практики письма рассматриваются ею в тесной связи с практиками слушания. Книга показывает, что способность услышать другого через социальные, национальные и культурные границы — это не что-то, что доступно нам по умолчанию, а, напротив, то, что исторически изменчиво и в чем можно достичь успеха лишь путем рефлексии, опытов и ошибок. «Listening is not easy» — с этих слов начинается книга, и можно сказать, что предложенная в ней версия истории русской литературы XIX в. призвана ответить на вызовы своего времени, когда по-

7 См.: Виноградов В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1982. С. 354.

ляризация внутри обществ в разных странах достигла масштабов еще совсем недавно непредставимых.

Другая особенность, на которую стоит обратить внимание, это используемая Сафран терминология и, в частности, ключевое для нее понятие. В исследованиях, на методологию которых опирается книга, «слушание», как правило, выступает в качестве определения. Так, Очоа Готье пользуется понятием «слушательские практики» (listening practices), а Джонатан Стерн — понятием «аудиальные техники» (audile techniques), отсылающим к «техникам тела» из работ этнографа Марселя Мосса и к немецкой медиатеории Фридриха Киттлера, внедрившего понятие «культурные техники» (Kulturtechniken). Терминологически понятию слушания у Сафран ближе всего *l'écoutes* Мишеля Шиона, переведенное на русский язык как «тип слушания» (одним из его подвидов является акустическое слушание)⁸. Однако в разных местах книги Сафран слушание может означать разное — практику, тип, технику. Выступая как расширительное понятие, оно само начинает нуждаться в уточняющих определениях, функцию которых берут на себя определения вроде вышеупомянутых «всепоглощающее» или «хоровое». Эта терминологическая особенность прямо связана с одним из главных достоинств книги — она обеспечивает гибкость и свободу в построении и прочерчивании многочисленных связей между различными явлениями, относящимися к социальной, культурной, политической, литературной и другим сферам. Есть у такого использования и обратная сторона. Как было сказано, книгу можно разделить на две части, первая из которых посвящена слуховым метафорам (де Кюстина, Аксакова и др.), приложимым к социально-политической и общественной жизни России XIX в., а вторая — собственно литературе. «Слушание» как обобщенное понятие дает возможность наметить связи между первыми и второй, однако оно же ставит в один ряд такие разные явления, как принципы работы Даля над словарем, «включенное» слушание устного фольклора Рыбниковым, связанные со слушанием общие мотивы в произведениях отдельных писателей, критическая рецепция их писательских стратегий, использование тропов, факты истории литературного языка и т.д. Пожалуй, если понятию слушания и будет суждено стать частью методологического аппарата исследователя литературы, в его определение потребуется внести дополнительные уточнения.

Другой вопрос, возникающий при чтении книги, связан с отношениями между практиками письма и практиками слушания. Так, в главе о Достоевском речь идет, в частности, о том, как отличались речевые характеристики представителей разных национальностей в «Записках из Мертвого дома», а именно почему речь дагестанского татарина Алея или ссыльных поляков передана в романе со сравнительно незначительными отклонениями от литературного языка, тогда как в рассказы каторжного Луки Кузьмича вставлены украинизмы, а в словах немца Шульца, воспроизведенных в рассказе убившего его каторжника Баклушина, и в речи еврея Исае Фомича («Я непременно хочу зениться»), эти отклонения, напротив, подчеркнуты. Для объяснения этого наблюдения Сафран обращается к литературной традиции (тем более что рассказ об Исае Фомиче у Достоевского сопровождается упоминанием Янкеля из гоголевского «Тараса Бульбы») и к жанрам, где было широко распространено преследовавшее комические цели воспроизведение акцентов, в частности к популярной юмористической литературе середины века. Таким образом, слушательские практики сталкиваются здесь с практиками письма (отме-

8 См. главу 11 в кн.: *Шион М.* Звук: слушать, слышать, наблюдать / Пер. с фр. И. Кушнаревой. М.: Новое литературное обозрение, 2021; а также главу 2 в кн.: *Chion M.* L'audio-vision: son et image au cinéma. P.: Armand Colin, 2021.

ченная особенность передачи акцентологических отличий распространяется не только на текст романа, но и на заметки, которые Достоевский делал в каторжной тюрьме), тогда как в других местах книги конфликт между ними не так заметен. Однако он интересен именно тем, что за вопросом, как и почему одно берет верх над другим, неизбежно встают другие вопросы, связанные с отношениями между практиками слушания и опосредования чужой речи на письме и, в частности, в литературе. Что именно сообщает нам о писательском слушании тот факт, что в записи автор следует за литературными конвенциями, а не за собственным слухом? Почему в одних случаях слушательские практики писателей подчинены литературным практикам, а в других (сказки Даля, очерки Тургенева), напротив, отменяют конвенции и создают новые? Книга Сафран не только предлагает новый угол зрения на историю литературы и расширяет исследовательские горизонты, но и временами возвращает к проблемам исследований литературного языка. Вопрос же о том, может ли ответить и, главное, должна ли отвечать на них интеллектуальная история слушания, остается открытым.

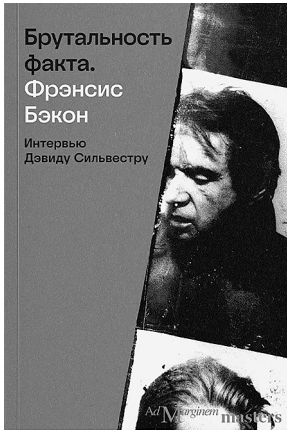
«Непрерывный поток случаев», или Политэкономия Фрэнсиса Бэкона

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_345

**Бэкон Ф. Брутальность факта: интервью
Дэвиду Сильвестру** / Пер. с англ. А. Шестакова.

М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. — 224 с. — Тираж не указан.

Писать рецензию на книгу, которая на языке оригинала вышла почти пятьдесят лет назад, выдержав с тех пор несколько дополненных переизданий, и без которой сегодня невозможно представить себе ни одну серьезную работу о творчестве Фрэнсиса Бэкона, занятие довольно рискованное. Действительно, даже в относительно небольшом пока корпусе текстов из огромной мировой «бэконии», переведенных на русский язык, ссылки на интервью Бэкона Дэвиду Сильвестру встречаются едва ли не чаще ссылок на другие исследования и материалы. И теперь, когда издательство «Ад Маргинем» выпустило перевод этого замечательного сборника, многие положения, например «Логика ощущений» Жюль Делёза, существующей по-русски уже достаточно давно (с 2011 г.), становятся значительно прозрачнее.



О делёзовской интерпретации Бэкона мы поговорим чуть ниже, а пока стоит вернуться к вопросу о «целях и задачах» этого отзыва. Разумеется, всегда можно пойти надежным путем исторической контекстуализации: поздравив российского читателя с долгожданым заполнением досадной лакуны, рецензент мог бы показать историко-культурный и биографический контексты книги, динамику этих контекстов от первого интервью (1962) до последнего (1984—1986), вариации искусствоведческих интерпретаций — до и после выхода книги, транслирующей прямую речь художника, с которой искусствоведение, давно исповедующее герменевтику подозрительности, столь же давно находится в сложных отношениях. Будем надеяться, что такие рецензии и обзоры действительно скоро появятся, здесь

же выберем другой — не слишком надежный, если не сказать рискованный — путь своего рода ретроактивной актуализации, причем актуализации, явным образом выходящей за пределы искусствоведения. Русский перевод «Брутальности факта» появился во вполне определенный момент интеллектуальной истории, и текущие дискуссии (в частности, о возвращении/выживании теологического в политике и экономике модерна) позволяют обратить особое внимание на те аспекты, которые до недавнего времени, пожалуй, оставались в тени. Нашей главной гипотезой будет предположение об имплицитно сформулированной Бэконом в этих интервью политэкономической теологии живописи, но, прежде чем развернуть это предположение, стоит сделать по необходимости краткое историческое отступление.

В заслуженно знаменитом исследовании «Два тела короля» (1957), посвященном, как гласит подзаголовок, метаморфозам средневековой политической теологии, Эрнст Канторович для прояснения политических импликаций королевской

«двуетелости» обращается не только к соответствующим теологическим и юридическим трактатам, но и к историческому свидетельству средневекового и ренессансного искусства. Так, фронтиспис Аахенского Евангелия, на котором изображен император Оттон II, возносящийся на небеса (*imperator ad celum erectus*), иллюстрирует «литургическую», или «христоцентрическую», модель королевской власти, согласно которой на правителя проецируется определяющее свойство Богочеловека — наличие двух природ в одном лице; аллегорическая фреска «Благое правление» из Палаццо Публико в Сиене, принадлежащая кисти Амброджо Лоренцетти, наглядно показывает нам смену парадигмы — здесь фигура Правления (похожая, как замечает Канторович, на фигуру императора) составляет пару фигуре Правосудия (*Iustitia*), а значит, речь теперь идет не о литургической, а о правовой модели, — «модели, которой не требовалось собственного мистицизма»¹; «Ричард II» Шекспира «обессмертил... метафору»² двух тел, наглядно демонстрируя нам трагические последствия их раскола, а Данте указал на «человекоцентричную» модель: в человеке уже совпадают *Adam mortalis* и *Adam subtilis, homo* и *humanitas*, «человек» и «Человек». В общем, искусство — и изобразительное, и словесное — чутко реагировало на трансформации суверенной власти, воплощая эти трансформации в емких выразительных формах.

В куда менее известной, нежели его *opus magnum*, и относительно небольшой по объему статье «Суверенность художника: заметка о юридических максимах и ренессансных теориях искусства» (1961) Канторович делает обратный ход: проследив истоки ренессансной идеи артистической суверенности, он обращается к работам юристов и теологов. Речь теперь идет не о художественных иллюстрациях различных вариантов политической теологии, а о политико-юридической теологии самого искусства. Действительно, как показывает Канторович, ответы на вопросы о целях и смысле своей деятельности художники и поэты могли найти не только в «Поэтике» Аристотеля, но и, на первый взгляд, в менее очевидных текстах, а именно в «Своде Юстиниана» и в комментариях к нему средневековых глоссаторов. Должно ли искусство ограничиться подражанием природе или необходимо создавать нечто новое и небывалое? Какова роль вымысла/фикции в художественном произведении? Римское право, своего рода «искусство» юриспруденции (*ius est ars boni et aequi*), в вопросе об усыновлении, например, полагало, что оно подражает природе: только старший мог усыновить младшего, но никак не наоборот. Однако само это подражание было бы невозможно без некоторого художественного вымысла (*artistic fiction*), поскольку кровного родства между усыновляющим и усыновляемым нет. Вымысел, фикция — рабочий инструмент искусства юриста, инструмент, делающий очевидными демиургические функции этого искусства. «Ибо юрист при помощи фикции мог создать (так сказать, из ничего) юридическое лицо, *persona ficta*, — например, корпорацию, — и наделить ее истиной и жизнью; или же он мог истолковать уже существующую корпорацию — такую как *corpus mysticum* Церкви — в качестве юридического лица (*fictitious person*), получив тем самым эвристический элемент, который позволил бы ему прийти к новому пониманию администрирования, прав собственности и т.д.»³.

1 Канторович Э. Два тела короля. Исследования по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М.А. Бойцова и А.Ю. Серединой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 287.

2 Там же. С. 95.

3 Kantorowicz E.H. The Sovereignty of the Artist: A Note on Legal Maxims and Renaissance Theories of Art // *De Artibus Opuscula XL: Essays in Honor of Erwin Panofsky* / Ed. by M. Meiss. N.Y.: New York University Press, 1961. P. 269—270.

Далее Канторович подробно рассматривает и теолого-юридическое понимание суверена-законодателя как своего рода художника⁴, а затем и реального художника как суверена. Опуская детали аргументации, можно следующим образом суммировать его размышления: согласно средневековым представлениям, существует естественный закон, Закон Природы (Law of Nature), подражать которому обязан законодатель, но, воссоздавая в ограниченной системе позитивного права полноту естественного закона, он уже, пусть и по аналогии, принимает на себя функции Творца. И постепенно эти функции — сначала у пап, а затем у императоров и королей — все больше расширялись. «Идеальный законодатель, как его представляли юристы, не только становился подражателем природы, применявшим естественный закон к конкретным обстоятельствам своего царства, но и был единственным человеком, который мог создавать новые законы в соответствии с потребностями меняющегося времени и тем самым “творить нечто из ничего”. Это, конечно, было тщательно охраняемой прерогативой суверена»⁵. По мере того как законодатель, осеняемый Божественным вдохновением, обретал творческие возможности *ex officio*, поэты (Данте здесь был одним из первых) начинают уравнивать себя в суверенно-творческом статусе с цезарями. А специфическое прочтение «*Ars poetica*» Горация распространяло суверенный статус и на живописцев, скульпторов и архитекторов, — из цеховых ремесленников они превращались в свободных художников, чьи произведения наделялись теперь философским и пророческим значениями. Подводя итог, Канторович указывает на своего рода изливающийся «каскад способностей», «начиная от способностей и прерогатив, предоставленных *ex officio* лицу, занимающему должность суверенного законодателя — духовного или светского, и заканчивая индивидуальными и чисто человеческими способностями и прерогативами, которыми поэт, а затем и художник пользовались *ex ingenio*»⁶.

Таким образом, культ суверенной креативности возникает не у Гёте, как думал Эрнст Курциус⁷, а значительно раньше и имеет, как мы видим, довольно причудливую генеалогию. Это культ пережил долгую и бурную историю и так или иначе сохранился до эпохи модернизма — эпохи, когда суверенный артистический волюнтаризм⁸, достигнув предела в мессианском жизнестроительном энту-

4 Этот пассаж заставляет вспомнить классическую работу Якоба Буркхардта «Культура Возрождения в Италии» (1860), в частности ее первую главу «Государство как произведение искусства», в которой описаны итальянские политические образования («города и тираны»), располагавшиеся между папством и империей: «В них проявляется дух современного европейского государства... они демонстрируют в достаточной мере ничем не ограниченный эгоизм в его наиболее устрашающем виде... Но там, где это направление преодолевается или уравнивается, в истории появляется нечто новое: государство как сознательно задуманное построение, как произведение искусства» (Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии: Опыт исследования / Пер. с нем. Н.Н. Балашова, И.И. Маханькова. М.: Юрист, 1996. С. 9). Понятно, что от средневекового законодателя-художника, ограниченного в своем «творчестве» естественным законом, с одной стороны, и обычаем — с другой, до тирана, пренебрегающего «любимым правом» (Буркхардт), путь относительно неблизкий, но путь этот, по всей видимости, начинается именно здесь.

5 *Kantorowicz E.H.* Op. cit. P. 275.

6 *Ibid.* P. 277.

7 «Гёте <...> первым усмотрел в “творчестве” всеохватное понятие, способное объединить природу и искусство, приобщить поэта к космогоническим силам» (Курциус Э.Р. Европейская литература и латинское Средневековье: В 2 т. / Пер. с нем. Д.С. Колчигина; под ред. Ф.Б. Успенского. 2-е изд. М.: Изд. дом ЯСК, 2021. Т. 1. С. 555).

8 Непримируемый критик всех форм модернизма в искусстве Михаил Лифшиц напрямую связывал культ своевольного произвола в «декадентском» искусстве с полити-

зиазме целого ряда радикальных художественных направлений, был столь же радикально низвергнут в других, например в советском авангардном «производственничестве»: «Специального амплуа “художник” в производстве быть не может»⁹.

Тьерри де Дюв символично открывает свое эссе «Невольники Маркса», — эссе, которое далее послужит нам теоретическим проводником в мир модернистской художественной политэкономии, — описанием последней, «похоронной» инсталляции Йозефа Бойса:

В первом [саркофаге] находились скромные пожитки какого-нибудь паломника или бродяги, разложенные в приблизительно антропоморфном порядке: рюкзак — голова; две бронзовые трости, одна из которых была завернута в фетр, — руки; рулон кожи и два рулона тонкого сала <...> — грудная клетка; пласт толстого грудного сала — ноги. <...> Так упокоился бездомный художник, бродячий клоун, скитавшийся, прихрамывая, по дорогам изгнания с нехитрым скарбом за спиной, — Эдип в Колоне. В саркофаге, стоявшем в центре, тот же герой предстал в более внушительном, трагическом и величественном облике, — скорее как Эдип-царь: отливка головы <...> с отверстием, словно в предсмертном хрипе, ртом торчала из толстой кроличьей шубы на синей шелковой подкладке, в ногах которой лежала сулившая надежду на возрождение орская раковина. <...> Так упокоился художник — царь трагической судьбы, с приличествующими его титулу атрибутами. Инсталляция носила название «Palazzo Regale»¹⁰.

Кажется, что наконец-то родившийся от «брака» Аристотеля и римского права творец-суверен, бесконечно осциллирующий в модернизме между полюсами самопрославления и кенотического самоуничужения, умирает сразу в обеих своих ипостасях.

Однако погребальная эстетика не должна обманывать: речь идет не столько о смерти царской фигуры суверенного художника вместе с своим неказистым диалектическим визави, сколько о ее постмортальном возвращении в иной форме, в качестве момента иной, теперь уже политэкономической, конфигурации. Главным содержанием модернизма как события в истории искусства и является, по де Дюву, перекрытие «эстетического поля политэкономическим»¹¹. Де Дюв размышляет в терминах секуляризации, в терминах замены религиозно-теологического диспозитива политэкономией в качестве «решающего интерпретанта»¹² (в том значении, какое придавал этому понятию Чарльз Сандерс Пирс) исторической ситуации, но, наверное, стоит говорить не столько о секуляризации, сколько о метаморфозе: теология «выживает» дважды — и в устройстве нововременных политических практик и паттернов мышления, и в капиталистическом устройстве экономических. Как показывают недавние исследования Джорджо Агамбена, Дотана

ческим «культом личности», окончательно оформившимся к концу 1920-х гг.: «Начало культа есть *sic volo, sic jubeo* [так я хочу, так я приказываю (*лат.*)], волюнтаризм, условность, “преобразование мира” etc. (совпадение с эстетикой декадентства № 2...). <...> Начало культа было в этом, и в эти тона окрашен не только инкубационный период культа, но и время его подъема до 1931—1932 гг. примерно» (*Лиц-шиц М. Varia* / Сост. В.Г. Арсланов. М.: Грюндриссе, 2010. С. 129).

9 Тарабукин Н. От мольберта к машине. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 53.

10 Дюв Т. де. Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан / Пер. с фр. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 15.

11 Там же. С. 8.

12 Там же. С. 8—9.

Лешема, Митчелла Дина и др.¹³, сам переход к зрелой буржуазной модерности можно, несколько упрощая, представить как переключение с суверенно-политического режима работы «провиденциальной машины» на экономико-управленческий.

Рассматривая четыре различные стратегии поглощения эстетического политэкономическим, — стратегии Бойса, Уорхола, Кляйна и Дюшана, — де Дюв отмечает, что только дюшановская стратегия достигает абсолютной, саморефлексивной и полностью расколдованной тотальности. На примере сложной авторской игры вокруг знаменитого «Фонтана» де Дюв показывает, что Дюшан выступает как капиталист-предприниматель, нанимающий самого себя в качестве эксплуатируемой рабочей силы и присваивающий себе же прибавочную стоимость. При этом вести жизнь художника в ситуации разделения труда — «значит плевать на страдания ремесленника, изводящего себя самоэксплуатацией, чтобы выжить; это значит работать спустя рукава, изживая в себе удовольствие и гордость, которые вселял в художника его труд прежде; это значит забыть традиционные ручные навыки своей профессии ради методов менее обременительных с точки зрения рабочего времени...»¹⁴ В общем, мистификация здесь полностью совпадает с разоблачением, а экономика без всяких щелей и зазоров идеально перекрывает поле искусства. На этом фоне проекты Бойса, Уорхола и Кляйна выглядят половинчатыми: каждый из них отмечен авторской слепотой в отношении того или иного аспекта этого нормативно-идеального совпадения. Так, Бойс, утопически идентифицируясь с мировым «пролетариатом» нехудожников, чья «рабочая сила» — универсальная креативность — постоянно отчуждается и порабощается и потому нуждается в революционном освобождении («каждый человек художник»), оказывается слеп по отношению к собственной реальной позиции выставяющегося и хорошо продающегося автора: «Пока новый порядок не наступил, капиталом остаются деньги, а не креативность. Не каждый человек художник, и рынок искусства по-прежнему оперирует как товарами плодами “креативности” тех, кого он признает профессиональными художниками. Здесь Бойс был обласкан...»¹⁵ Ив Кляйн, напротив, отождествлявший себя с капиталистом, этот мистик-мистификатор, ставший художником «чистой меновой стоимости», был слеп в отношении самоэксплуатации, то есть не видел в себе «пролетария». Наконец, Уорхол, стремившийся, по мысли де Дюва, стать машиной в тотально коммодифицированном мире, был слеп — или, скорее, сознательно равнодушен — к тому целому телу капитала, куда он на правах машины и встраивался. Машинную партикулярность, конечно, можно представить в качестве эмблемы этого целого, чьим сущностным атрибутом и является разделенность, обусловленная частной собственностью и отчуждением, но Уорхол, кажется, слишком серьезно относился к своему машинному бизнес-проекту именно как к бизнесу, чтобы играть в диалектику.

Однако даже эти «подслеповатые» творческие стратегии кажутся образцами рефлексивной чуткости (неважно, критического или аффирмативного характера) по сравнению с проектом Фрэнсиса Бэкона. Действительно, если все художники, проанализированные в книге де Дюва, так или иначе ставят под вопрос ремеслен-

13 См.: Агамбен Дж. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления / Пер. с итал. Д.С. Фарафоновой, Е.В. Смагиной; под науч. ред. Д.Е. Раскова, А.А. Погребняка, Д.С. Фарафоновой. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018; *Leshem D. The Origins of Neoliberalism. Modeling the Economy from Jesus to Foucault.* N.Y.: Columbia University Press, 2016; *The Routledge Handbook of Economic Theology* / Ed. by S. Schwarzkopf. L.; N.Y.: Routledge, 2021.

14 Дюв Т. де. Указ. соч. С. 94.

ную виртуозность традиционной живописи, то Бэкон — это в определенном смысле ее воплощение. Даже крайне критически настроенный по отношению к Бэкону Джон Бёрджер отмечает его технический профессионализм: «Бэкон — художник чрезвычайно умелый, мастеровитый. Все, кто хоть как-то знаком с проблемами фигуративной масляной живописи, не могут не оценить качества его художественных решений. Такое редкое в наши дни мастерство говорит о преданности своему делу и исключительно ясном понимании используемых художественных средств»¹⁶.

С этим «ясным пониманием» нам еще предстоит разобраться, но что касается проблемы знания вообще и рефлексии как критической силы расколдовывания, то Бэкон здесь делает очевидный шаг назад даже по сравнению с Уорхолом. Можно не разделять резких оценок Бёрджера («Картины <...> Бэкона демонстрируют, как отчуждение может вызывать желание поскорее достичь последней, абсолютно стадии отчуждения — полной безмозглости»¹⁷), но стоит прислушаться к прямой речи самого художника. В интервью Сильвестру он, например, признается, что не знает, «как возникает форма» (с. 13), и что всегда знает, что хочет сделать, но не знает, как это сделать (с. 112—113); говорит о возможностях «невероятно иррациональной переработки позитивного образа» (с. 34), о необходимости прокладывать «области чувств, ведущие к глубинной реальности образа» (с. 72), о важности «инстинкта» и о том, что, в конечном итоге, «все искусство инстинктивно, и вы уже не можете говорить об инстинкте, потому что не знаете, что это такое» (с. 107). Число подобных цитат, свидетельствующих о сознательно культивируемом незнании как ключевой живописной стратегии, легко можно было бы удвоить или даже утроить. Как будто возвращение к фигуративной мастеровитости возвращает одновременно и соответствующую (квази)романтическую риторику, в терминах которой художник описывается как чувствительная мембрана, реагирующая на вибрации внешнего резонирующей вибрацией внутреннего — причем без всякого интеллектуально-понятийного опосредования. Здесь мы вроде бы вновь сталкиваемся с двойной фигурой художника-царя и художника-бродяги: суверенный статус творца-новатора в живописи достигается через десуверенизацию в качестве всего лишь медиума космогонических сил внешнего. Тем более что Бэкон недвусмысленно признается в собственной «медиумичности»: «Я всегда вижу себя не столько художником, сколько медиумом, который призывает случай и везение» (с. 151). Недаром даже в расширенном списке «невольников Маркса» (а в предисловии к американскому изданию де Дюв отмечает, что если бы писал книгу заново, то добавил бы еще двух «невольников»: Марселя Бротарса и Пьеро Мандзони), Бэкону не нашлось места.

Однако трактовать позицию Бэкона таким образом было бы очевидным упрощением. Техническая виртуозность его живописи — это ни в коем случае не возврат к плоско и традиционно понимаемой фигуративности. Здесь имеет смысл обратиться к упомянутой выше работе Жюль Делёза «Фрэнсис Бэкон: логика ощущений» (1981), просмотренной и одобренной самим художником.

Если попробовать кратко изложить узловые пункты делёзовского анализа (нарушив при этом драматургию его последовательного разворачивания «в порядке усложнения»¹⁸), то следует начать с прояснения понятия ощущения, вынесенного в подзаголовок книги. По Делёзу, существует два основных способа поставить под

15 Там же. С. 10—11.

16 *Бёрджер Дж.* Портреты / Пер. с англ. А. Степанова. СПб.: Азбука, 2018. С. 341.

17 Там же. С. 347.

18 *Делёз Ж.* Фрэнсис Бэкон: логика ощущения / Пер. с фр. А.В. Шестакова. СПб.: Масхина, 2011. С. 19.

вопрос господство «наррации» и «иллюстрации» в живописи. Первый — это создание абстрактной формы. Второй, который, собственно, и выбирает Бэкон, — это высвобождение Фигуры, а Фигура в противоположность «фигурации» (то есть удушющему единству нарративных сюжетов и иллюстративных подобий) — это и есть ощущение. Ощущение ни в коем случае не субъективно — следуя за Сезанном и видевшими в Сезанне «квинтэссенцию живописи» феноменологами, Мальдине и Мерло-Понти, Делёз располагает ощущение в телесной зоне неразличимости субъекта и объекта: «Я, зритель, испытываю ощущение, только входя в картину, соглашаясь с единством ощущающего и ощущаемого... Пишется тело, не в том смысле, что оно изображается как объект, а в том смысле, что оно переживается, как испытывающее определенное ощущение (Лоуренс, говоря о Сезанне, называет это “яблочностью яблока”)¹⁹.

Это сезанновское «ощущение» эквивалентно «регистрации факта» у Бэкона. Зарегистрировать факт означает не *рассказать* об объекте, не снять с него живописную копию, чтобы *потом* вызвать некоторое субъективно переживаемое ощущение у зрителя, — напротив, это означает произвести короткое замыкание между фактом-ощущением и нервной системой, минуя всяческие репрезентации и опосредования. Не провоцировать «сенсационность», острое чувство и не изображать тех, кто его испытывает, но писать ощущение само по себе — такова, по Делёзу, задача и Сезанна, и Бэкона, несмотря на все различие тем и индивидуальных манер этих очень разных художников.

Далее, отталкиваясь от замечаний Бэкона, сделанных в ходе бесед с Сильвестром, о разных уровнях и порядках ощущений, Делёз последовательно обсуждает и отвергает несколько возможных объяснений этой чувственной многоуровневой архитектуры. Во-первых, хотя живопись Бэкона действительно сериальна, нельзя сказать, что отдельные серии представляют собой последовательности отдельных чувств. Скорее речь должна идти о множестве порядков одного «синтетического» ощущения. При этом его единство не обеспечивается объектом, иначе мы бы вновь столкнулись с фигурацией, а не с Фигурой. Как недвусмысленно пишет Делёз, «сама Фигура ничем не обязана природе изображенного объекта»²⁰. Во-вторых, разность уровней и областей ощущения не имеет отношения к амбивалентности чувств. Бэкон вообще остается глух к тем психоаналитическим интерпретациям собственного творчества, которые периодически подбрасывает ему Сильвестр. Делёз подчеркивает, что у Бэкона нет не только амбивалентности чувств, но и самих чувств, если, видимо, под последними понимать нечто лингвистически-биографическое, то есть то, о чем я могу дать себе артикулированный отчет как о собственном переживании²¹. Место социокультурных чувств занимают вполне натуралистические аффекты. В-третьих, Делёз критикует и так называемую моторную гипотезу, согласно которой уровни и порядки ощущений отсылают к разным фа-

19 Там же. С. 50.

20 Там же. С. 53.

21 В скромной библиотеке русских переводов работ о Бэконе образцово искусствоведческий — и в этом смысле антиделёзовский — подход представлен в открывающем книгу Джонатана Литтелла рассуждении Мануэлы Мены — куратора Прадо, лично знавшей Бэкона. Здесь задействованы все регистры, которые Делёз сознательно обходит: иконографический, историко-биографический, психоаналитический. В противовес культу случайности у самого Бэкона, Мена представляет его как художника, чьи картины оказываются воплощением абсолютной продуманности: «Его картины суть повествования, повествования дьявольски умные» (*Литтелл Дж. Триптих: три этюда о Фрэнсисе Бэконе* / Пер. с англ. А. Аслаяна. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 34).

зам движения. Напротив, полагает он, нужно идти не от движения к ощущению, а от ощущения к движению — последнее следует понимать в качестве эффекта «эластичности» первого. Наконец, не подходит и «феноменологическая гипотеза» — предположение, что различные чувственные страты отсылают к различным органам чувств, неверно, поскольку для Бэкона важен общий для всех этих органов «патический», или нерепрезентативный, аспект каждого отдельного ощущения.

И подлинным источником единства всех этих чувственных областей является Ритм (в книге Делёза это слово пишется с большой буквы) некоей витальной силы, обнаружить которую можно, только если преодолеть уровень организма/организации с его системой органов и выйти к вибрирующему интенсивностями телу без органов — единственный предмет художнического интереса Бэкона: «Фигура — это самое настоящее тело без органов <...>; тело без органов — это плоть и нервы; его пронизывает волна, оставляющая пороги на своем пути; ощущение подобно встрече этой волны с действующими на тело Силами; <...> отнесенное таким образом к телу, ощущение перестает быть репрезентативным и становится реальным...»²²

Этот только один, хотя и чрезвычайно важный, момент делёзовской интерпретации. Но для наших целей его вполне достаточно: уже понятно, что бэконовская «логика ощущений» совсем не похожа на простой регресс к «чувствительной», живописно изоцированной фигуративности. Но пожалуй, самое главное, о чем косвенно свидетельствует книга Делёза, это значимость политэкономического поля для стратегии Бэкона: стоит вспомнить, что делёзовское тело без органов на великом плане консистенции не только обнаруживается по ту сторону телесной организации, но и оказывается пределом исторических форм социуса: земли, тела деспота, капитала-денег²³. В общем, как представляется, Бэкон также реагирует на «слияние и поглощение» экономикой искусства, но реагирует специфическим образом. Эта реакция являет себя в его рассуждениях о собственном методе как о своего рода экономии случайности и контроля.

Среди множества тем, поднимаемых в интервью: критика иллюстративности и наррации в живописи, техническая роль фотографии в бэконовском творчестве, отношение к классикам (прежде всего к Веласкесу и Рембрандту) и современникам (Дюшану, Ротко и Поллоку), рассуждения о подлинном реализме и абстракции, воспоминания о детстве и юности, значение роскоши и азартных игр и т.д. — есть одна тема, которая обсессивно повторяется практически в каждом интервью, на протяжении всех двадцати с лишним лет этого долгого диалога. Вернее, все остальные темы служат иллюстрациями и поясняющими примерами этой главной темы — темы метода как баланса непреднамеренного и интенционального, неподрачетного и расчета, фактически данного во всей его случайности и корректирующего эту случайность субъективного вмешательства.

Эта тема возникает уже в самом начале первого интервью. Сильвестр спрашивает Бэкона о причинах перехода к большей фигуративности после его знаменитой работы «Три этюда фигур у подножия Распятия» (1944), написанной под влиянием Пикассо. Бэкон отвечает, что этот переход был делом чистого случая. Как-то он пытался написать птицу, сидящую в поле, но в результате получилась «Картина» (1946), изображающая что-то вроде лавки мясника с уже разделанной тушей на заднем плане и фигурой мужчины, верхняя половина лица которого спрятана за рас-

22 Делёз Ж. Указ. соч. С. 59.

23 См.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Д. Кралечкина; под науч. ред. В. Кузнецова. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 443—445.

крытым зонтом. «Я не планировал ее такой, какой она вышла: дело решил непрерывный поток случаев, как бы забравшихся друг на друга... Она (так и не написанная птица. — *И.К.*) внезапно подсказала выход в совершенно другую область чувств. И я все это написал — шаг за шагом... Она внезапно подсказала всю картину» (с. 11). Этот случай инверсивно определил и главный метод: если в ситуации с птицей Бэкон пытался изобразить одно и случайно получил другое, то теперь ставка на иррациональные средства становится рефлексивной — необходимо писать нечто определенное с помощью неопределенно-случайного. Это случайное, оставаясь случайным, должно стать необходимым путем к задуманному. Чуть ниже, в этом же интервью, Бэкон обсуждает методы «работы над собой» — что нужно сделать художнику, чтобы полностью «раскрепоститься» (наркотики, алкоголь, утомление, воля) и суметь — случайно! — поймать нужную форму или фигуру. «Я постоянно и напряженно думаю, как мне раскрепоститься» (с. 15). В общем, фундаментальная апория в первом интервью выглядит так: «Мой способ работы полностью подчинен случаю, причем доля случая в нем неуклонно возрастает; можно сказать, что он не дает результата, когда не является случайным, а как воссоздать случай? Это практически невозможно» (с. 19). В свое время норвежский марксист Юн Эльстер описывал подобные парадоксы в терминах смещения активного и пассивного отрицания²⁴. Действительно, я *должен* быть спонтанным, но раз спонтанность становится моим сознательным методом, я уже *не могу* быть спонтанным.

Важно, что, согласно Бэкону, задуманное и желаемое в итоге никогда не удается осуществить. Оно всегда остается либидинально заряженным и недоступным. Но в ходе необходимо случайного движения к этому желаемому можно — благодаря счастливому стечению обстоятельств — достичь незапланированной глубины. Как в случае с лакановской интерпретацией Ахиллеса и черепахи: Ахиллес или все время отстает от черепахи, постоянно приближаясь к ней, или рывком обгоняет ее, но никогда не сможет встать с ней вровень.

Далее эта тема, инициируемая то Сильвестром, то самим Бэконом, уже не покидает страницы книги. В развернутом виде она, например, вновь возникает при обсуждении абстрактного экспрессионизма. Понятно, что миметическая иллюстративность расхожего реализма не устраивала Бэкона, поскольку привязывала к изображаемому объекту и навязывала правила его репрезентации, бессмысленного удвоения. Здесь нет места ни спонтанности, ни случайности, ни свободе. Но абсолютный суверенный произвол абстрактного экспрессионизма также им критикуется. Даже те картины, главным художественным методом написания которых был «метод» случайного разбрызгивания краски, должны производить впечатление «неизбежности того, что на них случилось» (с. 104). А экспрессионистская живопись — это не «неизбежность», а «расхлябанность» и «небрежность» (с. 105). Несколькими дальше Бэкон дает определение того, каким должно настоящее искусство: «Думаю, что все искусство состоит в таинственной связи между способностью пустить вещи на самотек и способностью в то же время сохранять достаточную дистанцию, чтобы вовремя остановиться» (с. 116).

Здесь те, кто читал работы Фуко и Агамбена, посвященные генеалогии того, что с легкой руки первого получило название экономической гвернаментальности, или экономического управленчества²⁵, безусловно, обнаружат нечто зна-

24 Эльстер Ю. Кислый виноград: исследование провалов рациональности / Пер. с англ. И. Кушнарево; под науч. ред. А. Морозова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.

25 Фуко использует термин *gouvernementalité*. Российские переводчики так и не пришли к консенсусу, как именно следует переводить это слово. В настоящее время встречаются три основных варианта: гвернаментальность, управленчество и правительственность.

комое. Тем более что очередная итерация диалога о случайности и контроле заканчивается прямым политэкономическим высказыванием Бэкона, — кажется, единственным во всей книге. Апология спонтанности и случая в живописи отзывается критикой социального государства в политике: «*Дэвид Сильвестр*: По-моему, следовать своим импульсам, быть готовым к последствиям, не взвешивать риски — не просто ваша личная тактика поведения: тут есть еще позиция по отношению к обществу. То есть вы говорите так, как будто понятие социального государства, гарантирующего людям определенный уровень жизни, кажется вам своего рода извращением. *Фрэнсис Бэкон*: Ну да, я считаю, что, если государство нянчится с тобой с пеленок и до гроба, это делает жизнь скучной... Думаю, такова жизнь. Знаю, вы скажете, что вся жизнь насквозь искусственна, но, по-моему, так называемая общественная справедливость доводит ее искусственность до абсурда» (с. 135—136).

Эта политэкономическая параллель многое проясняет: завершая сбивчивые, многословные комментарии Бэкона к методу своего художественного существования, она в конечном итоге делает его достойным участником компании модернистов, описанных в книге де Дюва. Ну, может быть, с той оговоркой, что он не столько «невольник» Маркса, сколько «невольник» Фуко.

Анализируя генеалогию и механизмы работы либеральной гвернаментальности, Фуко подчеркивает, что она управляет не свободой (ограничивая ее своим бесконечным регулятивным вмешательством, как это делали, например, предшествующий режим управления, так называемая полиция, и служащая ей «полицейская наука»), а *посредством свободы*. Управляемых экономических агентов необходимо предоставить самим себе, поскольку у экономической реальности капиталистических рынков есть собственная — «естественная» — рациональность, и чем меньше волюнтаристского, суверенного произвола позволяет себе власть, тем лучше (экономический) результат. Но сама свобода не естественная данность, как бы ни настаивала на обратном либеральная гвернаментальность, а продукт специальных усилий и управленческих техник. Само пространство рынка как спонтанного порядка возникает благодаря целенаправленной политике по организации этого пространства и поддержанию его «спонтанности». Продолжая эту линию рассуждений Фуко, Джорджо Агамбен убедительно показал теологический бэкграунд этого рыночного управления. Разработанное Святыми Отцами учение о Божественной «ойкономии», позволяющей сопрячь трансцендентность Бога и его имманентное управление миром, порядок первичных причин и порядок вторичных причин, онтологию и историю, полюс суверенности и полюс «самотека», оказалось той «невидимой рукой», что направляло учение Адама Смита и других основателей политэкономии о «невидимой руке» рынка.

Теперь становится понятным тот способ работы с перекрытием эстетического поля политэкономическим, который практикует Бэкон. Он не отождествляется ни с отдельными фигурами капиталистического способа производства (как это делали Бойс и Кляйн), ни со средствами производства (как это делал Уорхол). Скорее он демонстрирует технику навигации в капиталистическом мире, вновь ставшем для нас заколдованной природой. И чем меньше мы знаем о ее подлинном устройстве, тем эта навигация будет успешней: эпистемологический дефицит — залог спонтанности спонтанных порядков. Метод Бэкона — парадоксальное сочетание случайности и контроля — оказывается миметическим отражением наших экономических стратегий в дерегулированном пространстве окончательно победившего неолиберализма. И тогда все эти скрученные, искореженные, кричащие Фигуры — это бесконечные подписи провиденциальной машины экономики, работа которой представлена на полотнах Бэкона в своем чистом виде.

Если это действительно так, то его живопись — это живопись свидетельства, свидетельства той особой безжалостности, что, будучи возведена в абсолют, «становится абстрактной: следуя исключительно логике выгоды (холодной, как морозильная камера), она грозит уничтожить как пережитки прошлого все прочие верования вместе с традиционной для них установкой встречать жестокость жизни с достоинством и некоторой надеждой»²⁶.

26 *Бёрджер Дж.* Указ. соч. С. 348—349.

К. Ю. Лаппо-Данилевский

Архивные дары Эрец-Исраэля русской культуре

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_356

От Шолом-Алейхема до Ивана Бунина / Под ред. В. Хазана.

Jerusalem: Studio Click, 2022. 686 с. (Русская история и культура
в архивах Израиля. Кн. I).

**Марголин Ю. Путешествие в страну ээка; дорога на запад;
поэзия** / Сост. и ред. М. Шаули; вступ. статья В. Хазана.

Иерусалим: Studio Click Ltd, 2023. 704 с. (Русская история
и культура в архивах Израиля. Кн. II. Ч. 1).

Марголин Ю. Письма / Сост. и ред. В. Хазан.

Иерусалим: Studio Click Ltd, 2024. 750 с. (Русская история и культура
в архивах Израиля. Кн. II. Ч. 2).

**Леонид Пастернак, Василий Кандинский, Исаак Бабель,
Исайя Берлин и другие...** / Под ред. В. Хазана.

Jerusalem: Studio Click, 2023. 664 с. (Русская история и культура
в архивах Израиля. Кн. III).

В 2019 г. под грифом Еврейского университета в Иерусалиме был опубликован первый том масштабной научной серии «Земля Израиля и русские эмигранты в Европе: контакты, взаимосвязи, коммуникация, взаимодействие (1919—1939)» (к настоящему моменту из печати вышло уже пять книг серии)¹. В 2022 г. В.И. Хазан, ее главный редактор, начал издание еще одной, не менее масштабной серии «Русская история и культура в архивах Израиля», которой и посвящен настоящий обзор.

В первой серии рассматривались бытование русской культуры в изгнании после 1917 г. и судьбы русскоязычной интеллигенции в Палестине. Ее архивно-публикаторский характер проявился прежде всего в том, что она вводит в научный оборот под вполне определенным тематическим углом зрения новые материалы, рассеянные по всему миру. Серия «Земля Израиля и русские эмигранты в Европе» обращена в первую очередь к англоязычному читателю, поэтому все предисловия, пояснения и комментарии в ней даны в английском переводе. Впервые публикуемые или цитируемые документы приводятся и на языке оригинала (русском, немецком, а порой и французском), и в английском переводе.

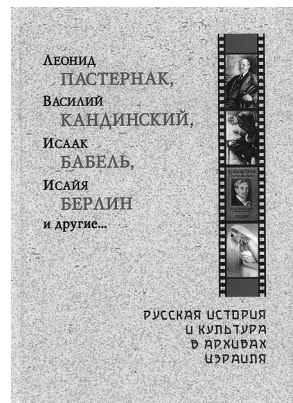
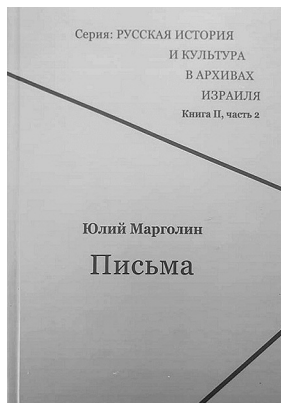
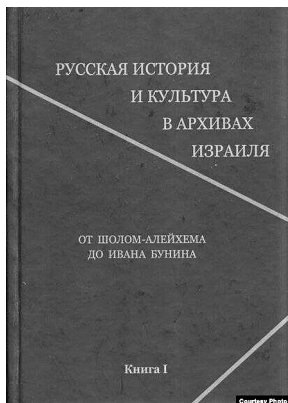
Новая серия «Русская история и культура в архивах Израиля» преследует схожие цели, однако решаются они несколько иначе и на несколько ином материале. Во-первых, в фокусе исследовательского внимания находятся артефакты и документы, связанные с исторической и культурной жизнью России и «занесенные ведомыми или неведомыми ветрами» в Эрец-Исраэль. В общем предисловии к серии Хазан

1 Russian Philosophy in Exile and Eretz-Israel. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 2019—2023. Vol. I—V. См. мою рецензию на первый том: Русская философия в Земле Израиля // Новое литературное обозрение. 2022. № 173. С. 383—387.

так поясняет избранные принципы отбора: «...материалы, о которых идет речь, должны а) находиться в государственных или личных израильских архивах; б) быть связанными своим происхождением с историей и культурой России; в) представлять известную научную и общественную ценность» (кн. I, с. 8). Во-вторых, в серии возможна републикация ранее напечатанных материалов, но при этом они должны быть выверены, исправлены и сопровождаться расширенным и уточненным комментарием. Подобные публикации, по мнению Хазана, необходимы как для устранения многочисленных неточностей, которые продолжают тиражироваться, так и для углубления наших знаний о деятелях русской культуры. В-третьих, серия обращена в первую очередь к русскоязычному читателю — предисловия, сами документы и комментарии, в отличие от серии предыдущей, на английский язык не переведены. Если на настоящий момент в серии «Земля Израиля и русские эмигранты в Европе» замечен философский и историко-политический крен, то серия «Русская история и культура в архивах Израиля» скорее литературоцентрична, хотя в ней также уделено немало места истории живописи и театра. Существенно и то, что при комментировании, восполнении лакун, выстраивании корреспонденции авторы серии отнюдь не ограничивают себя архивами Израиля, обильно черпая документы из хранилищ по всему свету².

Нельзя не отметить и близость серий, в значительной мере обусловленную личностью их главного редактора В.И. Хазана. Она выражается и в характере подачи материала, и в круге сотрудничающих с ним авторов, и в том, что у обеих серий есть общие любимые герои, и в том, что в них неоднократно происходит обращение к одним и тем же архивам — как, например, к обширнейшему комплексу документов семейства Шоров, хранящемуся в Отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Израиля.

В настоящий момент в серии «Русская история и культура в архивах Израиля» опубликовано три книги.



Первая и третья книги серии выстроены по различным принципам. В первой шесть разделов, в каждом публикуются материалы из какого-то одного архива: из Архива Шолом-Алейхема (Тель-Авив), Института Жаботинского в Израиле (Тель-Авив), Отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Израиля (Иерусалим), Государственного архива Израиля (Иерусалим), Архива Ассоциации ивритских писателей Израиля и, наконец, из личного архива Р.Д. Тименчика. Структуру третьей книги определяют персоналии, в чем нетрудно убедиться из названий его

2 Так, например, ряд писем приводятся по Государственному архиву Российской Федерации, Гуверовскому институту (Стэнфорд) и т.п.

пяти разделов: I. Леонид Пастернак и еврейский мир (Материалы к теме); II. Василий Кандинский и Евсей Шор; III. Исаак Бабель; IV. Исайя Берлин; VI. Шошана Авивит. В разделе V, озаглавленном «Издательство им. Чехова», в центре внимания значение для этой эмигрантской организации деятельности двух выдающихся личностей — Веры Александровны Александровой (урожд. Мордвиновой; в замуж. Шварц; 1895—1966) и ее мужа Соломона Мееровича Шварца (собств. Моносзон; 1883—1973), ее неизменного соратника. Достаточно указать на то, что он нередко брал на себя ее эпистолярные обязанности, отвечая от имени жены авторам, как то отмечает Т. Позднякова, публикующая в этом разделе переписку Издательства им. Чехова с И.А. и В.Н. Буниными, М. Алдановым, А.Ф. Даманской, Дон-Аминадо, В.С. Яновским.

Не претендуя на исчерпывающую полноту описания серии, хотелось бы коснуться наиболее интересных и значительных в культурно-историческом плане комплексов документов, представленных в ней. Их первый обильный пласт связан с именами деятелей русской культуры, которые сформировались еще во второй половине XIX в. и чьи заслуги к началу Первой мировой войны обрели всеобщее признание. В данном контексте стоит указать на эпистолярные диалоги, состоявшиеся между крупнейшими еврейскими и русскими писателями — Шолом-Алейхемом и А.В. Амфитеатровым (публикация В.И. Хазана и Л.Г. Жуховицкой), И.А. Буниным и Залманом Шнеуром (публикация В.И. Хазана и Г. Вайсбляя). Неизменный интерес к творчеству друг друга, выражавшийся в желании познакомить собственную аудиторию с произведениями корреспондента и в связи с этим способствовать поиску хороших переводчиков, а также схожие сложности с издателями, — вот далеко не полный перечень тем этой переписки. К тому же старшему поколению относятся прозаик и художник А. М. Федоров, чьи мемуары о В.Е. Жаботинском подготовлены к печати Хазаном.

Выше уже упоминалось исключительное богатство архива семьи Шоров, предоставившего ценнейший материал для публикаций как в первой, так и в третьей книгах. Сохранившиеся документы связаны главным образом с многолетней творческой деятельностью Давида Соломоновича Шора (1867—1942), выдающегося музыканта, и его сына Евсея Давидовича Шора (1891—1974), журналиста, педагога, музыкального деятеля и переводчика, чья фигура в последние годы привлекает все большее внимание исследователей (достаточно указать на работы о нем Д.М. Сегала, Н.М. Сегал (Рудник), В.И. Хазана, М. Вахтеля, В. В. Янцена и др.)³.

В первой книге по материалам архива Шоров подготовлены следующие публикации: Н. Подземская освещает ряд драматичных обстоятельств судьбы московского семейства Габричевских после переворота 1917 г.; Е. Соломински публикует переписку Е.Д. Шора с Я.Л. Тейтелем, состоявшуюся в 1933 г., ее центральная тема — отъезд корреспондентов из Германии; В. Хазана интересуют отношения Е.Д. Шора, его жены и тестя с двумя художниками — К.А. Коровиным и С.О. Фиксом; в заключение В. Хазан повествует о тех духовных узах, что связали с Палестиной две контрастные личности — В.Б. Фохта (он же о. Гавриил), поэта и православного монаха, и К.К. Памфилову-Зильберберг, участницу эсеровского террора 1900-х гг., на всю жизнь сохранившую верность социалистическим идеалам.

В книге третьей архив Шоров оказывается востребован в двух разделах: в первом из них, «Леонид Пастернак и еврейский мир (Материалы к теме)», А.Ю. Сергеева-Клятис и В.И. Хазан напечатали письма Леонида Пастернака к Давиду Шору;

3 Библиографию важнейших работ о нем и реконструкцию биографии см. в статье: *Khazan V. "Spiritual renewal of the homeless world" (introduction to the volume) // Russian Philosophy in Exile and Eretz-Israel. Jerusalem, 2019. Vol. I. Pt. 1. P. 51—166.*

во втором, «Василий Кандинский и Евсей Шор», помещено обширное документальное исследование Н.М. Сегал-Рудник «Параллельные пути: РАХН и Баухауз, 1922—1923 (Василий Кандинский и Евсей Шор)». В нем детально рассмотрено, как концепция художественной деятельности Российской академии художественных наук, выдвинутая Кандинским и поддержанная Шором, столкнулась с ожесточенным противодействием Д.П. Штеренберга и О.М. Брика. Их чекистские связи предрешили исход противостояния: намечившееся сотрудничество РАХН и Баухауза не состоялось, а Кандинский и Шор предпочли в 1923 г. остаться в Германии.

Обширный фонд Юлия Борисовича Марголина (1900—1971) в Центральном сионистском архиве в Иерусалиме стал основой второй книги серии, представляющей собой собрание сочинений автора, чье литературное творчество сыграло исключительную роль в донесении правды о сталинских лагерях до широкой читательской аудитории на Западе. Формируясь как личность, Марголин испытал глубокое воздействие культур нескольких народов. Марголин и его близкие, проживавшие в Пинске, после государственного возрождения Польши стали ее гражданами. В 1923—1929 гг. Марголин учился на философском факультете Берлинского университета, где в 1929 г. защитил диссертацию. В студенческие годы он близко общался и с русскими эмигрантами, и с сионистскими кругами. Эти контакты не прервались и после того, как после завершения образования Марголин возвратился в Польшу, откуда вместе с семьей в 1936 г. эмигрировал в Палестину. Приехав по делам в Польшу в 1939 г., он после начала нацистского вторжения бежал на территорию, вскоре занятую советскими войсками. После ареста НКВД в июне 1940 г. и пяти лет, проведенных в сталинских лагерях, Марголин в марте 1946 г. покинул СССР как польский гражданин и осенью того же года воссоединился с семьей в Палестине. Столь насыщенная перипетиями жизнь способствовала тому, что писательское наследие Марголина разноязычно: отдельные сочинения на идише, иврите, польском, немецком и в высшей степени многочисленные на русском. Это в немалой степени объясняется тем, что интенсивная литературная деятельность Марголина развернулась лишь во второй половине 1940-х гг. и главным импульсом для нее стало желание поведать миру о страшном лагерном опыте.

Свой *opus magnum* «Путешествие в страну зе-ка» Марголин создал на одном дыхании — в период с 15 декабря 1946 г. по 25 октября 1947 г. Куда больше времени и сил потребовалось, чтобы добиться издания книги, — лишь в 1952 г. Издательство им. Чехова опубликовало ее сокращенный вариант⁴. В полном виде, так, как ее задумал автор, «Путешествие...» вышло из печати лишь в 2017 г. в Иерусалиме. Это издание, подготовленное Мишей Шаули, целиком воспроизведено в первой части второй книги серии «Русская история и культура в архивах Израиля». Кроме того, здесь напечатаны: «Дорога на Запад» (рассказ о том, что происходило с Марголиным после освобождения вплоть до приезда в Палестину) и его лагерные стихи.

Вторая часть второй книги — публикация эпистолярия Марголина, яркой летописи его хождения в эмигрантские литературу и публицистику и полноценной творческой жизни в дальнейшем, несмотря на его удаленность от главных центров русского рассеяния.

Переписка, различная по степени теплоты и откровенности, связывала Марголина с редакторами крупнейших периодических изданий зарубежья: Р.А. Абрамовичем (журнал «Социалистический вестник»), М.Е. Вейнбаумом (газета «Новое

4 Русскому изданию предшествовал французский перевод, поспешно сделанный Н.Н. Берберовой и Миной Журно: *Margolin J. La condition inhumaine: Cinq ans dans les camps de concentration soviétiques* / Trad. par N. Berberova et M. Journot. Paris: Calmann-Lévy, 1949. Ряд глав были напечатаны в периодике и по-русски, и в переводах.

русское слово»), С.А. Водовым (газета «Русская мысль»), Р.Н. Гринбергом (журнал «Опыты», альманах «Воздушные пути»), Р.Б. Гулем (журнал «Народная правда» и «Новый журнал»). С последним из них Марголин поддерживал длительную и особенно сердечную переписку (она занимает почти 300 страниц), что отчасти объясняется знакомством писателей еще по русскому Берлину 1920-х гг. Гуль был одним из первых, кто завязал эпистолярный контакт с Марголиным после его возвращения из СССР, и считал своим долгом помочь тому издать книгу его жизни — «Путешествие в страну зе-ка». Гуль также деятельно способствовал ее известности во Франции и публикации отдельных глав в периодике. «Новый журнал» со временем стал важнейшей трибуной для Марголина, который в течение многих лет в задушевных письмах обсуждал с Гулем свои творческие планы и важнейшие события литературной жизни. Марголин даже попытался познакомить читателей «Нового журнала» с современной польской литературой. Правда, без особого успеха — Гуль не был впечатлен романом В. Гомбровича «Трансатлантик» в его переводе.

Столь же живое и доверительное обсуждение творческих и иных планов находим в обширной переписке Марголина с Б.А. Филипповым (псевдоним Б.А. Филистинского), литературоведом, прозаиком и поэтом, составителем и редактором вместе с Г.П. Струве собраний сочинений А. Ахматовой, М. Волошина, Н. Гумилева, Н. Заболоцкого, Н. Клюева, О. Мандельштама, Б. Пастернака и др., выходивших в американском издательстве «Международное литературное содружество». Филиппов всячески способствовал бесплатной высылке Марголину этих и других книг. На отношение двух друзей никак не повлияло то, что к другому confidentу Марголина, Р.Б. Гулю, Филиппов относился с нескрываемой неприязнью, а «Новый журнал» именовал не иначе, как «архивом русского погорелого либерал-социализма».

Письма ярко высвечивают политические расхождения Марголина с его корреспондентами из социалистического лагеря. Особенно они сказались при эпистолярном обсуждении «Еврейской повести», написанной Марголиным на иврите по заказу тех, кто стремился героизировать деятельность боевой еврейской организации Иргун Цвай Леуми, которая вела многолетнюю вооруженную борьбу с английским присутствием в Палестине. Стоит указать, что заказчики нашли недостаточно патетичным изображение главного героя повести — Исраэля Эпштейна, заложившего бомбу в британское посольство в Риме (детонировала 31 октября 1946 г.), а потому отказались способствовать ее напечатанию (она вышла в свет на русском языке в 1960 г.). Повесть вызвала отторжение и у представителей совершенно иного лагеря — например, у меньшевика Аронсона. Весьма критически к ней отнесся и эсер М.В. Вишняк, увидевший в ней черты агитки и выразивший в связи с ней свое далекое от симпатии понимание сионистского движения как «сознательного и бессознательного “эскапизма” от нееврейского освободительного и революционного движения» (кн. II, ч. 2, с. 155).

Нужно отдать должное кропотливым разысканиям Хазана, в течение многих лет собиравшего письма Марголина в фондах его знакомых по всему миру. Из его корреспондентов, чьи письма опубликованы в книге, помимо уже упомянутых, стоит назвать писателей Б. Суварина и О.В. Юркевич, журналиста Г.М. Света, актеров Л.А. Гатову и Я.Д. Жукова, Т.С. Франк, вдову философа С.Л. Франка.

До сих пор лишь один личный архив предоставил свои материалы серии. И в первой, и в третьей книгах есть публикации Р.Д. Тименчика, его владельца; обе в немалой степени связаны с биографией А. Ахматовой. В первой из них публикуются поэма «Создание мира» (1908) и девять стихотворений (1904—1905) ее почитателя и возлюбленного, художника-мозаичиста Б.В. Анрепа из альбома, подаренного Т.М. Девель исследователю в начале 1970-х гг. Эти произведения уже были опубликованы В.В. Сердечной в 2018 г., но тексты из альбома Анрепа содер-

жат ряд разночтений. В заключение Тименчик утверждает, что «стихи Анрепа покрывают одну из предпоследних недостатков в стиховом корпусе эпохи акмеизма», с чем трудно согласиться, ибо все приводимые произведения были созданы до того, как акмеизм возник, а их поэтика скорее символистская, чем акмеистская. Вторая публикация — письмо Исаяи Берлина от 19 июля 1991 г. с благодарностью Тименчику за его статью «Текст в тексте у акмеистов» (1981), незадолго до того полученную от автора. Берлин, помимо прочего, намечает несколько возможных тем, которые было бы ему интересно обсудить при следующей личной встрече (она так никогда и не состоялась). Двухстраничное письмо Берлина Тименчик сопроводил двадцатистраничным комментарием и обширным послесловием «Предыстория письма», в котором подробнейшим образом рассматривает историю знакомства Ахматовой и Берлина и разнообразные свидетельства о нем, порой весьма противоречивые и восходящие к устным рассказам самой Ахматовой.

Важной особенностью рассматриваемой серии является то, что предисловия к публикациям разрастаются до отдельных биографических очерков, тематически отдаляясь от печатаемых документов. Желание уточнить, дополнить, изложить подробнее, заявленное в предисловии Хазана к серии, проявляется здесь в полной мере. Так, двум письмам А.Ф. Даманской к М.Ю. Берхину в книге первой предпослано весьма подробное жизнеописание этого малоизвестного литератора, составленное Анной Балестриери; несколько писем художника С.О. Фикса дают повод Хазану суммировать биографическую информацию о нем. Он же, рисуя картину четырех последних лет жизни В.Б. Фохта на основании его писем Е.Д. Шору, весьма детально останавливается на том, что предшествовало появлению поэта в 1938 г. в Палестине. Более сорока страниц составляет очерк Хазана о В.А. Александровой. Кульминационный пункт этого сюжета — превращение провинциальной барышни, восторженной монархистки, корреспондентки и поклонницы В.В. Розанова в убежденную социалистку, жену и соратницу известного меньшевика С.М. Шварца. Трех поздним письмам Шошаны Авивит к Хане Ровиной, ее сопернице по сцене, предпослана обширная преамбула, в которой Е.Л. Румановская повествует об игре Авивит в первых постановках знаменитого театра «Габима», ее жизни в Берлине, а потом и в Париже, выступлениях с чтением стихов на иврите в Западной Европе и Палестине, увлечении актрисой Бальмонта, посвятившего ей несколько стихотворений.

Героями серии оказываются не только творцы культуры, но и те, кто входил в их окружение, был близок им по духу, чьи архивы хранят их письма, знаки внимания, книги с дарственными надписями. В связи с этим имеет смысл упомянуть Виктора Александровича Залкинда (1895—1986), инженера-механика по образованию, много сделавшего для становления промышленности в Израиле. В 1922 г. он был принят А.М. Ремизовым в Обезвельлопал, «шутейный орден», основанный писателем. В разделе первой книги, посвященном Залкинду, републикованы письма Ремизова к нему, впервые напечатанные Флейшманом в 1977 г.; здесь же находим выборку из переписки Залкинда с художницей А.Н. Прегель (урожд. Авксентьевой), ученицей Н.Ф. Гончаровой и М.Ф. Ларионова, и ее мужем Б.Ю. Прегелем.

Крайне разнообразны и порой весьма объемны материалы, помещаемые в приложениях к публикациям. Они отнюдь не всегда связаны с архивами Израиля: так, письма певицы и переводчицы И.Я. Кремер к А.В. и И.В. Амфитеатровым хранятся в Библиотеке Лилли Университета Индианы в Блумингтоне; письма С.О. Фикса к Горькому были почерпнуты Ларисой Жуховицкой из архива М. Горького в Институте мировой литературы в Москве (в 2022 г. впервые опубликованы ею же в журнале «Литературный факт»). Сами по себе довольно малосодержательны за-

писочки, которые Исаак Бабель посылал по пневматической почте своему приятелю журналисту Аврааму Блаю-Ципори во время пребывания в 1933 г. в Париже. Их информационная скудость контрастирует с обилием и яркостью событий, запечатленных в мемуаре Блая-Ципори о писателе. Он был напечатан в 1971 г. на иврите в тель-авивской газете «Al ha-Mishmar» и выпал из поля зрения исследователей Бабеля. Эти воспоминания в переводе на русский язык помещены в приложении к парижским записочкам Бабеля (публикация Т.Л. Лившиц-Азас).

Нельзя не отметить, что пристальное внимание к архивно-документальной основе, постоянно проявляющееся желание дополнить, уточнить, ввести в оборот новые свидетельства, нередко приводит в серии «Русская история и культура в архивах Израиля» к отклонениям от стержневых линий изложения, к диспропорциям. Но отчасти как раз благодаря им в ней достигнута исключительная объемность документального повествования, а задача обогатить наши представления об истории России и судьбах ее культуры успешно решена. Общим для всех героев серии оказывается знание русского языка и их принадлежность или причастность к русской культуре. Те из них, кто был еврейского происхождения, либо продолжали ей служить, поселившись в Палестине, либо от нее дистанцировались, избирая языком творчества иврит или идиш. При этом русский язык сохранял для всех них свое значение при поддержании творческих и дружеских контактов, а русское искусство продолжало быть источником важнейших импульсов и впечатлений. Длительные живые связи израильских фондообразователей с русской культурой способствовали тому, что архивная жатва в Израиле дала обильные плоды. Не приходится сомневаться, что дальнейшие книги серии «Русская история и культура в архивах Израиля» будут столь же ярки, содержательны и документально насыщены.

Александр Клейтман

«Значит, все-таки задушили...»

НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ЦАРЕВИЧА
АЛЕКСЕЯ 26 ИЮНЯ 1718 ГОДА

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_363

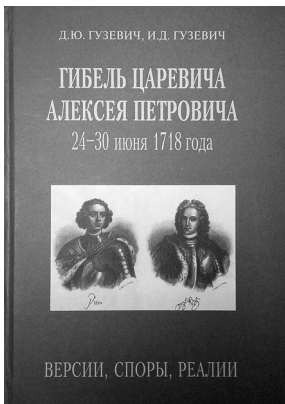
Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Гибель царевича Алексея Петровича:

24–30 июня 1718 года: версии, споры, реалии / При участии

Ю.А. Козловой; предисл. Я.А. Гордина.

СПб.: Европейский дом, 2024. — 456 с. — 500 экз.

Дело царевича Алексея — один из известных эпизодов правления Петра I. С одной стороны, он широко освещен в научной, научно-популярной, учебной, художественной литературе, живописи, кинематографе и, казалось бы, досконально изучен и всесторонне осмыслен. С другой — в этом сюжете, как и во многих вопросах истории Петровской эпохи, не только в общественном сознании, но и в трудах профессиональных историков, часто тесно переплетаются достоверные факты с устоявшимися и кочующими из одной работы в другую догмами, допущениями, субъективными оценками и откровенными фантазиями. В связи с этим, несмотря на обилие публикаций по данной теме, она не утратила научной актуальности.



Историки науки и техники, исследователи Петровской эпохи Д.Ю. и И.Д. Гузевич (при участии Ю.А. Козловой) предприняли попытку строго научного осмысления и детальной реконструкции событий, связанных с гибелью царевича Алексея Петровича. Она адресована в первую очередь профессиональному историческому сообществу, поскольку для читателя, не знакомого с историей и историографией Петровской эпохи, она будет сложна, для ее прочтения и понимания требуется «погружение в тему», знакомство с другими исследованиями о царевиче Алексее. В многочисленных и пространственных комментариях и примечаниях, в нескольких специальных параграфах авторы выходят за тематические рамки работы и рассматривают ряд теоретико-методологических вопросов, касающихся особенностей предмета и методов исторического исследования.

Как и большинство других работ Д.Ю. и И.Д. Гузевичей, рецензируемая книга основывается на обширной базе источников и историографических работ. Авторы делают основной упор на работу с опубликованными источниками, и для них этого оказывается достаточно для осмысления темы. При этом они стараются учесть все публикации по теме, вне зависимости от их оригинальности и профессионального уровня (главное внимание, конечно, уделяется научным работам). Такой подход позволяет понять, насколько та или иная концепция, сформулированная профессиональными историками, находит общественный отклик и насколько различные научные труды влияют на массовые представления о том или ином историческом сюжете.

Книга открывается статьей Я.А. Гордина «Убийство царевича Алексея: кто? где? как?», вводящей читателя в курс проанализированных в рецензируемой работе вопросов и поясняющей ее место в историографии, при этом автор пытается смягчить ряд резких высказанных в ней оценок и суждений. Примечательно, что Гордину принадлежат несколько публикаций, посвященных царевичу Алексею; на страницах книги Д.Ю. и И.Д. Гузевичи активно полемизируют с ним.

Далее следуют два кратких вводных раздела: «Вступление от авторов» и «Благодарности и технические комментарии». В них дан краткий обзор истории изучения дела царевича Алексея в отечественной и европейской историографии, обоснована актуальность темы исследования и обозначены причины, по которым она вызвала интерес у авторов книги. Здесь же читателя знакомят с особой историографической и источниковедческой ситуацией, связанной с изучением истории гибели царевича Алексея. Заключается она в том, что из имеющихся четырех групп источников по данной теме (официальные документы для публичного распространения; «официальные фиксационные документы: материалы допросов в Тайной канцелярии или записи в “гварнизонном” журнале» (с. 38); свидетельские показания мемуарного характера; слухи) большая часть исследователей отдавали предпочтение официальным документам, создатели которых ставили своей целью скрыть реальную картину. Мемуары, написанные спустя много лет после описываемых событий, и тем более слухи в соответствии с общепринятыми в исторической науке принципами считались субъективными и малодостоверными источниками, хотя, как доказывают Д.Ю. и И.Д. Гузевичи, при изучении дела царевича Алексея некоторые из них являются наиболее важными и информативными. Раздел «Вступление от авторов» завершается хроникой событий, связанных с гибелью царевича Алексея, составленной на основе официальных документов.

С первых страниц читателю дают понять: царевич был убит по личному указанию Петра I. Обширная исследовательская работа, проделанная авторами, призвана доказать справедливость данного утверждения и детально реконструировать, почему, кем и как было совершено это убийство.

Часть I книги («Версии кончины царевича») посвящена разбору двенадцати версий кончины царевича. Авторы провели кропотливый анализ источников и историографии (с XVIII в. до наших дней), проследив, на чем основывались современники и историки, обосновывая ту или иную картину событий последних дней жизни царевича Алексея. Благодаря опубликованной в 1718 г. большим тиражом брошюре «Объявление розыскного дела...»¹ и цензуре, общепринятыми стали сознательно сфальсифицированные организаторами убийства официальные версии событий: по формулировке авторов, «версия краткая официальная, не указывающая причин смерти», «более подробная официальная версия», а также близкая к ним «аналитико-идеологическая версия» (согласно которой «здоровье царевича, и так некрепкое, было полностью подорвано применявшимися к нему методами допроса <...>, от последствий которых он, собственно, и умер», с. 69—70). Обосновав ошибочность этих и еще шести версий, авторы сосредоточились на разборе двух, которые, на их взгляд, являются наиболее достоверными. Они содержатся в двух источниках личного происхождения, которые традиционно в историографии рассматривались как не содержащие правдивых сведений о смерти царевича: мемуарах служившего в России в 1710—1724 гг. шотландца Питера Генри Брюса,

1 [Объявление розыскного дела и суда по указу его царского величества на царевича Алексея Петровича, в Санктпетербурхе отправленного, и по указу его величества в печать, для известия всенародного, сего июня в 25 день, 1718, выданное]. [Санкт-петербург], [1718].

написанных в середине XVIII в. и впервые изданных в Лондоне в 1782 г.², и послании известного государственного деятеля Александра Ивановича Румянцева некоему Дмитрию Ивановичу Титову, сохранившемся в нескольких рукописных копиях и первый раз опубликованном также в Лондоне на страницах «Полярной звезды» в 1858 г.³ По аргументированному мнению авторов, такое отношение к данным источникам ошибочно, и, хотя они были созданы много лет спустя после описываемых событий, при изучении обстоятельств гибели царевича Алексея Петровича именно они являются наиболее достоверными.

Представляет интерес точка зрения Д.Ю. и И.Д. Гузевичей относительно обстоятельств создания послания А.И. Румянцева. Со времени обнаружения и введения в научный оборот этого документа большинство авторитетных исследователей Петровской эпохи (Н.Г. Устрялов, Н.И. Павленко, Е.В. Анисимов и др.) сошлись во мнении, что он является ярким примером исторической фальсификации. Н.И. Павленко считал, что послание было создано кем-то из «славянофильских кругов»⁴. Н.Я. Эйдельман полагал, что его автором был секретарь Румянцева Андрей Гри...⁵. В.П. Козлов относит авторство подделки к подготовившему первую публикацию документа князю Кавкасидзеву, затрудняясь, однако, определить его мотивы для создания этой фальсификации⁶. Д.Ю. и И.Д. Гузевичи доказывают, что послание А.И. Румянцева — литературное произведение, созданное для его сына, как и предполагал Эйдельман, Андреем Гри... в середине XVIII в. Часть текста была написана на основе опубликованного в 1718 г. «Розыского дела» и ряда других источников, а фрагмент, описывающий непосредственно процесс убийства (удушения) царевича, — со слов А.И. Румянцева (с. 137—138).

Если рассмотренный выше раздел книги носит характер обширного источниковедческого и историографического введения, то часть II («Реконструкция событий») содержит собственно анализ событий убийства и похорон царевича Алексея. При их реконструкции, помимо мемуаров П.Г. Брюса и рассказа А.И. Румянцева, авторы привлекли «Записную книгу Санкт-Петербургской гварнизонной канцелярии», донесения О. Плейера, «Записки» Ф. Вебера и ряд других источников.

В части III авторы проанализировали происхождение и распространение нескольких слухов и мифов, связанных с убийством царевича, а в разделе «Соображения» осветили ряд исторических и историографических сюжетов, уточняющих и помогающих полнее раскрыть их концепцию, которым не нашлось место в других разделах их труда («Лица, знавшие о тайной казни», «Почему проблема смерти царевича до сих пор не была решена» и несколько других).

Часть IV («дополнительная») посвящена допросам царевича Алексея Петровича и его любовницы Ефросинии Федоровой. Авторы восстановили хронологию связанных с этим событий, опровергли ряд распространенных в историографии штам-

2 *Bruce P.H.* Memoirs of Peter Henry Bruce, esq., a military officer, in the services of Prussia, Russia, and Great Britain: Containing an account of his travels in Germany, Russia, Tartary, Turkey, the West Indies, & c., as also several very interesting private anecdotes of the Czar, Peter I, of Russia. London: Printed for the author's widow, and sold by T. Payne and son, 1782.

3 Убиение царевича Алексея Петровича: Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу // Полярная звезда на 1858 / Изд. Искандером и Н. Огаревым. Лондон: Вольная русская типография, 1858. С. 279—287.

4 *Павленко Н.И.* Царевич Алексей. М.: Молодая гвардия, 2008.

5 *Эйдельман Н.Я.* Розыское дело // Наука и жизнь. 1971. № 9. С. 104—111; № 10. С. 99—103.

6 *Козлов В.П.* «Поведаю Вам страшныя сия тайны и буду изменник и предатель всепресветлого держаца моего» // Тайны фальсификации: Анализ подделок исторических источников XVIII—XIX веков. 2-е изд. М.: Аспект пресс, 1996. С. 186—198.

пов относительно личного участия Петра I в пытках царевича Алексея. В отдельном параграфе кратко проанализировано известное полотно Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»: охарактеризованы причины и условия обращения художника к данному сюжету, показано его место в общественных дискуссиях о Петре I, развернувшихся в середине XIX столетия.

В заключении книги приведена реконструированная в ходе исследования хронология событий 24—30 июня 1718 г.: от даты вынесения приговора царевичу Алексею до его похорон и поминок. Главные отличия этой хронологии от официальной, приведенной во введении: вечером 24-го или в первой половине дня 25 июня Петр I принял решение отравить сына, и в течение дня отравление было подготовлено (об этом приведена информация в мемуарах П.Г. Брюса); вечером этого же дня в связи с ухудшением состояния Алексея царь решил поменять с ядом на сценарий с удушением; 26 июня в начале первой ночи в Летнем дворце в присутствии супруги и духовника, архимандрита Феодосия, Петр приказал удушить сына; спустя час это было исполнено Толстым, Румянцевым, Ушаковым и Бутурлиным (информация об удушении почерпнута из послания А.И. Румянцева).

Подводя итог, следует отметить, что построения Д.Ю. и И.Д. Гузевичей базируются на нескольких сотнях исторических и историографических источников, подкрепляются результатами вдумчивого анализа политического и социокультурного контекста рассматриваемых событий, психологии действующих лиц. Предложенная авторами трактовка истории создания мемуаров П.Г. Брюса и послания А.И. Румянцева и основанная на данных источниках концепция гибели царевича Алексея противоречат мнениям большинства авторитетных российских историков, как XIX—XX вв., так и наших дней. Тем не менее, на наш взгляд, рецензируемая книга не должна пройти незамеченной. Она может быть интересна всем интересующимся историей России, и, безусловно, требует обсуждения и глубокого критического осмысления со стороны профессионального исторического сообщества.

Постсоветская драматургия глазами китайских исследователей

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_367

《当代俄罗斯戏剧研究 (1991—2012)》王丽丹, 李瑞莲, 北京:
中央编译出版社 2016, 375 页

Ван Лидань, Ли Жуйлянь. Исследование современной русской драматургии (1991—2012).

Пекин: Центральное издательство редактирования и переводов, 2016. — 375 с.

Рецензируемая книга профессора Ван Лиданя и доцента Ли Жуйляня содержит анализ развития русской драматургии в 1991—2012 гг. В поле зрения авторов находится множество пьес и драматургов данного периода, они стремятся продемонстрировать разнообразие и сложность современной русской драмы. При этом они рассматривают воздействие культурных и социальных факторов на формирование и развитие русской драматургии, стремятся понять, как драматурги реагируют на вызовы и изменения в современном российском обществе.

Книга состоит из двух частей. В первой характеризуются ключевые тенденции развития основных драматических жанров данного периода, а также формирования и эволюции этих жанров на протяжении всей истории русской литературы. Во второй на примере пьес постсоветского периода анализируются как новаторство, так и наследование традиций русской классической драмы.

Авторы используют жанровую классификацию С.Я. Гончаровой-Грабовской, на основании которой драматургия этого периода разделена на традиционную и нетрадиционную¹. Ван Лидань и Ли Жуйлянь отмечают, что жанровая классификация, представленная в их книге, хотя и носит несколько условный характер, но опирается на внимательное прочтение пьес и анализ сюжетов указанного периода.

В первой главе авторы характеризуют эволюцию русской *реалистической драмы* с «Недоросля» Д. Фонвизина до А. Вампилова, Г. Горина, А. Гельмана в 1970—1980-х гг. и анализируют особенности современной реалистической драмы. В постсоветский период она была представлена такими драматургами, как Л. Зорин, Э. Радзинский, В. Мережко, Г. Горин и др., которые продолжали работать в привычном для них ключе. Кроме того, в этот период появилось множество молодых драматургов, которые в условиях вытеснения реалистической драмы иными направлениями продолжали придерживаться этого жанра, благодаря чему реалистическая драма сохранилась в постсоветский период. Характерным примером здесь являются городские пьесы Э. Радзинского, отражающие новую жизнь в России, пьесы А. Галина о жизни и сложном положении незащищенных групп населения, в первую очередь стариков и женщин, пьесы сибирских драматургов (в частности, С. Лобозёрова) о современной сельской жизни.

По мнению авторов, хотя в постсоветский период реалистическая драма вобрала в себя различные эстетические элементы, все равно она наследует значимые

1 См.: Гончарова-Грабовская С.Я. Поэтика современной русской драмы: (конец XX — начало XXI в.). Минск: БГУ, 2003.

элементы традиции, всегда схватывает «великое содержание, потрясающее душу человека» (по словам известного китайского писателя Лу Яо), повествует о современной жизни. Одним из наиболее ярких представителей реализма в современной русской драматургии является А. Галин, творчество которого подробно анализируется в этой главе. В пьесах драматурга часто проявляется забота о женщинах («...Soggy», «Новая аналитическая логика») и пожилых людях («Аккомпаниатор», «Ретро»). В них нет напряженных конфликтных сцен, драматических поворотов, структура пьес обычно замкнутая. Персонажи пьес А. Галина, независимо от того, каковы их образование и профессия, способны сослаться на произведения классиков. Основная причина, по которой сюжет А. Галина может удерживать постоянный интерес зрителей и соответствовать их ожиданиям, — это грусть, разочарование и романтическая ностальгия по советскому периоду.

Вторая глава посвящена современной русской *драме абсурда*, которая представлена такими драматургами, как А. Казанцев, Н. Сакур, Д. Липскеров, В. Сорокин и др. Начинается она с описания развития данного жанра. Авторы подчеркивают, что западная драма абсурда, возникшая в 1950-е гг., оказала большое влияние на процесс модернизации русской драмы и дала как теоретическое обоснование, так и богатый практический опыт для развития этого жанра в России. Однако в силу особых социально-исторических условий России второй половины XX в. здешняя драма абсурда несет на себе культурный и психологический отпечаток этого периода. А. Амальрик был одним из первых русских драматургов, начавших работать в этом жанре. Абсурд чаще всего используется им, чтобы показать кризис и деформацию психологии человека под влиянием античеловеческой идеологии тоталитарного режима, и отражает беспокойство драматурга по поводу духовного кризиса нации. Одним из ярких представителей данного жанра является Н. Сакур. В ее драматургии сочетаются наследование традиций классической литературы и попытки новаторского использования ряда современных художественных приемов.

В третьей главе рассмотрены истоки, традиции и современное состояние русской *сентиментальной драмы*, создателями которой были М. Херасков и В. Лукин. В начале XIX в. такие пьесы нередко обращались к образу крестьянина, описывая отношения между крестьянами и помещиками, любовные истории крестьян. Но пьес, раскрывающих социальные противоречия, было немного. В XX в. пьесы драматургов В. Пановой, А. Сафронова, В. Розова и многих других в сентиментальном ключе отражали героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны, труд и повседневную жизнь современников. Постсоветские пьесы выражали индивидуальные воспоминания и коллективную ностальгию русского народа, в них часто использовался монолог для замедления развития сюжета². Сейчас в большинстве пьес, пародирующих или переписывающих А. Чехова, часто содержатся сентиментальные элементы.

Сентиментальная драматургия постсоветского периода представлена «уральской школой» в лице Н. Коляды, пьесы которого в основном отражают повседневную жизнь маргинальных групп современного русского общества, показывают духовный мир и психологические проблемы «низшего класса», и творчеством Ю. Гришковца.

В четвертой главе рассматривается *постмодернистская драма*. Начало данному жанру в России положили пьесы В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Рыцарские шаги» и Д. Пригова «Черный пес», которые стали образцами для создания постмодернистской драмы в постсоветский период. Их последователи высмеивают

2 См.: *Насрутдинова Л.Х.* Лирическое в современной русской драме // Современная российская драма. Казань: Школа, 2008. С. 33.

социальные мифы прошлого, осуществляют демонтаж «светлых» образов исторических деятелей, разрушают связанные с ними стереотипы и переосмысливают произведения классических писателей, предлагая альтернативные интерпретации. На российской сцене постсоветского периода постоянно ставились трагикомедии, подвергающиеся сомнению и реинтерпретации «вечные ценности». Л. Петрушевская, В. Коркия, В. Сорокин, М. Угаров — наиболее яркие фигуры этого типа постмодернистской драмы того времени. Близок к абсурдистской драматургии и О. Богаев. В его пьесах такие проблемы современного российского общества, как культурный кризис и моральная деградация, рассмотрены на основе «переписывания» классики.

Пятая глава посвящена рассмотрению *документальной драмы*. Трилогия Н. Погодина о Ленине создала в советской драме образец использования документальной драматургии для воспевания лидеров государства. Однако жесткий контроль правительства над культурной политикой противоречил стремлению авторов документальных драм к достоверности в использовании документальных источников. В результате документальная драма, правдиво отражающая проблемы социальной действительности, в советское время не получила полноценного развития. Современные документальные пьесы эффективно используют вербатим (драматургический метод, при котором пьеса создается на основе монологов и диалогов реально существовавших или существующих людей). Первым русским спектаклем такого типа был «Угольный бассейн» кемеровского театра «Ложа». Новый русский документальный театр, по сравнению с западным, уделяет больше внимания выработке у зрителя объективного суждения и философского мышления. Кроме того, русский вербатим богат лирическими смыслами и гуманистическим духом. Авторы рассматривают творчество Е. Исаевой — лауреата многих престижных литературных премий — и обнаруживают в ее вербатим-пьесах, написанных в разное время, две разные творческие тенденции в отношении между современными инновационными средствами и театральной традицией: центробежную и центростремительную.

В шестой главе анализируется современная *экспериментальная драма*. Авторы рассматривают попытки революционного преобразования конструкции пьесы в первые советские годы («Мистерия-буфф» В. Маяковского, «Стенька Разин» В. Каменского, «Царь Максимилиан» А. Ремизова, «Пугачев» С. Есенина и др., а также массовые зрелища, которые разыгрывались на улицах или площадях). В постсоветской России в первые годы также развивался экспериментальный театр: во многих городах были созданы экспериментальные творческие мастерские, появилось множество пьес, которые выходили за рамки традиционных выразительных средств театра. Представители «новой драмы» первыми добились заметных успехов в развитии русского экспериментального театра. В этой главе анализируются пьесы Е. Гришковца. Основной формой его театрального творчества является монодрама, в которой предельно искренним языком выражаются горькое одиночество и меланхолия, а также трудности преодоления тяжелых времен и радость возрождения.

Седьмая глава посвящена анализу *творчества русских женщин-драматургов*. После экскурса в историю (о пьесах З. Гиппиус, Н. Тэффи, Т. Щепкиной-Куперник) подробно рассматриваются «утопические» пьесы Н. Птушкиной, которые далеки от истории, политики, религии и повествуют только о любви. Она создала ряд бытовых пьес, в основе которых лежит тема чистой любви, а диалоги нередко выдержаны в юмористической тональности. Все это сделало ее одним из самых популярных драматургов в России. Почти все пьесы Птушкиной вытекают из часто встречающихся в жизни ситуаций. Кроме того, рассматриваются пьесы Е. Греминой, в которых исторические фигуры и события, как правило, реальны, а остальные

компоненты — вымышленные. Подобные произведения при сознательном пренебрежении логикой и рациональностью нередко правдиво выражают взаимоотношения между человеком, историей и временем.

В восьмой главе исследуется эволюция *пьес о крестьянстве*. В начале XIX в. русские драматурги М. Херасков, В. Лукин, А. Бологов и другие начали рассматривать крестьянские сюжеты. В частности, в пьесах Н. Ильина «Лиза, или Торжество благодарности» и А. Шаховского «Новый Стерн» большое внимание уделялось жизни крестьянства и идеализации его добродетелей. Драматургия, посвященная русской деревне XX в., начала активно развиваться еще в период строительства Советского государства (примером является пьеса Н. Погодина «После бала»). После 1950-х гг. в Советском Союзе был опубликован ряд пьес о проблемах села, например пьесы А. Корнейчука («Калиновая роща», «Крылья»), А. Софронова («Стряпуха») и др. С 1960-х гг. большинство драматических произведений, посвященных сельской тематике, отражают нерациональную советскую аграрную политику и быструю урбанизацию, ведущую к упадку деревни. Основное место в главе уделено современным пьесам такого типа, которые пишут главным образом сибирские драматурги. Например, в пьесах новосибирского драматурга Ю. Мирошниченко «Зверь-Машка», «Эвтаназия», «Кто убил Кеннеди?» в основном освещаются изменения в сельской жизни. А представители «тольяттинской драматургии» — В. Дурненков, М. Дурненков, Ю. Клавдиев и др. — предлагали альтернативный взгляд на современное состояние села. Подробно рассматриваются семейные трагикомедии С. Лобозёрова. Его пьесы демонстрируют огромные перемены в русской деревне за последние тридцать лет, раскрывают чаяния и надежды сибирских крестьян, показывают трудности в их жизни.

Девятая глава посвящена *чеховской традиции в современной драме*. В постсоветское время драматурги использовали деконструкцию классики в качестве средства новаторства в театре. Представителями «антитрадиционного театра» были В. Сорокин, Б. Акунин, К. Костенко и др. Эти драматурги противостояли власти, подражая новаторским методам и сюжетам А. Чехова. Новаторство Чехова заключалось в использовании реальной повседневной жизни в качестве содержания драмы. В отличие от предшествовавшей драматургии, в пьесах Чехова напряженное и бурное поведение персонажей сменяется богатым душевным движением. Взгляд новатора Чехова на повседневную жизнь, использование им реалистических символов и невербальных средств оказали глубокое влияние на развитие театра в последующее время. Его творчество сильно повлияло на современных русских драматургов. Одни из них добавляют чеховские тексты непосредственно в свои пьесы, заимствуют структуры, сюжеты, цитаты из его произведений, переписывая или обновляя их, другие используют гиперболу, иронию, сатиру и абсурд, пародируя чеховские пьесы, создавая новые произведения. При этом пьесы Чехова анатомируются и возникает коллаж на их основе, а чеховские образы доводятся до абстракции и гротеска.

Современные драматурги пытаются деконструировать и чеховскую театральную традицию. Например, В. Сорокин всесторонне деконструирует легенду о писателе. Он заменяет стандартный язык «антиязыком», преувеличивает и искажает характеристики драматических персонажей, делая их действия абсурдными и бессмысленными, использует намеренное искажение широко распространенных комментариев к пьесам, чтобы повлиять на легенду о Чехове. По мнению авторов, многие драматурги и режиссеры стремились избавиться от традиционной оценки Чехова, но не все смогли провести границу между пьесами Чехова и самим Чеховым.

Десятая глава посвящена *воспроизведению в современном театре темы «На дне» М. Горького*. Такие драматурги постсоветского периода, как А. Дударев,

А. Галин, Н. Коляда, унаследовали гуманистическую традицию горьковских пьес на тему «дна». Они в разной степени описывают реалии жизни низших слоев общества в постсоветской России. И. Шприц в комедии «На доньшке» осуществил революционное переосмысление темы «дна», завершив тем самым через столетие диалог между представителями социальных низов.

В одиннадцатой главе рассматривается *влияние драматургии А. Вампилова* на современный русский театр. Персонажи Вампилова были в основном двух типов: нежный, добрый человек и человек, живущий механической бессознательной жизнью. Структура пьес драматурга в основном закольцована. Исследование нравственных ценностей и духовных ориентиров человека в этом относительно замкнутом пространстве может показаться ограниченным, но конкретность и полнота раскрываемого Вампиловым духовного мира героев очень убедительны. Вампилов часто использует символическую образность, чтобы воспроизвести моральный кризис общества своего времени. Однако большинство персонажей в его произведениях стремятся к спасению души и используют это как опору для движения вперед, в то время как персонажи пьес постсоветского периода отличаются отсутствием возвышенных моральных идеалов и мечтаний. В постсоветскую эпоху наследие Вампилова в драматургии проявляется в разнообразных формах. Одни драматурги подражают его произведениям в форме и содержании, как, например, Г. Горин, А. Дударев, А. Пугин; другие ведут своеобразные дискуссии с его эстетическими принципами, например В. Арро, А. Сеплярский, Н. Космин. Некоторые развивают его традиции, например Д. Липскеров, С. Лобозёров, Г. Башкуев. Вне зависимости от способов рецепции пьесы постсоветского периода воспроизводят нескольких ключевых тем Вампилова: повседневной жизни, дома и семьи, ухода и возвращения, выбора и прозрения. Его наследники использовали реализм как основной метод творчества, но абсурдность и парадоксальность формы и содержания их пьес, по сравнению с творениями драматурга, определенно возросли. В центре внимания поствампировского театра XX в., особенно в постсоветский период, остается повседневная жизнь простых людей, их нравственное состояние. Если драматурги этого периода в большей степени демонстрировали разрушение и деконструкцию традиционных составляющих чеховского театра, то наследники Вампилова на основе художественных приемов своего предшественника отдавали предпочтение абсурдному и парадоксальному повествованию о повседневной жизни.

Авторы монографии пришли к выводу, что, если основываться не на количестве театральных постановок новых пьес и кассовых сборах, а на количестве пьес, жанров и тем, то можно сделать вывод, что современные русские драматурги стремятся к новаторству содержания и формы своих пьес. Исследователи выделяют следующие основные черты современной русской драмы: пьесы полны условности и метафор; драматурги умеют использовать игровые приемы или натуралистические способы выражения для отражения насилия и эстетики жестокости; в текстах широко используется нелитературный язык, проявляется абсурд на фоне смешения реалистических и нереалистических элементов; драматурги амбивалентны по отношению к наследованию традиций и их разрушению, что выражается в текстах с явной интертекстуальностью.

В книге названы общие характеристики постсоветских пьес: взаимодействие и слияние различных драматических жанров, в результате чего возникает дисбаланс жанровых структур, утрачиваются четкие жанровые границы³. Традиционные

3 См.: Гончарова-Грабовская С.Я. Указ. соч. С. 26.

элементы претерпевают кардинальные изменения, порождают нетрадиционные жанровые композиции, отражающие жанровые инновации. Драматурги деформировали традиционную жанровую структуру в соответствии с динамичным развитием содержания пьесы. Слияние жанров приводило к постоянному обновлению поэтики, соответствующему изменению употребления понятия «жанр» и тенденции к свободному определению популярными авторами самого жанра пьесы⁴. По мнению авторов, слияние жанров и неопределенность их границ в постсоветский период свидетельствуют о развитии драмы в направлении открытости и многомерности художественных компонентов.

В постсоветский период тематика русской драмы была разнообразной и затрагивала социальные, политические, воспитательные и нравственные проблемы. Например, рассматриваются такие темы, как тема воспоминаний о прошлом в пьесах А. Галина, Н. Коляды, А. Слаповского и т.д., тема чеченской войны в пьесах «Солдатские письма» Е. Калужских, «Кавказская рулетка» В. Мережко, тема преступности в пьесах «Яма» В. Сигарева и мн. др.

Ван Лидань и Ли Жуйлянь пишут, что язык пьес в постсоветский период максимально приближен к бытовому языку и использование ненормативной лексики активно распространяется: во многих произведениях можно встретить слова местных диалектов и сленга, а порой и нецензурные выражения. В этот период российские пьесы были в основном направлены на отражение социальных проблем, поэтому очень заметна тенденция к концентрации внимания на идеях, а не на сюжете.

Авторы подчеркивают, что, несомненно, современная русская драматургия находится в состоянии динамичного развития, ее художественный уровень и направление развития не до конца определились. Постоянно появляются новые драматурги, обладающие ярким талантом и уникальными идеями, чьи творения представляют собой, с одной стороны, возрождение традиций русской драматургии, а с другой — зарождение «новой драмы» в России⁵.

4 Там же. С. 23.

5 Работа выполнена при финансовой поддержке Юго-Восточного университета в рамках научных проектов № 2242023R40023 и RF1028623192.

Феномен литературного ландшафта и междисциплинарные исследования культуры: коллективная монография.

Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023. — 492 с. — 500 экз.

О феномене ландшафта (природного, культурного или того и другого) как преломления реальности в зеркале человеческого воображения, как это ни странно, пишут не слишком часто, хотя подобная проблематика привлекает многих. О литературном ландшафте пишут еще реже. И потому появление книги статей на эту тему нельзя не приветствовать. Иное дело, что, как в любом издании, создаваемом многими авторами, текстам, написанным не только компетентно, но и интересно, а порой новаторски, сопутствуют тексты не слишком высокого достоинства.

Ответственные редакторы книги Т.А. Шарыпина и М.К. Меньщикова сообщают, что предлагаемая читателю «коллективная монография включает материалы исследований, представленные на заседаниях литературоведческих секций Международной научной конференции, проходившей с 26 по 28 октября 2023 года и организованной при участии научно-исследовательской лаборатории «Изучение национально-культурных кодов мировой литературы в контексте межкультурной коммуникации» кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики ННГУ совместно с Отделом теории литературы и Отделом литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ

им. А.М. Горького РАН» (с. 6). Рецензируемое издание является девятым в серии «Национальные коды в европейской литературе XIX—XXI вв.», издаваемой нижегородскими филологами с 2013 г. Предыдущие выпуски были посвящены различным аспектам выражения национальной специфики посредством литературных «кодов» в исторической перспективе или в контексте аудиовизуальных практик искусства. К проблематике литературного ландшафта издатели серии обратились впервые.

Книга содержит тексты российских ученых, а также исследователей из Казахстана, Молдовы и Испании. Чтобы придать ей заявленную форму коллективной монографии, редакторы предпослали изданию маловыразительное предисловие, а все остальное разбили на разделы. Статьи же представлены как «главы», а всего таких «глав» шестьдесят одна. Но при всех стараниях единого монографического нарратива так и не получилось, что вполне понятно при столь широком разбросе тем, концепций, а также уровня присланных материалов. Перед нами сборник, и состоит он из весьма разнообразных, неравных по значимости статей, многие из которых все же заслуживают внимания.

Разделов в сборнике шесть: 1. Литературные ландшафты в динамике историко-культурного процесса; 2. Исследования городского текста и литературного ландшафта; 3. Феномен ландшафта в традиции и современности; 4. Локальная, региональная и глобальная идентичность в русскоязычной литературе; 5. Пространства немецкоязычной литературы: социально-географические доминанты литературного сознания; 6. Особенности репрезентации прост-

ранства в утопии, антиутопии, фантастике и фэнтези. На первый взгляд, звучит это весьма премудро, но при знакомстве со статьями все оказывается гораздо проще, а задуманная редакторами стройность оказывается не столь совершенной. Зададим, к примеру, вопрос: чем должно отличаться содержание статей третьего раздела от содержания статей первого, коль скоро «литературные ландшафты в динамике историко-культурного процесса» и «феномен ландшафта» (по всей видимости, также литературного) «в традиции и современности» — это, по сути дела, одно и то же? Но если прочитать все статьи, то выясняется, что первый и третий разделы, а также многие тексты других разделов по тематике близки друг другу, а если и существуют различия, то касаются они чаще всего географической и исторической идентификации предметов исследования. И тогда оказывается, что к первому разделу отнесены две работы теоретического и методологического характера, о которых стоит поговорить особо, а также семь статей, посвященных ландшафтам, изображенным в конкретных произведениях, начиная с Юлия Цезаря и кончая английскими и американскими романтиками. Третий раздел являет собой прямое продолжение первого, но без прямых обращений к теории: здесь мы, помимо прочего, знакомимся с ландшафтными решениями в голландском искусстве XVII столетия (С.С. Акимов), с рецепцией путешествия в поэзии английских романтиков (М.В. Иванкова), с антиурбанизмом Андре Жида и его апологией природного ландшафта (А.А. Рубан), с топосом леса в фэнтези Дино Буццати (А.Н. Ушакова), с мифопоэтикой и геопозитикой современной китайско-американской писательницы Эми Тан (Е.А. Мартыненко), с фунеральным ландшафтом родного края в творчестве Матиаса Энара (Н.В. Решетняк) и с «темной экологией» в ревизионист-

ском вестерне Кормака Маккарти «Кровавый меридиан» (К.А. Вихрова).

Содержание статей, включенных в остальные разделы, вполне соответствует заглавиям последних. Второй раздел посвящен исследованиям городских сверткестов (таких, как петербургский, венецианский, лондонский и т.п.) и творческим решениям, касающимся создания городского ландшафта. Четвертый знакомит с локальными, региональными и всеобъемлющими ландшафтами в русскоязычной литературе от Пушкина до наших дней; пятый составлен из исследований, предметом которых была немецкоязычная проза и поэзия; и наконец, раздел шестой — на наш взгляд, самый оригинальный — посвящен условным ландшафтам мнимых пространств не только в утопиях, антиутопиях и фэнтези, но также в цифровых текстах, содержащих описание моделей виртуальных миров.

Сборник представляет собой несомненную ценность по двум причинам. Во-первых, потому что предметом анализа в нем является широчайший материал, представляющий едва ли не всю современную мировую литературу с экскурсами в Античность, Средневековье и Новое время. Само собой разумеется, что подавляющая часть помещенных в нем исследований знакомит с литературой Запада, в первую очередь с англоязычной. Однако отдельные статьи посвящены мексиканским, японским, китайским и иранским авторам. Во-вторых, конкретным историко-литературным анализам предшествуют два обширных обзора зарубежных теоретических исследований на тему литературных ландшафтов и, шире, пространственно-временных моделей. На этих двух методологических введениях позволим себе остановиться несколько подробнее.

Сборник открывает статья М.Ф. Надъярных «Изобретение города как историко-культурная проблема». Понятие «изобретение города» ввел в научный оборот

американский культуролог Э. Глейзер, автор книги «Triumph of the City: How Our Best Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener and Happier» (2011), но на присутствие «топоса изобретателя» в многовековой литературе Запада указывал еще Э.Р. Курциус в фундаментальном труде «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948), отмечая, что этот топос, возникший в Древнем Риме и бывший особенно популярным в томистско-аристотелевских дидактических текстах позднего Средневековья, в частности у Раймонда Луллия, а впоследствии в сочинениях Джордано Бруно, Декарта и Лейбница, был призван представлять весь мир, включая неочеловеченную природу, как изобретение некоего сознательного и целенаправленного творца, будь то Бог или человек. Отсюда, как утверждает М.Ф. Надъярных, проистекает урбанистическая тенденция в литературе и, шире, в культуре Запада рассматривать даже девственный мир нетронутых цивилизацией пространств как изобретение и построение, осуществленное согласно некоей рациональной и относительно простой умозрительной модели. Далее автор статьи ссылается на достаточно убедительные примеры из латиноамериканской литературы, частично выросшей из схоластической традиции, широко распространенной во всех католических странах, а частично из особой привязанности Испании и Латинской Америки к «комбинаторной изобретательности» барокко, о которой в свое время писал Алехо Карпентьер (с. 19).

Автор статьи не ставила перед собою эвристических задач. Цель, которую преследовала Надъярных, состояла в том, чтобы раскрыть суть проблемы «*Argv inveniendi*» и продемонстрировать ее проявления на знакомом литературном материале. И тем не менее статья весьма познавательна и полезна в методологическом отношении. Современное отечественное литературоведение все

еще грешит излишней привязанностью к теории отражения и забывает о других сторонах творческого процесса — выдумке и экспрессии. Ведь если город — не «чистая» природа, но и не «чистое» изобретение (при всей объяснимости желания противопоставить город природе), то в произведениях искусства всегда можно найти оба начала — и мимесис, и выдумку, творчество.

Вторая теоретическая статья («Эпистемологические основы и методологические проблемы геоимагологии») написана *О.Ю. Поляковым*. Геоимагология, как указывает автор, «рассматривает функции пространственных географических образов в имагологической презентации, их взаимосвязь с имагообразами и роль в трансляции национальных стереотипов» (с. 31). Дефиниция, на наш взгляд, неудачная, запутанная и, кроме того, содержит в себе логический порочный круг (имагология рассматривает имагообразы). Тем не менее сама по себе проблема создания и функций географических образов по-прежнему актуальна, привлекательна и не вполне разработана, хотя за последнее двадцатилетие предыдущего и первую четверть текущего века сделано было немало, в том числе в отечественном литературоведении: Поляков справедливо вспоминает имена Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова и Г.Д. Гачева. Можно было бы упомянуть их коллег и учеников, продолжающих эту традицию и поныне — например, Т.В. Цивьян, Л.О. Зайонц, М.П. Одесского, Д.Н. Замятина. Однако основное внимание автора сосредоточено на теоретических разработках в области геоимагологии, представленных в трудах западных исследователей, и это весьма полезно для тех, кто в России изучает географические образы и хотел бы познакомиться с разными методологическими подходами к этой проблематике.

Интересно, что, подобно Надъярных, Поляков старается подчеркнуть не ми-

метическую функцию географических образов, а креативную их природу и направленность. Ссылаясь на одного из основоположников современной геоимагологии — Майку Крэнга, он замечает, что и само географическое мышление, и его литературное выражение связаны с процессом означивания, то есть наделения топосов вполне заранее заданной семантикой, в зависимости от психической и идеологической настроенности создателя текста (с. 32). Большое внимание уделяется и проблеме национальных образов мира, причем Поляков справедливо указывает на то, что более авторитетным путеводителем по этой проблематике является не известная книга Г.Д. Гачева «Национальные образы мира» (1988), а монография французского исследователя Бертрана Вестфаля (Bertrand Westphal) «Геоκριтика: реальные и вымышленные пространства» (2007). Полезна также информация о том, что самый широкий обзор западных геоимагологических концепций можно найти в книге нидерландского культуролога Йуна Леерсона (Jun Leerssen) «Аллохроническая периферия» (*Leerssen J. The Allochronic Periphery: Towards a Grammar of Cross Cultural Representation // Beyond Pug's Tour. National and Ethnic Stereo-typing in Theory and Literary Practice / Ed. C.C. Barfoot. Amsterdam, 1997*). Автором упомянут также обзор И. Кабановой исследований на эту тему (Геоκριтика и современные подходы к художественному пространству в литературе // Миргород. 2018. № 1).

Кроме упомянутых статей, стоит обратить внимание и на ряд других полезных работ: «Смерть в Венеции» и смерть Венеции: моргальный код венецианского текста в европейской литературе XX—XXI веков (Т. Манн, Д. Дюморье, И.Л. Пфейффер)» *Ф.А. Абилова*; «Историко-культурное пространство города Уитби (Whitby) и его отражение в литературе» *Е.Б. Яковенко*; «Городской

текст в казанских проектах сайт-специфик» *Е.Н. Шевченко*; «Тип “русского иностранца” в прозе Ф.М. Достоевского» *М.А. Некрасова*; «Образ Востока и его интерпретация в русской поэзии начала XX века (на примере стихотворения А. Блока “Скифы”)» *И.И. Цвик*; «Ландшафтные доминанты Алтая: Вертикаль и горизонталь» *Т.А. Богумил*; «Немецкий акцент в музыкальном ландшафте России XIX века» *Э.К. Петри*; «Берлинский ландшафт в новелле Гофмана “Угловое окно”: оптические иллюзии и психологические штудии» *О.В. Тихоновой*; «Эстетизированные ландшафты Гуго фон Гофманстала: инструментализация живописных артефактов» *Ю.Л. Цветкова*; «Виртуальное пространство в современной фантастической литературе: особенности изображения виртуальных миров в кибернетике, посткибернетике, научной фантастике» *И.Б. Казаковой*; «Неевклидова готика, или тайна пропавшего кузена. О новеллистике А. Блэквуда» *А.А. Липинской*.

В.Г. Щукин

Бишоп К.
Искусство инсталляции /
Пер. с англ. А. Фоменко.



М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. — 192 с. — Тираж не указан.

Книга историка и теоретика современного искусства Клэр Бишоп, в оригинале вышедшая в 2005 г., представляет собой первую теоретическую работу об искусстве инсталляции — сфере, к которой принадлежат очень разные по масштабу и формату произведения. Бишоп исходит из того, что от традиционных медиа (скульптуры, живописи, фотографии и т.д.) инсталляция отличается прямым обращением к «воплощенному зрителю» (с. 8) и включением его восприятия (зрительного, осязательного и т.д.) в собственное пространство, что подразумевает особый опыт пребывания зрителя внутри произведения. Исследовательница выделяет четыре «модальности опыта» (с. 11), каждая из которых не только предполагает определенную модель субъекта и определенные формы коммуникации с ним, но и выражается в произведениях определенного формата.

Инсталляция как метод художественной практики и способ критической рецензии осмысливается автором в разных контекстах. Рассматривая «тотальную инсталляцию» И. Кабакова и ссылаясь на фрейдовское «Толкование сновидений», Бишоп приходит к выводу, что модель зрительского опыта у Кабакова опирается на «чувственную непосредственность восприятия, сложносоставную структуру и выявление значения с помощью свободных ассоциаций» (с. 21), которые погружают зрителя в сновидческую среду. «Уместность аналогии между искусством инсталляции данного типа и сновидением вытекает из того, как, по словам Кабакова, “тотальная инсталляция” воздействует на зрителя. Другими словами, инсталляция внушает зрителю сознательные и бессознательные ассоциации» (там же).

Особенно интересны иммерсивные средовые инсталляции — «картины сновидений», начиная с публичных выставок сюрреалистов и дюшановских «Шестнадцати миль шпагата» (1942) и

заканчивая новым способом репрезентации пространства у А. Капроу. Важным приемом нового типа художественного высказывания стало включение в инсталляцию «всего, что угодно»: краски, кресла, еды, электрических и неоновых ламп, дыма, воды, старых носков, собаки и т.д. — для того чтобы, вторгшись в повседневное сознание, расширить его. Преодолевая консервативный опыт восприятия искусства, многие художники 1960-х гг. стали выстраивать новые отношения со зрителем, вовлекая его в интерактивное пространство (ср. инсталляции К. Ольденбурга «Магазин» (1961—1962) и «Ансамбль спальни» (1963)). Будничные предметы одежды и мебели, многократно используемые материалы обладали огромным «ассоциативным потенциалом и допускали различные субъективные интерпретации» (с. 41).

Иначе работала инсталляция 1980-х гг., призванная задействовать не только зрение, но и обоняние, осязание и т.д. Опираясь на «Феноменологию восприятия» М. Мерло-Понти, Бишоп размышляет о проблеме объекта и воспринимающего субъекта и процесса видения у минималистов, например в скульптуре Р. Морриса, Д. Джадда и К. Андре. Простота и «буквализм» форм (с. 70) образуют новые отношения зрителя с пространством инсталляции — препятствуют психологической поглощенности и в то же время порождают эффект присутствия зрителя на сцене, «театральности» — в отличие от «моментальности» созерцания произведений визуального искусства (с. 71). Бишоп полемизирует с Р. Краус, утверждавшей, что минималистская инсталляция «децентрирует» зрителя, лишая его единственной точки зрения: «Мы децентрированы лишь по отношению к произведению, а не по отношению к нашему перцептивному аппарату, полнота которого все еще гарантирует, что мы являемся целостными и устойчивыми субъектами» (с. 93).

Обращаясь к экспериментам Д. Грэма, Бишоп отмечает, что он на протяжении 1970-х гг. был сосредоточен на «статусе зрителя» (с. 94) и стремился к тому, чтобы опыт рецепции инсталляции был социальным опытом встречи с Другим. Исследовательница проводит параллель между работами американца Грэма и пространственно-световыми инсталляциями датского художника О. Элиассона, изучавшего опыт обостренного восприятия и критиковавшего культурные институции за то, что они «не позволяют зрителям видеть себя видящих» (с. 101). Вместо того чтобы пытаться низвергнуть систему, разрушив ее структуру, Элиассон стремился изменить ее восприятие человеком, выражая тем самым «врожденную веру в потенциал субъективной позиции» (с. 104).

Далее автор обращается к «темным инсталляциям», в пространстве которых зритель вынужден бродить, опираясь на свое интуитивное восприятие. Инсталляции Дж. Таррелла «Клин III» (1969) и «Тени Земли» (1991), пишет Бишоп, «подрывают авторефлексивность феноменологического восприятия», поскольку из них устранено «все, что можно назвать “объектом”, расположенным отдельно от нас» (с. 115). Поглощающие зрителя пространства Таррелла задают некую сверхидентификацию и бросают вызов устойчивой субъективности (с. 117). А на примерах инсталляций Я. Кусамы, Л. Самараса и К. Левина рассматривается еще один тип художественного опыта — «миметическое поглощение», при котором зритель становится значимым объектом визуального поля, теряет привычную ориентацию и испытывает «океаническое блаженство или клаустрофобический ужас» (с. 124).

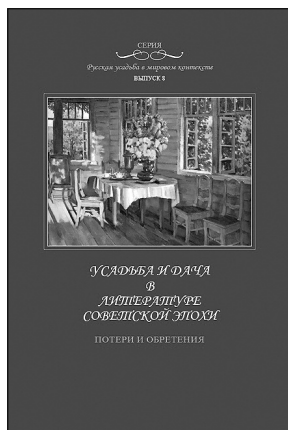
Завершается книга главой об «активизированном зрительстве», исследовать которое Бишоп предлагает в контексте эстетико-политической практики, имея в виду «политические модели», реализуемые в искусстве инсталляции

и определяющие степень вовлеченности зрителя (с. 144). В частности, здесь показано, как бразильский художник Э. Ойтисики, преодолев в своих произведениях социальную ангажированность и репрессивный диктат власти, способствовал вовлечению, интеграции зрителя в пространство инсталляции. А в творчестве нового поколения художников, например в инсталляциях Ф. Гонсалеса-Торреса, на смену гуманистической модели субъекта акцент переносится на сообщество, объединенное утратой и страхом исчезновения: воспринимающий субъект существует совместно с другими, а не как самодостаточная и автономная сущность. Эти и другие рассматриваемые ею инсталляции Бишоп помещает в контекст истории искусства и заключает: «...Теперь уже недостаточно сказать, что активизация зрителя демократична сама по себе, поскольку каждое произведение искусства, даже самое “открытое”, заранее предопределяет доступный зрителю тип участия в этом произведении. <...> Более не связанное задачей прямой активизации зрителя и его буквального участия в произведении, искусство инсталляции приобретает ныне самодостаточность и оказывается бесконечно далеким от авангардистского призыва смешать искусство и жизнь, с которого оно началось» (с. 174–175).

*Ирина Сахно,
Александра Кузнецова*

Усадьба и дача в литературе советской эпохи: потери и обретения:
коллективная монография /
Сост. О.А. Богданова.

М.: ИМЛИ РАН, 2024. — 672 с. — 300 экз. —
(Русская усадьба в мировом контексте.
Вып. 8).



СОДЕРЖАНИЕ: Предисловие: Богданова О.А. Сокровенный сосуд: усадьбы XX века и мировая история; **Часть I. Усадьбный мир в советской литературе:** Ковтун Н.В. Гетеротопия русской усадьбы в романе Ф.В. Гладкова «Цемент»; Жаглова Т.М. Трансформация облика «заволжских» усадеб в научно-художественной и газетной публицистике советских лет; Марков А.В. Усадьбно-дачный локус в литературе и искусстве социалистического реализма; Борисова Д.М. Прошлое и настоящее русской усадьбы в «Повести о лесах» К.Г. Паустовского; Кнорре Е.Ю. Усадьба и война: мотив собирания «вселенского дома» в творчестве М.М. и В.Д. Пришвиных; **Часть II. Усадьбные узоры в прозе русской эмиграции:** Ван Юе. Усадьба и город в повести И.А. Бунина «Митина любовь»; Працгерук Н.В. «Гетеротопия усадьбы» в прозе И.А. Бунина: от первой повести к роману «Жизнь Арсеньева»; Рац Ильдико М. Русская усадьба как духовно-художественное пространство в творчестве И.А. Бунина эмигрантского периода; Михаленко Н.В. Усадьбный легендарий в повестях С.Р. Минцлова; Абрамова В.И. Элементы «усадебного текста» в романе И.С. Шмелева «Пути небесные»; Андреева В.Г. Мотив путешествия по усадьбному дому в тетралогии Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба»; Агратаин А.Е.

Проблема идентичности героя в постусадебном мире: «Заповедник» С.Д. Довлатова; **Часть III. Усадьбно-дачные темы в литературах мира: компаративный подход:** Банерджи Р. Тема гибели дворянских усадеб (по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад» и рассказу Тарашанкара Бандьопадхья «Музыкальный зал»); Арсентьева Н.Н. Пространство поместья Ф. Гарсиа Лорки в Аскеросе: материалы к творческой биографии; Велигорский Г.А. «Возрождаем век Астреи золотой!»: к истории английских усадебных огородов (XIX—XXI вв.); Черкашина М.В. «Начертанный камень» Ива Бонфуа; Андрич Н. Дача Иво Андрича — рождение «иеротпоса»; Зекунова А.Л. Усадьба в литературе фэнтези: Бэг-Энд Дж.Р.Р. Толкина как квинтэссенция домашнего уюта; Яхьяпур М., Карими-Мотаххар Дж. Сад-усадьба в персидской поэзии («Мой сад» Мехди Ахавана Салеса); Молодяков В.Э. Судьба *Chemin de Paradis*: музеефикация усадьбы Шарля Морраса; Дмитриева Е.Е. Судьбы замков в XX и XXI вв.: проблемы музеефикации и потребность доместикации; **Часть IV. Формы литературных усадеб в XX в.: генезис и трансформации:** Летягин Л.Н. *Supremum vale*: постусадебная Россия и литературная классика; Демидова О.Р. Усадьба как убежище: между эстетикой и онтологией; Нагель (Гриневич) О.А. «Усадьбный текст» и текст изгнания в русской поэзии; Федосеева (Акимова) М.С. Усадьбный нон-фикшн: феномен усадьбы в музейной мемуаристике; Трубецкая Н.А. Усадьба-санаторий «Узкое» — «приют спокойствия, трудов и вдохновенья» для советской интеллигенции 1920-х г.; Разумовская А.Г. «Шелонь течет онегинской строкою»: усадьба Холонки в пространстве памяти; Кознова А.А. Городок писателей в Переделкине как коллективная усадьба советской эпохи; Власова Е.А. Усадьба Ардис В.В. Набокова и дача в Монтиселло С.Д. Довлатова как места памяти;

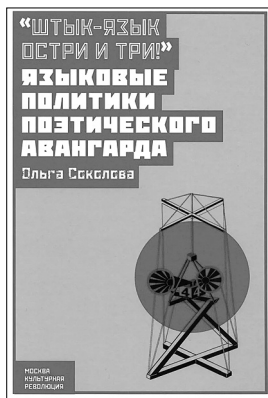
Часть V. «Блеск и нищета» литературной дачи: *Богданова О.А.* «Дачный топос» в русской литературе XIX—XX вв.: генезис и эволюция; *Мари Э.* «Прощание с летом»: советские маргиналии к «дачному топосу»; *Александров И.А.* «Дачное» В.Ф. Ходасевича: об одном авторском претексте; *Щукин В.Г.* Дача как поток поэтического сознания. Стихотворение Б.Л. Пастернака «Вторая баллада»; *Ребель Г.М.* Почему разбилась голубая чашка? Художественное пространство рассказа А.П. Гайдара «Голубая чашка»; *Насрутдинова Л.Х., Махихина Н.Г.* Дачная тема в советской литературе для детей; *Скорородов М.В.* «Дачный топос» в советской поэзии середины — второй половины XX в. в контексте усадебной традиции; *Перепелкин М.А.* Одна дачная история: рассказ Ю.О. Домбровского «Царевна-лебедь»; *Михайлова М.В., Сотникова А.С.* Рай в ближнем Подмосковье (топос дачи в повести В.В. Перуанской «Кикимора»); *Сундукова К.А.* Сиверская зимой и летом: «дачный топос» в романах Ю.В. Трифонова «Старик» и Е.Г. Водолазкина «Авиатор»; *Ерохина Е.А.* Советская дача глазами ребенка: опыт медленного чтения повести Т.Н. Толстой «Невидимая дева»; *Галимуллина А.Ф.* Художественное осмысление дачного поселка казанских писателей Лебяжье в современной поэзии и мемуарах.

Соколова О.В.

«Штык-язык остри и три!»: языковые политики поэтического авангарда.

М.: Культурная революция, 2024. — 552 с. — 300 экз.

В книге собрано много материала о взаимодействии художественных практик авангарда 1920—1930-х гг. с политикой,



рассматриваются русская, итальянская и англо-американская литературы. Новый язык должен был помочь становлению нового мира. Разрабатывался универсальный язык как средство достижения взаимопонимания, позволяющее снизить вероятность войны. При этом британский лингвист Ч.К. Огден, максимально упрощавший язык до Basic English, и Дж. Джойс, максимально усложнявший язык в «Поминках по Финнегану», хорошо понимали друг друга (Джойс даже пригласил Огдена написать предисловие к своим «Сказкам»). И эстонец Я.И. Линцбах, и русский П. Митурич предполагали включение в универсальный язык визуальных и пластических элементов (чертеж, алгебраическая формула, мелодия, пляска или ритмическая гимнастика, орнаменты и декорации). Язык должен помочь строить общество на основе свободы и добровольного соглашения, поэтому братья Гордины в своем проекте языка отказались от повелительного наклонения — языка власти, от категории рода — чтобы не ущемлять женщину. Язык рассматривался как система в развитии, требующая от носителя постоянного творчества, в духе vertigral американского авангардного поэта Юджина Джоласа, сочетающего вертикаль, интеграл и Грааль. Как попытка доступа к подсознательному, архаичному, что неизбежно вело к противоречиям. Например, Хлебников стремился к рациональному, исчисляемо-

му, то есть нехудожественному, языку. Но реально его практика приводила «не к логической операции вычисления значения более сложных понятий из простых, но порождала сверхсмысловое приращение, когда интерпретация осуществлялась с помощью этимологического анализа и паронимической аттракции» (с. 77—78).

В уже существующих языках делался акцент на экспрессию и многозначность. Название издаваемого английскими вортицистами журнала «Blast» может пониматься как «удар», как «Черт [подери]!» / «[Идите вы] к черту!» / «Да будет проклят...» (с. 305), но и как «сильный порыв ветра» или «бурное проявление чего-либо». Длинные списки проклинаемого и проклинаемых в журнале призваны были «вызвать как можно более сильную (агрессивную, негативную) эмоциональную реакцию у читателя — и по отношению к объектам, и по отношению к самим отправителям-вортицистам. В этом двойном отрицании, а не встраивании высказывания в стандартную политическую коммуникативную рамку “свой” — “чужой”, реализовывалось разрушение политических и социальных стереотипов, тотальное отрицание любой иерархии и системы как проявления диктатуры» (с. 299—300). Журнал стремился взять под сомнение саму идею вынесения вердикта. И проклятия тоже — что-то из проклинаемого затем входило в список благословляемого (притом что английское благословение *bless* тоже может иметь оттенок проклятия). Аналогично анализируемая Соколовой итальянская приставка *ti-* дает значения и повторения, и усиления, которые могут накладываться, давая одновременно оттенки универсальности и будущей интенсификации. С другой стороны, многозначность содержит и свои опасности. Она может быть использована для внушения лжи как правды. Язык решительности может оказаться языком манипуляции.

Дизайн «Blast» был динамичной композицией, по визуальной экспрессии сходной с рекламой. Многие другие авангардные издания также сочетали текст и рисунок. Тексты смешивали разные типы дискурса (от военно-художественных «Приказов по армиям искусств» Маяковского до радиопередач Паунда, сочетавших интимность разговора с иронией и критикой аудитории). Частый авангардный прием — соединение разнородных слов дефисом.

Характерно, что итальянский футуризм, который был в гораздо более близких отношениях с государством, проектов универсальных языков практически не выдвигал, наоборот, настаивал на очищении итальянского от заимствований (Маринетти предлагал заменить «бар» на что-то вроде «тут-пью»). Предпринятый Соколовой анализ метафор итальянских футуристов подтверждает эстетизацию войны ими, надежду на обновление окостеневшего общества с ее помощью. Они полагали, что война — прародительница всего, средство гигиены, избавления от повседневности.

В революционной России говорили об универсальности английского, о желательности перевода русского на латиницу. Но по мере укрепления тоталитарности для отделения от внешнего и для внутренней однородности на кириллицу стали переводиться как древние алфавиты на основе арабского и фарси, так и новые, создаваемые для не имевших письменности народов. Многозначность языка использовалась для пропаганды. «Товарищи девочки, товарищи мальчики! / Требуйте у мамы / эти мячики» Маяковского — не только реклама мячей, но и внедрение продвигаемого властью обращения.

Все большее значение приобретал лозунг. Соколова прослеживает переход предложения/просьбы «дай/давай» в приказ «Даешь!». Причем приказ не прямой, требующий не конкретного

действия, а глубоких перемен. Обращенный не к человеку, а к коллективу, то есть растворяющий человека в коллективе. И само слово пришло из люмпен-пролетарского (матросского) жаргона и стало ключевым в политическом дискурсе (не встречаем ли мы и сейчас подобное, хотя и не в виде лозунгов и не из матросского языка, а из «фени» преступников?). А лозунги имеют обыкновение изнашивать, превращаясь в цитату о славных временах и в клише. Наряду с историей слова «даешь» в книге Соколовой возникает и вопрос о его переводе, который должен производить сходное воздействие. «Let us have it!»? «Give us!»? «Let there be!»? «Now!»? Можно предположить, что тут помогло бы что-то из сниженного, а не литературного языка.

Но лозунг — эксплуатация уверенности авангарда в том, что новый язык и должен переходить в строительство новой жизни, а художественные практики, соответственно, рассматриваться как производство. Для авангардиста факт «одновременно означаемое (объект реальной действительности) и означающее» (с. 229). Как примеры языково-политического перформанса в книге приводятся Республика Фьюме (1919—1921), возглавлявшаяся поэтом Д'Аннунцио, и коллективная театральная постановка — «Взятие Зимнего» (1920) Н. Евреинова. Но Д'Аннунцио пытался моделировать будущее — республику свободных творцов. Полностью приведенная в книге ее конституция при всей риторике, пословицах и цитатах из литературы представляет интерес как возможная модель государственного устройства (государство «постоянно стремится повысить чувство собственного достоинства и увеличить благосостояние граждан» — достоинство даже впереди благосостояния). А у Евреинова — представление прошлого как настоящего (чем всегда занимается пропаганда стабильности, обращенная в прошлое).

Есть большие сомнения, что ему удалось преодолеть «опозиции индивидуального и институционального, исторического и актуального, дистанцированного и оперативного искусства» (с. 240).

В книге излагается много мнений, которые часто являются взаимоисключающими или спорными. (Например, до какой степени слова вроде «совдеп» выросли из речетворчества футуристов, как считал теоретик ЛЕФа Борис Арватов? Ведь аудитория футуристов была невелика.) Соколова ограничивается констатацией их наличия там, где возможны были бы сопоставление и дискуссия.

Но во всяком случае, книга еще раз показывает многогранность поисков авангарда, что он не перерождается автоматически в пропагандистское искусство (как полагает, например, Б. Гройс) в силу невозможности для живого процесса, языкового эксперимента стать официальным схематизированным институтом. Авангард по своей природе содержит акцент на радикальных переменах, на протест. В его манифестах слово «против» часто стоит в начальной позиции (а определение какого-то движения «за» повело бы к диктатуре дискурса). Художественный дискурс направлен на индивидуальное, политический на коллективное, и опыт их встречи в экспериментах авангарда, позитивный и негативный, может оказаться очень актуальным при будущем политическом действии.

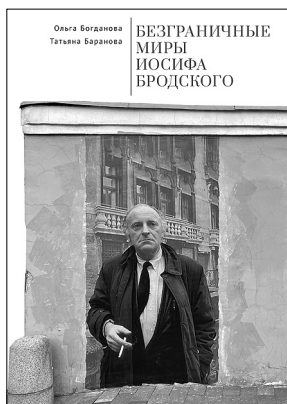
Александр Уланов

Богданова О.В., Баранова Т.Н.
**Безграничные миры
Иосифа Бродского.**

СПб.: Алетейя, 2023. — 316 с. — 500 экз.

«Безграничные миры Иосифа Бродского» — сборник статей, посвященных

анализу и интерпретации 13 поэтических текстов Бродского (от «Еврейского кладбища около Ленинграда» (1958) до «Тритона» (1994)), которые авторы книги относят к жанру «большого», или «длинного» стихотворения. (Концепция «большого стихотворения» как жанра, созданного Бродским, восходит к работам Я.А. Гордина.) Книге явно не хватает предисловия, в котором были бы достаточно строго описаны признаки этого гипотетического жанра: в статьях О.В. Богдановой и Т.Н. Барановой говорится о нем неоднократно, причем не всегда одинаково, и остается не вполне ясным, что именно является жанрообразующими признаками: объем, выражение метафизических идей или развертывание в тексте некоего ключевого образа. Если же все эти признаки вместе взятые, то как они взаимосвязаны? Отсутствие теоретического введения особенно странно, поскольку авторам принадлежит почему-то не включенная в книгу их статья, претендующая на определение специфики этого жанра, хотя, на мой взгляд, и не выполняющая этой задачи с необходимой убедительностью (Идиожанр Иосифа Бродского («большие стихотворения»)) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2023. № 2).



В отдельных статьях рецензируемой книги встречаются небезыңтересные и порой убедительные истолкования,

замечания и наблюдения. Например, в стихотворении «Бессмертия у смерти не прошу...» обнаружена отсылка к пушкинскому «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и одновременно указано различие двух текстов: «В своем звучании строка “И осенью и летом не умру” продолжает ощутимую аллюзию к пушкинскому “Весь я не умру...”, подерживая представление героя о надежде на продолжение жизни, которую песнует в себе лирический герой. Другое дело, что видимой аллюзии к теме поэта и поэзии, которую разрабатывал Пушкин, у Бродского нет. Пушкин писал о духовной жизни, героя Бродского (пока) тревожит жизнь реальная, земная, биологическая» (с. 23—24). Но это справедливое наблюдение по поводу различия строк двух поэтов противоречит итоговому выводу: «...ранний Бродский (уже) мерил свою жизнь (и смерть) по Пушкину, в том числе по пушкинским “мечтам” о предназначении поэта и поэзии (напомним об аллюзии на “Весь я не умру...”)» (с. 29). Верно указаны другие подтексты этого стихотворения Бродского — пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «О, весна без конца и без краю...» Блока. Убедительно истолкование строк «И осенью и летом не умру, / не всколыхнется зимняя простынка, / взгляни, любовь, как в розовом углу / горит меж мной и жизнью паутинка» из этого же стихотворения Бродского. Оспаривая трактовку С.И. Кормилова, что зимняя простынка — это сугроб над могилой и что, соответственно, здесь говорится об ожидаемой героем смерти зимой, О.В. Богданова и Т.Н. Баранова замечают: «...лирический герой, обретший уверенность в продолжении жизни <...> наоборот, говорит о том, что он не умрет ни осенью, ни летом, ни зимой (то есть не нужно будет ради копания могилы “всколыхивать” “зимнюю простынку”, покрывающую замерзшую землю, ее “зимнее покрывало”). Лирический субъ-

ект надеется на продолжение жизни, потому «в розовом углу горит меж [ним] и жизнью паутинка» (с. 23). Паутинка — подобие нити жизни, «розовый угол» — метафора области сердца, иносказательно обозначенного образом «раздавленного паука» (с. 24—25).

В работе «“Мексиканский дивертисмент”» не лишено ценности толкование входящего в цикл стихотворения «Гуернавака», рассматриваемого в проекции на реалии этого места (с. 244 и след.). Справедливо, как представляется, суждение, что в стихотворении того же цикла «1867» «презренье к ближнему у нюхающих розы» и «гражданская поза» — это не две жизненные роли мексиканского императора Максимилиана (как предположили Р.Д. Тименчик и вслед за ним С. Турома), а модели поведения и взгляд на жизнь, отнесенные, соответственно, к гедонисту Максимилиану и его антагонисту революционеру Хуаресу (с. 259, примеч. 1). Хорошо проанализированы пейзажные детали в стихотворении «Новые стансы к Августе» (с. 167—168), обоснованно предположение о подтексте из дантовской «Божественной комедии» в этом стихотворении (с. 167—168, 170). В работе о стихотворении «Келломяки» аргументированно выражена мысль о его минорной тональности, разнящаяся с толкованиями, которые были предложены другими исследователями.

Но к сожалению, эти заслуживающие внимания мысли и соображения заслонены необязательными малосодержательными наукообразными рассуждениями наподобие такого: «...с образом смерти в его (Бродского. — А.Р.) жизнь (физическую и поэтическую) вошло и понятие времени <...>. Не столько ментальная геометрия, сколько житейская (= онтологическая) реальность подталкивала юного Бродского к мыслям о смерти и бессмертии, о времени и вечности, о жизни и ее продолжительности <...>» (с. 20). Что значит ме-

тафора «поэтическая жизнь»? Творчество? Какие основания для утверждения, что осознание времени Бродским человеком (а не поэтом) неразрывно связано именно с «образом смерти»? Для филолога выход за пределы текста и переход его интерпретации к рассуждениям об авторе как реальной личности и его переживаниям заказан. Что такое «ментальная геометрия» и почему житейская реальность приравнивается к онтологической? Еще один пример — бессодержательное утверждение: «Угроза смерти <...> заставляет лирического персонажа воспринимать мир диалектически и философично: дискретно и целостно, предметно и абстрактно, через свое и всеобщее» (с. 22).

В книге встречаются суждения обобщающего характера о концепциях бродсковедов, не подкрепляемые ссылками на работы других исследователей. Утверждается, что «бродсковеды считают признаком “взросления” Бродского его <...> переход к “вольному” или акцентному стиху» (с. 11), приводится некорректная, без указания исследований, ссылка: «См., напр., А. Азаренков, А. Чевтаев, О. Федотов, А. Степанов и др.» (там же, примеч. 2). Это суждение О.В. Богданова и Т.Н. Баранова «опровергают», приводя в качестве примера «Еврейское кладбище около Ленинграда», написанное якобы «акцентным и разноstopным (2—6) стихом» (с. 11). Как стих этого текста может быть одновременно «акцентным» и «разноstopным» (стопы — признак только силлаботоники), бог весть. (Если это полиметрическая форма, следовало бы сие прямо отметить.) Но главное — другое. Такого утверждения об эволюции стиха Бродского, которое оспаривают авторы книги, попросту не существует. Стиховеды заявляли и доказывали нечто совершенно противоположное: «Обращаясь к белому дисметрическому стиху, акцентному стиху и экспериментальным формам в юношестве, поэт решительно отказы-

вается от использования этих типов стиха в зрелом творчестве» (Левашов А.М., Прохоров А.В. Статистический метод классификации метров неклассического русского стиха (на материале так называемого «белого акцентного стиха» И. Бродского // Вопросы языкознания. 2016. № 4. С. 123).

Неосведомленность в истории стихосложения и в стиховедении вообще удивительна для авторов книги, формально принадлежащих к числу профессиональных филологов (О.В. Богданова и Т.Н. Баранова являются сотрудниками РПГУ им. А.И. Герцена). О двустопном анапесте, которым написаны «Строфы» (1968) Бродского, сказано: «Сразу можно отметить, что Бродский использовал довольно редкий стихотворный размер, который еще со времен классицистической русской поэзии (М. Ломоносов, Г. Державин, Н. Львов), как правило, служил выражением одического пафоса, высокого интенционного начала, был прочно связан с жанром оды» (с. 199). Оды писали четырехстопным ямбом, реже хореем, трехсложники были в XVIII в. крайне редки и являлись экспериментальными размерами (ср.: Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000. С. 59—61, 70—71). Двустопный же анапест — вообще раритетный размер. Стих «Тритона» назван акцентным (с. 304), хотя это дольник на основе дактиля и амфибрахия.

Работы, включенные в сборник, вообще пестрят ошибками, для профессиональных филологов недопустимыми и необъяснимыми: Джон Донн назван «средневековым поэтом» (с. 191), Августа Ли, родная сестра Байрона по отцу, — «сводной сестрой» (с. 158), утверждается, что в «Евгении Онегине» семь глав и что написан он пятистопным ямбом (с. 275). Частица даже названа «наречием (почти частицей)» (с. 160).

В книге обильно встречаются произвольные, а порой и совершенно фан-

тастические и даже абсурдные истолкования: например, моллюск и тритон в стихотворении «Тритон», несмотря на его маринистскую образность, — это якобы метафора сердца лирического героя (с. 311). Но венцом такого рода интерпретаций является объяснение, почему поэт в «Мексиканском дивертисменте» вместо правильной формы имени Хуарес использовал неточную Хуарец: для автора будто бы важна ассоциация *Хуарец/красноармеец* (с. 255). Также такая форма имени якобы объясняется ассоциацией с лексемой *душегубец* (с. 278).

Встречается в книге и более чем странное предложение заменить в будущем академическом издании (!) арабскую нумерацию строк в «Новых стансах к Августе» римской лишь на основании сходства текста Бродского с «Евгением Онегиным», где строфы обозначены римскими цифрами (с. 162, примеч. 2).

Для бродсковедов знакомство с рецензируемым сборником будет все же бесполезным. Но чтобы обнаружить в его тексте полезное и нужное, им придется проделать титаническую работу по отсеиванию малосодержательных рассуждений, сомнительных интерпретаций и просто неверных утверждений.

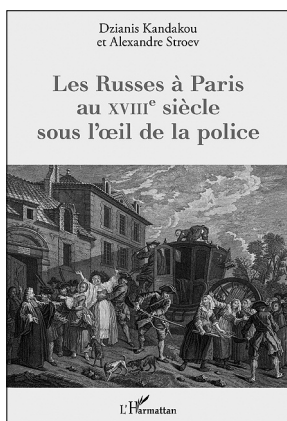
А.М. Ранчин

Kandakou D., Stroev A.
**Les Russes à Paris
au XVIII^e siècle sous l'œil
de la police.**

Paris: L'Harmattan, 2024. — 736 p.

Французское государство разработало в XVIII в. хорошо отлаженный полицейский механизм с целью получения максимума сведений о прибывавших на его территорию иностранцах. Д. Кондаков и А. Строев проделали огромную работу

по сбору материалов и публикации их в книге «Русские в Париже в XVIII в. под надзором полиции». Эти материалы включают хранящиеся в Библиотеке Арсенала (Париж) и в архивах Министерства иностранных дел Франции донесения полицейских служащих и секретных осведомителей, документы судебных расследований, а также имеющиеся в Национальной библиотеке Франции отчеты полиции нравов, следящей за поведением разного рода куртизанок: театральных актрис, оперных певиц и их клиентов, причем эти дамы иногда сами становились осведомительницами. В книге значатся имена шестисот пятидесяти подданных России, которые провели в Париже, этом неизбежно притягивавшем всех городе, более или менее длительное время. В действительности их было намного больше, поскольку надзора удостоивались достаточно видные особы, влиятельные и богатые, а такие, как, например, никому не известный студент В.К. ТрEDIAKОВСКИЙ (бывший в Париже в 1727—1730 гг.) или еще не знаменитый Н.М. Карамзин (посетивший Париж в 1790 г.), разночинцы или торговцы не привлекали внимания властей. Каждую неделю генерал парижской полиции подавал отчет о прибывших иностранцах и их занятиях министру иностранных дел Франции.



При этом идентификация русских имен представляет значительные труд-

ности по причине давней французской традиции передавать эти имена более чем приблизительно, и здесь авторам также пришлось приложить немало усилий. Так, персонаж, посещающий А.Д. Кантемира и фигурирующий под именем Kianquin, оказывается С.К. Нарышкиным, чрезвычайным посланником России в Англии, М. de Wisiny — Д.И. Фовизиним, Rosomoscuo — графиней С.С. Разумовской, женой графа П.К. Разумовского, а Vougaquinois — Д.Л. Боборькиным, офицером гвардии.

Данные документы изучались ранее историками, но выборочно и не в таком объеме.

Книга включает обширное предисловие, в котором сделан акцент на стремлении русских путешественников включиться в жизнь Парижа, постигнуть местные нравы и обычаи, усвоить «искусство жить», то есть хорошие манеры и правила поведения в обществе, чтобы в итоге вписаться в парижский свет, что, как правило, им плохо удавалось в силу местного настороженно-снисходительного отношения к «москвитам». Затем следуют списки донесений в хронологическом порядке за 1729—1731, 1740—1748, 1760—1768, 1770, 1773—1791 гг. Лакуны объясняются тем, что отчеты за некоторые годы не сохранились. Отдельно выделены внутри соответствующих годов документы, относящиеся к судебным делам С.А. Пушкина, заключенного в тюрьму Фор-Левек за долги, Ж.-Ф. Эрона (Heron), географа-инженера, предложившего в 1763 г. канцлеру М.И. Воронцову поставлять сведения о французских новинках «в военной и гражданской» областях (с. 227) и заключенного в Бастилию по обвинению в шпионаже, Карла-Эрнста Курляндского, оказавшегося в той же тюрьме в 1768 г. по обвинению в подделке векселей, а также письмо за подписью короля Людовика XVI, предписывающее отправить авантюриста Ивана Тревогина из Бастилии в Россию, письмо фран-

цузского дипломата Ж.-Ш. Верженна неизвестному лицу в России о визите графа и графини Северных (великого князя Павла Петровича и его супруги, великой княгини Марии Федоровны) в Париж, где французы показали им «не спешащими насмехаться», а «жаждущими отличить и воздать честь подлинным заслугам» (с. 464). В отчетах восстановлены детали пребывания русской великокняжеской четы в столице Франции в мае-июне 1782 г. В книгу включены также письма и записки неизвестных дам полусвета графу И.П. Салтыкову во время его пребывания с семьей в Париже в 1782 г. В приложении приводятся списки россиян, прибывавших на известный курорт Спа в 1757—1791 гг., где они сообщали о себе сведения в городской газете. Аннотированные указатели российских и иностранных подданных позволяют быстро ориентироваться в большом корпусе книги.

Под пристальным надзором полиции находились в первую очередь дипломаты (А.Д. Кантемир, Д.А. Голицын, И.С. Барятинский), а также знатные высокопоставленные особы: графы Воронцовы, Разумовские, Румянцевы, Салтыковы, Шуваловы, Чернышевы, Строгановы, князья Белосельские, Барятинские, Долгорукие, Голицыны, княгиня Е.Р. Дашкова), фавориты Екатерины и ее внебрачный сын А.Г. Бобринский. Есть также упоминания о некоторых писателях (Д.И. Фонвизине, И.И. Хемницере, Н.А. Львове, Ф.В. Каржавине), ученых, врачах. За русскими следили в их жилищах (владельцы гостиниц, арендаторы домов должны были сообщать первые сведения о новых жильцах), в посольствах, салонах, театрах, игорных домах, местах, предназначенных для тайных свиданий. Русские аристократы тратили колоссальные суммы на азартные игры и содержание куртизанок, которых зачастую делили с французскими принцами и герцогами, не желая отставать от них. Отчеты полиции нравов

близки жанру фривольных новелл, написаны они с особым литературным блеском, поскольку такое чтение любил король Людовик XV. Героями авантюрных историй становятся князь Андрей М. Белосельский, граф А.П. Шувалов, князь М.В. Долгорукий, граф К.Г. Разумовский.

Российский посол А.Д. Кантемир не внушал доверия из-за напряженных отношений в конце 1730-х — начале 1740-х гг. России и Франции во время войны за Австрийское наследство и своих симпатий к Англии. За Кантемиром долгое время можно было следить только когда он выходил из дома: «3 декабря 1741. В 5 часов князь выехал из дома, остановился на улице Варенн у дома посла Сицилии, никого не нашел, оттуда отправился по улице дю Бак и ехал так быстро, что его упустили из виду, не смогли догнать». Кантемир ведет себя очень осторожно, не отправляет писем по почте, нанимает слуг только по рекомендации своих друзей-послов. Тем не менее полиции удается внедрить в его дом своего агента, который в качестве слуги может слышать разговоры и видеть гостей в доме русского посла. Агент отмечает его регулярные свидания с любовницей, мадемуазель д'Англебер, которая имела от него двоих детей, и тот факт, что других парижских дам он принимает у себя дома исключительно с целью получения информации.

Полномочный посланник (1774—1785) князь И.С. Барятинский находится в центре великосветской жизни, посещает знаменитые салоны С. Неккер и М.-Т. Жоффрен, герцогини М.-А. де Люксембург и герцогини А.-Ф.-Ж. де Лавальер, маркизы М. дю Деффан и маркизы М.-Т. де Ла Ферте-Эмбо. Он устраивает приемы и карточные игры у себя в доме. У него так же, как у Кантемира, огромные долги и двое детей от некоей мадемуазель Гертруды, то есть, как замечают авторы, он «ведет обычную жизнь знатного иностранного дипломата в Париже» (с. 72).

Полицейские отчеты позволяют восстановить круг общения других российских дипломатов, например детали времяпрепровождения в мае 1746 г. вице-канцлера М.И. Воронцова, а в 1746—1747 гг. — А.Л. Гросса, поверенного в делах России после смерти Кантемира, затем полномочного посланника. Он вызывает подозрения из-за общения с графиней де Лоне (имя неизвестно), бывшей гувернантки императрицы Елизаветы, и окружающими ее лицами, которые кажутся неблагонадежными из-за их связей с Россией.

По мере усиления военной мощи Российской империи количество поднадзорных россиян растет, по численности они занимали третье место после англичан и немцев.

Если в 1730—1740-х гг. осведомителям было почти невозможно проникнуть внутрь снятых русскими особняков, то позднее полицейские инспекторы становятся зачастую гостями дипломатов и знатных особ, помогают им выйти из затруднительного положения, в которое они попадают из-за долгов, в том числе карточных, или слишком разгульного образа жизни. Особую деликатность они проявляют по отношению к тем, кто близок к Екатерине II: Я.Д. Ланскому, младшему брату ее фаворита, и А.Г. Бобринскому, ее внебрачному сыну, погрязшим в долгах и сомнительных любовных связях.

За Бобринским был установлен особый надзор сразу по его прибытии в начале июня 1786 г., причем с согласия барона Ф.-М. Гримма, от которого Екатерина получала известия о поведении сына. В отчетах отмечается, что он «бережлив» и «за ним не знают долгов» (с. 539), но его страсть к игре (в результате он задолжал шулерам огромные суммы), шумные драки с французской любовницей и другие авантюры вызывают опасения, что он может оказаться в рискованной ситуации, преступив французские законы.

Если А. Лильти на основании полицейских отчетов сделал вывод о том, что французские аристократы практически не посещали дома русской знати (Lilti A. *Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle*. Paris, 2005. P. 146), то рецензируемая книга позволяет скорректировать этот вывод: барон А.С. Строганов, князь В.Б. Голицын и его супруга княгиня Н.П. Голицына регулярно давали ужины, устраивали пользовавшиеся успехом балы и концерты, на которых присутствовало избранное парижское общество. Интересно, что Н.П. Голицына в 1784—1789 гг. является, не будучи сопровождаема мужем, постоянной гостьей герцогини де Лавальер, чей салон был центром дипломатической жизни в предреволюционной Франции.

Между 1777 и 1781 гг. граф А.П. Шувалов и его жена упомянуты 150 раз, превзойдя по этому показателю поднадзорных дипломатов. Но Шуваловых, у которых была англофильская ориентация, посещали немногие французы. На основе наблюдений за Шуваловым становится понятно, что он в 1777—1781 гг. находился в Париже с секретной дипломатической миссией и был посредником между различными дипломатическими кругами. У себя граф виделся чаще всего с австрийским, саксонским и датским дипломатами, враждебными по отношению к внешней политике Франции и поддерживавшими, как и Россия, Англию во время войны за независимость Америки. Любовные похождения графа Шувалова занимают много страниц в отчетах полиции нравов, в которых подробно рассказывается о его бурных отношениях с танцовщицей Оперы, в приступе недовольства графом выбросившей в окно подаренные им бриллианты.

Авторы отмечают в предисловии, что при всем лоске и усвоении французской культуры А.П. Шувалов, автор французских стихов и корреспондент Воль-

тера, терпит неудачу, пытаясь слиться с парижской элитой, чрезмерно блистая умом и вызывая насмешки. Его пример «хорошо иллюстрирует усилия многих русских парижан в эпоху Просвещения. Какими бы франкофилами и франкофонами они ни были, они попадают в пропасть между двумя культурами...» (с. 82). Русский парижанин — особый социальный тип, который получает похвалу Вольтера, заинтересованного в благосклонности Екатерины II, и станет объектом сатиры в комедиях Д.И. Хвостова и Д.И. Фонвизина.

Фонвизин, прибывший с женой в Париж 3 марта 1778 г., только месяц спустя, очевидно, после его встреч с известными французскими литераторами и учеными, а также с Б. Франклином, посланником США во Франции, попадает в полицейский отчет, где сведения о нем несколько приукрашены на основании, по всей видимости, его рассказов о себе самом и, как отмечено одним из инспекторов, хвалебных отзывов князя И.С. Бяргинского и графа А.С. Строганова; так, он назван советником императрицы, принимавшим участие в составлении свода законов и ею щедро вознагражденным, что не соответствовало реальности. Таким образом, несмотря на критику французских салонов и местных нравов в письмах к Н.И. Панину, Фонвизин стремился придать себе

больше веса и вписаться в литературную и светскую жизнь Парижа.

Десять дней в июле 1789 г. полицейские наблюдения не велись из-за революционных волнений, затем постоянно встречаются жалобы на то, что иностранцев становится все меньше, и никто из новых значительных лиц не появляется. Потому особого внимания удостоивается «юный граф Строганов» (с. 620), сын графа А.С. Строганова Павел, прибывший в Париж под другим именем с губернатором Ж. Роммом (будущим якобинцем) в феврале 1790 г. Его время занято учебой и физическими упражнениями, а также посещением Национальной ассамблеи, «к дверям которой он приходит с раннего утра, чтобы занять лучшее место» (там же).

Книга Д. Кондакова и А. Строева погружает читателя в непосредственно разворачивающуюся на его глазах повседневную жизнь русских гостей Парижа и наглядно показывает взаимное восприятие двух культур.

В качестве перспективы дальнейших исследований авторы предлагают создание персональной базы данных, оцифровки всех имеющихся документов, а затем издание «Биобиблиографического словаря россиян во Франции в XVIII в.».

Е.П. Гречаная

Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17; тел.: 8 (495) 749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».

Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.

Хроника научной жизни

Всероссийская научная конференция «Трансильвания беспокоит»: поэтика Елены Фанайловой»

*(сектор эстетики, Институт философии РАН; кафедра
теоретической и исторической поэтики, Российский государственный
гуманитарный университет, 17 февраля 2024 года)*

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_390

Я пишу днем, пишу ночью,
Пишу утром, пишу вечером,
Когда хожу, курю, ем, пью, гажу,
Когда сплю

Произвожу ей смыслы
Которыми она могла бы питаться,
Если бы ела буквы

Елена Фанайлова. Балтийский дневник

Елена Фанайлова — значительная фигура, которая во многом определила тенденции новейшей российской поэзии. Другая важная для современной российской литературы писательница, Оксана Васякина, как было упомянуто во время конференции, называет поэтессу своей «литературной мамой», и она является таковой по-своему для целого поколения авторов. Однако разговор о Елене Фанайловой выходит далеко за пределы литературоведения, что мы видим в формулировке концептуальной рамки конференции: поэтика — достаточно широкое понятие, включающее в себя анализ как внутрилитературных, связанных с конкретным текстом особенностей художественного метода поэтессы, так и более широкого экстралитературного контекста поэтического высказывания. Поэтому разговор о поэтике Елены Фанайловой получился междисциплинарным. Прозвучавшие доклады были определены в четыре секции, посвященные исследованиям взаимоотношений поэзии Фанайловой и истории, особенностям построения ее художественного высказывания, проблематике поэтического объекта и субъекта в ее творчестве и связи его с широким полем популярной культуры.

Однако вне зависимости от деления на секции, все докладчики и докладчицы в той или иной мере выделяли несколько ключевых тем. Основная из них — поиск языка для разговора о насилии и травме (пост)советского, (пост)имперского опыта, разговора о его жертвах и их месте на общем полотне истории. Здесь поэтическое высказывание расщепляется, отрывается от субъекта речи, откликаясь, отражаясь и резонируя голосами других — свидетелей и свидетельниц, соучастников и соучастниц. В текстах Фанайловой право голоса, право речи берут все сопричастные, поэтому поэтическое партизански распределяется по всему гаргантюанскому телу нации и выходит за его пределы в область общечеловеческого каждодневного опыта. Богема, поэт, любая творческая единица становится субъектом политического. И у этого субъекта находится ответ Т. Адорно: «Литератор, конечно, не обязан трудиться стриптизером. Он просто не имеет права бояться говорить. Его речь — единственный поступок, действие и форма жизни, имеющие смысл»¹. Поэтому эта конференция состоялась.

Первая секция, названная «Снился мне странный дом», посвященная поэзии Елены Фанайловой в контексте истории идей и антропологии современности, открылась докладом Анатолия Корчинского (РГГУ, Москва) «От трагедии к фарсу и обратно: о чувстве истории у Елены Фанайловой и Иосифа Бродского». Докладчик проанализировал мотив времени и способы его исторического развертывания через поэтическое воображение на материале «Стихов о зимней кампании 1980 года» И. Бродского и «Опять они за свой Афганистан» Е. Фанайловой. Историография Бродского близка модерному историзму, в котором время движется поступательно, линейно и регрессивно, оборачиваясь вспять к катастрофе, однако для поэта оно образует цикл — мир замкнется и вернется к доисторическому состоянию. Кроме того, человеческая жизнь есть бытие к смерти, а потому насилие, которое несут беспечные советские воины в Афганистан — клише и отсутствие творческого начала, а «убийство — наивная форма смерти, тавтология, ария попугая»². Это кровавый фарс, который тем не менее для Бродского не является чем-то противоположным. Империалистическая война просто ускоряет ход вещей, а сама империя понимается двояко: она сохраняет и несет культуру, но всегда существует на насилии. Корчинский отмечает, что Елена Фанайлова также работает с чувством исторического времени, варьируя тему темпорального повторения. Первые две строки стихотворения «Они опять за свой Афганистан» задают временной и исторический промежуток, в котором размещаются истории героев, пересказанные нарратором: «...Они опять за свой Афганистан / И в Грозном розы черные с кулак». Расстояние между войной в Афганистане и чеченскими войнами образует поколенческий шаг, помещающий в себе призраков прошлого и будущего, которых настоящее, по Ж. Деррида, должно восстановить в правах. Но фанайловский тон «другой такой страны мне не найти» означает, что в будущем будет воспроизводиться то же самое. Фигура призрака здесь скорее пугает, чем обещает изменения. Призраки прошлого и будущего, по Фанайловой, пребывают в мультитемпоральном, замкнутом, презентистском настоящем. Трагедия у нее оборачивается фарсом, а фарс — трагедией. В то же время они одновременно являются друг другом.

Следующий доклад этой секции, «*“...Слушайте мой голос. Он поможет вам перенестись в Европу и станет вашим проводником”*: творчество Елены Фанай-

1 Фанайлова Е. Вместо предисловия // Фанайлова Е. С особым цинизмом: [Стихотворения] / Предисл. А. Секацкого. М.: Новое литературное обозрение, 2000 (<https://www.vavilon.ru/texts/fanailova6-o.html> (дата обращения: 22.09.2024)).

2 Бродский И.А. Стихи о зимней кампании 1980 года // Бродский И.А. Сочинения: В 7 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2001—2003. Т. 3. С. 194.

ловой в культурно-политическом контексте Восточной Европы XX—XXI вв.» Дениса Ларionoва (Потсдамский университет, Германия), был посвящен разговору о поисках аутентичного поэтического языка Е. Фанайловой и обретении его с помощью поэтики внешних литературных девайсов. К поэтической речи Фанайловой докладчик применил понятие «радиоголоса». Для иллюстрации становления этого типа поэтического говорения он обращается к истокам творчества поэтессы и прочерчивает связь литературного дебюта в литературном приложении «Митин журнала» в 1991 году и в целом интереса литературного сообщества, которое, обходя литературный контекст метрополии, оказывалось в контексте периферийных восточноевропейских литератур на разных языках. И перевод как поэтическая стратегия оказывается актуальным художественным методом. Сама Фанайлова выступает в роли медиатора, редактора и переводчика между культурными контекстами, а художественная книга ассоциируется с носителем информации, с записью или перезаписью социального смысла. Сама конструкция стиха отвечает этой задаче — классическая логика стихосложения постакмеистического периода линейного смысла взламывается, обнаруживая важность импульса, а не семантического ореола. Фигура поэтической медиации важна для работы с темой Восточной Европы, ощущающейся как тревожное негеторогенное место. Акт поэтической медиации, трансфера и перевода между двумя регионами подсвечивает проблематику взгляда на близкого, но другого, и обращает внимание на то, что травматически вытеснялось историей и политикой на пограничье двух распадающихся имперских государств.

Далее Александр Житенёв (ВГУ, Воронеж) в докладе «Концепт “богема” в творчестве Елены Фанайловой» обращает внимание на место артистической среды в поэтическом миропонимании поэтессы. Несмотря на многократные упоминания богемы в разных материалах, концептуализация этого слова оказывается противоречивой. Художник оказывается заложником постоянного перехода, он медиатор и в то же время жертва своего пограничного состояния, которое делает его вынужденным переводчиком с трансцендентного. Соотнесение богемы с этикой и моралью имеет для Елены Фанайловой принципиальное значение: в рецензиях на книгу Э. Уорхола «Философия Энди Уорхола» и автобиографию Х. Ньютона богема понимается через такие качества, как невозмутимость, трансгрессивность, революционность, имморализм и ясность видения. Богема проявляет себя в способности быть ответственной за то, что происходит, в умении переосмыслить взгляд на вещи, обусловленный культурой, в особом поведении, а не в артистизме. Приоритеты богемы в понимании Фанайловой: самоэкзотизация как стратегия самосохранения, этос самоконтроля и ангажированная свобода как общественная миссия, и для того чтобы эту миссию нести, необходимо избежать соблазна саморазрушения. В «Стихах для Лены Долгих» богема обретает статус посредника-медиатора между разными бытийными пространствами. Докладчик указал, что в других стихотворениях тема богемности проявляется в перечислении, которое через несоотнесенность образных рядов расширяет границы умозрения и ловит ускользающее и неминуемое. Житенёв обнаружил, что богемность в творчестве Е. Фанайловой — событие в точке пересечения ретроспекции и проспекции, открывающее новые бытийные возможности.

Продолжил секцию Михаил Павловец (НИУ ВШЭ, Москва) докладом «“Лена и люди” Елены Фанайловой: между “домашней семантикой” и “школьным” бэкграундом», посвященным проблеме простоты или сложности понимания текста, которая не исчерпывается герметичностью и непрозрачностью как защитной функцией поэтического письма от профанного читателя и обращенной к более узкому «гетто избранничества». Сложность, упомянутая в тексте стихотворения, су-

ществует на двух уровнях: на первом, для автора, — это сложность генезиса и реализации замысла, а также в стратегии следования или неследования поэтическим конвенциям. На втором уровне это сложность для рецепции широким читателем или, по Лотману, абстрактным референтом, который противопоставляется конкретному адресату-читателю, лично знакомому с автором и его поэтикой. Этот уровень сложности сопряжен и с выбором поэтической структуры. Елена Фанайлова же, выбирая нарративный верлибр, за которым закреплена в обыденном понимании имитативность и безыскусность, исключает из референтного круга сторонних читателей через домашнюю семантику и отсылки к литературному кругу и быту: «Такое чувство, что вы пишете / Для узкого круга. Для компании. Для тусовки. / Кто эти люди, кто эти люди, Елена? / Которых вы называете поименно?»³ Докладчик замечает, что такая стратегия, с одной стороны, отпугивает непосвященного читателя, с другой — создает доверие к пишущему через возможность прикоснуться к его пространству реальности. Личное знакомство с автором становится предпосылкой к заинтересованности в его творчестве. Отсылки к общеизвестным продуктам культуры считываются как обращение к реципиенту и приглашение его к дерахаизации хрестоматийных текстов. Таким образом создаются условия для intersubjectной коммуникации, поэт и читатель уравниваются в творческих правах и происходит выход из вынужденной изоляции гетто-избранничества.

Олег Аронсон (ИФ РАН, Москва) в докладе «*“Я не умею с Б-гом разговаривать”*: поэзия как теодицея» обращается к стихотворениям Е. Фанайловой для иллюстрации того, как работа с бытовым материалом в поэтическом языке обретает энергию утраченной веры, которая подпитывается вытесненным в современном мире религиозным чувством. Докладчик задается вопросом, как может заявить о себе поэзия в мире обесцененных слов, фальшивых имен и кумиров. Фанайлова не обличает, но предъявляет несправедливость и насилие тому, кто может распознать в них Зло, которое оставляет свой след даже на тех, кто далек от веры. Обращаясь к исторической поэтике словесного творчества, докладчик обнаруживает близость силлабо-тонического стиха Е. Фанайловой и молитвы, где есть следы ритуального повторения. Такое творчество является актом комментирования Божественного творения, разговора с Богом. Идея жертвы в таком разговоре отсутствует, поэтому поэзия Фанайловой антимоливленна, так как в ней забота о жертвах является основой поэтического высказывания. В секуляризованном мире молитва становится не ритуальной сакральной практикой, но способом организации слов, и ей в оппозицию О. Аронсон ставит теодицею, не предполагающую разговор с Богом, но оставляющую пространство для существования Бога и Зла, выходящего за границу общей греховности, заставляющего думать о Божественном произволе. Не уметь разговаривать с Богом в поэзии Фанайловой значит не участвовать в споре Зла и Бога, который не имеет дело с жертвой. Поэзия признает свою зараженность злом, может вступить в борьбу с ним и быть теодицейей.

Завершил секцию доклад Анны Родионовой (НИУ ВШЭ, Москва) «*“Несобственно-прямой эфир”*: новые медиа в поэзии Елены Фанайловой». Докладчица указала на то, что поэтический субъект Фанайловой — это прежде всего информационный субъект, соотношенный с информационной реальностью. Медиа в творчестве поэтессы выступает как такая реальность, часто выраженная несобственно-прямой речью. Она создает оптику, оформляющую рецепцию текста и действие поэзии. Также медиа выступают как средство отказа поэтессы от собственной идентичности и обретение ее через обращение к голосам других. Они, в свою очередь, становятся

3 Фанайлова Е. Лена и люди // Новое литературное обозрение. 2008. № 91 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2008/3/lena-i-lyudi.html> (дата обращения: 22.09.2024)).

информационным потоком, из которого Фанайлова выделяет образы, сюжеты и мифы как точки сборки субъекта. Неточный экфрасис очерчивает субъектность текста через ссылки и аллюзии. Медиа представляется так же, как альтернативная, но неизменно присутствующая реальность, которая диктует свои правила. Фанайлова в своей поэзии через своих героев применяет инструменты медиареальности и обнаруживает невозможность простых решений. Информационная среда, с которой работает поэтесса, ассоциируется со сбоем в трансляции, с глитчем. Это отрезок информационного эфира, который может стать и полноценной расширяющейся информационной реальностью, вписывающей в себя тексты через цитаты и отсылки. Такой художественный подход обнаруживает невмещение поэтических текстов Фанайловой в традиционную лирическую модель — они показывают сочетаемость фрагментарности и монтажности, легкую собираемость в потоковость единого поэтического высказывания. Текст как медиаобъект становится включен в информационную среду, что роднит его с новостью и одновременно реакцией на нее.

Вторую секцию, «Сплета из нервных веток розу мира»: специфика стихосложения и поэтического языка Елены Фанайловой», открыл *Юрий Орлицкий* (РГГУ, Москва) докладом «*Торжество стиха*»: на пути к гетероморфности. Эволюция стихосложения Елены Фанайловой». Докладчик делает примечание о том, что гетероморфность, в том или ином виде — постоянная интенция, существующая во всех видах стиха. Раннее стихотворение Фанайловой «Кто наблюдает рассвет в грандиозной восточной столице» обнаруживает признаки гетероморфности в сложности определить свой размер, раскачиваясь от строки к строке дактилем, гекзаметром, анапестом и свободным стихом. Такой прием является сознательной рефлексией через ритмику стиха. Для Фанайловой важна постоянная смена ритмической установки, чтобы читатель не привыкал к стиху. Наблюдается общий гетероморфный вектор, разложение тоники. В более позднем творчестве преобладает верлибр, акцентный стих. Строфика традиционная и простая, но не упорядоченная и общая для всего текста. Обнаруживается дестабилизирующая мерцающая рифма. Обилие белых стихов иллюстрирует растущее недоверие к рифме как к обязательному условию стиха и в конечном счете тяготение к поэтике прозаических текстов, что показывает пересказ прозаического сюжета стихами как подход к организации поэтического высказывания верлибром.

Продолжила секцию *Елена Петровская* (ИФ РАН, Москва) докладом «*Противоречивое прерывание*»: роль цезуры в поэзии Елены Фанайловой» и предложила говорить о ее поэзии в музыкальных терминах — о синкопичности, атональности и прежде всего ритме, который организует устройство письма. Ритм в текстах Фанайловой является содержательным, показывает соприкосновение внутреннего смысла стиха с современным миром. Насилие же как форма проявления этого мира понимается как сбой ритма, оставляющий след в языке и искажающий символический строй. Цезура в таком случае выступает в роли трагического трансфера, который противопоставляется диалогической и ритмической структуре. Докладчица определяет единство произведения по Ю. Тынянову как развертывающуюся динамическую целостность, в которой есть динамический знак. Недостающие элементы динамизируют форму, усиливают нажим и иллюстрируют конструирующую функцию ритма. В поэзии Фанайловой обнаруживается фигура не ритмической, но семантической цезуры, которая проявляется через имена собственные. Они маски, выступающие знаками трансформации в нечеловеческий взгляд, который способен распознать насилие. Имена-маски маркируют другую ритмическую длительность насилия, показывая, что обретение целостности и полноты может быть только посредством сдвига. Так, цезура в поэзии Е. Фанайловой способствует проявлению внешней реальности в теле стиха.

Далее Александр Степанов (НИУ ВШЭ, Москва / ТьГУ, Тверь) в докладе «*Прозаизация стихотворного высказывания в верлибре Елены Фанайловой “Лена и люди”*» обратил внимание на особую поэтику верлибра, обретающуюся в строках «Это сложный текст, / Даже когда он притворяется простым» как финальное утверждение лирического субъекта и проявление метатекстуального характера поэтического высказывания. Верлибр показывает не отсутствие приема, а максимальную им насыщенность. Прозаизированный монолог поэтессы выходит в пространство гражданского высказывания, верлибр функционирует как метод политизации и эмансипации лирического высказывания, позволяющий включать множество деталей, голосов и временную многоплановость, недоступные при регулярном ритме. Степанов отметил, что в нем работает динамическая смена субъектов речи и модальностей, обнаруживаются привлечение и имитация элементов нехудожественного дискурса, что расширяет возможности моделирования мира. Сама Елена Фанайлова в концептуализации своей поэтики верлибра обращает внимание на то, что «на поэтическую сцену вышли авторы, для которых знание англоязычной поэзии с ее почтенной традицией верлибра и свободного стиха довольно важно». Практики перевода влияют на формирование собственного поэтического языка. В «Лене и людях» появляется интригующий рецептивный двойник, бахтинский Другой, обогащающий бытие поэтессы, чье социальное поле расширяется за счет осознания герметизма своих стихов и выхода из него через взаимное узнавание. Такое приглашение к диалогу иллюстрирует потребность в Другом и необходимость выйти из себя. Рифмованные же строчки ощущаются как иномифическая вставка, которая осознается наиболее остро на фоне верлибра.

Продолжил секцию Дмитрий Сотников (РГГУ, Москва) докладом «*“Стих-флагеллант”*: парресия как режим поэтического высказывания Елены Фанайловой». Опираясь на теорию М. Фуко, докладчик говорил о том, что парресия, преодолев Античность и средневековые христианские трансформации, остается важным модусом речи, обращенной к истине и выходящей за пределы дозволенного. Парресия актуализируется в эстетических практиках конца XIX — начала XX века. Обращенность речи к социальному контексту говорения обнаруживает установку на скандал. Скандальным оказывается сборник «Балтийский дневник», критическая рецепция которого упрекает Фанайлову в неискренности акцента на гражданской позиции и в нарушении баланса между политическим и личным. Фуко называет паррессию риторической фигурой, но с тем уточнением, что она лишена какой-либо фигуры, поскольку совершенно естественна, то есть парресия — это нулевая степень риторики⁴. Сотников указал на то, что апелляция к естественности составляет художественный метод «Балтийского дневника», однако в нем проявляется и двойственность авторского сознания, выраженная в герое Пафф Дэдди, который появляется в начале сборника и потом исчезает. Постулируется формула «Я — это другой». Это создает проблему адресата — фигуры, которая обращается и к которой обращаются, а также субъекта высказанного. Парресия становится способом защиты от тотального внешнего безумия, актуализирует важность естественной речи, импульс, который стимулируется аффектом.

Закрыл секцию Алексей Масалов (РГГУ, Москва) докладом «*“Идет Голем ногами глинными”*: мифомоторика в стихах Елены Фанайловой». На материале стихотворения «Идет Голем ногами глинными» докладчик проиллюстрировал работу мифа как особого нарратива, формирующего у субъекта представление о себе и направляющего его деятельность. Понятие мифомоторики Яна Ассмана помогает

4 Фуко М. Речь и истина. Лекции о парресии (1982—1983) / Пер. с фр. Д. Кралечкина; под науч. ред. М. Маяцкого. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2020. С. 45.

преодолеть разрыв между классическим и бартовским пониманием мифа и говорить о социальной и политической презентации с его помощью. Миф представляется методом осмысления властного дискурса и формой противостояния ему. В выбранном Масаловым стихотворении видна контаминация нескольких мифологий, разворачивающаяся в контексте современной российской (колониальной) истории. Она конструируется, кроме фактических реалий быта и языка, еще и через ссылки на персоналии (подспудная история украинского блогера Павла Петья) и классические тексты («Валерик» М.Ю. Лермонтова), что может рассматриваться как факты современной мифологии. В стихотворении Фанайловой через эти мифы вплетается социополитическое послание, мифы конструируют нарратив противостояния гендерному насилию, политике ограничения сексуальности, колониализму и имперскости, адресантом которого становимся мы сами. Образы Голема и Телема представляются ангелами истории Вальтера Беньямина, и мифомоторика Фанайловой выходит за границы традиционного героического мифа — победа добра не гарантирована, не уравнивает страдания, но собирает и сохраняет память, и в этом есть надежда.

Третью секцию, «“Возможно, ты знаешь, кто я”: структура поэтического субъекта в поэзии Елены Фанайловой», начал доклад Александры Володиной (ИФ РАН, Москва) «*“Множество” между общественным и частным: поэтические субъекты Елены Фанайловой*». Продолжая тему множественной субъективности и поэтического многоголосия, докладчица в качестве отправной точки обратилась к фрагменту из книги П. Вирно «Грамматика множества». Концептуализируя специфический режим множества в современном мире, Вирно пишет, что «разница между “общественным” и “частным” для него не имеет никакого значения»⁵, — причем «частное» здесь понимается как приватное (*privato*), депривированное, лишенное голоса и публичного присутствия. Поэтическая стратегия Фанайловой направлена против депривации частного и стремится дать голос и частному, и общему. Однако, вспомнив классический текст Г.Ч. Спивак «Могут ли угнетенные говорить?», Володина заметила, что «дать голос» кому-либо на самом деле невозможно — ведь это окажется патерналистским жестом, который воспроизводит иерархию власти, способной дать речь и забрать ее. Поэтому докладчица предложила сфокусироваться не на характеристиках литературной стратегии или языка, а на внехудожественном, реальном событии «взятия голоса» — поэтическом диалоге между Фанайловой и украинским поэтом С. Жаданом. В циклах «Огнестрельные и ножевые» и «По канве “Огнестрельных и ножевых”» авторы используют схожий прием: как-бы-прямая речь множества персонажей, которая, очевидно, не выражает авторской позиции, но и не противоречит ей. Скорее здесь работает механизм «разотождествения», предложенный теоретиком Х. Муньюсом, то есть постоянно уточняемого несовпадения, как если бы автор неустанно вопрошал своих персонажей, но не мог с ними полностью согласиться. Однако родство поэтических стратегий указывает на родство более существенное и при этом почти невозможное, неизбежно чреватое несовпадением, — дружеский диалог между двумя поэтами, которых сегодня разделяют трагические события и потому непреодолимые границы. По мысли Володиной, сам факт живого диалога поэтов в реальности оказывается единственно возможным и последовательным поэтическим выражением стремления дать голос Другому.

Денис Карпов (ЯрГУ, Ярославль) в докладе «Голоса поэзии Елены Фанайловой: объекты и субъекты» поставил вопрос о том, как представляет себя говоря-

5 Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни / Пер. с итал. А. Петрова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 16.

щий субъект и как он представлен для другого. Обращаясь к понятиям гетероморфности и гетероглоссии А. Скидана, докладчик выделяет множественность субъектов в стихах Е. Фанайловой из цикла «Лесной царь» и указывает, что эта множественность стирает очертания субъекта поэтической речи, он не может самостоятельно определить себя. Кроме того, и другой субъект не может быть определен, но он также является полноправным носителем поэтического высказывания. Вспоминая теорию М. Бахтина о фигуре авторской вневходимости, при которой мир произведения оказывается наиболее близок и понимаем, Карпов говорил о том, что вневходимый субъект в стихотворениях оказывается ненадежен, так как он сомневается в увиденном. Неопределенным является и объект поэзии Фанайловой, что докладчик связывает с мотивом беспамятства и удвоением реальности, который осуществляется через экфрасис. Так, строка «Голоса оставили Жанну в темнице» может отсылать к сцене из фильма Люка Бессона «Жанна д'Арк», а сама фигура Лесного царя, взятая в заглавии, является частью фольклора и отсылает ко множеству хрестоматийных текстов мировой литературы. Такое умножение, ускользание актуализирует новый тип противостояния поэтического политическому, которое разворачивается в поле шизофренического дискурса. Неустойчивый внешний контекст позволяет избегать субъекту диктата неорганической для него реальности. Говоря о положении объекта поэтического высказывания, Д. Карпов обращается к раздвоенному образу Лены из стихотворения «Лена и люди», который трансформируется, становится неуловимым и расчеловечивается. Мир оказывается более пизоидным, чем сам поэт, и разворачивается как горизонтальное пространство, в котором невозможен поэтический взгляд вверх. Вслед за Е. Петровской докладчик говорит о лишении субъекта своего языка и невозможности выразить его травму, боль, насилие, происходящее над ним и вокруг него. Это наталкивает на мысль о том, что многоголосие есть выход из немоты и поиск своего языка через речь других.

Продолжила секцию *Елизавета Хереш* (НИУ ВШЭ, Москва) докладом «*Гендерные режимы в Афганистане и Трое: к эволюции поэтики насилия у Елены Фанайловой*». Докладчица обратилась к термину М. Липовецкого «эрос насилия», который означает параллельное развертывание эротических мотивов и мотивов насилия, из-за чего им нельзя точно дать моральную и этическую оценку. Такая позиция проблематизирует разговор о насилии, к которому Фанайлова обращается в своих текстах, а гендерный режим становится режимом насилия. В стихотворении «Опять они за свой Афганистан» поэтесса использует в своей поэтической речи голоса других людей, создавая рефлексированную дистанцию, в которой поэт становится сторонним наблюдателем. Чужое слово оказывается вне линзы этики. В цикле о Лисистрате существует большее количество голосов и онтологических позиций. Кроме того, здесь обнаруживается большее доверие и к своему собственному голосу — несколько текстов написаны от первого лица. Докладчица полемизирует с М. Липовецким относительно фигуры субъектов в стихотворении «Опять они за свой Афганистан» и указывает на то, что кроме трех выраженных голосов, непосредственно берущих речь, есть еще множество других — неуловимых, но конструирующих общий дискурс о насилии. «Они» воспринимают насилие как органику и источник ностальгии, и их голоса интериоризируются поэтической речью. В цикле о Лисистрате поэтесса воспроизводит традиционную гендерную позицию в пассивности женского поэтического голоса, а также конструирует общность голосов-позиций: мы чужие в этом мире насилия, но выбираем действовать ему вопреки. Фанайлова показывает отсутствие дистанции между совершающими насилие и его жертвами, но при этом четкий отказ свидетеля к этому насилию присоединиться. Такое расширение голосов и масок создает множественность позиций

в системе постоянной воспроизводимости гендерного, политического и телесного насилия, что позволяет обозначить проблемы жанра речи угнетенных, обретающей себя в освоении нового модуса автофикционального письма.

Карина Разухина (МГУ) в докладе «От “Балтийского дневника” Елены Фанайловой до “Ветра ярости” Оксаны Васякиной: автобиографизм и голоса Других» продолжила тему автофикциональности в поэзии Елены Фанайловой и обратилась к ее предисловию в книге «Ветер ярости» Оксаны Васякиной, в котором поэтесса указала на очевидность проблемы насилия, но отсутствие художественного, поэтического языка для его осмысления и работы с его последствиями. Поэтесса критикует всеобщую обращенность к политическому, сексуальному насилию, которое и без того достаточно освещено, и обращает внимание на избегание говорить о том бытовом, рутинном насилии, которое происходит каждый день в гораздо большем количестве. Докладчица, обращаясь к текстам Васякиной и Фанайловой, ищет не негативную идентичность, строящуюся на фиксации того, чем она не является, а особый вид идентичности, определяющую себя через опыт существования Других и с Другими, которое происходит в пространстве исторической травмы. Обращаясь к работам М. Липовецкого, в частности к статье «Негатив негативной идентичности», Разухина критикует его подход к пониманию субъекта поэтического высказывания Фанайловой как самоаннигилирующегося, постоянно стремящегося к лиминальности и мимикрирующего под жертву. Такой взгляд, по мнению докладчицы, соотносится с метафизикой и экзистенциальным ужасом перед несоразмерностью субъекта и мира насилия, но уводит от документальности и фактических отношений с реальностью, с которыми также работает Фанайлова. Докладчица обратилась к пониманию гибридной идентичности, существующей в документальной поэзии, для объяснения работы поэтического субъекта в текстах обеих поэтесс. Пропускание им через себя чужой речи позволяет фиксировать коллективную сопричастность как коллективообразующее свойство раблезианского тела нации. В поэзии Фанайловой и Васякиной наблюдаются одновременно отталкивание от этого тела и причастность к нему, а факты насилия этически оцениваются, эстетически оформляются и политически осмысляются. Опыт перестает быть частным и становится общим, существующим во множественном сознании Других. Такое размножение, гибридизация поэтического субъекта позволяет работать с травмирующими фактами реальности, без его расщепления эта работа была бы невозможна.

Завершил третью секцию доклад «Своеобразие женского поэтического субъекта в цикле Елены Фанайловой “#Лисистратапишет”» Анны Голубковой (РГГУ, Москва). Докладчица в первую очередь обратилась к образу Лисистраты из одноименной комедии Аристофана, где героиня выступает в образе сильной женщины, противостоящей войне. Здесь женское становится политическим, более того, политическое проявляет себя как женское — через отказ от сексуальных отношений. Лисистрата использует свою гендерную идентичность и становится субъектом политики, активно проявляющим свою власть. Далее Голубкова заметила, что открытая сексуальность в цикле «#Лисистратапишет» восходит не к античной комедии, а к фильму «Комедия о Лисистрате» Валерия Рубинчика 1989 года. Интерес Елены Фанайловой к античному сюжету докладчица связывает с историческими событиями: выводу советских войск из Афганистана и ощущению уже случившегося конца империи. Античная история о Лисистрате становится способом переосмысления внешних событий. Определенная эстетическая дистанция антивоенного образа противостоит экстремальному внешнему опыту. Фанайлова в своем цикле воспроизводит традицию соотнесения исторического опыта Советского Союза и Римской империи, поэтому ориентация на Античность не случайна для передачи

актуальной исторической травмы. Однако Лисистрата поэтессы пассивна, она выступает с позиции свидетеля и объекта имперского советского насилия, которое переживается через попытку дистанцирования. Субъективность восстанавливается через использование сексуальности и более активной любовной позиции, где во внимании и заботе о жертвах насилия проявляется агентность героини.

Последнюю секцию, «“Орфей, словно Штирлиц, сидит в гараже”: популярная культура в поэзии Елены Фанайловой», открыл доклад Юлии Подлубновой (Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург) «Хорроры и “женская готика” Елены Фанайловой». Докладчица обращается к предисловию сборника «Путешествие», написанному А. Драгомощенко, и к предисловию самой Фанайловой к сборнику «С особым цинизмом». В этих текстах фиксируются две разнонаправленные тенденции поэзии Фанайловой: романтическое ускользание поэтического, субъективная фиксация на лирическом и поэзия как стриптиз, то есть поэзия как действие и поступок, обращенность и восприятие изнутри «голой жизни». И обращение к жуткому, как элемент обоих этих направлений, выступает и в качестве отсылки к романтической традиции, и как способ проговаривания собственных страхов и травм. Фанайлова щедро пользуется узнаваемыми образами из классических произведений, особенно теми, что работают с фольклором и коллективным бессознательным. Это методологически связывает ее с романтиками. Обращение поэтессы к жанру баллады («Лесной царь»), трансформирующейся в хоррор, предвосхищает концептуальный акционизм и установку на искренность новейшей фем-поэзии. Такая жанровая фигура меняет смысловые акценты: иррациональный кровавый театр становится первичен по отношению к сюжету. Фанайлова проблематизирует трансгрессивный опыт и комплекс устоявшихся в культуре тропов, связанных с травмой, через, как замечает докладчица, фрейдовское жуткое, где фантазия сливается с реальностью и одно становится неотличимым от другого. Кроме того, здесь страх неразрывно связан с удовольствием, как смерть и любовь, выступающая зонами неподконтрольного опыта. Подлубнова отмечает интерес к рефлексии и смещению гендерной идентичности, который проблематизирует женскую субъектность как (ре)продуцирующую страх. Докладчица применяет понятие женской готики Эллен Моерс, в которой через сюжет преследования героини злодеем изображается маргинальность женского положения. Через жуткое этот маргинальный Другой получает право проговаривать свой страх и опыт насилия.

Продолжил секцию Максим Хатов (независимый исследователь, Москва) докладом «“Крылья, которые нравились мне”: русский рок как язык насилия в поэзии Елены Фанайловой». Докладчик обратился к работам А. Болдырева и И. Белецкого и выделил такие характерные черты русского рока, как текстоцентризм, обращенность и саморепрезентация в качестве «народной поэзии», противостояние «попсе» как коммерческой музыке. Рок-поэт выступает в качестве совести нации, а само рок-высказывание, проговаривая важные экзистенциальные истины, проявляет себя как идеологическое явление. Музыкально русский рок сочетал мелодические и гармонические обороты, характерные для советских бардов, и заимствованные мелодии и гармонии западной музыкальной сцены. Докладчик отметил связь русского рока с фильмами Алексея Балабанова, саундтреками которых являются треки «Крылья» «Наутилуса Помпилиуса» и «Полковнику никто не пишет» «Би-2» и из-за специфики киноработ приобретают дополнительную семантику, связанную со временным контекстом. Елена Фанайлова в своих произведениях иронически осмысляет и переосмысляет историческое, политическое и культурные наследие советского времени и постсоветский опыт. Она использует традиционные для русского рока темы: травматизация во время войн, рефлексия относительно национальной идеи и российской истории, отношения поэта и Ро-

дины. Поэтесса смешивает регистры высокой и низкой речи, пользуется набором типичных социокультурных маркеров, характерных для реципиентов этого жанра музыки. Однако через иронию Фанайлова создает дистанцию, которая позволяет видеть насилие и говорить о нем, не прикрывая мифотворчеством и романтизмом.

Завершила секцию Анна Нурждина (НИУ ВШЭ, Москва) докладом «Цикл Елены Фанайловой “Публичная женщина” между Марией Магдалиной и “роковой красоткой” популярной культуры 00-х». Докладчица анализирует влияние различных дискурсов, которые формируют противоречивый образ публичной женщины в одноименном цикле стихов Елены Фанайловой. Нурждина выделила поп-культурное и архетипическое, типологическое влияние на становление этого образа. Также здесь отмечается два полярных взгляда на женскую природу, которые необходимо учитывать при анализе: «мужской» (высказывания о женщинах от лица мужчин) и «женский» (высказывания женщин о других женщинах и о самих себе). Публичная женщина в российской массовой культуре — прежде всего сексуальная и сексуализированная роковая красотка, сочетающая в себе легкомысленность и стремление к наслаждению и непознаваемую власть, вызывающую страх перед ней. Докладчица приводит в пример песни Егора Крида, Алексея Воробьева и других российских исполнителей и сопоставляет их с цитатой из стихотворения Е. Фанайловой: «Ей благодать ни за что даруется / Но боже мой она гримируется», в которой проявляется образ роковой красотки из массовой культуры. Но за дневной лоск публичная женщина платит ночными страданиями. Она имеет две жизни — явную дневную и тайную ночную. Здесь сопоставляется песня группы «Серебро» «Не отдам» и цитата из стихотворения Фанайловой «Публичная женщина»: «А по ночам она плачет как девочка / Ходит по ножам как чужая дочка / Плетет рубашки из крапивы / По лекалам французских пижам»⁶, — для иллюстрации женского взгляда. Публичная женщина оказывается заложницей своего образа. Она платит за него, исполняя свой долг быть сексуальной для мужчин. Такая оппозиция показывает взаимоотношение гендерных дискурсов — мужской игнорирует женский, женский обесценивает мужской. Докладчица указала на то, что публичная женщина существует в прямолинейном дискурсе секса, чем пугает мужчину и напоминает ему о смерти. Но в мифопозитике женского взгляда в цикле «Публичная женщина» роковая красотка выступает в образе раскаявшейся грешницы, уравновешивая дерзость мужского взгляда.

Алина Полякова

6 Фанайлова Е. Публичная женщина // Фанайлова Е. Лена и люди. М.: Новое издательство, 2011 (<https://www.vavilon.ru/texts/fanailova9.html#29> (дата обращения: 22.09.2024)).

Эффект присутствия: проблемы и перспективы изучения

Круглый стол

«Эффект присутствия: двадцать лет спустя»

(МГУ, 1 марта 2024 года)

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_401

Двадцать лет назад, в 2004 году, вышла книга стэнфордского литературоведа и философа Ханса Ульриха Гумбрехта «Производство присутствия: чего не может передать значение»¹. Монография полемизировала со сложившейся исследовательской традицией (герменевтической), в рамках которой текст определяется как вмещилище трансцендентных смыслов. Эти смыслы надлежит извлечь усилием интерпретации, концентрируясь на структурных и смысловых порядках текста.

Гумбрехт выдвинул альтернативную концепцию: исследователь разграничил «культуру значения» и «культуру присутствия». «Культура значения» опирается на комплекс знаний и известных смыслов, *узнавание* ситуации. Для «культуры присутствия» ключевыми становятся контакт и *переживание* ситуации «здесь и сейчас», фактически по В. Шкловскому — проживание эстетического опыта как в первый раз. «Смыслу» (meaning) противопоставлено «присутствие» (presence), дополнительный уровень производства эстетического опыта.

На этом уровне важными становятся материальные условия коммуникации (materialities of communication) — те «явления и условия, которые вносят свой вклад в производство смысла, при этом сами не являющиеся смыслом»². Например, такими «условиями» могут стать фактура страницы и особенности печати, помехи звукового сигнала, даже интонации чтеца — особенности канала передачи сообщения (в коммуникативной модели Р.О. Якобсона³). На первый план выходит «эффект осязаемости, создаваемый средствами коммуникации»⁴ (медиа): интенсивно переживаемый *контакт* с текстом по ту сторону принятых условностей толкования и канонических прочтений.

Спустя двадцать лет после выхода книги аналитический подход Гумбрехта по-прежнему востребован, особенно с учетом того, что в фокусе литературоведа теперь нередко не только словесные тексты, но и феномены более сложной медийной природы (кинотексты, графические романы, звуковые инсталляции и др.). На круглом столе «Эффект присутствия: двадцать лет спустя» 1 марта 2024 года (филологический факультет МГУ, кафедра общей теории словесности) вновь подверглись обсуждению проект Гумбрехта — и его приложимость к разным областям гуманитар-

-
- 1 Gumbrecht H.U. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. Издание на русском языке: Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: чего не может передать значение / Пер. с англ. С.Н. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
 - 2 Gumbrecht H.U. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. P. 8.
 - 3 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против» / Пер. с англ. И.А. Мельчука. М.: Прогресс, 1975. С. 193—230.
 - 4 Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: чего не может передать значение. С. 29.

ного знания и разным объектам изучения, в том числе полимедийным. В работе стога приняли участие сам автор книги и докладчики из ведущих исследовательских институций (МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГПУ).

Сергей Зенкин (РГГУ, Москва / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) открыл круглый стол докладом «*Филология присутствия*». Исследователь предложил очерк современного состояния филологической науки и диагностировал необходимость обновления методологического инструментария. Импульс обновления — в «имманентно-несмысловой филологии», проект которой предложен в уже упомянутой книге Гумбрехта «*Производство присутствия*» и в более раннем труде немецко-американского ученого «*Силы филологии*» (2003)⁵. Гумбрехт как теоретик в интерпретации Зенкина ориентирует филологов на другой объект изучения. В центре не постижение семиотических (ценностных) смыслов, а непосредственное переживание присутствия культурных фактов. Такое переживание достигается в «моменты интенсивности» при восприятии текста, когда мы временно забываем об извлечении смысла и переживаем телесный, аффективный, дорефлексивный опыт встречи с произведением.

Гумбрехт применяет этот подход к традиционно филологическим практикам — анализу текста, преподаванию литературных дисциплин. По мысли зарубежного исследователя, филолог, изучая произведение, неизбежно локализует смысл *вне* текста, включая последний в исторический и культурный контексты и сопровождая текст комментариями. Однако, становясь не исследователем, а преподавателем, профессионал нередко транслирует другой смысл: переживание текста как присутствия, то есть опыт телесно-аффективной вовлеченности в процесс чтения. Читатель-критик упоминает, что поразило, вызвало сильную реакцию, — и пытается эксплицировать подошлу именно этого опыта, а не только каноническую ценность и исторические горизонты ожидания (хотя, безусловно, помнит о них). Зенкин находит истоки этой концепции в теоретическом проекте русских формалистов: в их работах мы наблюдаем отказ от поиска в текстах герменевтического смысла и описание приемов воздействия на читателя.

Продолжая эту мысль, ученый ссылается на статью Михаила Ямпольского «*Филологизация*»⁶ (2005): в этой работе филология рассматривается как «наука понимающего непонимания»⁷. В отличие от философии, филология направлена не на восстановление смысла текста, а на изучение его устройства. Текст можно эксплицировать структурно, но не содержательно, понять — и не понять одновременно. Сходная «филологическая парадигма» XIX века получила рассмотрение в монографии Джессики Меррилл «*Истоки русской литературной теории*» (2022)⁸. По Меррилл, «филологическая парадигма» позапрошлого столетия была ориентирована на изучение народной устной, а не письменной словесности. Филолог предполагаемо не столько вникал в сообщение письменного текста, сколько описывал внешние факторы бытования устной поэзии. Ученый обставляет фактологическими рядами высказывание, семантический посыл которого словно бы специально забран в скобки и помещен в «черный ящик», но прагматическое воздействие явно прослеживается во вплетенности высказывания в соседние ряды. В этих работах, как и в работах Гумбрехта, текст рассматривается как не столько смысловой, сколько энергетичес-

5 *Gumbrecht H.U.* The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Champaign: University of Illinois Press, 2003.

6 *Ямпольский М.* Филологизация (проект радикальной филологии) // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 10—23.

7 Данное определение вызывает в памяти другое — определение С.С. Аверинцева, который, напротив, говорил о филологии как о «службе понимания» (*Аверинцев С.С.* Похвальное слово // Юность. 1969. № 1. С. 98—102).

кий процесс; исследуются не трансцендентные смыслы текста, а его материальное бытие, присутствие, трансформативный потенциал в диалоге с адресатом.

Такое видение текста, по мысли Зенкина, приводит к новому взгляду на филологию как науку. Впрочем, ряд факторов осложняет исследовательскую работу в этом направлении — в силу инерции филологической традиции. Первый фактор — канон, который традиционно формируется путем отграничения и селекции именно смыслов. Второй фактор — слово, которое всегда воспринимается как «носитель богатого смысла» (по Зенкину), то есть средство передачи в первую очередь сообщения. Впрочем, есть и продуктивные пути развития — на них и предлагается сосредоточить внимание. Современная наука о литературе изучает в том числе неканонические тексты, а как «единицу культурного процесса» рассматривает не слово (текст либо высказывание), а дискурс. Такую науку уже сложно назвать филологией, резюмирует исследователь. Предмет изучения этой науки осваивается новыми дисциплинами, такими как антрополого-ориентированная компаративистика⁹, «изучение мировой литературы» (world literature), «культурология» (cultural studies).

Анатолий Корчинский (РГГУ, Москва) в докладе «Проблема “присутствия” в исторической репрезентации» провел связь между концепцией присутствия Гумбрехта и проблемой исторической репрезентации. Проект Гумбрехта исследователь контекстуализировал подходом к исторической репрезентации Карло Гинзбурга.

По Гинзбургу, в рамках классического историзма репрезентант (нарратив) и репрезентируемое (сами события) отождествляются, и так репрезентируемое наделяется реальностью. Гинзбург, напротив, как и другие исследователи (например, Х. Уайт и Ф.Р. Анкерсмит), проблематизирует это отождествление, утверждая, что прошлое никогда не может быть нам дано и всегда недоступно, пребывает в отсутствии. Корчинский отметил, что тезис Гумбрехта о присутствии как «симультанной пространственной корреляции между субъектом и объектом» кажется уместным в рамках классического историзма.

Этот тезис докладчик противопоставил концепции Гинзбурга и, чтобы проиллюстрировать противопоставление, обратился к рассуждениям обоих ученых о таинстве евхаристии. Для Гинзбурга символическое «превращение» святых даров в тело и кровь Христа — в формулировке Корчинского, пример того, как «репрезентант упраздняется, уступая место эффекту присутствия репрезентируемого отсутствующего объекта». Иными словами, происходит не отождествление реального объекта (даров) и абстрактного (тело и кровь Христа), а символическое замещение одного другим, что осознается всеми участниками таинства. Гумбрехт же воспринимает это «превращение» как опыт реального присутствия, игнорируя различие между планами репрезентации.

Различию между планами репрезентации Гумбрехт не уделяет достаточного внимания и в книгах «После 1945. Латентность как источник настоящего» (2013)¹⁰ и «Наше широкое настоящее» (2010)¹¹. Репрезентация истории оказывается у него

8 Merrill J. The Origins of Russian Literary Theory: Folklore, Philology, Form. Evanston: Northwestern University Press, 2022.

9 В этой связи см.: *Поселягин Н.В.* Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // Новое литературное обозрение. 2012. № 113. С. 27–36.

10 *Gumbrecht H.U.* After 1945: Latency as Origin of the Present. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013. Издание на русском языке: *Гумбрехт Х.У.* После 1945. Латентность как источник настоящего / Пер. с англ. К. Голубович. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

11 *Gumbrecht H.U.* Unsere breite Gegenwart. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2010.

«производством присутствия», презентификацией: прошлое не исчезает, оно латентно присутствует в настоящем; настоящее перестает быть моментом перехода между прошлым и будущим, а превращается в пространство соприсутствия разных времен.

Корчинский противопоставляет концепцию Гумбрехта не только концепции Гинзбурга, но и подходам к исторической репрезентации других исследователей, которые опирались, как и Гумбрехт, на категорию бытия Хайдеггера. Так, Гумбрехт противопоставляется Полю Рикёру. Рикёр, в отличие от Гумбрехта, различает исторические нарративы и нарративы памяти: исторические нарративы отсылают к событиям истории, нарративы памяти — к исторической репрезентации, последняя не изображает, а только замещает прошлое. В этом ряду фигурирует и концепция Жака Деррида: французский философ говорит о невозможности полной репрезентации истории, которая присутствует в настоящем только в виде «следов» или «призраков», что в полной мере нельзя назвать присутствием.

Таким образом, обсуждая концепцию Гумбрехта в контексте подходов к проблеме исторической репрезентации, Корчинский критически осмысливает идеи зарубежного коллеги и отмечает, что в концепции Гумбрехта не учитываются различие между историей как таковой и ее репрезентацией, различие между знаком и референтом, образом и оригиналом.

Сергей Ромашко (независимый исследователь, Москва) дал своему докладу поэтичное название «*О ружьях, которые не стреляют, и тетиве, которая поет: деталь в повествовании Гомера*». Первая часть названия — «ружья, которые не стреляют» — призвана иллюстрировать мысль автора о том, что детали в производстве могут работать не только на развитие сюжета. Исследователь рассматривает внесюжетные детали в поэмах Гомера, показывая, как эти детали работают на эффект присутствия, обеспечивая рецептивную вовлеченность.

Поэмы Гомера создавались на рубеже устной и письменной традиции; уже являясь литературным произведением, они все еще подразумевали характерное для устной культуры условие обязательной «партиципативности» слушателей, их максимальное соучастие в процессе рассказывания. Кроме того, поэмы все еще обладали всеми чертами устной поэзии: часто составлялись из «готовых» элементов (сюжетов, эпизодов, словосочетаний), чтобы слушателю было легче ориентироваться. Однако из готовых элементов разного уровня тем не менее составлялось уникальное произведение, создающее эффект вовлеченности и иллюзию присутствия. Такой эффект основан на введении в текст деталей: именно детали помогали индивидуализировать повествование и повысить степень участия слушателей.

Метафора «тетивы, которая поет», вторая часть названия доклада, сужает спектр рассматриваемого материала: Ромашко сосредотачивает внимание на звуковых деталях. На примере таких деталей исследователь показывает несовпадение монотонного ритма эпического стиха и неравномерного, синкопированного ритма повествования. Иначе говоря, детали перебивают ритм рассказа, образуют паузу в нарративе. Это ощущение зияния входит в противоречие с предсказуемостью звуковой организации произведения. Именно это переживание, родственное эффекту присутствия, создает напряжение между ожиданиями читателя и эффектом, который поэма в итоге производит. Соответственно, читатель склонен интенсивнее инвестировать в смыслообразование.

Ксения Голубович (Московская школа нового кино / Международный университет в Москве) в докладе «*Эстетика тавтологии и эстетика противоречия*» обращается к проблеме эстетического эффекта. Этот эффект возникает в поэтических текстах, когда, согласно Людвигу Витгенштейну, при использовании тавтологии и противоречия язык указывает на собственные границы. Обнажение границ язы-

ка можно осмыслить через понятие присутствия. Для поэтов, таких как У. Блейк, У. Йейтс, У. Шекспир, М. Цветаева, О. Манделштам, задача расширения эффекта присутствия решается через обращение к приему парадокса, то есть инструменту обнаружения границ языка. Парадокс — противоречивое высказывание, которое закликивает процедуру извлечения смысла: подразумеваемое вопиющим образом противоречит явно сказанному, что заставляет снова предпринять попытку толкования и столкнуться с тем же результатом. Акцент делается на принципиальной неинтерпретируемости парадокса, который, как и шутка, воспринимается мгновенно, давая «блеск мысли, почти физически ощущаемый, когда понимаешь парадокс» (по словам Голубович). Данная техника запрещает комментарий, заставляя переживать инсайт на эстетическом уровне.

Иную технику нащупывания границ языка представляет собой тавтология — повтор конструкции, «пограничный способ толкования», который строится «на переборе значений, уводящих от данного места в бесконечность времени» (как отметила докладчица). Комментарий здесь не запрещается, а, напротив, приветствуется. В технике тавтологии работал Т.С. Элиот — «поэт интерпретаций». Ксения Голубович проводит параллель между тавтологией как «техникой отсутствующего значения» и понятием латентности, предложенным Х.У. Гумбрехтом в книге «После 1945. Латентность как источник настоящего»¹². Латентность связана с понятием отложенного значения (*deferral of meaning*): преумножением знаков в попытке объяснить и невозможностью дать окончательную интерпретацию, ибо каждая новая интерпретация сама становится знаком другого, непроговоренного значения. Таким образом, исследовательница демонстрирует применение концепций Х.У. Гумбрехта к анализу поэзии, показывая, что мы можем в зависимости от выбора описывать события через «культуру присутствия» или через связанную с отсутствующим латентным событием «культуру значения».

Татьяна Венедиктова (МГУ) продолжила разговор о поэзии (на примере творчества Дж. Китса и Р.М. Рильке) в докладе «*Эпифанический режим письма и чтения*», где она исследует суть эпифании. Согласно Венедиктовой, эпифания (термин Дж. Джойса) — момент духовного прозрения, субъективное переживание, которое возникает «из банального жеста, из обыденной мелочи» и характеризует литературу модернизма — или, шире, природу «литературности» в целом. Докладчица рассматривает эпифанический режим письма как вызывающий эффект присутствия. В таком режиме эстетический опыт воспринимается не через опознание значения, а за счет «сонастройки» ресурсов языка, когда создается ощущение непосредственного контакта и стихотворение превращается в «жест живой протянутой руки». Исследовательница приводит в пример стихотворение Джона Китса «Рука живая, теплая, что пылко...» («*This Living Hand*»). В нем поэт обращается к некоему «ты» и описывает свою руку как «теплую» и «сильную» сейчас, но тут же представляет ее замогильно призрачной и холодной. Обращение к реципиенту и контраст «сущего и воображаемого» создают острое переживание присутствия и атмосферу доверия в опосредованной коммуникации автора и читателя.

Коммуникация, не связанная с передачей значения, интересовала психологов-когнитивистов, таких, как Антонио Дамасио и Дональд Винникотт. Над природой эпифании с характерной редуцией семантики высказывания и отказом от его риторической выделки размышляли также поэты, писатели и филологи. О. Манделштам в эссе «О собеседнике» описывал «формулу общительности» через стремление «заинтересовать собой»; Ж.П. Сартр и М. Пруст пытались разгадать секрет

12 Gumbrecht H.U. After 1945: Latency as Origin of the Present.

стиля Г. Флобера; Э. Ауэрбах исследовал суть «микроскопических» событий в романах В. Вулф. При этом внимание философов и писателей сосредотачивалось на мелких, незначительных элементах языка или сюжета, ценных своей независимостью от значений. Как правило, эти микроскопические связующие и дейктические элементы релевантны для устной непосредственной коммуникации, но остаются практически незаметны в письменно-печатной речи.

Тем не менее этот дейктический, ритмический, интонационно-жестовый потенциал речи получал попытки описания: Ч.С. Пирс связывал его с индексально-иконической природой словесного знака, У. Джеймс исследовал «транзитивные» элементы языка, а М. Мерло-Понти писал об «экзистенциальной мимике». Результат использования эпифанического режима письма состоит в предложении читателю соучастного испытания, контакта, присутствия, что ведет к рефлексивному усилению и переживанию самого опыта. Цитируя Шкловского, это усиление качества «каменности» камня¹³ и в целом «жизненности» жизни.

Завершала первую часть круглого стола *Антонина Ростовская* (МПГУ) докладом «*К органике педагогического действия: о возможности работы с эффектами присутствия в сфере образования*». Исследовательница предложила образовательную модель сценического действия. Метод, с помощью которого создавалась эта модель, интегрирует разные теоретические интуиции: моменты «вживания» и «завершения»¹⁴ М.М. Бахтина, «эффект присутствия» Х.У. Гумбрехта. Исполнитель соприкасается с текстом, обнаруживает в нем и обживает диспозитив переживания, насыщает этот диспозитив структурами собственного опыта и создает новое эстетическое целое. Погружение в текст («вживание»), проживание контакта с текстом («присутствие») становятся основой для творческого диалога: воспроизводя опыт взаимодействия с текстом, исполнитель привносит собственный дотекстовый и паратекстовый аффективный опыт в этот перформанс.

Цель докладчицы — рассмотреть погружение как элемент «культуры присутствия» в театральных и педагогических практиках. «Глобус» Шекспира был последним театром, где публика полноценно погружалась в событие постановки, не осознавая условную границу между театром и жизнью. Театральная лаборатория метода, созданная Антониной Ростовской в 1993 году, ищет пути возвращения к подобному «до-театру». Студенты в лаборатории разрабатывают практики, которые позволят участнику действия испытать эпифанию, приблизиться к «моментам сложности»: прочувствовать текст во всей его противоречивости, ощутить сопротивление текста — интерпретации и затем разыграть текст с авторской позиции, словно бы он был написан самим исполнителем. «Мы близки Ежи Гротовскому», — отмечает исследовательница: на сцене присутствует только актер и его перформативное действие, которое одномоментно и поглощает актера, и контролируется им. Основной вывод состоит в том, что такая модель сценического действия оказывается релевантной не только в театральной сфере, но и «в контексте практик педагогической работы».

Завершился доклад демонстрацией практических результатов педагогической работы, связанной с погружением в «культуру присутствия»: *Марина Зайцева*, студентка 4-го курса МПГУ, исполнила фрагмент произведения М. Цветаевой «Мой Пушкин», подкрепляя чтение интонацией и жестом. Микропостановка вызвала оживленный интерес публики и просьбу к исполнительнице поделиться своими

13 Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. О теории прозы. М.: Круг, 1925. С. 7—20.

14 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 9—227.

ощущениями от выступления. Отвечая на вопросы зрителей, М. Зайцева отметила, что погружению в действие может помешать внутреннее состояние или внешнее окружение, однако «когда по-настоящему погружаешься, то уже ничего не мешает, но это трудно».

Во второй части круглого стола из Стэнфордского университета в Калифорнии подключился Ханс Ульрих Гумбрехт (США). В докладе «*“Присутствие” моей книги о присутствии после двадцати лет*» («The Presence of my “Presence” Book — after Two Decades») Х.У. Гумбрехт предложил обзор того, как развивалась теория литературы как современная дисциплина. Для этого потребовалось дать более широкий контекст, и в результате исследователь представил краткую историю возникновения и развития гуманитарных наук. Акцент был сделан преимущественно на истории литературоведения. В своем выступлении Гумбрехт предложил пять тезисов, каждый из которых соответствует одному этапу истории гуманитарных наук.

Первый тезис: история гуманитарных наук началась во втором десятилетии XIX века. Зарождению этих наук способствовали три фактора. Во-первых, на возникновение гуманитарных наук повлиял философский вопрос о реальности и стремление узнать, как субъект может получить подлинное знание о мире. Во-вторых, возникновение гуманитарных наук было связано с переосмыслением взгляда на историю. Стало ясно, что прошлое отлично от настоящего, и для понимания произведений, написанных в прошлом, нужно учитывать исторический контекст. Третий фактор исследователь связывает с именем своего учителя, теоретика литературы Вольфганга Изера. Именно Изер выдвинул тезис о том, что литература в Европе XIX века начинает исполнять те функции, которые раньше выполняла религия, а литературная критика становится «новой теологией». Именно в рамках литературно-критического дискурса начинают циркулировать идеи, важные для функционирования общества в целом.

Второй тезис доклада (и второй этап развития гуманитарных наук) связан уже с концом XIX века. Именно тогда те разные дисциплины, которые сегодня мы воспринимаем как связанные друг с другом и называем гуманитарными науками, стали восприниматься как единый комплекс. О гуманитарных науках как о единой области знаний заговорили многие. Вильгельм Дильтей утверждал, что «общим знаменателем» гуманитарных наук является процедура интерпретации: именно она лежит в основе любого гуманитарного знания. Это понимание объединяющего фактора гуманитарных наук во многом сохраняется и сегодня. Однако (как уже замечал первый из докладчиков круглого стола) не все исследователи соглашались с этим — так, русские формалисты отрицали центральное место интерпретации как процедуры поиска в тексте смысла.

Третий тезис доклада исследователя связан с еще одним ключевым периодом развития гуманитарного знания — с ситуацией после Второй мировой войны. Именно тогда появилось понимание, какую роль интерпретация играет в формировании идеологии (в частности, что было особенно актуально после 1945 года, нацистской идеологии). С этим периодом связан кризис концепции о центральном месте интерпретации. Фокус гуманитарных наук смещается на менее скомпрометированные идеологически предметы интереса: код и канал передачи высказывания, форму и материальное измерение произведения.

Четвертый тезис Гумбрехта затрагивает процессы, происходящие в гуманитарных науках в третьей четверти XX века (1960—1980 годы). В это время теория литературы выходит на авансцену гуманитарных наук. В рамках изучения теории литературы ставятся философские вопросы; ведутся дискуссии, важные не только для литературы, но и для гуманитаристики в целом. В качестве примера исследователь

приводит философов Мишеля Фуко и Жака Деррида, мировая известность которых началась именно с известности в кругу теоретиков литературы.

Рассуждая об этой важной эпохе развития гуманитарных наук, исследователь снова обращается к трем конститутивным факторам. Гумбрехт говорит, например, о том, что на арене литературной теории велся в то время спор о философском реализме. Докладчик вернулся к предыдущему тезису о привилегированности процедуры интерпретации в гуманитарных науках, отметив, что в эту эпоху стремление к интерпретации, к поискам смысла сохраняется. Тем не менее появляется и другой, не менее важный акцент — на эстетическом эффекте, на материальности коммуникации. На материальных условиях коммуникации сосредоточился, в частности, Маршалл Маклюэн; этот теоретик внес вклад в появление медиологии как науки (которая тоже возникла сначала в рамках литературной теории). На материальной и физической стороне восприятия литературы и искусства в целом сосредотачивается и сам Гумбрехт в своей работе «Производство присутствия», продолжая эту линию рефлексии.

В заключительном, пятом тезисе доклада исследователь излагает свой взгляд на развитие гуманитарных наук и литературоведения в настоящее время. Литературоведение в меньшей степени, чем раньше, является сценой дискуссий, важных для гуманитарных наук в целом. Внутри литературоведения разрабатываются новые подходы к изучению текста. В каком-то смысле происходит возвращение к интерпретации, но интерпретации с новой стороны. Литературные тексты интерпретируются как площадка выражения идентичности. В то же время теория литературы продолжает развиваться в сторону изучения эстетического опыта как опыта присутствия. Актуальность этого направления доказывает та живая и интересная дискуссия, которая стала возможна благодаря проведению круглого стола в честь двадцатилетия книги «Производство присутствия».

В ходе дискуссии прозвучало много вопросов, касающихся того, какие концепции и подходы учитывал Ханс Ульрих Гумбрехт в своих исследованиях, что интересует его сейчас и куда дальше будут развиваться его научные изыскания. Гумбрехт согласился, что ему близко высказывание М.М. Бахтина «Ситуация входит в высказывание и становится частью его смыслового состава»¹⁵, поскольку его тоже занимает вопрос о связи между нашим нахождением в пространстве и порождаемым нами значением. В когнитивистике ученый находит продуктивными понятие потока (concept of flow) и понятие зеркальных нейронов (mirror neurons) и надеется, что сможет применить что-нибудь из когнитивных исследований в своей работе. Гумбрехт, хотя и считает гуманитарные науки не столько науками, сколько неким «созерцанием общества» (secular contemplation), допускает возможность интеграции в гуманитарные науки некоторых идей из наук естественных, поскольку «все, что мотивирует диалог, — это хорошо».

В настоящее время Гумбрехт работает над автобиографией, при этом стиль письма от «первого лица» (first person singular) в целом присущ его работам. Ученый следует феноменологической традиции, которая постигает человеческое мышление через самоисследование, — self-observation. Соответственно, «субъективное» повествование оказывается более искренним при описании своей реакции, которая может отличаться от реакций других людей. Вопрос непосредственного реагирования людей на некоторый эстетический опыт тесно связан с исследованием эффекта присутствия и разбирается Гумбрехтом в разных его работах. В связи с этим ученый кратко резюмировал последнюю свою книгу, где он размышляет о реакции на голоса в поп-музыке, и свою монографию о феномене толпы на ста-

15 *Волишинов В.Н. (Бахтин М.М.) Слово в жизни и слово в поэзии // Из истории советской эстетической мысли, 1917—1932. М.: Искусство, 1980. С. 383—396.*

дионе и том ценном эстетическом опыте, которое дает живое присутствие на спортивном событии, несмотря на все его риски¹⁶.

Концом дискуссии и всей конференции послужило рассуждение о тесно связанных с творчеством категориях: вымысел и воображение. Вымысел (fiction) может запускать воображение в читателе, а воображение позволяет чувствовать даже не полученный нами опыт, помогает конструировать поддерживающую нас реальность и, самое главное, ведет к «способности вообразить общее позитивное будущее». Запрос на общее позитивное будущее представляется ключевым для современной культуры — и обсуждение проблемы присутствия позволяет по-новому увидеть эту важную составляющую культурной деятельности.

*Анна Швец
Полина Левина
Елена Сосина*

**Международная конференция
«XXX Большие Банные чтения.
“Культурная антропология границ
в современных обществах”»**

*(Журнал «Новое литературное обозрение»,
5–7 апреля 2024 года)*

DOI: 10.53953/08696365_2024_190_6_409

Темой юбилейных, тридцатых Банных чтений, прошедших 5–7 апреля 2024 года в онлайн-формате, стала «Культурная антропология границ в современных обществах». По словам основательницы «Нового литературного обозрения» *Ирины Прохоровой*, главной задачей конференции всегда было, и в особенности остается сейчас, преодоление изоляции. Осмысление феномена изоляции, трансформации социальных, исторических и культурных практик в «открытом» и «закрытом» состояниях общества позволяют проблематизировать не только само понятие границы, одним из эпифеноменов которой является изоляция, но и возможности и практики ее преодоления.

Линией напряжения, протянувшейся через всю конференцию, стало переосмысление понятийного и терминологического аппаратов, через которые прочитывается феномен границы. Как заметила *Ирина Прохорова*, двуязычность конференции, рабочими языками которой стали английский и русский, обусловила проблему перевода целого кластера понятий, связанных со словом «граница». При этом проблема перевода не ограничивалась лингвистическим измерением, но открыла пространства смыслового, методологического и даже метафизического срезов. Также было отмечено, что основными задачами журнала «НЛО» и Банных чтений по сей день остаются попытка интеграции российской гуманитарной

16 *Gumbrecht H.U. Crowds: The Stadium as a Ritual of Intensity. Stanford, CA: Stanford University Press, 2021.*

мысли в мировое сообщество, расширение ее понятийного аппарата, переосмысление собственной традиции и освоение западноевропейского наследия. Пространство диалога, выстроившееся в рамках XXX Банных чтений, стало еще одним шагом на пути реализации этих целей. Участники конференции попытались нащупать и разработать общее поле коммуникации и взаимодействия в межкультурном пространстве.

В первой секции, озаглавленной «Теория границ» (модератор Ирина Прохорова), понятие границы было представлено через эстетическую, политологическую, социально-философскую и психоаналитическую оптику. Конференция открылась докладом *Бориса Гройса* (Европейская высшая школа, Швейцария) «*Границы защиты*». Как заметил докладчик, процессы, через которые описывается современное общество, в первую очередь процессы глобализации и технического прогресса, обозначают не только саму границу контроля и управления (border), но и ее экспликацию в политическое, антропологическое и социальное измерения. Техническое может быть понято или осмыслено одновременно как неподконтрольное человеку и как то, что требует этого самого контроля и поддержания. В свою очередь, глобализация может быть прочитана в терминах сближения и отдаления, стирания и восстановления границ одновременно. Таким образом, как процесс глобализации, так и технический прогресс в современности интерпретируются как потенциальные угрозы культуре и природе соответственно.

Традиционным ответом на эти угрозы является политика защиты «редких животных и рыб, природных ландшафтов, рек и морей» (левый дискурс) и «традиционных городских пространств», «местного населения» (правый дискурс). Однако, по мнению докладчика, следует задаться вопросом о том, что же на самом деле находится под угрозой и требует защиты.

Различия между левым и правым дискурсами, граница, которую они проводят как между собой, так и в областях определяемой ими угрозы, обнаруживают феномены идентичности и различного рода меньшинств. Тем самым в зависимости от того, как именно формулируется политическая повестка, определяются и угрозы, риски, объекты, требующие защиты. Сама граница может, следовательно, быть прочитана как «граница защиты».

В дискуссии после доклада на примере европейской ситуации обсуждались вопросы эмиграции, связи культуры с территориальными ограничениями и политическими регуляциями, а также резонирующие с ними темы (само)идентификации, диверсификации и противоречия между политическим, юридическим и национальным. Отдельное внимание было уделено тому, как изменилась анализируемая ситуация за последние двадцать лет в связи с процессами глобализации.

В следующем докладе тема стирания и преодоления границ была рассмотрена через отмену запрета в измерениях нормы, трансформацию движущих сил, взаимоиспаривание трансгрессии и резонанса как инструментов анализа социального поля. При содействии *Арсения Куманькова* («Новое литературное обозрение», Москва) в театрализованном полилоге под названием «*Трансгрессия и преодоление: онтология, этика, экономика*» *Артемия Магуна* (Институт глобальной реконституции) и *Йозефа Регева* (Европейский университет, Санкт-Петербург) граница (boundary) тематизируется через указание на то, что обозначение границы в определенном смысле означает и ее преодоление. Так, современная культура базируется на снятых запретах на сексуальность, насилие, неприличное поведение и т.д. Идет ли речь о трансгрессивности, десакрализованности или профанном характере современной культуры, диалектическое отношение между запретом и его преодолением может быть осмыслено в терминах садизма, о котором как о движущей силе и одновременно симптоме современного рационального субъекта

писал еще Т. Адорно. В свою очередь, садизм опять же обретает пару в виде антисадизма, поскольку наряду со снятием запретов практикуется и «социальная дистанция», призванная исключить саму возможность причинения боли. Именно диалектичность отношений садизма и антисадизма позволяет обнаруживать или подозревать в последнем «расширенный вариант садизма культуриндустрии», о котором опять же писал Адорно.

Необходимое уточнение позиции садизма и как понятия, и как практики производится через обращение к Ж. Делёзу. Садизму в таком случае противостоит не антисадизм, а другой «механизм имманентизации невозможного». Опорной парой тогда выступают трансгрессия и резонанс, где есть отсылка, с одной стороны, к практике преодоления границы, выхода в иное измерение, а с другой — к практике обнаружения того, что связывает находящееся по обе стороны границы. В современной ситуации констатируется победа общества резонанса (Ж. Делёз) и одновременно «восстание трансгрессии» (А. Бадью, С. Жижек). Главным героем здесь оказывается не садист или мазохист, но, как подчеркнул Регев, человек знака, тот, кто «живет не ради “нового” и вообще не ради “имманентного невозможного”», а ради знания, «причем весьма специфического — знания о тех “навязывающих себя” знаках, которые он встречает, и о тех путях, на которые они указывают».

Оппозиция между трансгрессией и резонансом, диалектическое отношение между ними может быть снято через формирование «общества прояснения», требующего выхода за пределы «мира имманентного невозможного». Однако именно здесь возникает подозрение, что проблема вовсе не в прояснении того, что стоит за садизмом как ведущей силой и симптомом рационального субъекта, а в том, как именно читаются «знаки судьбы», как производится работа с теми найденными и понятными решениями, которые современность не в силах воплотить в действительности. Именно это возвращает к оппозиции «садизм — антисадизм», которая в ситуации собственного бессилия перед вызовами современности не способна разглядеть идентичность друг другу.

Таким образом, вопрос о границе проясняется авторами полилога через онтологические, этические и экономические экспликации субъекта современности с его проблематизированными желанием и волей, экономикой наслаждения и страдания и дезориентацией в этическом поле.

Последующая дискуссия касалась вопросов о том, насколько вписывается или меняет схему историческая укорененность различных типов субъекта («человек трансгрессии» и «человек резонанса»), в особенности того типа субъекта, который выпадает из исходной пары и обеспечивает победу резонансу («человек знака»). Проблематичным здесь оказывается тезис докладчиков о том, что «человек знака» был «лишен собственной экономики и потому существовал лишь как “вне-экономический”». Другой проблемной ситуацией, обсуждавшейся в ходе дискуссии, оказалось рассмотрение садизма как отдельного феномена. Не в последнюю очередь значимым оказывается то, что для целого ряда концепций, в том числе близких Делёзу, не существует чистой позиции садиста или мазохиста, скорее речь идет о различных версиях садомазохистских вариаций.

Еще одним способом осмысления границы (boundary) является разговор уже не о ее стирании или преодолении, но о подвижности и, соответственно, возможности (пере)прочерчивания. В докладе *Айтен Юран* (Восточно-Европейский институт психоанализа, Санкт-Петербург) «*От линии границы к литорали. Продвижение из психоанализа. В сторону топологического осмысления этого перехода*» граница проблематизируется из перспективы психоаналитического поля. Классический ход мысли З. Фрейда, обнаруживающий подвижность границы между «я» и «не-я», «я» и «Другим», «я» и внешним миром позволяет ставить вопрос о ди-

намике самой границы. Однако именно то, как прочерчивается граница, как осуществляется сборка и пересборка субъекта, то, какова «судьба влечения», позволяет поставить вопрос о пространственном устройстве самой границы. Граница оказывается областью, территорией, открывает способ собственного прочерчивания, разворачивания, словом, ставит вопрос о возможности «пересмотра привычной пространственности» уже в лакановском психоанализе.

Привычное расчерчивание пространства по линиям верха и низа, того, что предполагается впереди и что остается позади, не позволяет адекватно работать с психическим аппаратом. Скорее речь идет о «соотношениях на самой поверхности», «поверхностных слоях душевного аппарата» (З. Фрейд). Граница как линия в последовательном движении за мыслью Фрейда уступает место метафоре прибрежной полосы, литорали.

Лакановское прочтение границы обнаруживает оппозицию тотализирующего мышления самотождественности и мышления, позволяющего видеть различия. Граница, понятая лишь как линия, обнаруживает измерение идеологии, сводя Другого до уровня простого «отброса» (ср. процесс отбрасывания в психоанализе), нивелируя возможности самой способности удерживать связь Тождества и Различия. Напротив, граница, понятая как литораль, открывает движение к внебиологическому в человеке. В свою очередь, вне- и надбиологическое в человеке трансформирует и понимание границы, которая через топологическое прочтение отсылает уже не к пространственности как таковой, но к протяженности и языку: Лакан, по словам докладчицы, вводит в понятие «граница» некую протяженность, интервал, «через буквальность буквы».

Работа с пространственно-временным измерением границы через топологические прочтения обнаруживает связь с этическим измерением, выстраивая таким образом отношения между биологическим, психическим и этическим. Граница как край, «который связан с разрезом, особым образом связывающим гетерогенные и чужеродные друг другу элементы, давая место не не-А», обнаруживает необходимость трансцендирования границы «как простой разграничивающей линии». Тогда как граница, понятая как линия, проведенная между А и не-А «с неизбежной исторической трагичностью, упирается в воображаемую ось, в противостояние параноидного характера к тому, что Фрейд описывал как “нарцизм малых различий”», — заключила Айтен Юран.

Кажущийся необходимым уход от границы как линии к границе как интервалу, промежутку обнаруживает «непереходный» характер для субъекта, потому как границы, пролегающие между разными культурами, несводимы. Именно поэтому указанная необходимость в понимании границы как литорали должна читаться через этическое измерение.

В последующей дискуссии поднимались вопросы о топике субъекта, способах оставления следов, реальном или воображаемом статусе самой границы. В результате из связи психического, биологического и этического проступили и возможности трансформации предложенного понимания границы в экзистенциальную, социальную и политическую плоскости.

Эд Кейси (Университет Стоуни-Брук, США) в докладе «*Границы-borders и границы-boundaries: как это различие проявляется в критических ситуациях*» ввел свое прочтение различий в динамику соотношения разнообразных способов прочерчивания границ. Отказываясь от понимания границы как простого предела, то есть чистой негативности, Эд Кейси предлагает работать с различием границы в ее географическом (boundary) и геополитическом (border) смыслах. Данное различие просматривается в возможностях измерения (протяженность границы), от- и разделения, герметизации региона или территории, того, что обозначается на картах

и в английском языке передается словами *border*, *borderline*, с одной стороны, и напротив, в сопротивлении разделению, наследовании природных феноменов, размыканию навстречу другим частям региона и соединению неотъемлемых частей одного и того же феномена — *boundary*. Если один тип границы закрывает, то другой открывает. При этом важно, что оба типа границ могут существовать комплементарно.

Так, на примере двух случаев (границы по реке Рио-Гранде между США и Мексикой и границей между Израилем и Палестиной) Эд Кейси показывает возможность сосуществования или взаимодействия географического и геополитического в ситуации комплементарности двух типов границы (США — Мексика) и отношение оппозиции, конфликта, оспаривания, прямого столкновения в случае некомплементарности (Израиль — Палестина).

Отмечаемые расхождения между различными типами отношений (наследования, права владения, права собственности) при комплементарном и некомплементарном отношениях между разными способами прочерчивания границы отсылают не только к указанной выше оппозиции, но и к точке схождения — земле в ее экзистенциальном и историческом измерениях, повседневных практиках, диктуемых ей ритмах, изменениях как географических, так и геополитических факторов. Земля как то, что обрабатывается, наследуется, как то место, в котором живут и которое хранит следы предыдущих поколений, обладает своей логикой, своей динамикой, оказывается истоком тех различий, которые мы обнаруживаем в двух типах границы.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы изменения географических границ, возможности выстраивания инфраструктуры при комплементарном и некомплементарном отношениях между географическим и геополитическим, а также возможности снятия этих оппозиций через обращение к концепту «земля».

Формированию феноменологической и экзистенциальной повестки в отношении границ, самой возможности выстраивать отношение к термину «граница» был посвящен доклад Ганса Ульриха Гумбрехта (Стэнфордский университет, США) «*Нужны ли границы в совместном бытии? О статусе пространства в человеческой жизни*». Отталкиваясь от повестки конференции, в которой имплицитно присутствует критическое отношение к термину «граница», докладчик, напротив, предложил альтернативную повестку защиты понятия «граница» (*border*), рассмотренное им во вполне традиционном ключе в качестве территориальных линий, установленных между нациями, государствами или областями.

Историческая часть доклада строилась на указании, что границы — наследие Просвещения, вместе с критикой которого, уже вполне привычной для современных интеллектуалов, критикуется и все, что попадает в его орбиту, в данном случае понятия «нация» и «граница». При этом понятие «нация» прочно связывается с национализмом, который, в свою очередь, ассоциируется или даже пугается с фашизмом. Отказ от нации и риторики защиты национального ведет и к отказу от границ, стремлению к их стиранию. Однако различие между национализмом и фашизмом весьма существенно, ведь именно в логике и мифологии последнего присутствует переход от искупления к жертве, которым идеологически обосновывается присоединение территории.

Философская часть доклада ориентировалась на феноменологию Э. Гуссерля, ставящую вопрос об истоке пространства и времени. Если время в понимании Гуссерля может быть описано через понятия ретенции и протенции, которые увязывают отношения между модусами времени (прошлым, настоящим и будущим), то нельзя ли, задается вопросом докладчик, и пространство рассмотреть в рамках аналогичной схемы? Исток пространства видится в физическом присутствии тела,

то есть в буквальной возможности прикоснуться, дотянуться, получить к нему доступ. Продолжая линию соотношения пространства и времени, Гумбрехт констатирует, что человечество относительно времени имеет скорее порядок договоренностей (различие в часовых поясах, например, не является источником конфликтов), тогда как, напротив, пространство — зона оспаривания, конфликта, противостояния. Например, именно через пространственные отношения определяется насилие (М. Фуко).

Опираясь на оппозицию пространства и времени Гумбрехт сформулировал два типа аргументов в защиту понятия границы: аргумент приватности и аргумент интенсивности. Первый аргумент: граница защищает приватность, что особенно заметно в феноменах электронных коммуникаций, когда личное пространство оказывается практически нивелировано. Второй аргумент: формирование коллективного тела ведет к увеличению интенсивностей (Ж. Делёз), но это формирование невозможно без линии демаркации.

Таким образом, резюмирует Гумбрехт, скорее нужно скорректировать проект Просвещения, понятия границ и наций, особенно в отношении практик (уплаты налогов, визуализации территорий, символического порядка и т.д.), чем отказываться от них.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы границы языка, единства языка и территории, невозможности перевода. Уточнением к терминологической части доклада стало проведение различия между пространством и *местом*, особенно в контексте обсуждения коллективного тела и чувства места.

Первый день конференции, посвященный теоретическому осмыслению понятия границы, показал взаимопереводимость различных типов дискурса и на методологическом, и на тематическом, и на проблематическом уровнях. Подвижность границы и способы ее прочерчивания и преодоления позволяют говорить о необходимости междисциплинарного подхода к ее исследованию. Смена онтологической оптики на психоаналитическую, экономическую, политическую или эстетическую обнаруживает возможность комплексного анализа феноменов, проявляющихся в связи с тематизацией границы. Наконец, вызовы, риски и стратегии защиты, проявленные в современности, допускают собственное переосмысление различных прочтений понятий границы.

В утренней секции второго дня, озаглавленной «Границы и трансгрессия в литературе и кино» (модератор Кирилл Зубков («Новое литературное обозрение», Москва)), в фокус внимания был взят культурологический пласт. Через проблематизацию типов высказывания (мимесис — семиозис), анализ жанровой определенности (автофикшен) и тематизацию фигуры (трикстер) в выступлениях удалось проследить способы реформатирования культурного канона.

Доклад *Сергея Зенкина* (РГГУ, Москва / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) «Граница, мимесис, идентичность» задал общую рамку теоретического рассмотрения границы (border) в литературе и кино через прочтение границы в оптике семиотики. Структурной рамкой доклада является со- и противопоставление мимесиса и семиозиса.

Структура доклада представлена тремя срезами: место и пространство, зеркальная идентичность, трансгрессия и пароль, — задающими три различных способа сборки идентичности, отношений пространства и времени, прочтения границы. Мир без границ — мир, имеющий дело не с пространством, а со временем, — «мир мест, отдельных и независимых одна от другой областей, обладающих каждая своим “лицом”». Совокупность мест организует «пространство» по принципу наличия пятен, каждое из которых обладает своим центром, своим порядком организации, своим кодом. Места в отсутствии возможности сравнения или соотнесе-

ния друг с другом обнаруживают сакральный порядок, допускающий лишь миметическое образование частичных сходств.

Процесс проведения, прочерчивания границ в таком случае «выражает волю к рационализации пространства, а еще точнее — просто к образованию *пространства* как такового, которое обладало бы абстрактной формой и не исчерпывалось бы одной лишь суммой своих мест-содержаний». Так мыслится дантовское движение расчерчивания потустороннего мира и отличие от гомеровского топологического перехода в странствиях Одиссея.

Образуемый волей к рационализации пространства переход от «чистого» мимесиса к семиозису позволяет говорить уже не о соотношении места и пространства, но о зеркале и возможностях образования идентичности. Следствием рационализации пространства является оппозиция «тут — там», где «та» сторона обнаруживает порядок неопределенности, того внешнего в указанной оппозиции, в сопоставлении и противопоставлении с которым выстраивается собственная определенность культуры. «Культура, — утверждает Зенкин, — создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе “варваров”, а “сознание” — “подсознание”».

Кривое зеркало мимесиса порождает через различие саму возможность коллективной идентификации, строящуюся по принципу «мы» и «они». В таком случае сама граница как граница порядка и хаоса, своих и чужих и т.д., оказывается тем, что изолирует, герметизирует тут и там, наше и их. Отношения внутреннего и внешнего оказываются отношениями, описываемыми в терминах центра и периферии. При этом сама граница неизбежно релятивизируется: центр и периферия обратимы в зависимости от того, с какой стороны границы смотреть.

«Искаженная зеркальная симметрия» пограничных областей, в свою очередь, позволяет проблематизировать процесс пересечения границы, понимаемый уже как трансгрессия: каждое пересечение границы становится событием, которое обладает не только знаковым, но, как подчеркнул докладчик, и миметическим потенциалом. Жест трансгрессии релятивизирует уже не только границу как таковую, но и процесс ее пересечения, поскольку может осуществляться не только вовне, в буквальном пространственном пересечении границы, но и внутри культурных текстов, например в практиках перевода.

Движение от понимания границы через соотнесенность с местом к границе, предполагающей жест трансгрессии, позволяет соотнести объектно-семиотический аспект с субъектно-миметическим. Граница, следовательно, проходит через аффективные переживания и тексты культуры, наделяя их внутренней неоднородностью, а в случае, когда речь идет о художественной культуре, позволяет создать динамику их восприятия, благодаря тому что мимесис в разных своих формах взаимодействует с семиозисом.

В дискуссии после доклада проблематизировалось отношение центра и периферии, возможности демаркационных линий и способов их проведения, с одной стороны, и организации пространства — с другой. Возможность пересечения и прочерчивания границы, в свою очередь, в жесте трансгрессии позволяет говорить не только о горизонтале пространственных отношений, но и о вертикали социальных. Таким образом, граница в пространстве культуры обнаруживает свой диффузный характер, запуская отношения между культурными практиками, социальным устройством и языковым пространством, пространством знака.

Языковое пространство как пространство саморефлексии в полной мере раскрылось в докладе Ларисы Муравьевой (независимая исследовательница, Санкт-Петербург) «Автофикшен — трансгрессивный жанр?». Доклад был посвящен попытке переосмыслить трансгрессивность жанра автофикшен и показать ее (транс-

грессивность) как одну из конститутивных черт этого способа письма и чтения. Принято считать автофикшен тем, что находится на границе между вымыслом и реальностью, доверием и обманом, то есть представляет собой процесс гибридизации жанров. Однако можно прочесть трансгрессию в автофикшене гораздо более многоаспектно: через соотношение опыта и письма, «я» и Другого(-их). Это находит свое отражение, в частности, в издательских стратегиях автофикциональных текстов, в политике репрезентации и запроса на аутентичность, ограничивающих и определяющих новую этическую норму рассказа от первого лица.

Границы (и их переход, преодоление, нарушение) между «я» и Другим ставятся под вопрос в символическом, этическом и дискурсивном полях. Автофикшен оказывается жанром, где опровергается и релятивизация нормы в культурных и социальных практиках и размывание табуированных зон. Граница (boundary) между жизнью и литературой отнюдь не только переопределяется в автофикциональных текстах, но и проблематизируется в юридическом поле, где текст может свидетельствовать (и свидетельствует) о вторжении в частную жизнь. Столкновение юридического, правового поля и этического измерения трансформирует и нарративную структуру: автофикшен — жанр, который знает о своем трансгрессивном «потенциале».

В качестве второй фигуры трансгрессии докладчица выделила телесно воплощенный, инкорпорированный опыт. Возможность проживания, поиска языка, способов выписывания непосредственно пережитого или переживаемого опыта представляет, по мысли Муравьевой, основную конвенцию автофикшена — аутентичность репрезентируемого телесного опыта. В свою очередь, граница между письмом и опытом и здесь трансгрессируется, обнаруживая измерение или возможность «телесного письма» (С. Дубровски). Работа со связью тела и письма позволяет нащупать еще один способ понимания трансгрессии в автофикшене: «Автофикшен, — отметила докладчица, — направлен на предел, несмотря на то что он остается до конца неподвластным выражению. Субъект, который говорит в автофикшене, обладает своим уникальным опытом и речью, проистекающей из его тела».

Наконец, третья фигура трансгрессии задана лиминальным опытом, где автофикшен представляется в качестве литературной практики исследования границ нерепрезентируемого опыта. В качестве ключевых концепций, существенных для понимания этого процесса, Муравьева указала на философские теории трансгрессии Ж. Батая и М. Бланшо. Попытка балансировки на границе (borderline) между нерепрезентируемым опытом и письмом открывает возможность исследования, проживания травмы, а вместе с этим измерение связи литературы и смерти.

Три фигуры трансгрессии, рассмотренные в докладе, позволили докладчице прийти к выводу о том, что автофикшен — литературная практика переосмысления границ в самом широком смысле: границ между жанрами автобиографии и романа, между «я» и Другим(и), между различными версиями «я», между прожитым опытом и опытом письма, между репрезентируемым и не-репрезентируемым.

В ходе дискуссии прозвучал уточняющий вопрос о пассивности и активности тела, где опыт активного, удачного тела оказывается частично вытесненным из автофикционального пространства осмысления. Докладчица согласилась с тем, что трансгрессия, положенная в основу жанра, скорее относится к тем телесным практикам, которые показывают тело как пассивное, или страдающее, или травмированное. Столь же важным, отметила Муравьева, оказывается, что в автофикшене наличествует большой потенциал «брать на себя функцию политического высказывания». Также во время дискуссии обозначилась связь жанра с терапевтическими практиками, но автофикшен больше и шире, чем терапия, поэтому терапевтическая функция является лишь одной из многих, заложенных в нем. Важным

также стал вопрос о смещении границы между читательским восприятием и позицией автора. Здесь обнаруживается еще одна грань трансгрессивности, которая перенастраивает как читательскую оптику, так и авторскую, то есть можно констатировать еще не до конца выработанную конвенцию: жанр автофикшен находится на этапе поиска себя.

И если в докладе Ларисы Муравьевой имеет место столкновение с предельным опытом «я» в его пограничных состояниях, нестабильности, неустойчивости и попытке выйти во внешний мир через разговор о телесности, травмах и даже преодолении смерти, в рефлексии произошедшего с помощью письменного слова, то в докладе Марка Липовецкого (Колумбийский университет, США) «Трикстеры “застоя” и этические границы» раскрывается пространство «киношных» персонажей, через которые показываются границы (boundaries) между этической трансгрессией и морализмом.

Фигура трикстера-моралиста не является открытием эпохи застоя, но в отличие от более ранних трикстеров (Остап Бендер, например), трикстеры указанного периода отсылают не к альтернативным этическим ценностям и координатам, а к сочетанию «трикстерской трансгрессивности» с «моралистической охраной этических границ» (вампиловские персонажи Бусыгин и Зилов; герои знаменитых комедий Дегочкин, Афоня, Бузыкин, Мюнхгаузен, Бубенцов).

Другой чертой трикстеров застоя является то, что они моральными нормами и ограничиваются. Переустройство общества, социальная или политическая критика остаются «за кадром» критики конформизма, цинизма, вызывая симпатию и сочувствие при всей неоднозначности (если следовать фабуле) своих действий.

Литературным контекстом появления трикстера был ориентированный на «доброту» и «теплоту» поиск «нравственных исканий», размывающий границы этического и политического. Сфера этического, с одной стороны, позволяла рассматривать любой, в том числе и политический, вопрос, с другой стороны, именно эта акцентуация на этическом приводила к потере фокуса и лишала политическое всякой определенности. И если для фигуры трикстера в целом характерна культурная функция «репрезентировать репрезентацию» (остранять риторику современной ему культуры), то «этический» трикстер застоя в своей исключительной концентрации на этическом реализует себя сполна.

Анализируя фигуры Дегочкина (Э. Рязанов), Афони и Бузыкина (Г. Данелия), Бусыгина, Зилова (А. Вампилов), Мюнхгаузена и Калиостро (М. Захаров), Липовецкий показал, что трикстеры-моралисты при всей дистанцированности от социально-политического контекста по-своему проявляли кризис советской социальности. Феномен трикстера-моралиста реформатирует «этическую навигацию», позволяя рассматривать аморализм как проявление искренности, а манипулирование и обман как необходимые условия социальной коммуникации. Поражение, казалось бы со всей очевидностью и неизбежностью преследующее анализируемых героев, скорее указывало на кризис как «хроническое состояние эпохи застоя», подрывая всю систему советской нормативности.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы проблематизации самой границы в ее этическом измерении, ведь именно трикстеры в процессе трансгрессии способны проявить или обнаружить ту или иную этическую границу как несуществующую. Центральным вопросом здесь является поиск эстетических эквивалентов этической двусмысленности.

Фигура трикстера-моралиста оказывается фигурой-носителем не только самих границ, которые трикстер постоянно пересекает, но и того, что обнаруживается на фоне или в пространстве очерчиваемых границ. Так, дистанция от социального или политического вовсе не означает их выпадения из поля взгляда. Напротив,

трикстер-моралист — еще один способ проявления фокуса, в котором сходятся социальное, политическое, этическое и эстетическое.

В дневной секции второго дня, получившей название «(Пост)советское: границы закрытого общества» (модератор Татьяна Вайзер («Новое литературное обозрение», Москва)), внимание докладчиков сконцентрировалось на поиске языка описания сообществ, формировании сообществ определенного типа, их нормировании, а также на актуальных стратегиях ускользания от аппаратов контроля и управления.

В докладе *Клавдии Смола* (Дрезденский университет, Германия) «*Границы (не)различения в культуре и российских гуманитарных науках: случай гендера*» обсуждалась тема (не)видимости тех или иных социально-политических повесток, границ в гуманитарной науке советского и постсоветского периодов. «Дефициты видимости» рассматривались как проблема границ, при этом Смола задавалась вопросом об их проницаемости или непроницаемости.

Смола отметила, что советская неофициальная культура в исследованиях и своем восприятии прошла путь от героизации до анализа в качестве «системного и разнородного множества субкультур», обладающего своими кодами, канонами, сферами влияния и т.д. В этом процессе прослеживается, во-первых, то, что неофициальная культура в целом ряде мест была довольно далека от демократии, «горизонтальности», к которой тяготеет современная повестка в целом. Во-вторых, целый ряд «слепых мест» официальной и неофициальной культур совпадают или переносятся, наследуются неофициальной культурой. Одним из примеров таких мест является традиционная маскулинность, понятая отнюдь не в экзистенциальном смысле. Канонизация неформальной советской культуры обеспечила в том или ином виде ее переход в современность и задала картографию нынешней научной повестки, повлияв на стиль и канон актуальной научной риторики и этики. Такую ситуацию докладчица назвала вторичной политизацией неофициальной советской культуры. Одним из болевых измерений этого вопроса является вопрос о возможности переосмотра и реструктурирования гендерной тематики в неофициальной культуре.

Вопрос границ восприятия и научной этики (demarcation) — это вопрос места не самих гендерных исследований, которые уже давно существуют в России, а значительной маргинализации феминистской повестки относительно других характеристик идентичности (расовой, этнической, социальной и т.д.). Как отметила Смола, гендерный анализ до сих пор остается уделом научного активизма. Тогда как гендерная тематика может обнаруживать связь с вопросами деколонизации науки в широком смысле и диверсификации нашего знания.

В ходе анализа неофициальной культуры докладчица выделила «перформанс аутентичности» — феномен легитимации постсоветской маскулинности условно «хорошим» андеграундом. В частности, это проявляется в том, что язык советского андеграунда во многом формировался мужской богемной культурой, которая сохраняла различные черты многовекового патриархального уклада.

Другим измерением границ (borders) и слепых пятен андеграунда являются семейные структуры неофициальной культуры — тот пласт машинисток, хозяек домов, людей, обеспечивающих саму возможность общения, среду, в которой существовал андеграунд. В число зон невидимости попадает и «культурная агентность миноритарной маскулинности», которая сейчас начинает привлекать все больше внимания исследователей.

Полемическая часть доклада, как ее обозначила сама Смола, была посвящена критике современной гуманитарной культуры, в которой маргинализация или локализация современной повестки по-прежнему имеет место, обретая измерения «политического активизма», избегая внимания, сохраняется «мейнстриму» и т.д., что обнаруживает третий смысл границы (limit). Вопрос об истоках такого состоя-

ния гуманитарной науки в ее эпистемологическом, этическом и риторическом измерении есть вопрос, который должна задать себе современность. Возможно, путь к ответу на этот вопрос лежит через признание того, что в постсоветской России не произошло той трансформации гендерного порядка, которая случилась на Западе в шестидесятые годы.

В дискуссии после доклада обсуждалось, насколько сама тематика выступления, представленные тезисы и вызовы, равно как и полемика вокруг современного состояния гуманитарной науки, являются видимыми для представителей «мейн-стрима», тех, кто непосредственно занимается гуманитарными исследованиями, то есть, по сути, тех, на кого эта критика в первую очередь направлена.

Другому способу рассмотрения сообщества и возможностей его описания был посвящен доклад «*Время мембран: политика, экология и технология избирательной проницаемости в СССР 1950–1960-х*». Галина Орлова (НИУ ВШЭ, Москва) проблематизировала язык, на котором может быть описана «непроницаемость» советских «секретных» объектов стратегического назначения. Докладчица обратилась к различным типам свидетельств, обнаруживающих мнимость такой секретности и непроницаемости.

Визиты иностранных делегаций, тайные испытания буквально отраженные в телах обитателей закрытых территорий, трансформируют привычные и основанные на документах представления о секретности. Допуск иностранных специалистов, институциональная организация секретных объектов — все это позволяет оспорить возможность описания закрытых территорий в терминах линии, жестко прочерченной и непроницаемой границы (border). Напротив, для таких зон, закрытых территорий требуется иной язык, на котором можно описывать и анализировать то, что там происходило.

Акторно-сетевая модель пограничных объектов также не подходит для описания рассматриваемого феномена, поскольку ей не хватает сложности, аппарата, чувствительности, в ней, как утверждает Орлова, слишком много семиотики и слишком мало прагматики.

Для поиска адекватного языка докладчица предложила обратиться к более сложному аппарату биохимии, биофизики и цитологии. Конкретно речь идет о дискуссии вокруг способа функционирования мембран, ограничивающих, окружающих и отделяющих клетку. Из трех типов мембран (физической, химической и биологической) наиболее адекватным для описания режимных объектов, по мысли докладчицы, является биологическая мембрана. Понимание мембраны как того, что не экранирует, но пропускает, устанавливает особые отношения со средой, воспринимает воздействия и во многом конституирует клетку, позволило докладчице заключить, что взаимодействия, возникающие в сложных разделенных средах, могут быть описаны в схожей терминологии.

Применение модели мембраны позволяет тем самым не просто описать способы существования режимных объектов и прочесть понятие границы (boundary) как проницаемое, но и обнаружить разнонаправленность самой границы-мембраны (demarcation), через которую можно переходить от социологии науки и техники к политике, от способов циркуляции информации внутри и снаружи тех или иных сред к повседневным практикам и их дискурсам, от метафоры к модели.

В дискуссии после доклада отмечалось использование понятия мембраны в работах Ю. Лотмана, социологических построениях Н. Лумана и связанных с ним моделей. Орлова также указала на использование понятия мембраны в философии Ж. Делёза.

Один из центральных моментов дискуссии затронул сам статус понятия «мембрана». В вопросе о том, достаточно ли просто понимать мембрану как метафору,

на каком уровне ищется и вырабатывается язык для работы с проницаемо-непроницаемыми объектами, докладчица высказалась в пользу прочтения понятия «мембрана» и его использования, скорее как модели, нежели как метафоры.

Проблематизации понятия сообщества, его границ, способов формирования и места в системе социально-политических отношений был посвящен доклад *Михаила Ямпольского* (Нью-Йоркский университет, США) «*Замкнутое как открытое. Поэтика закрытого сообщества (по поводу творчества Льва Рубинштейна)*».

Доклад Ямпольского стал жестом памяти Льва Рубинштейна, в котором реализуется двунаправленное движение: от поэтики Рубинштейна к проблематике границ и сообществ, переосмыслению вопросов языка и литературы, политического жеста, культурного ландшафта, способов сборки субъекта (Ж. Делёз) и обратно.

Закрытость как одна из отличительных черт советской культуры в процессе ее фольклоризации породила феномен массовой песни, воплощающей фокус народной, национальной и универсальной культуры (В. Флюссер). Закрытая среда (интеллигенция), обладающая определенным набором ценностей, непрерывно воспроизводит себя за счет форм, обладающих «всенародной привлекательностью и как бы “открывающих” закрытость сообщества». В результате закрытое постоянно воспроизводится как «универсально открытое».

Другой чертой закрытости интеллигенции было то, что она в определенном смысле была уменьшенной копией советской культуры, пародируя и осуществляя ее рефлексии. «Узость общего культурного и ценностного фонда создавала определенный тип закрытого сообщества, который можно назвать братством». При этом братство, как напомнил Ямпольский вслед за Ханной Арендт, — типичное явление «темных времен». То есть оно относится к тому типу культурного сообщества, в котором каждый, по сути, говорит не от своего лица, но от лица всего сообщества. Это «странное состояние неразличимости себя и другого» как раз и можно найти у Рубинштейна как представителя такого позднего советского интеллигентского братства.

Анализ способов организации текстов Льва Рубинштейна, их архитектоники высвечивает феномены коллективной памяти, сближения двух временных потоков (истории и повседневности), а также показывает сложность взаимодействия интеллигентского сообщества с «национальным», во многом являющимся абстракцией, позволяет прощупывать и тестировать их границы (boundary). Как отметил Ямпольский, Льва Рубинштейна интересует пограничная зона, область перехода, сама граница (border) между общесоветской культурой и культурой братства.

В свою очередь, анализ высказываний, словарей, типов дискурса проявляет фигуру самого говорящего, а в ней тематизирует интонацию. Именно интонация переводит один и тот же порядок слов в высказывании в тот или иной регистр, именно она, по мнению докладчика, раскрывает подлинное содержание любого высказывания и его целеполагание. При этом субъект высказывания вовсе не является единичным, как член братства он становится частью «мы», через которое проступают контуры узкого, закрытого сообщества. «Это говорение, основанное на общем интонационном чувстве иронии, которое только и отличает правду от лжи и фальши».

Специфика языка и речи Льва Рубинштейна, напрямую следующая из вопроса об интонации, проступает, как показывает Ямпольский, в радикальном отрицании всякого интеллектуального и речевого индивидуализма. Это позволяет соотносить рубинштейновское понимание речи с феноменом «малой литературы» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), в которой все имеет коллективное значение и коллективную ценность. Писатель в таком случае оказывается творцом того самого «мы», которое отвечает на вопрос: «Кто говорит?». Текст, различающийся по линии «кто», отсылает к еще

одному концепту Ж. Делёза — интенсивному использованию текста, что, в свою очередь, возвращает к вопросу памяти. В ситуации, когда само слово становится вещью, входит в состав различных сборок, мы и имеем дело с интенсивностью и ее пределом (Ж. Делёз), тогда как, напротив, слово, лишенное интонации, индивидуации, — слово беспамьяства, которое характерно для тоталитарного общества.

Подавление памяти — движение ухода от реальности, исчезновение сообщества, замена его фикцией власти. Установление «мы» как определенного типа сообщества оплачивается ценой особой закрытости возникающего сообщества «своих». В такой конфигурации закрытого и открытого, в их отношениях с языком, памятью, сообществом обнаруживает себя необходимость речи, с которой оказывается неразрывно связана судьба общества и культуры.

В дискуссии после доклада обсуждались возможности использования не только делёзианской, но и фукольдиданской оптики анализа дискурса, принципиальная значимость медиареальности, возможностей и архитектоники текстов Рубинштейна, судьбы постсоветских сообществ, отношения братства и дружбы.

Доклад Кевина Платта (Пенсильванский университет, США) «От пограничных зон к границам, от приграничных жителей к пограничникам: на границах Европы после 2022 года» обнаруживает возможность прочерчивания границы, проходящей через субъекта, понятия гражданства и возможности горизонтальных связей, ускользающих от аппарата управления и администрирования.

Распад двуполярной системы мира не только привел к сбоям в работе «мироконституирующей функции» границ (Э. Балибар) и необходимости новых способов сборки национальных и гражданских идентичностей, но и к тому, что можно было бы назвать «овнутрением» границы (line) как таковой. «Внутренние границы» И.Г. Фихте — то, что везде и нигде, оказываются тем, через что точнее всего описывается положение и состояние групп людей (таких как русские и русофоны в странах Балтии, на примере которых и строился доклад), чей статус неопределен или недооформлен в новой правовой, геополитической и культурной средах. Такие группы людей оказываются в пограничном состоянии, это люди, исключенные «из всех режимов принадлежности в Новое время», люди, состояние которых «делало их человеческой границей новой Европы». По сути, речь идет о «людях границы» (border) как по отношению ко времени, так и по отношению к пространству. При этом докладчик отметил, что возможны и ситуации, в которых пересечение границ новых государств и регионов могут открывать особые преимущества.

Теоретический аппарат для анализа и осмысления таких незапланированных возможностей Кевин Платт предложил взять из книги Джеймса Скотта «Искусство быть неподвластным»¹. Предметом рассмотрения книги являются народы, живущие в труднодоступной местности (на пограничной территории, которую Скотт именует «зомия»), в результате чего их культурные процессы и институции оказываются не затронутыми процессами ассимиляции. Опираясь на эти размышления, докладчик определил совокупность устойчивых автономных социальных структур и практик личности, позволяющих сообществу балансировать на границах между гегемонистскими государственными образованиями как «внутреннюю зомию».

В ситуации современности приходится иметь дело с новым вызовом: эпоха постсоветских «внутренних зомий» подходит к концу. События последнего времени, увеличившие приток эмигрантов в страны Балтии, обнаруживают восста-

1 Scott J.C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2009. На русском языке: Скотт Д.С. Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017.

новление значения границы в самом прямом государственном, внешнем смысле. Усиливающая свое значение внешняя граница лишает потенциала и возможности границу внутреннюю, ставя субъекта в ситуацию необходимости выбора того, по какую сторону границы в символическом порядке он находится.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы малой/минорной литературы и возможности применения этого делёзовского концепта к предложенному понятию внутренней зомии. Отдельной темой стало соотношение этической позиции (например, в случаях отношения к фигуре И. Сталина) и ностальгии по утрате неоднозначности и многокультурности, когда люди поставлены в ситуацию выбора. Но ностальгия по постсоветской эпохе — это ностальгия по некоторым утопическим возможностям, которые возникали в те годы и сегодня исчезли с горизонта. Здесь и возникает вопрос этики и идеологии. Во время обсуждения был затронут и ряд сложнейших вопросов об интеграции, ассимиляции, поляризации культуры, о языковых границах, об установлении горизонтальных связей, возможностей прогнозирования социальной и политической ситуации и повестки, связи социологического и антропологического подходов.

Таким образом, второй день конференции был посвящен культурологическому осмыслению границ через связь с социальным, политическим и эстетическим измерениями. Способы сборки культурного кода, его трансляции и переформатирования (утренняя сессия) в сочетании с анализом способов описания, формирования и функционирования различного типа сообществ (дневная сессия) позволили представить границу как способ конструирования социально-политической реальности. Попутно объектами проблематизации стали понятия субъекта и его опыта, уточнилась возможность применения семиотических схем, релятивизировались границы морального. Соотнесение субъекта, языка высказывания и специфики взаимодействия и коммуникации в той или иной среде позволили типологизировать, проблематизировать и проанализировать сами сообщества: гендерное, пронцаемое и непронцаемое, открытое и закрытое, управляемое и ускользящее от управления.

Третий, завершающий день конференции был посвящен динамическому осмыслению границы как в измерениях пространства, времени, области и территории, так и в измерениях легитимации, акторов, символического пространства, наконец, в теоретическом и терминологическом измерениях. Граница как формируемый и мыслимый феномен, в свою очередь, задает определенный способ понимания человеческого, культурного, исторического и политического, являясь во многом способом их (пере)изобретения. Вопросы границ империй и самой возможности говорить об империи в современности, различных институций и механизмов влияния, способов сборки культурных, социальных, исторических и антропологических кодов позволяют в различных пониманиях и прочтениях границы обнаружить горизонты схождения.

В утренней сессии третьего дня, озаглавленной «Империя: границы и фронтиры» (модератор Ирина Прохорова), в фокус внимания исследователей попали способы формирования, релятивизации и легитимации границ. В соотношении динамики и статики (фронтиры), внутреннего и внешнего (пространство), языка и идентичности проблематизировалась сама возможность и значимость границы.

В докладе *Светланы Баньковской* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Границы и фронтиры: к истокам культурного конфликта*» было проведено различие между фронтиром (frontier) и границей (border) как способами культурной идентификации. Такое разделение позволило докладчице задаться вопросом о том, когда именно промежуточное (неактуализированное) пространство, где помещаются маргиналы между границ, становится определенным, наблюдаемым и тематизируемым.

Трансформация границы во фронтир есть процесс утраты границей статики, ситуация, в которой сама граница приходит в движение. Справедливо и обратное: фронтир, утративший динамику, постепенно трансформируется в границу. Различие между границей и фронтиром, помимо различия в статике и динамике, может усматриваться и по отношению к тому, что находится за границей или за пределами фронта. Если граница — это линия, которая жестко распределяет отношения противник/враг/сосед, то фронтир, напротив, регион, за пределами которого находится другая область. Иными словами, граница выполняет функцию государственно-организованного политического образования. Именно государство либо юридически, либо физически устанавливает, поддерживает и обеспечивает соблюдение границы. Фронтир же — это среда, предполагающая пространство свободной конкуренции, при этом продвижение фронта может стать причиной появления все новых и новых потенциальных конкурентов. На примере истории России докладчица показала, что с Запада имела место именно граница, тогда как Восток, напротив, представлял собой фронтир.

Фронтир оказывается непосредственно интересен как место столкновения различных реальностей, традиций, ценностей, способов организации быта и т.д. Такое столкновение может разворачиваться в пространстве конкуренции, компромисса или конфликта. Именно в измерении культуры фронтир и происходящее на нем оказывается наименее формализованным способом взаимодействия и коммуникации. При этом пространство фронта сужается. По мере продвижения и закрепления он с течением времени становится пограничной территорией, усиливается политическое, экономическое и военное влияние, за которым уже следуют введение законов и социальных институтов. По мнению докладчицы, фронтир в истории — процесс, предполагавший расширение одного мира и исчезновение другого, его полную ассимиляцию или по меньшей мере аккомодацию. Иной способ трансформации фронта в границу — встреча с еще одним фронтиром, то есть опять же утрата динамики. Важным оказывается то, что происходящее на фронтире — социальная практика, наглядный процесс взаимовлияния физической среды и социальных институтов — власти, экономики, образования и религии (Ф. Тёрнер). При этом отличительной чертой существования этих институтов на фронтире является свобода.

Обратный процесс границы, пришедшей в движение, то есть процесс трансформации границы во фронтир, порождает в измерении культуры пять типов парадоксов, связанных с конфликтными ситуациями в повседневной жизни и внезапностью самого конфликта; с повышенной, а не пониженной толерантностью; с тождеством, причем зачастую полным конфликтующих сторон, а вовсе не с их различием; со слишком близкими отношениями между враждующими, а не только с враждой.

Анализ процессов трансформации фронта в границу и обратно позволяет работать с современностью и измерением ее культурных практик, то есть подводит разговор к фигуре фронтирмена.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы разностойности границы — несовпадения административных, экономических, политических и других границ; ойкофобия и возможность ее локализации в конфликтах; различия между социологическим и историческим подходами к исследованию фронтиров и границ; возможности говорить об идентичности применительно к фронтиру как определенной области.

Различие между фронтиром и границей пересекается со смыслом и назначением границы в империи, чему и был посвящен доклад *Александра Филиппова* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Горизонты империй в пространстве и времени: социоло-*

гические предпосылки повседневных коммуникаций». Движение к осмыслению границ империи, равно как к вопросу о возможности в современности говорить о феномене империи, строится на различии социологии пространства, восходящей к Георгу Зиммелю, и социологии времени, берущей свое начало у Никласа Лумана. Оппозиция пространства и времени в ее социологическом развороте выстраивается через противопоставление измерения коммуникации (экономика, новости, наука) и измерения территорий, которые, будучи четко очерченными, легко обнаруживаемыми, задают измерение государственного, то есть создают определенный фокус институционального устройства. Границы (border) как пространственная отсылка оказываются тем, что непосредственно прочерчено, определено в измерении государства, они же в тех процессах, которые происходят в современности, кажутся стирающимися и уступающими место «смысловому горизонту», задающему порядок и практики коммуникации. Именно здесь, отметил докладчик, между измерением глобального мира, нивелирующего (или, по крайней мере, стремящегося это сделать) границы (boundaries) в их социально-политическом прочтении и измерением государства, отстаивающего (по крайней мере, изначально) единство территории, населения и институций, обнаруживает себя феномен империи.

Империя, в отличие от государства, проблематизирует измерение границ. Сами границы нередко рассматривались в те или иные исторические периоды, во всяком случае изнутри, как «весь мир», известный на момент существования этих империй. Идея универсальности, таким образом, определяет империю, у которой нет границ в том смысле, в котором они есть у государства. В случае с империями, как утверждает Филиппов, уместнее говорить не о границах, а о горизонтах, пределах (limits), передающих скорее само стремление взять под контроль, планировать продвижение, установить свой закон. Такая попытка провести различия между пределами и границами во многом перекликается с докладом Светланы Баньковской и ее прочтением оппозиции «фронтир — граница». Таким образом, в феномене империй обнаруживает себя двойной смысл горизонта: горизонт смысла событий во всемирном обществе (как у Лумана) и горизонт пространственного расширения имперской мощи (imperial power), что ставит вопрос о необходимости проблематизации границ и ведет к тому, что в социологии названо пространственным поворотом.

Докладчик указал три возможных смысловых измерения границы: межа (boundary), проведенная на земле; политическая граница, определяющая юрисдикцию; символическая граница, задающая нематериальное измерение идентичностей (язык, культура и т.д.). «Быть единством всех трех измерений граница может лишь тогда, когда за пределами одного политического единства и как солидарного сообщества (political unit as a community of solidarity) находится другое такое же сообщество». До момента изучения глобального общества в социологии связи общества с государством вопрос ставился о возможности структурировать три смысловые измерения границы. Например, через понятие «гражданской общины» (Т. Парсонс). Но по мысли Филиппова, именно это понимание, казавшееся устаревшим при появлении глобального общества, а вместе с ним и сама идея империй, вновь становятся актуальными сейчас.

В империи имеет место разрыв между фактическим и идеальным, между декларируемым признанием границ и тем, что сама граница устанавливается «не извне и не по взаимному соглашению, а изнутри, не признанием и не правом, а самоопределением (self-determination)». Изнутри границ у империи нет, а горизонт империи задается принципом «и так далее», и этот горизонт — не горизонт событий, а горизонт возможности совершить политическое действие (political action). При ослаблении глобального общества, которое имеет место сейчас, вновь вступает

в силу имперский принцип, согласно которому экспансия «империи» ограничивается только наличием ресурсов и встречной экспансией другой «империи». Соответственно, проблемой, которую здесь можно сформулировать, является то, что сами империи представляют собой социальное и культурное многообразие при том, что социального общества у них нет. Таким образом, логика империи с ее принципом экспансии вступает в противоречие с гражданской общностью, которое, по словам докладчика, «не желает не только расширяться, но и не расположено ни к какому имперскому многообразию, что является проблемой для имперского универсализма».

В дискуссии после доклада обсуждались возможности применения понятия фронта к анализу логики империй, возможности смыслового наполнения и дополнения понятия «горизонт», а также то, насколько влияет на анализ рассматриваемой проблемы смена оптики с «изнутри» империи на «вне».

В докладе *Евгения Добренко* (Венецианский университет Ка'Фоскари, Италия) «*Дружба народов не знает границ*»: прагматика и риторика братства и советское имперское воображаемое в поэзии народов СССР сталинской эпохи» рассматривалось понятие внутренних границ (borders) империи через анализ поэтического дискурса в его связи с проблематикой национальной, культурной, языковой идентичностей в республиках Советского Союза.

Литературоцентризм русской культуры в дополнение к необходимости легитимации сталинского режима и стирание внутренних границ при неизменном стремлении к внешней (по крайней мере, идеологической) экспансии порождают две риторические фигуры: «пролетарский интернационализм» и «дружбу народов».

В процессе разворачивания риторики «дружбы народов» в первую очередь сам язык перестает пониматься как граница и перестает быть просто «средством общения», а становится неким связующим средством. Поэт наделяется функцией переводчика, а язык делается медиумом «чистого содержания», лишенным формы. Метафора «большой семьи» задает порядок дискурса, в котором национальные языки раскрываются во всем своем многообразии исключительно через переводы с русского. При этом главная функция языка «дружбы народов» тавтологична по своей природе и сводится к воспеванию самой «дружбы народов».

Гомогенность внутреннего пространства в его противопоставлении гетерогенности внешнего задается именно литературой, которая, в свою очередь, оказывается объединяющим пространством, местом встречи различных идентичностей. Тем самым вслед за языковой идентичностью стирается и национальная, что является еще одной задачей, которую решает литература, создающая новую, «общесоюзную», советскую идентичность. Стирание границ языковой и национальной идентичностей приводит в послевоенный период к утрате идентичности исторической.

В соотнесении внутренних постоянно стирающихся границ с внешними, при том что эта соотнесенность выступает как своеобразная линия напряжения, по которой выстраивается все гомогенное пространство советской империи, можно выделить закономерность: чем напряженнее и непрозрачнее была внешняя граница, тем более гомогенным становилось внутреннее советское пространство, достигшее в сталинскую эпоху полной прозрачности.

Добренко предложил описать специфику Страны Советов через совмещение двух разнонаправленных принципов: принципа раздробления, доминирования, иерархии и принципа гомогенности, политкорректности и равенства. Тот факт, что один принцип подрывал другой, высвобождает, в силу невозможности контроля за всем происходящим, внутри гомогенного пространства измерение выбора: следовать ли риторике «дружбы народов» или отказываться от нее.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы соотношения внутри советской риторики понятий «дружба» и «братство», «ненужности» перевода в рамках функционирования единого метаязыка, процессов смены риторики «дружбы народов», ее исчезновения с 1980-х годов.

В дневной секции «Границы империи, границы другого» (модератор Арсений Куманьков) рассматривались способы формирования, мышления и идентификации границы в теоретическом и культурно-антропологическом горизонтах.

Как показал *Пол Верт* (Университет Невады, Лас-Вегас, США) в докладе «*Обособление России: границы и кавказское звено*», формирование границы в измерении культурной антропологии позволяет выявить границу как результат деятельности множества акторов (исторических, инфраструктурных, предметных и, наконец, человеческих). В результате довольно сложно, а зачастую и невозможно выстроить единый нарратив, в котором можно было бы описывать феномен границы.

Верт использовал в докладе архивные материалы, позволяющие исследовать границы Российской империи на Кавказе. Рассматривая, в частности, Туркманчайский мирный договор 1828 года между Российской империей и Персией (Ираном), докладчик попытался понять эту границу этнографически. Процесс формирования границы, осмысленный с привлечением большого количества эмпирического материала, позволил исследователю описать процесс трансформации фронта в границу.

Трансформация пространства из «пространства империи» в «пространство государства» (Ч. Майер) обнаруживает возможность понимания границы (border) не как линии, но как территории, где акторами могут выступать как природные феномены (реки, горы и т.д.), так и люди, что по-своему переключается с докладами Айтен Юран и Эда Кейси.

Наличие или отсутствие таких простых элементов инфраструктуры, как пограничные знаки, паромы, мосты через реку Аракс, которые были основными судоходными путями между Россией и Персией, водяных мельниц, колодцев — все это вело к тому, что формировало границу как отдельное инфраструктурное пространство.

Возможности игнорирования границы как кочевниками, животными, так и контрабандистами, разбойниками, неопределенность административных и бюрократических юрисдикций позволяют говорить о потенциале ускользания от всех типов контроля и управления, который сулит граница (что является еще одним возможным дополнением к докладу Кевина Платта). Именно люди становятся тем культурным аспектом, которые не пересекают, не разделяют и не соединяют, а пишут границу или вписывают ее в историю. К таким людям относятся макинские ханы, контролировавшие важные транспортные связи между Персией и Россией; таможенные чиновники, торговцы и купцы, в том числе и люди, управлявшие пароходами и паромами, которые пытались сохранить монополию; кочевники (например, пограничные курды, которые находятся на стыке трех государств и не признают власть ни одного из них); мигрирующая рабочая сила, беженцы (например, армяне, спасающиеся от голода в 1840-х годах, а позже и от насилия).

Наконец, переход к жестко охраняемой границе, то есть остановка фронта и всех акторов, действующих на приграничных областях, по словам докладчика, является маркером европейского типа государственности.

Таким образом, самый «эмпирический» доклад конференции позволил проследить возможности применения теоретических моделей и понятийного аппарата в практическом измерении.

В дискуссии после доклада обсуждали вопросы «разделенной границы» и возникновение новых типов связи и отношений между различными акторами, дей-

ствующими на фронтире. Отдельно обсуждался вопрос о документальных и юридических свидетельствах деятельности бюрократического аппарата, то есть вопрос о границах самой государственности.

Тематику эмпирических исследований положения людей на границе продолжил доклад *Матийса Пелкманса* (Лондонская школа экономики и политических наук, Великобритания) «*Имена, семьи и могилы “на грани” империи (грузино-турецкая граница)*». Вопросы об имени, семье или политике памяти как первичных способах самоидентификации, безусловно, относятся к одним из самых чувствительных. Линия напряжения задана не только подвижностью самой границы, трансформацией фронта в границу и обратно, но и подвижностью смысловой определенности, нагруженности того, что передается термином «граница» (border). Напряжение это можно передать термином «край», или «грань» (edge), отсылая к идиоме «быть на грани» или к метафоре острого края, режущей поверхности предмета. Состояние людей на границе (в рамках доклада рассматривалась граница между Турцией и Грузией) лучше всего описывается именно этим термином.

Национальная, культурная или религиозная идентичности обращены не только в прошлое и настоящее, но и в будущее. Так, в начале доклада Пелкманс рассказал о случае смены надгробия на могиле женщины, умершей задолго до событий настоящего времени. Политика памяти в данном случае смыкается с практиками национальной идентичности (на новом надгробии изменено имя с турецкого на грузинский), которые, в свою очередь, отсылают и к религиозной идентичности (ее родственники не мусульмане, а христиане). Именованное оказывается в центре исследовательского интереса докладчика как свидетельство резонанса тех или иных зачастую трагических событий в истории, одновременно позволяющее пролить свет на страхи и ожидания не только тех, кто пережил насилие смены имени, но и тех, кто имеет дело с наследием этих событий. Исторический резонанс оказывается тем, что распространяется во всех временных модальностях и возобновляет вопросы об устройстве власти и «фактурной сущности коллективной идентификации на грани империи».

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы того, как переживались процессы смены имен самими жителями; насколько изменилось восприятие тех событий (конец XIX — начало XX века) спустя десятилетия; как именно — эстетически или лингвистически — проявлен процесс смены имени; наконец, вопросы о возможности выстраивания баланса страхов и ожиданий участников, свидетелей и наследников исторических событий.

Конференция завершилась возвращением к теоретическому срезу понимания границы в докладе *Ильи Мавринского* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Невидимая граница причастности. Динамическая (не)определенность границы: разворачивание, завершенность, начало*».

Динамическое отношение, включенное в само понятие границы (boundary), не только отсылает к парам «полагаемое — преодолеваемое» (И.Г. Фихте), «разделенное — сходящееся» (Ф. Шеллинг), «тождественное — различное» (А. Шопенгауэр), но и позволяет по-разному прочесть как процесс преодоления, так и процесс полагания. Обращаясь к классической традиции и ее способам тематизации границы, в оспаривающем диалоге с которыми находится современность, можно заметить, что для каждого способа понимания границы есть свой собственный горизонт причастности, равно как и свое слепое пятно «причастности “к”», из которого сама же граница становится возможной. Для Фихте динамика полагания и преодоления границы отсылает к «я», в котором различаются «ряд действий “я”» и «ряд наблюдений философа за действиями “я”». Само «я» может быть прочитано как складка (лат. *plica*), тогда как процесс полагания и преодоления границы как разворачи-

вание складки (экспликация). Соответственно, само «я» оказывается тем, что конституируется, проявляется вместе с полаганием границы, оставаясь до этого сокрытым. Для Шеллинга слепым пятном оказывается свобода. В измерении свободы, мимо которой, по словам докладчика, Шеллинг «не хочет промахнуться», обнаруживается причастность к некоторому изначальному плану творения и игре сил, проявленных уже в самой природе воли. Именно со свободой как пределом, границей, движение к которой есть реализация потенциалов и сил, уже вложенных в творение, мы имеем дело как с «всегда уже наличествующей». Наконец, для Шопенгауэра граница, напротив, предстает как начальная точка неразличности воли и тела, обнаруживая возможность возвращения к этой неразличности в опытах боли и удовольствия. Движение «от границы» — движение различия, расхождения воли и представления — может быть прочитано как формирование, конституирование различия между телом и его образом, восприятием, потенциальными и способами выражения.

Таким образом, невидимость границы, с одной стороны, и ее динамическая устроенность — с другой, позволяют выстроить базовые оппозиции центра и периферии, основания и обоснованного, нехватки и избытка, кочевого и оседлого. Граница в таком случае может быть прочитана как условность, которую невозможно игнорировать, но всегда возможно изменить, переписать или прочертить по-новому. Именно эта возможность иного прочерчивания границы открывает простор для работы с политиками памяти, проблемами идентичности, возможностями политического действия или эстетическим жестом.

В дискуссии после доклада обсуждались вопросы формирования общего фокуса в различных способах понимания термина «граница»; способов, которыми границы проявляются в повседневных практиках и событийности; и наконец, тематизации опыта причастности, из которого разворачиваются и прочерчиваются границы.

Обсуждение доклада плавно переросло в подведение итогов конференции. Отправной точкой в этом движении стал вопрос о природе и способах понимания зла, где отмечалось, что зло — «это не немощь, оно обладает собственным потенциалом и способностью к действию. Всегда есть силы, которые запущены в игру. Но есть и бесконечное множество вариаций одних и тех же сил, бесконечные возможности пересборки — именно это дает способность к различию добра и зла» (И. Мавринский). Способность к различению как исток гносеологического отношения применительно к границе позволяет связать ее с памятью и забвением. Как писал Т. Элиот, река как граница «ждет — наблюдает — ждет», следовательно, граница, по словам Т. Вайзер, предается забвению и одновременно сопротивляется этому забвению, оказываясь особым топосом опротестования, через который она и транслирует свой смысл.

В ходе конференции неоднократно отмечалось, что граница зачастую не может быть понята как простая линия, но скорее отсылает к территории, области, пространству. Указанное пространство может быть описано как пространство «между». Граница разделяет и соединяет, расчерчивает и размечает различные смыслы, способы сборки, стратегии субъективации, повседневные практики. Граница обнаруживает общность как то, что присутствует, чувствуется и ощущается. Целью конференции, по словам организаторов, было преодоление различных границ: языковых, концептуальных, границ между разными странами. Поскольку граница — это всегда то, что за ней, и граница — это всегда то, с чем можно вступать или не вступать в отношения, постольку сама граница оказывается актором. Отсюда концептуальный посыл конференции: акцентировать внимание на важности вступать в отношения с чем-то, отличным от нашего «я», привычной системы координат,

с чем-то потенциально иным. Этический и гносеологический посыл организаторов чтений заключался в возможности и принятии Иного. Тема границы стала звучна не только переосмыслению опыта прошлого и попыткам отрефлексировать этот опыт, но и стремлению выявить слепые пятна настоящего. Граница опыта как предел, как горизонт вечно ускользающей дали остается недостижимой для того, чтобы извлечь его, не повторить ошибок и «не впасть в дурную бесконечность» (М. Мамардашвили).

Как отмечалось по ходу конференции, событие всегда возникает в окрестностях проблемы и нужно быть готовыми к событию, будь то событие встречи, событие понимания, событие признания Другого или событие преодоления границы. На XXX Банных чтениях в фокусе внимания оказалась антропологическая составляющая взаимодействия с границей в ее историческом, культурном, социальном и политическом измерениях. Вопросы и проблемы, возникшие в ходе конференции, оставляют надежду не только на интерес к материалам конференции, но и на будущие исследования.

Виктория Мавринская

Errata

В № 187 НЛО в разделе «Наши авторы» ошибочно указаны данные Марии Чудаковой. Следует читать: Мария Чудакова (независимый исследователь, филолог, переводчик с французского и итальянского, преподаватель) chudakoff-litnasledie@yandex.ru.

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!

В № 189 «Нового литературного обозрения» за 2024 год была опубликована моя рецензия на сборник статей: «Невидимая величина»: А.В. Сухово-Кобылин. Театр. Литература. Жизнь» (М., 2024). К сожалению, по моему недосмотру текст рецензии оказался не свободен от ошибок. Ниже привожу их перечень:

С. 324, строка 23 сверху. Напечатано: Елизаветы Тур — правильно: Евгении Тур.

С. 324, строка 28 сверху. Напечатано: Е.В. Клементьевой — правильно: Е.Б. Клементьевой.

С. 328, строка 14 сверху. Напечатано: С.Н. Потапенко — правильно: С.Н. Патапенко.

С. 328, строка 18 снизу. Напечатано: Я. Войвович — правильно: Я. Войводич.

С. 328, строка 10 снизу. Напечатано: «Свадьбе Тарелкина» — правильно: «Смерти Тарелкина».

Приношу редакции, читателям и авторскому коллективу сборника свои извинения.

С.В. Сапожков

Антон Азаренков

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), доцент; кандидат филологических наук) aazarenkov@hse.ru.

Алла Бурцева

(РГГУ, Институт филологии и истории, кафедра истории русской литературы Новейшего времени, преподаватель; кандидат филологических наук) alla.burtseva@gmail.com.

Николай Вахтин

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор; доктор филологических наук) vakhtin@eu.spb.ru.

Татьяна Венедиктова

(МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра общей теории словесности (дискурса и коммуникации), заведующая, профессор; доктор филологических наук) tvenediktova@mail.ru.

Илья Виноцкий

(Принстонский университет, кафедра славянских языков и литератур, профессор; доктор филологических наук) vinitsky@princeton.edu.

Валерий Выюгин

(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник / СПбГУ, профессор; доктор филологических наук) valeryvyugin@gmail.com.

Елена Гречаная

(независимый исследователь; доктор филологических наук) el.gretchanaia@mail.ru.

Александр Дмитриев

(Федеральная политехническая школа Лозанны, лаборатория истории науки и технологий; кандидат исторических наук) alexander.dmitriev@epfl.ch.

Валерий Золотухин

(Рурский университет в Бохуме, Семинар славистики и Институт русской культуры им. Ю.М. Лотмана, научный сотрудник; кандидат искусствоведения) Valeriy.Zolotukhin@ruhr-uni-bochum.de.

Александр Клейтман

(Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) malk@bk.ru.

Игорь Кобылин

(Приволжский исследовательский медицинский университет, кафедра социально-гуманитарных наук, доцент / ШАГИ ИОН РАНХиГС, Научно-исследовательская лаборатория историко-культурных исследований, старший научный сотрудник / РГГУ, кафедра теории и истории гуманитарного знания, доцент / журнал «Неприкосновенный запас», редактор; кандидат философских наук) kigor55@mail.ru.

Дмитрий Колчигин

(переводчик (Алматы, Казахстан)) atacarme@gmail.com.

Александра Кузнецова

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), Факультет креативных индустрий, Школа дизайна, академический руководитель образовательной программы «Дизайн», аспирантка, художник-исследователь) a.kuznetsova@hse.ru.

Константин Лаппо-Данилевский

(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник; доктор филологических наук) urij-danilevskij@yandex.ru.

Полина Левина

(МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра общей теории словесности, магистрантка) p.levina15@mail.ru.

Ольга Лиценбергер

(Баварский центр культуры немцев из России, Нюрнберг, Федеративная Республика Германия, профессор, научный сотрудник; доктор исторических наук) litzenbergerolga@gmail.com.

Мария Лихинина

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, Школа искусств и культурного наследия, аспирант) mlikhailina@eu.spb.ru.

Чжан Личэн

(Юго-Восточный университет, Институт иностранных языков (Нанкин, КНР), доцент; кандидат филологических наук) licheng.zhang@mail.ru.

Карина Лукьянова
(поэт) ikhinitel@yandex.ru.

Елена Лярская
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, доцент; кандидат исторических наук) rica@eu.spb.ru.

Виктория Мавринская
(Открытый Философский Факультет, координатор) chaicka2007@yandex.ru.

Арсен Мирзаев
(независимый исследователь) arsemir@yandex.ru.

Мария Момзикова
(Тартуский университет, аспирант) mmomzikova@eu.spb.ru.

Глеб Морев
(литературовед) glebmorev@gmail.com.

Дарья Московская
(ИМЛИ РАН, заведующая отделом рукописей; доктор филологических наук) d.moskovskaya@bk.ru.

Роза Мусабекова
(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Республика Казахстан; кафедра русской филологии, доцент; PhD) roza709@mail.ru.

Анна Нуждина
(литературный критик) nuzhdina_anya@mail.ru.

Валерий Отяковский
(Гарвардский университет; постдокторантура; PhD) klerk95@gmail.com.

Светлана Подrezова
(ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, старший научный сотрудник, заведующая Фонограммархивом; кандидат искусствоведения) podrezova@yandex.ru.

Алина Полякова
(РГГУ, студентка магистратуры ИФИ; междисциплинарная исследовательница) apolyakova002@gmail.com.

Алексей Порвин
(поэт, критик) sensus.interni@gmail.com.

Андрей Ранчин
(МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, ведущий сотрудник; доктор филологических наук) aranchin@mail.ru.

Анатолий Рясков
(независимый исследователь) x25@mail.ru.

Евгений Савицкий
(Институт всеобщей истории РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) e_savitski@mail.ru.

Ирина Сахно
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), Факультет креативных индустрий, Школа дизайна, профессор, академический руководитель магистерской программы «Практики современного искусства»; доктор филологических наук) isakhno@hse.ru.

Елена Сосина
(МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра общей теории словесности, магистрантка) sosna.ell@yandex.ru.

Лидия Трипиччионе
(Принстонский университет, отделение славянских литератур, аспирантка) lidiat@princeton.edu.

Александр Уланов
(Самарский государственный аэрокосмический университет, доцент; доктор технических наук) alexulanov@mail.ru.

Атнер Хузангай
(независимый исследователь; кандидат филологических наук) anvaska@mail.ru.

Константин Шавловский
(поэт, кинокритик) shavlovsky@gmail.com.

Анна Швец
(МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, старший преподаватель; кандидат филологических наук) ananke2009@mail.ru.

В.Г. Щукин
(Ягеллонский университет, Польша; Институт восточнославянской филологии, ординарный профессор; Dr. habil.) wszczukin@yandex.com.

Summary

Epistolary Connections with the Field and the Production of Anthropological Knowledge

The article “Letters from the Field: Principles of the Leningrad Ethnographic School and Soviet Realities” by **Nikolai Vakhtin** and **Elena Lyarskaya** is devoted to former political exiles, ethnographers and experts in Siberian indigenous minorities L.Ya. Sternberg, V.G. Bogoraz and others. Since 1918, they began to systematically train the younger generation of ethnographers, first at the Geographical Institute, then at the Geographical Faculty of Leningrad State University. The curriculum was aimed primarily at training field researchers and was based on several principles: the combination of research and administrative work in the North, the longitudinal fieldwork, mandatory knowledge of the languages of the peoples being studied, careful and respectful attitude towards them, etc. These principles were rooted in the *Narodnaya Volya* ideology; however, in the conditions of uncertainty and the constantly changing ideology of the new government in the 1920s — early 1930s, these principles inevitably began to conflict with reality. The article, based on letters from students of Bogoraz and Sternberg to their teachers “from the field”, examines in detail the process of adaptation of the “populist” principles of the Leningrad ethnographic school to the new Soviet reality, and examines the complicated relationship between younger ethnographers and the central and local authorities.

Maria Momzikova’s article “Post-Field-work Letters: Soviet Scholars, Nganasan Correspondents, and the Co-Production of Anthropological Knowledge through Reciprocal Dialogue” examines the correspondence between Nganasans and visiting Taimyr researchers of culture and language in the 1930s and 1960s as a “reciprocal dialogue”. Using archival and published materials, the study illustrates how ethnographic and linguistic knowledge emerged through ongoing dialogue between researchers and their “informants,” both in the field and through correspondence. These professional and friendly relationships involved a reciprocal exchange not only of knowledge but also of goods and even money. Letters, as a form of communication requiring a response from the recipient, ensured the continuation of this exchange after the conclusion of fieldwork. Within the context of Soviet social and political reality, this correspondence became not only a co-production of anthropological knowledge but an instrument of political education and facilitated the integration of addressees from local community representatives into Soviet political institutions.

Svetlana Podrezova’s article “‘You Can’t Explain Everything in Letters’: The Archive of Revolutionary Songs in Letters” examines a unique case of using correspondence to compile an archive of revolutionary songs. An analysis of

the surviving extensive epistolary collection reveals that, beyond its primary objective, the correspondence within the “The Russian Revolutionary Song Study Brigade” at the Institute of Anthropology and Ethnography functioned as a key element of scientific infrastructure. This correspondence not only established and reinforced hierarchies but also occasion-

ally served as a means of substitution and compensation for the absence of one of its members. The study draws on letters preserved in the manuscript department of the Pushkin House and other archives in Saint Petersburg and Moscow, with some materials also published in Volume 5 of the Complete Works of Soviet musicologist Mikhail S. Druskin.

Regimes of Memory

Based on oral interviews and materials from Kazakh state archives, **Olga Litzenberger** and **Roza M. Mussabekova** in their article “‘Everyone Has Their Own Story...’: School and Childhood in the Memories of German Special Settlers in Kazakhstan (1950s—1960s) Based on Oral History” analyze the specifics of schooling and socialisation of children of deported Russian Germans born in Kazakhstan during the period of special

settlement, 1941—1955. The article examines the impact of temporal disorientation, Soviet school ideology and social upheaval on German children. As the materials of the interviews show, the perceptions of time and life stories of German children born in Kazakhstan in the 1950s, who no longer experienced the hardships of deportation, sometimes contradict the national narrative and do not always fit into the concept of historical trauma.

On the Path Towards a “State” Literature: Institutions and Practices

Guest Editor Dmitry Tsyganov

Valerii Otiakovskii’s paper “Memoirs about Vsevolod Meyerhold by Yuri Pertsovich” examines a memoir about V. Meyerhold by the critic Yuri Pertsovich, who was in touch with him in 1920 in Novorossiysk. The memoirs contain vivid episodes that characterize the unpredictability of culture-building processes in the context of the Civil War. The author’s variant is published for the first time, double compared to the known publication.

The article “Petrograd House of Arts as an Organizational Experiment of the War Communism Period” by **Mariia Likhinina** explores the relations between the authorities and the intelligentsia during

War Communism in the Petrograd House of Arts case. It reveals the reasons for the decline of the House of Arts as Gorky’s project to unite the artistic intelligentsia. The paper argues that the organisation’s fall was caused by its uncertain position in the bureaucratic hierarchy, inner conflicts and criticism of the House of Arts by the artistic environment more than repressive state measures.

Darya Moskovskaya in her article “From the Union of Soviet Republics to the Union of Soviet Writers: The Institutional Collisions of the Production of Proletarian Literature in 1920s—1930s” discusses the formation of the Union

of Soviet Writers that took place twelve years after the Union of Soviet Republics, which was due to the class struggle in the field of culture that had not ceased during the years of the NEP and the first Five Year Plan. The victorious class remained culturally underdeveloped and could not lay claim to hegemony in the literary process. An attempt to unite the socially diverse writer's groups was made in 1927, when the Federation of Soviet Writers' Associations was formed. From 1924 to 1928, the All-Russian Association attempted to unite proletarian republican associations under its aegis. Although formally these efforts succeeded in 1928 and the All-Union Association was established, this result was not needed by the Central Committee. The reasons for this lack of interest were rooted in the demand for a new heteronomy of the literary field, which emerged during the years of the first Five Year Plan, the achievement of which

became possible after the dissolution of all literary groupings and the creation, at the behest of the Party, of the Union of Soviet Writers in 1934.

Alla Burtseva's article "Writers' Brigade in the 1930s Turkmenistan: From the Journey to the Production of Literature" examines brigade journeys, a form of collective literary production in USSR in the 1930s. A journey to Turkmenistan is one of the cases when literary policy was complexly connected with national policy. Publications in local press provide information on the reception of such projects and their goals. The production of literary material suggests in this case following the interests of the center, but the periphery also presents itself. The production of literature about periphery and literature in the periphery is mediated not only by dependent relationship, but also mutual, and the collective result is a part of this process.

The Canon Revisited

In his article "Joseph Brodsky: The Path of Literary Legitimization (1962—1965)" based on the archival materials **Gleb Morev** examines Brodsky's participation in literary events in said period and the influence of Anna Akhmatova on his literary biography. One of the key elements of that is the narrative constructed by Akhmatova about the new "first poet"

of Russia: on the one hand, there is the highest degree of poetic recognition sanctioned by Akhmatova's authority (inevitably actualizing Pushkin's connotations in the Russian tradition), and on the other hand, there is the sharply contrasting Soviet reality, which does not recognize any legitimacy for such a mechanism of non-state/unofficial canonization.

Archeology of Philological Knowledge

In her article "Boris Bukhshtab as a Phenomenon of Theory" **Lidia Tripiccione** takes as her object of inquiry two later works by the young formalist, philologist and bibliographer Boris Bukhshtab, "Bibliograficheskie razyskaniya po russkoy literature XIX veka" (1966) and "Biblio-

graficheskie rassledovaniya" (1982). The author shows the link between these publications and the theoretical discussions on bibliography from the 1960s, and concludes that through the "Razyskaniya" and "Rassledovaniya" Bukhshtab explores the possibilities of academic

genres and proposes a specific understanding of literary scholarship and of the literary scholar.

Ilya Vinitsky in his article “‘Idyllic Horror Story’: The Princeton Text in Mikhail Gasparov’s *Notes and Excerpts*” turns to the most personal and most famous (“intellectual bestseller”) book by Gasparov, which opens the last volume of his

collected works. The article is devoted not to the intellectual evolution of the scientist, but to the closely connected and hidden from prying eyes “emotional history” of the author — his internal, psychological, often irrational impulses, fears, hopes and disappointments, thus reconstruction of the image of the scientist who knows himself in the text (by the text).

Poetological Studies

Anatoly Riassov’s article “Andrei Platonov: Truth and Convulsive Vigor” examines Platonov’s style. Distancing himself from any schools or trends, Platonov managed to create his own language based on Russian word forms, replete with colloquialisms, deliberate repetitions, and bizarre violations of the usual

word order. The formation of Platonov’s writing style practically coincided in time with the strengthening of the Stalinist political system, and it is precisely the presence of ideology within these artistic texts, and in a sense its appropriation, that turns out to be the cornerstone in the question of style.

Gennady Aygi: At the Boundaries of Speech

The article “Gennadiy Aygi’s ‘Music of Silence’” by **Anton Azarenkov** deals with the concept of “verbal music” in the work of Gennady Aygi. The first part of the article describes Aygi’s authorial poeology, identifies and systematizes the corresponding transmusical topoi. The second part of the article analyzes the phonosemantic effects of Aygi’s lyrics, including the phenomenon of “semantic rhyme”, which has been actively discussed in recent decades. In Aygi’s work, the theory and practice of “verbal music” are closely intertwined and rooted, on the one hand, in European poetological topology and, on the other hand, in linguistics contemporary to the poet.

Arsen Mirzaev in his article “Gennady Aygi, Andrei Volkonsky and Poetry of the North Caucasus” discusses Aygi’s interest in the Orient, Muslim culture and

religion, and Caucasian literature, which was connected not only with his passion for poetry in general, but also with his translation activity. He translated some poetic compositions by authors from different countries; compiled several anthologies in which he himself participated as a translator: “Poets of France”, “Poets of Poland”, “Poets of Hungary”. His fascination with the North Caucasus, poetics, nature, the harsh and wonderful life of the highlanders was shared by Aygi’s close friend, musician and composer Andrei Volkonsky, who had a great influence on the poet. In 1962—1972, together they repeatedly traveled to the “country of mountains and hills”.

Atner Khuzangai’s article “Chuvash Ayhi: Russian Aygi” discusses self-identification of Chuvash poet Gennady Aygi in Russian-speaking environment of

Summary

Moscow, analyzes the cycle of his early poems written in Russian “Beginnings of the Clearings” and Chuvash poems “Ovary”, “Beginning” as a stage of transition to Russian language. In the center of

attention are friends-associates of Aygi (painters, musicians) from uncensored, non-official art sphere and interaction of two world pictures — Russian-Language and Chuvash.

Table of contents No. **190** [6'2024]

NEW POETRY

- 7** *Karina Lukyanova*. The Missed Call of the Era
10 *Konstantin Shavlovsky*. A Heart Above the Horizon

EPISTOLARY CONNECTIONS WITH THE FIELD
AND THE PRODUCTION OF ANTHROPOLOGICAL
KNOWLEDGE

- 15** *Nikolai Vakhtin, Elena Lyarskaya*. Letters from the Field: Principles
of the Leningrad Ethnographic School and Soviet Realities
44 *Maria Momzikova*. Post-Fieldwork Letters: Soviet Scholars,
Nganasan Correspondents, and the Co-Production of Anthropologi-
cal Knowledge through Reciprocal Dialogue
63 *Svetlana Podrezova*. “You Can’t Explain Everything in Letters”
The Archive of Revolutionary Songs in Letters

REGIMES OF MEMORY

- 84** *Olga Litzenberger, Roza M. Mussabekova*. “Everyone Has Their
Own Story...”: School and Childhood in the Memories of German
Special Settlers in Kazakhstan (1950s—1960s) Based on Oral History

ON THE PATH TOWARDS A “STATE” LITERATURE:
INSTITUTIONS AND PRACTICES

Guest Editor Dmitry Tsyganov

- 104** *Alexander Dmitriev*. The Sociology of a Transitional Literary Culture,
or Soviet Again
111 *Valerii Otiakovskii*. Memoirs about Vsevolod Meyerhold by
Yuri Pertsovich
117 *Mariia Likhinina*. Petrograd House of Arts as an Organizational
Experiment of the War Communism Period
131 *Darya Moskovskaya*. From the Union of Soviet Republics to the
Union of Soviet Writers: The Institutional Collisions of the Produc-
tion of Proletarian Literature in 1920s—1930s
152 *Alla Burtseva*. Writers’ Brigade in the 1930s Turkmenistan: From the
Journey to the Production of Literature

THE CANON REVISITED

- 165** *Gleb Morev*. Joseph Brodsky: The Path of Literary Legitimization (1962—1965)

ARCHEOLOGY OF PHILOLOGICAL KNOWLEDGE

- 192** *Lidia Tripiccione*. Boris Bukhshtab as a Phenomenon of Theory
212 *Ilya Vinitsky*. “Idyllic Horror Story”: The Princeton Text in Mikhail Gasparov’s *Notes and Excerpts*

POETOLOGICAL STUDIES

- 233** *Anatoly Riassov*. Andrei Platonov: Truth and Convulsive Vigor

GENNADY AYGI: AT THE BOUNDARIES OF SPEECH

- 256** *Anton Azarenkov*. Gennadiy Aygi’s “Music of Silence”
272 *Arsen Mirzaev*. Gennady Aygi, Andrei Volkonsky and Poetry of the North Caucasus
284 *Atner Khuzangai*. Chuvash Ayhi: Russian Aygi

CHRONICLE OF CONTEMPORARY LITERATURE

- 293** *Aleksei Porvin*. The Freedom of Indeterminacy (Review of the book: Morozova, Katya. *Amal’gama*. Jaromír Hladik Press, 2023)
297 *Anna Nuzhdina*. Ice Age (Review of the book: Oborin, Lev. *Ledniki*. Jaromír Hladik Press, 2023)

BIBLIOGRAPHY

- 301** *Evgeniy Savitskiy*. The Soviet “Literary Republic,” “Eastern International,” and Kemalist Turkey from the 1920s—1960s (Review of Current Research)
314 *Dmitry Kolchigin*. (Non)fictional Stories before the Court of History (Review of the book: *Dangers of Narrative and Fictionality*. Peter Lang, 2024)
325 *Tatyana Venediktova*. News of Literary Cognitive Science from the Southern Part of the World (Review of the book: Wentworth, Isabelle. *Catching Time*. Routledge, 2024)
330 *Valery Vyugin*. A Book on Literature, Thieves, Crooks, Scoundrels, and the Soviet Empire (Review of the book: de Oliveria, Cassio. *Writing Rogues: The Soviet Picaresque and Identity Formation, 1921—1938*. McGill-Queen’s University Press, 2023)

- 336** Valery Zolotukhin. Northern Sounds and Nighttime Voices (Review of the book: Safran, Gabriella. *Recording Russia: Trying to Listen in the Nineteenth Century*. Cornell University Press, 2022)
- 345** Игорь Кобылин. “A Continuous Stream of Chance,” or the Political Economy of Francis Bacon (Review of the book: Bacon, Francis. *Brutal’nost’ fakta: interv’yu Devidu Sil’vestru*. Ad Marginem Press, 2024)
- 356** Konstantin Lappo-Danilevsky. The Archival Gifts of Eretz Israel to Russian Culture
- 363** Alexander L. Kleitman. “So, They Strangled Him After All...”: New Research into the Murder of Tsarevich Alexei, June 26, 1718 (Review of the book: Guzevich, Dmitry and Guzevich, Irina. *Gibel’ tsarevicha Aleksey Petrovicha: 24—30 iyunya 1718 goda: versii, spory, realii*. Evropeyskiy dom, 2024)
- 367** Zhang Licheng. Post-Soviet Dramaturgy Through the Eyes of Chinese Researchers (Review of the book: Wang Lidan and Li Ruilian. *Issledovaniye sovremennoy russkoy dramaturgii [1991—2012]*. Central Compilation and Translation Press, 2016)
- 373** New Books

CHRONICLE OF SCHOLARLY LIFE

- 390** Alina Polyakova. All-Russian Research Conference “Transylvania Is Calling”: The Poetics of Elena Fanailova (Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences; Russian State University for the Humanities, February 17, 2024)
- 401** Anna Shvets, Polina Levina, Elena Sosina. The Effect of Presence: Problems and Perspectives of Study. Round Table “The Effect of Presence: 20 Years Later” (Moscow State University, March 1, 2024)
- 409** Viktoria Mavrinskaya. International Conference “30th Big Bath Readings: ‘The Cultural Anthropology of Borders in Modern Societies’” (*New Literary Observer*, April 5—7, 2024)
- 430** Errata
- 431** Summary
- 438** Table of Contents
- 441** Our Authors

Our authors

Anton Azarenkov

(PhD; Lecturer, HSE University (St. Petersburg)) aazarenkov@hse.ru.

Alla Burtseva

(PhD; Lecturer, Department of Contemporary Russian Literature, Institute for Philology and History of the Russian State University for the Humanities) alla.burtseva@gmail.com.

Alexander Dmitriev

(PhD; Researcher, Laboratory for the History of Science and Technology, École Polytechnique Fédérale de Lausanne) alexander.dmitriev@epfl.ch.

Elena Grechanaya

(Dr. habil.; Independent Researcher) el.grechanaya@mail.ru.

Atner Khuzangai

(PhD; Independent Researcher) anvaska@mail.ru.

Alexander L. Kleitman

(Dr. habil.; Leading Researcher, S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS) malk@bk.ru.

Igor Kobylin

(PhD; Associate Professor, Department of Social Sciences and Humanities, Privozhzsky Research Medical University / Senior Researcher, Research Laboratory of Historical and Cultural Research, SASH ION RANEPa / Associate Professor, Department of Theory and History of Humanitarian Knowledge, RSUH / Editor, *Neprikosnovenniy Zapas*) kigor55@mail.ru.

Dmitry Kolchigin

(Translator (Almaty, Kazakhstan)) atacarme@gmail.com.

Alexandra Kuznetsova

(PhD Student; Artist-Researcher, Academic Supervisor of the Educational Program «Design», Art & Design School, Faculty of Creative Industries, HSE University (Moscow)) a.kuznetsova@hse.ru.

Konstantin

Lappo-Danilevsky

(Dr. habil.; Head Research Fellow, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), RAS) yurij-danilevskij@yandex.ru.

Polina Levina

(MA Student, Faculty of Philology, MSU) p.levina15@mail.ru.

Zhang Licheng

(PhD; Associate Professor, School of Foreign Languages, Southeast University (Nanjing, China) licheng.zhang@mail.ru.

Mariia Likhinina

(Doctoral Student, School of Arts and Cultural Heritage, European University at Saint Petersburg) mlikhinina@eu.spb.ru.

Olga Litzenberger

(Dr. habil.; Professor, Research Fellow, Bavarian Centre for the Culture of Germans from Russia, Nuremberg, Germany) litzenbergerolga@gmail.com.

Karina Lukyanova

(Poet) ikhinitel@yandex.ru.

Elena Lyarskaya

(PhD; Associate Professor, European University at Saint Petersburg) rica@eu.spb.ru.

Viktoria Mavrinskaya

(Coordinator, Open Philosophical Faculty) chaicka2007@yandex.ru.

Arsen Mirzaev

(Independent Researcher) arsemir@yandex.ru.

Maria Momzikova

(PhD Candidate, University of Tartu) mmomzikova@eu.spb.ru.

Gleb Morev

(Literary Scholar) glebmorev@gmail.com.

Darya Moskovskaya

(Dr. habil.; Head of the Manuscript Department, A.M. Gorky Institute of World Literature, RAS) d.moskovskaya@bk.ru.

Roza Mussabekova

(PhD; Associate Professor, Department of Russian Philology, Eurasian National University, Astana, Republic of Kazakhstan) roza709@mail.ru.

Anna Nuzhdina

(Literary Critic) nuzhdina_anya@mail.ru.

Valerii Otiakovskii

(PhD; Postdoctoral Fellow, Harvard University) klerk95@gmail.com.

Svetlana Podrezova

(PhD; Senior Research Fellow, Head of Phonographic Archive; Institute of Russian Literature (the Pushkin House) RAS) podrezova@yandex.ru.

Alina Polyakova

(Interdisciplinary Researcher; MA Student, RSUH) apolyakova002@gmail.com.

Aleksei Porvin

(Poet, Critic) sensus.interni@gmail.com.

Andrey Ranchin

(Dr. habil.; Professor, Lomonosov Moscow State University / Leading Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences, RAS) aranchin@mail.ru.

Anatoly Riassov

(Independent Researcher) x25@mail.ru.

Irina Sakhno

(Dr. habil.; Professor, Academic Supervisor of the Masters Degree Program “Practices of Contemporary Art”, Art & Design School, Faculty of Creative Industries, HSE University (Moscow)) isakhno@hse.ru.

Evgeniy Savitskiy

(PhD; Senior Researcher, Institute of World History, RAS) e_savitski@mail.ru.

Konstantin Shavlovsky

(Poet, Cinema Critic) shavlovsky@gmail.com.

Anna Shvets

(PhD; Senior Lecturer, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University) shvetsanval@gmail.com.

Elena Sosina

(MA Student, Faculty of Philology, MSU) sosna.ell@yandex.ru.

Wasilij Szczukin

(Dr. habil.; Professor, Institute of Eastern Slavonic Studies, Jagiellonian University) wszczukin@yandex.com.

Lidia Tripiccione

(PhD Candidate; Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University) lidiat@princeton.edu.

Alexander Ulanov

(Dr. habil.; Associate Professor, Samara State Aerospace University) alexulanov@mail.ru.

Nikolai Vakhtin

(PhD; Professor, European University at Saint Petersburg) vakhtin@eu.spb.ru.

Tatyana Venediktova

(Dr. habil.; Professor and Chair, Department of Discourse and Communication Studies, MSU) tvenediktova@mail.ru.

Ilya Vinitsky

(Dr. habil.; Professor, Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University) vinitsky@princeton.edu.

Valery Vyugin

(Dr. habil.; Head Researcher, Institute of Russian Literature (the Pushkin House) RAS / Professor, St. Petersburg University) valeryvyugin@gmail.com.

Valery Zolotukhin

(PhD; Researcher, Seminar für Slavistik & Lotman-Institut, Ruhr-Universität Bochum) Valeriy.Zolotukhin@ruhr-uni-bochum.de.

Editorial board

- Irina Prokhorova** PhD (founder and establisher of journal)
- Tatiana Weiser** PhD (editor-in-chief)
- Arseniy Kumankov** PhD (theory)
- Kirill Zubkov** PhD (history)
- Alexander Skidan** (practice)
- Abram Reitblat** PhD (bibliography)
- Vladislav Tretyakov** PhD (bibliography)
- Nadezhda Krylova** M.A. (chronicle of scholarly life)
- Alexandra Volodina** PhD (executive editor)

Advisory board

Konstantin Azadovsky
PhD

Henryk Baran
PhD, State University of New York at Albany, professor

Evgeny Dobrenko
PhD, Università Ca'Foscari Venezia, professor

Tatiana Venediktova
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Elena Vishlenkova
Dr. habil. HSE University, professor

Tomáš Glanc
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

Hans Ulrich Gumbrecht
PhD, Stanford University, professor

Alexander Zholkovsky
PhD, University of South Carolina, professor

Andrey Zorin
Dr. habil. Oxford University, professor / The Moscow school of social and economic sciences, professor

Boris Kolonitskii
Dr. habil. European University at St. Petersburg, professor / St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, leading researcher

Alexander Lavrov
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

Mark Lipovetsky
Dr. habil. Columbia University, professor

John Malmstad
PhD, Harvard University, professor

Alexander Ospovat
University of California, Los Angeles; Research Professor

Pekka Pesonen
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

Oleg Proskurin
PhD, Emory University, professor

Roman Timenchik
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

Pavel Uvarov
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / HSE University, professor

Alexander Etkind*
European University Institute (Florence)

Mikhail Yampolsky
Dr. habil. New York University, professor

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.